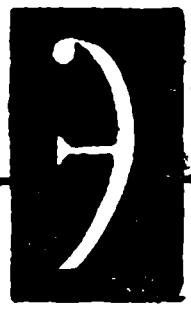
БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960



Этюды о нравах

Сцены частной жизни

ГОСПОЖА ФИРМИАНИ

Дорогому Александру де Берни
Его старый друг
де Бальзак.

Многие истории, богатые занимательными положениями или драматичные благодаря прихотливой игре случая, художественные по самой природе своей, могут быть переданы кем угодно в простой или искусной форме, не потеряв при этом и капли своей прелести. Но бывают такие события в жизни человека, которым только искренний и взволнованный рассказ придает жизнь, и тогда только крайняя изощренность мысли способна выразить мельчайшие, едва уловимые детали. Встречаются люди, портреты которых художник сможет создать, если он сам вдохнет в них жизнь и передаст тончайшие черты их изменчивого облика. Наконец, лишь благодаря какому-то необъяснимому вдохновению, которое нисходит на нас в некий час или день при благоприятном расположении небесных светил и при тайной настроенности души, можно выразить то, что обычно от нас ускользает. Только такого рода таинственное откровение настоятельно заставляет меня рассказать эту простую историю, которая может заинтересовать иные мечтательные и печальные души, способные к нежным чувствам. Но если писатель, подобно врачу у постели умирающего друга, всей душой отдастся избранной им теме, почему бы читателю не разделить с ним этого неизъяснимого волнения? Неужели так уж трудно проникнуться этой неясной и волнующей грустью, которая окрашивает все кругом в сумеречные тона, этим недомоганием, легкие страдания которого иногда так сладостны? Если вы находитесь

случайно во власти воспоминаний о близких людях, утраченных вами, если вы одни, а за окном ночь или наступает вечер, продолжайте чтение этой истории, или тотчас же бросайте книгу. Если вам еще не довелось похоронить бедную больную родственницу, вы не поймете этих страниц. Для одних они будут слишком пряными, для других — пресными и добродетельными, как у Флориана. Наконец, читатель должен изведать сладость слез, почувствовать безмолвную грусть смутных воспоминаний о дорогих, но далеких тенях, он должен лелеять в душе воспоминания, которые вызывают сожаления о тех, кого у вас отняла земля, и печальную улыбку о минувшем счастье. И поверьте, ни за какие сокровища автор не позаимствовал бы у поэзии ни одного из ее вымыслов, чтобы украсить свое повествование. Это совершенно правдивая история, которая должна вас тронуть, если у вас чувствительное сердце.

В нашем языке сейчас столько идиом, сколько разновидностей людей в огромной французской семье. Любопытно узнать об одном и том же предмете или событии мнения и высказывания различных людей, которые дали бы вам представление о типе парижанина,— для обобщения мы выбрали именно парижанина.

Итак, если вы спросите у человека положительного: «Знаете ли вы госпожу Фирмиани?»,— то он заменит понятие «госпожа Фирмиани» следующим реестром: «Большой, хорошо обставленный дом на улице Бак, прекрасные картины, добрая сотня тысяч ливров ренты, муж, бывший когда-то главным сборщиком налогов в департаменте Монтенотт». Сказав так, положительный человек, толстый, круглый, одетый почти всегда в черное, с довольным видом выпячивает нижнюю губу и качает головой, как бы добавляя: «Вот солидные люди, достойные всякого уважения». И не задавайте ему других вопросов. Положительные люди объясняют все цифрами, рентой или земными благами — словечко из их лексикона.

Обернитесь направо, спросите светского бездельника, повторите ему ваш вопрос. «Госпожа Фирмиани? — скажет он. — Как же, я хорошо с ней знаком, я бываю у нее. Она принимает по средам. Это очень почтенный дом». Г-жа Фирмиани уже превратилась в дом. Дом не в смысле архитектурного сооружения; нет, это непереводимое сло-

вечко на языке повес. Тут бездельник, человек без сердца, говорящий милые пустяки с приятной улыбкой, который живет скорей чужим умом, чем своим, наклоняется к вам и шепчет на ухо с проницательным видом: «Я никогда не видел господина Фирмиани. Каково его общественное положение? Он управляет какими-то поместьями в Италии. Но госпожа Фирмиани — француженка, и она тратит деньги, как истая парижанка. У нее превосходно сервируют чай. Это один из немногих домов, где по-настоящему веселятся и где все изысканно. Впрочем, очень трудно быть принятым у нее. В ее гостиной собирается самое лучшее общество». При последних словах он важно берет щепотку табаку, понемножку отправляет его в нос, как бы говоря: «Я бываю в этом доме, но не рассчитывайте, что я вас представлю хозяйке».

Для бездельников дом г-жи Фирмиани нечто вроде гостиницы без вывески.

— Что тебе делать у госпожи Фирмиани? Там такая же скука, как при дворе. Умные люди стараются избегать салонов, где из новинок современной поэзии читают лишь самые ничтожные стишки.

Так вам ответит один из ваших друзей, один из тех избранных умов, кто хотел бы держать всю вселенную под замком и не позволял бы ничего делать без своего разрешения. Они несчастны, если счастливы другие, они прощают только пороки, падения, болезни и превыше всего любят оказывать покровительство. Аристократы по склонности, они становятся республиканцами с досады, только для того, чтобы найти побольше низших среди им равных.

— Госпожа Фирмиани, друг мой,—это одна из тех обворожительных женщин, ради которых прощаешь природе всех дурнушек, созданных ею по ошибке. Она восхитительна! Она добра! Я желал бы обладать властью, королевским титулом, миллионами лишь для того, чтоб... (Здесь он шепчет на ухо).— Хочешь, я тебя ей представлю?

Так говорит молодой лицеист, весьма развязный в мужской компании и крайне робкий наедине с женщиной.

— Госпожа Фирмиани? — восклицает другой, жонг-

лируя тростью.— Хочешь знать, что я о ней думаю? Ей лет тридцать — тридцать пять, лицо несколько увядшее, красивые глаза, плоская фигура, глухой, низкий голос, изысканные туалеты, слегка подрумяненные щеки, очаровательные манеры,— впрочем, все еще прелестная женщина, и любви ее стоит добиваться.

Этой сентенцией мы обязаны фату, который только что позавтракал. Он небрежно цедит слова и собирается на прогулку верхом. В такие минуты фаты беспощадны.

— У нее великолепная коллекция картин, их стоит посмотреть,— ответит вам другой,— не всюду вы такие увидите.

Перед вами любитель искусства. Он вас покидает, чтобы отправиться к Периньону или Трипе. Для него г-жа Фирмиани — только собрание картин.

Женщина: Госпожа Фирмиани? Я не хочу, чтобы вы у нее бывали.

Эта фраза имеет много значений. Госпожа Фирмиани! Опасная женщина! Сирена! Она хорошо одевается, у нее есть вкус, из-за нее многие женщины теряют сон. Ваша собеседница принадлежит к числу сплетниц.

Атташе посольства: Госпожа Фирмиани? Она не из Антверпена? Эта женщина лет десять тому назад была еще очень хороша. Я видел ее в Риме.

У дипломатов мания говорить в стиле Талейрана, их ум подчас так тонок, что их замечания непонятны; они похожи на тех игроков в бильярд, которые мажут с удивительной ловкостью. Обычно они хранят молчание, но если говорят, то только об Испании, Вене, Италии и Петербурге. Для них названия стран, как пружины: нажмите одну из них, и она пропоет вам свою мелодию.

— Не эту ли госпожу де Фирмиани можно часто встретить в Сен-Жерменском предместье?

Это сказано особой, которая жаждет принадлежать к высшему свету. Она всем прибавляет частицу «де»: г-ну Дюпену-старшему, г-ну Лафайету,— она бросает ее налево и направо, она позорит ею людей. Всю жизнь она беспокоится о том, чтобы все было, как в хорошем обществе; но, к ее несчастью, сама она живет в квартале Марэ и муж ее был стряпчим, правда, в королевском суде.

— Госпожа Фирмиани, сударь? Я ее не знаю.

Это говорит герцог. Он признает только дам, представленных ко двору. Простим ему это, он стал герцогом при Наполеоне.

— Госпожа Фирмиани? Не она ли была певицей в Итальянской опере?

Человек из породы глупцов. Люди этого типа отвечают на все вопросы. Они предпочитают скорей оклеветать, чем промолчать.

Две пожилые дамы (жены бывших чиновников).

Первая (на ней чепец с бантиками, лицо в морщинах, острый носик, в руках молитвенник, грубый голос): Госпожа Фирмиани, урожденная?..

Вторая (красное личико, похожее на сморщенное яблоко, нежный голосок): Она Кадиньян, душенька, племянница старого князя Кадиньяна и, значит, сродни герцогу Мофриньезу.

Госпожа Фирмиани — урожденная Кадиньян. Не будь у нее ни добродетели, ни молодости, ни богатства, она все равно останется Кадиньян. Быть Кадиньян — это ее исключительная привилегия.

Оригинал: Мой дорогой, я никогда не видел деревянных башмаков [1] в ее прихожей, ты можешь пойти к ней, не компрометируя себя, и играть там без опаски: если там и встречаются шулера, то это люди из общества; расходясь, они не ссорятся.

Старик из породы наблюдателей: Вы направляетесь к госпоже Фирмиани? Вы увидите, мой дорогой, красивую женщину, непринужденно сидящую у камина. Она едва ли поднимется с кресла, чтобы приветствовать вас; госпожа Фирмиани покидает его только ради дам, дипломатов, герцогов, людей значительных. Она изящна, очаровательна, умеет вести беседу и рассуждает на любую тему. Она производит впечатление страстной женщины, но ей приписывают слишком много обожателей, чтобы у нее был хоть один возлюбленный. Если бы подозрение падало лишь на двух или трех ее близких друзей, мы знали бы, кто ее любовник, но эта женщина — сама тайна. Она замужем, но мы никогда не видели ее мужа. Господин Фирмиани — персонаж

---

[1] Деревянные башмаки (socques) — уличная обувь французских простолюдинов.

почти фантастический, он похож на ту третью почтовую лошадь, за которую мы всегда платим, но никогда ее не видим.

Если верить артистам, г-жа Фирмиани — лучшее контральто в Европе, но она не пела и трех раз, с тех пор как живет в Париже; она принимает у себя многих, но сама не выезжает.

Наблюдатель вещает, как пророк. Надо принимать на веру его слова, анекдоты и изречения, чтобы не прослыть человеком необразованным и ограниченным. Ему ничего не стоит оклеветать вас в двадцати гостиных, где он бывает запросто и где его принимают, как пьесу, которая некогда имела успех, а теперь идет при пустом зале. Наблюдателю лет сорок, он никогда не обедает дома, считает себя неопасным для женщин, он напудрен, в коричневом фраке, у него всегда место в нескольких ложах в театре Буффона; иногда его принимают за паразита, но он занимает слишком высокую должность, чтобы заподозрить в нем приживала, к тому же он владеет землей где-то в департаменте, название которого хранит в тайне.

— Госпожа Фирмиани? Друг мой, это же бывшая любовница Мюрата.

А это человек, который любит противоречить. Люди этого сорта находят ошибки во всех мемуарах, исправляют все факты, бьются об заклад сто против одного, с уверенностью судят обо всем. Вы легко уличите их во лжи: в одном и том же обществе они говорят, что во время заговора Малле находились в Париже, забыв, что полчаса назад утверждали, будто в это же самое время переправлялись через Березину. Почти все они кавалеры ордена Почетного легиона, у них громкий голос, покатый лоб, они ведут крупную игру.

— Госпожа Фирмиани, сто тысяч ливров ренты? Да вы с ума сошли! Право же, люди приписывают вам доход в сотню тысяч ливров так же легко, как писатели награждают своих героинь богатым приданым. Но госпожа Фирмиани — кокетка, она совсем недавно разорила одного молодого человека и помешала ему выгодно жениться. Если бы она не была так красива, у нее бы не было ни гроша.

Этого человека вы узнаете, он принадлежит к породе

завистников, и мы не станем его описывать. Этот род людей так же хорошо известен, как порода домашних кошек. Чем объяснить постоянство этого порока? Ведь зависть не приносит никакой выгоды!

В январе 1824 года светские *люди*, литераторы, порядочные *люди* и вообще разные *люди* высказывали о г-же Фирмиани столь различные мнения, что было бы утомительно все их перечислять. Мы только хотели бы отметить, что человек, который интересовался бы ею, но не желал или не имел возможности быть принятым у нее, с полным правом мог бы считать ее одновременно вдовой и замужней женщиной, глупой и умной, добродетельной и безнравственной, богатой и бедной, чувствительной и бездушной, красивой и уродливой,— словом, на свете было столько г-ж Фирмиани, сколько классов в обществе, сколько сект в католицизме. Ужасная мысль! Мы все похожи на литографские камни, с которых злословие снимает бесконечное количество оттисков. А оттиски похожи на оригинал или же отличаются от него настолько неуловимыми оттенками, что наша репутация, если отбросить клевету друзей и газетные остроты, зависит от того, что каждый предпочтет: медленно ковыляющую истину или ложь, летящую на крыльях парижского остроумия.

Г-жа Фирмиани, подобно многим благородным и гордым женщинам, которые, обладая душевными сокровищами, презирают свет, могла бы сильно проиграть во мнении г-на де Бурбонна, старого землевладельца, заинтересовавшегося ею нынешней зимой. То был землевладелец, один из тех провинциальных помещиков, которые привыкли в каждое дело вносить полную ясность и торговаться с крестьянами. При таких занятиях невольно становишься проницательным — так в конце концов солдат приобретает храбрость в силу привычки. Этот любопытный житель Турени был весьма почтенным дворянином, и его не удовлетворяли высказывания парижан о г-же Фирмиани; у него был племянник, его единственный наследник, для которого он сажал тополя. Эта вполне естественная привязанность давала пищу довольно остроумным сплетням, распространяемым различными представителями туренского общества; но передавать их бесполезно: они бледнеют перед парижскими сплетнями.

Когда человек может думать без неудовольствия о своем наследнике, глядя на стройные ряды тополей, которые день ото дня становятся все красивее, это чувство крепнет с каждым ударом лопаты у подножия дерева. Хотя такое проявление чувствительности не совсем обычно, оно все еще встречается в Турени.

Этот нежно любимый племянник, по имени Октав де Кан, был потомком знаменитого аббата де Кана, хорошо известного библиофилам и ученым, что совсем не одно и то же. У провинциалов дурная привычка порицать по традиции молодых людей, распродающих свои наследственные земли. Этот старинный предрассудок вредит биржевым спекуляциям, которые до сих пор по необходимости поощряются правительством. Не посоветовавшись с дядей, Октав неожиданно распорядился своей землей в пользу черной шайки. Замок де Вилен был разрушен прежде, чем дядя успел вступить в переговоры с представителями компании Марто. Чтобы еще больше рассердить старика, друг Октава и его дальний родственник, один из тех бедных, но весьма ловких кузенов, о которых осторожные провинциалы говорят: «Я не хотел бы с ним судиться!» — зашел будто невзначай к г-ну де Бурбонну и сообщил ему о разорении племянника. По его словам, г-н Октав де Кан, промотав свое состояние на некую г-жу Фирмиани, вынужден давать уроки математики в ожидании наследства дядюшки, которому он не осмеливается признаться в своих проступках.

Этот дальний родственник, нечто вроде Карла Моора, не постыдился сообщить роковые вести старому деревенскому жителю в ту минуту, когда тот, сидя у широкого камина, переваривал обильный провинциальный обед. Но наследникам не так-то легко справиться с дядей, как бы им того ни хотелось. Г-н де Бурбонн из упрямства отказался поверить своему родственнику и благополучно избежал несварения желудка, которое могло быть вызвано рассказом о племяннике. Одни удары поражают сердце, другие — голову; удар же, нанесенный кузеном, пришелся на внутренние органы, но не достиг цели, потому что добряк имел превосходный желудок. Как истинный ученик святого Фомы, г-н де Бурбонн приехал в Париж без ведома Октава и пожелал разузнать подробности о разорении своего наследника.

Старый дворянин, у которого в Сен-Жерменском предместье сохранились еще связи с Листомерами, Ленонкурами и Ванденесами, услышал столько злословия, правды и лжи о г-же Фирмиани, что решил представиться ей под именем г-на де Рукселея, по названию своего поместья. Для знакомства с предполагаемой любовницей Октава осторожный старик умышленно выбрал вечер, когда Октав, как было ему известно, заканчивал хорошо оплачиваемую работу; ведь г-жа Фирмиани продолжала принимать своего друга каждый вечер — обстоятельство, которое никто не мог объяснить. А что до разорения Октава, то, к сожалению, это не было выдумкой.

Г-н де Рукселей нисколько не походил на дядюшку из театра Жимназ. Старый мушкетер, человек высшего общества, некогда имевший успех у женщин, он умел учтиво представиться, произнести любезные слова, помнил изысканные манеры былых времен и знал почти все правила галантного обхождения. Хотя он любил Бурбонов с благородной искренностью, верил в бога, как верят в него дворяне, и не читал ничего, кроме «Котидьен», он не был так смешон, как того желали бы либералы его департамента. Он мог бы занять свое место в придворных кругах, если бы при нем не говорили ни о «Моисее», ни о драме, ни о романтизме, ни о местном колорите, ни о железных дорогах. Он остался верен г-ну де Вольтеру, графу де Бюффону, Пейронне и кавалеру Глюку, музыканту из кружка королевы.

— Сударыня,— сказал старик маркизе де Листомер, которой он предложил руку, входя в гостиную г-жи Фирмиани,—если эта женщина — любовница моего племянника, то мне его жаль. Как может она жить в такой роскоши, зная, что он ютится на чердаке? Да есть ли у нее душа? Октав сошел с ума: растратить деньги, полученные за земли де Виллен, на такую...

Г-н де Бурбонн принадлежал к породе ископаемых и знал язык только старого времени.

— А если бы он проиграл их в карты?

— Ах, сударыня, тогда, по крайней мере, он получил бы удовольствие от игры.

— Вы думаете, он не получил удовольствия? Посмотрите на госпожу Фирмиани.

Самые приятные воспоминания старого дядюшки по-

бледнели при виде предполагаемой любовницы племянника. Его гнев угас вместе с любезной фразой, вырвавшейся у него при виде г-жи Фирмиани. Как это бывает только с привлекательными женщинами, она в этот вечер необычайно блистала красотой, быть может, благодаря мерцанию свечей, восхитительно простому туалету или какому-то особому изяществу обстановки, окружавшей ее. Следует изучить незначительные смены настроений в течение одного вечера в парижской гостиной, чтобы подметить неуловимые оттенки, которые могут украсить и изменить лицо женщины. Если парижанка довольна своим туалетом, находит себя остроумной, счастлива, что ею восхищаются, и чувствует себя королевой гостиной, полной выдающихся людей, которые смотрят на нее с улыбкой, она проникается сознанием своей красоты, своей грации; она расцветает тогда от всех устремленных на нее взглядов, она оживлена, а молчаливое восхищение всех передает едва уловимым взглядом своему возлюбленному. В эту минуту женщина как бы преисполняется сверхъестественной силы и становится волшебницей; бессознательно кокетливая, она невольно внушает любовь, втайне опьяняясь ею; ее улыбка и взгляд очаровывают. Если это воодушевление придает прелесть даже дурнушкам, то каким же блеском озаряется женщина, от природы элегантная, свежая, с изящной фигурой, ослепительно белой кожей, с живыми глазами, одетая с большим вкусом, в котором ей не могут отказать художники и ее самые жестокие соперницы!

Встречалась ли вам, на ваше счастье, женщина с мелодичным голосом, придающим очарование ее словам и манерам, женщина, которая умеет и говорить и молчать, непринужденно занимает вас, удачно выбирает слова, чья речь безупречна? Ее насмешка ласкает, а критика не оскорбляет; она не рассуждает и не спорит, но ей нравится руководить спором, и она вовремя его прекращает. Она приветлива и весела, ее вежливость непринужденна, а предупредительность не раболепна; она внушает уважение, оставаясь только приятной мечтой; она никогда не утомляет и покидает вас довольным ею и собой. Вы найдете отпечаток милой грации на окружающих ее вещах. Все в ее доме ласкает взор, и вы как бы вдыхаете там родной воздух. Эта женщина естественна. У нее ни-

каких претензий, она ничего не афиширует, ее чувства выражаются просто, потому что они искренни. Она откровенна, но умеет не оскорбить ничьего самолюбия; она принимает всех такими, какими их создал бог, жалея людей порочных, прощая недостатки и смешные стороны, понимая все возрасты. Ее ничто не раздражает, потому что с ее тактом она предвидит все. Нежная и в то же время веселая, она приходит на помощь прежде, чем начинает утешать. Вы так ее любите, что, если этот ангел совершит ошибку, вы почувствуете себя готовым ее оправдать. Теперь вы знаете г-жу Фирмиани.

Стоило старику Бурбонну поговорить четверть часа с этой женщиной, сидя подле нее, как его племянник был оправдан. Он понял, что за истинной или вымышленной связью Октава и г-жи Фирмиани скрывается какая-то тайна. Возвратясь к иллюзиям, которые золотят первые дни нашей юности, старый дворянин судил о сердце г-жи Фирмиани по ее красоте и подумал, что женщина, которая кажется столь проникнутой чувством собственного достоинства, не способна на дурной поступок. Страсть, в которой ее обвиняли, казалось, не лежала камнем у нее на сердце; ее черные глаза говорили о таком душевном спокойствии, черты лица были так благородны, его овал так чист, что старик сказал себе, любуясь очаровательным лицом, этим залогом любви и добродетели:

— Мой племянник, вероятно, сделал какую-нибудь глупость.

По словам г-жи Фирмиани, ей было двадцать пять лет. Но люди положительные доказывали, что, если она вышла замуж шестнадцати лет в 1813 году, то в 1825-м ей должно быть, по крайней мере, двадцать восемь. Тем не менее они же утверждали, что никогда еще она не была так привлекательна и женственна. У нее не было детей; загадочный Фирмиани, весьма почтенный сорокалетний человек, в 1813 году мог, как говорили, предложить ей только свое имя и состояние. Итак, г-жа Фирмиани достигла наконец возраста, когда парижанка лучше всего понимает страсть и мечтает о ней, может быть, бессознательно, в часы досуга; она приобрела все, что продает свет, все, что он предлагает, все, что он дает; дипломаты считали, что она все знает, их противники

считали, что она еще многое может узнать, наблюдательные люди находили, что у нее беленькие ручки, маленькая ножка, движения, пожалуй, слишком томные; но все вместе они завидовали Октаву или оспаривали его счастье, сходясь во мнении, что она самая аристократически красивая женщина во всем Париже... Еще молодая, богатая, отличная музыкантша, умная, утонченная, принятая в память о Кадиньянах, с которыми она была в родстве по матери, у княгини де Бламон-Шоври, оракула аристократического предместья, любимая своими соперницами — герцогиней де Мофриньез, ее кузиной, маркизой д'Эспар и г-жой де Макюмер — она льстила всякому тщеславию, питающему или возбуждающему любовь. Слишком многие желали обладать ею, и потому она стала жертвой изящного парижского злословия и тех очаровательных пересудов, которыми так остроумно обмениваются, прикрывшись веером или беседуя наедине. Наблюдения, которыми открывается эта история, были необходимы, чтобы противопоставить настоящую г-жу Фирмиани Фирмиани, выдуманной светом. Если некоторые женщины прощали ей ее счастье, то другие были беспощадны к ее скромности; ведь нет ничего более ужасного, особенно в Париже, чем подозрения без основания: их невозможно опровергнуть. Этот набросок восхитительного своей естественностью образа дает о ней только слабое представление; нужна была бы кисть Энгра, чтобы изобразить гордый лоб, пышные волосы, величественный взгляд, все мысли, которые выражались бы особенными оттенками, свойственными цвету ее лица. В этой женщине было все: поэты могли одновременно видеть в ней Жанну д'Арк или Агнессу Сорель; но они нашли бы также незнакомую женщину, душу, спрятанную под обманчивым покровом, душу Евы, богатства зла и сокровища добра, порок и смирение, преступление и самоотверженность, донью Джулию и Гайди из «Дон-Жуана» лорда Байрона.

Старый мушкетер имел дерзость остаться последним в гостиной г-жи Фирмиани; он спокойно сидел в кресле с назойливостью мухи, которую нужно убить, чтобы от нее избавиться. Часы показывали два часа ночи.

— Сударыня,-- сказал старый дворянин в тот момент, когда г-жа Фирмиани поднялась, давая понять го-

стю, что он доставил бы ей удовольствие своим уходом,— сударыня, я дядя господина Октава де Кана.

Не в силах скрыть своего волнения, г-жа Фирмиани поспешно села. Несмотря на свою проницательность, садовод не понял, отчего она бледнела и краснела: от стыда или от удовольствия. К некоторым удовольствиям примешивается немного робкой стыдливости, того восхитительного волнения, которое даже самое целомудренное сердце желало бы оставить в тайне. Чем более деликатна женщина, тем больше желает она скрыть свои душевные движения. Многие женщины, непостижимые в своих божественных капризах, желают часто слышать, как произносится всеми имя, которое иной раз они хотели бы похоронить в своем сердце. Старик Бурбонн не совсем так истолковал смущение г-жи Фирмиани, но простим ему; деревенский житель был недоверчив.

— Итак, сударь? — сказала ему г-жа Фирмиани, бросая на него один из тех светлых, ясных взглядов, в которых мы, мужчины, никогда ничего не можем увидеть, потому что в них слишком глубоко запрятан вопрос.

— Итак, сударыня,— повторил дворянин,— знаете ли вы, что сообщили мне в глуши моей провинции? Мой племянник разорился из-за вас, несчастный ютится на чердаке, в то время как вы живете здесь в золоте и шелку. Вы мне простите мою деревенскую откровенность, вам, наверное, не мешает знать, как о вас злословят...

— Довольно, сударь! — сказала г-жа Фирмиани, останавливая дворянина повелительным жестом.— Я все это знаю. Вы слишком хорошо воспитаны, чтобы продолжать разговор на тему, которую я прошу оставить. Вы слишком галантны, в старом значении этого слова,— добавила она, придав своей фразе легкий оттенок иронии,— чтобы не знать, что не имеете ни малейшего права меня допрашивать. Наконец, смешно мне оправдываться. Я надеюсь, что вы достаточно хорошего мнения обо мне, чтобы поверить, какое глубокое презрение внушают мне деньги, хотя я и вышла замуж, не имея никакого состояния, за человека, обладавшего огромным состоянием. Мне безразлично, сударь, богат или беден ваш племянник. Если я принимала его, если я продолжаю его принимать, значит, я считаю, что он достоин быть в числе мо-

их друзей. Все мои друзья, сударь, уважают друг друга: они знают, что я не имею обыкновения принимать у себя людей, если не ценю их; быть может, я недостаточно милосердна; но мой ангел-хранитель до сих пор внушал мне глубокое отвращение к пустой болтовне и нечестности.

Хотя первые фразы этой тирады г-жа Фирмиани произнесла слегка изменившимся голосом, последние слова были сказаны с апломбом Селимены, высмеивающей Мизантропа.

— Сударыня,— продолжал граф взволнованным голосом,— я старик, почти отец Октаву и прежде всего почтительно прошу у вас прощения за один-единственный вопрос, который я осмеливаюсь задать: честное слово дворянина, ваш ответ умрет здесь,— сказал он, кладя руку на сердце, с движением поистине благоговейным.— Есть ли доля правды в этом злословии? Вы любите Октава?

— Сударь,— сказала она,— всякому другому я ответила бы только взглядом; но вас, именно потому, что вы почти отец господину де Кану, я спрошу, что бы вы подумали о женщине, если на ваш вопрос она сказала бы: «Да»? Признаться в своей любви тому, кого мы любим и кто нас любит... да... пожалуй; если мы уверены, что нас будут любить вечно, тогда поверьте, сударь, это признание для нас усилие, а для него — награда, но признаться другому!..

Г-жа Фирмиани не закончила, она встала, поклонилась добряку и исчезла в своих комнатах, двери которых с шумом сначала открылись, потом закрылись, и язык их был понятен для ушей садовода, разводившего тополя.

— Ах, черт возьми! — сказал себе старик.— Какая женщина! Это или само коварство или ангел.

И он направился к своей наемной карете; в тиши двора лошади время от времени били копытами по булыжной мостовой. Кучер спал, сто раз прокляв свою работу.

На следующее утро часов в восемь старый дворянин поднимался по лестнице дома на улице Обсерванс, где жил Октав де Кан. Молодой преподаватель был чрезвычайно удивлен, увидев своего дядю; дверь была не заперта, лампа Октава еще горела, он провел ночь за работой.

— Господин шутник,— сказал г-н де Бурбонн, садясь в кресло,— с каких это пор единственные наследники смеются (скромный стиль) над дядюшками, у которых двадцать шесть тысяч ливров годового дохода в прекрасных землях Турени? Знаете ли вы, что некогда мы уважали таких родственников? Посмотрим, можешь ли ты меня в чем-нибудь упрекнуть? Я плохо исполнял обязанности дяди? Требовал от тебя уважения? Отказывал в деньгах? Закрывал перед твоим носом дверь, предполагая, что ты пришел только для того, чтобы осведомиться о моем здоровье? Не самый ли снисходительный у тебя дядюшка, наименее надоедливый из всех, какие встречаются во Франции. Я не говорю, в Европе, это было бы слишком сильно сказано. Пишешь ты мне или не пишешь, я живу привязанностью, в которой ты поклялся мне, благоустраиваю для тебя самую прекрасную землю в провинции, землю, которой завидует весь департамент; но я хочу оставить ее тебе как можно позже. И разве не простительно это скромное желание? А этот господин продает свое поместье, живет, как лакей, у которого ни слуг, ни экипажа...

— Дядюшка!..

— Речь идет не о дяде, а о племяннике. Я имею право на твое доверие: итак, исповедуйся мне тотчас, это нетрудно, я знаю по опыту. Ты играл, потерял на бирже? Тогда скажи мне: «Дядюшка, я попал в беду!» И я заключу тебя в свои объятия. Но если ты солжешь мне более дерзко, чем это делал я в твоем возрасте, я продаю свои земли, помещаю деньги в пожизненную ренту, возобновляю дурные привычки своей молодости, если это еще возможно.

— Дядюшка...

— Я видел вчера твою госпожу Фирмиани,— сказал дядя, целуя кончики пальцев.— Она пленительна,— добавил он.— Я тебя одобряю, у тебя привилегия короля — согласие твоего дядюшки, если это доставит тебе удовольствие. А что касается благословения церкви, я думаю, оно бесполезно. Таинство брака стòит слишком дорого! Итак, скажи, ты разорился из-за нее?

— Да, дядюшка.

— А, плутовка! Я мог бы держать пари, что это так! В мое время придворные дамы так ловко разоряли муж-

чин, как этого не умеют делать ваши современные куртизанки. В ней я узнаю воскресший прошлый век.

— Дядюшка,— продолжал Октав с видом печальным и нежным,— вы ошибаетесь: госпожа Фирмиани заслуживает вашего уважения и искреннего обожания своих поклонников.

— Бедная молодежь всегда останется такой,— сказал г-н де Бурбонн.— Ну, продолжай, рассказывай сказки. К тому же ты должен знать, что я не со вчерашнего дня знаю толк в любовных приключениях.

— Дядюшка, вот письмо, которое вам все откроет,— ответил Октав, доставая изящный портфель, несомненно, ее подарок; когда вы его прочтете, я вам все расскажу и вы узнаете госпожу Фирмиани, которую не знает свет.

— Я забыл очки,— сказал дядя,— прочти мне его.

Октав начал так: «Мой любимый...»

— Так ты близок с этой женщиной?

— Да, конечно, дядюшка.

— И вы не в ссоре?

— В ссоре!..— повторил Октав, чрезвычайно удивленный.— Мы повенчались в Гретна-Грин.

— Хорошо,— возразил г-н де Бурбонн,— но тогда почему ты обедаешь за сорок су?

— Разрешите мне продолжать.

— Ты прав, я слушаю.

Октав снова взял письмо и с глубоким волнением прочел несколько страниц:

— «Мой любимый супруг, ты спрашивал меня о причине моей грусти; неужели она не только скрыта в моей душе, но и видна на моем лице, или же ты просто догадался о ней? А почему бы и не так? Ведь мы так душевно близки! К тому же я не умею лгать, и, быть может, в этом мое несчастье! Чтобы сохранить любовь, женщина должна быть всегда ласковой и веселой. Очевидно, мне надобно было тебя обмануть, но я этого не хотела, даже если бы речь шла о том, чтобы удвоить или сохранить счастье, которое ты мне даешь, мне расточаешь, которым ты меня наполняешь. О, мой дорогой, сколько признательности таит моя любовь! Я тоже хочу тебя любить постоянно, безгранично. Да, я хочу гордиться тобой. Ведь для нас, женщин, вся наша слава в тех, кого мы любим. Почет, уважение, честь — все это

разве не принадлежит тому, кто взял у нас все? Итак, мой ангел совершил ошибку. Да, дорогой мой, твое последнее признание заставило потускнеть мое прошлое счастье. С этой минуты я чувствую себя униженной в тебе, в тебе, которого я считала самым чистым из всех людей, самым любящим и самым нежным. Нужно верить в свое сердце, сердце ребенка, чтобы сделать это признание, которое стоит мне страшно дорого. Как, бедный ангел, твой отец украл состояние и ты, зная это, оставил его себе? Ты рассказал мне об этом подвиге прокурора в комнате, полной немых свидетелей нашей любви, и ты остаешься порядочным человеком, и ты считаешь себя благородным, и ты обладаешь мною, и тебе всего двадцать два года! Как это чудовищно! Я искала для тебя оправданий, я объясняла твою беззаботность легкомыслием юности. Я знаю, что в тебе еще много детского. Может быть, ты еще серьезно не задумывался над тем, что такое богатство и что такое честность. О, какую боль причинял мне твой смех! Подумай о разоренной семье, проливающей слезы, о молодых людях, проклинающих тебя, вероятно, каждый день, о старике, который каждый вечер говорит себе: «Я не лишился бы куска хлеба, если бы отец господина де Кана был честным человеком».

— Как! — вскричал г-н де Бурбонн, перебивая.— Ты имел глупость рассказать этой женщине о тяжбе твоего отца с Бурньефами? Женщины способны скорее промотать состояние, чем приобрести его...

— Зато они понимают, что такое честность. Позвольте мне продолжать, дядюшка.

— «Октав, никакая сила на свете не властна изменить язык чести. Загляни в свою совесть и спроси ее, каким словом назвать поступок, благодаря которому ты получил свое золото».

И племянник посмотрел на дядю, который опустил голову.

— «Я не открою тебе всех мыслей, осаждающих меня, они могут свестись к одной, и вот она: я не могу уважать человека, который сознательно загрязнил себя, присвоив сумму денег, какова бы она ни была. Сто су, украденные при игре, или шестьсот тысяч франков, добытые узаконенным обманом, одинаково бесчестят человека.

Я хочу тебе сказать: я считаю себя словно запятнанной любовью, совсем недавно еще составлявшей все мое счастье. Из глубины моей души поднимается голос, которого не может заглушить даже нежность. Ах, я плакала оттого, что во мне больше совести, чем любви. Соверши ты преступление, я, если бы смогла, спрятала б тебя на своей груди от людского суда, но моя преданность не идет так далеко. Любовь, мой ангел, у женщин означает самое безграничное доверие, соединенное с какой-то бессознательной потребностью почитать, обожать существо, которому она принадлежит. Я всегда представляла себе любовь в виде огня, который очищает все самые благородные чувства и заставляет их раскрыться. Я могу лишь добавить одно: приди ко мне бедным, и моя любовь удвоится, если это возможно; в ином случае откажись от меня. Если я тебя никогда не увижу, я знаю, что мне останется делать. Теперь слушай меня хорошенько! Я не хочу, чтобы ты отказался от своего состояния потому только, что это я тебе советую. Спроси свою совесть. Этот акт справедливости не должен быть жертвой во имя любви. Я твоя жена, а не любовница; речь идет не о том, чтобы угодить мне, а о том, чтобы я почувствовала к тебе еще более глубокое уважение. Если я ошибаюсь, если ты плохо разъяснил мне, в чем заключается дело твоего отца; наконец, если ты считаешь, что твое состояние принадлежит тебе по праву — о, я хотела бы убедиться, что ты не заслуживаешь никакого порицания! — решай, прислушавшись к голосу своей совести, действуй самостоятельно. Человек, который любит так искренне, как ты меня любишь, слишком уважает те святые чувства, которыми наделяет его жена, чтобы быть бесчестным. Я упрекаю себя в том, что так пространно тебе написала. Ведь одного слова могло быть достаточно, но моя любовь поучать увлекла меня. Я хотела бы, чтобы и ты меня чуть побранил, но не слишком. Дорогой мой, у кого из нас двоих власть, не у тебя ли? Ты сам должен замечать свои ошибки. Итак, мой повелитель, вы скажете, что я ничего не понимаю в политических спорах?»

— Итак, дядюшка? — спросил Октав, и глаза у него были полны слез.

— Но я вижу, что там еще что-то написано, заканчивай же.

— Конец письма предназначен только для возлюбленного.

— Хорошо,— сказал старик,— хорошо, дитя мое. У меня было много любовных приключений, но поверь мне, и я любил, et ego in Arcadia [1]. Мне только непонятно, почему ты даешь уроки математики.

— Дорогой дядюшка, я ваш племянник; не сказано ли этим в двух словах, что я истратил лишь небольшую часть капитала, оставленного мне отцом? После того, как я прочел это письмо, во мне все перевернулось, и я сполна заплатил проценты угрызениями совести. Я никогда не смогу описать вам, что я испытывал тогда. Когда я направлял свой кабриолет к Булонскому лесу, какой-то голос кричал мне: «Это твоя лошадь?» За едой я спрашивал себя: «Разве это не украденный обед?» Я стыдился самого себя. Чем более юной была моя честность, тем более пылкой она была. Прежде всего я побежал к госпоже Фирмиани. Боже, дядюшка, как в этот день радовалось мое сердце, как наслаждалась душа, это стоило миллионов! Мы с ней сосчитали, сколько я должен семейству Бурньеф, и я, вопреки мнению госпожи Фирмиани, сам присудил себя к уплате трех процентов; но всего моего состояния было недостаточно, чтобы сразу выплатить всю сумму. Мы уже тогда очень любили друг друга, были уже супругами, и она могла предложить, а я согласиться принять накопленные ею деньги...

— Как, при всех своих достоинствах эта прелестная женщина умеет еще экономить! — воскликнул дядя.

— Не смейтесь, дядюшка. Ее положение заставляет ее быть бережливой. В 1820 году ее муж уехал в Грецию и там умер три года тому назад; но до сих пор невозможно получить юридическое доказательство его смерти и завещание, которое он должен был составить в пользу своей жены; эта важная бумага была похищена, пропала или затерялась в стране, где акты гражданского состояния не ведутся так, как во Франции, и где нет консула. Госпожа Фирмиани, не зная, придется ли ей когда-нибудь рассчитываться с недоброжелательными наследниками, вынуждена содержать свои дела в исключительном порядке, чтобы в случае необходимости оставить свое богатство с таким достоинством, как Шато-

[1] И я был в Аркадии *(лат.)*.

бриан недавно покинул министерство. Ну, а я хочу приобрести собственное состояние, чтобы предложить моей жене богатство, если она будет разорена.

— И ты мне этого не сказал, и ты не пришел ко мне?.. Ах, племянник, знай же, что я достаточно люблю тебя, чтобы уплатить твои долги, долги дворянина. Я дядюшка для развязки, и я отомщу.

— Дядюшка, я знаю вашу мстительность, но позвольте мне разбогатеть своими собственными силами. Если вы хотите сделать мне одолжение, выплачивайте мне только по тысяче экю до тех пор, пока мне не понадобится капитал для какого-нибудь предприятия. Послушайте, я сейчас так счастлив, что моя единственная задача — жить. Я даю уроки, чтобы не быть никому в тягость. Ах, если бы вы знали, с каким удовлетворением я восстановил свою честь! После некоторых хлопот я нашел бедных и несчастных Бурньефов. Эта семья жила в жалком домике в Сен-Жерменском предместье. Старик-отец держал лотерейную контору, две дочери занимались хозяйством и вели счетные книги. Мать почти всегда больна. Обе дочери очаровательны, но они с горечью убедились в том, как мало ценит свет красоту без богатства. Какую картину я там застал! Если я вошел туда как соучастник преступления, то я вышел оттуда как честный человек и вернул доброе имя моему отцу. Ах, дядюшка, я его нисколько не осуждаю. Когда люди ведут тяжбу в суде, их охватывает такое увлечение, такая страсть, которые могут иногда сбить с пути даже самого честного человека на свете. Адвокаты умеют сделать законными самые нелепые претензии, законы имеют удобные оговорки для оправдания нечистой совести, и судьи имеют право ошибаться. Мое приключение было настоящей драмой. Быть провидением, осуществить одно из этих тщетных желаний: «Если бы нам с неба упали двадцать тысяч ливров ренты!» — желание, которое все мы произносим в шутку; вместо взгляда, полного проклятий, встретить восторженный взгляд, полный признательности, удивления, восхищения; подарить богатство разоренной семье, собравшейся вечером, при свете отвратительной лампы, перед нищенским очагом... Нет слов, чтобы изобразить подобную сцену. Моя исключительная справедливость казалась им несправедливой.

Наконец, если есть рай, то мой отец должен быть там теперь счастлив. А я любим, как ни один человек на земле. Госпожа Фирмиани дала мне больше, чем счастье, она наделила меня чуткостью, которой мне, может быть, недоставало. Поэтому я называю ее *моей дорогой совестью*, одним из тех слов любви, которые отвечают иным тайным движениям сердца. Честность приносит выгоду: я надеюсь, что вскоре разбогатею без чужой помощи, я занимаюсь теперь разрешением одной промышленной проблемы, и если достигну успеха, то заработаю миллионы.

— Дитя мое, у тебя душа твоей матери,— сказал старик, с трудом удерживая слезы, которые увлажнили его глаза при мысли о сестре.

В эту минуту, несмотря на расстояние, отделявшее жилище Октава де Кана от мостовой, молодой человек и его дядя услышали шум подъехавшего экипажа.

— Это она,— сказал Октав,— я узнаю ее лошадей по тому, как они остановились.

Действительно, г-жа Фирмиани не замедлила появиться.

— Ах! — произнесла она с досадой при виде господина де Бурбонна.— Но наш дядюшка не будет лишним,— поправилась она, слегка улыбнувшись.— Я хотела смиренно стать на колени перед супругом, умоляя его принять мое состояние. Австрийское посольство только что прислало мне документ, подтверждающий смерть Фирмиани. Благодаря австрийскому послу в Константинополе эта бумага составлена по всем правилам и к ней приложено завещание, которое хранил слуга, чтобы отдать его мне. Октав, вы можете все это принять. Итак, ты богаче, чем я, у тебя здесь сокровища, к которым только бог может что-нибудь прибавить,— продолжала она, указывая на сердце своего мужа.

Затем, не в состоянии скрыть своего счастья, она спрятала голову на груди Октава.

— Племянница моя, некогда и у нас были увлечения, теперь любите вы,— сказал дядя.— Вы принадлежите к лучшей и красивейшей части человечества; поэтому вы не виноваты в своих ошибках, они всегда исходят от нас.

Париж, февраль 1832 г.

ПОЛКОВНИК ШАБЕР

— Смотрите-ка, кто идет! Опять эта старая шинель к нам пожаловала!

Восклицание это вырвалось у юного писца из породы тех, кого в адвокатских конторах обычно зовут *мальчишками на побегушках;* он стоял опершись о подоконник и с аппетитом уплетал кусок хлеба; отщипнув немножко мякиша, насмешник скатал шарик и швырнул его в форточку. Пущенный меткой рукой, шарик подскочил почти до самой оконницы, стукнувшись предварительно о шляпу какого-то незнакомца, который пересекал двор дома по улице Вивьен, где проживал поверенный по делам г-н Дервиль.

— Хватит, Симонен, перестаньте дурачиться, а то я выставлю вас за дверь. Любой, самый бедный клиент, черт побери, прежде всего человек,— сказал письмоводитель, отрываясь от составления счета по судебным издержкам.

Обычно мальчик на побегушках — и Симонен не был исключением из общего правила — это юнец тринадцати — четырнадцати лет, который состоит в личном распоряжении письмоводителя и, бегая с повестками по судебным приставам и с прошениями в суд, выполняет частные поручения своего шефа и разносит также его любовные записки. Повадки у него — как у всех парижских мальчишек, а его участь — участь судейских щелкоперов. Такой юнец обычно не знает ни жалости, ни удержу, он неслух, пересмешник, сочинитель куплетов, выжига, лентяй. И все же почти у каждого такого мало-

летнего писца где-нибудь на шестом этаже есть старушка-мать, с которой он делит тридцать или сорок франков — все свое месячное содержание.

— А раз он человек, так почему же вы прозвали его старой шинелью? — спросил Симонен с невинным видом школьника, подловившего учителя на ошибке.

И он вновь принялся за хлеб с сыром, прислонившись плечом к косяку окна, ибо, подобно почтовым лошадям, привык отдыхать стоя; и сейчас он стоял, согнув в коленке левую ногу и слегка опершись носком правого башмака.

— Какую бы шутку сыграть нам с этим чучелом? — вполголоса произнес Годешаль, третий писец, прервав ход доказательств, из коих рождалось прошение, которое он диктовал четвертому писцу, меж тем как два новичка-провинциала тут же изготовляли копии.

Затем он возобновил свою импровизацию:

— ...*но по великой и многомудрой милости своей его величество король Людовик Восемнадцатый* (последнее слово полностью, слышите вы, Дерош, мудрый чистописатель!), *взяв в свои руки бразды правления, постиг* (а ну-ка, что он там такое постиг, этот жирный шут?) *высокую миссию, к выполнению коей был он призван божественным промыслом!.....* (знак восклицательный и шесть точек — не бойтесь, судейские святоши возражать не станут!). *И первой заботой его явилось, что и следует из даты упоминаемого ниже ордонанса, уврачевать раны, причиненные ужасными и прискорбными бедствиями революционного времени, восстановив верных и многочисленных слуг своих* (многочисленных — это должно польстить в суде!) *во владении всем непроданным их имуществом, буде оно находилось в общественном пользовании, в обычном или чрезвычайном владении казны, буде, наконец, в дарственном владении общественных учреждений, ибо мы с полным на то основанием утверждаем, что именно таков смысл и дух прославленного и справедливого ордонанса, изданного в...* Стойте-ка,— воскликнул Годешаль, обращаясь к писцам,—эта треклятая фраза расползлась на всю страницу! Так вот что,— продолжал он, проводя языком по корешку тетради, чтобы разнять склеенные листы толстой гербовой бумаги,— если вам хочется сыграть с ним шутку, давайте скажем, что наш патрон

принимает посетителей только от двух до трех часов утра. Посмотрим, приплетется ли тогда еще раз эта старая шельма!

И Годешаль вернулся к начатой фразе.

— *...изданного в...* Готово? — спросил он.

— Готово! — откликнулись хором писцы.

Все — диктовка, болтовня и заговор — шло одновременно.

— *...изданного в...* Папаша Букар, каким же числом датирован этот ордонанс? Надо поставить точки над i, канальство! Всё лишние страницы набегут!

— *Канальство...*— повторил один из писцов, прежде чем письмоводитель Букар успел ответить.

— Как, вы написали «канальство»? — воскликнул Годешаль, бросив на новичка уничтожающий и в то же время насмешливый взгляд.

— Ну да,— ответил Дерош, четвертый писец, наклонившись над копией своего соседа.— Он написал: «Надо поставить точки над i» и «канальство» через два «н».

Все писцы разразились громким смехом.

— Значит, вы, господин Гюре, полагаете, что канальство — термин юридический, и еще имеете смелость утверждать, что вы родом из Мортани! — ввернул Симонен.

— Подчистите эту фразу, да хорошенько,— сказал письмоводитель.— Ежели член суда, облагающий пошлиной акты, заметит эти штуки, он решит, что мы не уважаем его бумагомарательства. Из-за вас, чего доброго, у патрона могут быть неприятности. Прошу вас, господин Гюре, впредь таких глупостей не писать. Нормандец обязан думать, когда он составляет прошения. Это, так сказать, альфа и омега нашего сословия.

— *...изданного в... в?..*— переспросил Годешаль.— Скажите же наконец, когда, Букар!

— В июне месяце 1814 года,— ответил письмоводитель, не отрываясь от своих бумаг.

Стук в дверь прервал на полуслове диктовку многословного прошения. Все пятеро писцов, крепкозубые, с блестящими насмешливыми глазами, подняли всклокоченные головы, обернулись к дверям и воскликнули нараспев:

— Войдите!

Один Букар продолжал спокойно сидеть, склонившись над грудой дел, именуемых на судейском жаргоне «мелочью», и составлял бесконечные счета по судебным издержкам.

Контора представляла собой просторную комнату со старинной печью — неизбежным украшением любого вертепа крючкотворства. Трубы, пересекавшие комнату по диагонали, сходились у заколоченного камина, на мраморной доске которого лежали куски хлеба, треугольные сырки бри, свиные котлеты, стояли стаканы, бутылки, чашка шоколада, предназначавшаяся для старшего письмоводителя. Ароматы пищи так основательно смешивались с чадом от жарко натопленной печки, с непередаваемым запахом, свойственным адвокатским конторам и залежавшимся бумагам, что даже зловоние лисьей норы было бы здесь нечувствительным. На полу, там, где наследили писцы, расплылись грязные лужицы подтаявшего снега. Возле окна стояло бюро с выпуклой поднимающейся крышкой, за которым восседал сам письмоводитель. К бюро был приставлен небольшой столик для его помощника. Помощник сейчас как раз «занимался судом». Было примерно восемь — девять часов утра. Единственное украшение комнаты составляли огромные желтые афиши, извещавшие о наложении ареста на недвижимое имущество, об аукционах при распродаже наследства, окончательных и предварительных судебных решениях — словом, все славные трофеи юридических контор. За спиной старшего письмоводителя стоял большой, во всю стену, шкаф; полки его были битком набиты связками бумаг, с которых сотнями свисали ярлычки и кончики красных шнурков — своеобразное отличие судейских документов. На нижних полках шкафа хранились пожелтевшие от времени папки, оклеенные по корешку синей бумагой, на которых можно было прочитать фамилии крупных клиентов, чьи лакомые дела «обстряпывались» в конторе. Грязные оконные стекла скупо пропускали дневной свет. Впрочем, в Париже вряд ли найдется контора, где можно писать без лампы февральским ранним утром, ибо все подобные места находятся в небрежении, что впрочем вполне понятно. Сюда заходят десятки людей, но ни один не задерживается здесь: банальное не привлекает ничьего внимания. Ни сам поверенный, ни его

клиенты, ни его писцы не дорожат благообразием помещения, которое для одних — классная комната, для других — проходной двор, для хозяина — кухня. Засаленную мебель передают из одних рук в другие с такой благоговейной щепетильностью, что в некоторых конторах и поныне еще можно обнаружить корзинки для бумаг и особые мешки с завязками, восходящие еще ко временам прокуроров при «Шле» — так сокращенно называлось «Шатле», что обозначало при старом режиме суд первой инстанции.

Как и все адвокатские конторы, эта полутемная, покрытая слоем жирной пыли комната, внушавшая посетителям отвращение, принадлежала к самым гнусным уродствам Парижа. Правда, существуют в Париже такие клоаки поэзии, как промозглая церковная ризница, где молитвы отсчитывают и продают, будто бакалейный товар, да лавчонка перекупщицы, где развешанное у входа тряпье умерщвляет все наши иллюзии жизни, показывая человеку, чем кончаются его радости,— но если не считать их, этих двух клоак, контора стряпчего — самое мерзкое из всех мест социального торга. Недалеко от них ушли игорные дома, суды, лотереи, злачные места. Почему? Быть может, потому, что драмы, разыгрывающиеся в душе человека, посетителя таких мест, делают его невосприимчивым к внешнему; этим же объясняется, быть может, невзыскательность великих умов и великих честолюбцев.

— Где мой ножик?

— Я завтракаю!

— Эх, черт, посадил на прошении кляксу!

— Тише, господа!

Все эти восклицания раздались как раз в ту самую минуту, когда старый посетитель закрыл за собой дверь с той смиренной робостью, которая сковывает движения людей обездоленных. Незнакомец попытался было улыбнуться, но он тщетно искал хоть проблеска привета на неумолимо безмятежных физиономиях писцов, и улыбка сбежала с его лица. Умея, должно быть, неплохо разбираться в людях, он с отменной вежливостью обратился к Симонену в надежде, что хоть этот юнец соблаговолит ему ответить.

— Могу я, сударь, увидеть вашего патрона?

Шалун ничего не ответил несчастному старику и только легонько постукал пальцами возле уха, как бы говоря: «Я глухой!»

— Что вам угодно, сударь? — спросил Годешаль, проглотив огромный кусок хлеба, которым можно было бы зарядить пушку, затем поиграл ножичком и закинул ногу на ногу так, что одна нога у него взлетела чуть ли не вровень с носом.

— Я прихожу сюда, сударь, в пятый раз,— ответил посетитель.— Мне хотелось бы переговорить с господином Дервилем.

— У вас к нему дело?

— Да, но я могу изложить его только самому господину...

— Патрон спит. Если вы хотите посоветоваться с ним по поводу каких-нибудь затруднений, приходите после полуночи, он только тогда всерьез принимается за работу. Но ежели вы пожелаете посвятить нас в ваше дело, мы поможем вам не хуже его...

Незнакомец не шелохнулся. Он смиренно и боязливо озирался вокруг, как собака, прошмыгнувшая украдкой в чужую кухню и ожидающая пинка. Одно из преимуществ профессии писца состоит в том, что ему не приходится опасаться воров; поэтому писцы г-на Дервиля не заподозрили ни в чем дурном человека в шинели и не мешали ему обозревать помещение, в котором он тщетно искал, куда бы присесть, так как, видимо, был сильно утомлен. В конторе стряпчего умышленно не ставят лишних стульев. Пусть какой-нибудь клиент попроще, устав от долгого стояния, и поворчит, уходя из конторы, зато он не отнимет лишнего времени, которое, по выражению одного бывшего прокурора, еще до сих пор не «таксировано».

— Сударь,—ответил старик,—я уже имел честь предварить вас, что могу изложить свое дело только самому господину поверенному. Я подожду, когда он проснется.

Букар закончил свои подсчеты. Привлеченный запахом шоколада, он встал с плетеного кресла, подошел к камину, смерил старика взглядом и, присмотревшись к его поношенной шинели, состроил неописуемую гримасу. Должно быть, он увидел, что, как ни жми этого клиента, из него не выжмешь ни сантима, и, желая избавить контору от

невыгодного посетителя, решил вмешаться и положить конец разговору.

— Они сказали вам правду. Патрон работает только по ночам. Если у вас важное дело, советую зайти к нему в час ночи.

Старик растерянно взглянул на письмоводителя и, казалось, застыл на месте. Привычные к прихотливой игре человеческих физиономий, к странным повадкам клиентов, в большинстве своем людей нерешительных и тяжелодумов, писцы забыли про старика и продолжали завтракать, шумно, как лошади, перемалывая челюстями пищу.

— Что ж, сударь, я зайду нынче вечером,— произнес старик, который с настойчивостью, присущей всем несчастным, хотел вывести лжецов на чистую воду.

Единственный вид мщения, доступный обездоленным,— поймать правосудие и благотворительность на недостойных увертках. Изобличив неправедное общество, бедняк спешит обратиться к богу.

— Ну и упрямая же башка! — воскликнул Симонен, не дожидаясь, когда за стариком захлопнется дверь.

— Его как будто из могилы вырыли.— вставил один из писцов.

— Вероятно, это какой-нибудь бывший полковник, хлопочет о пенсии,— сказал письмоводитель.

— Ничего подобного, он просто бывший привратник,— возразил Годешаль.

— Хотите пари, что он из благородных? — воскликнул Букар.

— Бьюсь об заклад, что швейцар,— заявил Годешаль.— Одни только отставные швейцары самой природой предназначены носить такие потрепанные, засаленные шинели с разодранными полами. Видели, какие у этого старика стоптанные, дырявые сапоги? А галстук? Галстук у него вместо рубашки. Да он наверняка под мостами ночует.

— Можно быть дворянином и отворять двери жильцам,— воскликнул Дерош.— Случается ведь!

— Нет,— возразил Букар среди дружного смеха,— бьюсь об заклад, что в тысяча семьсот восемьдесят девятом году он был пивоваром, а при Республике — полковником.

— Что ж, если он когда-нибудь был военным, я проиграл пари и поведу вас всех на какое-нибудь представление.

— Ладно,— ответил Букар.

— Сударь, сударь! — закричал юный Симонен, распахивая окошко.

— Что ты там опять затеял, Симонен? — спросил Букар.

— Я позвал его, чтобы спросить, полковник он или привратник. Пускай сам скажет.

Писцы так и покатились со смеху. Тем временем старик уже поднимался по лестнице.

— А что мы ему скажем? — воскликнул Годешаль.

— Предоставьте это мне! — заявил Букар.

Несчастный старик робко вошел в комнату, не поднимая головы, чтобы при виде еды не выдать себя голодным блеском глаз.

— Сударь,— обратился к нему Букар,— не сообщите ли вы нам вашу фамилию на тот случай, если патрон пожелает узнать...

— Шабер.

— Шабер? Уж не тот ли полковник, что был убит при Эйлау? — осведомился Гюре, которому не терпелось тоже сострить.

— Он самый, сударь,— ответил старик с величавой простотой.

И он вышел из конторы.

— Выиграл!

— Ну и умора!

— Уфф!

— О!

— А!

— Бум!

— Ай да старик!

— Тру-ля-ля!

— Вот так штука!

— Господин Дерош, вы задаром пойдете в театр,— обратился Гюре к четвертому писцу, награждая его толчком, который свалил бы и носорога.

Засим последовала буря восклицаний, криков, смеха, для изображения коих пришлось бы исчерпать весь запас звукоподражаний.

— А в какой театр мы пойдем?

— В оперу,— объявил письмоводитель.

— Прежде всего,— сказал Годешаль,— театр вовсе не был оговорен. При желании я могу сводить вас поглядеть на мадам Саки́.

— Мадам Саки́ не представление!

— А что такое представление вообще? — продолжал Годешаль.— Давайте выясним сначала фактическую сторону дела. На что я держал пари, господа? На представление! А что такое представление? То, что представляется взору...

— Но, исходя из этого, вы, чего доброго, покажете нам в качестве представления воду, бегущую под Новым мостом,— перебил его Симонен.

— ...то, что представляется взору за деньги,— закончил Годешаль.

— Но за деньги можно видеть тысячу вещей, которые отнюдь не являются представлением. Определение грешит неточностью,— вставил Дерош.

— Да выслушайте вы меня наконец!

— Вы запутались, дружище,— сказал Букар.

— Курциус — представление или нет? — спросил Годешаль.

— Нет,— возразил письмоводитель,— это кабинет восковых фигур.

— Ставлю сто франков против одного су,— продолжал Годешаль,— что кабинет Курциуса есть собрание предметов, которое можно именовать представлением. Он содержит нечто, что можно обозреть за различную плату, в зависимости от занимаемого места.

— Вот уж чепуха! — воскликнул Симонен.

— Берегись, как бы я не влепил тебе затрещину, слышишь! — пригрозил Годешаль.

Писцы пожали плечами.

— Впрочем, вовсе еще не доказано, что эта старая обезьяна над нами не подшутила,— промолвил Годешаль под взрывы дружного хохота, заглушившего его рассуждения.— На самом деле полковник Шабер давно умер, супруга его вышла вторично замуж за графа Ферро, члена государственного совета. Госпожа Ферро — одна из наших клиенток.

— Прения сторон переносятся на завтра,— заявил

Букар. — За работу, господа! Хватит бездельничать! Заканчивайте побыстрей прошение, оно должно быть подано до заседания Четвертой палаты. Дело будет разбираться сегодня. Итак, по коням!

— Если это полковник Шабер, почему же он не дал хорошего пинка негоднику Симонену, когда тот разыгрывал перед ним глухого? — спросил Дерош, полагая, очевидно, что это аргумент более веский, нежели речь Годешаля.

— Поскольку дело не выяснено,— заявил Букар,— условимся пойти во Французский театр, во второй ярус, смотреть Тальма́ в роли Нерона. Симонен будет сидеть в партере.

Сказав это, письмоводитель направился к своему бюро, остальные последовали его примеру.

— *...изданного в июне тысяча восемьсот четырнадцатого года* (последние слова полностью),— произнес Годешаль.— Готово?

— Готово! — откликнулись оба переписчика и писец; перья их заскрипели по гербовой бумаге, и комната наполнилась шумом и шорохом, как будто сотня майских жуков, посаженных школьником в бумажный фунтик, разом зацарапалась об его стенки.

— *И мы надеемся, что господа судьи...*— продолжал импровизатор.— Стойте-ка! Давайте я перечту фразу. Я сам уж теперь ничего не понимаю.

— Сорок шесть... (Что ж! Бывает! Бывает!) и три, итого сорок девять,— пробормотал Букар.

— *И мы надеемся,*— продолжал Годешаль, перечитав написанное,— *что господа судьи окажутся достойными августейшего творца ордонанса и оценят по достоинству нелепые притязания со стороны администрации капитула ордена Почетного легиона, дав закону широкое толкование, предложенное нами здесь.*

— Не угодно ли вам, господин Годешаль, стаканчик воды? — спросил юный писец.

— Вечно этот пустомеля Симонен! — воскликнул Букар. — А ну-ка, живо! Бери пакет и несись на своих на двоих в Дом инвалидов.

— *Предложенное нами здесь,*— продолжал Годешаль.— Прибавьте: *в интересах госпожи* (полностью!) *виконтессы де Гранлье.*

— Как!—воскликнул старший письмоводитель.— Вы отваживаетесь составлять прошения по делу виконтессы де Гранлье против Почетного легиона, которое контора ведет на свой риск! Вы, как я вижу, простофиля! Соблаговолите сохранить копии и черновики, они мне пригодятся в деле Наварренов против богоугодных заведений. А сейчас уже поздно, я сам напишу коротенькое прошение с необходимыми «принимая во внимание» и пойду в суд...

Подобные сцены принадлежат к бесчисленным развлечениям молодости, и, вспоминая их на склоне лет, обычно говорят: «А славное все-таки было времечко».

Около часу ночи незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, постучался у дверей г-на Дервиля, поверенного в делах при суде первой инстанции Сенского департамента. Привратник сообщил ему, что г-н Дервиль еще не возвращался. Старик сослался на то, что ему назначено прийти, и поднялся к знаменитому правоведу, слывшему, несмотря на свою молодость, одной из самых светлых голов Судебной палаты. Посетитель неуверенно позвонил и с немалым удивлением увидел письмоводителя, раскладывавшего на обеденном столе в столовой Дервиля многочисленные папки с делами, подготовленными к слушанию на следующий день. Письмоводитель, не менее удивленный, поздоровался с полковником и попросил его присесть. Посетитель сел.

— Ей-богу же, сударь, я решил, что вы подшутили надо мной вчера, назначив для посещения такой поздний час,— сказал старик с вымученной веселостью бедняка, пытающегося казаться любезным.

— Писцы шутили, и, тем не менее, они сказали правду,— ответил старший письмоводитель, продолжая свою работу.— Господин Дервиль отвел это время для подготовки дел: он обдумывает методы защиты, подбирает доказательства, предусматривает возможные осложнения. Его удивительный ум чувствует себя наиболее свободно в эти часы, когда ночная тишина и спокойствие благоприятствуют появлению удачных мыслей. С тех пор как он практикует, вы третий по счету, кто получит совет в такой час. Возвратившись домой, наш патрон изучит каждое дело, прочтет все от доски до доски, про-

сидит за работой пять — шесть часов, потом вызовет меня и даст мне указания. Утром, с десяти до двух, он принимает посетителей, а остаток дня посвящает деловым свиданиям. Вечерами он бывает в обществе, чтобы поддержать необходимые связи. Таким образом, в его распоряжении остается только ночь, для того чтобы вникнуть в судебные решения, порыться в арсенале кодексов, наметить план битвы. Он не хочет проиграть ни одного процесса, он любит свое искусство. В отличие от многих своих коллег он не возьмется за любое дело. Такова его жизнь. На редкость деятельный человек! Ну, и зарабатывает он немало.

Слушая объяснения письмоводителя, старик хранил глубокое молчание, и Букар, мельком взглянув на его странную физиономию, не озаренную ни малейшим проблеском мысли, решил оставить его в покое. Через несколько минут появился Дервиль, он был в бальном фраке. Письмоводитель отпер ему дверь и снова взялся за свои папки.

Мгновение изумленный молодой стряпчий стоял неподвижно, стараясь разглядеть в полумраке необычайного посетителя. Полковник Шабер тоже застыл на стуле, и его можно было принять за восковую фигуру из того самого кабинета Курциуса, куда Годешаль предлагал сводить своих друзей. Впрочем, сама по себе эта неподвижность не бросалась бы так в глаза, если бы она не довершала того сверхъестественного зрелища, какое являл собой весь облик полковника. Старый солдат был на редкость сух и тощ. Гладкий парик, намеренно надвинутый на лоб, придавал ему таинственный вид. Глаза были словно подернуты прозрачной пленкой; напрашивалось сравнение с помутневшим перламутром, переливающимся в свете канделябров синеватыми отблесками. Бледное, без кровинки, лицо, узкое, как лезвие ножа, если позволительно прибегнуть к такому избитому выражению, казалось лицом мертвеца. Шея была повязана плохоньким галстуком из черного шелка. Густая тень окутывала все, что находилось ниже этой грязной тряпицы, и человек с пылким воображением мог бы подумать, что это лицо — фантастическое порождение мрака, или принял бы его за портрет кисти Рембрандта, вынутый из рамы. Поля низко надвинутой на лоб шляпы бросали

черную полосу тени на всю верхнюю часть лица. Эта причудливая, хотя и вполне объяснимая игра света подчеркивала в силу резкого контраста извилистые и холодные линии глубоких морщин, общий мертвенный тон этого бескровного, как у покойника, лица. И, наконец, полнейшая неподвижность тела, этот взгляд, лишенный тепла, как нельзя полней отвечали выражению какого-то унылого безумия, унизительным приметам идиотизма и придавали лицу старика зловещее выражение, которое нельзя передать словами. Но человек наблюдательный, и тем более юрист, мог распознать на лице сраженного судьбою старца отпечаток глубокой скорби, следы бед, исказивших черты подобно тому, как дождь капля за каплей разрушает самый прекрасный мрамор. Врач, писатель, судья разгадали бы целую драму, соприкоснувшись с этим величавым уродством, напоминавшим те фантастические силуэты, которые художник, беседуя с друзьями, чертит рассеянной рукой на краешке литографского камня.

При виде Дервиля по телу незнакомца пробежала судорожная дрожь, подобная той, которая охватывает поэта, когда среди безмолвия ночи внезапный шум отрывает его от творческих мечтаний. Старик быстро сдернул с головы шляпу и поднялся со стула, чтобы поклониться молодому поверенному. Кожаная подкладка шляпы, очевидно, изрядно засалилась, и парик, прилипнув к ней, незаметно для самого полковника Шабера обнажил голый череп, чудовищно изуродованный косым шрамом, который шел от затылка до правого виска, образуя на всем своем протяжении толстый выпуклый рубец. Этот рассеченный надвое череп казался таким страшным, что ни Дервилю, ни его помощнику было не до смеха, когда грязный парик, которым несчастный прикрывал свой шрам, внезапно поднялся над головой вместе со шляпой. Их первой мыслью при виде этой раны было: «Так вот откуда улетучился разум!»

«Пусть он и не полковник Шабер, во всяком случае, он настоящий воин»,— подумал Букар.

— Сударь,— обратился к посетителю Дервиль,— с кем имею честь говорить?

— С полковником Шабером!

— С каким полковником Шабером?

— С тем, что погиб при Эйлау,— ответил старик.

Услышав эту странную фразу, письмоводитель и поверенный обменялись быстрым взглядом, говорившим: «Да он сумасшедший!»

— Сударь,— начал полковник,— я желал бы открыть мою тайну только вам лично.

Неустрашимость, присущая представителям закона,—черта, достойная упоминания. То ли в силу привычки встречаться с огромным количеством людей, то ли в силу непоколебимой уверенности в надежной защите уголовного кодекса, то ли в сознании важности своей миссии юрист, подобно врачу и священнику, входит повсюду, не зная страха. Дервиль сделал знак Букару, и тот удалился.

— Сударь,— сказал поверенный,— в течение дня я не особенно считаюсь со своим временем, но ночью каждая минута мне дорога. Посему говорите кратко и ясно. Излагайте ваше дело без отступлений. Если мне нужно будет, я сам попрошу у вас дополнительных сведений. Говорите.

Усадив своего необычного посетителя, Дервиль отошел к столу, приготовляясь слушать рассказ усопшего полковника, стал перелистывать дела.

— Быть может, сударь, вам известно,— начал мнимоусопший,— что я командовал при Эйлау кавалерийским полком. Я немало способствовал счастливому исходу знаменитой атаки Мюрата, давшей нам победу. По несчастному стечению обстоятельств моя кончина является фактом, так сказать, историческим, опубликованным в «Победах и завоеваниях», где он изложен весьма пространно. Мы прорвали три цепи русских, но враг быстро сомкнул ряды, и тогда нам пришлось пробиваться обратно, к своим. В ту минуту, когда, рассеяв русских, мы уже добирались до императорской ставки, я наскочил на крупный кавалерийский разъезд противника. Я кинулся на этих упрямцев. Два русских офицера — оба настоящие великаны — разом налетели на меня. Один из них ударил меня саблей по голове и глубоко раскроил мне череп, разрубив и каску и черную шелковую ермолку, которую я, по своему обыкновению, всегда надевал под нее. Я упал с лошади. Мюрат поспешил нам на выручку, но и он и весь его отряд—как-ни-

как полторы тысячи человек — промчались над моим телом. О смерти моей доложили императору, и он предосторожности ради (он все-таки любил меня) пожелал узнать, нет ли какой-нибудь надежды спасти человека, которому он был обязан успехом яростной атаки. Он послал двух хирургов отыскать меня и перенести в госпиталь, сказав им, вероятно, на ходу, так как у него были дела поважнее: «Подите посмотрите, жив ли еще мой бедный Шабер!» А эти окаянные лекаришки, видевшие, как надо мной пронеслись копыта коней двух полков, не удосужились даже пощупать мне пульс и заявили, что я мертв. Таким образом, вероятно, был составлен акт о моей кончине с точным соблюдением установленной законом формы.

Услышав столь ясное изложение фактов, хотя и странных, но все же весьма правдоподобных, молодой поверенный отложил бумаги, оперся локтем на стол и, склонив на руку голову, внимательно взглянул на своего посетителя.

— Знаете ли вы, сударь,— прервал он старика,—что я поверенный графини Ферро, вдовы полковника Шабера?

— Моей жены? Знаю, знаю, сударь. Я обращался к десяткам юристов, но все мои попытки остались тщетными: меня принимали за сумасшедшего; и в конце концов я решил поговорить с вами. О своих злоключениях расскажу позже. Разрешите сначала ознакомить вас с фактами, объяснить, как все произошло,— конечно, в той мере, в какой я могу восстановить всю картину. Некоторые обстоятельства, кои ведомы одному отцу нашему предвечному, вынуждают меня говорить о многом лишь предположительно.

Итак, сударь, полученные мною ранения, очевидно, вызвали у меня столбняк или же я был поражен иным недугом, близким к болезни, именуемой, если не ошибаюсь, каталепсией. Как иначе истолковать то, что, по обычаям войны, я был раздет могильщиками донага и брошен в братскую могилу? Позвольте мне привести здесь одну подробность, ставшую мне известной значительно позже события, которое нельзя назвать иначе, как моей смертью. В тысяча восемьсот четырнадцатом году я встретил в Штутгарте бывшего вахмистра моего

полка. Этот славный малый, единственный, кто пожелал признать меня и о котором я расскажу в свое время, открыл мне тайну моего чудесного спасения. По его словам, моя лошадь была ранена ядром в бок как раз в тот момент, когда мне был нанесен ужасный удар. Конь и всадник рухнули наземь одновременно, как картонные фигурки. Я упал направо или налево — не знаю уж,— а на меня, должно быть, свалился труп моего коня, укрывший меня от лошадиных копыт и смертоносных ядер.

Когда я пришел в себя, то оказался в положении и в обстановке столь исключительных, что мне нечего и надеяться дать вам, сударь, представление о них, рассказывай я хоть до завтрашнего утра. Я задыхался в зловонном воздухе. Хотел пошевелиться, но был стиснут со всех четырех сторон. Я открыл глаза, но не увидел ничего. Недостаток воздуха был, пожалуй, страшнее всего, и мне стало окончательно ясно, в каком положении я нахожусь. Я понял, что туда, где я очутился, закрыт доступ свежего воздуха и что мне грозит неминуемая гибель. При этой мысли я вдруг позабыл о жгучей боли, от которой очнулся. В ушах у меня нестерпимо гудело. Я услышал, или по крайней мере мне почудилось, что услышал, стенания сонма мертвецов, среди коих покоился и я. Хотя воспоминания мои об этих мгновениях весьма сбивчивы, хотя в памяти у меня все смутно, но и теперь, несмотря на перенесенные мною впоследствии еще горшие муки, затуманившие мое сознание, мне иной раз целыми ночами напролет слышатся эти приглушенные стоны! Все же страшней этих стонов была тишина, которой я до того и представить себе не мог,— подлинно могильная тишина! Наконец, подняв кверху руки, ощупывая мертвые тела, я обнаружил пустоту между моей головой и верхним слоем трупов. Я мог, таким образом, измерить пространство, отпущенное мне милостью случая, объяснить который я не берусь. Скорее всего по нерадению или в спешке могильщики побросали нас в яму навалом, и два трупа легли надо мной крест-накрест, образуя угол, вроде двух карт, как кладет их дитя, строя карточный домик. Шаря вокруг себя с лихорадочною поспешностью, потому что медлить в моем положении не приходилось, я, к счастью, наткнулся на чью-то оторван-

ную руку, ручищу Геркулеса, которой я и обязан своим спасением. Без этой нежданной подмоги мне бы несдобровать! Можете себе представить, с каким яростным упорством я стал пробиваться сквозь трупы, которые отделяли меня от слоя земли, прикрывшего нас,— я говорю «нас», как будто там были живые! Трудился я, поверьте, неистово — иначе, сударь, меня бы не было здесь перед вами. Но и по сей день я не могу постичь, как это мне удалось пробиться сквозь груду тел, преграждавших мне доступ к жизни. Вы возразите, что у меня имелась третья рука! И правда, действуя с немалой ловкостью этим рычагом, я раздвигал трупы и, дыша спертым воздухом, рассчитывал каждый свой вздох. Наконец я увидел свет, сударь, но он пробивался сквозь снег! В эту самую минуту я заметил, что у меня рассечен череп. К счастью, запекшейся кровью — моей собственной и кровью моих товарищей, а быть может, и лоскутом шкуры павшего моего коня — кто знает! — облепило мне голову, как пластырем. Но когда мой череп коснулся снега, я, несмотря на эту защитную корку, все же лишился чувств. Однако малой толики тепла, тлевшего еще в моем теле, оказалось достаточно, чтобы растопить слой снега, и когда я пришел в себя, я увидел над своей головой небольшое отверстие и стал кричать из последних сил. Но солнце еще только вставало над горизонтом, и мог ли я надеяться, что меня услышат? Да и была ли в поле хоть одна живая душа? Я приподнялся, напрягая ноги, с силой упираясь в трупы, у которых, на мое счастье, оказались весьма крепкие ребра. Вы сами поймете, сударь, что вряд ли уместно было бы обратиться к ним в такую минуту со словами: «Хвала вам, погибшие храбрецы!» Короче, в течение нескольких часов я невыносимо страдал, если только это слово может передать мою ярость при виде проклятых немцев, которые, заслышав человеческий голос там, где не видно было ни одного живого существа, улепетывали со всех ног. Наконец меня спасла какая-то женщина — у нее хватило смелости, а быть может, просто любопытства, приблизиться к моей голове, казалось, вдруг выросшей прямо из земли, как гриб. Женщина сбегала за своим мужем, и они вдвоем перенесли меня в свою убогую лачугу. Должно быть, у меня снова началась каталепсия,— раз-

решите мне воспользоваться этим словом, дабы определить состояние, о котором мне самому ничего не известно, которое, судя по рассказам моих спасителей, являлось симптомом именно этого недуга.

Целых полгода я находился между жизнью и смертью, то не мог произнести ни слова, а то бредил. Наконец мои хозяева устроили меня в госпиталь, находившийся в Гейльсберге. Вы понимаете, сударь, что я вышел из чрева земли столь же нагим, как из чрева матери; и когда через шесть месяцев, придя в сознание и вспомнив, что я полковник Шабер, я потребовал, чтобы сиделка оказывала мне больше почтения, чем неизвестному бродяге, каким меня здесь считали, все мои товарищи по палате чуть не умерли со смеху. К счастью для меня, хирург из самолюбия поручился за мое выздоровление и, вполне натурально, заинтересовался своим больным. Когда я подробно рассказал ему мою прежнюю жизнь, этот славный малый — звали его Шпархман — распорядился официально засвидетельствовать, с соблюдением всех юридических формальностей, требуемых местным законодательством, мое чудесное спасение из братской могилы, день и час, когда меня подобрали моя благодетельница и ее супруг, характер, точную картину моих ранений и присовокупил к этим многочисленным протоколам подробное описание моей внешности. Но, сударь, у меня на руках нет ни этих важнейших бумаг, ни моего показания, засвидетельствованного гейльсбергским нотариусом, на предмет установления моей личности. Когда военные действия вынудили меня покинуть Гейльсберг, я начал скитаться по свету, выпрашивая корку хлеба. Меня чурались, как сумасшедшего, когда я пытался рассказать свои злоключения; я не мог заработать ни гроша, чтобы оплатить бумаги, которые могли доказать правоту моих слов и вернуть мне мое место в обществе. Нередко немощи удерживали меня на целые месяцы в каком-нибудь городишке, где хоть и заботились о больном французе, но смеялись ему прямо в лицо, когда он пытался доказать, что он полковник Шабер. Долгое время насмешки и недоверие приводили меня в бешенство, но эти вспышки только вредили мне и явились причиной моего заточения в штутгартский сумасшедший дом. По правде говоря, вы сами можете судить

из моих рассказов, что имелось немало оснований упрятать меня туда.

Я провел в сумасшедшем доме два года и сотни раз вынужден был выслушивать пояснения моих сторожей: «Вот несчастный, вообразивший себя полковником Шабером!» — и замечания сердобольных посетителей. В конце концов я и сам уверился в неправдоподобности моих злоключений: я смирился, стал тихим, покорным и уже не называл себя полковником Шабером, лишь бы только выбраться на волю, увидеть Францию. О сударь, вновь увидеть Париж! Я был одержим этой...

Не докончив фразы, полковник Шабер впал в глубокое раздумье, которое Дервиль из уважения к своему необычайному просителю не решался прервать.

— Итак, сударь,— продолжал полковник,— в один прекрасный день, в прекрасный весенний день мне вручили десять талеров и выпустили на волю на том основании, что я обо всем рассуждаю вполне здраво и более не называю себя полковником Шабером. И, поверьте, с того дня, да и сейчас еще временами, мне ненавистно мое собственное имя. Я желал бы не быть самим собой. Меня убивает сознание моих прав. О, если бы болезнь унесла с собой память о прежней моей жизни, я был бы счастлив! Я поступил бы под вымышленным именем на военную службу и, кто знает, стал бы, возможно, фельдмаршалом в Австрии или в России!

— Сударь,— сказал поверенный,— я и сам не знаю, что подумать. Я слушал вас как во сне. Умоляю вас, передохнем немного.

— Сударь, вы единственный человек,— с грустью произнес полковник,— который согласился терпеливо выслушать меня. Ни один юрист не пожелал дать мне взаймы десяти наполеондоров, чтобы я мог получить из Германии бумаги, необходимые для ведения дела...

— Какого дела? — спросил Дервиль, который, слушая рассказ своего посетителя о прошлых страданиях, забыл о его теперешнем плачевном положении.

— Как, сударь, разве графиня Ферро не моя жена? У нее тридцать тысяч ливров годовой ренты, моей собственной ренты, а она не хочет дать мне ни гроша. Когда я излагаю все это юристам, то есть людям здравого смысла; когда я, нищий, предлагаю начать дело против графа и

графини; когда я, мертвец, восставший из могилы, оспариваю свидетельство о смерти, брачное свидетельство и свидетельство о рождении, законники выпроваживают меня прочь: кто с ледяной вежливостью, которую вы, знатоки права, умеете напускать на себя, чтобы отделаться от назойливого бедняка, кто грубо, как полагается людям, решившим, что перед ними мошенник или безумец. Я был погребен под грудами мертвецов, а ныне я погребен под грудами бумаг, судебных дел; я раздавлен живыми людьми, целым обществом, которое жаждет упрятать меня вновь в могилу.

— Соблаговолите же,— сказал адвокат,— продолжить ваш рассказ.

— *Соблаговолите*...— повторил несчастный, схватив за руку молодого юриста.— Соблаговолите — вот первое уважительное слово, обращенное ко мне с тех пор, как...

Полковник заплакал. Голос его пресекся от переполнявшей его благодарности. То проникновенное и неизъяснимое красноречие, которое проявляется во взгляде, в жесте, даже в самом молчании, окончательно убедило Дервиля и растрогало его до глубины души.

— Послушайте,— обратился он к своему посетителю,— нынче вечером я выиграл триста франков. Я могу употребить половину этой суммы на доброе дело. Я начну розыски и постараюсь раздобыть бумаги, о которых вы говорили, а пока они не прибудут, буду выдавать вам по сто су на день. Если вы действительно полковник Шабер, вы простите мизерность этой суммы молодому человеку, только еще начинающему свою карьеру. Продолжайте!

Незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, несколько секунд сидел в глубоком оцепенении — очевидно, безмерные несчастья вконец разрушили его веру в человека. Если он и стремился вернуть себе свою воинскую славу, свое состояние, свое имя, то, быть может, он действовал, лишь повинуясь тому необъяснимому чувству, росток которого пробивается в каждом сердце и которому мы обязаны изысканиями алхимиков, жаждою славы, открытиями астрономов и физиков — одним словом, всем, что заставляет человека стремиться к величию в своих деяниях и в своих идеях. В глазах такого человека свое собственное «я» — нечто второстепенное, подобно тому, как азартному игроку тщеславное удовлетворение

и радость победы дороже самого выигрыша. Слова молодого юриста воскресили этого человека, которого целых десять лет отвергали его собственная жена, правосудие, все общественное устройство. И наконец получить от поверенного десять червонцев, в которых ему отказывали столько времени, столько людей и под столькими предлогами! Полковник напоминал сейчас ту даму, которая, проболев пятнадцать лет лихорадкой, приняла свое выздоровление за какой-то новый недуг. Есть радости, которым больше не веришь: они придут, они сверкнут, как молния, они испепелят. Признательность старика была так сильна, что он не мог выразить ее словами. Поверхностный наблюдатель счел бы его холодным, но Дервиль угадал под этой застывшей оболочкой безграничную честность. Плуту красноречие не изменило бы.

— На чем я остановился? — спросил полковник с наивностью ребенка или солдата, ибо нередко можно обнаружить что-то детское в испытанном воине, и еще чаще в ребенке живет воин, особенно во Франции.

— Вы остановились на том, что вас выпустили из сумасшедшего дома,— подсказал поверенный.

— Вы знаете мою жену? — спросил полковник.

— Да,— ответил Дервиль, утвердительно наклонив голову.

— Ну, как она?

— Как всегда, восхитительна.

Старик грустно махнул рукой,— он, казалось, старался подавить терзавшую его тайную муку с той величественной и суровой покорностью судьбе, какая свойственна людям, прошедшим сквозь огонь и кровь сражений.

— Сударь,— произнес он почти весело, ибо несчастный полковник почувствовал, что снова дышит, что он вторично выбрался из могильного рва и растопил слой снега куда более плотный, чем тот, который когда-то обледенил его череп, и теперь он вбирал воздух полной грудью, как выпущенный на свободу узник.— Сударь,— повторил он,— будь я молод, хорош собой, ничего подобного со мной не произошло бы. Женщины верят только тому мужчине, который уснащает свои речи словами любви. Вот тогда-то они начинают суетиться, хлопочут, интригуют, просят, молят, лезут из кожи вон, готовы под присягой подтвердить что угодно, способны черт знает

на что ради того, кто им по сердцу. Какой же интерес мог представлять я для женщины? Я был страшнее покойника, в лохмотьях, я больше смахивал на эскимоса, чем на француза, и это я-то, я, слывший в тысяча семьсот девяносто девятом году первым щеголем, я — Шабер, граф Империи!

И вот в тот самый день, когда меня, как собаку, вышвырнули на улицу, я встретил вахмистра своего полка, о котором я вам уже говорил. Звался он Бутен. Этот бедняга да я составляли вдвоем невиданную по красе пару старых кляч. Я встретил его на бульваре и сразу же его признал, а он никак не мог угадать, кто я такой. Мы вместе с ним зашли в кабачок. Когда я назвал себя, он оглушительно захохотал, как будто мортира загремела. Его смех, сударь, причинил мне, пожалуй, одно из самых глубоких огорчений: он открыл мне, и притом без всяких прикрас, как сильно я переменился. Итак, я стал неузнаваем даже в глазах самого скромного, самого признательного своего друга! Некогда я спас жизнь Бутену, отплатив ему этим за такую же услугу. Не буду вам рассказывать, при каких именно обстоятельствах он спас меня от смерти. Произошло это в Италии, в Равенне. Нельзя назвать вполне благопристойным тот дом, где Бутен отвратил от меня предназначавшийся мне удар кинжала. В то время я еще не дослужился до чина полковника, мы с Бутеном были простыми кавалеристами. К счастью, кое-какие подробности этой истории были известны только нам двоим, и когда я ему их напомнил, он заколебался. Потом я рассказал ему о всех приключениях необыкновенной моей жизни. Хотя, по его словам, мои глаза, голос неузнаваемо изменились, хотя у меня не осталось ни волос, ни зубов, ни бровей и я стал белым, как альбинос, все же Бутен после долгого допроса, из которого я вышел с честью. признал наконец в безвестном бродяге своего полковника. Он, в свою очередь, рассказал мне о приключениях, не менее удивительных, чем мои. Бутен побывал у границ Китая, куда он хотел пробраться, бежав из сибирского плена. Он поведал мне о провале похода в Россию и о первом отречении императора. Новость эта сразила меня. Мы были с ним точно два диковинных обломка крушения, и нас пронесло по всему земному шару, подобно тому как в бурю океанская волна перека-

тывает камешки от берега к берегу. Если посчитать наши с ним странствия, мы повидали Египет, Сирию, Испанию, Россию, Голландию, Германию, Италию, Далмацию, Англию, Китай, Среднюю Азию, Сибирь; только в Индии да в Америке не были... Наконец Бутен, который мог передвигаться свободнее, нежели я, вызвался немедленно отправиться в Париж и сообщить моей жене, в каком положении я очутился. Я написал госпоже Шабер пространное письмо. Четвертое по счету, сударь! Ничего подобного со мной не могло бы случиться, будь у меня родня. Но, надо вам сказать, я бывший питомец сиротского приюта, солдат, единственное достояние коего — мужество, семья — весь мир, родина — Франция, а предстатель и защитник — сам господь бог. Нет, неправда! У меня был родной отец — наш император! О, если бы он был здесь! Если бы увидел он своего Шабера — так он меня называл — в теперешнем моем виде, как бы разгневался он! Да что поделаешь! Закатилось наше солнышко, и всем нам теперь холодно...

Конечно, упорное молчание моей жены могло объясняться политическими событиями. Бутен отправился в путь. Счастливец, как ему повезло! Он водил двух белых медведей, прекрасно выдрессированных, и этим жил. Я не мог сопровождать его: из-за моих болезней я был не в состоянии делать длительные переходы. Я прошел вместе с ним и его медведями часть пути, насколько позволило мое плохое здоровье, и, когда нам пришлось распроститься, я зарыдал. В Карлсруэ у меня разыгралась невралгия головы, и я полтора месяца провалялся на соломе в какой-то харчевне... Мне никогда не кончить рассказа о злоключениях, выпавших на мою долю за время долгого бродяжничества. Однако муки душевные, перед которыми бледнеют телесные страдания, не возбуждают такой жалости, ибо они скрыты от человеческого взора. Помню, как я рыдал в Страсбурге, увидев тот дом, где некогда я задавал блестящие пиры, а сейчас не мог вымолить и корки хлеба.

Мы составили с Бутеном точный маршрут, которому я должен был следовать, и по пути я заглядывал в каждую почтовую контору, чтобы узнать, нет ли на мое имя денег или письма. Так ничего и не получив, добрался я до самого Парижа. Сколько надежд обмануло меня! «Бу-

тен умер»,— твердил я. И действительно, бедный малый погиб при Ватерлоо; много позже я случайно узнал о его смерти. Очевидно, его переговоры с моей женой ни к чему не привели. Наконец я вступил в Париж — одновременно с казаками. Новая боль в придачу к старой! Увидев русские войска в столице Франции, я забыл, что я гол и бос, без гроша в кармане. Да, сударь, мое платье превратилось в жалкое тряпье. Накануне мне пришлось заночевать в Клейском лесу. От ночной сырости я, вероятно, простудился, заболел и, проходя через предместье Сен-Мартен, почувствовал себя плохо. Я с трудом припоминаю, что упал у порога скобяной лавчонки. Очнулся я на койке городского госпиталя. Я пролежал там месяц и был почти счастлив. Вскоре меня выписали, по-прежнему я был без гроша, но зато я был бодр, зато я вступил на милые камни парижских улиц. С какой радостной поспешностью бросился я на улицу Монблан, где в моем особняке, вероятно, проживала моя жена! И что же оказалось! Улицу Монблан переименовали в Шоссе д'Антен. Я не нашел своего особняка. Его продали, снесли. Ловкие дельцы понастроили домов в моих садах. Я еще не знал тогда, что моя жена вышла замуж за господина Ферро, и не мог поэтому добиться никаких сведений о ней. Наконец я отправился к старику стряпчему, который раньше вел мои дела. Он скончался, передав свою клиентуру молодому преемнику. Последний сообщил мне, к величайшему моему изумлению, что все мое имущество перешло к наследникам и распродано, жена моя вышла замуж и у нее двое детей. Когда я открыл ему, что я полковник Шабер, он расхохотался от всей души, и я молча удалился, не вступая в дальнейшие объяснения. Я не забыл о штутгартском сумасшедшем доме и, вспомнив о Шарантоне, решил действовать с осторожностью. Узнав, где живет моя жена, я отправился к ней, преисполненный самых радужных надежд. И что же! — произнес полковник, сдерживая гневное движение.— Меня не приняли, когда я попросил доложить о себе под вымышленным именем, и меня выставили за дверь, когда я явился под своей собственной фамилией. Для того, чтобы хоть мельком увидеть графиню, возвращающуюся на рассвете с бала или из театра, я поджидал целыми ночами, притаившись под воротами особняка. Взглядом я пытался проникнуть в

окно кареты, вихрем проносившейся мимо меня, и лишь мгновение я видел женщину, которая по праву принадлежит мне и теперь уже не моя. О, с этого дня я стал жить только мщением! — глухо вскричал старик, вскочив со стула.— Она знает, что я жив, она получила от меня со времени моего возвращения два письма, написанных моей собственной рукой. Она не любит меня! А я, я не знаю даже, люблю ли я ее или ненавижу! То я стремлюсь к ней, то проклинаю ее имя. Она обязана мне своим состоянием, своим счастьем — и не пожелала помочь мне хоть чем-нибудь. Подчас я не знаю, что мне с собой делать!

С этими словами старый полковник опустился на стул и снова впал в оцепенение. Дервиль молча глядел на своего посетителя.

— Да, дело серьезное,— произнес он наконец почти машинально.— Допустим даже, что подлинность бумаг, находящихся в Гейльсберге, будет установлена,— это еще отнюдь не означает, что мы тут же выиграем процесс. Ваше дело будет рассматриваться последовательно в трех инстанциях. Случай ваш совершенно исключительный, и я хотел бы поразмыслить о нем на досуге.

— Сударь,—холодно сказал полковник, гордо вскидывая голову,— если я паду в борьбе, я сумею умереть, но я умру не один.

Прежнего дряхлого старца как не бывало. Перед Дервилем был человек, полный энергии, в глазах которого вспыхнул огонь страсти и мщения.

— Возможно, придется пойти на взаимные уступки,— сказал поверенный.

— На уступки?! — гневно спросил полковник Шабер.— В вопросе о том, жив я или мертв?

— Сударь,— ответил поверенный,— я твердо рассчитываю, что вы во всем будете следовать моим советам. Ваши интересы станут моими личными интересами. В скором времени вы убедитесь, какое участие я проявляю к вашему делу, почти не имеющему себе подобных в анналах юриспруденции. А сейчас я дам вам письмо к моему нотариусу, и он будет выплачивать вам под расписку по пятидесяти франков каждые десять дней. Вам не пристало ходить за деньгами сюда. Ес-

ли вы действительно полковник Шабер, вы не должны зависеть от чьей-либо милости. Я оформлю эти суммы как долговое обязательство. У вас есть состояние, которое должно быть вам возвращено, вы богаты.

При этом новом проявлении душевной чуткости старик залился слезами. Дервиль быстро поднялся со стула, ибо юристу не к лицу выказывать волнение; он прошел в кабинет и вынес оттуда незапечатанное письмо, которое вручил графу Шаберу. Когда бедняга взял конверт, он сквозь бумагу почувствовал под пальцами две золотые монеты.

— А теперь, будьте любезны, перечислите документы, укажите точно город, королевство,—сказал Дервиль.

Полковник продиктовал поверенному все нужные данные, проверил начертание имен собственных; затем он взял шляпу, взглянул на Дервиля и, протянув ему руку, мозолистую руку, просто сказал:

— Клянусь, сударь, после императора вы будете первым моим благодетелем. Вы — *молодец*!

Поверенный крепко пожал протянутую ему руку, проводил полковника до лестницы и посветил ему.

— Букар,— обратился Дервиль к своему письмоводителю,— я только что прослушал историю, которая, чего доброго, обойдется мне в двадцать пять луидоров. Если они и пропадут — пускай, беда не велика. Зато я вправе буду считать, что видел самого ловкого комедианта наших дней.

Когда полковник очутился на улице, он вынул из конверта две золотые монеты по двадцать франков, вложенные в письмо поверенным, и внимательно оглядел их при свете фонаря. Девять лет он не видал золота.

«Значит, теперь мне можно будет курить сигары!» — подумал он.

Месяца через три после ночной беседы полковника Шабера с Дервилем нотариус, который выплачивал по поручению последнего пособие, назначенное странному посетителю, зашел как-то в контору посоветоваться с юристом по одному важному делу и с первых же слов сообщил, что уже выдал старому солдату шестьсот франков.

— Тебе, видно, больше делать нечего, как поддер-

живать старую гвардию,— сказал нотариус, по фамилии Кротта; он только что приобрел контору, где работал письмоводителем, пока владелец ее не сбежал после краха, наделавшего немало шума.

— Я весьма благодарен тебе, дорогой, что ты напомнил мне об этом деле,— ответил Дервиль.— Благотворительность моя не пойдет дальше двадцати пяти луидоров! Боюсь, что я оказался жертвой своего патриотизма.

При этих словах Дервиль кинул взгляд на свой письменный стол и увидел бумаги, принесенные письмоводителем. В глаза ему бросился конверт, весь в продолговатых, квадратных, треугольных, красных и синих марках, наклеенных в прусских, австрийских, баварских и французских почтовых конторах.

— Ага,— произнес он со смехом,— вот она, развязка комедии! Сейчас увидим, провели меня или нет.

Он взял письмо, вскрыл конверт, но не мог прочитать ни слова: письмо было написано по-немецки.

— А ну-ка, Букар, немедленно отнесите письмо переводчику и поскорее возвращайтесь,— сказал Дервиль, приоткрыв дверь кабинета и протягивая пакет своему письмоводителю.

Берлинский нотариус, к которому обратился Дервиль, сообщал, что затребованные бумаги прибудут вслед за сим уведомлением. Все документы, писал он, находятся в полном порядке и засвидетельствованы в соответствии с требованиями закона. Помимо того, он извещал, что почти все свидетели происшествий, упоминаемых в протоколе, живут в городе Прейсиш-Эйлау, а женщина, которой граф Шабер обязан своим спасением, проживает в одном из предместий Гейльсберга.

— Да, это уже не шутки! — воскликнул Дервиль, когда Букар вкратце изложил ему содержание письма. — Вот что, любезный друг,— обратился он к нотариусу,— мне понадобятся кое-какие сведения, которыми располагает твоя контора. Если не ошибаюсь, как раз у этого старого мошенника Рогена...

— Мы зовем его неудачником Рогеном, злосчастным Рогеном,— прервал его, смеясь, Александр Кротта.

— Если не ошибаюсь, как раз у этого «неудачника Рогена», который прихватил восемьсот тысяч франков

у своих доверителей и пустил по миру десятки семей, как раз у него, если не ошибаюсь, велось дело о ликвидации наследства Шабера. Помнится, я встречал подобное указание в делах Ферро.

— Верно,— ответил Кротта,— тогда я был еще младшим писцом. Мне пришлось переписывать это дело, и я, таким образом, изучил его вдоль и поперек. Роза Шапотель, супруга и вдова Гиацинта Шабера, графа Империи, кавалера большого офицерского креста Почетного легиона, вступила с ним в брак без контракта — следовательно, на основе общности имущества. Сколько могу припомнить, наличный капитал равнялся шестистам тысячам франков. Еще до свадьбы граф Шабер составил завещание в пользу парижских приютов: им он отказывал четверть наличности своего состояния, имевшегося ко дню его кончины; другую четверть должна была наследовать казна. Тут же состоялись опись, раздел, торги, ибо юристы взялись за дело горячо. В момент ликвидации изверг, правивший тогда Францией, особым указом вернул вдове полковника долю, причитавшуюся казне.

— Следовательно, личное состояние графа Шабера не превышало бы трехсот тысяч франков?

— Правильно, *дружище*,— ответил Кротта.— Вы, поверенные, иной раз рассуждаете вполне здраво, хотя вас и обвиняют в криводушии, так как вы готовы защищать без различия и правого и виноватого.

Граф Шабер — он указал свой адрес на первой расписке, выданной им нотариусу,— проживал в предместье Сен-Марсо, на улице Пти-Банкье, у бывшего квартирмейстера императорской гвардии, занимавшегося теперь продажей молочных продуктов; звался он Верньо. Добравшись до места, Дервиль пустился на розыски своего клиента пешком,— его кучер наотрез отказался ехать по немощеной улице, да и колеи там были чересчур глубоки для легкого кабриолета. Внимательно присматриваясь к постройкам, поверенный с трудом отыскал на том конце улицы, который примыкал к бульвару, между двух стен, сложенных из щебня и глины, два невзрачных каменных столба; хотя их и защищали деревянные тумбы, они были сильно побиты колесами проезжавших мимо телег. Столбы эти поддерживали

балку с островерхим черепичным навесом. Выведенная по балке красным надпись гласила: *Верньо, малочные прадукты.* Справа была изображена корзина с яйцами, а слева корова — все это, намалеванное одной белой краской. Ворота стояли настежь: очевидно, их так и не запирали в течение всего дня. Прямо против ворот, в глубине довольно просторного двора, виднелся дом, если только уместно применить это слово к лачугам парижских предместий, не идущим ни в какое сравнение даже с самыми бедными деревенскими хижинами; они так же убоги, но лишены поэтической прелести последних. В самом деле, хижине, стоящей среди полей, придают очарование чистый воздух, зелень, луга, холмы, извилистая тропка, виноградник, живая изгородь, стог сена, брошенная лопата или мотыга; в столице же нищета величественна только тем, что страшна. Хотя дом и выстроили недавно, но казалось, он вот-вот рухнет. Ни один строительный материал не пошел по своему прямому назначению, все было набрано среди разного хлама у разрушенных домов, а их в Париже сносят ежедневно. На сбитом из старых дощечек ставне Дервиль прочел уцелевшую надпись: *Магазин мод.* Окна разных размеров были пробиты в самых неожиданных местах. Нижний этаж, очевидно, единственная пригодная для жилья часть дома, одной своей стороной поднимался довольно высоко, а на другой стороне из-за неровности почвы окна вросли в землю. Между воротами и домом стояла огромная зловонная лужа, куда стекала дождевая вода и выплескивались помои. Вдоль стены, довольно еще прочной на вид и служившей опорой для ветхой лачуги, выстроились в ряд затянутые проволокой клетки, где кролики выводили свое многочисленное потомство. Справа от ворот виднелся коровник с сеновалом. Между коровником и домом помещался погреб для хранения молочных продуктов. Слева были расположены птичий двор, конюшня и навес для свиней; все эти строения и самый дом были сбиты из старых досок и скудно крыты камышом Как и во всех уголках, где готовится для прожорливого Парижа ежедневная грандиозная трапеза, во дворе, куда вошел Дервиль, замечался беспорядок, неизбежный, когда во что бы то ни стало требуется

поспеть к намеченному часу. Огромные, с помятыми боками жестяные бидоны, в которых перевозят молоко, и горшки из-под сливок валялись перед погребом вперемешку с затычками из тряпья. Какая-то ветошь, предназначенная для вытирания посуды, сохла на солнце на веревках, протянутых между жердями. Смирная лошадка, из той породы, что водится только у одних владельцев молочных, переступила оглобли и остановилась перед запертой конюшней. Коза обгладывала чахлые, пропыленные виноградные лозы, вьющиеся вдоль желтой, растрескавшейся стены. Кошка, вспрыгнув на край горшка, лакала остатки сливок. Куры, испуганные появлением Дервиля, с клохтаньем бросились врассыпную, а сторожевой пес залился лаем.

«И здесь живет человек, решивший исход битвы при Эйлау!» — подумал Дервиль, охватывая взглядом открывшуюся перед ним непривлекательную картину.

Дом был оставлен на попечение трех мальчуганов. Один из них, взгромоздившись на воз свежескошенной травы, швырял камни в соседнюю трубу, норовя, очевидно, попасть в кастрюлю, стоящую на очаге. Второй мальчишка старался втащить свинью на ручную тележку, упирающуюся оглоблями в землю, а третий, повиснув на другом конце, ждал момента, когда свинья ступит на край тележки, чтобы подкинуть ее кверху, как на качелях. Когда Дервиль обратился к ним с вопросом, здесь ли проживает господин Шабер, мальчики промолчали, дружно уставившись на незнакомца с какой-то лукавой тупостью, если только позволительно сочетать два эти слова. Дервиль повторил свой вопрос, но безуспешно. Наконец насмешливый вид трех сорванцов вывел его из себя, и поверенный отпустил несколько шутливых ругательств, дозволительных, по мнению молодых людей, в обращении с проказниками-мальчишками, а они в ответ залились грубым смехом, нарушив тишину, царившую во дворе. Дервиль рассердился. На шум из темной, низкой каморки, расположенной возле погреба, вышел полковник и стал на пороге с непередаваемой, чисто солдатской невозмутимостью. В зубах у него дымилась на диво *обкуренная* трубка — специальный термин курильщиков,— дешевенькая глиняная трубка, именуемая в просторечии *носогрейкой*. Он сдви-

нул со лба козырек невероятно засаленной фуражки, заметил Дервиля и быстро зашагал к своему благодетелю прямо по навозной жиже, на ходу по-приятельски крикнув сорванцам:

— Рота, смирно!

Мальчишки почтительно замолчали, что свидетельствовало о непререкаемой власти, какую имел над ними старый полковник.

— Почему вы мне не написали? — спросил Шабер поверенного.— Держитесь коровника, там мощеная дорожка! — крикнул он, заметив, что Дервиль стоит в нерешительности, опасаясь замочить ноги в навозной жиже.

Перепрыгивая с камня на камень, Дервиль добрался наконец до двери, ведущей в каморку полковника. Чувствовалось, что Шаберу неприятно принимать гостя в такой неприглядной обстановке. И в самом деле, Дервиль заметил в комнате только один-единственный стул. Ложе полковнику заменяли две — три охапки сена, на которые хозяйка накинула рваные, неизвестно где подобранные коврики,— такими ковриками молочницы обычно застилают скамейки своей тележки. Пол был земляной, плотно утрамбованный. От стен, покрытых плесенью, позеленевших и растрескавшихся, шла такая сырость, что на той стене, у которой спал полковник, прибили камышовую циновку. Знаменитая шинель висела прямо на гвоздике. В углу валялись две пары разбитых сапог. Никакого намека на белье. На источенном червями столе лежали раскрытые «Бюллетени великой армии», переизданные Планше,— очевидно, единственная отрада полковника, хранившего среди этой нищеты ясное, безмятежное выражение лица.

Со времени ночного визита к поверенному, казалось, изменились даже самые черты лица Шабера, и теперь Дервиль прочел на нем следы блаженных мечтаний, ни с чем не сравнимый отблеск надежды.

— Вам трубка не помешает? — спросил полковник, подставляя Дервилю стул с продавленным плетеным сиденьем.

— Но, полковник, вы здесь ужасно скверно устроены!

Слова эти вырвались у Дервиля вследствие естествен-

нои для юристов недоверчивости и вследствие того прискорбного опыта, который они приобретают еще в самом начале карьеры, присутствуя при страшных в своей обыденности драмах.

«Эге,— подумал поверенный,— все ясно! Полковник, следуя трем каноническим добродетелям воина, истратил мои денежки на карты, вино и на женщин».

— Что верно, то верно, сударь: роскошью мы здесь не блещем. Зато этот шалаш согрет дружбой, зато (при этих словах старый солдат бросил на юриста проницательный взгляд), зато я никого не обидел, никого не унизил, и сплю я здесь спокойно...

Дервиль счел неделикатным спрашивать у своего клиента, куда он израсходовал полученные у нотариуса суммы, и решил поэтому ограничиться вопросом:

— Почему бы вам не перебраться в Париж? Жизнь там обошлась бы немногим дороже, а вы устроились бы удобнее.

— Но,— возразил полковник,— славные люди, приютившие меня здесь, кормили меня *даром* в течение целого года. Как же я могу бросить их теперь, когда у меня завелись деньги! Да и отец вот этих мальчишек — старый египтянин.

— Как так «египтянин»?

— Мы зовем египтянами солдат, возвратившихся из египетского похода, в котором принимал участие и я сам. Ведь все мы, вернувшиеся из Египта домой, так сказать, братья, а Верньо к тому же служил в моем полку, мы делились с ним в пустыне последним глотком воды; наконец, я еще не успел обучить его ребят грамоте.

— Все-таки за ваши деньги он мог бы вас устроить поудобнее.

— Что вы хотите! — воскликнул полковник.— Его ребята тоже спят на соломе! Да и у него самого с женой постель не лучше. Они, видите ли, очень бедны, и их заведение им не по средствам. Вот когда я верну свое состояние... Да что говорить!

— Полковник, завтра или послезавтра я получу из Гейльсберга ваши бумаги. Ваша спасительница жива.

— Проклятые деньги! И подумать только, что у меня их нет! — вскричал Шабер, хватив трубкой об пол.

Обкуренная трубка для истинного любителя — подлинная драгоценность, но полковник швырнул ее в таком естественном порыве души, таким благородным движением, что самые завзятые курильщики мира, да и само управление табачной монополии простили бы ему это святотатство. Ангелы не отказались бы подобрать с земли осколки этой носогрейки.

— Полковник, ваше дело на редкость сложное,— произнес Дервиль, когда они вышли из комнаты, чтобы пройтись по солнышку вдоль стены.

— А мне,— возразил полковник,— оно представляется на редкость простым. Меня считали мертвым, но я вот он — перед вами! Верните мне жену и состояние; дайте мне чин генерала, на что я имею все права: ведь еще до битвы при Эйлау я был полковником императорской гвардии.

— В судебном мире,— ответил Дервиль,— дела делаются не так. Выслушайте меня. Вы граф Шабер, не спорю; но ведь придется доказывать это в юридическом порядке, и притом людям, заинтересованным в обратном,— людям, которым выгодно отрицать ваше существование. Итак, ваши бумаги будут оспаривать. Это повлечет за собой десять — двенадцать предварительных обследований. Все эти споры будут доведены до высшей инстанции и, в свою очередь, повлекут за собой целый ряд дорогостоящих процессов, а они затянутся надолго, как бы энергично я ни действовал. Противники ваши потребуют расследования, мы не можем его отвергнуть, и, пожалуй, понадобится еще послать следственную комиссию на место, в Пруссию. Но предположим самое благоприятное: допустим, что закон незамедлительно признает вас полковником Шабером. Как же будет решен вопрос о двоемужестве графини Ферро, вполне, впрочем, непредумышленном? В вашем деле правовая сторона не укладывается в рамки существующих законов, и судьи могут действовать, только следуя голосу совести, так поступают присяжные при решении запутанных вопросов, порождаемых социальной причудливостью некоторых уголовных процессов. К тому же от вашего брака детей не было, а у графа Ферро от вашей жены есть двое детей; судьи могут объявить недействительным первый брак, узы коего более слабы,

и признать законным второй брак, поскольку будет доказано отсутствие злого умысла у супругов. Хороши же будут ваши моральные позиции, если вы в вашем возрасте, в том положении, в котором вы находитесь, захотите насильно вернуть себе женщину, разлюбившую вас! Против вас будут и ваша жена и ее теперешний муж, люди высокого общественного положения, они могут повлиять на суд. Таким образом, налицо все предпосылки к длительному процессу. Вы успеете состариться, испытав при том самые жестокие горести.

— А мое состояние?

— Вы полагаете его значительным?

— Разве мой годовой доход не составлял тридцать тысяч ливров?

— Дорогой мой полковник, в тысяча семьсот девяносто девятом году, перед своей женитьбой, вы написали завещание, по которому отказали парижским приютам четверть вашего состояния.

— Правильно!

— Ну вот, вы были признаны погибшим,—следовательно, для того, чтобы выделить эту четвертую долю, пришлось провести опись и ликвидацию вашего имущества. Супруга ваша не постеснялась обмануть бедняков. В описи, где она, без сомнения, сочла излишним показать наличные деньги и драгоценности, указано лишь незначительное количество серебра, обстановка же оценена в одну треть подлинной ее стоимости,— чтобы увеличить долю графини или чтобы уменьшить сумму пошлины, а также потому, что обычно оценщики произвольно устанавливают стоимость имущества; по этой описи все ваше состояние определено было в шестьсот тысяч франков. Ваша вдова имела по закону право на половину имущества. Все было ею назначено к продаже, затем вновь ею же приобретено, на всем она сумела получить выгоду, а приютам досталось всего-навсего семьдесят пять тысяч франков. Далее, поскольку казна также выступила в роли вашего наследника, ибо супруга ваша не упоминалась в завещании, император особым указом вернул вашей вдове часть денег, причитавшуюся государству. На что вы, собственно, говоря, имеете право? Только на триста тысяч франков, за вычетом расходов.

— И вы называете это правосудием?!—воскликнул ошеломленный полковник.

— Но...

— Нечего сказать, хорошо же оно, ваше правосудие!

— Другого у нас нет, мой бедный полковник. Вот вы сами теперь видите, что ваше дело совсем не такое простое, как вам казалось. Быть может, госпожа Ферро даже пожелает оставить себе часть, отданную ей императором.

— Раз она не вдова, указ не действителен...

— Согласен. Но ведь всегда можно оспаривать. Выслушайте же меня. В данных обстоятельствах, я полагаю, и для вас и для графини наилучший выход — пойти на мировую. Вы получите состояние более значительное, чем то, на которое вы имеете законное право.

— Но это значит продать свою жену?

— У вас будет двадцать четыре тысячи франков годового дохода, а при таком положении всегда найдется женщина, которая более подойдет к вам, чем бывшая ваша жена, и сумеет сделать вас счастливым. Я собираюсь нынче же заехать к графине Ферро, чтобы позондировать почву, но мне не хотелось предпринимать этот шаг, не предварив вас.

— Я поеду с вами.

— В этаком виде?! — воскликнул поверенный. — Нет, нет, полковник, и еще раз нет! Вы загубите все дело.

— А мое дело можно выиграть?

— По всем статьям,— ответил Дервиль.— Но, дорогой мой полковник, вы не хотите понять одного. Я небогат, я еще до сих пор не расплатился за свою контору. Если суд и разрешит вам получить известную сумму в счет ваших будущих благ, то лишь после того, как признает в вас графа Шабера, награжденного большим офицерским крестом Почетного легиона.

— Ах да, я и забыл, что награжден большим офицерским крестом! — простодушно воскликнул Шабер.

— Ну-с, а до того,—продолжал Дервиль,—нам придется вести тяжбу, платить адвокатам, получать и оплачивать решения суда, подмазывать судебных приставов, да и жить к тому же надо. Одни только предвари-

тельные расходы составят двенадцать — пятнадцать тысяч франков. У меня их нет, я буквально изнемогаю под тяжестью чудовищных процентов, которые выплачиваю лицу, ссудившему мне деньги на приобретение конторы. А вы? Где вы возьмете такую сумму?

Крупные слезы выступили на потухших глазах несчастного солдата и медленно скатились по его морщинистым щекам. Перед картиной этих трудностей он особенно ясно почувствовал свое бессилие. Общество и правосудие душили его, как мучительный кошмар.

— Я припаду,— сказал старик,— к подножию Вандомской колонны, я крикну во весь голос: «Я — полковник Шабер, который прорвал каре русских при Эйлау!» Бронза, и та меня признает.

— Вас тут же упекут в Шарантон.

При этом страшном упоминании воодушевление старого воина упало.

— А может быть, стоит попытать счастья в военном министерстве?

— Это в канцеляриях-то? — возразил Дервиль.— Что ж, подите, но непременно имейте на руках составленный по всей форме документ, объявляющий недействительным акт о вашей кончине. Нынешние чиновники рады смести с лица земли приверженцев императора.

Полковник не произнес ни слова, с минуту он стоял, не шевелясь, глядя перед собой невидящими глазами, охваченный беспредельным отчаянием. Воинский судебный устав прост, он не знает никакой волокиты, он ведет к решениям крутым, но почти всегда справедливым. Шабер знал только это правосудие. Узрев перед собой лабиринт всяческих трудностей, куда ему предстояло вступить, взвесив, каких расходов потребуют эти странствия, старый солдат почувствовал, что той его силе, которая присуща лишь человеку и зовется волей, нанесен смертельный удар. Он понял, что для него немыслимо таскаться по судам, что в тысячу раз ему легче остаться бедняком, нищим, поступить простым кавалеристом в какой-нибудь полк, если только его туда примут. Физические и моральные страдания уже поразили его тело в самых чувствительных его органах. Его подтачивал один из тех недугов, для которых медицина не нашла еще имени, они не имеют постоянного очага

и гнездятся в нервной системе, являющейся, по-видимому, самым уязвимым местом нашего организма; эту болезнь можно бы назвать «сплином несчастия». Как бы серьезен ни был этот невидимый, но, тем не менее, реально существующий недуг, при счастливом стечении обстоятельств излечиться от него возможно. Но достаточно какого-нибудь непредвиденного препятствия, какой-нибудь новой неожиданности, чтобы сломить ослабевшие пружины, породить нерешительность в действиях, необъяснимые, непоследовательные поступки, нередко наблюдаемые физиологами у людей, раздавленных горем,— и самый могучий организм окажется потрясенным до основания.

Дервиль сразу заметил, что полковник впал в глубочайшее уныние, и участливо обратился к нему:

— Мужайтесь, дело, несомненно, будет решено в вашу пользу. Теперь скажите: можете ли вы целиком положиться на меня, слепо повиноваться тому, что я сочту для вас наилучшим?

— Поступайте, как знаете,— ответил Шабер.

— Хорошо, но согласны ли вы предать в мои руки вашу судьбу целиком, как человек, идущий на смерть?

— А что, если я навсегда останусь без общественного положения, без имени? Разве я перенесу это?

— Я смотрю на дело иначе,— возразил поверенный.— Мы придем к полюбовному соглашению и уничтожим акт о вашей смерти и акт о вашем браке, дабы вы могли восстановить свои права. С помощью связей графа Ферро вам удастся исходатайствовать зачисление в списки армии с генеральским чином, и я не сомневаюсь, что вы добьетесь пенсии.

— Действуйте,— произнес Шабер,— я полагаюсь на вас.

— Я пришлю вам на подпись доверенность,— сказал Дервиль. — Прощайте, не падайте духом! Если вам понадобятся деньги, можете рассчитывать на меня.

Шабер с чувством пожал руку Дервилю; он так обессилел, что не мог проводить своего гостя и, прислонившись к стене, молча следил за ним взглядом. Как и все люди, не искушенные в тонкостях правосудия, он страшился этой непредвиденной борьбы.

Во время этой беседы из-за столба у ворот несколь-

ко раз выглядывал какой-то человек,— он, очевидно, поджидал на улице Дервиля и, действительно, окликнул его. Это был старик в синей куртке, в белых сборчатых штанах, вроде тех, какие обычно носят пивовары, и в меховом картузике. Его худое, морщинистое лицо имело какой-то бурый оттенок, но на скулах был смуглый румянец от тяжелого труда и постоянного пребывания на воздухе.

— Прошу прощения, сударь, что осмелился заговорить с вами,— обратился он к Дервилю, коснувшись его локтя,— но я вижу, что вы друг нашего генерала.

— Ну и что ж? — сказал Дервиль.— Почему это вы заинтересовались им? Да кто вы такой? — подозрительно спросил поверенный.

— Я Луи Верньо,— ответил тот.— Мне надо сказать вам несколько слов.

— Значит, это вы поместили графа Шабера в такую дыру?

— Извините, прошу прощения, сударь, это наша самая лучшая комната. Да будь у меня одно-единственное помещение, я все равно его отдал бы ему. Сам спал бы в конюшне. Человеку, перенесшему такие муки, да который к тому ж еще учит моих ребят грамоте, генералу, египтянину, первому лейтенанту, под началом которого я служил... Подумать только! Я устроил его у себя как только мог лучше. Я делил с ним все, что у меня было. Конечно, это не бог весть что: молоко, хлеб, яйца... Ничего не поделаешь, на войне — по-военному... Поверьте, я от чистого сердца! Только он нас обидел...

— Обидел?

— Да, сударь, обидел, и еще как! Мое заведение, видите ли, мне не по средствам, и он это понял. Разогорчился старик и решил сам ходить за лошадью. Я ему говорю: «Помилуйте, генерал...» А он мне в ответ: «Экая важность... Неохота лентяйничать, я уж давненько всему научился!» А я, видите ли, выдал вексель под мое заведение некоему Градо. Вы, сударь, о нем слыхали?

— Но, дружок, у меня нет времени болтать с вами. Как же это полковник вас обидел?

— Обидел нас, сударь, уж поверьте слову, это так же правильно, как то, что меня зовут Луи Верньо; жену мою довел до слез. Он узнал от соседей, что мы еще

не внесли ни гроша в погашение нашего долга. Старый ворчун, не сказав никому ни слова, собрал все денежки, которые вы ему давали, разнюхал, у кого наш вексель, и погасил его. До чего же хитер! Мы с женой знали, что у него, у несчастного нашего старика, крошки табаку нет и что он сидит без курева. Ну, а сейчас у него каждое утро есть сигары. Уж лучше я самого себя заложу... А все-таки он нас обидел. Он нам много раз говорил, что вы человек добрый, вот поэтому-то я прошу вас — ссудите нам сто экю под наше заведение: мы тогда бы справили ему приличную одежду, обставили комнату. Он хотел с нами расплатиться, верно ведь? А получилось наоборот: теперь мы перед стариком в долгу... Ну и обижены, конечно. Обидел, и кого! Своих друзей. Грех ему так нас обижать! Слово честного человека так же точно, как меня зовут Луи Верньо: я лучше заложу самого себя, а денежки вам отдам.

Дервиль посмотрел на владельца молочной, потом отступил на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом дом, двор, навозную кучу, конюшню, кроликов и трех мальчуганов.

«Право же,— подумал он,— одна из особенностей добродетели — ее несовместимость с чувствами собственника».

— Ну что же, ты получишь сто экю, а может, и больше. Но дам тебе их не я, а сам полковник, когда он разбогатеет и сможет тебе помочь. Мне не хочется лишать графа Шабера этого удовольствия.

— А скоро он разбогатеет?

— Скоро!

— Ах ты, господи боже мой, до чего же старуха моя обрадуется!

При этом дубленая морщинистая физиономия Луи Верньо так и расцвела.

«А сейчас,— подумал Дервиль, усаживаясь в кабриолет,— отправимся к нашему противнику! Скроем от него наши козыри, попытаемся узнать, какие карты у него на руках, и выиграем партию с первого же хода. Не мешало бы припугнуть. Противник наш — женщина. А чего больше всего боятся женщины? Женщины боятся только одного...»

Дервиль начал анализировать со всех сторон поло-

жение графини и погрузился в глубочайшее раздумье, хорошо знакомое великим политикам, когда, намечая планы будущих своих действий, они пытаются проникнуть в кабинетные тайны противника. И разве поверенные в какой-то степени не те же государственные мужи, с той только разницей, что на них лежат дела частных лиц?

Здесь необходимо бросить взгляд на положение графа Ферро и его супруги, чтобы оценить по достоинству дарование молодого юриста.

Отец графа Ферро, бывший советник Парижского парламента, эмигрировал во время террора и тем спас себе жизнь, но потерял состояние. Ферро-младший вернулся на родину в дни консульства и хранил неизменную верность Людовику XVIII, чьим приближенным был его отец еще до революции. Иными словами, он принадлежал к той части высокородного Сен-Жерменского предместья, которая стойко противилась всем соблазнам Наполеона. Молодой граф — тогда его еще просто называли господин Ферро—слыл человеком больших способностей, и Наполеон начал заигрывать с ним, ибо победы над аристократией нередко льстили самолюбию императора не меньше, чем выигранные битвы. Графу посулили вернуть титул и непроданное имение, намекнув, что в дальнейшем он может рассчитывать на портфель министра или пост сенатора. Однако император потерпел поражение. Ко времени смерти полковника Шабера г-ну Ферро минуло двадцать шесть лет; у молодого человека не было состояния, но он был хорош собой, пользовался в свете несомненным успехом и считался гордостью Сен-Жерменского предместья. Графиня Шабер сумела захватить львиную долю состояния своего бывшего супруга и к середине второго года вдовства располагала примерно сорока тысячами ливров годового дохода, поэтому известие о ее свадьбе с молодым графом не вызвало скандала в придирчивых салонах Сен-Жерменского предместья. Довольный этим браком, отвечавшим его замыслам о слиянии старой и новой знати, Наполеон вернул г-же Шабер ту часть наследства полковника, которая причиталась казне. Однако надежды Наполеона были обмануты. Г-жа Ферро любила в молодом графе не только мужа, ее прель-

щала мысль проникнуть в надменное аристократическое общество, которое, будучи в упадке, все же господствовало над императорским двором. Этот брак удовлетворял не только страсть графини, но и ее тщеславие. Она стала светской дамой. Когда в Сен-Жерменском предместье поняли, что женитьба молодого графа отнюдь не была отступничеством, перед его супругой открылись двери всех салонов. Наступила Реставрация. Однако Ферро не слишком спешил делать политическую карьеру. Он понимал щекотливое положение, в котором находился Людовик XVIII, и принадлежал к числу посвященных, выжидавших момента, когда «закроется бездна революции», ибо эта фраза короля, вопреки насмешкам либералов, скрывала в себе некий политический смысл. Тем не менее по королевскому указу, упоминаемому в велеречивой фразе, которой открывается наше повествование, Ферро были возвращены два лесных угодья и земли, цены на которые значительно возросли за время секвестра. В эту пору граф Ферро был назначен членом государственного совета, а также управляющим департаментом, но он считал, что его политическая карьера еще только начинается.

Снедаемый честолюбивыми замыслами, граф взял к себе в качестве секретаря некоего Дельбека, разорившегося стряпчего, редкостного пройдоху, который в совершенстве владел всеми тайнами крючкотворства и вел личные дела г-на Ферро. Проныра достаточно ясно оценил свое положение при графе и из расчета решил быть честным. Он надеялся, войдя в доверие к своему принципалу, заполучить какую-нибудь доходную должность и свято оберегал хозяйские интересы. Поведение Дельбека настолько противоречило всей прежней его репутации, что он даже прослыл жертвой клеветы. С чисто женской проницательностью и чутьем графиня Ферро раскусила своего управляющего, стала зорко следить за ним и так искусно им руководила, что вскоре с его помощью ее личное состояние значительно приумножилось. Графиня сумела внушить Дельбеку, что она направляет действия г-на Ферро, и обещала выхлопотать для своего управляющего место председателя суда первой инстанции в одном из крупнейших городов, если он будет преданно служить ее интересам.

Надежда получить бессменную должность, а следовательно, выгодно жениться, стать депутатом и достичь в будущем высокого положения в политическом мире, сделала Дельбека верным рабом графини. Он не упустил ни одного из тех благоприятных случаев, которые во множестве представлялись в Париже ловким людям в первые три года Реставрации в связи с колебанием биржевых курсов и повышением цен на недвижимое имущество. Он утроил капиталы своей покровительницы, и сделал это с тем большей легкостью, что графиня не гнушалась ничем, лишь бы создать себе в короткий срок огромное состояние. Все расходы по дому она покрывала из служебных доходов мужа, желая сберечь свои деньги. И Дельбек усердно служил замыслам графини, подсказанным жадностью, не доискиваясь ее причин. Люди подобного сорта стремятся раскрыть только те тайны, разоблачение коих может принести выгоду им лично. Впрочем, Дельбеку эта жадность казалась вполне естественной, и он объяснял ее золотой горячкой, которой подвержено большинство парижанок, тем более, что осуществить все планы графа Ферро возможно было только при наличии огромного капитала; управляющий порой склонялся даже к мысли, что алчность графини вызвана привязанностью к супругу, в которого она все еще была влюблена. Сама же графиня погребла разгадку своего поведения в глубинах сердца. Ее тайна была для нее вопросом жизни и смерти, в этом лежала завязка всех событий этой повести.

В начале 1818 года Реставрация казалась незыблемой в своих основах, замыслы правительства, по мнению умов благонамеренных, должны были привести Францию к новому благоденствию; тогда в парижском обществе наметился поворот. Второй брак графини Ферро принес ей, таким образом, любовь, деньги, удовлетворение ее честолюбия. Г-жа Ферро, еще молодая и красивая, выступала в роли светской дамы и жила в атмосфере двора. Богатая сама, богатая по мужу, который слыл одним из самых способных людей роялистской партии, другом короля и возможным кандидатом на пост министра, графиня принадлежала к аристократии и делила с ней ее блистательные успехи. И вот среди

всех этих триумфов графиню поразила душевная гангрена. Есть такие сокровенные чувства, которые мужчина при всем своем старании не может утаить от женщины. Вскоре после возвращения короля граф Ферро начал почти раскаиваться в своей женитьбе. Вдова полковника Шабера не принесла с собой никаких связей, и графу пришлось самому, без всякой поддержки прокладывать себе путь, где его подстерегали козни и вражда. Затем, при свете холодного рассудка, он, возможно, обнаружил в своей жене кое-какие пробелы по части воспитания, мешавшие ей стать надежной помощницей в осуществлении его планов. Одна его острота по поводу женитьбы Талейрана открыла графине глаза, и она поняла, что если бы он вздумал жениться сейчас, ей никогда бы не стать графиней Ферро. Какая женщина простит своему супругу подобное раскаяние? И не из этого ли ростка возникают обиды, преступления, предательства? Легко представить себе, какая глубокая рана была нанесена этим острым словцом сердцу графини, особенно если мы вспомним, что она боялась возвращения своего первого мужа! Она знала, что полковник Шабер жив, она отреклась от него. Не получая долгое время никаких известий, графиня решила, что он, подобно Бутену, погиб при Ватерлоо вместе с императорскими орлами. Тем не менее она задумала привязать к себе мужа самыми прочными узами — приковать его золотой цепью — и решила составить себе огромное состояние, чтобы второй ее брак стал нерасторжимым, даже если снова появится граф Шабер. Он появился, и графиня не могла понять, почему борьба, о которой она думала с содроганием, до сих пор еще не начинается. Быть может, какая-нибудь болезнь избавила ее от этого человека? Быть может, он просто сумасшедший? В этом случае ей на помощь придет Шарантон. Но она не желала посвящать в свою тайну ни Дельбека, ни полицию из боязни поставить себя в зависимость от них или же ускорить страшную развязку. В Париже есть немало женщин, которые, подобно графине Ферро, скрывают в душе чудовищную тайну или ходят по краю бездны; но со временем больное место немеет, и находятся еще силы, чтобы смеяться и веселиться.

«В положении графа есть нечто странное,— решил

Дервиль, очнувшись от глубокой задумчивости, когда его кабриолет остановился на улице Варенн перед особняком Ферро.— Почему он, человек богатый, пользующийся благоволением короля, до сих пор еще не назначен пэром Франции? Может быть, и вправду король, как говорит госпожа Гранлье, склонен из соображений политических преувеличивать значение этого титула и не раздает его направо и налево? К тому же сын советника парламента — это не Крильон, да и не Роган. Графу Ферро удастся войти в Верхнюю палату только с заднего хода. Но если его брак будет расторгнут, он, к великому удовольствию короля, может получить звание пэра по наследству от какого-нибудь престарелого сенатора, не имеющего сыновей, а только дочь. Что же, закинем для начала этот крючок и припугнем графиню»,— думал он, поднимаясь по ступеням.

Дервиль, сам того не подозревая, разгадал тайный недуг графини, он нащупал язву, терзавшую г-жу Ферро. Дама эта приняла его в очаровательной зимней столовой за завтраком, играя с обезьянкой, прикованной цепочкой к деревянной стойке с железными перекладинами. На графине был изящный пеньюар; неубранные локоны выбивались из-под чепчика, придавая ее лицу задорное выражение. Она сияла свежестью и была весела. Стол сверкал серебром, позолотой, перламутром, в великолепных фарфоровых вазах стояли редкостные цветы. Увидев, в какой роскоши и в каком почете живет графиня Шабер, обогатившаяся на мнимой смерти своего мужа, меж тем как тот ютился у бедного торговца, среди коров и кроликов, Дервиль подумал: «Отсюда следует мораль: хорошенькая женщина ни за что на свете не захочет признать мужа, и даже любовника, в несчастном старике, который носит замызганную шинель, парик из пакли и дырявые сапоги».

На губах Дервиля появилась лукавая и едкая улыбка, выдав полуфилософские, полуиронические мысли, которые не могут не прийти в голову тому, кто прекрасно видит в силу своего положения подоплеку вещей под всяческими обманами, скрывающими семейную жизнь большинства парижан.

— Добрый день, господин Дервиль,— сказала гра-

финя, не прерывая своего занятия: она поила кофе ручную обезьянку.

— Сударыня,— резко произнес поверенный, возмутившись небрежным тоном, которым графиня промолвила: «Добрый день, господин Дервиль»,— я пришел к вам по весьма серьезному делу.

— Крайне *сожалею*, но графа нет дома.

— А я, сударыня, крайне восхищен этим обстоятельством. Было бы достойно *сожаления*, если бы он присутствовал при нашей беседе. Впрочем, от Дельбека я знаю, что вы предпочитаете вести ваши дела лично, не беспокоя графа.

— Тогда я велю позвать Дельбека,— сказала графиня.

— При всем его искусстве он вам сейчас не понадобится,— возразил Дервиль.— Послушайте, сударыня, достаточно одного слова, чтобы вы почувствовали всю серьезность положения. Граф Шабер жив!

— Уж не думаете ли вы привести меня в серьезное настроение такими небылицами? — спросила она, рассмеявшись.

Но графиня тут же была укрощена пристальным, каким-то пронизывающим взглядом Дервиля: этот взгляд проникал в тайники ее души, требуя немедленного ответа.

— Сударыня,— сказал Дервиль с холодной и язвительной важностью,— вы и не подозреваете размеров грозящей вам опасности. Я не буду говорить ни о неоспоримой подлинности бумаг, ни о неопровержимости доказательств, подтверждающих существование графа Шабера. Вы знаете также, что за сомнительное дело я не возьмусь. Если вы решитесь оспаривать наше требование признать недействительным акт о смерти, вы проиграете первый процесс, а это решит в нашу пользу и все остальные.

— О чем же вы намереваетесь говорить со мной?

— Не о полковнике, не о вас самой. Не буду также говорить о документах, которые могли бы выйти из-под пера искусного адвоката, располагающего весьма любопытными подробностями этого дела,— он может многое извлечь из писем, полученных вами от вашего первого мужа еще до свадьбы с графом Ферро.

— Все это ложь! — резко возразила графиня.— Никаких писем я от графа Шабера не получала; а если кто-нибудь присвоил себе имя полковника, значит, это интриган, беглый каторжник, вроде Коньяра. Страшно даже подумать! Что же, по-вашему, полковник воскрес? Сам Бонапарт через своего адъютанта выразил мне соболезнование по поводу смерти полковника, и я по сей день получаю пенсию — три тысячи франков, назначенную мне палатой как его вдове. Я имела множество оснований гнать всех Шаберов, являвшихся ко мне, так же как я прогоню и тех, что вздумают еще явиться.

— По счастью, сударыня, мы здесь с вами один на один. Мы можем лгать, сколько нам заблагорассудится,— холодно произнес Дервиль, который, забавляясь в душе, намеренно разжигал гнев графини с целью вырвать у нее какое-нибудь неосторожное признание: прием, обычный у юристов, привыкших не терять спокойствия, тогда как их противники или клиенты выходят из себя. «Что ж, война так война»,— подумал он и в мгновение ока измыслил подвох, чтобы сразу убедить графиню в слабости ее позиций.— Существует доказательство того, что первое письмо было вам вручено, сударыня,— продолжал он,— а в этом письме содержались ценные бумаги.

— Неправда, никаких бумаг там не было!

— Значит, вы получили это письмо? — подхватил с улыбкой Дервиль.— Видите, вы попались в первую же ловушку, поставленную вам юристом, а воображаете, что можете бороться с правосудием.

Графиня покраснела, затем побледнела, она закрыла лицо руками. Потом, поборов стыд и обретя хладнокровие, присущее подобным женщинам, она сказала:

— Поскольку вы поверенный человека, называющего себя графом Шабером, будьте любезны...

— Сударыня,— перебил ее Дервиль,— пока еще я ваш поверенный в такой же мере, как и полковника. Неужели вы полагаете, что я хочу потерять такую ценную доверительницу, как вы?! Но вы не хотите меня слушать...

— Говорите, сударь,— сказала она приветливо.

— Ваше состояние перешло к вам от графа Шабе-

ра, а вы оттолкнули этого несчастного. Вы так богаты, а граф по вашей милости вынужден побираться. Сударыня, адвокаты весьма красноречивы, когда дело красноречиво само по себе. Не забывайте, что в этом деле имеются обстоятельства, способные возбудить против вас общественное мнение.

— Что ж, сударь,— ответила графиня, разгневанная манерой Дервиля, сжигавшего ее на медленном огне,— допустим даже, что ваш Шабер существует, но у меня дети! Ради них суд утвердит мой второй брак, а я отделаюсь суммой в двести двадцать пять тысяч франков, вернув ее господину Шаберу.

— Сударыня, нам неизвестно, как взглянет суд на моральную проблему дела. Если, с одной стороны, имеются мать и двое ее детей, то с другой — страдает человек, раздавленный несчастьями, состарившийся по вашей вине, из-за вашего жестокосердия. Где он найдет себе жену? Да и потом, вправе ли судьи преступить закон? С точки зрения закона, за вашим браком с полковником сохраняется приоритет. А кроме того, поскольку вы будете выставлены в черном свете, вы рискуете приобрести еще одного противника, и притом нежданного. И от этой-то опасности я и хотел бы вас избавить.

— Новый противник? — спросила графиня. — Кто же это?

— Граф Ферро, сударыня.

— Граф Ферро слишком привязан ко мне самой и слишком уважает меня как мать своих детей...

— Не говорите таких пустяков юристам,— прервал ее Дервиль,— мы привыкли читать в человеческих сердцах. Сейчас господин Ферро не имеет ни малейшего желания расторгнуть свой брак и, несомненно, обожает вас, но если кто-нибудь шепнет ему, что ваш брак могут признать недействительным и что вы, его супруга, будете заклеймены общественным мнением как преступница...

— Он встанет на мою защиту.

— Нет, сударыня.

— Но чего ради он покинет меня?

— Для того, чтобы жениться на единственной до-

чери какого-нибудь пэра Франции и унаследовать от него это звание по указу короля.

Графиня побледнела.

«Попалась! — подумал Дервиль.— Теперь ты в наших руках, дело несчастного полковника выиграно».

— Тем более, сударыня,— сказал он вслух,— что совесть его будет спокойна, ибо речь идет не о каком-нибудь проходимце, а о человеке прославленном, о генерале, графе, кавалере ордена Почетного легиона, награжденном Большим офицерским крестом. Ежели человек этот потребует вернуть ему жену...

— Довольно, довольно, сударь! — сказала она.— Лучшего поверенного, чем вы, мне не надо! Как же быть?

— Идти на мировую.

— Любит ли он меня по-прежнему? — спросила графиня.

— Думаю, что иначе и быть не может.

При этих словах графиня гордо вскинула голову. Луч надежды зажегся в ее глазах; быть может, она рассчитывала сыграть на том чувстве, которое питал к ней ее первый муж, и с помощью какой-нибудь женской хитрости повернуть дело себе на пользу.

— Я буду ждать ваших приказаний, сударыня; и в зависимости от них либо мы предъявим наши бумаги в суд, либо вы соблаговолите сами зайти ко мне, чтобы выработать условия соглашения,— сказал Дервиль, откланиваясь.

Через неделю после этих переговоров, в прекрасное июньское утро, супруги, разлученные обстоятельствами почти сверхъестественными, прибыли с двух противоположных концов Парижа, чтобы встретиться в конторе их общего поверенного. Деньги, которыми Дервиль щедро снабдил полковника, позволили ему одеться прилично его положению. Мнимоусопший приехал в весьма недурном кабриолете. На Шабере был теперь со вкусом подобранный парик, синий суконный костюм, белоснежное белье, в вырезе жилета виднелась красная лента, на которой носят орден Почетного легиона. Вместе с прежними широкими привычками полковник обрел и свою былую военную выправку. Держался он прямо. На лице его, важном и загадочном, читалось счастье, все воскресшие надежды на счастье,

оно казалось помолодевшим и более красочным, если позволительно позаимствовать у живописцев одно из самых характерных их выражений. Он так же мало походил на прежнего Шабера в поношенной шинели, как мало походит стертый грош на только что отчеканенный золотой.

Прохожие с первого взгляда признавали в нем прекраснейший обломок нашей старой армии, одного из тех героев, в которых отражена наша национальная слава, подобно тому как в осколке зеркала сияет своими лучами солнце. Эти старые солдаты — и сама история и сама живопись.

У подъезда конторы граф выпрыгнул из экипажа с легкостью юноши. Едва только его кабриолет отъехал от крыльца, подкатила изящная двухместная карета, разукрашенная гербами. Оттуда вышла графиня Ферро в скромном, но обдуманном туалете, выгодно подчеркивавшем девичью стройность ее талии. На ней был прелестный капор, подбитый розовым шелком, который красиво обрамлял ее лицо, оживлял его краски, выгодно скрадывал очертания. Но если клиенты Дервиля как будто помолодели, то контора его ничуть не изменилась и вполне соответствовала описанию, которым мы начинали наше повествование.

Симонен завтракал, привалившись плечом к раме распахнутого настежь окна: он всматривался в голубой квадрат неба, открывавшийся над узким двором, замкнутым с четырех сторон почерневшими строениями.

— Ага! — воскликнул юный писец.— Кто хочет держать пари на какое-нибудь представление? Вон тот генерал с красной ленточкой — это прежний полковник Шабер.

— Наш патрон — сущий чародей,— сказал Годешаль.

— На сей раз, значит, нам не удастся сыграть с ним шутку? — спросил Дерош.

— Об этом позаботится его супруга, графиня Ферро,— ответил Букар.

— Стало быть,— произнес Годешаль,— графине Ферро приходится теперь ладить с двумя?

— А вот и она подъехала! — воскликнул Симонен.

В эту минуту вошел полковник и спросил Дервиля.

— Он у себя, господин граф,— сказал Симонен.

— Вот как! Оказывается, ты, озорник этакий, вовсе и не глухой? — пошутил Шабер, схватив мальчишку за ухо к общему удовольствию писцов, которые залились смехом, поглядывая с почтительным любопытством на столь необычного клиента.

Граф Шабер прошел к Дервилю в тот самый момент, когда на пороге конторы появилась графиня.

— Вы подумайте только, Букар, какая диковинная сцена разыграется сейчас у патрона! Графиня будет проводить четные дни с графом Ферро, а нечетные — с графом Шабером. Как бы не запуталась! Ей придется записывать.

— Если впала в *графоманию*, пускай записывает! — сказал Годешаль.— В високосные годы графы будут квиты.

— Да замолчите же вы, господа! Вас могут услышать,— строго произнес Букар.—Где это видано, чтобы так высмеивали клиентов!

Едва Дервиль успел проводить полковника в свою спальню, как в кабинет вошла графиня.

— Сударыня,— сказал поверенный,— я не знал, приятно ли вам будет видеть графа Шабера, поэтому я счел за благо принять вас каждого в отдельности. Однако, если вы пожелаете..

— Крайне вам благодарна, сударь, за вашу чуткость.

— Я заготовил проект договора, условия коего могут быть оспариваемы как вами, так и господином Шабером в процессе обсуждения. Я буду последовательно переходить от вас к нему, взаимно предоставляя той и другой стороне обмениваться через меня своими мотивами.

— Начинайте,— сказала графиня с нетерпением.

Дервиль начал читать:

«Мы, нижеподписавшиеся, граф Гиацинт Шабер, бригадный командир, награжденный большим офицерским крестом ордена Почетного легиона, проживающий в Париже, на улице Пти-Банкье, с одной стороны, и госпожа Роза Шапотель, супруга вышеупомянутого графа Шабера, родившаяся в...

— Опустим вступительную часть,— прервала его графиня.— Переходите прямо к самим условиям.

— Сударыня,— сказал поверенный,— во вступительной части вкратце излагается ваше положение в отношении друг к другу. Засим в пункте первом вы признаете в присутствии трех свидетелей, а именно двух нотариусов и владельца молочной, где проживает ваш супруг, которых я посвятил в тайну, обязав хранить полнейшее молчание,— итак, повторяю, вы признаете, что личность, о которой идет речь в прилагаемых к договору документах, подлинность коих удостоверена соответствующим актом, составленным вашим нотариусом Александром Кротта, является графом Шабером, вашим первым супругом. В пункте втором граф Шабер в ваших интересах обязуется воспользоваться своими правами лишь в случае, оговоренном настоящим актом. То есть,— прибавил Дервиль как бы мимоходом,— в случае невыполнения условий данного секретного соглашения. Со своей стороны,— продолжал поверенный,— господин Шабер обязуется совместно с вами исходатайствовать у суда постановление, аннулирующее акт о его кончине и признающее ваш брак с ним расторгнутым.

— Но это для меня совершенно неприемлемо,— изумленно произнесла графиня.— Я не хочу процесса. Вы сами знаете, почему.

— По пункту третьему,— с невозмутимым спокойствием продолжал поверенный,— вы обязуетесь внести в государственное казначейство капитал для выплаты вышеупомянутому графу Гиацинту Шаберу пожизненной ренты в двадцать четыре тысячи франков, с тем чтобы в случае смерти полковника этот капитал перешел к вам...

— Но это слишком много! — воскликнула графиня.

— Вы надеетесь договориться на меньшей сумме?

— Возможно.

— Чего же вы, в сущности, хотите, сударыня?

— Я хочу... я не хочу суда... я хочу...

— Чтобы он остался мертвецом? — живо перебил ее Дервиль.

— Сударь,— произнесла графиня,— если вы требуе-

те ренты в двадцать четыре тысячи франков, хорошо, будем судиться.

— Да, будем судиться! — сдавленным голосом воскликнул Шабер, который распахнул дверь спальни и внезапно появился перед своей женой. Он заложил левую руку за вырез жилета, а другую простер книзу — жест, которому память о необычайных злоключениях полковника сообщала какую-то ужасающую выразительность.

«Это он!» — подумала графиня.

— Слишком много! — повторил старый солдат.— Я дал вам почти миллион, а вы хотите выгадать на моем несчастье! Так знайте же, теперь я потребую и вас и ваше состояние. Наше имущество не разделено, наш брак не расторгнут.

— Но, сударь, вы вовсе не полковник Шабер! — воскликнула графиня с наигранным изумлением.

— Ах, так! — произнес старик с глубокой иронией.— Так вам нужны доказательства? Что же, я взял вас из Пале-Рояля...

Графиня побледнела. Увидев под румянами эту бледность, старый солдат был тронут страданием, которое он причинил обожаемому некогда существу, и умолк; но он был вознагражден за свое великодушие таким ядовитым взглядом, что не сдержался и прибавил:

— Вы были в...

— Увольте, сударь,— сказала графиня, обращаясь к поверенному.— Разрешите мне удалиться. Я пришла сюда вовсе не затем, чтобы выслушивать такие ужасы.

Она поднялась и вышла. Дервиль бросился вслед за ней в контору, но графиня уже выпорхнула, как будто на крыльях. Возвратившись в свой кабинет, Дервиль увидел, что полковник в приступе дикой ярости расхаживает по комнате крупными шагами.

— В ту пору,— произнес он,— каждый брал жену, где ему хотелось; но я, к сожалению, сделал плохой выбор, доверившись внешности. У нее нет сердца.

— Ну что, полковник, разве я был не прав, когда просил вас не показываться? Теперь я нисколько не сомневаюсь, что вы — полковник Шабер. Когда вы вошли в кабинет, графиня не могла удержаться от движения, которое невозможно истолковать двояко. Зато

вы проиграли процесс: вашеи жене известно, что вас нельзя узнать.

— Я убью ее...

— Безумец! Вас арестуют и гильотинируют как убийцу. Впрочем, в решительный момент у вас дрогнет рука, а это непростительно, особенно когда дело идет о собственной жене. Предоставьте мне исправлять ваши промахи, большое вы дитя! Идите домой. Берегитесь, она способна подстроить вам ловушку и упечь вас в Шарантон. Я представлю наши бумаги в суд, чтобы уберечь вас от каких-либо неожиданностей.

Бедный полковник повиновался своему молодому благодетелю и удалился, бормоча извинения. Он стал медленно спускаться по темной лестнице, уйдя в свои невеселые мысли, сраженный жестоким ударом, который, быть может, больнее всего пронзил его сердце, как вдруг на нижней площадке он услышал шелест женского платья и увидел графиню.

— Идемте, сударь,— произнесла она, беря его за руку таким знакомым и родным ему движением.

Жеста графини, звука ее голоса, ставшего вдруг нежным, было достаточно, чтобы укротить гнев полковника, и он послушно последовал за ней к карете.

— Садитесь со мной! — сказала графиня, когда лакей опустил подножку экипажа.

И, как по волшебству, полковник очутился в карете рядом со своей женой.

— Куда прикажете, сударыня? — спросил лакей.

— В Гроле,— ответила графиня.

Лошади дружно подхватили и понеслись по Парижу.

— Сударь...— обратилась графиня к полковнику, и в голосе ее послышалась та необычайная взволнованность чувств, на которую так живо откликается все наше существо.

В подобные мгновения все — сердце, нервы, лицо, душа, тело, каждая жилка и каждая частица,— все содрогается в нас. Кажется, сама жизнь нас покидает; она вырывается из нас наружу, она сообщается другому, как болезнь, передается во взгляде, звуке голоса, жесте, подчиняя других нашей воле. Старый солдат задрожал, услышав это единственное слово, ее первое,

ее страшное слово: «Сударь!» Но оно было одновременно и упреком, и мольбой, и прощением, надеждой, отчаянием, вопросом, ответом. В нем заключалось все. Надо быть прирожденной актрисой, чтобы вложить в одно слово столько красноречия, столько чувства. Правда не выражает себя с такой полнотой, она не все выставляет напоказ, она требует, чтобы разгадали ее сокровенную глубину. Полковник мучительно раскаивался в своих подозрениях, в своих требованиях, в своем гневе и потупил глаза, чтобы скрыть охватившее его волнение.

— Сударь,— произнесла графиня после неприметной паузы,— я вас сразу же узнала.

— Розина,— сказал старый солдат. — Это слово — бальзам, способный смягчить мои муки.

Две крупные горячие слезы скатились на руки графини, которые Шабер сжимал с отеческой нежностью.

— Сударь,— продолжала она,— как могли вы не понять, что мне было невыносимо стыдно показаться перед посторонним человеком в том ложном положении, в котором я нахожусь! Если уж мне суждено краснеть, пусть это будет в кругу моей семьи. Разве тайна эта не должна быть погребена в глубине наших сердец? Надеюсь, вы не поставите мне в вину кажущееся равнодушие к судьбе незнакомца, именующего себя графом Шабером, в существовании которого я вправе была сомневаться. Я получила ваши письма,— живо сказала графиня, заметив по лицу мужа, что он готовится ей возразить,— но они попали ко мне через тринадцать месяцев после битвы при Эйлау; они были вскрыты, испачканы, а почерк ваш неузнаваемо изменился. И после того как сам Наполеон поставил свою подпись на моем брачном контракте, я имела все основания считать, что какой-то ловкий интриган просто-напросто хочет сыграть со мной злую шутку. Чтобы не смущать покоя графа Ферро и не разрушать семейных уз, я обязана была принять меры предосторожности против лже-Шабера. Разве я не была права, скажите сами?

— Да, ты была права. А я, глупец, животное, грубиян, не сумел предвидеть последствий подобного по-

ложения... Но куда же мы едем? — спросил граф Шабер, заметив заставу Лашапель.

— В мою усадьбу, она расположена рядом с Гроле, в долине Монморанси. Там, сударь, мы вместе обсудим, что предпринять. Я знаю, в чем мой долг. Если я и принадлежу вам по закону, то фактически я не ваша жена. Неужели вы хотите, чтобы мы стали посмешищем всего Парижа? Не будем посвящать общество в наши дела, где мне отведена такая смешная роль. Сохраним наше достоинство. Вы до сих пор еще любите меня,— сказала она, бросив на полковника грустный и нежный взгляд,— но разве я не была вправе создавать себе новую жизнь? Какой-то тайный голос говорит мне, что в этих необычных обстоятельствах я могу положиться на вашу доброту, столь хорошо мне известную. Разве я ошиблась, избрав вас единственным судьей моей жизни? Будьте же не только судьей, но и моим защитником. Я рассчитываю на врожденное ваше благородство. Вы великодушны, вы простите мне последствия моих невольных заблуждений. Признаюсь вам, я люблю господина Ферро. Я считала себя вправе полюбить его. Говорю это без краски стыда. Если мое признание обидно для вас, то все же оно для нас не позорно. Я не могу скрывать от вас правды. Когда волею случая я осталась вдовой, я ведь еще не была матерью...

Движением руки полковник попросил ее замолчать, и примерно половину лье они проехали, не обменявшись ни словом. Перед взором Шабера встал образ двух детей.

— Розина!

— Я слушаю вас, сударь.

— Мертвецам не следовало бы выходить из могилы, верно?

— О нет, сударь, нет! Не считайте меня неблагодарной. Но поймите, вы оставили супругу, а теперь перед вами любящая женщина, мать. Если полюбить вас вновь не в моей власти, я все же не забываю, чем я вам обязана, я могу предложить вам дочернюю привязанность...

— Розина,— прервал ее мягко полковник,— я не сержусь на тебя. Забудем все,— добавил он с кроткой улыбкой, прелесть которой неизменно отражает красо-

ту души.— Я не настолько огрубел, чтобы требовать видимости любви от женщины, которая не любит меня более.

Графиня бросила на него взгляд, исполненный такой горячей признательности, что несчастный Шабер готов был снова вернуться в братскую могилу под Эйлау. Иные люди обладают душой достаточно сильной, чтобы доказать любой ценой свою преданность, а наградой им служит сознание, что они сделали добро обожаемому существу.

— Друг мой, мы вернемся к этому разговору позже, когда успокоимся,— сказала графиня.

Беседа их приняла иное направление, ибо невозможно долго говорить на подобные темы. Хотя супруги то и дело возвращались к своему необычному положению то намеками, то прямо, все же они совершили очаровательную прогулку, как бы вернувшую их к прежней совместной жизни и ко временам Империи. Графиня придала этим воспоминаниям нежное очарование и внесла в беседу меланхолический оттенок, подчеркивая этим ее значительность. Она сумела оживить любовь, не пробуждая желаний, и словно невзначай открыла своему первому супругу, как обогатилась она духовно, стараясь исподволь приучить его к мысли, что отныне ему придется ограничить свое счастье теми радостями, какие вкушает отец возле любимой дочери.

Полковник раньше знал графиню времен Империи, теперь пред ним была графиня времен Реставрации.

Наконец карета, увозившая супругов, свернула на проселочную дорогу и подъехала к большому парку, разбитому в неширокой долине, между возвышенностью Маржанси и очаровательным селением Гроле. Графине принадлежал там прелестный дом, где, как сразу заметил полковник, все было тщательно приготовлено для их совместного пребывания. Несчастья — своего рода талисман, усиливающий прирожденные нам свойства: у некоторых он развивает недоверчивость и злобу, а у людей прекрасной души приумножает доброту. Под влиянием перенесенных несчастий полковник стал еще отзывчивей и лучше, чем он был, и мог постичь тайны муки женщины, которые не доступны пониманию большинства мужчин. Однако, несмотря на всю свою до-

верчивость, он не удержался, чтобы не спросить графиню:

— Значит, вы были твердо уверены, что вам удастся привезти меня сюда?

— Да,— ответила она,— если истец действительно оказался бы полковником Шабером.

Искренность, прозвучавшая в этом ответе, рассеяла появившиеся было подозрения полковника, и он сам их устыдился.

В течение трех дней супруга полковника Шабера была само обаяние. Казалось, своей непрестанной заботой и женской нежностью она хотела изгладить из его памяти все воспоминания о перенесенных им горестях, вымолить прощение за те муки, которые она, по ее уверениям, причинила ему невольно; ей доставляло удовольствие расточать перед ним— но, разумеется, не без оттенка должной меланхолии — все свое очарование, против которого, как она знала, он не мог устоять; ведь мы особенно чувствительны к некоторым движениям, к некоторым прелестям ума или сердца и пасуем перед ними; она стремилась вызвать в Шабере сочувствие к своему положению, растрогать его, чтобы овладеть его душой и целиком подчинить своей власти.

Решившись на все, лишь бы добиться цели, она не знала еще, как ей поступить с этим человеком, но прежде всего она жаждала уничтожить его социально. К вечеру третьего дня их пребывания в Гроле она почувствовала, что, несмотря на все усилия, ей не удается более скрыть неуверенности в успехе затеянной ею игры. Ей захотелось побыть одной, она поднялась к себе, присела к письменному столу, сбросив личину спокойствия, которую все эти дни носила перед графом Шабером,—так актриса, закончив мучительный пятый акт, без сил возвращается со сцены и, полуживая, падает в кресло, оставив зрителям образ, на который она уже ничем не похожа сейчас. Графиня принялась дописывать письмо Дельбеку, в котором она поручала ему сходить к Дервилю, затребовать у него от ее имени все бумаги, касающиеся полковника Шабера, снять с них копии и немедленно явиться в Гроле. Едва она успела закончить письмо, как услыхала в коридоре шаги полковника, который, обеспокоившись ее отсутствием, пошел на розыски.

— Увы! — воскликнула она, как будто разговаривая сама с собою.— Как мне хотелось бы умереть! Мое положение непереносимо.

— Что с вами? — спросил добряк.

— Да нет, ничего,— ответила графиня.

Она встала и, оставив полковника одного, спустилась вниз, чтобы переговорить без свидетелей со своей горничной, которой она велела ехать в Париж, наказав ей вручить письмо в собственные руки Дельбеку и привезти это письмо обратно, как только управляющий прочтет его. Потом графиня вышла в сад и уселась на скамью, на самом виду — так, чтобы полковник при желании мог сразу ее найти. Шабер, который уже разыскивал графиню, подошел к ней и сел возле нее.

— Розина, что с вами? — спросил он.

Она ничего не ответила. Был чудесный спокойный июньский вечер; в такие часы в сладчайшей неге заката разлита скрытая гармония. Воздух был чист, стояла глубокая тишина, можно было слышать доносившиеся из отдаленной аллеи парка детские голоса, как бы дополнявшие своей мелодией возвышенную прелесть пейзажа.

— Вы не отвечаете? — продолжал полковник.

— Мой муж...— начала графиня и тут же замолчала; она сделала какой-то неопределенный жест и, покраснев, спросила: — Как мне называть при вас графа Ферро?

— Называй его мужем, малютка,— ответил добродушно полковник.— Разве он не отец твоих детей?

— Хорошо,— продолжала графиня.— Если господин Ферро спросит меня, что я здесь делала, если он узнает, что я провела здесь несколько дней с глазу на глаз с каким-то незнакомцем, что я ему скажу? Послушайте, сударь,— сказала она, приняв величественную позу,— моя судьба в ваших руках, я подчинюсь всему...

— Дорогая моя,— ответил полковник, беря свою жену за руки.— Я решил всем пожертвовать ради вашего благополучия.

— Но это невозможно! — воскликнула она, судорожно вздрогнув.— Подумайте только, ведь вам придется

отказаться от самого себя, и притом с соблюдением всех формальностей.

— Как,— спросил полковник,— разве моего слова вам недостаточно?

Слово «формальности» поразило полковника в самое сердце, пробудило в нем невольное подозрение. Он бросил на свою жену взгляд, заставивший ее покраснеть. Она опустила глаза, и полковник Шабер со страхом подумал, что ему, быть может, придется ее презирать. Графиня испугалась, что она оскорбила суровую чистоту, неподкупную честность человека, чей великодушный характер и врожденное благородство были ей так хорошо известны. Хотя тень этих мыслей омрачила их лица, вскоре между ними установилось доброе согласие. И вот как это произошло. Вдалеке послышался детский крик.

— Жюль, оставь в покое сестрицу!— воскликнула графиня.

— Как, ваши дети здесь? — спросил полковник.

— Да, но я запретила им докучать вам.

Старый воин оценил всю тонкость, всю глубину женского такта, выразившегося в этом очаровательном поступке, и припал к руке графини.

— Пусть они подойдут сюда,— сказал он.

Маленькая девочка бросилась к матери, спеша пожаловаться на брата.

— Маменька!

— Маменька!

— Это он!

— Нет, она сама...

Детские ручонки тянулись к матери, детские голоса лепетали о чем-то наперебой. Эта неожиданная сцена была трогательна.

— Бедные дети! — воскликнула графиня, не сдерживая больше слез.— С ними придется расстаться. Кому их отдаст суд? Сердце матери не поделить на части, я хочу, чтобы их оставили мне!

— Это из-за вас маменька плачет? — спросил Жюль, бросая на полковника гневный взгляд.

— Жюль, замолчи! — повелительно воскликнула графиня.

Дети стояли неподвижно, молча рассматривая мать и незнакомца с неописуемым любопытством.

— О, пусть меня разлучат с графом,— продолжала графиня,— но пусть мне оставят детей, я согласна на все...

Этот решительный ход увенчался полным успехом, на что графиня и рассчитывала.

— Да,— вскричал полковник, как бы продолжая начатую мысленно фразу,— я должен возвратиться в могилу, я уже думал об этом!

— Смею ли я принять такую жертву? — ответила графиня.— Если мужчина и соглашается умереть, чтобы спасти честь возлюбленной, он отдает свою жизнь всего один-единственный раз, но вы, вы будете отдавать мне вашу жизнь ежедневно, ежечасно! Нет, нет, это невозможно! Если бы речь шла только о вашей жизни, это было бы еще полгоря, но заявить, что вы не полковник Шабер, письменно признать себя самозванцем, пожертвовать своей честью, лгать каждый день, каждую минуту — нет, человеческая любовь не может подняться до такой высоты! Подумайте только! Нет! Не будь у меня этих несчастных детей, я убежала бы с вами на край света.

— Но почему бы мне,— возразил Шабер,— не поселиться возле вас, в этом маленьком домике, в качестве дальнего родственника? Я ни на что не годен, я старая, отслужившая свой век пушка, да и нужно мне всего-навсего немножко табаку и номер газеты «Конституционель» по утрам.

Графиня залилась слезами. Между нею и полковником Шабером завязался поединок великодушия, и старый солдат вышел из него победителем. Умилившись душой при виде трогательной сцены, какую являла в этот тихий, спокойный вечер мать в кругу своих детей, полковник решил остаться мертвецом и, не страшась более официального акта, спросил графиню, как надлежит ему поступить, чтобы навсегда обеспечить счастье ее семьи.

— Поступайте, как знаете! — воскликнула графиня.— Предупреждаю вас, я не намерена вмешиваться в это дело. Я не должна!

Дельбек, приехавший в Гроле за несколько дней до того, следуя указаниям графини, сумел втереться в доверие к старому солдату. На следующее же утро полковник Шабер отправился вместе с бывшим стряпчим в Сен-Ле-Таверни, где Дельбеком был уже заранее заготовлен у нотариуса акт, составленный в выражениях столь недвусмысленных, что старик, прослушав этот документ, поднялся с места и направился к выходу.

— Тысяча чертей! Нечего сказать, хорош я буду! Да ведь это же подлог! — вскричал он.

— Сударь,— успокоил его Дельбек. — Я тоже не советую вам подписывать этот документ опрометчиво. На вашем месте я сумел бы выторговать в этой сделке по меньшей мере тридцать тысяч ливров годового дохода, графиня пошла бы на это.

Кинув на прожженного мошенника испепеляющий взгляд честного человека, полковник, раздираемый самыми противоречивыми чувствами, бросился вон. Снова и снова его охватывало недоверие, то он негодовал, возмущался, то затихал.

Наконец, проникнув через пролом ограды в парк, он медленно направился к беседке, откуда открывался вид на дорогу из Сен-Ле, в надежде отдохнуть там и на досуге собраться с мыслями. Аллея была усыпана мелким желтым песком вместо грубого речного гравия; графиня, сидя в небольшой гостиной, тут же в павильоне, не заметила приближения полковника; она была слишком озабочена исходом своего дела, чтобы обратить внимание на легкий шум шагов. Старый солдат, в свою очередь, тоже не видел жены.

— Ну как, господин Дельбек, подписал он или нет?— спросила графиня своего управляющего, разглядев поверх невысокой изгороди, окаймлявшей ров, что тот возвращается один.

— Нет, сударыня. Не возьму даже в толк, что такое с ним случилось. Старая кляча встала на дыбы.

— Придется, значит, упрятать его в Шарантон, благо он в наших руках,— сказала графиня.

К полковнику вдруг вернулась вся его былая прыть: он перепрыгнул через ров, в мгновение ока очутился перед управляющим и закатил ему пару таких пощечин,

крепче которых, пожалуй, сутяга еще никогда не получал.

— Так узнай же, что старая кляча еще умеет лягаться! — вскричал он.

Утолив свой гнев, полковник почувствовал, что теперь ему не под силу перескочить обратно через ров. Истина встала перед ним во всей своей неприглядной наготе. Вопрос графини и ответ Дельбека открыли ему существование заговора, жертвой которого он должен был пасть.

Заботы, расточаемые ему графиней, были только приманкой, она хотела завлечь его в ловушку. Ее слова, подобно неприметной капле яда, мгновенно пробудили в старом воине все душевные и телесные муки. Через ворота парка он пошел к павильону, с трудом, как дряхлый старец, волоча ноги. Итак, ни отдыха, ни покоя! Отныне придется начать с этой женщиной омерзительную войну, о которой говорил Дервиль, вступить на путь крючкотворства, питаться желчью, ежедневно осушать полную чашу горечи. А потом — ужасная мысль! — где взять деньги, чтобы оплатить расходы по судопроизводству в первых инстанциях? Его охватило такое отвращение к жизни, что, будь он на берегу реки,— он бросился бы в воду, будь у него под рукой пистолет — он пустил бы себе пулю в лоб. Затем мысли его вновь пришли в смятение, изменившее весь строй его чувств с того самого дня, когда Дервиль посетил заведение Верньо.

Добравшись наконец до павильона, он поднялся в гостиную, сквозь круглые окна которой открывался на все четыре стороны восхитительный вид. Там он застал свою жену. Графиня, сидя в креслах, любовалась пейзажем, вся ее поза выражала сдержанное спокойствие, лицо хранило непроницаемое выражение, которое умеют принять женщины, решившиеся идти до конца. Она утерла платочком глаза, как будто на них еще не просохли слезы, и стала рассеянно играть концами длинного розового пояса. Тем не менее, несмотря на свое напускное хладнокровие, графиня не могла сдержать дрожь, когда перед ней встал, скрестив на груди руки, нахмурив брови, ее почтенный благодетель, побледневший от негодования.

— Сударыня,— сказал он, и под его пристальным взглядом лицо ее залилось краской,— сударыня, я вас не проклинаю, я презираю вас. Ныне я благословляю случай, нас разъединивший. Я не желаю даже мстить вам, я не люблю вас более. Я не хочу от вас ровно ничего. Живите спокойно, доверившись моему слову,— оно крепче мазни всех парижских нотариусов. Я никогда не буду пытаться вернуть себе имя, которое я, быть может, прославил. Отныне я просто бродяга Гиацинт, который хочет только местечка на земле. Прощайте...

Графиня бросилась к ногам полковника, схватила его за руки, стараясь удержать, но он с отвращением оттолкнул ее и закричал:

— Не смейте прикасаться ко мне!

Услышав, как затихают вдали шаги полковника, графиня только передернула плечами. С той глубокой проницательностью, которая дается безграничной подлостью или звериным эгоизмом высшего света, она поняла, что отныне может жить спокойно, надежно охраняемая словом и презрением честного воина.

Шабер и в самом деле исчез. Торговец молочными продуктами разорился и нанялся в кучера. Быть может, и сам полковник подвизался на каком-нибудь поприще в том же роде. Быть может, подобно камню, брошенному в пропасть, он, падая с уступа на уступ, исчез среди безвестной голи, которая кишит на улицах Парижа.

Полгода спустя после описанных событий Дервиль, который не слыхал больше ничего ни о полковнике Шабере, ни о графине Ферро, решил, что они пришли к полюбовному соглашению и графиня, в отместку ему, поручила оформить это соглашение другому поверенному. Как-то поутру, подсчитав суммы, выданные Шаберу, и прибавив свои расходы, Дервиль обратился к графине Ферро с просьбой передать этот счет полковнику, предполагая, что ей известно местожительство ее первого супруга.

На следующий же день управляющий графа Ферро, незадолго до того назначенный председателем суда первой инстанции в одном из крупных городов, прислал Дервилю следующий неутешительный ответ:

«Милостивый государь!

Госпожа Ферро поручила мне сообщить Вам, что Ваш клиент недостойно злоупотребил Вашим доверием; лицо, именовавшее себя графом Шабером, призналось в том, что это имя присвоено им незаконно.

Примите и проч. *Дельбек»*.

— И носит же земля таких простаков! — воскликнул Дервиль.— А еще называюсь поверенным! Вот, будьте великодушным, отзывчивым филантропом и ученым правоведом в придачу, все равно вас обведут вокруг пальца. Эта история влетела мне в две тысячи франков!

Вскоре после получения этого письма он отправился в суд повидаться с адвокатом, который вел дела в исправительной полиции. По случайному стечению обстоятельств Дервиль вошел в шестую камеру как раз в тот момент, когда председатель приговорил за бродяжничество некоего Гиацинта, не помнящего родства, к двум месяцам тюрьмы с последующим переводом в дом призрения в Сен-Дени, что в практике исправительной полиции равносильно пожизненному заключению. Услышав имя Гиацинт, Дервиль взглянул на обвиняемого, сидевшего на скамье подсудимых, и узнал в нем своего лже-Шабера.

Старый солдат был невозмутим, немного рассеян; даже лохмотья, даже нищета, наложившая свой след на его лицо, не могли лишить его благородства и гордости. В его взгляде было стоическое спокойствие, что не могло бы укрыться от глаз судьи; но стоит только человеку попасть в руки правосудия, он становится существом подсудным, вопросом права, казусом, подобно тому, как в руках статистика он только цифра. Когда старого солдата увели в канцелярию, откуда его должны были отправить в тюрьму вместе с партией бродяг, дела которых разбирали в тот же день, Дервиль, воспользовавшись правом юриста, имеющего доступ во все помещения суда, прошел вслед за ним и несколько минут молча рассматривал Шабера, сидевшего посреди пестрой толпы нищих. В те времена камера при судейской канцелярии являла собой одно из тех зрелищ, которое, к великому сожале-

нию, до сих пор не изучено еще ни законниками, ни филантропами, ни художниками, ни писателями.

Эта камера, как и все лаборатории крючкотворства, представляет собою темное, зловонное помещение; вдоль стен стоят побуревшие деревянные скамьи, отполированные засаленными отрепьями обездоленных, сходящихся отовсюду на это сборище общественных недугов, которого никому из них не избегнуть. Поэт сказал бы, что сам дневной свет стыдится озарить эту страшную яму, куда стекаются тысячи злосчастных судеб. Здесь в каждой щели притаилось преступление или преступный замысел, здесь в каждом уголке может встретиться вам человек, махнувший на все рукой, после первого своего проступка заклейменный судом и вступивший на путь, в конце которого его ждет гильотина или самоубийство. Того, кто влачится по парижским мостовым, рано или поздно прибьет к этим изжелта-серым стенам, и филантроп, если только он не праздный созерцатель, найдет здесь объяснение бесчисленных самоубийств, на которые горько сетуют лицемерные писатели, найдет не сделавши и шага для их предупреждения, и разгадает пролог драмы, обрывающейся в морге или на Гревской площади.

И вот полковник Шабер сидел в толпе этих людей с энергическими физиономиями, одетых в отвратительные ливреи нищеты. Оборванцы то замолкали, то переговаривались вполголоса, так как три жандарма расхаживали взад и вперед, с грохотом волоча по полу свои сабли.

— Вы меня узнаете? — спросил Дервиль, подходя к старому солдату.

— Да, сударь,— ответил Шабер, приподнимаясь ему навстречу.

— Если вы человек честный,— продолжал тихо Дервиль,— как вы могли не вернуть мне долг?

Старик покраснел до ушей, как девушка, заподозренная матерью в тайном свидании с возлюбленным.

— Как! — громко воскликнул он.—Разве госпожа Ферро вам не уплатила?

— Уплатила?..— повторил Дервиль.— Она написала мне, что вы обманщик.

Полковник возвел глаза с выражением ужаса и

мольбы, как бы призывая небеса в свидетели этой новой лжи.

— Сударь,— произнес он спокойно, с трудом сдерживая возмущение,— попросите жандармов провести меня в канцелярию, я напишу распоряжение, по которому вам, несомненно, будет уплачено.

Дервиль попросил начальника конвоя, и ему разрешили зайти вместе с его клиентом в канцелярию, где Гиацинт написал несколько слов графине Ферро.

— Отошлите ей это письмо,— сказал полковник,— и вам возместят все расходы и вернут затраченные на меня деньги. И верьте, сударь: если я не мог выразить вам благодарность за все ваши добрые услуги — она здесь,— сказал он, прижав руку к сердцу.— Да, она здесь, во всей своей полноте и силе. Но что может дать обездоленный? Только любовь, и ничего больше.

— Как же это вы не сумели выговорить себе хоть какую-нибудь сумму! — воскликнул Дервиль.

— Не говорите мне об этом,— отвечал старый воин.— Вы не можете себе вообразить, до чего я презираю эту показную жизнь, которой так дорожит большинство людей. Мною нежданно овладел новый недуг — отвращение к человечеству. Когда я вспоминаю, что Наполеон на острове святой Елены,— все претит мне в этом мире. Я не могу более быть солдатом, вот в чем моя беда. Наконец,— прибавил он с непередаваемо ребячливым жестом,— чувства украшают лучше, нежели богатые наряды, и я смело смотрю всем в глаза.

И полковник снова уселся на скамью.

Дервиль вышел. Возвратившись к себе в контору, он послал Годешаля, занимавшего теперь место старшего писца, к графине Ферро, и она немедленно же по получении письма распорядилась выплатить поверенному долг Шабера.

В 1840 году, в конце июня, Годешаль, ставший поверенным, преемником Дервиля, прибыл вместе с ним в Ри. Проезжая по шоссе, ведущему к Бисетру, они заметили старика, сидящего под вязом; такие старцы, сраженные судьбой и убеленные сединами, уже дослужившиеся до маршальского жезла нищеты, живут в Бисетре, подобно тому как бездомные женщины находят приют в Сальпетриере. Этот старик, один

из двух тысяч призреваемых в приюте для престарелых, сидел на тумбе и, казалось, весь ушел в несложное занятие, знакомое всем инвалидам: он сушил на солнце свой носовой платок, перепачканный нюхательным табаком,— должно быть для того, чтобы не отдавать его в стирку. В его лице было что-то значительное. Одет он был в порыжелую куртку — мерзкую ливрею, которой богадельня снабжает каждого из своих питомцев.

— Посмотрите, Дервиль,— обратился Годешаль к своему спутнику.— Видите вы этого старика? Разве он не напоминает тех игрушечных деревянных уродцев, которых привозят из Германии? И подумать только, что это существо живет, что оно, быть может, даже счастливо!

Дервиль достал лорнет, взглянул на беднягу и с легким жестом изумления воскликнул:

— Да этот старик, дорогой мой, целая поэма, или, как говорят романтики, целая драма. Ведь вы помните графиню Ферро?

— Конечно. Весьма приятная и умная дама, только чересчур уж богомольная.

— Так вот, этот престарелый обитатель Бисетра — ее законнейший супруг, граф Шабер, бывший полковник; это она, конечно, запрятала его сюда. И если ему приходится жить не в собственном особняке, а в богадельне, то произошло это только потому, что он имел неосторожность напомнить очаровательной графине, что он сторговал ее на улице, как нанимают фиакр. Никогда не забуду, как она тогда на него взглянула. Настоящая тигрица!

Это вступление возбудило интерес Годешаля, и Дервиль рассказал ему всю вышеизложенную историю. Два дня спустя, в понедельник утром, друзья на обратном пути опять проезжали мимо Бисетра, и Дервиль предложил Годешалю навестить полковника Шабера.

На полдороге друзья увидели сидевшего на стволе срубленной ивы старика, который палкой чертил на песке узоры. Приглядевшись к нему внимательнее, они заметили, что он уже успел позавтракать, и, конечно, не в своей богадельне.

— Добрый день, полковник Шабер,— обратился к нему Дервиль.

— Не Шабер! Не Шабер! Меня зовут Гиацинт. Я теперь не человек, а номер сто шестьдесят четыре, седьмая палата,— тревожно прибавил он, глядя на Дервиля пугливо, как глядят только дети и старики. — Вы пришли посмотреть на приговоренного к смерти? — произнес он, помолчав немного. — Он не женат! Он счастлив!

— Бедняга,— сказал Годешаль.— Может быть, вам нужны деньги? Хоть табаку себе купите.

С простодушной жадностью парижского уличного мальчишки полковник протянул руку по очереди обоим друзьям, которые дали ему двадцать франков; он поблагодарил их бессмысленным взглядом и прибавил:

— Молодцы, ребята!

Затем он взял на-караул, прицелился в них палкой и, смеясь, закричал:

— Огонь из двух орудий! Да здравствует Наполеон!

И он описал палкой в воздухе какую-то замысловатую завитушку.

— Он впадает в детство. Очевидно, таково следствие его ужасного ранения,— сказал Дервиль.

— Это он-то впадает в детство? — подхватил другой обитатель Бисетра, оказавшийся свидетелем этой сцены.— В иные дни к нему лучше и не подступайся. Этот старый хитрец прямо философ! А уж выдумщик! Но ничего не поделаешь, нынче понедельник — вот и хватил малость. Он здесь, сударь, с 1820 года. Помню, как раз в тот год проезжал здесь прусский офицер. Коляска его подымалась по косогору к Вильжюифу, а он решил пройтись пешком. Мы вдвоем с Гиацинтом сидели у края дороги. Офицер болтал со своим спутником или таким же грубияном, как он сам; увидели они старика и решили подшутить,— пруссак и говорит: «Этот старый стрелок наверняка дрался еще при Росбахе». А наш отвечает: «Для этого я был слишком молод, но зато я был уже достаточно взрослым, чтобы сражаться при Иене». Тут уж пруссак поспешил улизнуть: не до вопросов ему было.

— Что за судьба! — воскликнул Дервиль.— Провести детство в приюте для подкидышей, умереть в богадельне для престарелых, а в промежутке меж этими рубежами помогать Наполеону покорить Европу и Еги-

нет. Знаете, любезный друг,— продолжал Дервиль после небольшой паузы,— представители трех профессий в нашем обществе — священник, врач и юрист — не могут уважать людей. Недаром они ходят в черном,— это траур по всем добродетелям и по всем иллюзиям. И самый несчастный из них троих — это поверенный. Когда человек обращается к священнику, им движет раскаяние, угрызения совести, вера,— и это облагораживает, возвеличивает его и утешает духовного наставника, обязанности коего даже не лишены известной отрады: он отпускает грехи, он направляет, умиротворяет. Но мы... Мы, поверенные, видим все одни и те же низкие чувства, ничем не смягчаемые; наши конторы — сточные канавы, очистить которые не под силу человеку. Чего я только не нагляделся, выполняя свои обязанности! Я видел, как в каморке умирал нищий отец, брошенный своими двумя дочерьми, которым он отдал восемьдесят тысяч ливров годовой ренты, видел, как сжигали завещания, видел, как матери разоряли своих детей, как мужья обворовывали своих жен, как жены медленно убивали своих мужей, пользуясь как смертоносным ядом их любовью, превращая их в безумцев или слабоумных, чтобы самим спокойно жить со своими возлюбленными. Видел женщин, прививавших своим законным детям такие наклонности, которые неминуемо приводят к гибели, лишь бы передать состояние ребенку, прижитому от любовника. Не решусь вам рассказать все то, что я видел, ибо я был свидетелем преступлений, против которых правосудие бессильно. И право, все ужасы, которыми нас пугают в книгах романисты, бледнеют перед действительностью. Вам тоже предстоит увидеть подобные картины. А я решил поселиться с женой в деревне. Париж внушает мне отвращение.

— Я уже достаточно нагляделся на все это, работая с Дерошем,— ответил Годешаль.

Париж, февраль — март 1832 г.

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА

Посвящается Луи Буланже,
художнику.

I

ПЕРВЫЕ ОШИБКИ

В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряженный парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильоне на улицу Риволи и остановился за вереницей экипажей, у решетки, недавно возведенной возле площадки Фельянов. Правил этой легонькой коляской человек, лицо которого носило печать забот и недуга; проседь в волосах, уже редких на темени, отливавшем желтизною, раньше времени старила его; он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску, и сошел, чтобы помочь спуститься прехорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздных зрителей. Девушка, ступив на край коляски, обвила руками шею своего спутника, и он перенес ее на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на ее зеленом репсовом платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости. Незнакомец, очевидно, был отцом девушки; не поблагодарив, она непринужденно взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик заметил, с каким восхищением смотрят молодые лю-

ди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием.

— Все думают, что ты моя жена,— шепнул он на ухо девушке и, выпрямившись, зашагал еще медленнее, что привело ее в отчаяние.

Он, видимо, гордился своей дочкой, и его, пожалуй, даже более, чем ее, тешили взоры мужчин, скользившие украдкой по ее ножкам в темно-коричневых прюнелевых туфельках, по хрупкой фигурке, которую облегало изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка. Поступь девушки была стремительна, оборки ее платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точеной ноги в ажурном шелковом чулке. И не один франт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы еще раз взглянуть на юное личико, в рамке разметавшихся темных кудрей; оно казалось еще белее, еще румянее в отсветах розового атласа, которым был подбит ее модный капор, а отчасти и от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные черные глаза ее — глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осененные длинными ресницами и блестевшие влажным блеском. Жизнь и молодость выставляли напоказ свои сокровища, будто воплощенные в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под самой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри — разумеется, к нему-то и влекло ее так неудержимо. Было без четверти двенадцать. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом, точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть. Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний, с досадою оброненных разряженными дамами, и они почему-то очень взволновали ее. Старик следил

«ПОЛКОВНИК ШАБЕР».

«ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА».

скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом за тем, как выражение страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею: в этом сквозила затаенная отцовская тревога.

То было тринадцатое воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправлялся в тот роковой поход, во время которого ему суждено было потерять Бесьера, а за ним — Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, увидеть, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадот, и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших в восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров, великолепие и точность которых иной раз изумляли даже самого исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привлекало в Тюильри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведет в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок.

— Ну, пойдемте же скорее, папенька! — бойко говорила девушка, увлекая за собой старика.— Слышите: бьют в барабаны.

— Войска входят в Тюильри,— отвечал он.

— Или уже прошли церемониальным маршем!.. Все уже возвращаются! — промолвила она тоном обиженного ребенка, и старик улыбнулся.

— Парад начнется лишь в половине первого,— заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой.

Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать. Ее маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок и напоминала весло, рассекающее волны. Старик порою улыбался, но иногда его изможденное лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он

словно говорил себе: «Нынче она счастлива, будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущее людей молодых. Отец и дочка вошли под перистиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из Тюильрийского сада на площадь Карусели, и здесь, у павильона, в тот час украшенного развевавшимся трехцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых:

— Проход закрыт!

Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император.

— Вот видите, отец, мы опоздали!

Губы у нее горестно сжались,— было ясно, что для нее очень важно присутствовать на параде.

— Что ж, вернемся, Жюли; ты ведь не любишь давки.

— Останемся, папенька! Я хоть посмотрю на императора, а то, если он погибнет в походе, я так его и не увижу.

Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма; в голосе девушки слышались слезы; он взглянул на нее, и ему показалось, что под ее опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадою, сколько теми первыми печалями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику-отцу. Вдруг Жюли вспыхнула, и из груди ее вырвалось восклицание, смысл которого не поняли ни часовые, ни старик. Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестнице, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тотчас же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещавший проход,— приказ, который сам и отдал; затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлек к себе просиявшую девушку.

— Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила,— оказывается, ты на дежурстве,— сказал старик офицеру, полушутя, полусерьезно.

— Сударь,— отвечал молодой человек,— если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять вре-

мя на разговоры. Император ждать не любит; все готово, и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству.

Говоря так, он с дружеской непринужденностью взял Жюли под руку и быстро повел к площади Карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа затопила все небольшое пространство меж серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей словно пчелиный рой.

— Будет очень красиво, не правда ли? — спросила Жюли, улыбаясь.

— Осторожнее! — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне.

Если б офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканным золотом; его держал под уздцы наполеоновский мамелюк почти у самой арки, шагах в десяти позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились. Офицер шел во дворец со счастливым и радостным видом, с его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нем, когда конь стал на дыбы. Жюли украдкой пожала ему руку,— то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли словно говоря ему: «Наконец-то я вас вижу!» Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который отвесил офицер ей и ее отцу перед тем как уйти. Старик, очевидно, нарочно оставивший молодых людей, все стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери; он тайком наблюдал за нею, хоть и старался не смущать ее, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляла собою площадь Карусели. Когда Жюли взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил

ей добродушной и веселой улыбкой; однако он не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой,— ни одна мелочь в этой короткой сценке не ускользнула от него.

— Как красиво! — вполголоса промолвила Жюли, пожимая руку отца.

Действительно, площадь Карусели являла собою в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решетки, отделяющей Тюильри от площади Карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, казалась яркой каймой по краям огромного четырехугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполняли все это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в десять рядов. По ту сторону ограды и на площади Карусели параллельно им в линейку стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой на самой середине решетки; на верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони, вывезенные из Венеции. Полковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены отрядом польских уланов. Почти вся обширная четырехугольная площадь, засыпанная песком, была пуста; она предназначалась для безмолвного передвижения войск, симметрично построенных по всем правилам военного искусства; солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в десяти тысячах трехгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина во всех своих деталях, во всем своем своеобразии представлявшая собою в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими, величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и

офицеры и солдаты. Зритель невольно сравнивал стены, словно возведенные из людей, со стенами, возведенными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века, ярко освещало несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром и золотом, отливавших лазурью и пурпуром, любопытные могли приметить трехцветные флажки на пиках шести неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки скакали меж войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полоску, отведенную для публики перед дворцовой решеткой. Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы. Под вешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадеров, и это подчеркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание еще строже. Порою звенели колокольчики в оркестре да гудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, напоминали отдаленные громовые раскаты, предвещающие грозу. Что-то неописуемо восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой предвидел каждый. На этот раз дело шло о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских и военных, волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамена и его гений. Солдаты эти — оплот Франции, последняя капля ее крови,— вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство горожан и воинов, быть может, прощались навеки; но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе Франции. Даже люди, измученные борьбой, завязавшейся между Европой и Францией, отбросили ненависть, проходя под Триумфальной аркой, и понимали,

что в грозный час Наполеон — олицетворение Франции. Дворцовые куранты пробили полчаса. Толпа тотчас же умолкла; водворилась такая глубокая тишина, что был бы слышен и лепет ребенка. До старика и его дочери, для которых сейчас ничто не существовало, кроме картины, представшей их взорам, из-под гулких сводов перистиля, донесся звон шпор и бряцание сабель.

И вдруг показался довольно тучный невысокий человек в зеленом мундире, белых лосинах и ботфортах, в неизменной своей треугольной шляпе, обладавшей такою же притягательной силой, как и он сам; на груди его развевалась широкая красная лента ордена Почетного легиона, сбоку висела маленькая шпага. Император был замечен всеми и сразу на всех концах площади. И тотчас же забили «поход» барабаны, оба оркестра грянули одну и ту же музыкальную фразу, воинственную мелодию подхватили все инструменты от нежнейших флейт до турецкого барабана. При этом мощном призыве сердца затрепетали, знамена склонились, солдаты взяли на караул, единым и точным движением вскинув ружья во всех рядах. От шеренги к шеренге, будто эхо, прокатились слова команды. Возгласы «Да здравствует император!» потрясли воодушевленную толпу. Вдруг все тронулось, дрогнуло, всколыхнулось. Наполеон вскочил на коня. Движение это вдохнуло жизнь в немую громаду войск, наделило музыкальные инструменты звучанием, взметнуло в едином порыве знамена и стяги, взволновало лица. Стены высоких галерей старинного дворца, казалось, тоже возглашали: «Да здравствует император!» В этом было что-то сверхъестественное, то было какое-то наваждение, подобие божественного могущества, или, вернее, мимолетный символ этого мимолетного царствования. Человек этот, средоточие такой любви, восхищения, преданности, стольких чаяний, ради которого солнце согнало тучи с неба, сидел верхом на коне шага на три впереди небольшого эскорта из приближенных в расшитых золотом мундирах, с обергофмаршалом по левую руку и дежурным маршалом по правую. Ничто не дрогнуло в лице этого человека, взволновавшего столько душ.

— Ну, конечно, бог ты мой! При Ваграме под пуля-

ми, под Москвой среди трупов *он*-то всегда невозмутим.

Так отвечал на многочисленные вопросы гренадер, стоявший рядом с девушкой. Она же на миг вся ушла в созерцание императора, спокойствие которого выражало нерушимую уверенность в собственном могуществе. Наполеон заметил мадемуазель де Шатийоне; наклонившись к Дюроку, он что-то отрывисто сказал, и обергофмаршал усмехнулся. Маневры начались. До сих пор внимание девушки раздваивалось между бесстрастным лицом Наполеона и голубыми, зелеными и красными рядами войск; теперь же она почти не сводила глаз с молодого офицера, следя за тем, как он то мчится на своем коне между отрядами старых солдат, двигающихся быстро и точно, то в неудержимом порыве словно летит к той группе, во главе которой блистает своею простотой Наполеон. Офицер этот скакал на превосходной лошади вороной масти, и его красивый мундир небесно-голубого цвета, мундир, отличавший адъютантов императора, выделялся на фоне пестрой толпы. Золотое шитье и позументы так ослепительно блестели на солнце, а султан его узкого высокого кивера отражал такой яркий сноп света, что зрители, должно быть, сравнивали его с блуждающим огоньком, с неким духом, получившим от императора повеление оживлять, вести батальоны, сверкавшие оружием, когда по одному взгляду властелина они то расступались, то вновь соединялись, то кружились, как валы в морской пучине, то проносились перед ним, как те отвесные, высокие волны, что катит на берег бушующий океан.

Когда маневры закончились, офицер поскакал во весь опор и остановился перед императором в ожидании приказов. Теперь он был шагах в двадцати от Жюли, против императора и его свиты, и поза его очень походила на ту, какую Жерар придал генералу Раппу на картине «Сражение под Аустерлицем». Девушка сейчас вволю могла любоваться своим избранником во всем его воинском великолепии. Полковнику Виктору д'Эглемону было не более тридцати лет; он был высок, строен и сложен отлично, что особенно бросалось в глаза, когда он проявлял свою силу, управляя лошадью, изящная и гибкая спина которой словно подгибалась под

ним. Его мужественное смуглое лицо обладало неизъяснимым очарованием, которое придает молодым лицам совершенная правильность черт. У него был широкий и высокий лоб. Брови у него были густые, ресницы длинные, и огненные глаза казались двумя светлыми овалами, обведенными черными штрихами. Красива была линия его орлиного носа с горбинкой. Над алыми губами вились неизбежные черные усы. Смуглый румянец, игравший на его полных щеках, говорил о незаурядной силе. Это было лицо, отмеченное печатью отваги, и принадлежало оно к тому типу, который ныне пытается найти художник, задумав изобразить героя наполеоновской Франции. Взмыленный конь в нетерпении тряс гривой, но стоял на месте как вкопанный, расставив передние ноги и помахивая длинным густым хвостом; его преданность господину являла собою живое олицетворение той преданности, которую сам полковник д'Эглемон питал к императору. Жюли, видя, что ее возлюбленный только и думает, как бы поймать взгляд Наполеона, почувствовала досаду, вспомнив, что на нее-то он не посмотрел ни разу. Вот властелин что-то сказал, и Виктор, пришпорив коня, уже мчится галопом; но тень, отброшенная тумбой на песок, пугает коня, он растерянно пятится и вдруг встает на дыбы, и все это происходит так неожиданно, что всаднику, кажется, грозит опасность. Жюли вскрикивает, бледнеет; все оглядываются на нее с любопытством; она никого не видит, ее глаза прикованы к разгоряченному коню, которого на всем скаку укрощает офицер, торопясь передать приказ императора. Эта волнующая картина так потрясла Жюли, что она безотчетно впилась пальцами в руку отца, невольно открывая ему свои мысли. В тот миг, когда лошадь чуть было не сбросила Виктора, Жюли так порывисто схватила руку отца, точно ей самой угрожала опасность. Старик вглядывался с мрачным беспокойством в сияющее личико дочери, в каждой его морщинке чувствовались отцовская ревность и тоска. Когда же глаза Жюли, горевшие лихорадочным блеском, вскрик ее и судорожные движения пальцев окончательно разоблачили тайную любовь ее, перед ним, очевидно, предстало печальное будущее дочери, ибо взор его стал угрюмым. В те мгновения душа Жю-

ли как будто слилась с душою офицера. Страдальческое лицо старика помрачнело от какой-то мысли, еще более горестной, нежели все те, что так его тревожили: он увидел, что д'Эглемон, проезжая мимо, обменивается понимающим взглядом с Жюли, что глаза ее влажны, а щеки пылают необычайно ярким румянцем. Он внезапно повел дочь в Тюильрийский сад.

— Но ведь на площади Карусели еще стоят войска, отец,— говорила она,— они будут маневрировать.

— Нет, дитя мое, все войска уже проходят.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, отец: господин д'Эглемон должен их повести...

— Мне нехорошо, деточка, и я не хочу оставаться.

Жюли трудно было не поверить отцу, когда она взглянула на его лицо: старик был совсем подавлен своими тревогами.

— Вам дурно? — спросила она безразличным тоном: так была она занята своими мыслями.

— Ведь каждый прожитый день для меня — милость,— ответил старик.

— Опять вам вздумалось наводить на меня тоску разговорами о смерти! Мне было так весело! Да прогоните же свои противные мрачные мысли!

— Ах, балованное дитя! — воскликнул, вздыхая, отец.— Даже наидобрейшие сердца бывают иногда жестоки. Значит, напрасно мы посвящаем вам свою жизнь, думаем лишь о вас, заботимся о вашем благе, жертвуем своими вкусами ради ваших причуд, обожаем вас, готовы отдать вам даже кровь свою! Увы! Все это вы беспечно принимаете. Надобно обладать всемогуществом господа бога, чтобы навсегда завоевать вашу улыбку и вашу пренебрежительную любовь. И вот является чужой! Возлюбленный, муж похищает у нас ваше сердце.

Жюли удивленно взглянула на отца: он шагал медленно и порой смотрел на нее потухшими глазами.

— Вы даже таитесь от нас, а впрочем, может быть, и от себя.

— О чем вы говорите, отец?

— Жюли, ты, кажется, что-то скрываешь от меня. Ты влюблена,— с живостью продолжал старик, заметив, что дочка покраснела.— А я-то надеялся, что ты бу-

дешь верна своему старому отцу до самой его смерти, я-то надеялся, что ты будешь довольна и счастлива рядом со мной, что я буду любоваться тобою, той Жюли, какою ты была еще совсем недавно. Не ведая твоей судьбы, я еще мог мечтать о твоем будущем, но теперь уже не унести мне с собой надежду на счастье для тебя... Ты любишь в д'Эглемоне не кузена, а полковника. Сомнений больше нет.

— Отчего же мне нельзя любить его? — воскликнула девушка с выражением живейшего любопытства.

— Ах, Жюли, тебе не понять меня! — ответил, вздыхая, отец.

— Все равно, скажите,— возразила она своевольным тоном.

— Хорошо же, доченька, выслушай меня. Девушки частенько грезят благородными, восхитительными образами, какими-то идеальными существами, и головы их набиты туманными представлениями о людях, о чувствах, о свете; затем они в простоте души наделяют самого заурядного человека теми совершенствами, о которых мечтали, и доверяются ему: они любят в своем избраннике воображаемое создание, а в конце концов, когда уже поздно отвести от себя беду, обманчивое очарование, которым они наделили свой кумир, превращается в страшный призрак. Жюли, я бы предпочел, чтобы ты влюбилась в какого-нибудь старика, чем в полковника д'Эглемона. О, если б ты могла предвидеть, что станется с тобою лет через десять, ты бы воздала должное моей опытности! Виктора я знаю: он весел, но не остроумен, весел по-казарменному, он бездарен и расточителен. Таких людей небо сотворило лишь для того, чтобы они четыре раза в день плотно ели и переваривали пищу, спали, любили первую попавшуюся красотку и сражались. Жизни он не знает. По доброте сердечной — а сердце у него доброе — он, пожалуй, отдаст свой кошелек бедняку, приятелю; но он беспечен, но у него нет чуткости, которая делает нас рабами счастья женщины; но он невежда, себялюбец... Есть много «но»...

— Однако ж, отец, он, стало быть, и умен и талантлив, раз стал полковником...

— Милочка, Виктор всю свою жизнь проведет в

полковниках. Я еще не встречал человека, на мой взгляд, достойного тебя,— возразил отец с каким-то одушевлением. Он умолк, посмотрел на дочь, потом продолжал: — Да, бедная моя Жюли, ты еще чересчур молода, чересчур бесхарактерна, чересчур мягка, ты не перенесешь всех горестей и тягот брака. Родители избаловали д'Эглемона так же, как мы с твоей матерью избаловали тебя. Нечего и надеяться, что вы поймете друг друга, ибо у каждого из вас свои причуды, а причуды — неумолимые тираны. Ты станешь либо жертвой, либо деспотом. И та и другая возможность в равной степени калечит жизнь женщины. Но ты кротка и скромна, ты сразу покоришься. Наконец, в тебе есть,— добавил он взволнованным голосом,— та тонкость чувства, которая не найдет отклика, и тогда...

Он не докончил, его душили слезы.

— Виктор оскорбит твою непорочную душу,— продолжал он, помолчав.— Я знаю военных, милое мое дитя: я жил среди них. Редко случается, что сердце таких людей в силах восторжествовать над привычками, порожденными то ли опасностями, которые их подстерегают, то ли случайностями походной жизни.

— Так вы намерены, отец,— заметила Жюли полушутя-полусерьезно,— перечить моим чувствам и выдать меня замуж не ради моего счастья, а ради вашего!

— Выдать тебя замуж ради своего счастья?! — воскликнул отец удивленно, всплеснув руками.— Мне ли думать о счастье, дочь моя? Ведь скоро ты уже не будешь слышать моего дружеского брюзжания. Я всегда замечал, что дети приписывают эгоизму все жертвы, которые приносят им родители! Выходи за Виктора, моя девочка. Наступит день, и ты станешь горько сетовать на его ничтожество, на его безалаберность, себялюбие, грубость, его нелепые понятия о любви и на множество иных огорчений, какие он причинит тебе. Тогда вспомни, что под этими деревьями пророческий голос старого отца втуне взывал к твоему сердцу.

Старик умолк, заметив, что дочь упрямо качает головой. Они направились к решетке, у которой их ждала коляска. Шли они молча, девушка украдкой поглядывала на отца, и с ее личика постепенно исчезало сердитое выражение. Старик опустил голову, и глубокая

печаль, написанная на его лице, произвела на нее сильное впечатление.

— Обещаю вам, батюшка,— произнесла она кротким, дрогнувшим голосом,— не упоминать о Викторе до тех пор, покамест вы не отбросите свое предубеждение против него.

Старик удивленно взглянул на дочь. Слезы катились по его морщинистым щекам. Он не мог поцеловать Жюли на глазах толпы, теснившейся вокруг них, и только ласково пожал ей руку. Когда он сел в коляску, мрачные складки, бороздившие перед этим его лоб, разгладились. Унылый вид дочери не так тревожил его, как та невинная радость, тайную причину которой Жюли выдала во время парада.

В первых числах марта 1814 года — прошло меньше года после наполеоновского парада — по дороге от Амбуаза к Туру мчалась карета. Она только что выехала из-под зеленых шатров ореховых деревьев, заслонявших почтовую станцию Фрильер, и понеслась так быстро, что мигом долетела до моста, перекинутого через Сизу в том месте, где она впадает в Луару, и вдруг остановилась. Оказалось, что лопнули постромки: по приказанию ездока молодой возница слишком быстро гнал четверку могучих перекладных. Благодаря этой случайности два путника, ехавшие в карете, проснулись и могли полюбоваться одним из самых красивых ландшафтов, какой только встретишь на пленительных берегах Луары. Направо перед взором путешественника — излучины реки Сизы, извивающейся серебристой змейкой среди лугов, в ту пору зеленевших первой весенней муравой. Слева видна величавая широкая Луара. Дул свежий утренний ветерок, вода почти сплошь была подернута рябью, и по ней рассыпали блестки солнечные лучи. Тут и там на водной глади растянулись цепочкой зеленые островки, будто изумруды в ожерелье. На другом берегу живописно раскинулись необозримые плодородные равнины Турени. Даль беспредельна, и только Шерские холмы, вершины которых в то утро четко вырисовывались в прозрачной лазури небес, преграждают путь взору. Смотришь сквозь нежную листву деревьев поверх островов на эту панораму, и кажется, что Тур, по-

добно Венеции, возникает из лона вод. Колокольни его древнего кафедрального собора устремляются ввысь,— в тот час они сливались с причудливо очерченными белыми облачками. С того места, где остановилась карета, путешественнику видна гряда скал, протянувшаяся вдоль Луары до самого Тура, и ему представляется, что природа нарочно возвела ее, чтобы укрепить берег реки, волны которой беспрерывно подтачивают камень; картина эта всегда приводит путника в изумление. Деревенька Вувре ютится среди оползней в ущелье скалистой гряды, образующей изгиб у моста через Сизу. А дальше, от Вувре до Тура, опасные, неровные уступы этого выветренного горного кряжа заселены виноградарями. В иных местах дома в три яруса выдолблены в скале и соединены головокружительными лестницами, тоже высеченными в камне. Вот девушка в красной юбке бежит прямо по крыше к себе в сад. Дым из очага вьется между виноградными лозами и молодыми побегами. Арендаторы возделывают поля, разбросанные по крутизне. Старуха спокойно сидит за прялкой на обломке рухнувшей глыбы под цветущим миндальным деревом и наблюдает за пешеходами, посмеиваясь над их ужасом. Ее не тревожат ни трещины в земле, ни то, что вот-вот обвалится нависшая ветхая стена, каменную кладку которой теперь поддерживают лишь узловатые корни плюща, ковром закрывшего стену. Под сводами пещер гулко раздается стук молотков: то работают бондари. Каждый клочок земли возделан, почва плодородна, хотя природа здесь и отказала человеку в земле. По всему течению Луары не найти уголка, который мог бы сравниться с тем роскошным ландшафтом, что открывается отсюда взору путника. Три плана этой панорамы, описанной тут лишь вскользь, производят на душу неизгладимое впечатление, а если насладился ими поэт, то потом, в грезах, они часто будут ему представляться словно наяву, со всем своим несказанным романтическим обаянием. В тот миг, когда карета въехала на мост через Сизу, несколько лодок с белыми парусами стайкой выплыли из-за островков на Луаре, и это еще больше украсило прелестный пейзаж. Ивы, растущие вдоль реки, благоухали, и влажный ветерок разносил их терпкий запах. Слышалось разного-

лосое пение птиц; унылая песенка пастуха навевала тихую печаль, а крики лодочников возвещали о том, что где-то поодаль кипит жизнь. Легкие хлопья тумана, прихотливо повисшие на деревьях, разбросанных по долине, завершали эту чудесную картину, придавая ей какое-то особенное очарование. То была Турень во всей своей красе, то была весна во всем своем великолепии. Только в этой части Франции — в единственном месте, покой которого не суждено было нарушить иностранным войскам,— только здесь и было тихо, и казалось, что Турень не боится вторжения.

Экипаж остановился, и сейчас же из окна высунулась чья-то голова в фуражке; какой-то военный резким движением распахнул дверцы кареты и выскочил на дорогу, разумеется, намереваясь отчитать возницу, но туренец так умело чинил постромку, что полковник — это был граф д'Эглемон — успокоился и подошел к дверце экипажа, потягиваясь и расправляя затекшие руки; он зевнул и, оглядев окрестности, тронул за плечо молодую женщину, заботливо укутанную в меховую шубу.

— Проснись, Жюли,— сказал он охрипшим голосом,— погляди. Великолепный вид!

Жюли выглянула из кареты. На ней была кунья шапочка, а складки меховой шубки, в которую она куталась, совсем скрывали ее фигуру, виднелось только лицо. Жюли д'Эглемон уже не была похожа на ту веселую, счастливую девушку, что так спешила на парад в Тюильри. Уже не было на ее щеках, по-прежнему нежных, тех розовых красок, которые когда-то придавали им такую свежесть. Несколько черных прядок, развившихся от ночной сырости, подчеркивали матовую белизну ее лица, живость которого угасла. Однако взор ее горел каким-то странным огнем, а под глазами, на впалых щеках, лежали синеватые тени. Она с безразличным видом оглядела равнины Шера, Луару и островки на ней, Тур и длинную цепь скал Вувре, потом, даже не взглянув на восхитительную долину Сизы, отпрянула в глубь кареты, и ее слабый голос прозвучал на открытом воздухе чуть слышно:

— Да, чудесный вид!

Она, следовательно, на свое несчастье, одержала верх над отцом.

— Жюли, тебе не хотелось бы жить здесь?

— Не все ли равно, где жить,— безучастно заметила она.

— Тебе нездоровится? — спросил полковник д'Эглемон.

— Да нет же,— ответила молодая женщина, сразу оживившись. Она улыбнулась, посмотрела на мужа и добавила: — Просто спать хочется.

Вдруг раздался стук копыт: кто-то мчался галопом. Виктор д'Эглемон выпустил руку жены и обернулся, глядя на дорогу, в ту сторону, где она делает поворот. Лишь только полковник отвел взгляд от Жюли, веселое выражение исчезло с ее бледного лица, будто его перестал освещать какой-то внутренний свет. Ей не хотелось смотреть на пейзаж, не хотелось знать, что это за всадник, чей конь скачет так неистово; она забилась в уголок и без мыслей, без чувств устремила неподвижный взгляд на лошадей. У нее был такой же тупой вид, какой бывает у бретонского крестьянина, когда он слушает проповедь священника. Вдруг из тополевой рощи и зарослей цветущего боярышника показался молодой человек на породистом коне.

— Это англичанин,— произнес полковник.

— Ей-богу, верно, ваше сиятельство,— заметил возница.— Знаем мы этих молодчиков, они так и норовят сожрать Францию.

Незнакомец был одним из тех путешественников, которые находились на континенте в ту пору, когда Наполеон велел арестовать всех англичан; то было возмездие за посягательство на права французов, допущенное английским правительством при разрыве Амьенского договора. По прихоти императора пленники, однако, не остались в тех краях, где они были задержаны или где им сначала разрешили жить по их выбору. Большинство англичан было переправлено с разных концов империи в Турень, ибо считалось, что их пребывание в других местностях может повредить интересам континентальной политики. Молодой пленник, старавшийся рассеять в то утро свой сплин, был жертвой этого бюрократического мероприятия. Два года назад по милости министерства внешних сношений ему пришлось расстаться с мягким климатом Монпелье, где

его застал разрыв мирного договора и где он искал исцеления от болезни легких. Как только молодой человек распознал в графе д'Эглемоне военного, он поспешно перевел взгляд и, резко отвернувшись, стал смотреть на луга, раскинувшиеся вдоль Сизы.

— Пренагло ведут себя эти англичане; воображают, будто весь земной шар принадлежит им! — проворчал полковник.— Погодите, Сульт задаст им жару.

Пленник проскакал мимо кареты и заглянул в нее. Взгляд был мимолетен, но англичанина поразило печальное выражение на задумчивом лице графини, придававшее ей неизъяснимое очарование. Нередко встречаются мужчины, которых глубоко трогает страдальческий вид женщины; им кажется, что печаль — порука постоянства в любви. Жюли задумалась, глядя в одну точку, и не обратила внимания ни на коня, ни на всадника. Постромку починили быстро и прочно. Граф сел в карету. Возница, стараясь наверстать потерянное время, мчал путешественников по насыпи, тянувшейся вдоль нависших скал, над которыми по склону горы зреет виноград, лепится столько прелестных домиков и видны развалины знаменитого монастыря Мармутье, обители св. Мартина.

— Что нужно этому тщедушному лорду! — воскликнул полковник, обернувшись и заметив, что всадник, скачущий за каретой от самого моста,— тот самый молодой англичанин, которого они уже повстречали.

Незнакомец не нарушал приличий,— он ехал по самому краю насыпи, поэтому полковник, бросив на англичанина угрожающий взгляд, откинулся на спинку сиденья. Но, несмотря на неприязненное чувство, он отметил про себя, что лошадь красива, а всадник ловок. Молодой человек был из породы тех британцев, лица которых отличаются белой, холеной кожей и до того нежным румянцем, что иной раз так и хочется спросить: а не лицо ли это какой-нибудь хрупкой девицы? Он был белокур, высок и строен; на его костюме лежал тот отпечаток изысканности и аккуратности, который присущ щеголям чопорной Англии. Краснел он, глядя на графиню, пожалуй, скорее от застенчивости, нежели от приятного волнения. Жюли всего лишь раз бросила взгляд на незнакомца, да и то ее чуть не при-

нудил к этому муж, который хотел, чтобы она полюбовалась чистокровной лошадью. Глаза Жюли встретились тогда с глазами робкого англичанина. С этой минуты всадник уже не скакал рядом с каретой, а следовал за ней на некотором расстоянии. Графиня еле взглянула на незнакомца. Она не обратила внимания ни на породистого коня, ни на внешность всадника, о которых ей толковал муж, и откинулась на сиденье, чуть поведя бровью в знак согласия. Полковник снова заснул; супруги доехали до Тура, не обменявшись ни словом, и ни разу восхитительные пейзажи, расстилавшиеся вокруг, не привлекли внимания Жюли. Пока г-н д'Эглемон дремал, она подолгу всматривалась в него. Когда же она взглянула на него в последний раз, карету подбросило, медальон, висевший на черной ленточке, повязанной вокруг шеи молодой женщины, упал к ней на колени, и перед Жюли вдруг предстало лицо ее отца. Из глаз ее хлынули долго сдерживаемые слезы. Ветер осушил их, но англичанин, вероятно, заметил влажные и блестящие следы слез на бледных щеках графини. Полковник д'Эглемон, посланный императором с приказом к маршалу Сульту, которому должно было защитить Францию от вторжения, предпринятого англичанами в Беарне, воспользовался поручением, чтобы избавить жену от опасностей, угрожавших в те дни Парижу, и вез ее в Тур к своей старой родственнице. Вскоре карета въехала в город, покатила по мосту, потом по Главной улице и остановилась у старинного особняка, где жила бывшая маркиза де Листомэр-Ландон.

Маркиза де Листомэр-Ландон была одной из тех красивых, бледных, седовласых, улыбающихся тонкой улыбкой старух, которые украшают голову неслыханными чепцами и, кажется, еще носят фижмы. Эти старые дамы, семидесятилетние портреты эпохи Людовика XV, почти всгда ласковы, будто сердца их еще способны любить, не так благочестивы, как набожны, и не так набожны, как это кажется; от них всегда веет запахом пудры «марешаль»; они отлично рассказывают, а еще лучше беседуют и охотнее смеются какому-нибудь воспоминанию, чем шутке. Современность им не по душе.

Когда старая горничная доложила маркизе (скоро

ей должны были вернуть титул) о приезде племянника — а они не виделись с самой испанской войны,— она поспешно сняла очки, захлопнула «Галерею старого двора», свою любимую книгу, затем с удивительным для ее лет проворством спустилась на крыльцо — как раз в тот миг, когда Жюли с мужем поднимались по ступеням.

Тетка и племянница обменялись быстрыми взглядами.

— Здравствуйте, дорогая тетушка,— крикнул полковник, порывисто обнимая и целуя старуху.— Я привез вам одну молодую особу. Возьмите ее под свое крылышко. Собираюсь доверить вам свое сокровище. Моя Жюли не ведает ни ревности, ни кокетства, она ангел кротости... И здесь она, надеюсь, не испортится,— заключил он неожиданно.

— Вот ведь негодник! — ответила маркиза, бросив на него насмешливый взгляд.

Она первая с какой-то благосклонной любезностью вызвалась поцеловать Жюли, которая была все так же задумчива; лицо ее выражало скорее смущение, чем любопытство.

— Давайте же знакомиться, душенька,— промолвила маркиза.— Не пугайтесь меня; право, в обществе людей молодых я всегда стараюсь не быть старухой.

По обычаю, заведенному в провинции, маркиза, прежде чем провести племянника с женой в гостиную, велела было приготовить для них завтрак, но граф прервал поток ее красноречия, с важностью заявив, что времени у него в обрез,— только пока перепрягают лошадей на станции. Поэтому все трое поспешили в гостиную, и полковник едва успел рассказать своей двоюродной тетке о политических и военных событиях, которые заставляли его просить приюта для молодой жены. Пока он рассказывал, тетка поглядывала то на племянника, говорившего без умолку, то на племянницу и решила, что причина ее грусти и бледности — вынужденная разлука. У маркизы был такой вид, точно она говорила себе: «Они влюблены друг в друга».

Со старого двора, вымощенного камнем и кое-где поросшего травой, донеслось щелканье бича. Виктор еще раз поцеловал маркизу и быстро пошел прочь.

— Прощай, моя дорогая! — сказал он, обнимая жену, которая проводила его до кареты.

— Ах, позволь проводить тебя хоть немножко, Виктор,— ласково говорила она,— мне так не хочется расставаться...

— Полно! Куда тебе ехать!

— Тогда прощай,— ответила Жюли,— будь по-твоему.

Карета скрылась.

— Так, значит, вы очень любите моего милейшего Виктора? — спросила маркиза племянницу, бросив на нее мудрый, испытующий взгляд, каким старые женщины нередко смотрят на молодых.

— Увы, сударыня,— ответила Жюли,— кто же выходит замуж не любя?

Наивность, с какой были произнесены эти слова, явно говорила о нравственной чистоте Жюли или же о чем-то сокровенном. И трудно было подруге Дюкло и маршала Ришелье удержаться и не разведать тайну молодой четы. Обе женщины стояли у ворот и следили за удаляющейся каретой. Взор Жюли не выражал любви в том смысле, как понимала это маркиза. Почтенная дама была уроженкой Прованса, и страсти ее были пылки.

— Как же вы попались в сети моему племяннику-повесе? — спросила она у племянницы.

Жюли невольно вздрогнула, ибо по тону и взгляду старой кокетки она поняла, что маркиза отлично знает нрав Виктора, быть может, лучше, чем она сама. Г-жа д'Эглемон была встревожена и неловко пыталась скрыть свои чувства: скрытность — единственное пристанище для душ чистых и страждущих. Г-жа де Листомэр не стала допытываться, но тешилась мыслью, что в своем уединении развлечется любовной тайной, ибо, думалось ей, племянница завела какую-то презанятную интрижку. Когда г-жа д'Эглемон очутилась в большой гостиной, обитой штофом, с позолоченным карнизом, когда села перед пылающим камином за китайской ширмой, поставленной тут, чтобы не сквозило, на душе у нее не стало легче. Да и мудрено было ощутить радость, глядя на потолок с ветхими лепными украшениями, на мебель, простоявшую здесь целый век. И все же моло-

дой парижанке было отрадно, что она попала в этот глухой уголок, в эту строгую провинциальную тишину. Она перекинулась несколькими словами с теткой — той самой теткой, которой она, как это принято, после свадьбы написала письмо,— и, умолкнув, сидела, будто слушая оперу. Часа два прошло в полном молчании, достойном монахов-траппистов, и только тут Жюли заметила, что ведет себя невежливо, вспомнила, что на все вопросы тетки давала лишь сухие, краткие ответы. Из врожденного чувства такта, свойственного людям старого закала, маркиза щадила прихоть племянницы и, чтобы не смущать Жюли, занялась вязанием. Правда, до этого она не раз выходила из гостиной — присмотреть, как в «зеленой комнате», которая предназначалась для графини, слуги расставляют вещи; теперь же старуха сидела со своим рукоделием в большом кресле и украдкой поглядывала на молодую женщину. Жюли стало неловко, что она молчит, погрузившись в свои думы, и она попыталась заслужить прощение, пошутив над собой.

— Дорогая крошка, нам-то известна вдовья грусть,— ответила г-жа Листомэр.

Только в сорок лет можно было бы угадать иронию, которая скрывалась за словами престарелой дамы. Наутро Жюли чувствовала себя гораздо лучше, она стала разговорчивей. Г-жа де Листомэр уже не сомневалась, что приручит молодую родственницу, которую сначала сочла за существо нелюдимое и недалекое; она занимала ее разговорами о здешних развлечениях, о балах, о домах, которые можно посещать. Все вопросы маркизы в тот день были просто-напросто ловушками, которые она по старой привычке, присущей придворным, не могла не расставлять, стремясь распознать характер племянницы. Жюли ни за что не соглашалась, хотя ее уговаривали несколько дней, поехать куда-нибудь развлечься. Почтенной даме очень хотелось показать знакомым свою хорошенькую племянницу; но в конце концов ей пришлось отказаться от намерения вывезти Жюли в свет. Свое стремление к одиночеству, свою печаль графиня д'Эглемон объясняла горем: смертью отца, траур по которому она еще носила. Не прошло и недели, а вдова уже восхищалась ангельской кротостью,

изяществом, скромностью и уступчивым характером Жюли, и ей не давала покоя мысль о том, что́ за тайная печаль подтачивает это юное сердце. Жюли принадлежала к числу женщин, которые рождены для того, чтобы их любили: они дают радость. Ее общество стало настолько приятно, настолько дорого г-же де Листомэр, что она без памяти полюбила племянницу и уже мечтала с нею никогда не расставаться. Месяца было достаточно, чтобы между ними возникла дружба навеки. Старуха не без удивления заметила, как изменилась г-жа д'Эглемон: румянец, пылавший на ее щеках, незаметно исчез, яркие краски сменила матовая бледность, зато Жюли была уже не такой грустной. Иной раз вдове удавалось развеселить свою молодую родственницу, и тогда Жюли заливалась веселым смехом, но его сейчас же обрывала какая-то тягостная мысль. Старуха угадала, что глубокое уныние, омрачающее жизнь ее племянницы, вызвано не только воспоминанием об отце и не разлукой с Виктором; у нее возникло так много подозрений, что ей стало трудно найти истинную причину недуга, ибо истину мы, пожалуй, угадываем лишь случайно. И вот однажды Жюли будто совсем забыла о том, что она замужем, и развеселилась, словно беспечная девушка, изумив маркизу наивностью своих помыслов, детскими шалостями, сочетанием тонкого остроумия и глубокомыслия, свойственным юной француженке. Г-жа де Листомэр решила выпытать тайну этой души, удивительная непосредственность которой уживалась с непроницаемой замкнутостью. Смеркалось; женщины сидели у окна, выходившего на улицу; Жюли опять погрузилась в задумчивость; мимо проехал всадник.

— Вот одна из ваших жертв,— заметила старуха.

Г-жа д'Эглемон взглянула на тетку с недоумением и тревогой.

— Это молодой англичанин, дворянин, достоуважаемый Артур Ормонт, старший сын лорда Гренвиля. С ним случилась прелюбопытная история. В тысяча восемьсот втором году он по совету врачей приехал в Монпелье, надеясь, что воздух тех краев исцелит его от тяжелой грудной болезни — он был почти при смерти. А тут началась война, и, как все его соотечествен-

ники, он был арестован по приказу Бонапарта: ведь этот изверг жить не может без войны. И молодой человек от скуки стал изучать свою болезнь, которая считалась неизлечимой. Мало-помалу он увлекся анатомией, медициной и пристрастился к наукам этого рода, что весьма удивительно для человека знатного; впрочем, ведь увлекался же Регент химией! Словом, господин Артур добился успехов, удивлявших даже профессоров в Монпелье; занятие наукой скрасило ему жизнь в плену, да к тому же он совершенно излечился. Рассказывают, что он два года ни с кем не разговаривал, дышал размеренно, спал в хлеву, пил молоко от коровы, вывезенной из Швейцарии, и питался одним кресс-салатом. Теперь он живет в Туре и нигде не бывает; он спесив, как павлин; но вы, спору нет, одержали над ним победу: ведь, конечно, не ради меня он проезжает под нашими окнами по два раза в день с той поры, как вы здесь... Разумеется, он влюблен в вас!

Слова эти оказали какое-то магическое действие на Жюли. Она всплеснула руками, и ее усмешка поразила вдову. Ничего похожего на то невольное удовольствие, которое испытывает всякая женщина, даже самых строгих правил, когда узнает, что кто-то чахнет от любви к ней, не отразилось в померкшем, холодном взгляде Жюли. На ее лице было написано отвращение, чуть ли не ужас. Не так отвергает весь мир женщина ради одного, любимого: тогда она готова шутить и смеяться; нет, сейчас Жюли походила на человека, у которого сжимается сердце от одного воспоминания о недавней опасности. Маркиза, уже убедившаяся в том, что Жюли не любит ее племянника, была поражена, когда поняла, что она не любит никого. Вдова вздрогнула от мысли, что сердце молодой женщины разочаровано, что ей достаточно было одного дня, быть может, одной ночи, чтобы убедиться в том, что́ за ничтожество Виктор

«Ежели она раскусила его, то все само собой разумеется,— думала она. — Племянничек скоро почувствует все тяготы супружества».

Тогда г-жа де Листомэр решила переубедить Жюли и внушить ей взгляды века Людовика XV; но прошло несколько часов, и она поняла, или, скорее, угадала, что

Жюли повергли в печаль обстоятельства, весьма нередкие в свете. Жюли вдруг впала в задумчивость и удалилась к себе раньше обычного. Горничная помогла ей раздеться, все привела в порядок и ушла, а Жюли, оставшись у камина, прилегла на желтую бархатную кушетку, старинную кушетку, на которой всегда так уютно бывает человеку — и в горе и в радости; поплакав и повздыхав, она долго о чем-то размышляла; затем придвинула к себе столик, достала бумагу и принялась писать. Быстро летели часы; признание, которое Жюли делала в письме, казалось, стоило ей дорого: над каждой фразой она долго сидела в раздумье; вдруг молодая женщина залилась слезами и бросила перо. Пробило два часа. Ее голова бессильно, как у умирающей, склонилась на грудь; когда же она подняла ее, то увидела тетку, которая появилась неожиданно, словно от гобелена, висевшего на стене, отделилась фигура.

— Что с вами, крошка моя? — спросила маркиза.— Кто так поздно засиживается и, главное, кто в вашем возрасте грустит в одиночестве?

Сев без всякой церемонии возле племянницы, она пожирала глазами начатое письмо.

— Вы пишете мужу?

— Ведь я не знаю, где он,— ответила графиня.

Тетка взяла письмо и принялась читать. Она не без умысла захватила с собой очки. Жюли безропотно позволила ей взять письмо. Не оттого, что ей не хватало собственного достоинства, не оттого, что она испытывала чувство какой-то вины, стала она такой безвольной: нет, старуха появилась в одну из тех минут, когда душа опустошена, когда ей все безразлично: и добро и зло, и молчание и откровенность. Подобно добродетельной девушке, которая пренебрежительно держится с возлюбленным, а вечером, чувствуя себя покинутой и одинокой, тоскует о нем и жаждет излить кому-нибудь свои страдания, Жюли позволила старухе, не говоря ни слова, сорвать ту печать, которую вежливость накладывает на незапечатанное письмо, и сидела, задумавшись, пока маркиза читала:

«Моя дорогая Луиза! К чему ты уже столько раз просишь меня выполнить обещание, которое так неос-

торожно могут дать друг другу только две наивные девушки? Ты все спрашиваешь, почему я полгода не отвечаю на твои вопросы. Если тебе было непонятно мое молчание, то сегодня, быть может, ты догадаешься о его причине, узнав тайну, которую я тебе открою. Я бы навсегда похоронила ее в глубине сердца, если бы ты не сообщила мне о своем предстоящем замужестве. Ты выходишь замуж, Луиза! При этой мысли меня охватывает дрожь. Что ж, бедняжка моя, выходи; через несколько месяцев ты с горьким сожалением будешь вспоминать о том, какими мы были прежде, в тот вечер в Экуэне, когда мы поднялись с тобой вдвоем до самых больших дубов на горе, любовались оттуда прекрасной долиной, лежавшей у наших ног, восхищались закатом и нас озаряли последние лучи солнца. Мы уселись на большом камне, и нас охватил бурный восторг, а его сменила тихая печаль. Ты первая сказала, что далекое солнце говорит нам о будущем. Как мы были тогда любопытны, как безрассудны! Помнишь наши проказы? Мы обнялись «как влюбленные», шутили мы. Мы поклялись, что та из нас, кто первая выйдет замуж, откровенно расскажет другой о тайнах брака, о тех радостях, которые так манили наши младенческие души. Как ты будешь страдать, Луиза, вспоминая об этом вечере! В ту пору ты была молода, красива, беззаботна, даже счастлива. Замужество в несколько дней превратит тебя, как превратило меня, в некрасивую, больную, увядающую женщину. Было бы нелепо рассказывать тебе о том, как я гордилась, как радовалась тому, что буду женой полковника Виктора д'Эглемона. Да и вряд ли я могла бы рассказать, я сама себя не помнила. Прошло немного времени, и ребячество это стало сном. Я так вела себя в торжественный день освящения брачных уз, бремени которых я не сознавала, что не обошлось без замечаний. Отец не раз пытался поубавить мою веселость, потому что я слишком уж бурно выражала свою радость, а это считается неприличным, и мою болтовню готовы были истолковать в дурную сторону, а ведь в ней не было ничего дурного. Чего только не выделывала я с подвенечной фатой, цветами, платьем! Вечером меня торжественно ввели в спальню и оставили одну, а я стала придумывать,

как бы посмешить и подразнить Виктора; пока я ждала его, сердце у меня колотилось, как, бывало, колотилось когда-то, в канун праздничной встречи Нового года, когда я украдкой пробиралась в гостиную, где лежали горы подарков. Вошел муж и стал искать меня, я рассмеялась, и смех, приглушенный свадебной фатою, был последним отзвуком простодушного веселья наших детских лет...»

Вдова прочла письмо, которое, судя по началу, должно было содержать немало грустных наблюдений, не спеша положила очки на стол, а рядом с ними письмо и устремила на племянницу ясный взгляд своих зеленых глаз, не потускневших с годами.

— Детка моя,— сказала она,— замужней женщине не пристало так писать девушке; это просто неприлично.

— Я и сама так думаю,— ответила Жюли, прерывая тетку, — и мне было стыдно, пока вы читали.

— Если за столом нам не нравится какое-нибудь блюдо, не должно отбивать к нему охоту у других, дитя мое,— добродушно заметила старуха,— тем более что со времен Евы до наших дней считается, что нет ничего лучше, чем брак.— Помолчав, она спросила: — У вас нет матери?

Жюли вздрогнула, потом медленно подняла голову и сказала:

— В этом году я особенно горевала, что ее уже нет со мною. А как виновата я в том, что ослушалась отца: ведь он был против моего брака с Виктором!

Графиня взглянула на тетку, и радость осушила ее слезы: она заметила, какая доброта озаряет это старческое лицо. Она протянула руку маркизе, которая, казалось, ждала этого, пальцы их сплелись. В этот миг они поняли друг друга.

— Бедная сиротка! — промолвила старая дама.

Слова эти были последним лучом света для Жюли. Ей опять послышался пророческий голос отца.

— Какие у вас горячие руки! Они всегда у вас такие? — спросила маркиза.

— Вот уже с неделю, как меня перестало лихорадить,— ответила Жюли.

— И вы скрывали от меня, что вас лихорадит?

— Да это у меня уже с год,— сказала Жюли, и в ее голосе было что-то тревожное и застенчивое.

— Итак, мой ангел,— продолжала тетка,— все это время замужество было для вас пыткой?

Молодая женщина не решалась ответить, только молча опустила голову, но весь вид ее говорил, что она исстрадалась.

— Вы несчастливы?

— Ах, нет, тетя! Виктор любит, боготворит меня, и я его обожаю. Он такой добрый!

— Вы любите его; но вы его избегаете, не правда ли?

— Да... иногда... Он чересчур пылок.

— И когда вы остаетесь одна, то, вероятно, боитесь, что он вот-вот войдет?

— К сожалению, боюсь, тетя! Но я, право, очень люблю его.

— Не вините ли вы себя втайне, что не умеете или не можете отвечать на его чувства? Не кажется ли вам порою, что узаконенная любовь более тягостна, нежели преступная страсть?

— О, как это верно! — сказала, плача, Жюли.— Вам понятно все, что мне самой кажется загадкой. Я стала какой-то бесчувственной. Я ни о чем не думаю... Одним словом, жизнь для меня обуза. Душу мою терзает необъяснимый страх; он леденит мои чувства и повергает меня в какое-то вечное оцепенение. Нет у меня сил жаловаться и нет слов, чтобы выразить свою печаль. Я страдаю и стыжусь своего страдания, видя, что для Виктора счастье в том, что для меня смерть.

— Ну и вздор, ну и ребячество! — воскликнула старуха, и на ее высохшем лице вдруг промелькнула веселая улыбка — отражение минувших радостей.

— Вот и вы смеетесь! — с отчаянием проговорила молодая женщина.

— Я была такой же,— живо ответила маркиза.— Теперь, в разлуке с Виктором, вы вновь превратились в безмятежную девушку, не ведающую ни блаженства, ни страданий.

Глаза у Жюли расширились, и в них появилось растерянное выражение.

— Вы обожаете Виктора, не правда ли? Но вы

бы предпочли быть его сестрой, а не женой; брак ваш неудачен.

— Да, да, тетя. Но почему вы улыбаетесь?

— Вы правы, милочка! Вам не до веселья. Вас ждет немало бед, если я не возьму вас под защиту, а опытность моя не разгадает несложную причину ваших печалей и огорчений. Мой племянник не заслуживает такого счастья, глупец! В царствование любезного нашего Людовика XV молоденькая женщина, очутись она в вашем положении, не теряла бы времени, она проучила бы супруга за то, что он ведет себя как солдафон. Себялюбец! И военные-то у этого коронованного тирана мерзкие невежды! Грубость они считают галантностью; женщин не знают, любить не умеют; они воображают, что раз им суждено завтра пойти на смерть, то сегодня нечего дарить нас почтительным вниманием. В прежние времена умели и любить сильно и идти на смерть, когда надобно. Я переделаю его характер ради вас, моя милая племянница; я положу конец этому досадному, но, пожалуй, естественному разногласию, иначе вы возненавидите друг друга и пожелаете развестись, если только вы, дорогая, не скончаетесь раньше, чем все это доведет вас до отчаяния.

Жюли слушала, застыв от изумления, пораженная словами, мудрость которых она скорее угадывала, нежели понимала, и напуганная тем, что ее многоопытная родственница повторяет приговор, вынесенный Виктору ее отцом, только произносит его в более мягких выражениях. Должно быть, она по какому-то наитию живо представила себе, что ждет ее в будущем, и почувствовала, как тягостны несчастья, которые суждены ей. Она залилась слезами и бросилась в объятия старухе, говоря:

— Будьте же мне матерью!

Вдова не заплакала, ибо после революции у приверженцев старой монархии слез осталось мало. Сначала любовь, а позднее террор приучили их к самым острым жизненным положениям; поэтому они хранят при всех треволнениях холодное достоинство и, хотя чувствуют глубоко, не выражают своих чувств в излияниях, а всегда соблюдают этикет и ту изысканную сдержанность, которую напрасно отвергают новейшие нравы. Она обняла Жюли, поцеловала ее в лоб с той милой ласковостью, которая зачастую присуща скорее манерам и привычкам

таких женщин, нежели их сердцу; она успокаивала племянницу нежными словами, сулила ей счастливое будущее и, укладывая ее спать, будто свою дочку, свою милую дочку, надеждами и печалями которой она стала жить, баюкала ее, пророча любовь, блаженство; в племяннице она увидела себя — молодой, неопытной, красивой. Графиня заснула с радостным чувством, что она обрела друга, мать, которой отныне можно все рассказывать. Наутро тетка и племянница обнялись с той глубокою сердечностью, с тем понимающим видом, который доказывает, как усилилось чувство, как окрепла близость двух душ; в этот миг послышался конский топот. Они одновременно обернулись и увидели молодого англичанина, который, как всегда, не спеша проезжал по улице. Казалось, он изучил, какой образ жизни ведут затворницы, и никогда не пропускал часа их завтрака или обеда. Лошадь сама замедляла шаг, не было надобности приостанавливать ее; проезжая мимо окон — двух окон столовой,— Артур не сводил с них печального взгляда. В большинстве случаев Жюли, не обращавшая на молодого человека никакого внимания, просто не замечала его; зато маркиза была одержима тем суетным любопытством, с которым в провинции следят за любой мелочью, чтобы чем-нибудь разнообразить свое существование, и от которого нелегко уберечься даже людям большого ума; старуху забавляла робкая и искренняя любовь, любовь, выражаемая безмолвно. Видеть Артура в определенные часы стало для нее привычкой, и всякий раз она приветствовала его появление новыми шутками.

Садясь за стол, обе женщины одновременно посмотрели на островитянина. На этот раз глаза Жюли и Артура встретились, и она прочла в его взгляде столько чувства, что вспыхнула. А он тотчас же хлестнул лошадь и умчался галопом.

— Скажите, сударыня, что же делать? — обратилась Жюли к маркизе.— Люди каждый день видят этого англичанина и в конце концов решат, что я...

— Разумеется,— ответила тетка, прерывая ее.

— Не сказать ли ему, чтобы он не смел больше здесь появляться?

— И навести его на мысль, что он опасен? Да и как можно помешать человеку появляться там, куда его вле-

чет? С завтрашнего дня мы не станем есть в этой комнате, и ваш молодой вздыхатель больше нас здесь не увидит. Вот как, моя милая, поступают светские женщины, умудренные опытом.

Но на этом несчастья Жюли не кончились. Не успела она встать из-за стола, как неожиданно появился лакей Виктора. Он во весь опор мчался из Буржа окольными дорогами и привез графине письмо от мужа. Г-н д'Эглемон покинул императора и сообщал жене о том, что Империя пала, что Париж взят и вся Франция восторженно чествует Бурбонов. Однако, не зная, как добраться до Тура, он просил ее немедленно приехать к нему в Орлеан, где он надеялся добыть для нее пропуск. Лакей, бывший солдат, должен был сопровождать Жюли от Тура до Орлеана по дороге, которая — так считал Виктор — была еще свободна.

— Ваше сиятельство, нельзя терять ни секунды,— торопил лакей,— прусская, австрийская и английская армии вот-вот сойдутся возле Блуа либо под Орлеаном...

Через несколько часов Жюли собралась в дорогу и уехала в старом рыдване, который отдала в ее распоряжение тетка.

— Почему бы и вам не поехать в Париж? — сказала она, целуя на прощание маркизу.— Теперь, когда возвращаются Бурбоны, вы там найдете...

— Да и не будь этого нежданного события, я бы поехала, бедная моя детка, ибо мои советы очень нужны и вам и Виктору. Поэтому я сделаю все, чтобы поскорее приехать к вам туда.

Жюли выехала в сопровождении горничной и старого солдата, который скакал рядом с каретой, охраняя свою госпожу. Ночью, остановившись на почтовой станции, не доезжая Блуа, Жюли, встревоженная шумом колес какого-то экипажа, который ехал следом за ними от самого Амбуаза, выглянула в дверцу, чтобы посмотреть, кто же ее спутники. Светила луна, и Жюли увидела Артура. Он стоял в трех шагах от дверцы кареты и не сводил с нее глаз. Их взгляды встретились. Жюли отпрянула в глубь кареты, дрожа от страха. Как почти все неопытные молодые женщины, поистине чистые душой, она считала себя виновной в том, что невольно внушила любовь. Она испытывала какой-то непонятный ужас, вероятно, чувство-

вала, как она бессильна перед таким смелым натиском. Мужчина — и в этом самое его сильное оружие — обладает опасным преимуществом: занимать собою все помыслы женщины, если ее воображение, живое по природе своей, испугано или оскорблено преследованием. Графиня вспомнила совет г-жи де Листомэр и решила всю дорогу не выходить из кареты. Но на каждой станции она слышала шаги англичанина, который медленно прохаживался вокруг карет, а в пути назойливый шум колес его экипажа беспрерывно раздавался в ее ушах. Однако Жюли успокаивала себя тем, что муж защитит ее от странного преследования.

«А может быть, молодой человек вовсе не влюблен в меня?»

Об этом она подумала в последнюю очередь.

В Орлеане пруссаки задержали карету графини, направили на какой-то постоялый двор и приставили к ней караул. Перечить им было невозможно. Они знаками объясняли всем путешественникам, что получен строжайший приказ никого не выпускать из карет. Около двух часов графиня, заливаясь слезами, провела пленницей; солдаты, которые пересмеивались и курили, то и дело поглядывали на нее с оскорбительным любопытством; но вдруг она увидела, что они с почтительным видом отходят от ее экипажа, и услышала топот лошадей. Вскоре несколько иностранных офицеров в больших чинах во главе с австрийским генералом окружило карету.

— Сударыня,— обратился к Жюли генерал,— примите наши извинения; произошла ошибка, вы можете безбоязненно продолжать путешествие. Вот вам пропуск, он предохранит вас в дальнейшем от всяких неприятностей.

Графиня дрожа взяла бумагу и пролепетала что-то бессвязное. Рядом с генералом она увидела Артура в форме английского офицера; ему-то, разумеется, она и была обязана своим быстрым освобождением. Что-то радостное и вместе с тем печальное было в его лице, когда он отвернулся, лишь украдкой осмеливаясь бросать взгляды на Жюли. С этим пропуском г-жа д'Эглемон приехала в Париж без всяких неприятных происшествий. Там ее встретил муж; он был свободен от присяги императору, и его обласкал брат Людовика XVIII, граф д'Артуа, которого король назначил своим наместником. Виктор

д'Эглемон занял высокое положение в королевском конвое и получил чин генерала.

Но в самый разгар празднеств в честь возвращения Бурбонов бедную Жюли постигло глубокое горе, повлиявшее на всю ее жизнь: она потеряла маркизу де Листомэр-Ландон. Старуха умерла от радости: ее разбил удар, когда герцог Ангулемский появился в Туре. Женщина, чей преклонный возраст давал право поучать Виктора, единственная родственница, чьи мудрые советы могли привести супругов к согласию, умерла. Для Жюли это была тяжелая утрата. Не осталось посредника между нею и мужем. Она была молода, застенчива и предпочитала переносить страдания молча, лишь бы не жаловаться. Она считала своей обязанностью во всем покоряться мужу и не осмеливалась доискиваться причины своих мучений, ибо покончить с ними означало бы затронуть слишком интимные вопросы: Жюли боялась, что ее целомудрие будет оскорблено.

Следует сказать несколько слов о том, как сложилась судьба г-на д'Эглемона при Реставрации.

Разве мы не встречаем в свете людей, полное ничтожество которых — тайна для окружающих? Высокое положение в обществе, знатное происхождение, важная должность, внешний лоск, сдержанность в поведении или власть богатства — все это завеса, мешающая наблюдателю вникнуть в их внутренний мир. Люди эти походят на королей, о настоящей роли которых, о характере и нравах никому доподлинно не известно: королей нельзя правильно оценить, ибо их видят или издалека, или чересчур уж на близком расстоянии. Личности эти наделены мнимыми достоинствами; они не разговаривают, а выспрашивают, владеют искусством выдвигать на авансцену других, чтобы самим не быть на виду; они с удивительной ловкостью дергают каждого за ниточку его страстей или корыстолюбия и таким образом играют окружающими, превращая их в марионеток, а когда им удается унизить некоторых до себя, считают ничтожеством тех, кто в действительности стоит гораздо выше их. Так одерживает подлинное торжество ум мелкий, но цепкий над умами великими и всеобъемлющими. Поэтому, чтобы судить о бездарностях и определять их отрицательную ценность, наблюдателю надобно обладать умом

скорее тонким, нежели глубоким, скорее терпением, нежели широким кругозором, скорее хитростью и тактом, нежели благородством и величием мысли. Невзирая, однако, на изворотливость, которую проявляют эти узурпаторы, прикрывая свои слабости, им трудно обмануть своих жен, матерей, детей или друга дома; но близкие почти всегда хранят тайну, ибо она до некоторой степени касается их общей чести; нередко близкие даже помогают им поддерживать их мнимое достоинство в свете. Благодаря таким домашним сговорам многие глупцы слывут людьми высокого ума, и этим уравновешивается количество людей высокого ума, слывущих глупцами; таким образом, в обществе всегда полным-полно мнимых талантов. Теперь подумайте о той роли, которую должна играть женщина умная и чувствительная рядом с мужем, принадлежащим к такой породе людей; не приходилось ли вам замечать женщин самоотверженных и печальных, которым ничто здесь, на земле, не может заменить любящее и верное сердце? Если в такое ужасное положение попадает женщина сильная духом, то она иногда находит выход в преступлении, что и сделала Екатерина II, все же прозванная *Великой*. Но не все женщины восседают на троне; большинство обречено на горести в кругу семьи, и горести эти ужасны, хотя и остаются безвестными. Те женщины, которые ищут утешения и в то же время желают остаться верными своему долгу, часто попадают из огня да в полымя или же совершают тяжкие проступки, попирая законы ради своих удовольствий. Рассуждения эти весьма применимы к тайной истории жизни Жюли. Пока Наполеон был еще в силе, полковник граф д'Эглемон, примерный, но ничем не выдающийся офицер, адъютант, превосходно выполнявший даже самые опасные поручения, но совершенно не способный командовать, не возбуждал ничьей зависти, слыл за храбреца, к которому благоволит император, и был, как попросту говорят военные, добрым малым. Реставрация вернула ему титул маркиза, и д'Эглемон не оказался неблагодарным: он бежал вместе с Бурбонами в Гент. Эта последовательность в проявлении верноподданнических чувств опровергла гороскоп, составленный его тестем и предрекавший ему до конца жизни чин полковника. После вторичного возвращения Бур-

«ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА».

«ОТЕЦ ГОРИО».

бонов г-н д'Эглемон, произведенный в генерал-лейтенанты и вновь ставший маркизом, возымел честолюбивое намерение добиться пэрства; он стал разделять убеждения и политическое направление газеты «Консерватор», облекся в таинственность, ничего ровно не скрывавшую, заважничал, выспрашивал, а сам отмалчивался и всеми был признан за человека глубокомысленного. Он держался весьма учтиво, вооружился приемами светского щеголя, схватывал и повторял готовые фразы, которые постоянно штампуются в Париже и служат для глупцов разменной монетой при оценке крупных идей и событий. В свете решили, что маркиз д'Эглемон — человек образованный и со вкусом. Он был упорным сторонником аристократических предрассудков, и его приводили в пример как человека весьма достойного. Если он иной раз становился, как прежде, беспечным и веселым, в обществе находили, что за его пустой, вздорной болтовней и бессмысленными речами таится важный дипломатический смысл.

«Ну, он говорит только то, что считает нужным сказать», — думали люди положительные.

Маркиз д'Эглемон отлично пользовался не только своими достоинствами, но и недостатками. Отвага принесла ему военную славу, и ее ничто не могло опровергнуть, потому что ему никогда не доводилось командовать. Мужественное и благородное лицо его всем казалось умным, и лишь для жены оно было лицемерной маской. Слыша, что все воздают хвалу его мнимым талантам, маркиз д'Эглемон в конце концов и сам возомнил себя замечательным человеком. При дворе, где благодаря своей наружности он сумел понравиться, разнообразные его заслуги были признаны бесспорными

Однако у себя дома г-н д'Эглемон держался скромно, ибо всем своим существом чувствовал превосходство жены, невзирая на ее молодость. Это невольное уважение породило ту скрытую власть, которую маркизе пришлось взять на себя, как ни пыталась она отбросить ее бремя. Она была советчицей мужа, управляла его делами и состоянием. Это влияние, противное ее натуре, было для нее своего рода унижением и источником терзаний, которые она затаила в своем сердце. Тонкое, чисто женское чутье говорило ей, что гораздо лучше повиноваться человеку одаренному, нежели руководить глупцом, и что мо-

лодая супруга, принужденная деиствовать и думать за мужа,— ни женщина, ни мужчина, что, отрекаясь от своей злополучной женской слабости, она вместе с тем теряет и всю свою женственную прелесть, не получая взамен ни одного преимущества, которые наши законы предоставили мужчинам. Само существование ее таило в себе какую-то горькую насмешку. Ведь она была вынуждена поклоняться бездушному идолу, покровительствовать своему покровителю, пустому фату, который вместо вознаграждения за ее самоотверженность бросал ей свою эгоистическую супружескую любовь, видел в ней лишь женщину, не соблаговолил или не сумел — а это тоже тяжкое оскорбление — спросить себя, в чем ее радости или в чем причина ее печали, упадка сил? Как большинство тех мужей, которые чувствуют, что над ними тяготеет ум более возвышенный, маркиз искал спасения для своего самолюбия в том, что пытался заключить по физической слабости Жюли о ее слабости духовной, охотно жалел ее и спрашивал себя, за что судьба послала ему в жены столь болезненное создание. Словом, он прикидывался жертвой, а был палачом. Маркизе, удрученной печальным своим существованием, вдобавок ко всему приходилось улыбаться глупому повелителю, украшать цветами унылый дом и изображать счастье на лице, побледневшем от скрытых мук. Чувство чести, великодушное самоотречение неприметно наделили молодую женщину достоинством, сознанием добродетели, служившим ей защитой против опасностей света. Если мы проникнем в эту душу до дна, то увидим, что, быть может, затаенное глубокое горе, которым увенчалась ее первая, ее чистая девичья любовь, внушило ей отвращение к страстям; быть может, поэтому не познала она ни увлечения, ни запретных, но упоительных радостей, заставляющих иных женщин забыть правила житейской мудрости и устои добродетели, на которых зиждется общество. Разуверившись, как в несбыточной мечте, в той нежности, в той сладостной гармонии, которые пророчила ей умудренная опытом г-жа Листомэр-Ландон, она покорно ждала конца своих страданий, надеясь умереть молодой. С тех пор как Жюли вернулась из Турени, здоровье ее с каждым днем становилось все хуже, и ей казалось, что жизнь — это сплошные страдания; впрочем, что-то

изысканное было в ее страданиях, что-то изнеженное было в ее недуге, и поверхностным людям могло показаться, что все это прихоть кокетки. Врачи не разрешали ей вставать, и она целыми днями лежала на диване и увядала, как цветы, украшавшие ее комнату. Она так ослабела, что не могла ходить, не могла бывать на свежем воздухе; она выезжала только в закрытой карете. Ее окружала роскошь — чудесные творения современной промышленности; казалось, это не больная, а королева, равнодушная ко всему на свете. Друзья, быть может, тронутые ее несчастьем и слабостью, уверенные, что всегда застанут ее дома и что за внимание им воздастся, когда она поправится, приходили к ней с новостями и рассказывали о всякой всячине, вносящей столько разнообразия в жизнь парижан! Ее душевная подавленность, глубокая, искренняя, все же была подавленностью женщины, живущей в роскоши. Маркиза д'Эглемон походила на прекрасный цветок, корень которого подтачивает вредное насекомое. Иногда она появлялась в свете, но не потому, что ей хотелось этого, а так было надобно для честолюбивых притязаний мужа. Ее голос и умение петь могли бы вызвать рукоплескания — а это всегда льстит молодой женщине,— но к чему ей были светские успехи? Они ничего не говорили ни душе ее, ни надеждам. Ее муж музыки не любил. Она всегда чувствовала себя неловко в гостиных, где ее красота вызывала поклонение и какое-то назойливое участие. Состояние ее возбуждало в свете нечто вроде жестокой жалости, обидного любопытства. Она была поражена тем недугом, зачастую смертельным, о котором женщины говорят друг другу на ухо и для наименования которого в нашем языке еще не появилось слова. Несмотря на завесу молчания, скрывавшую семейную жизнь маркизы д'Эглемон, причина ее болезни ни для кого не была тайной. В Жюли сохранилось что-то девичье, несмотря на замужество; нескромный взгляд мог повергнуть ее в смущение. Чтобы никто не подметил, как она краснеет, Жюли всегда старалась быть оживленной, но веселье ее было напускным; она всем твердила, что чувствует себя отлично, или стыдливо предупреждала вопросы о ее здоровье какой-нибудь выдумкой. Меж тем в 1817 году одно событие весьма скрасило плачевное положение, в котором нахо-

дилась Жюли д'Эглемон. У нее родилась дочь, и она захотела кормить ее сама. Два года самозабвенных, отрадных забот и волнений, связанных с материнством, сделали жизнь ее менее горестной. Она поневоле отдалилась от мужа. Доктора начали предсказывать, что здоровье ее улучшится, но маркиза не придавала значения этим гадательным предсказаниям. Как и все люди, разуверившиеся в жизни, пожалуй, лишь в смерти видела она счастливую развязку.

В начале 1819 года жизнь стала для нее тягостна, как никогда. В то самое время, когда она радовалась относительному покою, который ей удалось завоевать, под ее ногами разверзлась бездна: ее муж постепенно отвык от нее. Охлаждение уже и без того остывшего эгоистического чувства могло привести ко многим бедам — это Жюли подсказывали чуткость и благоразумие. Хотя она была уверена, что навсегда сохранит власть над Виктором, что навсегда завоевала его уважение к себе, ее все же страшило влияние страстей на столь ничтожного, столь безрассудного и тщеславного человека. Друзья часто заставали Жюли погруженной в размышления; менее прозорливые шутливо спрашивали о ее тайнах, будто молодая женщина думает только о пустяках, будто в раздумьях матери не может быть глубокого смысла. А ведь в несчастье, так же как и в настоящем счастье, мы склонны к раздумью. Порою, играя с Еленой, Жюли смотрела на нее мрачным взглядом и не отвечала на наивные вопросы ребенка, доставляющие столько радости матерям: она размышляла о том, что готовит судьба ее дочке. Глаза ее наполнялись слезами, когда внезапно что-нибудь напоминало ей парад в Тюильри. Пророческие слова отца вновь звучали в ее ушах, и совесть упрекала ее за то, что она не вняла его мудрым увещаниям. Все ее несчастья и произошли от этого безрассудного непослушания; и часто она сама не знала, что тяготит ее больше всего. Не только чудесные богатства ее души не были оценены, но ей никогда не удавалось добиться того, чтобы муж понял ее даже в самых обычных, житейских делах. В ту пору, когда в душе ее росло и крепло стремление к любви, физические и нравственные страдания убивали в ней любовь дозволенную, любовь супружескую. Кроме того, муж вызывал у нее

жалость, близкую к презрению, а это со временем убивает все чувства. Наконец, даже если бы разговоры с друзьями, если бы примеры и случаи из великосветской жизни и не убеждали бы ее в том, что любовь приносит беспредельное блаженство, то сами обиды, нанесенные ей, подсказали бы, как радостно и как чисто должно быть чувство, которое соединяет родственные души. В картинах прошлого, запечатлевшихся в ее памяти, перед ней вставало открытое лицо Артура, и с каждым разом оно казалось ей все прекраснее, все чище, но, промелькнув, оно исчезало, ибо она гнала от себя воспоминания. Молчаливая и робкая любовь молодого чужестранца была со дня ее замужества единственным событием, которое оставило сладостный след в ее печальном и одиноком сердце. Быть может, все обманутые надежды, все несбывшиеся желания, мало-помалу омрачавшие душу Жюли, сосредоточились под воздействием игры воображения на этом человеке, столь схожем, как ей представлялось, с нею по склонностям, чувствам и характеру. Но мысль о нем превращалась в причудливые грезы, в мечты. Несбыточные мечты рассеивались, и Жюли с тяжким вздохом возвращалась к действительности; она становилась еще несчастнее, ибо еще острее ощущала свое затаенное горе, которое ей удавалось на миг усыпить под покровом призрачного счастья. Иной раз в ее сетованиях появлялось что-то неистовое, смелое; ей хотелось — пусть любой ценой — насладиться жизнью; но чаще она впадала в какое-то тупое оцепенение, слушала, не понимая, или же погружалась в глубокое раздумье, причем мысли ее были так туманны, так расплывчаты, что их нельзя было передать словами. Оскорблены были ее самые заветные желания, ее нравственные понятия, ее девичьи мечты, и она была принуждена скрывать свои слезы. Да и кому жаловаться? Кто поймет ее? Помимо всего, она обладала той утонченной чуткостью, той прекрасной чистотой чувств, которая всегда заглушает бесполезную жалобу и не позволяет женщине воспользоваться своими преимуществами, если торжество унизительно и для победителя и для побежденного. Жюли пыталась наделить своими способностями и достоинствами г-на д'Эглемона и тешила себя тем, что наслаждается несуществующим счасть-

ем. Напрасно она со всей своей женской чуткостью незаметно щадила его самолюбие — этим она лишь усиливала деспотизм мужа. Порою она словно хмелела от тоски, она ни о чем не думала, она теряла самообладание, но истинное благочестие всегда приводило ее к возвышенной надежде; она находила утешение в мыслях о будущей жизни, и светлая вера вновь примиряла ее с тяжким бременем. Ужасные терзания, безысходная тоска, владевшая ею, никого не трогали, никто не знал о долгих часах, которые она проводила в печальном раздумье, никто не видел ее погасшего взгляда, горьких слез, пролитых украдкой в одиночестве.

Гибельные последствия того опасного положения, до которого мало-помалу довели маркизу обстоятельства, стали особенно очевидными для нее в один январский вечер 1820 года. Когда супруги в совершенстве знают друг друга и когда их соединяет многолетняя привычка, жена правильно истолковывает каждый жест мужа и может угадать чувства и думы, которые он скрывает от нее. И случается, что после размышления и некоторых наблюдений, хоть и сделаны они были нечаянно и поначалу непреднамеренно, вдруг все предстает перед нею в новом свете. Часто жена вдруг видит, что она на краю или на дне пропасти. Так и маркиза, уже не один день радовавшаяся своему одиночеству, внезапно угадала, в чем его секрет: непостоянство или пресыщенность мужа, великодушие или жалость его к жене обрекли ее на это одиночество. В этот миг она уже не думала о себе, о своих страданиях и жертвах; она была только матерью и жила лишь заботой о счастье дочери, о будущем своей дочери, единственной своей отрады — Елены, милой Елены, единственного своего сокровища, которое привязывало ее к жизни. Теперь Жюли решила жить только ради того, чтобы уберечь свое дитя от страшного ига: она боялась, что мачеха погубит жизнь ее дорогой девочки. Предвидя мрачное будущее, она углубилась в мучительное раздумье, от которого сразу стареешь на несколько лет. Между нею и мужем отныне вставал целый мир мыслей, вся тяжесть которых должна была пасть лишь на нее. До сих пор, убежденная в том, что Виктор по-своему любит ее, она посвящала себя счастью, которого не ведала сама; но ныне она уже не

чувствовала удовлетворения от мысли, что слезы ее — радость мужа; она была одна в целом мире, и ей не оставалось ничего иного, как выбрать наименьшее зло. В тот час, когда в глубокой ночной тишине отчаяние охватило ее и отняло все силы, в тот миг, когда она, осушив слезы, встала с дивана, где лежала у почти потухшего камина, и пошла при свете лампы взглянуть на спавшую дочку, г-н д'Эглемон в самом веселом расположении духа вернулся домой. Жюли позвала его полюбоваться спящей Еленой, а он ответил жене, восхищенно смотревшей на их дочку, избитой фразой:

— В этом возрасте все дети милы.

Он равнодушно поцеловал дочку в лоб, опустил полог колыбели, взглянул на Жюли и, взяв ее под руку, повел к дивану, где она только что передумала столько страшных дум.

— Как вы прелестны нынче, Жюли! — воскликнул он весело, и это было нестерпимо: слишком хорошо знала маркиза его пустословие.

— Где вы провели вечер? — спросила она с напускным безразличием.

— У госпожи де Серизи.

Он взял с камина экран для свечей и стал внимательно рассматривать прозрачный рисунок, не замечая на лице жены следов от пролитых ею слез. Жюли вздрогнула. Никакими словами не передать чувств, потоком хлынувших в ее сердце, чувств, которые она должна была сдерживать.

— В будущий понедельник госпожа де Серизи устраивает концерт и горит желанием видеть тебя. Ты давным-давно не появлялась в свете, поэтому она жаждет, чтобы ты была у нее на вечере. Она превосходная женщина и очень любит тебя. Доставь мне удовольствие, поедем, я почти дал за тебя согласие.

— Поедем,— отвечала Жюли.

Голос, тон и взгляд маркизы были так выразительны и так необычайны, что, невзирая на свое легкомыслие, Виктор с удивлением посмотрел на жену. Все было ясно: Жюли поняла, что г-жа де Серизи — та самая женщина, которая похитила у нее сердце мужа. Она застыла под наплывом горестных мыслей; казалось же, что она просто смотрит на огонь, пылающий в камине. Виктор

вертел экран со скучающим видом человека, которому было очень хорошо где-то вне дома, который устал от счастья. Он несколько раз зевнул, одной рукой взял подсвечник, а другой как-то нехотя обнял жену, собираясь поцеловать ее в шею, но Жюли нагнулась и подставила ему лоб — на нем и был запечатлен вечерний поцелуй, этот привычный, лицемерный поцелуй без любви, вызвавший у нее отвращение. Как только дверь за Виктором затворилась, Жюли упала в кресло; ноги ее подкосились, она залилась слезами. Надобно пройти через пытку подобных сцен, чтобы понять, сколько в них мучительного, чтобы разгадать те бесконечные и страшные драмы, которые они порождают. Односложные и пустые фразы, молчание супругов, жесты, взгляды, сама поза г-на д'Эглемона у камина, вид его, когда он хотел поцеловать жену,— все это послужило толчком к тому, что в тот вечер произошел трагический перелом в одинокой и скорбной жизни Жюли. Она в отчаянии опустилась на колени перед диваном, прижалась к нему лицом, чтобы ничего не видеть, и стала молиться, читая слова обычной молитвы с глубокой задушевностью, вкладывая в них новый смысл, так что сердце маркиза дрогнуло бы, если б он услышал ее. Всю неделю молодой женщине не давала покоя мысль о будущем, горе терзало ее, и она обдумывала свое положение, пыталась найти выход, чтобы, не обманывая своего сердца, вернуть власть над мужем и прожить как можно дольше во имя счастья своей дочки. И она решила бороться с соперницей, обольстить Виктора, вновь появляться в свете, блистать там, притворяться, что исполнена любви к мужу, любви, которой она уже не могла чувствовать, затем, пустив в ход всевозможные уловки кокетства и подчинив мужа своей воле, вертеть им, как делают это взбалмошные любовницы, которым приятно мучить своих поклонников. Отвратительная хитрость была единственным средством, которое могло помочь в беде. Итак, она станет госпожой своих страданий, она будет распоряжаться ими, как ей вздумается, будет реже поддаваться им и в то же время обуздает мужа, поработит его своей деспотической волей. Она даже не испытывала никаких угрызений совести, обрекая его на нелегкое существование. Ради спасения дочери она сразу пусти-

лась в бесстрастные, холодные расчеты, она вдруг постигла, что такое вероломство, лживость женщин, не ведающих любви, постигла тайну того чудовищного коварства, которое порождает у мужчины глубокую ненависть к женщине и внушает ему мысль, что она порочна от рождения. Неведомо для самой Жюли к ее материнской любви примешивалось женское тщеславие, себялюбие, смутное желание отомстить, и это толкало ее на новый путь, где ее ждали другие беды. Но прекрасная душа ее, тонкий ум, а главное, искренность не позволили бы ей долго быть причастной к обману. Она привыкла читать в своей душе, и стоило бы ей ступить на стезю порока — ибо то был порок,— как голос совести заглушил бы голос страстей и эгоизма. В самом деле, у молодой женщины, сердце которой еще чисто и любовь которой непорочна, даже чувство материнства подчиняется голосу целомудрия. Разве целомудрие не сущность женщины? Но Жюли не хотелось замечать ни опасностей, ни ошибок на своем новом жизненном пути. Она отправилась к г-же де Серизи. Ее соперница рассчитывала увидеть бледную, изможденную женщину; маркиза подрумянилась и предстала перед нею во всем блеске своей красоты, подчеркнутой великолепным нарядом.

Графиня де Серизи принадлежала к разряду тех женщин, которые воображают, что в Париже они властительницы мод и света; она выносила суждения, которым следовал кружок, где она царила, и была уверена, что их принимают повсюду; она считала, что наделена тонким остроумием; она воображала себя непогрешимым *судьей*. Литература, политика, мужчины, женщины — все подвергалось ее критике, а сама она, казалось, презирала мнения других. Дом ее во всех отношениях был образцом хорошего тона. В гостиных, где было множество блистательных красавиц, Жюли одержала победу над графиней. Она была остроумна, оживлена, весела, и вокруг нее собрались самые изысканные кавалеры, приглашенные в тот вечер. К великому неудовольствию женщин, туалет ее был безупречен; все завидовали покрою ее платья и тому, как сидит на ней корсаж; это обычно приписывается изобретательности какой-нибудь неведомой портнихи, ибо дамы предпочитают верить в

мастерство швеи, нежели поверить в изящество и стройность женщины. Когда Жюли поднялась с места и направилась к роялю, чтобы спеть арию Дездемоны, из всех гостиных поспешили мужчины, желавшие послушать дивный, так долго молчавший голос; воцарилась глубокая тишина. Жюли ощутила острое волнение, когда увидела, что столько людей теснится в дверях и столько взоров устремлено на нее. Она отыскала глазами мужа, кокетливо взглянула на него и с удовольствием отметила, что ее успех чрезвычайно льстит его самолюбию. Счастливая своей победой, она очаровала слушателей первой частью арии «Al piè d' un salice» [1]. Никогда ни Малибран, ни Паста не пели с таким чувством, с таким совершенством исполнения; но, дойдя до репризы, Жюли обвела взглядом собравшихся и вдруг увидела Артура, который не сводил с нее глаз. Она вздрогнула, и голос изменил ей.

Госпожа де Серизи вскочила и подбежала к маркизе.

— Что с вами, милочка? Ах, бедняжка, как ей плохо! Я просто трепетала, видя, как она берется за то, что выше ее сил!..

Ария была прервана. Жюли досадовала, что у нее не хватает смелости продолжать, и она терпеливо выслушивала сочувственные речи вероломной соперницы. Дамы стали перешептываться; обсудив происшествие, они догадались, что между маркизой и г-жой де Серизи началась борьба, и не щадили их в своем злословии. Странные предчувствия, так часто тревожившие Жюли, вдруг осуществились. Когда она думала об Артуре, ей отрадно было верить, что этот незнакомец с таким милым и добрым лицом должен остаться верным своей первой любви. Порою ей льстила мысль, что она — предмет прекрасной страсти, чистой, искренней страсти человека молодого, все помыслы которого принадлежат любимой, каждая минута посвящена ей, человека, который не кривит душой, краснеет от того же, от чего краснеет женщина, думает, как женщина, не изменяет ей, вверяется ей, не помышляя ни о честолюбии, ни о славе, ни о богатстве. В мечтах своих она наделяла Артура такими чертами ради развлечения, ради прихоти и вдруг

---

[1] «У подножия ивы» *(итал.)*.

почувствовала, что мечта ее осуществилась. На женственном лице молодого англичанина запечатлелись следы глубокого раздумья, тихой грусти и такой же самоотреченности, жертвой которой была сама Жюли, в нем она увидела себя. Уныние и печаль — самые красноречивые толкователи любви и передаются от одного страждущего к другому с невероятною быстротой. У страдальцев развито какое-то внутреннее зрение, они полно и верно читают мысли друг друга и одинаково воспринимают все впечатления. Маркиза была потрясена, поняв, какие опасности ожидают ее в будущем. Она была рада, что может сослаться на свое обычное недомогание, и не противилась докучливому, притворному сочувствию г-жи де Серизи. То, что Жюли прервала пение, превратилось в целое событие и по-разному занимало гостей. Одни чуть ли не оплакивали Жюли и сетовали, что такая замечательная женщина потеряна для общества, другим не терпелось доискаться причины ее страданий и уединения, в котором она живет.

— Вот видишь, милейший Ронкероль,— говорил маркиз д'Эглемон брату г-жи де Серизи,— ты позавидовал моему счастью, увидав мою жену, и упрекнул меня в неверности. Право, ты бы убедился, что в моей участи мало завидного, если бы провел, как я, года два—три в обществе хорошенькой женщины, не осмеливаясь поцеловать ей руку, из страха, что сломаешь ее. Не гонись за изысканными безделушками, они хороши только под стеклом; они так хрупки, так дороги, что их приходится беречь. Неужто ты выедешь в ливень или снег на своем великолепном скакуне, над которым, говорят, ты дрожишь? Вот такие-то у меня дела. Конечно, я уверен в добродетели жены; но, право же, брак мой — предмет роскоши, и если ты воображаешь, что я женат, то глубоко ошибаешься. Измены мои, право, простительны. Хотелось бы мне знать, господа шутники, что бы вы делали на моем месте. Многие обращались бы со своими женами не так бережно. Я уверен,— добавил он, понизив голос,— что моя жена ничего не подозревает. И мне, конечно, нечего жаловаться, я очень доволен... Хотя и весьма неприятно человеку чувствительному видеть, как недуг подтачивает бедное создание, к которому привязан...

— Да ты, верно, уж очень чувствителен, раз так редко бываешь дома,— вставил г-н Ронкероль.

Дружеская шутка вызвала веселый хохот. Только Артур по-прежнему был холоден и невозмутим, как подобает джентльмену, который считает, что серьезность должна быть основой характера. Недомолвки маркиза, очевидно, внушили какие-то надежды молодому англичанину, потому что он терпеливо стал ждать возможности поговорить наедине с г-ном д'Эглемоном, и случай этот скоро представился.

— Сударь,— обратился Артур к маркизу,— я с бесконечным огорчением вижу, насколько подорвано здоровье вашей супруги, и если б вы знали, что при отсутствии особого ухода она обречена на мучительную смерть, вы бы, мне кажется, не шутили ее болезнью. Я взял на себя смелость сказать вам об этом, ибо вполне уверен, что мне удастся спасти госпожу д'Эглемон и вернуть ее к жизни и счастью. Кажется маловероятным, что человек моего круга — врач, и все же это так: судьбе было угодно, чтобы я изучил медицину. К тому же,— сказал он, прикидываясь черствым эгоистом, что должно было помочь его замыслу,— меня преследует хандра, и мне безразлично, тратить ли время в путешествиях ради того, чтобы принести пользу страждущему существу, или же ради удовлетворения своих пустых фантазий. Случаи излечения заболеваний такого рода редки, потому что требуют много забот, времени и терпения; главное же, нужно иметь состояние, путешествовать, тщательно следовать предписаниям врача — они меняются ежедневно, но в них нет ничего неприятного. Ведь мы с вами джентльмены,— сказал он, подчеркивая всю значительность этого английского слова,— и мы поймем друг друга. Если вы примете мое предложение, то ежеминутно будете судьей моего поведения, заверяю вас в этом. Я не стану ничего предпринимать, не посоветовавшись с вами, без вашего надзора, и я отвечаю вам за успех, если вы послушаетесь меня. Да, если вы согласитесь долгое время не быть мужем госпожи д'Эглемон,— прошептал он на ухо маркизу.

— Уж конечно, милорд,— со смехом заметил д'Эглемон,— только англичанин может сделать такое странное предложение. Позвольте мне и не отклонять его и не

принимать; я подумаю. И прежде всего я должен спросить мнение моей жены.

В этот миг Жюли вновь появилась у рояля. Она спела арию Семирамиды «Son regina, son guerriera» [1]. Дружные, но, так сказать, приглушенные аплодисменты, вежливые рукоплескания Сен-Жерменского предместья говорили о том, что слушатели восхищены ею.

Когда д'Эглемон с женою вернулись в свой особняк, Жюли ощутила какую-то тревожную радость, увидев, как быстро ее затея увенчалась успехом. Муж ее, подстрекаемый той ролью, которую она разыграла, вздумал оказать ей честь своим вниманием и стал ухаживать за нею, как ухаживал бы за актрисой. Жюли показалось забавным, что с нею, добродетельной замужней женщиной, так обходятся; она попыталась поиграть своею властью, но в первой же схватке пала еще раз из-за своего смирения, и то был самый страшный урок из всех, какие уготовила ей судьба. Часа в два — три ночи Жюли сидела в мрачной задумчивости на супружеском ложе; лампа, мигая, освещала комнату; царила глубокая тишина, и около часу маркиза, измученная раскаянием, заливалась слезами, горечь которых могут понять лишь женщины, попавшие в такое же положение. Нужно было обладать душою Жюли, чтобы почувствовать, подобно ей, как отвратительна рассчитанная ласка, как оскорбителен холодный поцелуй и отступничество сердца, отягченное мучительным сознанием своей продажности. Она перестала уважать себя, она проклинала замужество, ей хотелось умереть; и если бы дочь ее не вскрикнула во сне, она, быть может, бросилась бы из окна на мостовую. Г-н д'Эглемон безмятежно спал рядом с нею, и его не могли разбудить горячие слезы, падавшие на него. На другой день Жюли удалось притвориться веселой. У нее явились силы, чтобы казаться счастливой и скрывать не только грусть, но и непреодолимое отвращение. С этого дня она уже не считала себя безупречной женщиной. Ведь она лгала себе! Ведь она способна на обман! Ведь в дальнейшем она, пожалуй, будет с искусным вероломством скрывать свои измены мужу! В самом ее браке таилась причина вполне возможной развращенности, ко-

---

[1] «Я царица, я воительница» *(итал.)*.

торая пока еще ни в чем не выразилась. А между тем Жюли уже задумывалась: к чему противиться человеку, в которого она влюблена, раз она отдалась вопреки велению сердца и голосу природы мужу, которого разлюбила? Все ошибки и, может статься, даже преступления основаны на неправильных рассуждениях или чрезмерном себялюбии. Общество может существовать лишь благодаря личному самопожертвованию, которого требуют законы. Принимать блага, даваемые обществом, значит принимать на себя и обязательство поддерживать условия, благодаря которым оно существует. Люди обездоленные, у которых нет куска хлеба, но которые обязаны уважать чужую собственность, достойны не меньшего сострадания, нежели женщины, оскорбленные в своих желаниях и душевной щепетильности. Через несколько дней после сцены, тайны которой были погребены в супружеской спальне, д'Эглемон представил жене лорда Гренвиля. Жюли приняла Артура с холодной вежливостью, что делало честь ее скрытности. Она заглушила порывы своего сердца, взгляд ее был непроницаем, голос тверд, и поэтому ей удалось остаться госпожой своего будущего. Затем, поняв благодаря врожденному женскому чутью, как сильна внушенная ею любовь, г-жа д'Эглемон обрадовалась надежде на скорое выздоровление и больше не противилась настояниям мужа, который уговаривал ее лечиться у молодого доктора. Однако она решила не доверяться лорду Гренвилю до тех пор, покуда не разгадает его мыслей и поведения и не убедится в том, что по благородству души он будет страдать молча. Власть над ним у нее была полная, она уже злоупотребляла ею: ведь она была женщиной!

Монконтур — старинный замок, стоящий на одной из тех бурых скал, у подножия которых протекает Луара, неподалеку от мест, где Жюли останавливалась в 1814 году. Это один из тех небольших уютных, беленьких замков, каких немало в Турени — с резными башенками, словно сплетенными из фландрских кружев; один из тех маленьких нарядных замков, что отражаются в воде вместе с тутовыми рощицами, виноградниками, откосами горных дорог, длинными ажурными балюстрадами, пещерами в скалах, зелеными завесами из плюща и крутыми склонами. Крыши Монконтура горят под луча-

ми солнца, все сияет. Многое здесь напоминает Испанию, и это придает месту поэтичность; воздух напоен ароматом золотистого дрока и колокольчиков, веет теплый ветерок; повсюду веселые пейзажи, и повсюду сладостные чары покоряют душу, нежат ее, восхищают, умиротворяют и баюкают. Прекрасный и ласковый край этот усыпляет горести и пробуждает любовь. Никому не устоять перед этим безоблачным небом, перед этими сверкающими водами. Здесь умирают честолюбивые помыслы, вы погружаетесь в беспредельное блаженство, подобно тому, как солнце каждый вечер погружается в багряные и лазурные просторы.

В тихий августовский вечер 1821 года два путника взбирались по каменистым тропам, что вьются меж скал, на которых стоит замок, и направлялись к вершине холма, разумеется, чтобы полюбоваться живописными видами, открывающимися оттуда. То были Жюли и лорд Гренвиль; но Жюли, казалось, стала совсем иной. У маркизы был яркий, здоровый румянец. Глаза ее, оживленные какою-то могучей силой, сверкали, и их влажный блеск напоминал лучистый взгляд детей, который придает их глазам такую неизъяснимую прелесть. Улыбка не сходила с ее лица; она радовалась жизни, она постигла смысл жизни. По одному тому, как ступали ее ножки, видно было, что теперь недомогание не связывает ее движений, не мешает ей смотреть, говорить, ходить. Белый шелковый зонтик защищал ее от знойного солнца, и она походила на юную новобрачную под фатой, на непорочную девушку, готовую отдаться волшебству любви. Артур всю дорогу нежно заботился о ней, он вел ее, как ведут ребенка, выбирал путь поудобнее, обходил камни, то указывал на виды, открывавшиеся в просветах меж скал, то подводил к красивому цветку; им все время руководили доброта, чуткость, глубокое понимание того, как надобно поступить, чтобы этой женщине было хорошо, и чувства эти, казалось, были присущи ему так же, а может быть, даже и больше, чем все то, что он делал ради собственного благополучия. Больная и врач шли в ногу, ничуть не удивляясь этому, ибо так повелось с того дня, когда они впервые пошли вдвоем; они подчинялись одной и той же воле, останавливались, поддаваясь одним и тем же ощущениям; взгляды их выражали мыс-

ли, возникавшие у них одновременно. Они поднялись по тропинке, проложенной меж виноградников, до самой вершины, и им захотелось отдохнуть на одном из тех больших камней, которые добывают в здешних каменоломнях. Но Жюли все стояла, любуясь ландшафтом.

— Какой чудесный край! — воскликнула она.— Давайте раскинем палатку и будем здесь жить, Виктор! — крикнула она.— Да идите же сюда, идите сюда!

Господин д'Эглемон отозвался снизу охотничьим посвистом, но идти не спешил; однако он то и дело посматривал на жену, когда ему было видно ее на поворотах дорожки. Жюли с упоением вдыхала воздух, запрокидывая голову и бросая на Артура выразительные взгляды, в которые умная женщина умеет вложить свои мысли.

— Ах, как бы мне хотелось остаться здесь навсегда! — продолжала она.— Разве можно налюбоваться этой прекрасной долиной? А как хороша река! Вы не знаете, как называется эта прелестная река, милорд?

— Это Сиза.

— Сиза,— повторила она.— А что вот тут, перед нами?

— Шерские холмы,— сказал он.

— А направо? Ах, да, это Тур! Взгляните, как хороши издали колокольни собора!

Она умолкла и опустила на руку Артура свою руку, которой указывала на город. Они в молчании любовались природой, гармонической красотою пейзажа. Плеск реки, прозрачность воздуха и неба — все сочеталось с мыслями, которыми полнились их молодые влюбленные сердца.

— О, боже мой, как мне нравится этот край! — повторила Жюли под наплывом чистых, восторженных чувств.— Вы здесь долго жили? — спросила она, помолчав.

При этих словах лорд Гренвиль вздрогнул.

— Вон там,— грустно сказал он, показывая на ореховые деревья, стоявшие у дороги,— там я, пленник, впервые увидел вас...

— Да, мне было тогда очень тоскливо. Здешняя природа казалась мне такой дикой, а теперь...

Она замолчала; лорд Гренвиль не осмелился взглянуть на нее.

— Вам я обязана этим удовольствием,— проговорила наконец Жюли после долгого молчания,— только живой может ощутить радость жизни, а ведь я до сих пор была мертва. Вы дали мне больше, чем здоровье, вы научили меня ценить его...

Женщины наделены неподражаемым даром выражать свои чувства без пышных фраз; женское красноречие — в звучании голоса, в движении, позе и взгляде. Лорд Гренвиль закрыл лицо рукой, ибо глаза его наполнились слезами. В первый раз со дня их отъезда из Парижа Жюли благодарила его. Целый год он самоотверженно заботился о ней. Вместе с д'Эглемоном он сопровождал ее на воды в Экс, потом на морское побережье, в Ла-Рошель. Он неотступно следил за тем, как в подорванном организме Жюли восстанавливаются силы под воздействием его разумных и простых предписаний, он выхаживал ее, как страстный садовод выхаживает редкостный цветок. Маркиза же, казалось, принимала искусное врачевание Артура с эгоизмом парижанки, привыкшей к поклонению, или с беззаботностью куртизанки, которая не ведает ни стоимости вещей, ни цены человеку и пользуется ими, покуда они ей нужны.

Влияние природы на душу достойно замечания. Если нас неминуемо охватывает печаль, когда мы попадаем на берег вод, то, по велению другого закона нашей впечатлительной натуры, в горах чувства наши очищаются: страсти там становятся менее пылкими, зато более глубокими. Вид обширного бассейна Луары, живописный и высокий холм, где сидели влюбленные, вероятно, способствовали блаженному покою, которым они наслаждались, тому счастью, которое вкушаешь, узнав, как необъятна любовь, скрываемая под словами, казалось бы, ничего не значащими. В тот миг, когда Жюли договаривала фразу, так глубоко взволновавшую лорда Гренвиля, летний ветерок всколыхнул верхушки деревьев, и от реки потянуло прохладой; гряда облаков заслонила солнце, и легкие тени придали особую прелесть прекрасному пейзажу. Жюли отвернулась, чтобы скрыть от своего спутника слезы, которые ей удалось сдержать, хотя ей тотчас же передалось умиление Артура. Она не смела поднять глаза из страха, что он прочтет в них, как она счастлива. Женский инстинкт подсказал ей, что в этот

решительный час она должна затаить свою любовь в глубине сердца. Меж тем молчание тоже могло стать опасным. Заметив, что лорд Гренвиль не в силах произнести ни слова, она кротко сказала:

— Вас тронули мои слова, милорд. Какая у вас чуткая и добрая душа, если вы с такой откровенной радостью отказываетесь от ложного суждения о человеке! Вы считали меня неблагодарной, видя, что я то холодна и сдержанна, то насмешлива и равнодушна во время нашего путешествия, которое, к счастью, скоро окончится. Я была бы не достойна ваших забот, если б не умела оценить их. Милорд, я ничего не забыла! Увы! Я ничего не забуду — ни той заботливости, с какой вы пеклись обо мне, как мать печется о ребенке, ни, особенно, той благородной доверчивости, с которой вы вели со мною дружеские беседы, ни вашей чуткости; против этих соблазнов мы, женщины, безоружны. Милорд, вознаградить вас я не могу...

С этими словами Жюли поспешно отошла в сторону, и лорд Гренвиль не сделал ни малейшей попытки удержать ее. Маркиза остановилась на скале, неподалеку от него, и застыла в неподвижности; чувства их были тайной для них самих; оба они молча проливали слезы; пение птиц, такое веселое, такое нежное и выразительное на закате солнца, должно быть, усиливало безудержное волнение сердец, заставившее их расстаться: сама природа шептала им о любви, о которой они не осмеливались обмолвиться.

— Итак, милорд,— продолжала Жюли, встав перед ним с видом, полным достоинства, позволившим ей взять Артура за руку,— прошу вас, оставьте в чистоте и непорочности жизнь, которую вы вновь вдохнули в меня. Мы сейчас простимся. Я знаю,— прибавила она, заметив, как побледнел Артур,— что в награду за вашу преданность я требую от вас жертвы, превышающей все те великие жертвы, за которые я должна была бы отблагодарить вас... Но так надо. Уезжайте из Франции. Велеть вам это — не значит ли дать вам права, которые будут священны? — прибавила она, прижимая руку молодого человека к своему трепещущему сердцу.

— Разумеется,— произнес Артур вставая.

И он указал на д'Эглемона, который в этот миг по-

явился с дочкой на руках по ту сторону дороги, на балюстраде замка. Он взобрался туда, чтобы доставить удовольствие маленькой Елене.

— Жюли, я не буду говорить вам о своей любви, души наши отлично понимают друг друга. Как бы глубоки, как бы затаены ни были мои сердечные радости, вы их разделяли. Я это чувствую, я это знаю, я это вижу. Теперь у меня есть чудесное доказательство, но я бегу прочь... Столько раз я строил хитрые планы, как бы избавиться от этого человека... Мне не устоять перед искушением, если я останусь возле вас.

— И мне приходила такая мысль,— тихо сказала Жюли, и на ее взволнованном лице появилось выражение горестного удивления.

Но в тоне и в жестах Жюли было столько добродетели, столько уверенности в себе и столько скрытого торжества победы, одержанной над любовью, что лорд Гренвиль замер в благоговении.

Даже тень преступления исчезла из этой чистой души. Религиозное чувство, освещавшее прекрасное лицо Жюли, всегда отгоняло от нее невольные греховные помыслы, которые порождает наша несовершенная природа и которые показывают, сколько возвышенного и одновременно сколько гибельного таится в нашей судьбе.

— Тогда,— промолвила она,— я бы навлекла на себя ваше презрение. И это спасло бы меня,— прибавила она потупившись.— Потерять ваше уважение — ведь это значит умереть!

И влюбленные еще с минуту постояли молча, героически стараясь преодолеть душевную боль; хороши ли, плохи ли были их мысли, они всегда были схожи, и оба понимали друг друга как в сердечных радостях, так и в утаенных своих горестях.

— Я не должна роптать, я сама виновата в своем несчастье,— прибавила Жюли, подняв к небу глаза, полные слез.

— Милорд,— закричал генерал со своего места, размахивая рукой,— а ведь именно здесь мы с вами встретились в первый раз, помните? Вон там, возле тополей.

Артур ответил коротким кивком.

— Мне суждено умереть молодой и несчастной,— говорила Жюли.— Да, не думайте, что я буду жить. Горе

будет таким же смертельным, как ужасный недуг, от которого вы меня излечили. Я не считаю себя преступницей. Нет, чувство, которое я питаю к вам, непреодолимо, вечно, и я не властна в нем, но я хочу остаться добродетельной. Я буду верна своему супружескому и материнскому долгу и велениям своего сердца. Послушайте,— сказала она изменившимся голосом,— никогда больше я не буду принадлежать этому человеку, никогда!

И с нескрываемым отвращением и ужасом Жюли указала рукой на мужа.

— Законы света,— прибавила она,— требуют, чтобы я сделала его существование счастливым, и я подчиняюсь; я буду его служанкой; моя преданность ему будет безгранична, но с этого дня я вдова. Я не желаю быть падшей ни в своих глазах, ни в глазах света; я не принадлежу более господину д'Эглемону и никогда не буду принадлежать никому другому. Вы добились от меня признания, но ничего более вы не добьетесь. Вот приговор, который я себе вынесла,— сказала она, гордо взглянув на Артура,— решение мое бесповоротно, милорд. Знайте же, что если вы поддадитесь преступной мысли, вдова господина д'Эглемона уйдет в монастырь,— в Италии или в Испании. Року было угодно, чтобы мы, на горе себе, заговорили о нашей любви. Быть может, эти признания были неизбежны; но пусть наши сердца так сильно бились в последний раз. Завтра вы скажете, что получили письмо, которым вас вызывают в Англию, и мы расстанемся навсегда.

И Жюли, обессиленная душевным напряжением, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, ее охватил смертельный холод; подумав о том, как бы не упасть в объятия Артура,— а так подумала бы каждая женщина,— она опустилась на камень.

— Жюли! — воскликнул лорд Гренвиль.

Громкий крик этот раздался как раскат грома. Этот вопль отчаяния выразил все то, что влюбленный, до сих пор хранивший молчание, не мог высказать.

— Ну, что там? Что случилось? — спросил генерал.

Услыхав крик, он поспешил к ним и внезапно очутился перед влюбленными.

— Пустяки,— сказала Жюли с тем изумительным хладнокровием и находчивостью, которые зачастую про-

являют женщины в трудную минуту жизни.— Под этим орешником так сыро и холодно, что мне чуть не стало дурно, и мой доктор, вероятно, испугался. Ведь я для него еще незаконченное произведение искусства, и он, должно быть, содрогнулся при мысли, что оно разобьется.

Она смело взяла под руку лорда Гренвиля, улыбнулась мужу, окинула взглядом пейзаж, прежде чем покинуть вершину холма, и повлекла за собой своего спутника.

— Отсюда, по-моему, открывается самый прекрасный ландшафт, какой мы только видали,— сказала она.— Я никогда его не забуду. Посмотрите, Виктор, какие дали, какой простор, какое разнообразие! Здесь я начинаю постигать, что такое любовь.

Смеясь каким-то судорожным смехом, чтобы обмануть мужа, она сбежала с откоса на дорогу и скрылась.

— Неужели так скоро!..— воскликнула она, когда г-н д'Эглемон уже не мог их слышать.— Неужели, друг мой, через какую-нибудь минуту мы уже больше не будем и никогда не сможем быть самими собой? Словом, неужели жизнь кончена?..

— Пойдемте медленнее,— ответил лорд Гренвиль,— до колясок еще далеко. Мы будем идти рядом, и если нам дозволено говорить взглядами, то сердца наши проживут мгновением больше...

Они прошлись по насыпи, вдоль берега реки, освещенного последними лучами заката, почти не разговаривая, роняя какие-то бессвязные слова, тихие, как плеск Луары, но трогавшие душу. Заходящее солнце, печальный образ их роковой любви, прежде чем скрыться, озарило их багряным отблеском. Генерал встревожился, не видя своей кареты там, где ее оставили, и то шел вслед за влюбленными, то забегал вперед, не вмешиваясь в их беседу. Благородство и сдержанность, которые проявлял лорд Гренвиль во время путешествия, рассеяли подозрения маркиза, и с некоторых пор он предоставлял жене полную свободу, полагаясь на мнимое бескорыстие лорда-доктора. Артур и Жюли все шли, и их истомленные сердца бились в печальном и унылом согласии. Еще недавно, когда они пробирались по крутым склонам Монконтура, в них теплилась смутная надежда, они ощущали какую-то тревожную радость и не

осмеливались отдать себе в ней отчет; но, спускаясь вдоль насыпи, они разрушили воздвигнутое их воображением хрупкое здание, на которое они боялись дохнуть, подобно детям, знающим, что карточный домик, построенный ими, вот-вот рухнет. Они потеряли надежду. В тот же вечер лорд Гренвиль уехал. Последний взгляд, брошенный им на Жюли, к несчастью, доказал, что с того мгновения, когда взаимное влечение сердец открыло им, как велика сила страсти, он был прав, не полагаясь на себя.

На другой день г-н д'Эглемон с женой сидели в карете без своего спутника и мчались по той дороге, по которой Жюли ехала в 1814 году, еще не ведая тогда страсти и почти готовая проклинать постоянство в любви. Теперь ей вспомнилось множество забытых впечатлений. У сердца свои воспоминания. Иногда женщина не помнит событий самых важных, зато на всю жизнь остается у нее в памяти то, что относится к миру чувств. Так и в памяти Жюли четко запечатлелись даже незначительные подробности; она с радостью припомнила все, что происходило с нею во время путешествия, вплоть до того, о чем она думала в том или ином месте дороги. Виктор, вновь воспылавший страстью к Жюли с той поры, как к ней вернулись свежесть, молодость и красота, влюбленно склонился к жене. Когда он попытался обнять ее, она слегка отстранилась и нашла какой-то предлог, чтобы избежать этой невинной ласки. Ей стало противно даже соседство Виктора; они сидели так близко друг к другу, что она ощущала, как ей передается тепло его тела. Она выразила желание пересесть на переднее место, но муж был так любезен, что оставил ее одну в глубине кареты. Она поблагодарила его за внимание вздохом, который он понял превратно: бывший гарнизонный обольститель по-своему истолковал печальное настроение жены, так что Жюли вынуждена была к концу дня объясниться с ним, и она сделала это с твердостью, внушившей ему уважение.

— Друг мой,— сказала она ему,— вы уже чуть не свели меня в могилу; вы это знаете. Будь я еще неопытной девушкой, я бы могла вновь пожертвовать вам своей жизнью; но я мать, мне надобно воспитать дочку, и я сознаю свои обязанности по отношению к ней так же,

как сознаю их и по отношению к вам. Будем же стойко терпеть горькую участь, постигшую нас обоих. Вы меньше заслуживаете сожаления, нежели я. Ведь вы находили рассеяние в том, что мне запрещает мой долг, честь нашей семьи и, главное,— вся моя душа. Ведь вы,— добавила она,— по легкомыслию своему забыли на столе три письма госпожи де Серизи; вот они. Я долго молчала, и это доказывает, что во мне вы нашли жену, полную снисходительности, не требующую от вас тех жертв, на которые ее обрекают законы; но я много размышляла и поняла, как различны наши роли, поняла, что скорбная судьба — удел одних лишь женщин. Добродетель моя основана на незыблемых, твердых устоях. Я буду вести безупречный образ жизни; но позвольте мне жить так, как я хочу.

Маркиз, ошеломленный логикой, постигнуть которую помогает женщинам свет любви, был покорен величавым достоинством, свойственным женщине в решительные минуты жизни. Инстинктивное отвращение Жюли ко всему, что оскорбляло ее любовь и веления ее сердца, является одним из прекраснейших качеств женщины и исходит, быть может, от ее врожденной добродетели, которую не заглушат ни законы, ни цивилизация. Да и кто осмелился бы хулить женщин? Ведь они похожи на священника, утратившего веру, когда вынуждают замолчать то благородное чувство, которое не позволяет им принадлежать двоим. Если иные суровые умы осудят своеобразную сделку, которую заключила Жюли между долгом и любовью, то страстные души сочтут ее преступлением. Это всеобщее порицание говорит о несчастьях, которые суждены тому, кто не подчиняется законам, и о печальных несовершенствах устоев, на которых зиждется европейское общество.

Прошло два года; супруги д'Эглемон вели светский образ жизни обособленно друг от друга и встречались чаще в чужих гостиных, нежели у себя дома; то был изысканный разрыв, которым кончаются многие великосветские браки. Однажды вечером супруги против обыкновения встретились у себя в гостиной. Г-жа д'Эглемон пригласила к обеду одну из своих подруг. Генерал же, всегда обедавший в городе, в этот день остался дома.

— Сейчас я вас обрадую, маркиза,— сказал д'Эгле-

мон. Допив кофе и ставя чашку на стол, он бросил на г-жу де Вимфен какой-то печальный и насмешливый взгляд и добавил: — Я уезжаю на охоту с обер-егермейстером, и надолго. По крайней мере на неделю вы овдовеете, а мне кажется, вы ничего не имели бы против этого... Гильом,— обратился он к лакею, убиравшему посуду со стола,— велите закладывать.

Госпожа де Вимфен была той самой Луизой, которую Жюли когда-то собиралась предостеречь от замужества. Женщины обменялись понимающим взглядом, и по нему чувствовалось, что Жюли обрела в подруге наперсницу своих печалей, наперсницу чуткую и добросердечную, ибо сама г-жа де Вимфен была очень счастлива в браке; быть может, именно оттого, что судьба их сложилась по-разному, счастье одной служило порукой тому, что она сохранит преданность подруге в ее горькой доле. В подобных случаях несходство судеб почти всегда укрепляет дружбу.

— Разве теперь время для охоты? — спросила Жюли, бросив на мужа безразличный взгляд.

Март был на исходе.

— Обер-егермейстер, сударыня, охотится, когда ему вздумается и где ему вздумается. Мы отправляемся в королевские угодья поохотиться на кабанов.

— Будьте осторожны, берегите себя...

— Предвидеть несчастье нельзя,— ответил он усмехаясь.

— Карета подана,— доложил Гильом.

Генерал встал, поцеловал руку г-жи де Вимфен и обернулся к Жюли.

— Сударыня, а вдруг я погибну, стану жертвой кабана! — проговорил он с просительным видом.

— Что это значит? — удивилась г-жа де Вимфен.

— Ну, хорошо, подойдите,— сказала Жюли Виктору.

И она улыбнулась Луизе, словно говоря: «Сейчас сама увидишь».

Жюли потянулась навстречу мужу, который собирался поцеловать ее; но она наклонила голову, и супружеский поцелуй скользнул по рюшу ее пелерины.

— Вы будете свидетельствовать об этом перед богом,— сказал маркиз, обращаясь к г-же де Вимфен,— мне надобен султанский указ, чтобы получить такую не-

большую милость. Вот как моя жена понимает любовь Она довела меня до этого уж не знаю какой хитростью.. Честь имею кланяться!

И он вышел.

— Да твой бедный муж и вправду очень добрый! — воскликнула Луиза, когда женщины остались одни.— Он тебя любит.

— О, не добавляй ни звука к этому слову. Имя, которое я ношу, ненавистно мне.

— Но ведь Виктор беспрекословно подчиняется тебе,— заметила Луиза.

— Подчинение это,— ответила Жюли,— отчасти основано на том, что я сумела внушить ему глубокое уважение к себе. С точки зрения законов я весьма добродетельна; я создала уют в его доме, я закрываю глаза на его любовные похождения, я не прикасаюсь к его состоянию; он может проматывать доходы, как ему заблагорассудится,— я только забочусь о сохранении капитала. Такой ценою куплен мир. Он не уясняет, вернее, не хочет уяснить себе, чем я живу. Но хоть я и держу мужа в руках, все же я очень опасаюсь, что когда-нибудь его характер проявится. Я словно вожак медведя, который дрожит при мысли, что в один прекрасный день намордник порвется. Если Виктору вздумается, что он вправе не уважать меня больше, то страшно даже загадывать, что произойдет, ведь он вспыльчив, самолюбив и, главное, тщеславен. Он неумен, и ему не найти мудрого выхода из сложного положения, в которое вовлекут его дурные страсти; вдобавок он слабохарактерен; убив меня, он сам, пожалуй, умер бы с горя на следующий же день. Но такого рокового счастья мне опасаться нечего...

Наступило молчание, подруги задумались и обратились к тайной причине того, что случилось.

— Меня наказали послушанием,— продолжала Жюли, бросая на Луизу многозначительный взгляд.— Но ведь я не запрещала *ему* писать мне. Ах, *он* забыл меня, и он прав! Как было бы ужасно, если бы жизнь его была разбита! Разве не достаточно моей? Поверишь ли, дорогая, я читаю английские газеты в надежде увидеть его фамилию. Но он все еще не появился в палате лордов.

— Разве ты знаешь английский?

— А я тебе не говорила?.. Я научилась.

— Бедняжка! — воскликнула Луиза, схватив Жюли за руку.— Как ты можешь жить?

— Это тайна,— отвечала маркиза, погрозив ей пальцем с какой-то детской важностью.— Слушай. Я принимаю опиум. История герцогини де *** в Лондоне натолкнула меня на эту мысль. Помнишь, Матюрен написал роман на эту тему? Лаудановые капли слишком слабы для меня. Я сплю. Бодрствую я всего лишь часов семь и провожу их с дочкой.

Луиза смотрела на огонь: она боялась взглянуть на подругу, все злоключения которой впервые предстали перед ее глазами.

— Луиза, храни тайну,— сказала Жюли после минутного молчания.

В этот миг лакей принес маркизе письмо.

— Боже мой! — воскликнула она, бледнея.

— Не спрашиваю, от кого оно,— сказала г-жа де Вимфен.

Маркиза читала и ничего уже не слышала; ее подруга видела, что г-жа д'Эглемон то краснеет, то бледнеет, что на лице ее отражаются обуревающие ее чувства и опасное, восторженное возбуждение. Наконец Жюли бросила листок в огонь.

— Это письмо словно обожгло меня! Ах, я задыхаюсь!

Она встала, прошлась по комнате; глаза ее горели.

— Он не уезжал из Парижа! — воскликнула она.

Госпожу Вимфен пугали и лихорадочная речь Жюли, которую она не решалась остановить, и ее внезапные долгие паузы. Каждый раз после молчания она говорила все взволнованнее и взволнованнее. Последние слова таили в себе что-то зловещее.

— Он продолжал украдкой видеть меня. Он каждый день ловит мой взгляд, и это помогает ему жить. Пойми, Луиза, он умирает и просит позволения сказать мне «прости»; он знает, что моего мужа не будет дома несколько дней, и сейчас сюда приедет. Ах, я погибну! Я пропала! Послушай, останься со мной. Если мы будем вдвоем, он не осмелится! О, не покидай меня, я боюсь самой себя!

— Но мой муж знает, что я обедала у тебя, и должен приехать за мной,— ответила г-жа де Вимфен.

— Пусть так, я удалю Артура до твоего отъезда. Я буду своим и его палачом. Увы! Он подумает, что я разлюбила его. О, это письмо! Дорогая, некоторые фразы я вижу перед собою; они начертаны огненными буквами.

В ворота въехала карета.

— Вот как! — почти радостно воскликнула маркиза.— Он приехал открыто, не таясь.

— Лорд Гренвиль! — доложил лакей.

Маркиза стояла выпрямившись, словно застыв. Артур был так бледен, так худ и истощен, что невозможно было встретить его сурово. Он был раздражен тем, что Жюли не одна, но казался бесстрастным и спокойным. Однако подруги, посвященные в тайну его любви, вдруг почувствовали в сдержанности его, в голосе, в выражении глаз что-то от той силы, которая приписывается электрическому скату. Маркиза и г-жа де Вимфен словно оцепенели, так повлиял на них его скорбный и взволнованный вид. Звук голоса лорда Гренвиля привел г-жу д'Эглемон в мучительный трепет, она не решалась отвечать ему из страха, что он увидит, как велика его власть над ней; лорд Гренвиль не решался смотреть на Жюли; поэтому на долю г-жи де Вимфен выпала обязанность поддерживать скучную беседу; Жюли взглядом, преисполненным трогательной признательности, поблагодарила ее за помощь. Влюбленные подавили свои чувства и принуждены были держаться в границах, предписанных долгом и приличиями. Но вот доложили о приезде г-на де Вимфена; когда он вошел, подруги обменялись взглядом и поняли без слов, как осложнилось положение. Посвящать г-на де Вимфена в тайну этой драмы было невозможно, а у Луизы не было веских доводов, чтоб муж согласился оставить ее у Жюли. Когда г-жа де Вимфен накинула шаль, Жюли встала, подошла к подруге, словно для того, чтобы помочь ей завязать шаль, и тихо сказала:

— Я буду мужественна. Раз он открыто приехал ко мне, чего же мне бояться? Но, не будь тебя, я бы сразу, увидев, как он изменился, упала к его ногам.

— Итак, Артур, вы меня не послушались,— промолвила г-жа д'Эглемон дрожащим голосом, вновь опускаясь на кушетку, на которую лорд Гренвиль не осмелился пересесть.

— Я больше не мог противиться искушению услышать ваш голос, побыть около вас. Это стало безумием, бредом. Я уже не владею собою. Я много размышлял; у меня больше нет сил. Я должен умереть. Но умереть, не повидав вас, не услышав шелеста вашего платья, не удержав в памяти ваши слезы,— какая страшная смерть!

Он стремительно отпрянул от Жюли, и из его кармана выпал пистолет. Маркиза смотрела на оружие взглядом, не выражавшим ни чувств, ни мысли. Лорд Гренвиль поднял пистолет и, видимо, был очень раздосадован этим происшествием, которое могло показаться преднамеренным.

— Артур,— молвила Жюли.

— Сударыня,— ответил он, потупившись,— меня привело к вам отчаяние, я хотел...

Он умолк.

— Вы хотели покончить с собой в моем доме? — воскликнула она.

— Не только с собой,— тихо ответил он.

— Так, быть может, вы хотели убить и моего мужа?

— Нет, нет! — закричал он задыхаясь.— Но успокойтесь же, мой злосчастный замысел не осуществится. Как только я вошел к вам, как только увидел вас, я сразу обрел в себе мужество, я буду молчать, я умру один.

Жюли встала и бросилась в объятия Артура, который сквозь рыдания своей любимой услышал слова, полные страсти.

— Познать счастье и умереть...— произнесла она.— Пусть так!

История всей жизни Жюли вылилась в этом возгласе, идущем из глубины ее существа, в этом голосе плоти и любви, всевластном над женщинами неверующими; Артур обнял ее и перенес на диван; движения его дышали той силой, которую придает нам нежданное счастье. Но маркиза внезапно вырвалась из объятий возлюбленного, устремила на него неподвижный взгляд, какой бывает у женщины, доведенной до отчаяния, схватила свечу, взяла его за руку и повлекла в свою спальню; она подошла к кровати, на которой спала Елена, осторожно откинула полог, заслонив ладонью свечу, чтобы свет не падал на прозрачные полусомкнутые веки девочки. Елена

спала, разметав ручки, и во сне улыбалась. Жюли взглядом показала лорду Гренвилю на ребенка. Все было сказано этим взглядом.

«Мужа мы можем бросить, даже если он любит нас. Мужчина — существо сильное, он найдет себе утешение. Мы можем презирать законы света. Но как может мать оставить ребенка!»

Все эти мысли и множество других, еще более трогательных, отразились в ее взгляде.

— Мы увезем ее с собой,— шепотом сказал Артур.— Как я буду ее любить!..

— Мама! — промолвила Елена просыпаясь.

Жюли залилась слезами. Лорд Гренвиль сел и, скрестив руки на груди, застыл в мрачном молчании.

«Мама!» Этот милый, этот наивный возглас пробудил в душе Жюли столько благородных чувств, столько непреодолимой нежности, что властный голос материнства на мгновение победил любовь. Жюли забыла о том, что она женщина, она стала только матерью. Лорд Гренвиль не мог долго противиться, слезы Жюли обезоружили его. Вдруг где-то с грохотом распахнулась дверь, и окрик: «Жюли, ты у себя?» — раскатами грома отдался в сердцах влюбленных. Вернулся маркиз. Не успела Жюли взять себя в руки, как генерал направился из своего кабинета в спальню жены. Комнаты были смежные. По счастию, Жюли сделала знак лорду Гренвилю, он бросился в умывальную, и маркиза стремительно захлопнула за ним дверь.

— Ну-с, женушка, вот и я; поохотиться не удалось. Я ложусь спать.

— Спокойной ночи,— ответила она,— я тоже собираюсь лечь. Оставьте меня.

— Сегодня вы не очень ласковы. Повинуюсь вам, маркиза.

Генерал вернулся к себе, Жюли проводила его до двери, соединяющей их комнаты, затворила ее и поспешила освободить лорда Гренвиля. Она обрела присутствие духа и подумала, что визит врача, лечившего ее, вполне естествен; она могла просто-напросто оставить лорда в гостиной, когда шла укладывать дочку; она решила сказать Артуру, чтобы он бесшумно пробрался ту-

да, но, приоткрыв дверь умывальной комнаты, она пронзительно вскрикнула: лорду Гренвилю створкой двери прищемило и раздавило пальцы.

— Что там такое случилось? — спросил ее муж.

— Ничего, ничего,— ответила она,— я укололась булавкой.

Дверь в комнату генерала вдруг снова распахнулась. Маркиза подумала, что муж пришел, тревожась о ней, и проклинала его внимание, в котором не было ничего от сердца. Она поспешила опять затворить дверь умывальной комнаты, и лорд Гренвиль не успел высвободить руку. В самом деле, генерал появился снова; но маркиза ошиблась: его привело сюда беспокойство о собственной персоне.

— Одолжи-ка мне фуляр! Болван Шарль оставил меня без головного платка. В первые дни нашего брака ты входила во все мои дела, во все мелочи с такой заботливостью, что даже надоедала. Эх, не долго длился медовый месяц ни для меня, ни для моих галстуков! Теперь я во власти слуг, и они издеваются надо мной.

— Вот вам фуляр. Вы не заходили в гостиную?

— Нет.

— Вы застали бы там лорда Гренвиля.

— Разве он в Париже?

— Как видите.

— Что ж, схожу туда... Это милейший человек...

— Да он, должно быть, уже уехал! — воскликнула Жюли.

Маркиз стоял посреди комнаты и повязывал голову фуляром, самодовольно глядясь в зеркало.

— Не знаю, куда запропастились слуги,— сказал он.— Я три раза звонил Шарлю, а его все нет. Вы, что же, обходитесь без горничной? Позвоните-ка ей, пусть мне принесут на ночь еще одно одеяло.

— Полина ушла со двора,— сухо ответила маркиза.

— В полночь? — воскликнул генерал.

— Я отпустила ее в театр.

— Странно! — заметил муж раздеваясь.— Я как будто видел ее, когда поднимался по лестнице.

— Ну, значит, она вернулась,— сказала Жюли, притворяясь, будто все это ей наскучило.

Чтобы не возбудить подозрения у мужа, она потянула за шнурок звонка, но потянула чуть-чуть.

Не все события той ночи хорошо известны; однако все они, очевидно, были так же просты, так же ужасны, как и те будничные семейные дела, которые им предшествовали. На следующий день маркиза д'Эглемон слегла.

— Что у тебя стряслось, отчего все толкуют о твоей жене? — спросил г-н де Ронкероль у г-на д'Эглемона несколько дней спустя после этой ночи, полной трагических событий.

— Послушайся меня, не женись,— ответил д'Эглемон.— Вспыхнул полог кровати, на которой спала Елена; мою жену это так потрясло, что она расхворалась, по словам врача, на целый год. Женишься на красотке — она дурнеет; женишься на девушке, пышущей здоровьем,— она чахнет; считаешь ее страстной, а она холодна; бывает, что с виду она холодна, на самом же деле пылает такими страстями, что сгубит тебя или обесчестит. Кроткая девица становится строптивой, зато уж строптивая никогда не станет кроткой; девочка, которую ты принимал за глупенькое и слабое существо, обнаружи-

вает перед тобою железную волю, дьявольский ум. Надоела мне супружеская лямка!

— А может быть, жена?

— Да нет, где уж там... Кстати, не хочешь ли пойти в церковь Фомы Аквинского на отпевание лорда Гренвиля?

— Странное развлечение! А известно ли,— прибавил Ронкероль,— от чего он умер?

— Его камердинер утверждает, будто лорд просидел на чьем-то балконе целую ночь напролет, чтобы спасти честь своей любовницы, а ведь все эти дни стоял лютый холод.

— Такое самопожертвование должно бы вызвать в нашем кругу, кругу людей бывалых, уважение; но лорд Гренвиль был молод и к тому же... англичанин. Англичане вечно чудят.

— Что там толковать,— отвечал д'Эглемон,— эдакие героические поступки зависят от женщины, которая вдохновляет на них, и уж, разумеется, не из-за моей жены погиб бедняга Гренвиль.

II

НЕВЕДОМЫЕ МУКИ

От небольшой реки Луены до Сены простирается широкая равнина, которая граничит с лесом Фонтенебло и городами Морэ, Немуром и Монтро. В этом засушливом крае лишь кое-где увидишь редкие холмы, порою среди полей попадаются рощицы—пристанище для дичи; земля в серых и желтоватых полосах, убегающих вдаль,— в этом своеобразие просторов Солони, Боса и Берри. Посреди этой равнины, между Морэ и Монтро, перед глазами путника предстает старинный замок, именуемый замком Сен-Ланж, и местность вокруг него являет взору картину, не лишенную величия и торжественности. Красивые дороги, обсаженные вязами, рвы, длинные крепостные валы, обширные сады, просторные барские дома, на сооружение которых пошли доходы от откупов, незаконные поборы и узаконенные взятки или крупные дворянские состояния, которым ныне нанес сокрушительные удары Гражданский кодекс. Если художнику или мечтателю доведется забрести на дороги с глубокими выбоинами или в заболоченные низины, затрудняющие подступы к поместью, то он думает: по чьей же прихоти возник этот поэтический замок среди необозримых пажитей, среди пустошей, покрытых мелом, мергелем и песком, в местах, где угасает радость, где все неминуемо наводит на вас тоску, где душу вечно гнетет мертвая тишина и унылые дали, красоты мрачные, но благодетельные для страдальцев, которые не ищут утешения?

Молодая женщина, славившаяся в Париже изяществом, прекрасной внешностью, умом, положением в обществе, женщина, состояние которой было под стать ее известности, в конце 1820 года поселилась в замке, к великому удивлению жителей деревеньки, расположенной в миле от Сен-Ланжа. Фермеры и крестьяне с незапамятных времен не видели владетелей замка. Поместье, приносившее значительные доходы, было брошено на попечение управляющего и охранялось старыми слугами. Поэтому-то приезд маркизы вызвал настоящий переполох. У ворот захудалого трактира, стоявшего на околице у разветвления дорог в Немур и Морэ, собралась целая

толпа, чтобы поглядеть, как проедет экипаж; он двигался довольно медленно, ибо маркиза ехала из Парижа на собственных лошадях. На переднем месте в коляске сидела горничная и держала на коленях девочку, смотревшую задумчиво и печально. Мать лежала на подушках экипажа, словно умирающая, посланная врачами в деревню. Унылое выражение лица этой молодой болезненной женщины вовсе не понравилось сельским болтунам, которые питали надежду, что с ее приездом жизнь в их захолустье станет оживленнее. Сразу было видно, что всякое оживление неприятно этой хрупкой женщине.

Вечером присяжный умник из деревни Сен-Ланж, сидя в кабачке, в той комнате, где выпивали самые уважаемые лица, объявил, что маркиза наверняка разорилась — вид у нее уж очень хмурый. Покуда маркиз отсутствует,—а в газетах пишут, что он сопровождает герцога Ангулемского в Испанию,— она прикопит в Сен-Ланже деньжат, чтобы восполнить убытки от неудачной игры на бирже. Маркиз слывет за крупного игрока. Может статься, землю распродадут мелкими участками. Тогда-то удастся поживиться. Надобно, чтобы каждый подсчитал свои сбережения, вытащил бы их из кубышек, подумал бы, чем располагает, и принял бы участие в растерзании Сен-Ланжа. Будущее это было столь заманчиво, что каждый именитый житель горел нетерпением разузнать, имеют ли слухи основания, и придумывал, как бы разведать через слуг маркизы, правда ли все это; но никто из челяди не мог объяснить, что стряслось с их госпожой и что привело ее в начале зимы в старый замок Сен-Ланж, хотя она владела и другими поместьями, которые славились прекрасными садами и живописными видами. В замок явился мэр засвидетельствовать свое почтение маркизе, однако он не был принят. Вслед за мэром пришел управляющий, но с таким же успехом.

Маркиза покидала спальню лишь ненадолго, пока там убирали, и переходила тогда в небольшую соседнюю гостиную, там же она и обедала, если слово «обедать» означает сидеть за столом, с отвращением смотреть на кушанья и съедать ровно столько, сколько надобно, чтобы не умереть с голода. Затем она тотчас же возвращалась к себе и садилась в старинное глубокое кресло, которое стояло у единственного окна, выходившего в

сад; в этом кресле она проводила время с самого утра. С дочкой своей она виделась лишь в считанные минуты, за невеселой трапезой, да и то, казалось, присутствие девочки было ей неприятно. Какие же неслыханные страдания заглушили материнские чувства у этой молодой женщины? Слуги не имели к ней доступа. Единственным человеком, который умел угождать ей, была ее горничная. Маркиза требовала, чтобы в замке царила полная тишина, и ее дочери приходилось играть вдали от нее. Самый легкий шум был ей невыносим, и человеческий голос, даже голос собственного ребенка, раздражал ее. Местных жителей сначала очень занимали ее странности; но прошло время, все предположения были исчерпаны, и в окрестных городках и в деревнях перестали думать о больной женщине.

Маркиза была предоставлена самой себе и могла хранить полное молчание среди немой тишины, царившей вокруг по ее требованию, и не было у нее предлога выходить из комнаты, обтянутой гобеленами, где умерла ее бабушка и куда она заточила себя, чтобы умереть тихо, без свидетелей, без назойливых посетителей, чтобы не видеть проявлений себялюбия, прикрытых лицемерной привязанностью, всего того, что в городах отягчает страдания умирающего. Женщине этой было двадцать шесть лет. В этом возрасте душа еще преисполнена поэтических вымыслов и порою любит тешить себя мыслью о смерти, которая представляется ей благодеянием. Но смерть только заигрывает с молодыми — то приблизится, то удалится, то покажется, то спрячется; она медлит, и они разочаровываются в ней, они не уверены, придет ли она завтра, и в конце концов вновь бросаются в вихрь жизни, навстречу горю, которое безжалостнее смерти и является, когда его не ждут. Итак, этой женщине, отрекшейся от жизни, суждено было испытать всю горечь такого промедления и в полном одиночестве, в нравственных мучениях, которых не хотела прекратить смерть, пройти ужасную школу себялюбия, которая должна была развратить ее сердце и приуготовить его к жизни светского общества.

Эта жестокая и печальная наука всегда является плодом наших первых горестей. Маркиза по-настоящему страдала в первый и, быть может, в последний раз в жиз-

ни. В самом деле, не ошибается ли тот, кто воображает, что чувства умирают и рождаются вновь? Возникнув, они живут вечно в глубине нашего сердца. Они дремлют и пробуждаются по воле случая; но они навсегда остаются в душе и меняют ее. У всякого чувства есть свой великий день, короткий или долгий,— день первой бури. Итак, горе, самое стойкое из всех наших чувств, разит лишь при первом своем взрыве, а последующие удары становятся слабее,— то ли оттого, что мы привыкаем к его вспышкам, то ли оттого, что таков закон натуры нашей, которая ради самосохранения противопоставляет этой разрушительной силе силу равноценную, но бездеятельную, черпая ее из себялюбивых расчетов. Но какое же страдание души назвать горем? Утрата родителей — несчастье, к которому сама природа подготовила людей; боль физическая преходяща и не затрагивает душу, если же она упорствует, то это уже не боль, а смерть. Если молодая женщина теряет новорожденного, супружество скоро принесет ей в дар другого. Печаль эта также преходяща. Словом, все эти беды и множество других, им подобных, являются своего рода ударами, ранениями, но ни одно из них не поражает самый корень жизни, и только, если они, по странному совпадению, следуют друг за другом, они убивают чувство, заставляющее нас искать счастье. Истинным большим горем, таким образом, можно назвать только тот смертоносный недуг, который объемлет прошлое, настоящее, будущее, не пощадив ни одной частицы жизни, навсегда калечит мысль, оставляет неизгладимый след на устах и на челе, сломив или ослабив стремление к радости, внушив отвращение ко всему сущему. И горе это, чтобы стать безмерным, чтобы до такой степени тяготить душу и тело, должно постигнуть человека в ту пору, когда все силы души и тела молоды, когда сердце полно жизни. Тогда горе ранит глубоко, тогда велико страдание и нельзя исцелиться от такого недуга без неких драматических перемен: одни воспаряют на небеса, другие же, если и пребывают по-прежнему на грешной земле, возвращаются в свет, чтобы лгать свету, чтобы играть роль; отныне им известны кулисы, за которые люди прячутся для расчетов, слез, насмешек. После такого решающего перелома для них больше нет тайн в жизни общества, и она безвоз-

вратно осуждена ими. У молодых женщин, ровесниц маркизы, причина такого первого, самого острого горя всегда одна и та же. Женщина, и особенно молодая, душа которой так же хороша, как ее внешность, всю себя безраздельно посвящает тому, к чему ее толкает сама природа, чувство и общество. Если ее судьба сложилась неудачно и если она все-таки остается жить, то испытывает жесточайшие страдания по той же причине, которая превращает первую любовь в самое прекрасное из чувств. Почему несчастье это никогда не вдохновляет ни поэта, ни художника? Но можно ли изобразить его, можно ли воспеть? Нет, страдания, которые ему сопутствуют, анализировать невозможно, нельзя передать их в красках. Да и тайну страданий этих никому не поверяют: чтобы утешить в них женщину, надобно разгадать их; ибо они, породив горестную замкнутость и возвышенность чувств, таятся в душе, подобно лавине, которая, низвергаясь в дол, сокрушит все на своем пути, прежде чем расчистить себе место.

В ту пору маркиза была во власти страданий, которые долго хранятся в тайне, потому что свет осуждает их; однако чувство лелеет их и совесть искренней женщины всегда их оправдывает. Страдания эти подобны сынам-неудачникам, более дорогим материнскому сердцу, нежели сыновья, преуспевающие в жизни. Быть может, никогда еще обстоятельства с такою силою, такою полнотой, такою беспощадностью не отягчали то ужасное крушение надежд, которое убивает все вокруг нас, как это произошло у маркизы. Человек, любимый ею, молодой, полный благородства, мольбам которого она не вняла, подчиняясь законам света, умер ради нее, ради того, чтобы спасти, как говорится в обществе, «честь женщины». Кому бы могла она сказать: «Я страдаю!» Слезы оскорбили бы ее мужа, первопричину ее гибели. Законы, нравы не допускали жалоб; подруга злорадствовала бы, мужчина сделал бы на них ставку. Нет, эта женщина, удрученная своим горем, могла выплакаться только в пустыне и там либо преодолеть свое страдание, либо стать его жертвою, умереть или убить что-то в себе, быть может, свою совесть. Несколько дней просидела она, не сводя глаз с унылого горизонта. Там, как и в ее грядущем, нечего было искать, не на что надеяться; весь он был как на ладони, и ей казалось, что она беспрерывно видит воплоще-

ние холодной тоски, терзающей ее сердце. Туманные утра, хмурое небо, нависшее сероватым низким куполом, облака, бегущие над самой землей,— все отвечало ее болезненному душевному состоянию. Сердце ее уже не сжималось; оно еще не совсем увяло, но ее здоровая, ее цветущая натура словно окаменела от долгих страданий, страданий невыносимых, ибо они были бесцельны. Она страдала из-за себя и только за себя. Страдать так — не значит ли становиться эгоистом? Жюли сознавала это, и ее мучили горькие мысли. Она вела сама с собою чистосердечный разговор и чувствовала раздвоенность. В ней словно было две женщины: одна жила рассудком — другая чувством, одна страдала — другая больше не желала страдать. Она мысленно переносилась к радостным дням детства, промелькнувшего так быстро, что она не успела и почувствовать, как была тогда счастлива; непорочные воспоминания теснились перед нею, будто подтверждая, как велико ее разочарование в браке, безупречном с точки зрения света и ужасном в действительности. К чему привело ее целомудрие, присущее молодости, к чему было сдерживать свои желания и жертвовать всем ради света? Все ее существо жаждало любви, ожидало любви, но она спрашивала себя, зачем ей теперь гармония движений, улыбка, изящество? И ей было неприятно чувствовать, что она свежа и привлекательна,— так неприятен звук, повторяемый бесцельно. Даже красота ее стала невыносима для нее, как что-то бесполезное. Ее ужасала мысль, что отныне ей не жить полной жизнью. Ведь ее внутреннее «я» потеряло способность упиваться впечатлениями, восхитительная новизна которых придает жизни столько радостного. Теперь почти все ощущения, едва успев возникнуть, будут исчезать, и многое из того, что раньше тронуло бы ее, станет ей безразличным. Вслед за детством человека следует «детство его сердца». Но возлюбленный унес в могилу ее второе детство. Желания ее были молоды, но она не ощущала уже той нетронутой душевной молодости, что придает жизни ценность и очарование. В ней навсегда сохранится то сумрачное и недоверчивое отношение к жизни, которое отучит ее воспринимать все с непосредственностью, с увлечением, ибо ничто уже не вернет ей того счастья, на которое она надеялась, которое было так прекрасно в ее мечтах. Первые настоящие слезы

затушили божественный огонь, озаряющий первые волнения сердца, она принуждена отныне вечно жалеть, что не быть ей тем, чем она могла бы стать. Уверенность в этом должна породить горькое отвращение, которое заставляет нас бежать от радости, когда она вновь предстает перед нами. Жюли рассуждала в ту пору о жизни, как рассуждает старец, сходя в могилу. Хотя она и чувствовала себя молодой, но вереница дней, прожитых без радости, тяготила ей душу; они мучили, они старили ее раньше времени. Она взывала к свету, безнадежно вопрошая, что он дал ей взамен утраченной любви, которая помогала ей жить. Она спрашивала себя, не случилось ли, что в погибшей любви ее, целомудренной и чистой, мысли ее бывали греховней, нежели поступки? Она старалась убедить себя, что она преступна, чтобы этим нанести оскорбление свету и таким образом найти утешение в том, что не было у нее с человеком, которого она сейчас оплакивает, той чудесной близости, что соединяет души и облегчает женщине горе, внушив ей уверенность, что она изведала счастье и одарила им того, кого уже не стало, но кто живет в ее сердце. Она была недовольна собою, как актриса, которой не удалась роль; скорбь владела ее нервами, сердцем, рассудком. Если над святая святых существа ее было совершено надругательство, если в ней оскорблены были добрые чувства, которые порождают в женщине готовность к самопожертвованию, то и тщеславие ее было задето. К тому же, когда она раздумывала обо всех этих вопросах, о различных побудительных причинах существования, примеры которых находим мы в жизни общественной, нравственной и физической, ее душевные силы слабели среди самых противоречивых размышлений, и она уже ни в чем не могла разобраться. Порою, когда поднимался туман, она открывала окно, ни о чем не думая, вдыхала воздух, напоенный запахом влажной земли, и долго стояла неподвижно, с безумным видом, ибо горе оглушало ее, и она не воспринимала ни красоты природы, ни прелести раздумья.

Однажды около полудня, в то мгновение, когда солнце выглянуло из-за туч, в комнату без зова вошла горничная и доложила:

— Вот уже четвертый раз приходит навестить вас

здешнии священник; а нынче он до того решительно настаивает, что мы просто и не знаем, как ему ответить.

— Вероятно, ему надобны деньги для бедных; возьмите двадцать пять луидоров и передайте ему от моего имени.

— Сударыня,— сообщила горничная, возвратившись минуту спустя,— господин кюре не взял деньги, он желает переговорить с вами.

— Ну, пусть войдет! — ответила маркиза, недовольно пожав плечами, и это сулило священнику холодный прием; она, по-видимому, решила избавиться от его докучных наставлений, коротко и откровенно объяснившись с ним.

Маркиза лишилась матери в раннем детстве, и на воспитании ее, разумеется, сказалась та свобода нравов, которая в дни революции подорвала все религиозные устои во Франции. Благочестие — добродетель женская, и одни лишь женщины умеют внушить ее друг другу, а маркиза, дитя XVIII века, впитала философские взгляды своего отца. Она не соблюдала никаких религиозных обрядов. Для нее священник был должностным лицом, и польза от него казалась ей сомнительной. При ее душевном состоянии голос религии мог только растравить ее сердечные раны; к тому же она не верила ни в сельских священников, ни в их просвещенность; она решила поставить кюре на место и мирно отделаться от него по способу богачей — благотворительностью. Священник вошел, и внешность его не опровергла предположения маркизы. Перед нею стоял толстый, невысокий человечек с большим животом, краснощекий, старый и морщинистый, который улыбался какой-то вымученной улыбкой; его лысина, начинавшаяся от крутого лба, от виска к виску изборожденного морщинами, занимала три четверти головы, и от этого лицо делалось меньше; редкие серые волосы окаймляли его затылок над самой шеей и поднимались к вискам. Однако у него была физиономия человека от природы веселого. Его мясистые губы, чуть вздернутый нос, двойной подбородок свидетельствовали о благодушном характере. Сначала маркизе бросилось в глаза только это; но при первых же словах, с которыми обратился к ней священник, ее поразил приятный тембр его голоса; она стала вглядываться в него внимательнее и заметила, что

его глаза смотрят из-под нависших седеющих бровей грустным взглядом, а его лицо в профиль было так выразительно, дышало такой величественной скорбью, что маркиза увидела в этом священнике человека.

— Маркиза, богатые люди принадлежат нам лишь тогда, когда их постигает горе; а горе замужней женщины, молодой, прекрасной, богатой, не потерявшей ни детей, ни родственников, объясняется и вызывается печалями, силу которых может смягчить лишь одна религия. Душа ваша в опасности, сударыня. Не буду говорить вам сейчас о жизни иной, которая ожидает нас за гробом. Нет, я не в исповедальне. Но не должен ли я осветить вам ваше будущее в обществе? Извините старику назойливость, ибо цель ее — ваше счастье.

— Счастье не для меня, сударь: скоро я буду, как вы говорите, принадлежать вам, и уже навеки.

— Нет, сударыня, вы не умрете от горя, хотя оно угнетает вас и чувствуется во всем вашем облике. Если бы вам суждено было умереть от него, вас не было бы в Сен-Ланже. Нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды. Я знавал еще более нестерпимые, еще более ужасные терзания души, которые, однако, не кончались смертью.

Маркиза недоверчиво покачала головой.

— Сударыня, я знаю человека, горе которого было так велико, что если вы услышите о нем, ваши страдания покажутся вам легкими по сравнению с теми, что пережил он...

Долгое ли одиночество стало тяготить Жюли, захотелось ли ей найти отзывчивую душу и излить перед нею свое наболевшее сердце, но она с таким выжидательным видом посмотрела на священника, что тот сразу понял ее и сказал:

— Сударыня, человек этот был отцом, от многочисленной семьи у него осталось лишь трое сыновей. Сначала он потерял родителей, которых нежно любил, а вскоре дочь и жену. Он жил один в провинциальной глуши, в небольшом поместье, где был так счастлив прежде. Трое сыновей его служили в армии, и каждый из них имел чин за выслугу лет. Во время «Ста дней» старший перевелся в гвардию и стал полковником; средний был командиром артиллерийского батальона, а младший командовал дра-

гунским эскадроном. Сударыня, все трое любили отца своего, так же как и он любил их. Если вы знаете, как беспечны молодые люди, как увлечены они своими страстями... до такой степени увлечены, что у них не хватает времени проявить привязанность к семье, то вы поймете по одному лишь примеру, сколь велика была их любовь к несчастному одинокому старику, жившему лишь ими и для них; не проходило недели, чтобы он не получал письма от одного из сыновей. Правда, и он никогда не проявлял по отношению к ним ни слабости душевной, что подрывает уважение детей; ни несправедливой суровости, что их уязвляет; ни скупости и себялюбия, что их отдаляет. Нет, он был больше чем отец, он стал их братом, другом. И вот он едет проститься с ними в Париж, так как их отправляют в Бельгию; ему хочется удостовериться, хороши ли у них лошади, не нуждаются ли в чем-нибудь его сыновья. Он провожает их и возвращается домой. Начинается война, он получает письма из Флерюса, из Линьи, все идет хорошо. Но вот был дан бой под Ватерлоо, последствия его вам известны. Вся Франция оделась в траур. Все семьи в глубокой тревоге. А он, сами понимаете, сударыня, все ждал; он не знал ни отдыха, ни покоя; он читал газеты, ежедневно сам ходил на почту. Однажды под вечер ему сообщают, что явился слуга его сына, полковника. Старик видит, что слуга сидит верхом на лошади своего хозяина; спрашивать было не о чем: полковник был убит — его разорвало в бою ядром. Поздно вечером приходит пешком слуга младшего сына: младший сын был убит на второй день сражения. Наконец, в полночь приходит какой-то артиллерист и сообщает о смерти среднего сына, который был последним упованием отца в тот короткий вечер. Да, сударыня, все они погибли!

Священник помолчал и, преодолев волнение, тихо добавил:

— А отец жив, сударыня! Он понял, что раз господь бог оставляет его на земле, значит, долг его страдать, и он страдает; но он устремился в лоно церкви. Кем же он стал?

Маркиза подняла глаза, взглянула в лицо старика, освещенное кроткой печалью, и услышала слова, тронувшие ее до слез:

— Священником, сударыня; он был посвящен в священники слезами, прежде чем посвятили его перед алтарем.

В комнате воцарилось молчание. Маркиза и кюре смотрели в окно на мглистый горизонт, словно могли там увидеть тех, кого уже не было среди живых.

— Не городским священником, а простым сельским,— проговорил старик.

— В Сен-Ланже? — спросила Жюли, отирая слезы.

— Да, сударыня.

Никогда еще скорбь не казалась Жюли такой величественной; слова «да, сударыня» запали ей в сердце и наполнили его безысходной тоской. Этот голос, тихо звучавший в ее ушах, переворачивал всю душу. Да, то поистине был голос самого несчастья, голос низкий и строгий, будто струивший какие-то пронизывающие токи.

— Сударь,— проговорила почти с благоговением маркиза,— а ежели я не умру, что станет со мною?

— Ведь у вас есть ребенок, сударыня.

— Есть,— сказала она холодно.

Священник бросил на нее взгляд, подобный тому, какой кидает врач на опасно больного, и решил приложить все усилия, чтобы отстоять ее у духа зла, уже простершего над нею свою руку.

— Вы сами убедились, сударыня, что мы должны жить с нашими печалями и что одна лишь религия утоляет их. Позвольте мне прийти к вам еще раз. Я хочу, чтобы до вас дошел голос человека, который сочувствует всякому горю и в котором, не правда ли, нет ничего страшного?

— Хорошо, сударь, приходите. Благодарю вас за то, что вы подумали обо мне.

— Итак, сударыня, до скорого свидания.

Посещение это, можно сказать, смягчило душу маркизы, нравственным силам которой наступал предел в горе и в одиночестве. Старик словно влил в ее сердце целительный бальзам; действие его речей, полных веры, было спасительно. Кроме того, она испытала ту радость, которую чувствует узник, когда, познав всю глубину одиночества и тяжесть цепей, он вдруг слышит, что в стену стучится сосед, и, отвечая ему стуком, делится с ним

мыслями. Появился нечаянный поверенный. Но скоро она вновь впала в горькое раздумье и решила, как узник, что сотоварищ по несчастью не облегчит ни цепей ее, ни будущего. Священнику не хотелось при первой же встрече отпугнуть Жюли, поглощенную своей чисто эгоистической печалью; он надеялся, что в следующий раз ему удастся помочь ей проникнуться религиозным чувством. Спустя день он пришел вновь, и прием, оказанный ему маркизой, доказал, что посещение его было желательно.

— Итак, маркиза,— начал старик,— приходилось ли вам задумываться о том, как бесчисленны человеческие страдания? Обращали ли вы взор свой к небесам? Видели ли вы там все эти необъятные миры, которые, умаляя значение наше, подавляя нашу суетность, тем самым уменьшают и наши горести?

— Нет, сударь,— ответила она.— Законы общества гнетут мою душу и терзают ее слишком мучительно, чтобы я могла воспарить на небеса. Но, пожалуй, не так жестоки законы, как обычаи, принятые в свете. О, этот свет!

— Наш долг, сударыня, повиноваться и тем и другим: закон — это слово, а обычаи — действия общества.

— Повиноваться обществу? — возразила маркиза, не скрывая своего отвращения.— Ах, сударь, все наши беды проистекают оттуда. Бог не создал ни одного закона, который вел бы к несчастью; а люди собрались и исказили его творения. Мы, женщины, больше обижены цивилизацией, нежели природой. Природа подвергает нас физическим страданиям, которые вы не облегчили, цивилизация же развила в нас чувство, которое вы все время обманываете. Природа уничтожает слабых, а вы приговариваете их к жизни, иначе говоря, к вечному несчастью. Только мы, женщины, на себе испытываем, как тягостен брак — установление, на котором основано в наше время общество: мужчины свободны, мы же — рабыни долга. Мы должны отдавать вам всю свою жизнь, вы же нам отдаете лишь считанные минуты. И, наконец, мужчина выбирает, а мы слепо подчиняемся. О сударь, вам-то я все могу сказать. Знаете ли, мне представляется, что брак в наши дни — это узаконенная проституция. Вот он, источник моих мучений. Но лишь я одна из всех

этих обездоленных, скованных роковыми узами, не смею жаловаться на свою судьбу! Я виновница своего несчастья, я сама стремилась к этому браку.

Она умолкла и залилась слезами.

— Среди страшных невзгод, среди океана скорби,— продолжала она,— я обрела островок и ступила на него; там я могла страдать на приволье; все унес ураган. И вот я снова одинока, нет у меня опоры, нет силы бороться с бурей.

— У нас всегда есть силы, когда с нами бог,— сказал священник.— И если вам в нашей земной юдоли некого любить, то разве у вас нет никаких обязанностей?

— Все только обязанности! — воскликнула она с каким-то раздражением.— Но где найду я чувства, которые помогают людям выполнить их обязанности? Сударь, ничто не делается из ничего, и ничто не делается для ничего,— вот один из самых правильных законов природы, как физических, так и нравственных. Вы хотите, чтобы деревья давали листву без соков, которые ее питают? Душу тоже питают жизненные соки! Мой источник жизни иссяк.

— Я не буду вам говорить о религиозном чувстве, порождающем смирение,— произнес священник,— но, сударыня, разве материнство не...

— Остановитесь, сударь! — воскликнула маркиза.— С вами я буду откровенна. Увы! Отныне мне ни с кем нельзя быть откровенной, я вынуждена лгать; свет вечно требует притворства и грозит позором, если мы не подчинимся условностям. Существует два материнства, сударь. Раньше я и не подозревала этого. Теперь я это познала. Я мать лишь наполовину, и мне лучше было бы совсем не быть ею. Елена не от *него!* О, не содрогайтесь! Сен-Ланж — бездна, в которой потонуло немало ложных чувств, откуда вырвалось мрачное пламя, куда рухнули хрупкие сооружения, созданные противоестественными законами. У меня есть ребенок — этого достаточно; я мать — так хочет закон. Но у вас, сударь, чуткая и добрая душа, вы-то, быть может, поймете стенания бедной женщины, не допустившей, чтобы в ее сердце проникли искусственные чувства. Бог будет мне судьей, но я не думаю, что грешу против его законов, поддаваясь чувству любви, которое заложено им в моей душе, и вот

к чему я пришла; ребенок сочетает в себе, сударь, образы двух существ, является плодом двух чувств, соединившихся свободно. Если вы не привязаны к нему всем существом своим, всеми фибрами своего сердца, если не напоминает он радостей любви, те места, то время, когда два существа эти были счастливы, и слова их, полные душевного единения, и их сладостные мечтания, тогда ребенок этот — создание несовершенное. Да, ребенок должен стать для них восхитительной миниатюрой, в которой отражается поэтическая летопись их сокровенной жизни, стать для них источником вдохновения, воплотить в себе все их прошедшее, все их будущее. Бедная маленькая Елена — дочь моего мужа, дитя долга и случая; она пробуждает во мне лишь инстинкт — непреодолимый инстинкт, заставляющий нас защищать рожденное нами существо, плоть от плоти нашей. Я безупречна с точки зрения общества. Ведь я пожертвовала ради нее своею жизнью и своим счастьем. Ее слезы трогают меня до глубины души; если бы она стала тонуть, я бы бросилась спасать ее. Но ей нет места в моем сердце. О! любовь породила во мне мечту о всемогущей и цельной материнской любви, в сонном забытьи я баюкала ребенка, рожденного мечтою еще до его зачатия, словом, тот нежный цветок, который расцветает в душе прежде, чем появляется на свет. Я для Елены то, чем в мире животном всякая мать должна быть для своего потомства. Когда Елена не будет более нуждаться во мне, все это кончится: исчезнет причина, исчезнут и следствия. Женщина наделена замечательным даром всю жизнь окружать своего ребенка материнской любовью, и не следует ли это божественное постоянство чувств приписать тому свету, что озарял его духовное зачатие? Если мать не вкладывает душу свою в новорожденного, то, значит, материнская любовь недолго будет владеть ее сердцем, как недолго владеет она животными. Я чувствую, это истина: дочка моя растет, а сердце мое все больше и больше отчуждается от нее. Жертвы, которые я принесла ради дочери, уже отторгнули меня от нее, а вот для другого ребенка нежность моя, я знаю это, была бы безгранична; ради него ничто не было бы жертвой, все приносило бы мне блаженство. Рассудок мой, благочестие — все бессильно против этих чувств. Разве жен-

щина, которая не чувствует себя ни матерью, ни супругой и которая, себе на горе, постигла, как бесконечно прекрасна любовь, как беспредельно радостно материнство, виновна в том, что хочет умереть? Что станется с нею? Я-то вам скажу, что испытывает она! По сто раз в день, по сто раз в ночь голову, сердце, тело мое пронизывает дрожь, стоит лишь воспоминанию, побороть которое нет сил, воскресить передо мною картины счастливого прошлого, быть может, даже более счастливого, нежели было оно на самом деле. Видения эти терзают душу, притупляют все мои чувства, и я повторяю про себя: «Какая была бы жизнь у меня, если бы!..»

Она закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вот что таится в моем сердце! — продолжала она.— Ради *его* ребенка я пошла бы на самые страшные муки! Господь, умирая, принял на себя все грехи земные, и он простит мне эту мысль, которая сводит меня с ума; но свет, я знаю, неумолим, для него мои слова — богохульство: я поношу все его законы. Ах, как бы я хотела вступить в единоборство со светским обществом, чтобы обновить законы, обычаи, чтобы разрушить их! Ведь они-то и нанесли удар моим помыслам, всем струнам души моей, всем чувствам, всем моим желаниям, всем надеждам в будущем, в настоящем, в прошедшем! Мрачны дни мои, мысль моя — меч, сердце мое — рана, ребенок мой — лишь отрицание. Да, когда Елена говорит со мною, мне хочется, чтобы у нее был иной голос; когда она смотрит на меня, мне хочется, чтобы у нее были иные глаза. Все в ней напоминает мне о том, что должно было быть и чего нет. Мне тяжело смотреть на нее! Я ей улыбаюсь, чтобы возместить чувства, которые краду у нее. Как я страдаю! О сударь, мои страдания так мучительны, что я не в силах жить. И я буду слыть женщиной добродетельной! И я не совершила никаких проступков! И меня будут уважать! Я поборола невольную любовь, которой не имела права уступать; я сохранила супружескую верность, но уберегла ли я свое сердце? Нет,— продолжала она, поднося руку к груди,— оно всегда принадлежало лишь одному существу. И моя дочь чувствует это безошибочно. Во взгляде, голосе, в движении матери есть такая сила, которая воздействует на душу ребенка, а когда я смотрю на мою бедную девочку, когда

я говорю с нею или когда беру ее на руки, она не ощущает ни ласки в моих объятиях, ни нежности в голосе, ни теплоты в моем взгляде. Она укоризненно смотрит на меня, и я не могу этого вынести. Порою я дрожу при мысли, что предстану перед нею, как перед судьей, и она вынесет мне приговор, даже не выслушав меня. Не допусти, господи, ненависти между нами! Лучше, боже великий, пошли мне смерть, помоги мне уснуть вечным сном в Сен-Ланже! Я хочу перенестись в тот мир, где я встречу свою вторую душу, где я стану настоящей матерью. О, извините, сударь, я теряю рассудок. Слова эти переполняли меня, я излила свою душу. Ах, вы тоже плачете! Вы не будете презирать меня!.. Елена, Елена, дочка! Поди сюда! — крикнула она с каким-то отчаянием, услышав шаги дочери, возвращавшейся с прогулки.

Девочка вбежала в комнату с веселым криком и смехом; она принесла бабочку, которую сама поймала, но, увидев, что лицо матери залито слезами, она затихла и подставила лоб для поцелуя.

— Она вырастет красавицей,— заметил священник.

— Она вся в отца,— ответила маркиза, с жаром целуя дочь, словно отдавая долг или стремясь заглушить угрызения совести.

— Как у вас горят щеки, маменька!

— Ступай, оставь нас, мой ангел,— ответила маркиза.

Девочка ушла без сожаления, даже не взглянув на мать, довольная, что можно убежать подальше от унылого ее лица, и уже понимая, что есть нечто враждебное ей в чувстве, отразившемся сейчас на нем. Улыбка — это достояние, язык, выражение материнской любви. А маркиза не могла улыбаться. Она покраснела, взглянув на священника: она надеялась проявить материнские чувства, но ни она, ни ее ребенок не сумели солгать! В самом деле, искренние материнские поцелуи напоены божественным нектаром, придающим им нечто задушевное, какую-то нежную теплоту, которой полнится сердце. Поцелуи же, которые не умиляют душу, сухи и холодны. Священник почувствовал, как велико это различие: он мог измерить пропасть, которая зияет между материнством по плоти и материнством по сердцу. Поэтому, бросив пытливый взгляд на маркизу, он произнес:

— Вы правы, сударыня! Для вас было бы лучше, если бы вы умерли...

— Ах, я вижу, вы понимаете, как я страдаю,— ответила она,— раз вы, христианин и священник, угадали, на какой роковой шаг все это толкает меня, и одобрили его. Да, я хотела покончить с собою, но мне не хватило мужества и я не выполнила свое намерение. Тело мое было слабо, когда душа была сильна, а когда моя рука больше не дрожала, душа начинала колебаться. Тайна этой борьбы и этих чередований для меня непостижима. Я, очевидно, слабая женщина, у меня нет упорства и воли, я сильна лишь своею любовью. Я презираю себя! По вечерам, когда слуги ложились спать, я храбро шла к пруду; но стоило мне подойти к берегу, как мою жалкую плоть охватывал страх смерти. Я исповедуюсь вам в своих слабостях. Когда я снова ложилась в постель, мне становилось стыдно, я опять делалась храброй. Вот в такую-то минуту я и приняла большую дозу опиума, но только заболела, а не умерла. Я думала, что осушила весь пузырек, а оказывается, не выпила и половины.

— Вы погибли, сударыня,— строго произнес священник, и голос его задрожал от слез.— Вы вернетесь в свет и будете лгать свету, вы станете искать и найдете то, что считаете воздаянием за свои муки, но придет день, и вы понесете кару за ваши утехи...

— Да ужели я отдам,— воскликнула она,— какому-нибудь соблазнителю, которому вздумается разыграть влюбленного, последние, самые ценные сокровища моего сердца, ужели испорчу свою жизнь ради мига сомнительного счастья? Нет, душу мою испепелит чистый огонь. Мужчины наделены инстинктами, свойственными их полу, и такого, кто обладает душою, отвечающей требованиям нашей натуры, кто затронет все струны нашего сердца, звучащие сладостной гармонией лишь под наплывом чувств,— такого человека не встретить дважды в жизни. Я знаю, мое будущее ужасно: женщина без любви — ничто, красота без наслаждения — ничто; но разве свет не осудил бы моего счастья, если б оно и пришло ко мне! Мой долг перед дочерью — быть достойной матерью. Ах, я в железных тисках, из них мне не вырваться, не покрыв себя позором! Семейные обязанности, которые не будут ничем вознаграждены, мне скоро прису-

чат, я стану проклинать жизнь; зато у моей дочки будет отменное подобие матери. Я одарю ее сокровищами добродетели взамен сокровищ любви, которые я отняла у нее. Я даже не хочу жить во имя того, чтобы испытать радость, которую дает матерям счастье детей. В счастье я не верю. Какая судьба уготована Елене? Разумеется, такая же, как мне. Что может сделать мать, чтобы человек, за которого она отдает свою дочь, стал бы ей супругом по сердцу? Вы клеймите презрением тех несчастных женщин, которые продают себя за несколько экю первому встречному: голод и нужда оправдывают эти мимолетные союзы. Общество же допускает и одобряет еще более ужасный для невинной девушки, необдуманный союз с мужчиною, с которым она не знакома и трех месяцев; она продана на всю жизнь. Правда, цена дается немалая! Если бы взамен иного вознаграждения за все ее муки вы хотя бы уважали ее; но нет, свет злословит о самых добродетельных женщинах! Такова судьба наша; у нас два пути: один — проституция явная и позор; другой — тайная и горе. А несчастные бесприданницы! Они сходят с ума, они умирают; и никто их не жалеет! Красота, добродетель не ценятся на человеческом рынке, и вы называете обществом это логово себялюбивых страстей! Лишите женщин прав на наследство, тогда вы будете по крайней мере следовать законам природы, выбирая спутницу жизни по влечению сердца.

— Сударыня, слова ваши доказывают мне, что вам чужды и семейный дух и дух религиозный. Поэтому-то вы, не колеблясь, сделаете выбор между эгоизмом общества, уязвляющим вас, и личным эгоизмом, который будет звать вас к наслаждениям...

— Да существует ли, сударь, семья! Я отрицаю семью в том обществе, которое после смерти отца или матери производит раздел имущества и говорит каждому: иди своей дорогой. Семья — это объединение временное и случайное, которое сразу же расторгается смертью. Законы наши разрушили старинные роды, наследства, постоянство примеров и традиций. Вокруг я вижу одни лишь обломки.

— Сударыня, вы обратитесь к господу богу лишь тогда, когда кара его постигнет вас, и я желаю вам, чтобы у вас было время смириться. Вы ищете утешения, глядя

на землю, вместо того чтобы возвести взор к небесам. Лжемудрствование и себялюбивые стремления завладели вашим сердцем; вы глухи к голосу религии, как все дети нашего безбожного века. Мирские радости порождают одни лишь страдания. Печали ваши будут просто-напросто видоизменяться, вот и все.

— Я опровергну ваше пророчество,— проговорила она с горькой усмешкой,— я останусь верна тому, кто умер ради меня.

— Скорбь живет вечно лишь в набожных душах,— ответил он.

И священник почтительно опустил глаза, чтобы скрыть сомнение, которое могло отразиться в его взгляде. Жалобы маркизы опечалили его. Он распознавал человеческое «я» во всех его проявлениях и не надеялся тронуть это сердце, ибо в горе оно зачерствело, а не смягчилось. Зерно божественного сеятеля не могло дать всходов, громкие выкрики эгоизма заглушали проникновенный голос. Однако священник проявил апостольское упорство и часто навещал Жюли; им руководила надежда обратить к богу эту благородную и гордую женщину; но он разуверился в этом, заметив, что маркизе приятны их беседы лишь потому, что она может говорить с ним о том, кого уже нет в живых. Он решил не унижать свой сан, снисходительно выслушивая рассказ о ее любви; беседы на эту тему прекратились и постепенно перешли на общие места.

Настала весна. Маркиза д'Эглемон, томясь тоской, решила развлечься и от безделья занялась своим поместьем; скуки ради она распорядилась, чтобы произвели кое-какие работы. В октябре она покинула замок, где посвежела и похорошела в своей праздной скорби, которая сначала была неудержима, словно полет диска, брошенного могучим броском, затем перешла в тихую печаль,— так все тише и тише делаются колебания летящего диска, и он наконец останавливается. Печаль — это вереница таких же колеблющихся движений души: вначале они граничат с отчаянием, а к концу — с удовольствием; в молодости она — что утренние сумерки, в старости — что вечерние.

Когда экипаж маркизы проезжал по деревне, встретился священник, возвращавшийся домой из церкви; от-

вечая на его поклон, она опустила глаза и отвернулась, чтобы не видеть его. Священник был прав в своем отношении к этой злосчастной Артемиде Эфесской.

III

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Молодой человек, подававший большие надежды, представитель одного из тех знатных родов, отмеченных историей, которые даже вопреки законам всегда будут тесно связаны со славой Франции, был на балу у г-жи Фирмиани. Дама эта вручила ему рекомендательные письма к двум — трем своим приятельницам, жившим в Неаполе. Шарль де Ванденес — так звался молодой человек — хотел поблагодарить ее перед отъездом. Ванденес блистательно выполнил несколько дипломатических поручений, его недавно назначили помощником одного из наших полномочных министров на конгрессе в Лайбахе, и он хотел воспользоваться путешествием, чтобы побывать в Италии. Бал этот для него был, так сказать, прощанием с парижскими развлечениями, со стремительной столичной жизнью, с вихрем идей и увеселений, со всем, что так часто осуждается, но чему так приятно предаваться. Шарль де Ванденес привык за три года приветствовать европейские столицы и покидать их по воле своей дипломатической карьеры, и, расставаясь с Парижем, он почти ни о чем не сожалел. Женщины уже не производили на него впечатления,— оттого ли, что, по его мнению, истинная страсть должна занять слишком большое место в жизни политического деятеля, или оттого, что волокитство — это времяпрепровождение пошляков — казалось ему слишком пустым занятием для человека с сильной душою. Все мы притязаем на душевную силу. Ни один француз, пусть самый заурядный, не согласится прослыть всего лишь остроумцем. Итак, Шарль, несмотря на молодость — ему недавно минуло тридцать лет,— приучил себя к философскому взгляду на вещи и жил рассудком, заранее обдумывая последствия своих поступков и пути к достижению цели, тогда как люди его возраста обычно живут чувствами, удовольствиями и иллюзиями. Он прятал пылкость и вос-

торженность, столь своиственные молодости, в таиниках своей души, благородной от рождения. Шарль Ванденес старался превратиться в человека бесстрастного и расчетливого и все свои способности употребить на то, чтобы довести до совершенства свои манеры, тонкость поведения, искусство обольщать; это поистине задача честолюбца; такую жалкую роль играют люди, желающие добиться того, что ныне называется *высоким положением.* Он в последний раз окидывал взглядом гостиные, где танцы были в разгаре. Ему, без сомнения, хотелось, покинув бал, унести с собою память о нем — так в театре зритель не уйдет из ложи, не посмотрев заключительной сцены оперы. К тому же г-н де Ванденес по вполне понятной прихоти изучал смеющиеся лица и великолепное парижское празднество, на котором царило чисто французское оживление, мысленно сопоставляя все это с новыми лицами, с новыми живописными картинами, ожидавшими его в Неаполе, где он предполагал провести несколько дней, перед тем как отправиться к месту назначения. Он как будто сравнивал Францию, такую изменчивую и уже изученную им, со страною, обычаи и пейзажи которой были известны ему лишь по противоречивым рассказам или по книгам, в большинстве случаев прескверно написанным. Кое-какие мысли, довольно поэтичные, хотя и ставшие теперь весьма избитыми, пришли ему в голову и ответили, быть может безотчетно, сокровенным желаниям его сердца, скорее требовательного, чем пресыщенного, скорее праздного, чем увядшего.

«Вот они,— размышлял он,— самые изысканные, самые богатые, самые знатные парижанки. Здесь нынешние знаменитости, известнейшие ораторы, представители известнейших аристократических родов, известнейшие литераторы; тут и художники, тут и власть имущие. А меж тем вокруг меня одни лишь мелкие интриги, мертворожденные страсти, улыбки, которые ничего не выражают, беспричинное презрение, потухшие взгляды и блеск остроумия; но остроумие это растрачивается впустую. Все эти белолицые и румяные красавицы ищут развлечений, а не радости. Нет искренности в чувствах. Если вам нравятся только мишура, украшения из страусовых перьев, легкий флер, прелестные туалеты, изящные дамы, если вы поверхностно скользите по жиз-

ни, то это ваш мир. Удовольствуйтесь пустой болтовней, обворожительными улыбками и чувства в сердцах не ищите. А мне приелись все эти пошлые интриги, которые увенчиваются бракосочетанием, должностью супрефекта или казначея, а ежели дело дойдет до любви,— тайными сделками, до такой степени свет стыдится даже подобия страсти. Ни на одном из этих весьма выразительных лиц не увидишь ничего, что возвещало бы душу, способную всецело предаться идее или терзаться угрызениями совести. И сожаление и несчастье стыдливо прикрываются здесь шутками. Не вижу я ни одной женщины, которую мне хотелось бы покорить, которая может увлечь в бездну. Да и найдешь ли сильную страсть в Париже? Кинжал тут диковинка, и висит он в красивых ножнах, на золоченом гвозде. Женщины, помыслы, чувства людей — все здесь заурядно. Страстей больше не существует, ибо исчезло своеобразие. Чины, ум, состояние — все сравнялось, и все мы вырядились в черные фраки, словно облеклись в траур по умершей Франции. Мы не любим тех, кто подобен нам. Между любовником и любовницей должно существовать несходство, которое надобно сгладить, расстояние, которое надобно преодолеть. Эта плетительная сторона любви исчезла в 1789 году. Пресыщенность, скучные наши нравы порождены политическим строем. В Италии, по крайней мере, все самобытно. Женщины там все еще хищные создания, опасные сирены, они безрассудны и руководствуются не логикой, а вкусами, вожделениями; их надо опасаться, как опасаются тигров...»

Подошла г-жа Фирмиани и прервала этот монолог, а с ним и тысячу противоречивых мыслей, недоконченных, смутных, которых не передать. Достоинство мечтаний именно в их расплывчатости; они своего рода умственный туман.

— Я хочу,— сказала она, беря его под руку,— представить вас особе, которая много о вас слышала и жаждет познакомиться с вами.

Она провела его в соседнюю гостиную и, улыбаясь, указала жестом и взглядом истинной парижанки на даму, сидевшую у камина.

— Кто это? — с живостью спросил граф де Ванденес.

— Женщина, о которой вы, разумеется, не раз гово-

рили, хваля ее или злословя о ней, женщина, живущая в уединении, женщина-загадка.

— Будьте великодушны, умоляю вас, скажите, кто она?

— Маркиза д'Эглемон.

— Я поучусь у нее: она сделала из своего весьма недалекого мужа — пэра Франции, из ничтожного человека — политическую фигуру. Но скажите, в самом ли деле из-за нее умер лорд Гренвиль, как уверяют некоторые?

— Возможно. Была ли, нет ли трагедия, но бедняжка очень изменилась. Она еще не выезжала в свет. Хранить четыре года постоянство в Париже что-нибудь да значит! Здесь она только потому, что...

Госпожа Фирмиани умолкла; потом добавила с лукавым видом:

— Я забыла, что говорить об этом нельзя. Ступайте же, побеседуйте с ней сами.

Шарль с минуту постоял неподвижно, прислонившись к косяку двери и не спуская внимательного взгляда с женщины, ставшей знаменитостью, хотя никто и не мог бы объяснить, в чем же причина ее славы. В свете встречаешь немало таких презабавных несообразностей. В этом отношении репутация г-жи д'Эглемон не отличалась от установившейся репутации иных людей, вечно занятых никому неведомым делом: статистиков, что славятся своими глубокими познаниями, ибо все верят в их вычисления, которые они, впрочем, предпочитают не предавать гласности; политических деятелей, что носятся со своей единственной статьей, напечатанной в газете; писателей и художников, чьи творения никогда не увидят света; ученых в глазах неучей: так Сганарель слыл латинистом среди тех, кто не знал латыни; людей, которым все приписывают талант в какой-нибудь определенной области — то ли способность стать во главе целого художественного направления, то ли выполнить весьма важное, ответственное дело. Многозначительное слово «специалист» словно нарочно создано для такой вот разновидности безмозглых моллюсков от политики и литературы. Шарль не мог отвести глаз от маркизы д'Эглемон и был недоволен этим: он досадовал, что женщина так сильно затронула его любопытство; впрочем, весь

ее облик опровергал те размышления, которым только что предавался молодой дипломат, глядя на танцующих.

Маркиза — в ту пору ей было тридцать лет — была хороша собой, хотя хрупка и уж очень изнежена. Удивительным обаянием дышало ее лицо, спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Ее горящий, но словно затуманенный какою-то неотвязной думою взгляд говорил о кипучей внутренней жизни и полнейшей покорности судьбе. Веки ее были почти все время смиренно опущены и поднимались редко. Если она и бросала взгляды вокруг, то они были печальны, и вы сказали бы, что она сберегает огонь глаз для каких-то своих сокровенных созерцаний. Потому-то каждый мужчина, наделенный недюжинным умом, испытывал необъяснимое влечение к этой кроткой и молчаливой женщине. Если рассудок и пытался разгадать, отчего она постоянно оказывает внутреннее противодействие настоящему во имя прошедшего, обществу во имя уединения, то душа старалась проникнуть в тайны этого сердца, видимо, гордого своими страданиями. Ни одна черта ее не противоречила тем мыслям, которые она внушала с первого взгляда. Лицо ее, как у многих женщин с очень длинными волосами, было бледно, просто бе́лоснежно. У нее была необыкновенно тонкая кожа, а это почти безошибочный признак душевной чувствительности, что подтверждалось всем ее обликом, тою изумительной законченностью черт, которою китайские художники наделяют свои причудливые творения. Ее шея, пожалуй, была слишком длинна, зато нет ничего грациознее такой шеи, в ее движениях есть отдаленное сходство с извивами змеи, чарующими глаз. Если бы не существовало ни одного признака из того множества признаков, по которым наблюдатель определяет самые скрытные характеры, то, чтобы судить о какой-нибудь женщине, было бы достаточно внимательно изучить повороты ее головы, изгибы шеи, такие разнообразные, такие выразительные. Наряд г-жи д'Эглемон сочетался с ее душевным состоянием. Густые волосы, заплетенные в косы, были уложены вокруг головы высокою короной, и в них не было ни единой драгоценности, словно она навеки простилась с роскошью. Ее нельзя было заподо-

зрить в мелких уловках кокетства, которые так портят иных женщин. Однако, как ни был прост ее корсаж, он не совсем скрывал пленительные линии ее стана. Вся прелесть ее вечернего платья заключалась в удивительно изящном покрое, и если позволено искать «идею» в том, как ниспадает ткань, то можно сказать, что множество строгих складок ее платья придавало ей особое благородство. Впрочем, и ей, как всем женщинам, была присуща извечная слабость — тщательная забота о красе рук и ног; но если она и выставляла их напоказ с некоторым удовольствием, то даже самой коварной сопернице было трудно назвать ее жесты неестественными, так, казалось, были они безыскусны или усвоены с детских лет. Грациозная небрежность искупала этот намек на кокетство. Следует отметить всю совокупность мелочей, все эти черточки, делающие женщину некрасивой или хорошенькой, привлекательной или отталкивающей, в особенности если в них чувствуется душа, которая всему придает гармонию, как это было у г-жи д'Эглемон. Ее манеры удивительно хорошо сочетались со всем складом ее лица, с ее осанкой. Только в известном возрасте иные утонченные женщины умеют сделать красноречивым свой облик. Но что же открывает тридцатилетней женщине секрет выразительной внешности: радость или печаль, счастье или несчастье? Это живая загадка, и всякий истолкует ее так, как подскажут ему желания, надежды, убеждения. Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура, и то, как соединяла она кончики пальцев, словно играя, и линия ее шеи, и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан, изящный и словно надломленный, свободная и небрежная поза, усталые движения — все говорило о том, что эту женщину ничто в жизни не радует, что ей неведомо блаженство любви, но что она мечтала о нем и что она сгибается под бременем воспоминаний, что женщина эта давным-давно разуверилась в будущем или в себе самой, что это женщина праздная, что жизнь ее ничем не заполнена. Шарль де Ванденес залюбовался этой обворожительной картиной, «сделанной», как он решил, искуснее, нежели «сделали бы ее» женщины заурядные. Он знал д'Эглемона. При первом же взгляде на эту женщину, которую он раньше не видел, молодой дипло-

мат понял, как велико несоответствие, диспропорция — употребим такое сухое слово — между супругами, что вряд ли маркиза любит мужа. Однако г-жа д'Эглемон вела себя безупречно, и добродетель придавала еще больше ценности тем тайнам, которые, как все предполагали, она хранила в душе. Наконец Ванденес очнулся от изумления и стал придумывать, как бы вступить в разговор с г-жой д'Эглемон, решив — так подсказала ему дипломатическая, весьма обычная хитрость — привести ее в замешательство дерзостью, чтобы посмотреть, как она отнесется к его нелепому поведению.

— Сударыня,— начал он, усаживаясь подле нее,— я счастлив, ибо одна особа проговорилась, что я отмечен вами. Не знаю, право, чем я заслужил это! Весьма признателен вам, мне еще никогда не случалось быть предметом такого благоволения. Вы виновница одного из моих новых недостатков: отныне я уже не буду скромен...

— И напрасно, сударь,— смеясь, подхватила Жюли,— предоставьте самомнение тем, кому больше нечем отличиться,

Так между маркизой д'Эглемон и молодым человеком завязалась беседа, и, как водится, они мгновенно перебрали множество всяческих вопросов: живопись, музыку, литературу, политику, людей, события и разные разности. Затем разговор незаметно перешел к обычной, неизменной теме болтовни французов да и чужеземцев — к любви, чувствам, женщинам.

— Мы — рабыни.

— Вы — королевы.

Более или менее остроумные фразы, произнесенные Шарлем и маркизой, сводились к весьма простой формуле всех нынешних и будущих разговоров по этому поводу. Ведь две эти фразы всегда означают: «Полюбите меня.— Я полюблю вас».

— Сударыня,— пылко воскликнул Шарль де Ванденес,— вы заставляете меня несказанно сожалеть об отъезде из Парижа! В Италии, конечно, мне не доведется проводить время за такой приятной беседой.

— Быть может, вы там найдете счастье, сударь, а оно гораздо ценнее всех блестящих мыслей, истинных или ложных, которые в таком изобилии высказываются каждый вечер в Париже.

Прежде чем откланяться, Шарль испросил у маркизы позволение заехать к ней с прощальным визитом. Он почувствовал себя счастливейшим из смертных оттого, что так искренне прозвучала его просьба, и вечером, перед сном, и весь следующий день не мог отделаться от воспоминаний об этой женщине. То он спрашивал себя, почему она отметила его; зачем она хочет вновь его увидеть; и его соображения на этот счет были неисчерпаемы. То ему представлялось, что он разгадал причины ее любопытства, и тогда он упивался надеждой или впадал в уныние, в зависимости от того, как истолковывал учтивое приглашение, такое обычное в Париже. То, казалось ему, этим было все сказано, то — ничего. Наконец он решил побороть свое влечение к г-же д'Эглемон и все же поехал к ней.

Существуют мысли, которым мы подчиняемся, не сознавая их: они родятся безотчетно. Замечание это может показаться скорее парадоксальным, нежели справедливым, но человек правдивый найдет в своей жизни тысячу случаев, подтверждающих его. Отправляясь к маркизе, Шарль повиновался одному из тех смутных побуждений, которые получают дальнейшее развитие в зависимости от нашего опыта и побед нашего разума. В женщине тридцати лет есть что-то неотразимо привлекательное для человека молодого; нет ничего естественнее, нет ничего прочнее, нет ничего предустановленнее, чем глубокая привязанность, возникающая между женщиной типа маркизы д'Эглемон и мужчиной типа Ванденеса,— сколько таких примеров находим мы в свете! В самом деле, юная девушка полна иллюзий, она так неопытна, и в ее любви большую роль играет голос инстинкта. Поэтому победа над ней вряд ли польстит молодому дипломату: женщины же идут на огромные жертвы обдуманно. Первая увлечена любопытством, соблазнами, чуждыми любви, другая сознательно подчиняется чувству. Одна поддается, другая выбирает. Выбор этот сам по себе является чем-то безмерно лестным. Женщина, вооруженная знанием жизни, за которое она почти всегда дорого расплачивается несчастьями, искушенная опытом, отдаваясь, как будто отдает большее, нежели самое себя; девушка, неопытная и доверчивая, ничего не изведав, не может ничего и сравнить, ничего

оценить; она принимает любовь и изучает ее. Женщина наставляет нас, советует нам, когда мы по молодости лет еще не прочь, чтобы нами руководили, когда нам даже приятно подчиняться; девушка хочет все познать и бывает наивна, а женщина была бы нежна. Первая сулит вам лишь однажды одержанную победу, с другой вы принуждены вечно вести борьбу. Первая плачет и утешается, вторая наслаждается и испытывает муки совести. Если девушка стала любовницей, значит, она чересчур испорчена, и тогда ее с омерзением бросают; у женщины же тысяча способов сохранить и власть свою и достоинство. Одна слишком покорна, и постоянство ее наводит на вас скуку; другая теряет слишком много, чтобы не требовать от любви всех ее превращений. Одна только себя покрывает позором, другая разрушает ради вас семью. Девичьи чары однообразны, и девушка воображает, что все будет сказано, лишь только она сбросит одежды, а у женщины бесчисленное множество чар, и она таит их за тысячью покрывал; словом, любовь ее льстит нашему самолюбию во всех его проявлениях, а наивная девушка затрагивает лишь одну сторону нашего самолюбия. Тридцатилетнюю женщину жестоко терзают нерешительность, страх, опасения, тревоги, бури, которые несвойственны влюбленной девушке. Женщина, вступив в этот возраст, требует, чтобы мужчина питал к ней уважение, возмещая этим то, чем она пожертвовала ради него; она живет только им, она печется о его будущем, она хочет, чтобы жизнь его была прекрасна, чтобы он добивался славы; она подчиняется, она просит и повелевает; в ней и самоуничижение и величие, и она умеет утешать в тех случаях, когда девушка умеет лишь жаловаться. Наконец, тридцатилетняя женщина, помимо всех иных своих преимуществ, может вести себя по-девичьи, играть любые роли, быть целомудренной, стать еще пленительнее в своем несчастье. Между ними неизмеримое несходство, отличающее предусмотренное от случайного, силу от слабости. Тридцатилетняя женщина идет на все, а девушка из девичьего страха вынуждена перед всем отступать. Такие мысли теснятся в голове молодого человека и порождают подлинную страсть, ибо она соединяет искусственные чувства, созданные нравами, с чувствами естественными.

Самый главный и самый решительный миг в жизни женщины именно тот, который сама она считает самым незначительным. Выйдя замуж, она более не принадлежит себе, она властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Эмансипировать женщину — значит развратить ее. Допустить чужого к святая святых семьи не значит ли отдаться на его милость? Но если женщина привлекает его, разве это уже не проступок или, для большей точности, не начало проступка? Надобно согласиться с этой суровой теорией или же оправдать страсти. До сих пор во Франции общество избирает нечто среднее: оно смеется над несчастьем. Подобно спартанцам, каравшим пойманного вора только за неловкость, оно, по-видимому, допускает воровство. Но, быть может, такая система вполне разумна. Самое ужасное наказание — это общее презрение, оно поражает женщину в самое сердце. Женщины стремятся и всегда должны стремиться к тому, чтобы их уважали, ибо без уважения они не существуют; поэтому они требуют от любви в первую очередь уважения. Самая развращенная женщина, продавая свое будущее, хочет прежде всего полного оправдания своему прошлому и пытается внушить любовнику, что обменивает на невыразимое блаженство уважение, в котором теперь откажет ей свет. Нет женщины, у которой не возникли бы такие размышления, когда она впервые принимает у себя молодого человека и остается с ним наедине; особенно если он, как Шарль де Ванденес, хорош собою и остроумен. И вряд ли молодой человек, почувствовав влечение к ней, не станет втайне оправдывать всяческими рассуждениями свою врожденную склонность к женщинам красивым, остроумным и несчастливым, какою была г-жа д'Эглемон. Поэтому, когда доложили о Ванденесе, г-жа д'Эглемон смутилась; а ему стало не по себе, невзирая на самообладание, которое является как бы облачением дипломата. Но маркиза сейчас же приняла тот снисходительно-благосклонный вид, который охраняет женщин от всяких тщеславных помыслов на их счет. Такое поведение никому не позволит подозревать их; они, так сказать, принимают в соображение чувство и весьма вежливо умеряют его. Женщины разы-

грывают сколько им вздумается эту двусмысленную роль, словно остановившись на распутье, дороги от которого ведут к уважению, безразличию, удивлению или страсти. Только в тридцать лет женщина умеет пользоваться таким выигрышным положением. Она умеет посмеяться, пошутить, приласкать, не уронив себя в глазах света. В эту пору она уже обладает необходимым тактом, умеет затронуть чувствительные струны мужского сердца и прислушаться к их звучанию. Молчание ее так же опасно, как и ее речь. Вам никогда не угадать, искренна ли женщина этого возраста, или полна притворства, насмешлива или чистосердечна. Она дает вам право вступить в борьбу с нею, но достаточно слова ее, взгляда или одного из тех жестов, сила которых ей хорошо известна, и сражение вдруг прекращается; она покидает вас и остается властительницей вашей тайны; она вольна предать вас на посмеяние, она вольна оказывать вам внимание, она защищена как слабостью своею, так и вашей силой. Маркиза и встала на этот неопределенный путь, когда Ванденес впервые посетил ее, но сохранила высокое женское достоинство. Затаенная печаль легким облачком, чуть скрывающим солнце, неотступно реяла над ее напускной веселостью. Беседа с нею доставила Ванденесу еще не изведанное им наслаждение, но вместе с тем внушила ему мысль, что маркиза д'Эглемон принадлежит к числу тех женщин, победа над которыми обходится так дорого, что не стоит и добиваться их любви.

«Это было бы,— думал он по дороге домой,— *беспредельное чувство*, переписка, от которой устал бы даже какой-нибудь честолюбивый помощник столоначальника. И все же, если б я захотел...»

Роковое *«если б я захотел»* вечно губит упрямцев. Во Франции самолюбие толкает к страсти. Шарль вновь явился к г-же д'Эглемон, и ему показалось, что маркизе приятно его общество. Вместо того, чтобы простодушно отдаться счастью любви, ему вздумалось играть двойную роль. Он попробовал прикинуться страстным, потом хладнокровно исследовать ход интриги, быть и влюбленным и дипломатом; но он был великодушен и молод, и такое испытание привело лишь к тому, что он влюбился без памяти, ибо, притворялась ли маркиза или была

естественной, сила всегда была на ее стороне. Всякий раз, выходя от г-жи д'Эглемон, Шарль испытывал недоверие, беспощадно анализировал все движения ее души, и это убивало его собственные чувства.

«Сегодня,— рассуждал он после третьего посещения,— она дала мне понять, что очень несчастна и одинока, что только дочь привязывает ее к жизни. Она безропотно подчиняется своей участи. Но ведь я не брат ей, не духовник, отчего же она исповедуется мне в своих горестях? Она в меня влюблена».

Дня через два, уходя от нее, он обрушился на современные нравы:

«Любовь отражает свой век. В 1822 году она занимается доктринерством. Ее не доказывают на деле, как бывало, а о ней рассуждают, о ней спорят, о ней разглагольствуют ораторы. Женщины свели все к трем приемам: сначала они сомневаются в нашей любви, уверяют, что мы не можем любить так сильно, как они. Все это кокетство! Ведь сегодня маркиза бросила мне настоящий вызов. Затем они прикидываются несчастными, чтобы пробудить в нас прирожденное великодушие или самолюбие: молодому человеку лестно стать утешителем такой великой страдалицы. Наконец, у всех женщин мания целомудрия! Маркиза, должно быть, воображает, что я принимаю ее за невинную девицу. Моя доверчивость дает ей в руки козырь».

Но однажды, исчерпав все свои подозрения, он спросил себя: а не искренна ли маркиза? Можно ли разыгрывать такие страдания? К чему ей притворяться смиренницей? Она жила в глубоком уединении, в тиши, поглощенная своими скорбными думами, о них Ванденес с трудом догадывался по некоторым ее сдержанным замечаниям. С той поры Шарль стал проявлять горячее участие к г-же д'Эглемон. Но как-то, идя на одно из обычных свиданий, которые были уже им необходимы, в час, установленный ими невольно, Ванденес все же раздумывал о том, что г-жа д'Эглемон скорее ловка, нежели искренна, и его последнее слово было: «Право же, она очень хитра». Он вошел и увидел, что маркиза сидит в своей любимой позе, исполненной печали; она подняла глаза и, не шелохнувшись, бросила на него тот приветливый взгляд, который у женщин подобен улыбке. Ли-

цо г-жи д'Эглемон выражало доверие, истинную дружбу, но отнюдь не любовь. Шарль сел; говорить он не мог. Его волновали чувства, которые не выразить словами.

— Что с вами? — мягко спросила она.

— Ничего... Впрочем, я думаю об одной вещи, до которой вам и дела нет.

— О чем же?

— Ведь... конгресс закончился.

— Так, значит,— заметила она,— вам надобно было поехать на конгресс?

Прямой ответ был бы самым красноречивым, самым тонким признанием, но Шарль промолчал. Весь облик г-жи д'Эглемон дышал искренней дружбой, которая разбивала все расчеты тщеславия, все упования любви, все подозрения дипломата; маркиза не знала или делала вид, что не знает о его любви, и когда Шарль, совсем смущенный, собрался с мыслями, он принужден был признаться себе, что ни один его поступок, ни одно слово не давали оснований этой женщине так думать. Весь вечер маркиза была такой же, какой бывала всегда: простой, внимательной, искренней в своей скорби, счастливой, что у нее нашелся друг, гордой, что обрела родственную ей, близкую душу; большего она и не хотела, она не представляла себе, что женщина может дважды поддаться чарам любви; она уже изведала любовь и еще хранила ее в своем исстрадавшемся сердце; она не предполагала, что женщина дважды может потерять голову от счастья, ибо она верила не только в разум, но и в душу; и для нее любовь была не просто обольщением, а чувством возвышенным. И Шарль вновь превратился во влюбленного юношу: он подпал под обаяние цельного характера Жюли, захотел, чтобы она посвятила его во все тайны своей жизни, сложившейся неудачно скорее по воле случая, нежели из-за ошибки. Когда он спросил, отчего она сегодня так печальна — а печаль придавала ее красоте особую прелесть,— г-жа д'Эглемон взглянула на своего друга, и этот глубокий взгляд явился как бы печатью, скрепляющей торжественное соглашение.

— Никогда не задавайте мне таких вопросов,— промолвила она,— в этот день три года назад умер человек, любивший меня, единственный человек в мире, ради которого я пожертвовала бы даже своей честью; он умер,

чтобы спасти мое доброе имя. Оборвалась молодая, чистая любовь, полная иллюзий. Я любила его всей душой, это было роковое, неповторимое чувство. А за кого я вышла замуж?.. Меня пленил пустой фат с приятной внешностью; вот так часто гибнут девушки. В замужестве не сбылась ни одна моя надежда. Теперь я утратила и законное счастье и то счастье, которое называют преступным, но истинного счастья я не познала. У меня ничего не осталось в жизни. И раз я не умерла, я должна по крайней мере хранить верность своим воспоминаниям.

Она не заплакала, говоря это, а только потупилась и чуть сжала пальцы, переплетая их по привычке. Она говорила сдержанно, но в ее голосе звучала глубокая тоска — такой глубокой, вероятно, была любовь ее,— и у Шарля не осталось ни малейшей надежды. Вся ее жизнь, полная терзаний, о которых она рассказала в нескольких словах, выразительно сжимая руки, неутолимая скорбь этой хрупкой женщины, бездна мысли в хорошенькой головке, наконец, печаль, слезы, проливаемые три года по ушедшему из жизни, пленили Ванденеса; он сидел молча рядом с этой благородной, величавой женщиной, сознавая все свое ничтожество; он уже не думал о том, как хороша ее внешность, такая восхитительная, такая совершенная, а видел душу ее, возвышенную душу. Наконец-то он встретил идеальное существо, которое видят в несбыточных мечтах, которое страстно призывают все те, для кого жизнь — это любовь; ее они ищут пламенно и часто умирают, так и не насладившись всеми сокровищами своих мечтаний.

Пошлыми казались Шарлю его помыслы, когда он слушал ее речи, видел ее одухотворенную красоту. Он не мог найти нужных, значительных слов, которые были бы под стать этой простой и в то же время торжественной сцене, и говорил избитые фразы об участи женщины.

— Сударыня, надобно или забывать свои утраты, или же отказаться от жизни.

Но рассудок всегда мелок в сравнении с чувством; он по природе своей ограничен, как и вообще все позитивное, чувство же бесконечно. Рассуждать там, где надо чувствовать,— свойство бескрылой души. Поэтому Ванденес умолк и долгим взглядом посмотрел на г-жу

д'Эглемон, затем он откланялся. Он был в мире новых представлений, возвышавших в его глазах женщину, и походил на живописца, который, привыкнув писать простых натурщиц, вдруг встретил бы музейную Мнемозину — самую прекрасную, недостаточно ценимую античную статую. Шарль страстно влюбился. Он полюбил г-жу д'Эглемон пылко, со всей искренностью молодости, а это сообщает первой страсти ту невыразимую прелесть, ту чистоту, от которых позже, если мужчина полюбит еще раз, уже останутся одни осколки; это страсть, которой с упоением наслаждаются женщины, внушившие ее, ибо в этом прекрасном возрасте — в тридцать лет, на поэтической вершине своей жизни, женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дорожат ею, боясь утратить ее; в ту пору душу их еще красит уходящая молодость, и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим.

«Я люблю,— твердил на этот раз Ванденес, уходя от маркизы,— но, на свою беду, я встретил женщину, влюбленную в воспоминания. Трудно соперничать с человеком, которого нет в живых,— он уже не натворит глупостей, никогда не перестанет нравиться, и ему приписывают одни лишь высокие достоинства. Стремиться низвергнуть совершенство — значит попытаться развеять прелесть воспоминаний и надежд, которые пережили погибшего возлюбленного именно оттого, что он пробуждал лишь мечтания, а разве в любви есть что-нибудь прекраснее, что-нибудь пленительнее мечтаний?»

Печальное это раздумье, вызванное унынием и боязнью, что он не добьется успеха — а так и начинается всякая истинная страсть,— было последним дипломатическим расчетом Ванденеса. Отныне у него уже не было подозрений, он стал игрушкой своей любви и весь отдался неизъяснимому блаженству, живя теми пустяками, которые питают его: нечаянно оброненным словом, молчанием, смутною надеждой. Он мечтал о любви платонической, ежедневно приходил к г-же д'Эглемон дышать воздухом, которым она дышит, как бы врос в ее дом и сопровождал ее повсюду с деспотизмом страсти, который примешивает эгоизм даже к самой беззаветной преданности. У любви есть свой инстинкт, она умеет найти путь

к сердцу, подобно тому, как слабая букашка бесстрашно направляется к излюбленному цветку с непоколебимым упорством. Поэтому, когда чувство настоящее, в судьбе его можно не сомневаться. Как не испытывать женщине ужаса при мысли о том, что вся жизнь ее зависит от того, с какою искренностью, силою, настойчивостью влюбленный будет добиваться взаимности? А ведь женщина супруга, мать, не может запретить молодому человеку любить ее; единственное, что в ее власти,— это перестать встречаться с ним, как только она догадается о его сердечной тайне, о ней женщина всегда догадывается. Но шаг этот кажется ей чересчур решительным, у женщины не хватает воли сделать его, особенно, когда брак тяготит ее, приелся ей и утомил ее, когда супружеская любовь почти совсем остыла, а быть может, муж и вовсе уже бросил ее. Женщинам некрасивым любовь льстит, она превращает их в красавиц; для молодых же и обворожительных искуситель должен быть так же молод и обворожителен, поэтому искушение особенно велико; добродетельных женщин прекрасное, но такое земное чувство заставляет искать некое оправдание греха в тех больших жертвах, которые они приносят любовнику, гордиться трудной борьбой, которую они ведут с собою. Все это ловушка. Перед силою соблазна все бессильно. Затворничество, которое некогда предписывалось женщине в Греции, на Востоке и которое становится модным в Англии,— единственная защита домашнего очага; но при такой системе исчезнет вся прелесть светской жизни: учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор.

Итак, несколько месяцев спустя после первой встречи с Ванденесом г-жа д'Эглемон поняла, что жизнь ее тесно связана с его жизнью; ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. Переняла ли она образ мыслей Ванденеса, Ванденес ли сжился со всеми ее прихотями? Она не рассуждала об этом. Ее уже захватил поток страсти, и, страшась ее, прелестная эта женщина старалась обмануть себя и твердила:

«Нет, нет! Я буду верна тому, кто умер за меня!»

Паскаль сказал: «Сомневаться в боге — значит верить в него». Так и женщины начинают противиться,

только когда они уже увлечены. В тот день, когда маркиза д'Эглемон призналась себе, что она любима, ей пришлось лавировать между тысячью противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых, справедливо ли, нет ли, зиждутся нравственные устои общества? До сих пор жизнь ее была отравлена горечью. Можно ли надеяться на счастливую развязку, если узы любви соединяют два существа вопреки светским условностям? С другой стороны, чего не отдашь за счастье? А может быть, она в конце концов найдет счастье, которого так пламенно желала,— ведь искать его так естественно! Любопытство всегда выступает в защиту влюбленных. В разгар этого тайного пререкания вошел Ванденес. Его появление рассеяло бесплотный призрак благоразумия. Если так последовательно меняется пусть даже мимолетное чувство молодого человека и тридцатилетней женщины, то наступит миг, когда все оттенки смешаются, когда все рассуждения вытеснятся одним последним рассуждением, которое оправдает и подкрепит желание любви. Чем дольше сопротивление, тем громче звучит голос страсти. Здесь и заканчивается урок, вернее, изучение «обнаженных мышц», если позволено заимствовать у живописцев одно из их образных выражений; ибо повесть эта не столько рисует любовь, сколько объясняет, в чем опасности любви и что движет ею. С того дня, как появились краски на анатомическом этюде, он ожил, он заблистал красотой и прелестью молодости, он пленял чувства и звал к жизни. Шарль вошел и, увидев, что г-жа д'Эглемон глубоко задумалась, спросил ее тем проникновенным тоном, которому колдовская сила любви придает что-то трогательное: «Что с вами?»,— но она из осторожности промолчала. Ласковый вопрос этот говорил о полном созвучии душ; и маркиза благодаря удивительному женскому чутью поняла, что если она пожалуется или скажет о своей сердечной скорби, то поощрит его. Если каждое их слово и без того было полно значения, понятного только им, то какая же пропасть открывалась перед ней? Она ясно прочла это в своей душе и молчала, а Ванденес, следуя ее примеру, тоже хранил молчание.

— Мне нездоровится,— произнесла она наконец, ис-

пугавшись той торжественной тишины, когда язык взглядов бывает красноречивее слов.

— Сударыня,— нежно и взволнованно ответил Шарль,— душа и тело связаны между собой. Будь вы счастливы, вы были бы молоды и здоровы. Почему вы не позволяете себе просить у любви того, чего любовь лишила вас? Вы считаете, что жизнь ваша кончена, а она для вас только начинается. Доверьтесь заботам друга. Ведь так сладостно быть любимой!

— Я уже стара,— промолвила она,— для меня не будет оправданий, если я перестану страдать, как страдала прежде... Вы говорите, что надо любить? Так вот, я не должна, я не могу любить! Кроме вас,— а дружба ваша вносит радость в мою жизнь,— никто не нравится мне, никто не мог бы стереть мои воспоминания. Я принимаю друга, но не стала бы принимать влюбленного. Да и благородно ли взамен своего увядшего сердца принять в дар молодое сердце, полное иллюзий, которых уже не можешь разделять, когда уже не можешь дать счастье, потому что сама не веришь в счастье, или же будешь бояться потерять его? Я, пожалуй, ответила бы эгоистически на его привязанность и стала бы рассчитывать в тот час, когда он всецело отдавался бы чувству; воспоминания мои оскорбили бы его живые радости. Нет, поверьте, первую любовь не заменить. Да и кто согласится завоевать мое сердце такой ценой?

Слова эти, в которых чувствовался страшный вызов, были последним усилием разума.

«Ну что ж, если это его оттолкнет, буду одинока и верна». Мысль эта промелькнула в уме маркизы и стала для нее соломинкой, за которую хватается утопающий. Ванденес, услышав свой приговор, невольно вздрогнул, и это тронуло г-жу д'Эглемон сильнее, нежели все те знаки внимания, которые он проявлял к ней последнее время. Женщин более всего умиляет в нас та ласковая утонченность, та изысканность чувств, какие свойственны им самим; ибо для них нежность и утонченность служат верными признаками «истинности». Ванденес вздрогнул, и это говорило о настоящей любви. Заметив, что ему тяжело, г-жа д'Эглемон поняла, как велико его чувство. Молодой человек холодно ответил:

— Пожалуй, вы и правы. Новая любовь — новое горе.

И он заговорил о другом, о вещах безразличных, но было заметно, что он взволнован; он смотрел на г-жу д'Эглемон с сосредоточенным вниманием, будто видел ее в последний раз. Наконец он откланялся, проговорив с волнением:

— Прощайте, сударыня!

— До свиданья,— молвила она с тем тонким, еле уловимым кокетством, секрет которого известен лишь немногим женщинам.

Он не ответил и ушел. Когда Шарль исчез и только опустевший стул напоминал о нем, ее охватило сожаление, она стала винить себя. Страсть с особой силой разгорается в душе женщины, когда она думает, что поступила невеликодушно, оскорбила благородное сердце. Никогда не следует опасаться недобрых чувств в любви: они целительны; женщины падают только под ударами добродетели. «Благими намерениями ад вымощен» — эти слова не парадокс проповедника. Несколько дней Ванденес не появлялся. Каждый вечер, в час обычного свидания, маркиза нетерпеливо ждала его, и ее мучили угрызения совести. Писать означало бы признаться; кроме того, внутренний голос говорил ей, что он вернется. На шестой день лакей доложил о нем. Никогда еще не было ей так приятно слышать его имя. Радость эта испугала ее.

— Вы меня наказали,— сказала она ему.

Ванденес с недоумением посмотрел на нее.

— Наказал? — повторил он.— Чем же?

Шарль отлично понимал маркизу; но ему хотелось отомстить ей за страдания, во власти которых он находился с того мгновения, как она догадалась о его чувстве.

— Почему вы не приходили? — сказала она, улыбаясь.

— Разве вас никто не посещал? — спросил он, не давая прямого ответа.

— Господа де Ронкероль, де Марсе, молодой д'Эгриньон навещали меня, они просидели часа по два, один — вчера, другой — сегодня. Виделась я, кажется, и

с госпожой Фирмиани и с вашей сестрой, госпожой де Листомэр.

Новые страдания! Муки, непонятные тем, кто не испытал неистового деспотизма страсти, сказывающегося в чудовищной ревности, в постоянном желании оградить любимое существо от всякого постороннего влияния, чуждого любви.

«Вот как! — подумал Ванденес. — Она принимала, она видела довольные лица, она болтала с гостями, а я-то... Как я тосковал в одиночестве!»

Он затаил душевную боль и схоронил любовь свою в глубине сердца, как гроб в море. Мысли его нельзя было выразить словами; они были неуловимы, как те кислоты, которые, испаряясь, убивают. Но лицо его омрачилось, и г-жа д'Эглемон с женской чуткостью разделила его грусть, не ведая ее причины. Она без умысла нанесла удар Ванденесу, и он понял это. Он заговорил о своем душевном состоянии и о своей ревности шутливо, как часто говорят влюбленные. Маркиза все угадала и была так взволнована, что не могла сдержать слез. И с этого мгновения они перенеслись в рай. Рай и ад — это две великих поэмы, они выражают два начала, вокруг которых вращается наше существование: радость и страдание. Не есть ли, не будет ли рай вечным образом бесконечности наших чувств, в котором меняются лишь частности, ибо само счастье едино; и не символизирует ли собою ад бесконечные пытки, терзания наши, из которых мы можем создать поэтическое произведение, ибо все они различны?

Как-то вечером влюбленные, сидя друг подле друга, молча созерцали небосклон в тот час, когда он всего прекраснее — когда последние солнечные лучи расцвечивают небо блеклыми золотистыми и багряными тонами. В эту пору дня свет их тихо меркнет и будто пробуждает нежные чувства; вокруг царит покой, наши страсти смягчаются, и мы вкушаем какое-то приятное волнение. Сама природа в смутных образах рисует перед нами счастье и призывает нас наслаждаться им, если оно рядом с нами, или сожалеть о нем, если оно ушло. В эти мгновения, преисполненные очарования, под пологом из лучей, нежные сочетания которых словно вторят тайному искушению, трудно устоять против велений сердца: в этот

час они всесильны! Горе тогда притупляется, радость опьяняет, а грусть тяготит. Торжественная вечерняя пора побуждает к признаниям. Молчание становится опаснее слов, сообщая глазам беспредельную глубину неба, которое в них отражается. А стоит сказать слово — в нем звучит волшебная сила. Не свет ли пламенеет тогда в голосе, не пурпуром ли горит тогда взгляд? Не в нас ли самих тогда рай, не в небесах ли мы сами? Итак, Ванденес и Жюли,— уже несколько дней она позволяла ему называть ее по имени, и ей самой так нравилось называть его Шарлем,— итак, они сидели у окна и разговаривали. Но оба были очень далеки от обыденной темы беседы и, не понимая смысла своих речей, с восхищением внимали тайным мыслям, скрытым за словами. Рука маркизы лежала в руке Ванденеса, и она не отнимала ее, не почитая это за милость.

Они одновременно повернулись, чтобы взглянуть на возникший в небе фантастический пейзаж, покрытый снегом, ледниками, серыми тенями, скользившими по склонам причудливых гор; одну из тех неподражаемых и мимолетных поэтических картин с резкими переходами от багряно-пламенных до черных тонов, украшающих небо; тот великолепный полог, за которым возрождается солнце, прекрасный саван, облекаясь в который оно уходит. Волосы Жюли коснулись щеки Ванденеса; Жюли почувствовала это легкое прикосновение и вздрогнула, он вздрогнул еще сильнее, ибо они мало-помалу подошли к одному из тех необъяснимых душевных переломов, когда тишина так обостряет чувства, что малейший пустяк вызывает слезы и наполняет печалью, если сердце погружено в тоску, или же доставляет несказанную радость, если оно трепещет от любви. Жюли почти невольно сжала руку своему другу. Выразительное пожатие придало смелости робкому влюбленному. Радость настоящего и надежды на будущее — все слилось в волнении первой ласки, целомудренного, несмелого поцелуя, который Жюли позволила Шарлю запечатлеть на ее щеке. Чем сдержаннее была эта ласка, тем сильнее, тем опаснее была она. К их общему несчастью, не было в ней и тени фальши. То сочетались две прекрасные души, разделенные тем, что является законом, соединенные тем, что оболыцает в природе. В этот миг вошел генерал д'Эглемон.

— Сменилось правительство,— объявил он.— Ваш дядя — член нового кабинета. Итак, Ванденес, теперь у вас все возможности стать посланником.

Шарль и Жюли покраснели и переглянулись. Неловкость была еще одной связующей нитью. Они подумали об одном и том же, почувствовали одинаковые угрызения совести; страшные и такие же крепкие узы связывают двух разбойников, только что убивших человека, как и двух влюбленных, виновных в поцелуе. Надо было отвечать маркизу.

— Я раздумал уезжать из Парижа,— сказал Шарль де Ванденес.

— Нам-то известно, почему,— заметил генерал с тем хитрым выражением, какое бывает у человека, открывающего чужой секрет.— Вам не хочется расставаться с дядюшкой, чтобы вас объявили наследником его пэрства.

Жюли быстро ушла к себе в комнату, и в голове у нее мелькнула ужасная мысль о муже: «До чего же он глуп!»

IV

ПЕРСТ БОЖИЙ

Между Итальянской заставой и заставой Санте, с внутреннего бульвара, что ведет к Ботаническому саду, открывается такая панорама, которая пленяет не только художника, но и путешественника, пресыщенного самыми восхитительными видами. Дойдите до небольшого подъема, где бульвар, затененный высокими ветвистыми деревьями, заворачивает словно зеленая лесная дорога, прелестная и уединенная, и вы увидите у ног своих обширную долину с постройками, напоминающими сельские домики, кое-где покрытую растительностью, орошенную мутными водами Бьевры — иначе рекою Гобеленов. На противоположном склоне горы тысячеголовою толпой теснятся крыши, под которыми ютится нищета предместья Сен-Марсо. Великолепный купол Пантеона и тусклая, печальная глава Валь де Грас горделиво высятся над городом, расположенным амфитеатром, и причудливы уступы его, окаймленные извилистыми улицами. Отсюда кажется, что у двух этих зданий какие-то исполинские размеры; рядом с ними скрадываются и хрупкие строе-

ния и самые высокие тополя, растущие в долине. Слева, словно черный и костлявый призрак, стоит Обсерватория, сквозь окна и галереи которой струится свет, рисуя немыслимые, затейливые узоры. Вдали меж голубоватыми постройками Люксембургского дворца и серыми башнями Сен-Сульписа искрится изящный фонарь Дома Инвалидов. Когда смотришь отсюда, контуры зданий сливаются с листвою, с тенями, и зависит это от капризов неба, то и дело меняющего цвет, освещение и вид. Вдалеке в воздушном пространстве четко вырисовываются дома, а вокруг колышется и трепещет листва деревьев и вьются исхоженные тропинки. Справа, в рамке этого своеобразного пейзажа, белеет длинная полоса Сен-Мартенского канала, окаймленного бурым камнем, обсаженного липами, с амбарами вдоль берега, построенными в чисто римском духе. Там, на заднем плане, очертания холмов Бельвиля, подернутых дымкой и усеянных домами и мельницами, сливаются с очертаниями облаков. Однако между рядами кровель, обрамляющими долину, и небосклоном, туманным, точно воспоминание детства, существует целый город, который не виден вам,— обширный квартал, затерянный, как в пропасти, между крышами больницы для бедных и высокою оградою Восточного кладбища, между страданием и смертью. Оттуда доносится глухой шум, напоминающий рокот океана, бьющегося о скалы; он словно возвещает: «Я здесь!» Стоит солнцу залить потоком света эту часть Парижа и сделать чище и мягче линии; стоит ему вспыхнуть кое-где в стеклах, скользнуть по черепичной кровле, зажечься в золоченых крестах, ослепить вас белизною стен и превратить воздух в прозрачное марево; стоит ему создать богатую и причудливую игру света и тени; стоит небу стать лазурным, а на земле закипеть жизни, раздаться колокольному звону,— и перед вашим плененным взглядом предстанет красочная, волшебная картина, которая никогда не сотрется в воображении вашем и которой вы будете восхищаться и восторгаться, как чудесными видами Неаполя, Стамбула или Флориды. В смутном хоре звуков все — гармония. Там и гул людской толпы, и мелодия тихого уединения, голос миллиона существ, и голос бога. Там, распростершись под темными кипарисами Пер-Лашеза, покоится столица.

Однажды весенним утром, в тот час, когда солнце озаряло этот пейзаж во всей его красоте, я любовался им, прислонившись к большому вязу, подставлявшему ветру свои желтые цветы. И при виде этих роскошных, этих величавых картин я с горечью размышлял о том пренебрежении, которое мы теперь проявляем, даже в книгах, к своей стране. Я проклинал жалких богачей, которые, пресытившись прекрасной Францией, покупают ценою золота право пренебрегать родной страною и мчатся вскачь по Италии, разглядывая в лорнет столь опошленные пейзажи. Я с любовью смотрел на современный Париж, я мечтал, но вдруг звук поцелуя нарушил мое уединение и спугнул мои философские размышления. На боковой аллее, вьющейся над обрывом, у подножия которого плещется река, по другую сторону моста Гобеленов, я увидел женщину, еще довольно молодую, одетую с изящной простотою; на нежном лице ее словно отражалась та радость жизни, что освещала весь пейзаж. Красивый молодой человек поставил на землю мальчика, миловиднее которого трудно найти, и мне так и не удалось узнать, был ли прозвучавший поцелуй запечатлен на щеке матери или на щеке ребенка. Одно и то же чувство, нежное и горячее, оживляло взгляды, жесты, улыбку и мужчины и женщины. Они приблизились друг к другу, увлеченные чудесным единым порывом, руки их сплелись так радостно и так поспешно и они так были поглощены собою, что даже не заметили моего присутствия. Но был тут еще один ребенок — с недовольным, сердитым лицом; он повернулся к ним спиною и бросил на меня взгляд, удивительный по своему выражению. Его маленький брат бежал то позади, то впереди матери и молодого человека, а этот ребенок, такой же хорошенький, такой же грациозный, но с чертами более тонкими, стоял молча, застыв, словно змееныш, впавший в спячку. То была девочка. Казалось, красавица и ее спутник двигаются машинально. Быть может, по рассеянности они ходили взад и вперед вдоль небольшого пространства, от мостика до коляски, ожидавшей на повороте бульвара; довольствуясь коротким этим путем, они то шли, то останавливались, переглядывались, смеялись, смотря по тому, о чем шел разговор, то оживленный, то медлительный, то веселый, то серьезный.

Я спрятался за большим вязом и любовался пленительной сценой; разумеется, я не стал бы посягать на чужую тайну, если бы не подметил на лице задумчивой и молчаливой девочки печать мысли более глубокой, нежели то обычно бывает в ее возрасте. Когда ее мать и молодой человек, поравнявшись с нею, шли обратно, она угрюмо склоняла голову и исподлобья бросала на них и на брата какие-то странные взгляды. Нельзя передать той хитрой проницательности, того наивного коварства, той настороженности, которые вдруг появлялись на этом детском личике, в глазах, обведенных легкой синевой, стоило молодой женщине или ее спутнику погладить белокурые локоны мальчика, ласково обнять его свежую шейку, окаймленную белым воротничком, когда он, расшалившись, пытался шагать с ними в ногу. Право, на худеньком личике этой странной девочки запечатлелась настоящая страсть взрослого человека. Она или страдала, или размышляла. Что же предрекает смерть этим цветущим созданиям? Болезнь ли, подтачивающая тело, или скороспелая мысль, пожирающая их едва развившуюся душу? Может быть, об этом известно матери. Я же не знаю ничего страшнее старческой мысли на челе ребенка,— богохульство в устах девственницы не так чудовищно. И вот какой-то отсутствующий вид у этой девочки, уже мыслящей, ее неподвижность затронули мое воображение. Я с любопытством стал следить за нею. По прихоти фантазии, естественной для наблюдателя, я сравнивал ее с братом, стараясь уловить сходство и различие между ними. У нее были темные волосы, черные глаза, и она была высока не по летам, а у мальчика внешность была совсем иная: белокурые волосы, глаза зеленые, как море, изящная хрупкость. Девочке, вероятно, было лет семь — восемь, брату ее — не больше шести. Одеты они были одинаково; впрочем, приглядевшись внимательнее, я заметил в их воротничках еле приметное отличие, по которому я потом угадал целый роман в прошлом и целую драму в будущем. То была сущая безделица. Воротничок смуглолицей девочки был подрублен простым рубцом, воротничок мальчика украшала прелестная вышивка; это выдавало тайну сердца, предпочтение, выраженное без слов, которое дети читают в душе своих матерей будто по наитию божьему. Белокурый

мальчуган, беззаботный, веселый, мог сойти за девочку, так свежа была его белая кожа, так изящны его движения, так миловидно личико. Сестра же его, невзирая на свою силу, невзирая на прекрасные черты и яркий румянец, походила на болезненного мальчика. Живые глаза ее, лишенные того влажного блеска, который придает столько прелести детскому взору, казались иссушенными внутренним огнем, как глаза царедворца. Кожа у нее была матовая, оливкового оттенка, а это признак решительного характера. Уже два раза ее братец подбегал к ней с трогательной ласковостью, умильно и выразительно смотрел на нее, так что очаровал бы самого Шарле, и протягивал ей охотничий рожок, в который он то и дело трубил; но всякий раз на нежно сказанное им: «Хочешь, возьми, Елена?» — она отвечала суровым взглядом. Что-то угрюмое, зловещее было в этой девочке, и, хоть спокойно было выражение ее лица, она вздрагивала и даже заливалась ярким румянцем всякий раз, когда к ней приближался брат; но мальчик не замечал, что сестра в дурном расположении духа, и его беззаботность, смешанная с участием, составляла резкую противоположность между настоящим детским характером и характером взрослого человека, умудренного опытом и отягченного заботами, которые запечатлелись на лице девочки, уже омраченном темными тучами.

— Мама, Елена не хочет играть! — пожаловался мальчик, воспользовавшись тем, что мать и молодой человек остановились на мосту Гобеленов.

— Оставь ее, Шарль! Ты ведь знаешь, она вечно капризничает.

От слов этих, рассеянно произнесенных матерью, которая тотчас же пошла вместе с молодым человеком обратно, на глазах у Елены выступили слезы. Она молча проглотила слезы и, бросив на брата глубокий взгляд, который показался мне необъяснимым, стала с мрачным и испытующим видом рассматривать крутой откос, на вершине которого стоял мальчик, затем реку Бьевру, мост, весь ландшафт и меня.

Я побоялся, что счастливая пара заметит мое присутствие и я помешаю ее разговору, поэтому потихоньку отошел и спрятался за живою изгородью из бузины; густая листва скрыла меня от чужих взглядов. Спокой-

но уселся я на пригорке, чуть повыше бульвара, и, прислонившись к стволу дерева, глядел то на живописный пейзаж, то на странную девочку, которую мне было видно в просвете изгороди, меж густыми ветвями. Елена, не видя меня более, как будто встревожилась, ее черные глаза с неизъяснимым любопытством искали меня вдали, в глубине аллеи, за деревьями. Чего же хотела она от меня? В это время, словно пение птицы, раздался в тишине звонкий смех Шарля. Красивый молодой человек, белокурый, как и мальчуган, подбрасывал его и целовал, осыпая забавными ласковыми прозвищами, которыми мы любовно наделяем детей. Молодая женщина улыбалась, глядя на эту сцену, и порою, вероятно, произносила вполголоса слова, исходившие из глубины сердца, ибо спутник ее останавливался и смотрел на нее голубыми глазами, полными огня, полными обожания. Их голоса сливались с возгласами мальчугана и звучали удивительно мелодично. Все трое были прелестны. Эта сцена придавала несказанное очарование великолепному ландшафту. Красивая белолицая смеющаяся женщина, дитя любви, мужчина во всем обаянии молодости, чистое небо, наконец, полная гармония природы — все это радовало душу. Я почувствовал, что невольно улыбаюсь, словно сам вкушаю счастье. Молодой красавец прислушался — пробило девять часов. Он нежно поцеловал свою спутницу — она вдруг стала серьезной и даже печальной — и пошел навстречу медленно приближавшемуся тильбюри, которым правил старый слуга. Болтовня мальчугана-любимца слилась со звуками прощальных поцелуев, которыми осыпал его молодой человек. Когда же молодой человек сел в коляску, когда женщина, словно застыв, стала прислушиваться к стихавшему стуку колес, следя, как вздымается облако пыли на зеленой аллее бульвара, Шарль подбежал к сестре, стоявшей у моста, и до меня донесся его серебристый голосок:

— Почему же ты не простилась с моим дружком?

Елена метнула на брата, остановившегося на краю обрыва, страшный взгляд — вряд ли такой взгляд вспыхивал когда-нибудь в глазах ребенка — и яростно толкнула его. Шарль покатился по крутому склону, налетел на корни, его отбросило на острые прибрежные камни,

поранило ему лоб, и он, обливаясь кровью упал в грязную реку. Вода расступилась, и хорошенькая светлая головка исчезла в мутных речных волнах. Раздались душераздирающие вопли бедного мальчика; но они сейчас же умолкли, их заглушила тина, в которой он исчез с таким шумом, будто ко дну пошел тяжелый камень. Все это произошло с быстротою молнии. Я вскочил, сбежал по тропе. Елена была потрясена и пронзительно кричала:

— Мама, мама!

Мать была здесь, рядом со мною. Она прилетела, как птица. Но ни материнские, ни мои глаза не могли распознать места, где утонул ребенок. Вода была черная, и на огромном пространстве бурлили водовороты. Русло Бьевры в этом месте покрыто слоем грязи футов в десять толщиною. Ребенку суждено было погибнуть. Спасти его было невозможно. В воскресное утро все еще отдыхали, нигде не было видно ни лодки, ни рыбаков. Нигде ни шеста, чтобы провести по дну смрадного потока, нигде ни души. Зачем мне было рассказывать об этом печальном случае или о тайне этого несчастья? Быть может, Елена отомстила за отца? Ее ревность, без сомнения, была божьей карой. Но я содрогнулся, взглянув на мать. Какому страшному допросу подвергнет ее муж, вечный ее судья? И с нею будет неподкупный свидетель. В детстве чело светится, кожа на лице прозрачна, и ложь тогда подобна огню, от которого краснеют даже веки. Несчастная еще не думала о пытке, которая ждала ее дома. Она всматривалась в Бьевру.

Такое событие должно было с ужасающей силой отразиться на жизни женщины, и мы расскажем об одном из тех страшных его отзвуков, которые время от времени омрачали любовь Жюли.

Как-то вечером, два — три года спустя, у маркиза де Ванденеса, который в ту пору носил траур по отцу и был занят делами по наследству, сидел нотариус. То не был мелкий нотарус, персонаж Стерна, а раздобревший и самодовольный парижский нотариус, один из тех всеми уважаемых и в меру глупых людей, которые грубо задевают незримые раны, а потом спрашивают, отчего это раздаются стенания. Если случайно они узнают, поче-

му глупость их так убийственна, то говорят: «Ей-богу, я ровно ничего не знал». Словом, то был благонамеренный дурак, для которого в жизни не существовало ничего, кроме «нотариальных актов» Рядом с дипломатом сидела г-жа д'Эглемон. Не дождавшись конца обеда, генерал откланялся и повез своих детей на представление то ли в театр Амбигю-Комик, то ли в Гэте на бульвары. Мелодрамы чрезмерно возбуждают чувства, однако в Париже считается, что они доступны и безвредны для детей, ибо в них всегда торжествует добродетель. Генерал уехал, не дождавшись десерта, потому что сыну и дочке его хотелось приехать в театр до поднятия занавеса, и они не давали отцу покоя.

Нотариус, невозмутимый нотариус, которого ничуть не удивило, что г-жа д'Эглемон отправила детей и мужа в театр, а сама осталась, сидел на стуле как приклеенный. Возник какой-то спор, и десерт затянулся. А теперь слуги медлили с кофе. На все это, конечно, уходило драгоценное время, и хорошенькая женщина не скрывала нетерпения; ее можно было бы сравнить с породистой лошадью, которая перед бегом бьет копытом землю. Нотариус не разбирался ни в лошадях, ни в женщинах, он просто-напросто думал, что маркиза — женщина живая и бойкая. Он был в восторге оттого, что находится в обществе великосветской дамы и высокопоставленного политического деятеля, и пытался поразить их своим остроумием; притворную улыбку маркизы, выходившей из себя, он принимал за одобрение и продолжал свою болтовню. Уже хозяин дома заодно со своей гостьей не раз позволил себе промолчать, в то время как нотариус ждал от него поощрения; не понимая значения этих красноречивых пауз, чудак, вперив взгляд в горящий камин, силился припомнить еще какую-нибудь занятную историю. Наконец дипломат прибегнул к помощи часов. Потом маркиза надела шляпу, словно собираясь уйти, однако все не уходила. Нотариус ничего не замечал, ничего не слышал. Он восхищался собой и был уверен, что маркиза не уходит оттого, что увлечена его рассказами.

«Уж эта дама наверняка будет моей клиенткой»,— думал он.

Маркиза стоя натягивала перчатки, не щадя пальцев, и поглядывала то на маркиза де Ванденеса, который

разделял ее нетерпение, то на нотариуса, которыи вынашивал каждую свою остроту. Стоило только этому достойному человеку замолчать, как маркиза и де Ванденес облегченно вздыхали, обменивались знаками, словно говоря: «Ну, теперь-то он уйдет». Но не тут-то было. Им казалось, что это какой-то кошмар; в конце концов влюбленные, на которых нотариус действовал, как змея на птицу, потеряли самообладание, и Ванденес совершил неучтивый поступок. На самом захватывающем месте рассказа о гнусных проделках, путем которых разбогател известный делец дю Тийе, бывший в те времена в чести, о грязных его делишках, о которых высокоумный нотариус повествовал со всеми подробностями, дипломат услышал, что часы пробили девять; он понял, что нотариус безнадежно глуп, что его надобно без всяких церемоний выпроводить, и прервал его решительным жестом.

— Вам нужны щипцы, маркиз? — спросил нотариус, протягивая их своему клиенту.

— Нет, сударь, я вынужден попрощаться с вами. Госпожа д'Эглемон хочет поехать к своим детям, и я буду иметь честь сопровождать ее.

— Уже девять часов! Время бежит, как тень, когда беседуешь с людьми обходительными,— заметил нотариус, который уже целый час разглагольствовал один.

Он взял шляпу, затем встал у камина, еле сдерживая икоту, и обратился к клиенту, не замечая взглядов маркизы, метавших молнии.

— Подведем итоги, маркиз. Дело прежде всего. Завтра же пошлем вызов в суд вашему брату, предъявим ему свои требования; мы приступим к описи, а засим, честное слово...

Нотариус так плохо понял намерения клиента, что собирался повести дело как раз вопреки тем указаниям, которые тот только что дал ему. Это принимало такой оборот, что Ванденесу поневоле пришлось наставить на правильный путь своего тупого нотариуса; начался спор, который длился еще некоторое время.

— Послушайте,— сказал наконец дипломат по знаку молодой женщины,— мне это надоело, приходите завтра в девять часов вместе с моим поверенным.

— Имею честь обратить ваше внимание, маркиз, на то, что у нас нет уверенности, застанем ли мы завтра

утром господина Дероша, а если вызов в суд не будет вручен до полудня, то срок истечет, и тогда...

Тут во двор въехала карета; услышав шум колес, бедная женщина быстро отвернулась, чтобы скрыть слезы, выступившие у нее на глазах. Маркиз позвонил,— он собирался сказать, что его ни для кого нет дома, но генерал, нежданно вернувшийся из театра, опередил лакея и вошел, ведя за руку недовольного, рассерженного сына и дочь, у которой были заплаканные глаза.

— Что случилось? — спросила г-жа д'Эглемон у мужа.

— Расскажу после,— ответил генерал, направляясь в соседний будуар,— дверь туда была открыта, и он заметил на столе в этой комнате газеты.

Маркиза вне себя, с разочарованным видом опустилась на диван.

Нотариус, почитая своею обязанностью приласкать детей, спросил мальчика слащавым тоном:

— Ну как, миленький, что представляли в театре?

— «Долину потока»,— буркнул Гюстав.

— Клянусь честью,— воскликнул нотариус,— писатели в наше время прямо какие-то полоумные! «Долина потока»! Почему не «Поток долины»? В долине может и не быть потока, а сказав «Поток долины», авторы представили бы нечто четкое, определенное, характерное, вразумительное. Но оставим это. Далее: разве драма может разыграться в потоке или в долине? Мне возразят, что нынче гвоздь представлений — декорации, а название говорит за то, что декорации в этой пьесе отменные. Вам-то понравилось, дружок? — прибавил он, усаживаясь рядом с мальчиком.

Когда нотариус спросил, может ли драма разыграться на дне потока, дочь маркизы медленно отвернулась и заплакала. Мать была так раздосадована, что не обратила внимания на дочку.

— Ах, да, сударь, очень понравилось,—ответил мальчик.— В пьесе показывают очень славного мальчика, у него нет никого на свете, потому что его папа не мог быть его папой. И вот когда он шел по мосту над рекой, какой-то страшный бородатый человек в черном сбросил его в воду. Тут сестрица заплакала, зарыдала, и все в зале закричали на нас, и папа нас поскорее, поскорее увел...

Господин де Ванденес и маркиза замерли, словно обессилев от какой-то страшной боли, которая сковала их, помешала им думать, действовать.

— Гюстав, да замолчи же! — крикнул генерал.— Я ведь запретил тебе говорить о том, что произошло в театре, а ты уже забыл мои наставления.

— Соблаговолите извинить его, ваше превосходительство,— произнес нотариус,— зря я его расспрашивал. Но я ведь не знал, как это важно...

— Он не должен был отвечать,— сказал отец, холодно глядя на сына.

Причина внезапного возвращения отца с детьми стала понятна дипломату и маркизе. Мать посмотрела на дочь, увидела, что та вся в слезах, поднялась было, чтобы подойти к ней; но внезапно лицо ее передернулось, и на нем появилось суровое выражение, которое ничто не могло бы смягчить.

— Перестаньте, Елена,— обратилась она к дочке,— ступайте в будуар и успокойтесь.

— Чем же провинилась бедная крошка?—спросил нотариус, желая смягчить гнев матери и умерить слезы дочери.— Девочка прехорошенькая и, должно быть, умница. Я глубоко уверен, сударыня, что она доставляет вам только радости. Не правда ли, деточка?

Елена, дрожа, посмотрела на мать, вытерла слезы, постаралась придать спокойное выражение лицу и убежала в будуар.

— И уж, конечно, сударыня,— разглагольствовал нотариус,— вы хорошая мать и любите своих детей одинаково. Кроме того, вы слишком добродетельны, чтобы предпочитать одного ребенка другому,— пагубные последствия такого предпочтения раскрываются особенно перед нами, нотариусами. Все общество проходит через наши руки, поэтому-то мы бываем свидетелями страстей в самом омерзительном их проявлении: в *корысти*. То мать старается лишить наследства детей от законного мужа в пользу своих детей-любимчиков; а муж иной раз хочет передать все имущество ребенку, вызывающему ненависть матери. И пойдет тут кутерьма: запугивание, подложные документы, фиктивные продажи, передача наследства *подставному лицу* — словом, прегнусная неразбериха, по чести говорю, прегнусная! То отцы прожига-

ют жизнь, лишая своих детеи материнского наследства, потому что воруют имущество у жен .. Да, именно *воруют*, так оно и есть. Мы тут говорили о драме. Э, уверяю вас, если бы мы могли раскрыть тайну иных дарственных записей, то наши писатели создали бы потрясающие трагедии из жизни буржуазных кругов. Просто не понимаю, что за власть такая у женщин, ведь вертят всеми, как им вздумается; хоть с виду они слабенькие, а перевес всегда на их стороне. Меня-то, однако, им ни за что не обмануть. Я-то всегда угадаю, что за причина скрывается за этакими предпочтениями, которые в свете из учтивости считают непостижимыми. А мужья, нужно прямо сказать, никогда не догадываются. Вы мне ответите, что бывают привязанности, склон...

Елена, выйдя с отцом из будуара, внимательно слушала нотариуса и так хорошо поняла его слова, что с испугом посмотрела на мать по-детски, инстинктивно предчувствуя, что событие это усугубит строгость, в которой ее держат. Маркиза побледнела и с ужасом указала Ванденесу на своего мужа, который задумчиво разглядывал цветы на ковре. Дипломат, невзирая на всю свою благовоспитанность, не мог сдержаться и бросил на нотариуса разъяренный взгляд.

— Пожалуйте сюда, сударь,— сказал он, быстро направляясь в соседнюю комнату.

Нотариус, не закончив фразы, умолк и в испуге пошел за ним.

— Сударь,— раздраженно сказал маркиз де Ванденес, изо всех сил захлопнув за собою дверь в гостиную, где оставались супруги,— с самого обеда вы делаете одни лишь глупости и мелете вздор. Уходите ради бога, иначе вы натворите уйму неприятностей. Может быть, вы и отличный нотариус, ну так и сидите в своей конторе; если же вам случается попасть в общество, старайтесь быть осмотрительнее...

И он вернулся в гостиную, даже не простившись с нотариусом. Тот был ошеломлен, сбит с толку, не понимал, что произошло. Когда шум в его ушах поутих, ему почудилось, что в гостиной кто-то стонет, что там какая-то суматоха, что кто-то нетерпеливо дергает за шнурки звонков. Ему стало страшно, что он снова увидит маркиза де Ванденеса, ноги сами понесли его, и он помчался к

лестнице; у дверей он столкнулся со слугами — они спешили на зов хозяина.

«Вот каковы все эти знатные господа! — думал он, когда наконец очутился на улице и стал искать извозчика.— Они втягивают вас в разговор, поощряют вас, похваливают; вы воображаете, что позабавили их,— как бы не так! Они дерзят вам, указывают на расстояние, отделяющее вас от них, и, ничуть не стесняясь, выставляют вас за дверь. А ведь держался я тонко, все, что говорил, было толково, рассудительно, прилично. Он мне посоветовал быть осмотрительнее, да у меня, клянусь честью, этого качества и так хватает. Ведь я, черт возьми, нотариус и член совета нашей коллегии. Ну, да что говорить, это просто прихоть господина посланника! Ничего святого нет у этих бар! Пусть он растолкует мне завтра, что за глупости я у него вытворял и какую плел околесицу. Я у него потребую объяснения, то есть попрошу мне объяснить, в чем тут дело. А впрочем, может быть, он и прав... Честное слово, зря я ломаю себе голову. Какое мне до всего этого дело?»

Нотариус вернулся домой и задал загадку своей супруге, рассказав ей о событиях того вечера.

— Мой дорогой Кроттá, его сиятельство был прав, говоря, что ты делал глупости и молол вздор.

— Как так?

— Милый мой, если я и растолкую тебе, ты завтра же как ни в чем не бывало начнешь все снова. Только я еще раз советую тебе: в обществе беседуй только о делах.

— Не хочешь — не говори; я спрошу завтра у...

— Боже мой, дураки и те стараются скрывать подобные вещи, а посланник так тебе о них и расскажет! Эх, Кроттà, до чего ж ты бестолков!

— Премного благодарен, дорогая!

V

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Бывший адъютант Наполеона, которого мы будем называть просто маркизом или генералом, разбогатевший при Реставрации, приехал на рождество в Версаль, в свой загородный дом, стоявший между церковью и за-

ставой Монтрей, на дороге, что ведет к улице Сен-Клу. Служба при дворе не позволяла ему уезжать далеко от Парижа.

При доме, некогда служившем убежищем для мимолетных любовных похождений какого-то знатного вельможи, было множество угодий. Вокруг раскинулись сады, и он приютился поодаль как от первых зданий Монтрейя, расположенных справа и слева, так и от хижин, стоявших по соседству с заставой; поэтому владельцы дома не были отрезаны от внешнего мира, зато в двух шагах от города наслаждались сельской тишиной. По какой-то причуде фасад и подъезд выходили прямо на дорогу, которая некогда, по-видимому, была безлюдной. Предположение это вполне вероятно, если вспомнить, что приводит она к прелестному дворцу, выстроенному Людовиком XV для мадемуазель де Роман, и что любопытные встречают по пути к нему немало особняков, где апартаменты и обстановка свидетельствуют о том, как утонченно кутили наши предки, и о том, что, невзирая на беспутство, в котором их обвиняют, они все же соблюдали тайну и стремились к уединению.

Как-то зимним вечером маркиз, его жена и дети сидели в гостиной. Слуг отпустили в Версаль: один из лакеев женился, и там справлялась свадьба; они решили, что празднование рождества да такое событие в придачу — причина веская, что господа простят их, и без стеснения посвятили торжеству немного больше времени, чем то было дозволено домашним распорядком. Генерал слыл за человека всегда выполняющего свое слово с безукоризненной честностью, и поэтому, когда прошло время, к которому надо было возвратиться, ослушников начали смущать угрызения совести. Однако пробило одиннадцать часов, а никто из слуг еще не вернулся. Царила глубокая тишина; порою было слышно, как ветер свистит в черных ветвях деревьев, как он завывает вокруг дома и с силой врывается в длинные коридоры. Земля стала твердой, мостовая обледенела, морозный воздух был чист, и каждый звук разносился с сухой звонкостью — явление, всегда поражающее нас. Грузные шаги захмелевшего гуляки или грохот извозчика, возвращающегося в Париж, раздавались явственнее и слышались издалека — дальше, чем обычно.

Опавшие листья, подхваченные налетевшим вихрем, шуршали, кружась, на каменных плитах двора, как бы придавая голос суровому безмолвию ночи. Словом, стоял один из тех студеных вечеров, которые вызывают у нашего себялюбия бесплодное сочувствие бесприютному бедняку или путнику и наполняют наш домашний очаг такою отрадой. Но семья, собравшаяся в гостиной, не думала ни о задержавшейся прислуге, ни о людях, лишенных крова, ни о сияющей красоте лунного вечера. Без неуместных рассуждений, полагаясь на старого воина, его жена и дети вкушали радости, которые порождает семейный уют, когда чувства не стеснены, когда привязанность и искренность оживляют беседу, игры и взгляды.

Генерал сидел или, вернее, удобно расположился в высоком, просторном кресле у камелька, где пылал огонь, распространявший живительное тепло — признак того, что на улице очень холодно. Почтенный отец семейства, чуть склонив голову и откинувшись на спинку кресла, застыл в той небрежной позе, которая говорит о безмятежном покое, о сладостной полноте счастья. Руки его лениво свесились, а на лице его выражалось полное блаженство. Он любовался младшим ребенком, мальчиком лет пяти; полуголый малыш не желал раздеваться и спасался бегством от ночной рубашки и чепчика, которыми мать порою грозила ему; на нем еще оставался вышитый воротничок, и когда мать звала маленького буяна, он заливался смехом, видя, что она и сама смеется над его непокорством; он снова принимался играть с сестрою, таким же невинным, но уже более смышленым существом, произносившим слова отчетливее, меж тем как забавный лепет и смутные мысли мальчугана были едва понятны родителям. Моина — она была старше брата на два года — смешила его своими выходками, в которых уже чувствовалась маленькая женщина; неумолчный и, казалось, беспричинный детский смех напоминал взрывы ракет; но, глядя, как малыши резвятся у огня и, не ведая стыда, выставляют напоказ свое хорошенькое, пухлое тельце, белую, нежную спинку, глядя, как смешиваются белокурые и черные кудри, как сталкиваются розовые личики, щеки с милыми веселыми ямочками, отец, а особенно, разумеется, мать постигали эти маленькие души, и для родителей уже явны были их характеры и наклонности.

Блестящие глаза, пылающие щеки, белоснежная кожа двух прелестных малюток были так ярки, что перед ними меркли цветы, вытканные на пушистом ковре — арене их шалостей, на которой они катались, боролись, падали, кувыркались. Мать их, сидя на диванчике у камина против мужа, среди разбросанной детской одежды, держала в руке красный башмачок, и видно было, что она ничего не может поделать с шалунами. Она не решалась прибегнуть к строгости, и ласковая улыбка не сходила с ее губ. Ей было лет тридцать шесть, но красота ее еще сохранилась благодаря редкостному совершенству черт, а от тепла, света и счастья она была в этот час необычайно хороша собою. Время от времени она переводила ласковый взгляд с детей на степенное лицо мужа; порою глаза их встречались, и они безмолвно делились радостью и сокровенными мыслями. Лицо генерала было покрыто загаром. На его широкий и открытый лоб спадали пряди седеющих волос. Мужественный блеск голубых глаз, отвага, которою дышали все черты его поблекшего лица, говорили о том, что ленточку, алевшую в петлице его сюртука, он приобрел ценою тяжких трудов. Сейчас невинное веселье детей отражалось на этом суровом, решительном лице, и оно светилось простодушной добротой. Старый воин сам невольно превращался в младенца. Вообще солдаты, которым довелось испытать много бед, любят детей, потому что понимают, как жалка сила и сколько преимуществ у слабости. Поодаль за круглым столом, освещенным висячей лампой, яркий свет которой состязался с бледным пламенем свечей, стоявших на камине, сидел подросток лет тринадцати и читал толстую книгу, быстро переворачивая страницы. Он не обращал никакого внимания на крики брата и сестры; на лице его отражались отроческая любознательность и полное забвение всего окружающего, которое оправдывалось увлекательной фантастикой «Тысячи и одной ночи» и мундиром лицеиста. Он сидел неподвижно, с задумчивым видом, положив локоть на стол и подперев голову рукою, и пальцы его белели на темных волосах. Свет падал на его лицо, а вся фигура тонула в тени, и он напоминал темные автопортреты Рафаэля, где художник, склонившись, сосредоточенно размышляет о будущем. Между столом и креслом маркизы за пяльцами сидела, то опуская, то

поднимая голову над вышиванием, красивая, рослая девушка с тщательно приглаженными, блестящими волосами цвета воронова крыла. От Елены нельзя было отвести глаз. Ее редкостная красота была отмечена силою и изяществом. Волосы, уложенные венцом вокруг головы, отливали шелком при каждом ее движении и были так пышны, что, не слушаясь гребня, выбивались тугими завитками на затылке, у самой шеи. Густые брови правильного рисунка резко оттеняли белизну чистого лба. Над верхней губой ее слегка темнел пушок — признак сильной воли; греческий носик был изысканно правильной формы. Но пленительная округлость стана, чистосердечность, которою дышали все черты ее, легкий румянец, томная нежность губ, совершенство овала лица и, главное, непорочность взгляда придавали ее могучей красоте женственную прелесть и ту обворожительную скромность, которую требуем мы от этих ангелов мира и любви. Однако в девушке не было никакой хрупкости, да и сердце ее, вероятно, было кротким, а душа сильной, под стать великолепным пропорциям ее тела и неотразимому очарованию лица. Она молчала, как и ее брат-лицеист, и казалось, была во власти тех неизбежных девичьих грез, которые часто ускользают не только от наблюдательного отцовского взгляда, но и от прозорливого взгляда матери; и нельзя было понять, от игры ли света или от тайных волнений набегают на ее лицо своенравные тени, подобные легким облачкам на чистой лазури небес.

В этот час родители совсем забыли о своих старших детях. Однако не раз генерал окидывал пристальным взглядом немую сцену второго плана, которая являла собою прелестное воплощение надежд, реявших в шумных детских играх этой семейной картины. Все эти фигуры, рисуя человеческую жизнь в незаметной ее постепенности, как бы представляли собою живую поэму. Роскошь убранства гостиной, живописные позы, красивая пестрота в сочетании цветных тканей, выразительные лица, озаренные ярким светом и столь различные по чертам и возрасту,— все это создавало яркую картину, каких мы требуем от скульпторов, художников, писателей. Наконец, тишина, зима, уединение и ночь наделяли своим величием эту дивную безыскусственную композицию, дар самой природы. В семейной жизни бывают священные часы,

неизъяснимая прелесть которых, быть может, обязана смутным воспоминаниям о лучшем мире. Часы эти озарены небесными лучами, они словно посланы человеку в вознаграждение за многие горести и для примирения его с жизнью; как будто здесь, перед нами, сама вселенная указывает великие принципы порядка, как будто здесь общество, показывая нам будущее, выступает защитником созданных им законов.

Однако, невзирая на ласковые взгляды, которые Елена бросала на Абеля и Моину, когда раздавались взрывы их смеха, невзирая на счастливое выражение, которое появлялось на ясном лице ее, когда она украдкой любовалась отцом, глубокая печаль чувствовалась во всех ее движениях, во всем ее облике и особенно в глазах, опушенных длинными ресницами. Ее белые, сильные руки вздрагивали; кожа на них просвечивала, и это придавало им прозрачность и еле уловимый розоватый оттенок. Всего лишь раз ее глаза и глаза маркизы невзначай встретились, и женщины поняли друг друга: холоден, непроницаем, почтителен был взгляд Елены; мрачен и угрожающ — взгляд маркизы. Елена поспешно опустила глаза на пяльцы, в ее руках мелькнула игла, и она долго не поднимала головы, словно ей стало трудно держать ее прямо. Быть может, мать чересчур строго относилась к ней, считая такую строгость полезной? Или маркиза завидовала красоте Елены, с которой еще могла соперничать, но лишь прибегая к ухищрениям наряда? Или дочь разгадала — как это бывает со многими дочерьми, когда они делаются проницательными,— тайны матери, с виду ревностно выполняющей свои обязанности и думающей, что эти тайны погребены в глубине ее сердца, как в могиле?

Елена вступила в тот возраст, когда нравственная чистота порождает суровую требовательность к себе, переходящую границы, в которых должны пребывать чувства. В глазах иных людей их собственные ошибки превращаются в преступления; тогда воображение воздействует на разум; часто в таких случаях девушки все преувеличивают и ждут жестокой кары за свой проступок, соразмерно тому значению, которое они придают ему. Елена, очевидно, считала, что она не достойна ни одного человека на свете. Тайна в прошлом, быть может, несчастный

случай, сначала неосознанный и только позже понятый ею благодаря впечатлительности и под влиянием религиозных воззрений, с недавних пор начали внушать ей чувство какого-то романтического самоуничижения. Она стала вести себя совсем иначе с того дня, когда прочла в сборнике иностранных пьес новый перевод прекрасной трагедии Шиллера «Вильгельм Телль». Маркиза, попрекнув дочь за то, что она уронила книгу, заметила, как пьеса потрясла Елену, особенно та сцена, в которой поэт установил некое сходство между Вильгельмом Теллем, пролившим человеческую кровь во имя спасения народа, и Иоганном Паррицидой. Елена стала смиренной, благочестивой, замкнутой, отказывалась выезжать в свет. Никогда еще не была она так нежна с отцом, особенно если маркиза не видела, как она ластится к нему. Любовь Елены к матери охладела, но было это почти неуловимо, и маркиз, должно быть, ничего не замечал, хотя и зорко следил за тем, чтобы в семье царило согласие. Человеческий взгляд недостаточно прозорлив, нельзя было проникнуть в тайники двух этих женских сердец: одного — юного и великодушного, другого— чувствительного и гордого; первое было кладезем снисходительности; второе — преисполнено лукавства и страсти. Скрытая материнская властность тяготила дочь, но это ощущалось лишь самою жертвой. Впрочем, только случай мог пролить некоторый свет на эти неразрешимые загадки. До этой ночи ничто не разоблачало эти две души; но, без сомнения, какая-то жуткая тайна лежала между ними и богом.

— Ну, перестань, Абель! — воскликнула маркиза, воспользовавшись тем, что Моина с братом, устав, замолкли и притихли.— Иди сюда, мой мальчик, пора спать...

И, строго взглянув на сына, она усадила его к себе на колени.

— Как, уже половина одиннадцатого, а слуг все нет и нет? Ну и гуляки!— заметил генерал.—Гюстав,— прибавил он, обернувшись к сыну,— я дал тебе книгу с условием, что ты кончишь читать ровно в десять; ты должен был сам закрыть ее в назначенный час и отправиться спать, так ты мне обещал. Если ты хочешь стать незаурядным человеком, данное тобою слово должно быть для тебя свято, ты обязан хранить его, как свою честь. У Фокса, одного из виднейших ораторов Англии, был

стойкий характер. Главным его достоинством была верность принятым на себя обязательствам. Когда он был маленьким, его отец, англичанин старого закала, преподал ему строгий урок, который навсегда запечатлелся в памяти Фокса. В твоем возрасте он приезжал на каникулы к отцу, вокруг замка которого, как водится у богатых англичан, был разбит большой парк. В парке стояла старинная беседка; ее намеревались разобрать и перенести в другое место, откуда открывался превосходный вид. Детям всегда очень нравится смотреть на разрушения. Мальчику хотелось на несколько дней продлить каникулы и посмотреть, как будут сносить беседку, но отец потребовал, чтобы он вернулся в колледж в назначенный день, к началу учения; отец с сыном из-за этого поссорились. Мать, как все мамаши, стала на сторону мальчика. Тогда отец торжественно обещал сыну отложить разборку беседки до следующих каникул. Фокс вернулся в колледж. Отец решил, что мальчик, отвлеченный занятиями, забудет обо всем, и приказал разрушить беседку и перенести ее на другое место. Но мальчик был упрям и думал только об этом. Приехав домой, он первым делом отправился посмотреть на старую беседку; к завтраку он пришел вне себя от огорчения и сказал отцу: «Вы меня обманули». Почтенный джентльмен ответил смущенно, но с достоинством: «Верно, сын мой; но я исправлю свою ошибку. Надобно блюсти свое слово крепче, чем богатство; ибо тот, кто держит слово, будет богат, а никакие богатства не сотрут пятна на совести, если нарушишь слово». Старик велел перенести беседку на прежнее место, а когда это было исполнено, приказал ее разрушить на глазах сына. Пусть это будет тебе уроком, Гюстав.

Гюстав внимательно выслушал отца и тотчас же закрыл книгу. Наступило молчание; генерал поднял Моину, боровшуюся со сном, и усадил ее к себе на колени. Головка девочки поникла, припала к отцовской груди, и Моина уснула, укутанная, как плащом, своими чудесными золотистыми кудрями. В этот миг с улицы донеслись чьи-то торопливые шаги, и три удара в дверь отдались эхом во всем доме. Гулкие удары были красноречивы, как красноречив вопль человека, которому грозит смертельная опасность. Сторожевая собака яростно залаяла. Елена, Гюстав, генерал и его жена вздрогнули, но спящий

Абель, которому мать осторожно расчесывала волосы, и Моина не проснулись.

— Вот ведь некогда человеку! — воскликнул генерал, укладывая дочь в кресло.

Он стремительно вышел из гостиной, не слыша, как жена умоляет его:

— Не ходи, друг мой!..

Маркиз вбежал в спальню, схватил два пистолета, засветил потайной фонарь, бросился к лестнице и, спустившись с быстротою молнии, вмиг очутился у парадной двери; за ним бесстрашно последовал его сын.

— Кто там? — спросил генерал.

— Отворите! — ответил кто-то, тяжело дыша.

— Вы друг?

— Друг.

— Вы один?

— Один... Да откройте же, *они* подходят!

Не успел генерал приотворить дверь, как кто-то со сказочной быстротой, словно тень, проскользнул в переднюю; маркиз был захвачен врасплох, и незнакомец ногой захлопнул дверь, а затем налег на створку спиной, видимо, решив никого не впускать. Генерал быстро направил пистолет на грудь незнакомца и осветил его фонарем; он увидел человека среднего роста, в меховой стариковской шубе, которая волочилась по земле и была ему широка, как будто ее сняли с чужого плеча. Из осторожности ли, случайно ли, но лоб беглеца прикрывала шляпа, надвинутая на самые глаза.

— Сударь,— обратился он к генералу,— уберите пистолет. Я не собираюсь оставаться здесь без вашего согласия; но знайте: если я выйду, у заставы меня ждет смерть! И какая смерть! За нее вы ответите перед богом. Я прошу гостеприимства на два часа. Однако, сударь, хоть я и проситель, необходимость вынуждает меня ставить условия. Мне надобно аравийское гостеприимство: пусть оно будет для вас священным, иначе отворите дверь, и я пойду на смерть. Мне нужна тайна, приют и вода. Ох, воды! — повторил он хриплым голосом.

— Кто вы такой? — спросил генерал, пораженный лихорадочной быстротой речи незнакомца.

— Вот как — «кто я такой»? Что ж, отворяйте дверь,

и я уйду,— отвечал незнакомец с какою-то дьявольской усмешкой.

Маркиз во все стороны водил фонарем, чтобы осветить незнакомца, но ему удалось разглядеть только нижнюю часть его лица, и ничто не говорило в пользу того необычайного гостеприимства, которого требовал беглец: бледные щеки его подергивались, и все черты были искажены. В тени, отброшенной полями шляпы, сверкали глаза, и перед их блеском, казалось, бледнел тусклый свет фонаря. Однако генерал должен был дать ответ.

— Сударь,— сказал он,— ваши слова столь удивительны, что и вы на моем месте...

— Жизнь моя в ваших руках! — воскликнул незнакомец, перебивая хозяина, голос его был страшен.

— На два часа? — нерешительно произнес генерал.

— На два часа! — подтвердил беглец.

И вдруг в порыве отчаяния он сорвал с себя шляпу, обнажил лоб и, словно делая последнюю попытку, устремил на генерала горящие, живые глаза, взор которых проникал в самую душу. Взор этот излучал мысль и волю, вспыхивал молнией и поражал, как гром; ведь в иные минуты люди обладают необъяснимой властью.

— Проходите, и кто бы вы ни были, здесь вы в безопасности,— проговорил хозяин дома, и ему показалось, что он подчиняется одному из тех внутренних побуждений, в которых человек не всегда может дать себе отчет.

— Да вознаградит вас бог!— воскликнул незнакомец, облегченно вздохнув.

— Оружие у вас есть? — спросил генерал.

Вместо ответа неизвестный проворно распахнул шубу, но не успел маркиз рассмотреть его, как он снова закутался. Оружия не было видно, и одет он был так, словно явился прямо с бала. Хоть и вскользь оглядел его недоверчивый генерал, он увидел достаточно и воскликнул:

— Черт возьми, где это вы умудрились так промокнуть, ведь погода сухая?

— Опять вопросы! — высокомерно ответил незнакомец.

Тут маркиз заметил сына и вспомнил об уроке, который только что преподал ему о том, как нерушимо надо держать данное слово; это его раздосадовало, и он в сердцах сказал:

— Ах ты, упрямец этакий! Ты все еще здесь, а не в постели?

— Я думал, что пригожусь вам в случае опасности,— ответил Гюстав.

— Ну, ступай к себе в комнату,— промолвил генерал, смягчившись от такого ответа.— А вы,— обратился он к незнакомцу,— следуйте за мной!

Они замолчали, как два игрока, не доверяющие друг другу. У генерала появились какие-то мрачные предчувствия. Присутствие незнакомца тяготило его, как дурной сон; но, верный своему слову, он провел его по коридорам и по лестницам в большую комнату, расположенную на третьем этаже, как раз над гостиной. Эта нежилая комната зимой служила сушильней и не сообщалась с другими покоями; ее выцветшие стены украшало лишь никуда не годное зеркало, забытое на камине прежними владельцами, да большое трюмо, для которого не нашлось места, когда размещали мебель маркиза; оно было на время поставлено тут против камина. Пол в этой огромной мансарде никогда не подметался, здесь стоял ледяной холод и не было никакой обстановки, кроме двух стульев с продранными соломенными сиденьями. Генерал поставил фонарь на камин и обратился к неизвестному:

— Эта пустая мансарда будет вашим убежищем,—тут всего безопаснее. Я дал вам слово, что сохраню тайну, поэтому разрешите мне вас запереть.

Незнакомец склонил голову в знак согласия.

— Я просил лишь приюта, тайны и воды,— заметил он.

— Воду я сейчас принесу,— ответил маркиз и, тщательно заперев дверь, ощупью спустился в зал, чтобы взять свечу и пойти в буфетную за графином.

— Что случилось? — с живостью спросила маркиза у мужа.

— Ничего, дорогая,— холодно ответил он.

— Но ведь мы хорошо слышали, что вы кого-то провели наверх...

— Елена,— сказал генерал, глядя на дочь, которая вскинула на него глаза,— знайте, что честь вашего отца зависит от вашей выдержки. Вы ничего не слышали.

Девушка в ответ выразительно кивнула головой. Маркиза была озадачена и уязвлена тем, что муж косвен-

ным образом велел ей замолчать. Генерал пошел за графином и стаканом и вернулся в комнату, где был заперт его пленник; незнакомец стоял возле камина, прислонившись к стене, с непокрытой головой; шляпу он бросил на стул. Он, вероятно, не ожидал, что его увидят при таком ярком освещении; когда его взгляд встретился с пронизывающим взглядом генерала, на его лице появилось угрюмое выражение; но он тотчас же смягчился и, любезно улыбнувшись, поблагодарил своего покровителя. Генерал поставил стакан и графин с водой на камин, и неизвестный, еще раз бросив на него горящий взгляд, прервал молчание.

— Сударь,— тихо сказал он, и голос его уже не прерывали спазмы, хотя он все еще выдавал внутреннее волнение,— я, конечно, кажусь вам странным. Извините меня за причуды, но они вызваны необходимостью. Если вы останетесь здесь, то я прошу вас, не смотрите на меня, когда я стану пить.

Маркиза раздражало, что он вынужден все время повиноваться человеку, который не нравится ему, и он резко повернулся к нему спиной. Незнакомец выхватил из кармана белый носовой платок, обернул им правую руку; затем взял графин и залпом выпил всю воду. Маркиз, вовсе не помышляя нарушить свое безмолвное обещание, нечаянно взглянул в трюмо; благодаря расположению зеркал он отлично увидел незнакомца и заметил, что платок сразу стал красным, потому что беглец прикоснулся к нему окровавленными руками.

— А, вы посмотрели на меня! — воскликнул незнакомец, когда, выпив воду и запахнувшись в шубу, он опасливо взглянул на генерала.— Я погиб! *Они* идут, вот *они!*

— Я ничего не слышу,— сказал генерал.

— Вам нет нужды, как мне, прислушиваться.

— Вы в крови, уж не дрались ли вы на дуэли? — спросил генерал, встревоженный цветом пятен, которые расползлись по одежде его гостя.

— Вот именно, на дуэли,— подтвердил незнакомец, и его губы тронула желчная усмешка.

В этот миг издали послышался топот копыт: несколько лошадей неслись галопом; но звуки эти были слабы, как первые проблески зари. Привычное ухо генерала уловило, что скачут вымуштрованные кавалерийские лошади.

— Это жандармы,— произнес он.

Он взглянул на своего пленника так, словно хотел рассеять сомнения, которые, вероятно, внушил ему своей невольною нескромностью, взял свечу и спустился в гостиную. Не успел он положить ключ от верхней комнаты на камин, как топот конницы стал явственнее; она приближалась к особняку с такой быстротой, что генерал вздрогнул. И действительно, лошади остановились у подъезда. Один из всадников, обменявшись несколькими словами с товарищами, соскочил и так громко постучался, что генералу пришлось отворить дверь. Он не мог совладать с тайным волнением, увидев шесть жандармов в шапках с серебряными галунами, блестевшими при лунном свете.

— Ваша светлость,— обратился к нему бригадир,— вы не слышали, не пробежал ли сейчас к заставе человек?

— К заставе? Нет, не слышал.

— Вы никому не отпирали двери?

— Вы что же, думаете, что я всегда сам отпираю двери?

— Прошу извинить, ваше превосходительство, но мне показалось...

— Эго еще что за шутки! — сердито крикнул маркиз.— Как вы смеете?..

— Не извольте гневаться, ваша светлость,—смиренно продолжал бригадир.— Извините нас за старание. Мы отлично знаем, что пэр Франции не станет впускать в свой дом убийцу, но мы хотим получить некоторые сведения...

— Убийцу! — воскликнул генерал.— И кого же он?..

— Сейчас зарубили топором барона де Мони,— подхватил жандарм.— Но за убийцей снарядили погоню. Мы уверены, что он где-нибудь тут, неподалеку, и устроим облаву. Прошу прощения, ваше превосходительство.

Говоря это, жандарм уже вскочил на лошадь и, к счастью, не мог видеть лица генерала. Бригадир привык строить всевозможные предположения, и, взгляни он на это открытое лицо, где так ясно отражались все движения души, он мог бы что-нибудь заподозрить.

— А кто убийца, известно? — спросил генерал.

— Нет,— отвечал всадник.— В конторке были банковые билеты и золото, но они не тронуты.

— Значит, это месть,— заметил генерал.

— Да что вы — старику-то? Нет, грабителю просто помешали.

И жандарм поскакал вдогонку за своими спутниками, которые были уже далеко. Генерал не мог опомниться, и это вполне понятно. Вскоре он услышал, что возвращаются его слуги; они о чем-то с жаром рассуждали, голоса их доносились с перекрестка Монтрей. Когда они пришли, генерал, которому надо было излить свой гнев, обрушился на них. От громовых раскатов его голоса содрогался весь дом. Но генерал тотчас же утих, когда камердинер, самый смелый и находчивый из его слуг, объяснил, что они опоздали потому, что у самого Монтрейя их задержали жандармы и агенты полиции, которые разыскивают какого-то убийцу. Маркиз замолчал. Слова эти напомнили ему, к чему его обязывает создавшееся нелепое положение; он сухо приказал слугам немедленно же ложиться спать, а они были до крайности удивлены, что генерал так легко поверил выдумке своего камердинера.

Но пока во дворе разыгрывались эти события, случай, как будто маловажный, изменил положение участников этой драмы. Едва маркиз вышел, как жена его, бросавшая взгляды то на ключ от мансарды, то на Елену, в конце концов наклонилась к дочери и произнесла вполголоса:

— Елена, отец оставил ключ на камине.

Девушка подняла голову и робко взглянула на мать, глаза которой загорелись от любопытства.

— Так что же, маменька? — смущенно спросила она.

— Мне бы хотелось знать, что происходит наверху. Там никто даже не шелохнется. Сходи-ка туда...

— Сходить туда? — испуганно переспросила девушка.

— Ты боишься?

— Нет, маменька, но мне послышались там мужские шаги.

— Если б я могла пойти сама, Елена, то не стала бы просить вас об этом,— высокомерно продолжала мать.— Если отец вернется и не застанет меня, он, пожалуй, спросит, где я, а вашего отсутствия он не заметит.

— Если вы мне велите, я пойду; но я потеряю уважение отца...

— Ах, вот что! — насмешливо промолвила маркиза.— Вы приняли шутку всерьез, так теперь я приказы-

ваю вам пойти и посмотреть, что делается наверху. Вот ключ, Елена!.. Отец потребовал, чтобы вы молчали о том, что сейчас происходит в доме, но он вовсе не запрещал вам заглянуть в ту комнату. Ступайте и помните, что дочь не имеет права судить свою мать.

Произнеся последние слова со всей строгостью оскорбленной матери, маркиза взяла ключ и передала его Елене; та молча встала и вышла из гостиной.

«Мать всегда сумеет добиться у него прощения; а я, я-то погублю себя в его глазах! Уж не хочет ли она, чтобы отец разлюбил меня, не хочет ли выжить меня из дому?»

Такие мысли мелькали в ее уме, пока она шла по темному коридору, в конце которого была дверь потайной комнаты. Когда она подошла к ней, в смятении мыслей ее было что-то роковое. От этих смутных размышлений хлынули через край чувства, до сих пор затаенные в ее сердце. Она, вероятно, и так уже не надеялась на счастливое будущее, в этот же страшный миг она совсем отчаялась; она дрожала, поднося ключ к замочной скважине, и ее волнение было так велико, что ей пришлось с минуту постоять, приложив руку к сердцу, будто она могла успокоить его сильные и звучные толчки. Наконец она отперла дверь. Скрип петель, по-видимому, не привлек внимания убийцы. Он был так углублен в свои мысли, что, невзирая на тонкий слух, стоял неподвижно, прислонившись к стене, словно был пригвожден к ней. Его чуть озарял светлый круг, отброшенный фонарем, и в этой полутьме он походил на сумрачные статуи рыцарей, стоящие по углам мрачных усыпальниц в готических часовнях. Капли холодного пота выступили на его смуглом высоком лбу. Удивительной отвагой дышали эти черты, искаженные страданием. Горящие, неподвижные и сухие глаза, казалось, наблюдали битву, происходящую перед ним в темноте; вихрь мятежных мыслей отражался на его лице, а твердое и решительное выражение говорило о возвышенной душе. Стан незнакомца, поза, сложение были под стать его бунтарской душе. Человек этот, полный какой-то дикой, могучей силы, пристально смотрел во мрак, словно предвидя свое будущее. Генерал, привыкший к мужественным лицам выдающихся людей, окружавших Наполеона, и занятый больше мыслью о том, что

представляет собою душа этого странного гостя, не обратил внимания на его удивительную наружность; но Елена, на которую, как на всех женщин, производило сильное впечатление все внешнее, была потрясена игрою света и тени, поэтическим хаосом, величием и страстностью лица, которые придавали незнакомцу сходство с Люцифером, воспрянувшим после падения. Внезапно буря, омрачавшая его лицо, утихла, как по волшебству, и неизъяснимая, властная сила, олицетворением которой, быть может помимо своей воли, был этот человек, захватила его с быстротою наводнения. Поток мыслей внутренним светом залил его лоб, морщины разгладились. И девушка, *завороженная* то ли необычайной встречею, то ли тайной, которой она коснулась, теперь могла любоваться его приятным, привлекательным лицом. Она простояла несколько мгновений молча, словно очарованная, во власти волнений, доселе неведомых ее молодой душе. Но скоро, потому ли, что у Елены вырвалось восклицание или жест, или потому, что убийца из мира грез вернулся в мир действительный и услышал чье-то дыхание, он повернул голову и, едва различив в полумраке прекрасное лицо и величавый стан девушки, должно быть, принял эту непо-
движную фигуру за ангела, за призрачное видение.

— Сударь...— промолвила Елена дрожащим голосом.

Убийца вздрогнул.

— Женщина? — негромко воскликнул он.— Да возможно ли это! Покиньте меня,— произнес он.— Я ни за кем не признаю права жалеть меня, прощать или осуждать. Я должен жить один. Ступайте, дитя мое,— прибавил он с величественным жестом,— плохо отблагодарю я хозяина этого дома, если позволю кому-нибудь из его домочадцев дышать одним со мной воздухом. Я вынужден подчиняться законам света.

Последняя фраза была произнесена еле слышно. С редкостным своим умением предвидеть он постиг все несчастья, которые возвещает эта печальная истина, и, бросив на Елену пронизывающий взгляд, всколыхнул в голове необыкновенной девушки целый мир мыслей, еще дремавших в ней. То был свет, как бы озаривший еще неведомые ей страницы жизни. Ее душа была подавлена, покорена, она не находила в себе сил, не могла защититься от магнетической власти взгляда, даже не-

вольно брошенного на нее. Она была в смятении и дрожа выбежала из комнаты. Она вернулась в гостиную всего лишь за минуту до возвращения отца и ничего не успела рассказать матери.

Генерал был озабочен; скрестив руки, он молча и мерно шагал от окон, выходивших на улицу, к окнам, из которых виден был сад. На руках его жены лежал уснувший Абель. Моина безмятежно спала в кресле, как птичка в гнездышке. Старшая дочь не сводила глаз с огня; в одной руке у нее был клубок шелковых ниток, в другой — иголка. В гостиной, во всем доме и на улице царила глубокая тишина, и ее нарушали только неторопливые шаги слуг, расходившихся на покой; слышались взрывы приглушенного смеха — то были последние отзвуки веселой свадебной пирушки; да еще хлопали двери, когда слуги отворяли их, переговариваясь, и потом затворяли вновь. Из комнат, где они укладывались спать, доносился глухой шум. Упал стул. Чуть слышно раздался кашель старого кучера и смолк. И вскоре настала суровая тишина, в которую погружается полуночной порою заснувшая природа. Во мраке блестели одни лишь звезды. Холод сковал землю. Все молчало, все было недвижно. Только потрескивали дрова в камине, словно для того, чтобы люди, сидевшие в гостиной, почувствовали всю глубину безмолвия ночи. Часы в Монтрейе пробили час. В это время на лестнице послышались легкие шаги. Маркиз и его дочь, уверенные, что убийца г-на де Мони заперт, решили, что идет кто-нибудь из служанок, и не обратили внимания на то, что отворились двери из соседней комнаты. И вдруг появился убийца. Ужас, охвативший маркиза, живое любопытство его жены и изумление дочери позволили незнакомцу беспрепятственно дойти почти до середины гостиной, и он сказал генералу спокойным и на редкость приятным голосом:

— Сударь, два часа на исходе.

— Вы здесь! — воскликнул генерал.— Каким чудом?..

Он грозно и вопрошающе посмотрел на жену и детей. Елена вспыхнула.

— Вы, вы среди нас! — продолжал генерал взволнованным голосом.— Убийца, обагренный кровью,— здесь!

Вы оскверняете эту комнату! Прочь! Прочь отсюда! — яростно добавил он.

При слове «убийца» у маркизы вырвался вопль. Лицо же Елены — а слово это, очевидно, решило ее судьбу — не выразило ни малейшего удивления. Казалось, она давно ждала этого человека. Все, о чем она так много думала, теперь приобрело смысл! Кара небесная, которая суждена была за ее проступок, разразилась. Она считала себя преступницей, такой же, как этот человек, и смотрела на него ясным взглядом: она его подруга, его сестра. Она видела во всем этом волю божию. Прошло бы несколько лет, и ее рассудок справился бы с муками совести, но сейчас она была в каком-то исступлении. Незнакомец стоял неподвижно и был невозмутим. Презрительная усмешка скользнула по его лицу, тронула полные алые губы.

— Я благородно поступаю по отношению к вам, но вы этого не цените,— тихо произнес он.— Я не хотел прикасаться рукою к стакану, из которого я пил, когда меня томила жажда. Я даже не хотел обмыть свои окровавленные руки под вашей кровлей; я ухожу, оставив от моего «преступления» (при этих словах его губы сжались) одно лишь воспоминание, ибо я старался пройти так, чтобы здесь от него не сохранилось ни малейшего следа. Я не допустил, чтобы ваша дочь...

— Моя дочь! — воскликнул генерал, с ужасом посмотрев на Елену.— Вон отсюда, негодяй, или я убью тебя!

— Два часа еще не истекли. Вы не можете ни убить меня, ни выгнать, не потеряв уважения к самому себе... и моего уважения.

Тут ошеломленный генерал попытался смерить взглядом преступника, но принужден был опустить глаза; он чувствовал, что не в силах выдержать взор незнакомца, нестерпимо блестящий взор, вторично смутивший его душу. Он испугался, что снова смягчится, так как сознавал, что воля его слабеет.

— Убить старика! Вы, должно быть, и понятия не имеете о том, что такое семья? — проговорил он, с отеческой нежностью указывая на жену и детей.

— Да, старика,— повторил незнакомец, нахмурив брови.

— Бегите! — крикнул генерал, не смея взглянуть на непрошеного гостя.— Наш договор нарушен. Я не предам вас. Нет! Я никогда не стану поставлять людей на эшафот. Но уходите, вы нам гадки.

— Я знаю,— покорно ответил преступник.— Во Франции нет ни клочка земли, куда бы я мог ступить с безопасностью для себя; но если бы правосудие, подобно богу, судило всякого по его деяниям, ежели бы оно соблаговолило расследовать, кто чудовище — убийца или его жертва,— я бы мог с гордостью остаться среди людей. Вам ли не знать преступлений человека, которого только что обезглавили! Я стал судьей и палачом, я заменил собою беспомощное человеческое правосудие. Вот в чем мое преступление. Прощайте, сударь. Ваше гостеприимство было отравлено для меня, тем не менее я не забуду о нем. Я сохраню в душе чувство благодарности к одному-единственному человеку на свете, и этот человек — вы... Но мне бы хотелось, чтобы вы были великодушнее.

Он направился к двери. В этот миг Елена наклонилась к матери и что-то шепнула ей на ухо.

— Ах, замолчи!..

Возглас этот вырвался из груди маркизы, и генерал, услыхав его, вздрогнул так, словно увидел, что Моина умерла. Елена встала, и убийца невольно обернулся; по его лицу было видно, что он тревожится за эту семью.

— Что с вами, дорогая? — спросил маркиз у жены.

— Елена хочет бежать с ним,— сказала она.

Убийца покраснел.

— Маменька неверно объясняет вырвавшиеся у меня слова,— тихо произнесла Елена.— Ну что ж, я осуществлю ее желание.

Девушка окинула всех горделивым, пожалуй, даже ожесточенным взглядом и потупилась; поза ее была полна скромности.

— Елена,— спросил генерал,— вы ходили в комнату, куда я поместил...

— Да, отец.

— Елена,— проговорил он, и голос его изменился от внутренней дрожи,— вы впервые видите этого человека?

— Да, отец.

— В таком случае ваше намерение совершенно нелепо...

— Пусть нелепо, но я решилась...

— Ах, дочь моя!..— произнесла маркиза негромко, но так, чтобы муж услышал ее.— Елена, вы идете наперекор правилам чести, скромности, добродетели, которые я старалась внушить вам. Если мы до этого рокового часа обманывались в вас, то вы недостойны и сожаления. Ведь не нравственное же совершенство этого незнакомца пленило вас? Или вас влечет сила, которая надобна лишь преступникам?.. Нет, нет, я хорошо вас знаю и не могу предположить...

— О! Предполагайте все, что вам угодно,— холодно заметила Елена.

Но, несмотря на твердость характера, которую Елена проявила в этот час, нелегко было пламени, горевшему в ее глазах, осушить набежавшие слезы. Увидев слезы девушки, незнакомец понял, о чем говорит мать; он бросил на маркизу орлиный взор, и какая-то непреодолимая власть заставила ее взглянуть на страшного соблазнителя. Но когда глаза ее встретились с ясными и блестящими глазами незнакомца, она вздрогнула — так вздрагиваем мы, увидя змею или прикоснувшись к лейденской банке.

— Друг мой,— крикнула она мужу,— это дьявол! Он разгадывает все.

Генерал вскочил, собираясь схватить шнурок от звонка.

— Он вас погубит,— сказала Елена убийце.

Незнакомец усмехнулся, сделал шаг, отвел руку маркиза, устремив на него свой пристальный взгляд, от которого все цепенели, и генерал потерял почву под ногами.

— Я отплачу вам за ваше гостеприимство,— промолвил убийца,— и мы сочтемся. Я избавлю вас от позора и выдам себя сам. Ну зачем мне теперь жить?

— Вы еще можете раскаяться,— ответила Елена, глядя на него с тою надеждой, которая светится лишь в глазах юных девушек.

— Раскаиваться я никогда не стану,— ответил убийца звучным голосом, гордо вскинув голову.

— Его руки запятнаны кровью,— сказал Елене отец.

— Я оботру их,— ответила она.

— Но вы даже не знаете, нужны ли вы ему,— возразил генерал, не осмеливаясь указать на неизвестного.

Убийца приблизился к Елене; ее прекрасное лицо, целомудренное и строгое, было освещено внутренним светом, отблески которого озаряли и как бы выделяли каждую черту и самые тонкие линии; бросив на прекрасную девушку нежный взгляд, огонь которого еще вселял ужас, он взволнованно сказал:

— Из любви к вам и из желания отблагодарить вашего отца за два часа жизни я отказываюсь от вашего самопожертвования.

— И вы тоже отталкиваете меня! — воскликнула Елена голосом, раздирающим сердце.— Прощайте же все, я умру!

— Что все это означает? — закричали отец и мать в один голос.

Девушка не проронила ни слова и, посмотрев на маркизу вопрошающим выразительным взглядом, опустила глаза. С той минуты, как генерал и его жена попытались воспротивиться словами и действием странному вторжению незнакомца в их семейный круг, и с той минуты, как он устремил на них какой-то ошеломляющий, горящий взгляд, оба они впали в необъяснимое оцепенение, и их онемевший рассудок не мог отразить сверхъестественную власть, которая их подчинила. Они чувствовали, что им не хватает воздуха, они задыхались, но не могли обвинить в этом того, кто так угнетал их, хотя внутренний голос подсказывал им, что именно в этом человеке, в этом чародее таится причина их безволия. Генерал, чувствуя упадок духа, понял, что он должен собрать все силы и образумить дочь: он обнял Елену и отошел с нею к окну, подальше от убийцы.

— Дорогая моя девочка,— вполголоса сказал он,— если какая-то необыкновенная любовь вдруг родилась в твоем сердце, то вся жизнь твоя, чистота твоих помыслов, твоя невинная и набожная душа доказали мне, что у тебя стойкий характер, и я думаю, что силы у тебя довольно, чтобы не поддаться минутному безумию. Значит, в поведении твоем кроется тайна. Так вот, мое сердце полно отеческой снисходительности, доверься ему, и если ты даже ранишь его, я заглушу свои страдания, я никому не расскажу о твоей исповеди. Послушай, может быть, ты

ревнуешь нас к своим братьям, к сестрице? Что с тобой? Любовь ли смутила твою душу или ты несчастлива дома? Скажи мне, что заставляет тебя оставить нас, покинуть семью, лишить ее того, что всего в ней милее, бросить мать, братьев, сестру?

— Папенька,— ответила она,— я не ревную, я ни в кого не влюблена, даже в вашего друга, господина де Ванденеса.

Маркиза побледнела, и дочь, наблюдавшая за нею, умолкла.

— Но ведь мне рано или поздно придется покинуть вас и жить под покровительством мужа.

— Ты права.

— Разве мы знаем тех, с кем связываем свою судьбу? А в этого человека я верю.

— Дитя,— заметил генерал, повышая голос,— ты не представляешь себе страданий, которые ждут тебя.

— Я думаю о его страданиях.

— Что за жизнь предстоит тебе! — промолвил отец.

— Жизнь женщины,— прошептала дочь.

— Вот как! Откуда у вас такая осведомленность? — воскликнула маркиза, обретая дар слова.

— Сударыня, вопрос подсказывает мне, как ответить. Извольте, я буду говорить яснее...

— Говорите все, дитя мое!.. Ведь я мать.

Тут дочь взглянула на маркизу, и этот взгляд заставил мать умолкнуть.

— Елена, я стерплю все ваши упреки, если вы найдете причину для упреков, только бы не видеть, что вы последуете за человеком, от которого все бегут с ужасом.

— Вы сами понимаете, сударыня, что без меня он будет совсем одинок.

— Довольно! — крикнул генерал.— Отныне у нас только одна дочь.

И он взглянул на спавшую Моину.

— Я вас заточу в монастырь,— прибавил он, повернувшись к Елене.

— Воля ваша, отец,— ответила она с спокойствием отчаяния.— Тогда я умру. Вы держите ответ за мою жизнь и за *его* душу только перед господом богом.

Наступило тяжелое молчание. По обычным представлениям светских людей, сцена эта была позорной, и никто

не решался посмотреть друг другу в глаза. Тут маркиз заметил свои пистолеты, схватил первый попавшийся, взвел курок и навел дуло на неизвестного. Обернувшись на шум, незнакомец спокойно и пристально посмотрел на генерала, рука которого, дрогнув от непреодолимой слабости, тяжело опустилась и выронила пистолет.

— Дочь моя,— сказал тогда отец, изнемогая от этой страшной борьбы,— вы свободны. Поцелуйте свою мать, если она согласится на это. Я же больше не хочу вас видеть, не хочу слышать вас...

— Елена,— обратилась мать к девушке,— подумайте, ведь вы станете нищей!

Хриплый стон вырвался из широкой груди убийцы и привлек к нему все взгляды. На его лице было написано презрение.

— Гостеприимство, которое я вам оказал, обходится мне дорого! — воскликнул генерал, вставая.— Вы убили не одного старика, вы убиваете целую семью. Что бы там ни было, а этот дом погрузится в безысходную печаль.

— А если ваша дочь будет счастлива? — спросил убийца, пристально смотря на генерала.

— Если она будет счастлива с вами,— ответил отец, делая невероятное усилие над собой,— я не буду горевать о ней.

Елена, робея, опустилась на колени перед отцом и ласково сказала ему:

— Отец, я люблю вас и почитаю, станут ли мне напутствием сокровища вашей доброты или суровая немилость... И я заклинаю вас, пусть последние слова ваши не будут внушены гневом.

Генерал не решался посмотреть на дочь. В этот миг к ним подошел незнакомец и, улыбаясь Елене улыбкой, в которой было что-то и демоническое и небесное, сказал:

— Ангел милосердия, которого не страшит убийца, нам пора уходить, раз вы твердо решили вручить мне свою судьбу.

— Нет, это непостижимо! — воскликнул отец.

Маркиза бросила на дочь какой-то странный взгляд и протянула к ней руки. Елена, рыдая, бросилась в ее раскрытые объятия.

— Прощайте, маменька, прощайте! — повторяла она.

Елена смело кивнула незнакомцу, и он вздрогнул. Она

поцеловала руку отцу, торопливо, без нежности поцеловала Моину и маленького Абеля и исчезла вслед за убийцей.

— Куда они пошли? — закричал генерал, прислушиваясь к шагам беглецов.— Сударыня,— обратился он к жене,— да не сон ли это? Тут скрывается какая-то тайна. Вы, должно быть, знаете ее.

Маркиза затрепетала.

— С некоторых пор,— отвечала она,— Елена сделалась до крайности романтична и восторженна. Хоть я и старалась побороть эту склонность ее характера...

— Это не совсем понятно...

Но генералу послышалось, будто в саду раздаются шаги дочери и незнакомца, он замолчал и быстро растворил окно.

— Елена! — крикнул он.

Его голос потерялся во мраке ночи, словно напрасное пророчество.

Произнося это имя, на которое некому уже было отозваться, генерал, словно по мановению волшебного жезла, нарушил чары, владевшие им как дьявольское наваждение. По лицу его было видно, что он вдруг опомнился. Он ясно представил себе сцену, которая только что разыгралась, он начал проклинать свою непостижимую слабость. Кровь горячей волной хлынула от его сердца к голове, к ногам; он пришел в себя, он стал страшен, его охватила жажда мести, и он крикнул громовым голосом:

— На помощь! На помощь!

Он бросился к шнуркам звонков, рванул их, оборвал, и необычайный перезвон разнесся по всему дому. Слуги сразу проснулись. А он все кричал, он распахнул окна на улицу, стал звать жандармов, схватил пистолеты и начал стрелять, чтобы поторопить конную полицию, чтобы скорее поднять на ноги слуг, всполошить соседей. Собаки узнали голос хозяина и залились лаем, лошади заржали и стали бить землю копытами. Поднялся оглушительный шум, нарушивший ночную тишину. Сбегая по лестнице в погоне за дочерью, генерал увидел, что со всех сторон спешат перепуганные слуги.

— Мою дочь... Елену... похитили! Скорее в сад... охраняйте улицу!.. Откройте ворота жандармам! Все за убийцей!

И с силою, порожденной яростью, он разорвал цепь, которой был привязан огромный сторожевой пес.

— Елена! Елена! — твердил он, наклоняясь к нему.

Собака прыгнула, словно лев, свирепо залаяла и так стремительно ринулась в сад, что генерал не мог ее догнать. В это время послышался конский топот, по улице неслись лошади; генерал сам бросился открывать ворота.

— Бригадир,— крикнул он,— преградите путь убийце господина де Мони, он уходит через мои сады! Немедленно окружите дороги к Пикардийским холмам. Я прикажу устроить облаву во всех владениях, парках, домах.,. А вы,— обратился он к слугам,— вы подстерегайте его на улице, караульте дорогу от заставы до Версаля. Вперед! Все как один!

Он схватил ружье, которое ему принес из комнаты камердинер, и кинулся в сад, крикнув собаке:

— Ищи!

В ответ издалека донесся страшный лай, и генерал поспешил в ту сторону, где, как ему показалось, лаяла собака.

В семь часов утра поиски жандармов, генерала, всех слуг и соседей еще ни к чему не привели.

Собака не вернулась. Маркиз, измученный и постаревший от горя, вошел в дом, который стал пустым для него, хотя там было еще трое детей.

— Вы были очень холодны с дочерью,— произнес он, глядя на жену.— Вот все, что от нее осталось! — добавил он, показывая на пяльцы, где виднелся цветок в начатой вышивке.— Еще недавно она была здесь, а сейчас она погибла... погибла!

И он зарыдал, закрыв лицо руками, застыл в молчании, не в силах более смотреть на эту гостиную, недавно еще являвшую собою пленительную картину семейного счастья. Отблески зари состязались с гаснущими лампами; вокруг догоравших свечей вспыхнули бумажные розетки; все вторило отчаянию отца.

— Это надобно уничтожить,— сказал он после минутного молчания, показывая на пяльцы.— Выше сил моих смотреть на то, что связано с воспоминанием о ней.

Та страшная рождественская ночь, когда маркиза и его жену постигло несчастье, когда они потеряли старшую

дочь, потому что не могли противиться непонятной власти невольного ее похитителя, была как бы предвестием, посланным судьбою. Маркиз был разорен банкротством своего биржевого маклера. Он заложил недвижимое имущество жены, чтобы попытать счастья в какой-то спекуляции и, нажившись на ней, восстановить прежнее благосостояние; но предприятие это разорило его вконец. Он готов был в отчаянии пойти на все и покинул отечество. Шесть лет прошло со дня его отъезда. Семья редко получала от него известия, но незадолго до того, как Испания признала независимость южноамериканских республик, он известил о своем возвращении.

Итак, в одно прекрасное утро несколько французов-негоциантов, спешивших поскорее вернуться на родину с богатством, приобретенным ценою долгих стараний и опасных путешествий в Мексику или Колумбию, плыли на испанском бриге в нескольких лье от Бордо. Человек, которого больше состарили жизненные тяготы и горе, нежели время, стоял, прислонившись к защитному заслону, и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на картину, которая раскинулась перед глазами пассажиров, собравшихся на верхней палубе. Опасности далекого морского пути миновали, и путешественники, привлеченные отличной погодой, поднялись на палубу, чтобы приветствовать родную землю. Почти всем во что бы то ни стало хотелось увидеть еще издали маяки, гасконские дома, Кордуанскую башню, которые терялись в причудливых очертаниях облаков, белевших на горизонте. Если бы не серебристая бахрома, вившаяся перед бригом, если бы не длинная борозда, быстро таявшая позади него, путешественникам казалось бы, что судно стоит недвижимо посреди океана,— так он был безмятежен. Чистое небо было восхитительно. Густая синева небосвода незаметно бледнела, сливаясь с голубоватой водою, и там, где они соединялись, ослепительно, будто звезды, блестела линия горизонта. Солнечные лучи искрились в бесчисленных гранях волн на необозримом водном пространстве, и ширь морская сверкала, пожалуй, ярче небесной тверди. Приятный теплый ветерок надувал паруса на бриге; и эти снежно-белые полотнища, и желтые развевавшиеся флаги, и целый лабиринт снастей четко рисовались в воздухе на

лучезарном фоне неба и океана, и лишь тени, отбрасываемые парусами, меняли их оттенки. Чудесный день, попутный ветер, родные берега, спокойное море, шум волн, навевавший сладостную грусть, красивый бриг, одиноко скользивший по океану, словно женщина, торопящаяся на свидание,— все это было картиной, преисполненной гармонии; душа человеческая, воспаряя над плывущим судном, могла объять незыблемые пространства. Удивительно было здесь противопоставление одиночества — кипучей жизни, тишины — шуму, и никто бы не мог сказать, где начинается жизнь и шум, где — небытие и тишина; и человеческий голос не нарушал этих божественных чар. Испанца-капитана и матросов-французов охватил какой-то благоговейный восторг, все навевало на них воспоминания. В воздухе разлилась истома. Лица сияли радостью, минувшие горести были преданы забвению, а волны тихо баюкали людей, словно в дивном сне. Однако старик пассажир, прислонившийся к защитному заслону, то и дело тревожно поглядывал на горизонт. Во всех чертах его сквозило какое-то недоверие к судьбе, и, казалось, он боялся, что ему еще не скоро удастся вступить на французскую землю. Это был маркиз д'Эглемон. Счастье не осталось глухо к его мольбам, к его усилиям. Пять лет провел он в поисках, в тяжелых трудах и сделался обладателем крупного состояния. Ему так хотелось вновь увидеть родину и осчастливить семью, что он последовал примеру нескольких французских негоциантов из Гаваны и сел с ними на испанский бриг, отправлявшийся в Бордо. Воображение его, утомленное вечным предвидением горя, теперь рисовало ему прекрасные картины минувшего счастья. Он издали заметил бурую полоску земли, и ему уже чудилось, что он видит жену и детей. Он уже был дома, у своего очага, в ласковом кругу близких. Он представлял себе Моину — она похорошела, выросла, в ней появилось что-то степенное, как у взрослой девушки. Когда эта воображаемая картина словно воплотилась для него в действительность, слезы покатились из глаз его, и, чтобы скрыть волнение, он посмотрел на горизонт, в сторону, противоположную той, где виднелась туманная полоска, возвещавшая землю.

— Опять *он!* — промолвил маркиз.— Так и идет следом за нами!

— Что там такое? — спросил капитан.

— Корабль,— вполголоса ответил генерал.

— Я еще вчера его приметил,— сказал капитан Гомес.

И, значительно посмотрев на генерала, он шепнул ему на ухо:

— Он гонится за нами.

— Не понимаю, отчего же он до сих пор не настиг нас,— заметил старый воин,— ведь он обмачтован получше вашего проклятого «Святого Фердинанда».

— Какие-нибудь помехи,— пробоина, может быть...

— Он нас догоняет! — крикнул генерал.

— Это колумбийский корсар,— сказал ему на ухо капитан.— Мы находимся еще в шести лье от земли, а ветер слабеет.

— Он не идет, а летит, будто знает, что часа через два жертва выскользнет у него из рук. Ну и смельчак!

— Это он! — вскричал капитан.— Да, не зря зовется он «Отелло». Недавно он потопил испанский фрегат, а ведь у самого-то пушек тридцать, не больше! Его одного я и боялся, я знал, что он крейсирует у Антильских островов. Эге, ветер крепчает,— продолжал он, помолчав и наблюдая за парусами своего корабля.— Доберемся! Иначе нельзя. Парижанин неумолим.

— Он тоже добирается,— ответил маркиз.

«Отелло» был приблизительно в трех лье. Хотя экипаж и не слышал, о чем говорил маркиз с капитаном Гомесом, появление парусника привлекло всеобщее внимание; почти все матросы и пассажиры подошли к тому месту, где стояли собеседники; большинство приняло бриг за коммерческое судно, и все с любопытством смотрели, как он приближается, но вдруг какой-то матрос крикнул на своем образном языке:

— Святой Иаков! Всем нам крышка, это сам Парижанин!

При этом грозном имени ужас охватил бриг, смятение воцарилось неописуемое. По приказу капитана матросы мгновенно принялись за дело: под угрозой опасности, стремясь во что бы то ни стало достигнуть берега, Гомес распорядился поднять на корабле все высокие и низкие лисели, чтобы ветер надувал поверхность всех парусов, натянутых на реях. С огромным трудом удалось произвести этот маневр; разумеется, не хватало того порази-

тельного единства в действиях, которое так восхищает на военном судне. «Отелло» летел, словно ласточка, паруса его были установлены по ветру, но казалось, что прошел он все же немного, и несчастные путешественники почувствовали сладостную надежду. Но в то мгновение, когда после неслыханных усилий «Святой Фердинанд» ускорил ход благодаря искусным маневрам, в которых принимал участие сам Гомес, показывая всем, как надо действовать, и давая указания, рулевой, конечно, не без умысла, сделал неправильный поворот и поставил бриг бортом против ветра. Под ударами бокового ветра паруса так сильно «заполоскались», что «отняли» у судна ветер; лисель-сприты сломались, и корабль «отказал». Капитан был взбешен и стал белее паруса; одним прыжком бросился он к рулевому и занес над ним кинжал с такой яростью, что промахнулся, но все же столкнул матроса в море; затем он схватил руль и попытался возместить урон, нанесенный его испытанному, бывалому судну. Слезы отчаяния стояли в глазах его, ибо предательство, угрожающее плодам наших трудов, причиняет нам более глубокое горе, нежели неминуемая смерть. Но чем больше сыпал капитан проклятиями, тем хуже двигалось дело. Он сам выстрелил из сигнальной пушки, надеясь, что выстрел услышат на берегу. В тот же миг корсарское судно, которое приближалось с неимоверной быстротой, ответило выстрелом из пушки, и ядро не долетело до «Святого Фердинанда» лишь туазов на десять.

— Черт возьми! — крикнул генерал. — Ловкий прицел! И пушки у них особенные.

— Ну, раз он заговорил с вами, значит, помалкивайте!..— заметил какой-то матрос.— Парижанину нечего бояться и английского корабля...

— Все кончено! — безнадежно воскликнул капитан, наводя подзорную трубу на берег.— Мы еще дальше от Франции, чем я предполагал.

— Зачем отчаиваться? — воскликнул генерал.— Все ваши пассажиры — французы, они зафрахтовали ваше судно. Вы говорите, что корсар этот — уроженец Парижа? Так поднимите же белый флаг и...

— И он пустит нас ко дну,— ответил капитан.— Он ни перед чем не остановится, лишь бы завладеть богатой добычей.

— Ну, если это пират...

— Пират? — сердито сказал матрос.— Э, все у него узаконено, он-то знает, что делает.

— Так покоримся же своей участи! — воскликнул генерал, поднимая глаза к небу.

У него достало сил сдержать слезы.

Не успел он вымолвить эти слова, как раздался второй пушечный выстрел; ядро, пущенное более метко, попало в корпус «Святого Фердинанда» и пробило его.

— Лечь в дрейф! — приказал удрученный капитан.

Матрос, защищавший честь Парижанина, стал очень искусно помогать выполнению маневра, вызванного беспомощным положением судна. Прошло смертельно тягостных полчаса. Экипаж находился в глубоком унынии. «Святой Фердинанд» вез четыре миллиона пиастров, составлявшие богатство пяти пассажиров и богатство генерала — миллион сто тысяч франков. На «Отелло», который теперь был в десяти ружейных выстрелах, уже отчетливо виднелись грозные жерла дюжины пушек, готовых открыть огонь. Казалось, ветер, посланный самим дьяволом, подгонял корабль; но взгляд искушенного моряка легко угадывал, чем объясняется эта быстрота,— стоило лишь присмотреться к стремительному ходу брига, к его продолговатому, узкому корпусу, к высокому рангоуту, к тому, как скроены паруса, как превосходна, как легка вся оснастка, с каким проворством, с какой слаженностью, будто один человек, действует весь экипаж, ставя по ветру белую стену парусов. Стройное деревянное сооружение, казалось, дышало уверенностью в своей силе, было проворно и понятливо, как боевой конь или хищная птица. Матросы на корсарском корабле двигались безмолвно и готовы были в случае сопротивления уничтожить утлое торговое суденышко, которое, к счастью для себя, присмирело и напоминало провинившегося школьника, застигнутого учителем.

— У нас ведь есть пушки! — закричал генерал, сжимая руку капитана.

Испанец бросил на старого воина взор, полный мужества и отчаяния, и промолвил:

— А люди где?

Маркиз оглядел экипаж «Святого Фердинанда» и содрогнулся. Все четыре купца были бледны и тряслись от

страха, а матросы собрались в кружок и, очевидно, сговаривались о том, как бы перейти на сторону «Отелло»; они смотрели на корабль корсара с жадным любопытством. Только боцман, капитан и маркиз, глядя прямо в глаза друг другу, обменивались мыслями, полными благородства.

— Да, капитан Гомес, я давным-давно расстался со своей страной и семьей, и сердце мое было сражено горем! Неужели мне суждено проститься с ними навеки в тот самый миг, когда я несу радость и счастье своим детям?

Генерал отвернулся, и, когда гневные его слезы упали в море, он заметил, что рулевой вплавь достиг корсарского судна.

— На этот раз,— ответил капитан,— вы, конечно, проститесь с ними навсегда.

Моряка испугал безумный взгляд француза. В это время оба судна стали почти борт к борту. Генерал, увидев экипаж вражеского брига, поверил жуткому предсказанию Гомеса. По три человека стояло у каждого орудия. Пушкарей можно было принять за бронзовые статуи, так атлетически были они сложены, так застыли их лица, так мускулисты были их обнаженные руки. Смерть, поразив этих силачей, не сбила бы их с ног. Хорошо вооруженные, деятельные, ловкие и крепкие матросы стояли неподвижно. Их мужественные лица загорели на солнце, огрубели от непогоды. Глаза их горели, в них светились отвага и сметливость, злобное торжество. Глубокое молчание корсаров, столпившихся на палубе, свидетельствовало о строжайшей дисциплине, благодаря которой чья-то несокрушимая воля усмиряет этих злых духов, принявших человеческий образ. Главарь стоял у грот-мачты, скрестив руки; он был без оружия, лишь топор лежал у его ног. Голову его защищала от солнца широкополая войлочная шляпа, и тень от нее скрывала лицо. Солдаты, пушкари и матросы, напоминавшие собак, лежащих у ног хозяина, переводили взгляд со своего капитана на торговое судно. Когда бриг подошел к бригу, толчок вывел корсара из задумчивости, и он шепнул что-то своему молодому помощнику, стоявшему в двух шагах от него.

— На абордаж! — крикнул молодой корсар.

И «Отелло» с поразительною быстротой взял на абор-

даж «Святого Фердинанда». Корсар негромко отдавал приказания, его помощник повторял их, и люди — а каждому заранее были известны его обязанности — преспокойно отправились на палубу захваченного корабля, словно семинаристы к обедне, и, связав руки матросам и пассажирам, захватили добычу. Они мигом перетащили на палубу «Отелло» бочки, наполненные пиастрами и съестными припасами, и весь экипаж «Святого Фердинанда». Когда корсары, связав генералу руки, швырнули его на какой-то тюк, словно он сам был вещью, ему почудилось, что все это он видит во сне. Корсар, его помощник и один из матросов, очевидно, исполнявший обязанности боцмана, стали совещаться. Говорили они недолго, потом матрос свистнул; по его приказу все корсары перескочили на борт «Святого Фердинанда», вскарабкались на мачты и принялись обдирать паруса и снасти с такою быстротою, с какою солдат на поле брани раздевает убитого, позарившись на его сапоги и шинель.

— Пришла наша погибель,— спокойно сказал маркизу испанец, следивший взглядом за жестами трех главарей, пока они совещались, и за движениями матросов, старательно разбиравших оснастку брига.

— Отчего вы так думаете? — спокойно спросил генерал.

— А вы полагаете, что они будут с нами церемониться? — ответил испанец.— Они, по всей вероятности, сейчас решили, что нелегко будет сбыть «Святого Фердинанда» во французских или испанских портах, и решили потопить его, чтобы не возиться. Ну, а нас... уж не воображаете ли вы, что они возьмут на себя обузу и будут нас кормить, когда сами не знают, к какому порту пристать?

Не успел капитан произнести эти слова, как генерал услышал душераздирающие вопли и глухой плеск, будто в воду упало несколько человек. Он обернулся — четырех негоциантов как не бывало. И когда генерал с ужасом взглянул на восьмерку свирепых пушкарей, то увидел, что руки у них еще подняты.

— Ну, что? Я говорил вам,— бесстрастно вымолвил испанец.

Маркиз порывисто вскочил; море уже успокоилось, и он даже не мог различить того места, где его несчастные спутники пошли ко дну; сейчас они, связанные по рукам

и ногам, бились под водою, а может быть, их уже пожирали рыбы. В нескольких шагах от него изменник-рулевой и матрос со «Святого Фердинанда», превозносивший и до того могущество Парижанина, по-приятельски разговаривали с корсарами и указывали пальцем на тех моряков с брига, которых считали достойными экипажа «Отелло»; двое юнг уже связывали ноги остальным матросам, не обращая внимания на их страшные проклятия. С отбором было покончено, восемь пушкарей схватили приговоренных и, не вдаваясь в излишние разговоры, швырнули за борт. Корсары с каким-то злобным любопытством наблюдали за тем, как люди падали в воду, за их искаженными чертами, за последними муками; у самих корсаров лица не выражали ни насмешки, ни удивления, ни жалости. Для них, очевидно, это было самое обыкновенное, привычное дело. Пожилых гораздо больше занимали бочки с пиастрами, стоявшие у основания грот-мачты, и они смотрели на эти бочки с какою-то мрачной, застывшей усмешкой. Капитан Гомес и генерал сидели на тюке и, как бы советуясь друг с другом, обменивались горестными взглядами. Вскоре оказалось, что из всего экипажа «Святого Фердинанда» лишь они оставлены в живых. Семеро матросов, выбранных среди испанских моряков двумя предателями, уже с радостью превратились в перуанцев.

— Что за мерзавцы! — вдруг крикнул генерал; честность и благородное негодование заглушили в нем и горе и осторожность.

— Они подчиняются необходимости,— хладнокровно заметил Гомес.— Ежели бы вам попался кто-нибудь из этих молодчиков, ведь вы бы проткнули его шпагой.

— Капитан,— проговорил молодой корсар, обернувшись к испанцу,— Парижанин слышал о вас, вы единственный человек, говорит он, который хорошо знает проливы Антильских островов и берега Бразилии. Не хотите ли...

Капитан перебил его презрительным возгласом:

— Я умру, как подобает моряку, испанцу, христианину... понял?

— В воду! — крикнул молодой человек.

Два пушкаря, услышав приказ, схватили Гомеса.

— Вы подлые трусы! — закричал генерал, пытаясь удержать корсаров.

— Эй, старина,— сказал ему помощник Парижанина,— не кипятись! Хоть твоя красная ленточка и производит некоторое впечатление на капитана, но мне-то на нее плевать... Сейчас мы с тобою тоже потолкуем.

В этот миг генерал услышал глухой шум, к которому не примешалось ни одного стона, и он понял, что отважный капитан Гомес умер, как подобает моряку.

— Или верните мне богатства, или убейте меня!—закричал он в порыве ярости.

— Э, да вы весьма благоразумны! — насмешливо ответил корсар.— Теперь-то вы наверняка чего-нибудь от нас добьетесь...

Тут по знаку корсара двое матросов кинулись связывать ноги французу, но он неожиданно и смело отбросил напавших; ему удалось — никто не мог предвидеть этого — выхватить саблю, висевшую на боку у корсара, и он стал ловко размахивать ею, как и следует бывалому кавалеристу, знающему свое дело.

— Эй, разбойники! Не смахнуть вам в море, как устрицу, старого наполеоновского солдата!

Выстрелы из пистолетов, наведенных почти в упор на неподатливого француза, привлекли внимание Парижанина, который наблюдал за тем, как переносят, по его приказанию, снасти со «Святого Фердинанда». С невозмутимым видом он подошел со спины к храброму генералу, схватил его, быстро приподнял и потащил к борту, собираясь швырнуть его в воду, как швыряют отбросы. И тут взгляд генерала встретился с хищным взглядом человека, обольстившего его дочь. Оба сразу узнали друг друга. Капитан тотчас повернул в сторону, противоположную той, куда он направлялся, будто ноша его была невесомой, и не сбросил генерала в море, а поставил возле грот-мачты. Послышался ропот, но Парижанин окинул подчиненных взглядом, и тотчас воцарилось глубокое молчание.

— Это — отец Елены,— четко и твердо сказал он.— Горе тому, кто посмеет отнестись к нему непочтительно.

Ликующее «ура» прозвучало на палубе и вознеслось в небо, словно молитва в храме, словно начальные слова «Te Deum». Юнги качались на снастях, матросы бросали

вверх шапки, пушкари топали ногами; толпа корсаров бесновалась, выла, свистела, вопила. Что-то исступленное было в этом ликовании, и встревоженный генерал помрачнел. Он приписывал все это какой-то ужасной тайне и, как только к нему вернулся дар речи, спросил: «А где же моя дочь?» Корсар бросил на него глубокий взгляд, который лишал самообладания даже самых отважных, и генерал умолк, к превеликой радости матросов, польщенных тем, что власть их главаря простирается на всех; затем он повел генерала вниз, спустился с ним по лестнице, проводил его до какой-то каюты и, быстро распахнув дверь, сказал:

— Вот она.

Он исчез, а старый воин замер при виде картины, представшей его глазам. Елена, услышав, что кто-то поспешно открывает дверь, поднялась с дивана, на котором она отдыхала, и, увидев маркиза, удивленно вскрикнула. Она так изменилась, что узнать ее мог лишь отец. Под лучами тропического солнца ее бледное лицо стало смуглым, и от этого в нем появилась какая-то восточная прелесть; все черты ее дышали благородством, величавым спокойствием, глубиною чувства, что, должно быть, трогало даже самые грубые души. Длинные густые волосы ниспадали крупными локонами на плечи и грудь, поражавшие чистотою линий, и придавали что-то властное ее гордому лицу. В позе, в движениях Елены чувствовалось, что она сознает свою силу. Торжество удовлетворенного самолюбия чуть раздувало ее розовые ноздри, и ее цветущая красота говорила о безмятежном счастье. Что-то пленительно-девичье сочеталось в ней с горделивостью, свойственной женщинам, которых любят. Она, раба и владычица, хотела повиноваться, ибо могла повелевать. Она была окружена великолепием, полным изящества. Платье ее было сшито из индийского муслина, без всяких вычур, зато диван и подушки были покрыты кашемиром, зато пол просторной каюты был устлан персидским ковром, зато четверо детей, играя у ног ее, строили причудливые замки из жемчужных ожерелий, из бесценных безделушек, из самоцветов. В севрских фарфоровых вазах, разрисованных г-жою Жакото, благоухали редкостные цветы — мексиканские жасмины, камелии; среди них порхали ручные птички, вывезенные из Южной Америки, и

они казались крылатыми сапфирами и рубинами—живыми золотыми слитками. В этой гостиной стоял рояль—он был прикреплен к полу, а на деревянных стенах, затянутых алым шелком, тут и там висели небольшие полотна известных мастеров: «Заход солнца» Гюдена виднелся рядом с Терборхом; «Мадонна» Рафаэля соперничала в поэтичности с эскизом Жироде; полотно Герарда Доу затмевало картину кисти Дроллинга. На китайском лакированном столике поблескивала золотая тарелка с сочными плодами. Казалось, что Елена — королева обширной страны и что коронованный возлюбленный собрал для ее будуара самые изящные вещи со всего земного шара. Дети устремили на своего деда умный и живой взгляд; они привыкли жить среди сражений, бурь и тревог и напоминали маленьких римлян, жаждущих войны и крови, с картины Давида «Брут».

— Неужели это вы! — воскликнула Елена, крепко схватив отца за руку, словно хотела убедиться, что видение это — явь.

— Елена!

— Отец!

Они бросились в объятия друг друга, и трудно сказать, чьи объятия были горячее и сердечнее.

— Вы были на том корабле?

— Да,— ответил он, с удрученным видом опускаясь на диван и глядя на детей, которые обступили его и рассматривали с наивным вниманием.— Я бы погиб, если бы не...

— Мой муж,— промолвила она, прерывая его,— я догадываюсь.

— Ах, Елена,— воскликнул генерал,— зачем мы встретились при таких обстоятельствах, ведь я так тебя оплакивал! Как буду я скорбеть о твоей участи!..

— Почему? — спросила она, улыбаясь.— Вы должны радоваться: я самая счастливая женщина на свете.

— Счастливая? — воскликнул он, чуть не подскочив от изумления.

— Да, добрый мой папенька,— промолвила Елена; схватив его руки, она то осыпала их поцелуями, то прижимала к своему трепещущему сердцу и, ласково склонившись к отцу, не сводила с него блестящих глаз, ставших еще выразительнее от радостного волнения.

— Как же так? — спросил старик; ему хотелось узнать о жизни дочери, и он забыл обо всем, глядя на ее сияющее лицо.

— Послушайте, отец,— ответила она,— моим супругом, возлюбленным, слугою и властелином стал человек, душа которого беспредельна, как море, не ведающее границ, любовь которого необъятна, как небо. Да, это сам бог. За семь лет ничто — ни слово, ни движение, ни чувство — не нарушало дивную гармонию его речей, нежности и любви. Когда он смотрит на меня, доверчивая улыбка играет на его губах, в глазах светится радость. Там, наверху, громовой голос его порою заглушает вой бури или шум сражений; но здесь голос его кроток и мелодичен, как музыка Россини, которая так трогает меня. Любая моя женская прихоть исполняется. Зачастую желания мои бывают даже превзойдены. Я царствую на море, и мне повинуются, как королеве. Счастлива! — заметила она, прерывая себя.— Да разве этим словом передашь, как я счастлива! Мне достались все сокровища любви, какие только выпадают на долю женщины. Любить, быть беспредельно преданной тому, кого любишь, и встречать в его сердце неиссякаемое чувство, в котором словно тает женская душа, полюбить навеки,— скажите, разве это всего лишь счастье? Я уже прожила тысячу жизней. Здесь я царю, здесь я повелеваю. Ни одна женщина, кроме меня, не ступала на этот корабль, и Виктор всегда в нескольких шагах от меня. Ему не уйти дальше кормы или носа,— продолжала она с лукавым выражением.— Семь лет! Любовь, выдержавшая семь лет нескончаемой радости, ежеминутного испытания, это больше чем любовь! Да, да! Лучше этого не найти ничего на свете. На языке человеческом не выразить небесного блаженства!

Слезы полились из ее горящих глаз. Четверо детей жалобно закричали, бросились к ней, как цыплята к наседке, а старший ударил генерала, не сводя с него сердитого взгляда.

— Абель,— промолвила она,— ангел мой, я плачу от радости.

Она посадила его на колени, и ребенок обнимал ее царственную шею, ластился к матери, как львенок, играющий с львицею.

— А не случается тебе скучать? — спросил генерал, ошеломленный восторженным ответом дочери.

— Случается,— ответила она.— Когда мы бываем на суше. Да и там я еще никогда не расставалась с мужем.

— Но ведь ты любила празднества, балы, музыку?

— Музыка — это *его* голос; празднества — это наряды, которые я придумываю, чтобы нравиться ему. А если ему по вкусу мой убор, то мне кажется, будто мной восхищается весь мир. Поэтому я и не бросаю в море все эти бриллианты, ожерелья, диадемы, усыпанные драгоценными каменьями, все эти сокровища, цветы, произведения искусства, которые он дарит мне, говоря при этом: «Елена, ты не бываешь в свете, и я хочу, чтобы свет был у тебя».

— Но на корабле полно мужчин, дерзких, грубых мужчин, страсти которых...

— Я понимаю вас, отец,— усмехнувшись, ответила Елена.— Успокойтесь. Право, императриц не окружают таким почетом, как меня. Они суеверны; они думают, что я — добрый дух корабля, их предприятий, их успехов! Но их бог — *он!* Однажды — это было лишь раз — какой-то матрос был недостаточно почтителен со мною... на словах,— прибавила она, смеясь.— И не успело это дойти до Виктора, как экипаж выбросил матроса в море, хоть я и простила его. Они любят меня, как своего ангела-хранителя; стоит им заболеть, я за ними ухаживаю: неустанная женская забота так нужна,— мне удалось спасти многих от смерти. Мне жаль этих несчастных,— в них есть что-то исполинское и младенческое.

— А если бывают сражения?

— Я привыкла к ним,— ответила она.— Только в первый раз я дрожала. Теперь моя душа закалена в опасностях и даже... Я ведь ваша дочь,— сказала она,— я люблю их.

— А если он погибнет?

— Я погибну с ним.

— А дети?

— Они — сыны океана и опасности, они разделят участь родителей. Жизнь наша едина, мы неразлучны. Все мы живем одной жизнью, все вписаны на одной странице книги бытия, плывем на одном корабле; мы знаем это.

— Так, значит, ты любишь его так беззаветно, что дороже его для тебя нет никого в мире?

— Никого,— повторила она.— Но в эту тайну не стоит углубляться. Взгляните на моего милого мальчугана, ведь это его воплощение!

И, крепко обняв Абеля, она стала осыпать поцелуями его волосы...

— Но,— воскликнул генерал,— мне не забыть, как он сейчас велел сбросить в море девять человек...

— Значит, так было нужно,— ответила она,— он очень добр и великодушен. Он старается пролить как можно меньше крови, чтобы сберечь и поддержать мирок, которому покровительствует, и ради того благородного дела, которое он защищает. Скажите ему о том, что показалось вам дурным, и, вот увидите, он убедит вас в своей правоте.

— А преступление его? — сказал генерал, как бы говоря с собою.

— Ну, а если это было правым делом? — промолвила она с холодным достоинством.— Если человеческое правосудие не могло отомстить за него?

— Само правосудие не могло отомстить? — воскликнул генерал.

— А что такое ад,— спросила она,— как не вечное отмщение за какие-нибудь грехи краткой нашей жизни?!

— Ах, ты погибла! Он околдовал, развратил тебя. Ты говоришь как безумная.

— Останьтесь еще с нами хоть на день, отец, и когда вы увидите, услышите его,— полюбите его...

— Елена,— строго сказал старик,— мы в нескольких лье от Франции...

Она вздрогнула, посмотрела в окно и указала на беспредельную зеленоватую водную даль.

— Вот моя родина,— ответила она, притопнув ногой по ковру.

— Неужели ты не хочешь повидаться с матерью, сестрой, братьями?

— Конечно, хочу,— ответила она со слезами в голосе,— но только если он согласится и будет сопровождать меня!

— Итак, Елена, у тебя ничего не осталось,— сурово заключил старый воин,— ни родины, ни семьи?

— Я жена его,— возразила она с гордым видом, с выражением, исполненным благородства.— За все эти семь лет лишь сейчас мне довелось впервые испытать радость, которою я обязана не ему,— добавила она, взяв руку отца и целуя ее,— и впервые услышать упрек.

— А совесть твоя?

— Совесть! Да ведь совесть — это он.

И вдруг она вздрогнула.

— А вот и он сам,— сказала она.— Даже во время боя, сквозь шум на палубе я различаю его шаги.

И щеки ее внезапно зарумянились, все лицо расцвело, глаза заблестели, кожа стала матово-белой... Все существо ее, каждая голубая жилка, невольная дрожь, охватившая ее,— все говорило о счастье любви. Такая сила чувства умилила генерала. И правда, сейчас же вошел корсар и, сев в кресло, подозвал старшего сына и стал играть с ним. С минуту длилось молчание; ибо генерал, поглощенный задумчивостью, подобной сладостной дремоте, рассматривал изящную каюту, похожую на ласточкино гнездо, где семья эта семь лет плавала по океану меж небом и волнами, уповая на человека, который вел ее сквозь опасности в боях и бурях, как проводит семью глава ее среди бедствий общественной жизни... Он с восхищением смотрел на дочь, на этот волшебный образ морской богини, пленительно красивый, сияющий счастьем, и все сокровища, рассыпанные вокруг нее, бледнели перед сокровищами ее души, перед огнем ее глаз и той неописуемой прелестью, которой вся она дышала.

Все складывалось необычайно, и это поражало его, а возвышенность чувств и рассуждений сбивала с толку обычные его представления. Холодные и себялюбивые расчеты светского общества меркли перед этой картиной. Старый воин почувствовал все это, и он понял также, что дочь его никогда не расстанется со своей привольной жизнью, богатой событиями, наполненной истинной любовью; он понял, что если она хоть раз изведала, что такое опасность, и не устрашилась ее, то уже не пожелает вернуться к мелочной жизни ограниченного и скудоумного света.

— Я вам не помешал? — спросил корсар, прерывая молчание и глядя на жену.

— Нет,— ответил генерал.— Елена мне все рассказала. Я вижу, что для нас она потеряна...

— Подождите,— живо возразил корсар.— Еще несколько лет, и срок давности позволит мне вернуться во Францию. Когда совесть чиста, когда человек, лишь попирая законы вашего общества, может...

Он замолк, не считая нужным оправдываться.

— И вас не мучает совесть? — спросил генерал, прерывая его.— Ведь вы опять, на моих глазах, совершили столько убийств...

— У нас не хватает съестных припасов,— невозмутимо сказал корсар.

— Но вы бы могли высадить людей на берег...

— Они послали бы за нами сторожевой корабль, отрезали бы нам отступление, и мы не добрались бы до Чили...

— Однако, прежде чем они успели бы предупредить из Франции адмиралтейство Испании...

— Но Франции наверняка не пришлось бы по вкусу, что некто, да еще человек, подлежащий ее уголовному суду, завладел бригом, зафрахтованным уроженцами Бордо. Скажите-ка, неужели вам не доводилось на поле битвы делать немало лишних пушечных выстрелов?

Взгляд корсара привел генерала в замешательство, и он промолчал, а дочь взглянула на него, и взор ее выражал и торжество и печаль.

— Генерал,— значительным тоном произнес корсар,— мой закон — ничего не присваивать себе из общей добычи за счет товарищей. Но нет никаких сомнений, что моя доля будет гораздо больше, чем отнятое у вас состояние. Позвольте мне возместить его вам другой монетой...

Он взял из-под крышки рояля большую пачку банковых билетов и, не считая их, протянул маркизу — в пачке был миллион.

— Вы понимаете,— произнес он,— что мне нечего делать на путях в Бордо... Итак, если вас не прельщают опасности нашей бродячей жизни, виды Южной Америки, наши тропические ночи, наши сражения и радостная надежда, что мы поддержим знамя молодой республики или имя Симона Боливара, то вам придется нас оста-

вить... Шлюпка и преданные люди ждут вас. Будем надеяться на третье и вполне счастливое свиданье...

— Виктор, а мне так хочется, чтобы отец еще немного побыл с нами,— с досадою промолвила Елена.

— Десять минут промедления, и мы, пожалуй, столкнемся со сторожевым фрегатом. Что ж, тогда позабавимся. А то наши люди скучают.

— О, уезжайте, отец! — воскликнула Елена.— И отвезите вот это сестрице, братьям... и матери...— прибавила она,— на память от меня.

Она схватила пригоршню самоцветов, ожерелий, драгоценностей, завернула их в кашемировую шаль и робко протянула отцу.

— А что же мне сказать им? — спросил он, пораженный тем, что дочь помедлила, прежде чем произнести слово «мать».

— Ах, как можете вы сомневаться в моей душе? Я ежедневно молюсь за их счастье.

— Елена,— сказал старик, пристально глядя на нее,— неужели я не увижу тебя больше? Неужели никогда не узнаю, что̀ заставило тебя бежать?

— Это не моя тайна,— ответила она строго,— и даже если бы я имела право раскрыть ее, я бы вам о ней, пожалуй, не поведала. Десять лет меня терзали неслыханные муки.

Она замолчала и протянула отцу подарки для семьи. Приключения на войне приучили генерала к весьма растяжимому понятию о военной добыче, и он принял подарки дочери, с приятностью подумав о том, что под влиянием такой чистой, возвышенной души, как душа его Елены, Парижанин остался честным человеком, что он просто воюет с испанцами. Его пристрастие к смельчакам восторжествовало. Решив, что было бы нелепо держаться сурово, он крепко пожал руку корсара, обнял Елену, единственную дочь свою, с сердечностью, присущей солдатам, и уронил слезу, осыпая поцелуями ее лицо, горделивое и мужественное выражение которого было ему так мило. Моряк был растроган и подвел к нему своих детей для благословения. Наконец долгим взглядом, не лишенным теплоты и ласки, было сказано последнее прости.

— Будьте счастливы вечно! — воскликнул старик и быстро поднялся на палубу.

Необычайное зрелище ждало генерала на море. «Святой Фердинанд», охваченный пламенем, пылал, как огромный костер. Матросы, собираясь потопить испанский бриг, нашли в его трюме груз рома, а так как рому и на «Отелло» было вдоволь, они потехи ради решили поджечь огромную чашу пунша в открытом море. Вполне понятно, что это забавляло людей, которые пресытились однообразным видом моря и хватались за все, лишь бы приукрасить свое существование. Когда генерал спускался с брига к шлюпке, в которой сидела шестерка крепких гребцов, внимание его невольно рассеивалось, и он то смотрел на огонь, пожиравший «Святого Фердинанда», то на дочь, которая стояла на корме «Отелло» рука об руку с корсаром. Воспоминания нахлынули на него, и, видя белое платье Елены, развевающееся и легкое, словно парус, различая посреди океана ее стройную и прекрасную фигуру, такую величественную, что, казалось, она господствует над морем, генерал по беспечности, свойственной военным, забыл, что он плывет над могилой храброго Гомеса. Над бригом темной тучей расплывался огромный столб дыма, и солнечные лучи, пронизывая ее то тут, то там, освещали все сказочным сиянием. Словно то было второе небо, мрачный купол, под которым сверкали огни, а над ним раскинулся необозримый лазурный небосвод, казавшийся в тысячу раз красивее благодаря этому мимолетному сочетанию. Необычайные оттенки дыма, то желтые, то золотистые, то красные, то черные, сливались, и он, клубясь, застилал горевший корабль, который трещал, скрипел, стонал. Огонь с рокотом подбирался к снастям и охватывал все судно,— так пламя народного восстания разносится по всем улицам города. Ром горел синеватым трепещущим пламенем, будто бог морей помешивал это пьяное зелье,— так студент весело поджигает пунш на какой-нибудь пирушке. Но солнце, свет которого был ярче, из зависти к этому дерзкому огню затмевало его своими лучами и почти не позволяло различать переливчатые цвета пожара. Будто вуаль, будто прозрачный шарф колыхался посреди огненного потока. «Отелло» убегал в новом направлении, стараясь поймать легкий ветерок, накре-

нялся то в одну, то в другую сторону, словно бумажный змей в воздухе. Красавец-бриг, лавируя, бежал к югу; порою он скрывался от взора генерала, исчезая за столбом дыма, бросавшим на воду причудливую тень, порою показывался снова, плавно поднимаясь и убегая все дальше и дальше. Всякий раз, когда Елене удавалось увидеть отца, она взмахивала носовым платком, посылая ему прощальное приветствие. Вскоре «Святой Фердинанд» пошел ко дну, волны ключом забурлили вокруг него, но море тотчас же успокоилось. И не осталось от всей этой картины ничего, кроме облачка, плывшего по ветру. «Отелло» был уже далеко; шлюпка приближалась к берегу; между утлым челном и бригом повисло облако дыма. В последний раз генерал увидел дочь в просвете колыхавшегося дыма. Пророческое видение! Только белый платок, только платье вырисовывались на темном, буром фоне. Меж зеленой водою и синим небом уже не было видно брига. Елена стала чуть приметной точкой, тонким, изящным штрихом, небесным ангелом, мечтой, воспоминанием.

Маркиз, восстановив свое состояние, умер, ибо силы его были подорваны. Несколько месяцев спустя после его смерти, в 1833 году, маркизе пришлось сопровождать Моину на воды в Пиренеи. Там избалованной дочке захотелось увидеть горные красоты, и мать отправилась с нею в горы. Вот какая трагическая сцена разыгралась на следующее утро после их возвращения на курорт.

— Боже мой,— сказала Моина,— напрасно мы не остались еще на несколько дней в горах! Там было гораздо лучше. Вы слышали, мама, как неугомонно, как несносно пищал за стеной ребенок и как болтала какая-то противная женщина. Она изъясняется на каком-то диалекте, и я не поняла ни слова. Ну что у нас за соседи? Я глаз не сомкнула почти всю ночь!

— А я ничего не слышала,— отвечала маркиза,— но, дорогая моя девочка, я попрошу хозяйку гостиницы освободить для нас другую комнату; мы останемся одни, без соседей, и нас не будет беспокоить шум. Как ты себя чувствуешь? Ты не очень утомлена?

С этими словами маркиза подошла к постели Моины.

— А нет ли у тебя жара? — спросила она, притрагиваясь к руке дочери.

— Ах, оставь меня, мама, у тебя холодные пальцы.

И девушка сердито откинулась на подушку, но в ее движении было столько грации, что матери трудно было обидеться. В этот миг из соседней комнаты донесся тихий, протяжный стон; от этого стона дрогнуло бы сердце любой женщины.

— Ты всю ночь слышала стоны и не разбудила меня? Мы бы...

Стон, выражавший невыносимое страдание, прервал речь маркизы; она воскликнула:

— Там кто-то умирает! — и быстро вышла из комнаты.

— Пришли мне Полину,— крикнула ей дочь,— я буду одеваться.

Маркиза торопливо спустилась по лестнице и увидела, что хозяйка гостиницы стоит во дворе и вокруг нее собралось несколько человек — все внимательно слушали ее.

— Сударыня, вы кого-то поместили рядом с нами, и, очевидно, человек этот тяжко болен...

— Ах, и не говорите! — подхватила хозяйка.— Я сейчас послала за мэром. Это женщина, и представьте себе, бедняжка приплелась вчера вечером пешком; она шла из Испании, без денег и без паспорта. Она несла за спиной умирающего ребенка, и у меня духу не хватило прогнать ее. Нынче утром я сама пошла ее проведать, потому что вчера, когда она тут появилась, она разжалобила меня до слез. Вот ведь бедняжка! Она лежала рядом с сыночком, и оба они были при смерти. «Сударыня,— сказала она мне, снимая с пальца перстень,— больше у меня ничего не осталось, возьмите кольцо в счет уплаты; этого будет достаточно, я здесь пробуду недолго. Бедненький мой сынок! Мы умрем вместе». Вот что она сказала, а сама глаз не сводила с малыша. Взяла я ее кольцо, спросила, кто она такая, но она наотрез отказалась назвать себя... Я тут же послала за лекарем и за мэром.

— Да ведь ей нужно помочь! — воскликнула маркиза.— Сделайте все, что понадобится. Господи, может быть, еще не поздно спасти ее! Я оплачу все расходы...

— Ах, сударыня, она, видно, прегордая, и уж не знаю, согласится ли...

— Я сама пойду к ней...

И маркиза, немедля, поднялась к неизвестной, не подумав о том, какое тяжелое впечатление может произвести ее траурное платье на эту женщину, которая, как говорили, была при смерти. Увидев умирающую, маркиза побледнела. Несмотря на страшные страдания, изменившие прекрасное лицо Елены, она узнала свою старшую дочь!

Когда в дверях появилась женщина в черном, Елена приподнялась, вскрикнула от ужаса и медленно стала опускаться на подушки, узнав в этой женщине свою мать.

— Дитя мое,— промолвила г-жа д'Эглемон,— не нужно ли вам что-нибудь? Полина! Моина!

— Мне уже ничего не нужно,— чуть слышно ответила Елена,— я надеялась увидеть отца, но ваш траур говорит мне...

И, не досказав, Елена прижала ребенка к сердцу, словно хотела согреть его, поцеловала его в лоб, потом посмотрела на мать,— глаза ее по-прежнему выражали упрек, но она уже прощала, взгляд стал мягче. Маркизе не хотелось замечать этого упрека, она забыла, что Елена — дочь ее, зачатая в слезах и отчаянии, что она, дитя долга, стала причиной ее самого большого горя; она тихо подошла к умирающей дочери, помня лишь о том, что Елена первая дала ей познать радость материнства. Ее глаза наполнились слезами, и, обняв дочь, она воскликнула:

— Елена, дитя мое!

Елена молчала. Она прислушивалась к последним вздохам своего последнего ребенка.

В этот миг вошли Моина, ее горничная, хозяйка и врач. Маркиза сжимала холодеющую руку дочери в своей руке и смотрела на нее с искренним отчаянием. Вдова моряка — ей удалось во время кораблекрушения спасти лишь одного ребенка из всей своей счастливой семьи,— доведенная горем до исступления, взглянула на мать, и что-то ужасное было в ее глазах...

— Все это дело ваших рук! Если бы вы были для меня тем, чем вы...

— Моина, уйди!.. Все уходите отсюда! — крикнула г-жа д'Эглемон, стараясь заглушить голос Елены.— Умоляю тебя, дитя моя, не воскрешай сейчас наши печальные размолвки.

— Я буду молчать,— ответила Елена, делая над собою нечеловеческое усилие.— Я ведь мать, я знаю, что Моина не должна... Но где мой ребенок?

Моина вернулась, подстрекаемая любопытством.

— Сестрица,— проговорила избалованная девушка,— вот доктор...

— Ничто уже не поможет,— произнесла Елена.— Ах, зачем я не умерла в шестнадцать лет — ведь тогда я хотела покончить с собою... Вне законов нет счастья! Моина... ты...

Она умерла, склонив голову к головке своего ребенка, сжимая его в объятиях.

Вернувшись к себе в комнату, г-жа д'Эглемон сказала, заливаясь слезами:

— Твоя сестра, должно быть, хотела тебе сказать, что для девушки счастье в любви невозможно вне общепринятых законов, а главное — вдали от матери.

VI

СТАРОСТЬ ПРЕСТУПНОЙ МАТЕРИ

Однажды полуденной порою, в начале июня 1844 года, в саду, раскинувшемся вокруг большого особняка на улице Плюме в Париже, по аллее, залитой солнцем, ходила взад и вперед немолодая женщина; ей было лет под пятьдесят, но казалась она старше своего возраста. Она прошлась два — три раза по извилистой дорожке, никуда не сворачивая, чтобы не терять из виду окон тех покоев особняка, которые, видимо, привлекали все ее внимание, и села в садовое кресло, сплетенное из молодых веток, покрытых корою. С того места, где стояло это изящное кресло, через решетчатую ограду ей были видны внутренние бульвары и посреди них — великолепное здание Дома Инвалидов, вздымающее ввысь свой золоченый купол над целым морем вязов, а вокруг нее была менее величавая картина — сад, раскинувшийся перед серым фасадом одного из самых красивых особняков Сен-Жерменского предместья. Все было объято тишиною —

соседние сады, бульвары, Дом Инвалидов: в этом аристократическом квартале жизнь пробуждается лишь к полудню. Если не чья-нибудь причуда, если только не вздумает какая-нибудь молоденькая дама покататься верхом или какой-нибудь старый дипломат исправить деловую бумагу, то в этот час все здесь еще спит или только пробуждается: и челядь и господа.

Пожилая дама, вставшая спозаранку, была маркизой д'Эглемон, матерью г-жи де Сент-Эрен, владелицы этого особняка. Маркиза отказалась от него в пользу дочери, которой отдала и все свое состояние, оставив себе лишь пожизненную пенсию. Графиня Моина де Сент-Эрен была младшей дочерью г-жи д'Эглемон. Чтобы выдать ее замуж за наследника одного из самых прославленных родов Франции, мать пожертвовала всем. Это было так естественно,— она потеряла одного за другим двух своих сыновей: Гюстав, маркиз д'Эглемон, умер от холеры; Абель был убит в сражении у Константины. После Гюстава остались вдова и дети. Г-жа д'Эглемон не питала особенной нежности к своим сыновьям, а к внукам тем более. Она была внимательна к молодой маркизе, вдове своего сына, но то было чисто внешнее проявление чувств, предписываемое нам воспитанием и приличиями. Она привела в образцовый порядок состояние своих умерших детей, а своей любимице Моине отдала собственные сбережения и поместья. С самого детства Моина была хороша собою, обаятельна, и г-жа д'Эглемон любила ее больше других детей — такое душевное, невольное предпочтение присуще бывает матерям; это роковое влечение как будто необъяснимо, но человек наблюдательный объяснит его отлично. Пленительное личико Моины, звук голоса любимой дочки, ее манеры, походка, весь ее облик, движения — все пробуждало в маркизе ту глубокую нежность, которая волнует, оживляет и умиляет материнское сердце. Смысл жизни ее в настоящем, жизни в будущем и всей прожитой жизни заключался в сердце этой молодой женщины, которому она отдала все сокровища своей материнской любви. Моина была единственным утешением г-жи д'Эглемон, которая потеряла четверых старших детей. В самом деле, она, как говорили в свете, при самых трагических обстоятельствах лишилась красавицы-дочери, участь кото-

рой так и осталась неизвестной, и пятилетнего мальчика, погибшего от какого-то несчастного случая. Маркиза, разумеется, видела предзнаменование свыше в том, что судьба оказалась милостивой к ее любимице, и хранила лишь смутное воспоминание о своих детях, уже унесенных смертью; в глубине ее души они были как могильные холмы на поле брани, которых почти не видно: так заросли они полевыми цветами. Свет мог бы сурово потребовать от маркизы объяснения причин такого легкомыслия и такого предпочтения, но парижане до того захвачены вихрем событий, модами, новостями, что о прошлом г-жи д'Эглемон, вероятно, почти не вспоминали. Никто и не думал осуждать ее за то, что она была холодна к своим детям и быстро забыла их, да никого это и не волновало; зато ее беззаветная любовь к Моине умиляла многих, и это чувство уважали, как уважают иной предрассудок. К тому же маркиза редко появлялась в свете, а почти во всех знакомых домах она слыла доброй, кроткой, благочестивой, снисходительной. Только наблюдатель, любопытство которого живо затронуто, старается узнать, что же таится за теми внешними проявлениями чувств, которыми довольствуется свет. Притом многое прощается старикам, которые отодвигаются в тень и хотят стать лишь воспоминанием. Словом, на г-жу д'Эглемон, как на достойный образец, с готовностью ссылались дети, говоря с отцами, а зятья — говоря с тещами. Ведь она при жизни отдала все свое состояние Моине и, радуясь счастью молодой графини, жила только ею и ради нее. Иные предусмотрительные старики, несносные дядюшки, от которых ждут наследства, порицали ее за такую неосторожность, уверяя, что «наступит день, когда госпожа д'Эглемон, быть может, раскается, что она отдала дочери все свое состояние. Если она даже уверена в добром сердце госпожи де Сент-Эрен, то может ли она положиться на своего зятя?» Однако речи таких пророков встречались возгласами негодования, и все рассыпались в похвалах Моине.

— Надо отдать справедливость графине де Сент-Эрен,— говорила одна молодая женщина,— мать ее ведет прежний образ жизни. У госпожи д'Эглемон великолепные покои; к ее услугам экипаж, и она может выезжать в свет, как бывало.

— Только не в Итальянскую оперу,— вполголоса заметил некий старый бездельник, один из тех прихлебателей, которые считают, что они вправе осыпать друзей язвительными насмешками, чтобы доказать этим свою независимость.— Госпожа д'Эглемон из всего, что не имеет отношения к ее избалованной дочери, только музыку и любит. Какой прекрасной музыкантшей была она в свое время! Но ложу графини всегда осаждают молодые ветрогоны, а бедняжка маркиза боится стать помехой для своей доброй доченьки, которая слывет злой кокеткой. Поэтому госпожа д'Эглемон никогда не бывает в опере.

— Госпожа де Сент-Эрен,— говорила девушка на выданье,— устраивает для своей матери дивные вечера, у нее салон, где бывает весь Париж.

— Салон, где никто и внимания не обращает на маркизу,— возразил прихлебатель.

— Госпожа д'Эглемон никогда не остается одна, это сущая правда,— вставил какой-то франт, поддерживая молодых дам.

— По утрам душечка Моина спит,— говорил старый сплетник, понизив голос.— В четыре часа душечка Моина выезжает в Булонский лес. По вечерам душечка Моина отправляется на бал или в Итальянский театр... Правда, госпожа д'Эглемон может видеть свою душечку, когда та одевается, или за обедом, если душечка Моина случайно обедает дома со своей любимой мамашей. Неделю тому назад, сударь,— сказал прихлебатель, подхватывая под руку застенчивого учителя, только что поступившего в дом, где происходил этот разговор,— я был у них и застал бедную мать в печальном одиночестве, у камина. «Что с вами?» — спросил я. Маркиза посмотрела на меня с улыбкой, а глаза у нее были заплаканные. «Я размышляла,— отвечала она.— Как странно,— ведь у меня было пятеро детей, а я иногда совсем одинока. Но уж таков наш удел! К тому же для меня отрада, что моя Моина веселится». Она могла говорить со мной откровенно,— я знавал ее мужа. Заурядный был человек, ему повезло, что он женился на такой девушке. Разумеется, только ей он обязан тем. что стал пэром и придворным Карла Десятого.

Но в болтовне светских людей столько ошибочных

суждений, с такой беспечностью наносят они глубокие душевные раны, что историк нравов обязан разумно взвешивать легкомысленные мнения, высказанные легкомысленными людьми. Да и вообще, как судить о том, кто виноват, кто прав: мать или ее дитя? Над их сердцами есть лишь один судья. Судья этот — бог. Бог, который часто простирает возмездие свое в лоно семьи, восстанавливает детей против матерей, отцов против сыновей, народы против королей, владык против подданных, все сущее против всего сущего; который в мире духовном заменяет одни чувства другими, подобно тому, как весною молодые листья вытесняют старые, и который действует во имя непреложного порядка, во имя цели, ведомой лишь ему. Без сомнения, все направляется в лоно его или, вернее, туда возвращается.

Благочестивые размышления эти, естественные в преклонном возрасте, бессвязно теснились в душе г-жи д'Эглемон; они реяли в какой-то полутьме, то исчезали, то рисовались отчетливо, словно цветы, которые буря разметала на поверхности вод. Она сидела утомленная, опечаленная долгими размышлениями, воспоминаниями, в которых перед человеком, предчувствующим близкую кончину, встает вся минувшая жизнь.

Если бы какой-нибудь поэт, прогуливаясь в тот час по бульвару, заметил эту женщину, к которой так рано пришла старость, он решил бы, что она прелюбопытный персонаж. Всякий, кто увидал бы, как она сидит в полуденный час в кружевной тени акации, многое прочел бы по ее лицу, холодному и бледному даже под знойными лучами солнца. Выразительные черты ее отражали нечто более значительное, нежели ее жизнь, подходившую к концу, нечто более глубокое, нежели душу ее, измученную испытаниями. Ее лицо принадлежало к тому типу лиц, на котором вы, оставив без внимания множество других физиономий, лишенных своеобразия, задержите на миг свой взор и задумаетесь; так в Лувре среди множества картин на вас произведет захватывающее впечатление только величавый, проникнутый материнской скорбью облик, созданный кистью Мурильо, или лицо Беатриче Ченчи, которому Гвидо сумел придать самое трогательное выражение невинности, не стертое страшным преступлением, или творение Веласкеса, за-

печатлевшее угрюмые черты Филиппа Второго, которые дышат царственным могуществом, вселяющим ужас. Иные человеческие лица становятся властителями наших дум, они говорят с нами и вопрошают нас, отвечают на наши тайные мысли и даже представляются нам целой поэмой. Застывшее лицо г-жи д'Эглемон казалось одним из тех бесчисленных и страшных образов, что теснятся в «Божественной Комедии» Данте Алигьери.

В быстролетные годы расцвета женской красоты она отлично служит притворству, к которому вынуждает женщину ее природная слабость и законы нашего общества. Чудесный, свежий цвет лица, блеск глаз, изящный рисунок тонких черт, богатство линий, резких или округлых, но чистых и совершенно законченных,— завеса для всех ее сокровенных волнений; если она покраснеет, это не выдаст движения ее души, а только оживит и без того яркие краски; огонь ее глаз, горящих жизнью, в ту пору скрадывает все внутренние вспышки, и пламя страданий, вырываясь на миг, делает ее еще пленительнее. Итак, нет ничего более непроницаемого, чем молодое лицо, ибо нет ничего неподвижнее. Лицо молодой женщины безмятежно, гладко, ясно, как поверхность дремлющего озера. Своеобразие начинает появляться в женском лице лишь к тридцати годам. До этого возраста художнику не найти в нем ничего, кроме бело-розовых красок, улыбок и выражения, которое повторяет одну и ту же мысль,— мысль о радостях молодости и любви, мысль однообразную и неглубокую; но в старости, когда женщина все уже испытала, следы страстей словно врезаются в лицо ее; она была любовницей, супругой, матерью; самые сильные проявления счастья и горя в конце концов меняют облик человека, искажают черты, бороздя лицо неисчислимыми морщинами, наделяя каждую из них своим языком; и женщина становится тогда величественной в своем страдании, прекрасной в печали своей, великолепной в своей невозмутимости, и если нам позволено будет развить наше необычайное сравнение, то в высохшем озере станут тогда видны следы всех родников, питавших его; тогда лицо женщины уже не привлечет внимания света, ибо в легкомыслии своем свет будет напуган тем, что разрушены его привычные понятия о красоте; не привлечет оно и посредственного, ничего не смысля-

щего художника, зато вдохновит истинного поэта, того, кто наделен чувством прекрасного, кто свободен от всех условностей, на которых зиждется столько ложных понятий об искусстве и красоте.

Госпожа д'Эглемон была в модном капоре, но все же было заметно, что волосы ее, некогда черные, поседели от душевных тревог; они были разделены пробором, и прическа ее, говорившая об отменном вкусе, обнаруживавшая изящные привычки светской женщины, не закрывала увядший, морщинистый лоб, сохранивший свою прекрасную форму. По тонким, правильным чертам, по овалу лица еще можно было представить себе, как она была хороша собою прежде; должно быть, она некогда гордилась этим; но сколько тут было примет, которые возвещали о горестях, истомивших ее душу: лицо стало морщинистым, кожа на висках иссохла, щеки впали, веки опухли, а ресницы, это очарование взора, поредели. В ней было что-то замкнутое; ее сдержанность, величавая плавность ее поступи и движений внушали почтение. Скромность ее, превратившаяся в смирение, видимо, была порождена многолетней привычкой всегда держаться в тени ради дочери; и говорила она мало, тихо, как все люди, которые сосредоточенно размышляют, живут своею сокровенной жизнью. Поза ее и вся ее внешность вызывали неизъяснимое чувство,— не было оно ни страхом, ни состраданием, но в нем таинственно сочетались все ощущения, которые определяются этими столь различными понятиями. Наконец сами морщины ее, складки, избороздившие лицо, потухший, страдальческий взор — все красноречиво свидетельствовало о слезах, которыми переполнено сердце и которые никогда не увлажняют глаз. Люди несчастные, привыкшие взывать к небу с мольбой об утешении в горестях жизни, сразу бы распознали по взгляду этой женщины, что и для нее молитва является единственным прибежищем в повседневных страданиях и что у нее еще кровоточат те тайные раны, от которых гибнут все цветы души, вплоть до материнских чувств. У живописца есть краски для таких портретов, но никакими словами не передать их; сущность лица, его выражение — само по себе явление необъяснимое, и лишь зрение помогает нам уловить его; у писателя есть только один способ дать представление

о страшных переменах, происшедших во внешности его героев: он должен рассказать о тех событиях, из-за которых они появились. Все в этой женщине говорило о бесшумной ледяной грозе, о тайной борьбе между героизмом страдающей матери и убожеством наших чувств, недолговечных, как и мы сами, в которых нет ничего вечного. Страдания эти, беспрестанно подавляемые, в конце концов подорвали ее здоровье. Без сомнения, глубокие материнские муки физически изменили ее сердце; болезнь, вероятно аневризм, медленно подтачивала маркизу д'Эглемон, но она и не думала об этом. Истинная скорбь покоится в глубоком тайнике, уготовленном ею для себя, и будто спит там, но на самом деле постепенно снедает душу, как та ужасная кислота, что разрушает кристалл. Вот две слезинки скатились по щекам маркизы, и она поднялась, точно какая-то мысль, еще более тягостная, чем все остальные, причинила ей душевную боль. Она, конечно, раздумывала о будущем Моины, предвидела все несчастья, которые суждены ее дочери, на нее нахлынули воспоминания о всех бедах, выпавших ей самой в жизни, и сердце ее сжалось.

Тревога матери будет понятна, когда мы объясним, в каком положении находилась ее дочь.

Граф де Сент-Эрен уехал полгода назад с дипломатической миссией. Пока его не было, Моина, у которой тщеславие светской модницы сочеталось с прихотями избалованного ребенка, развлекалась тем, что, по легкомыслию ли или повинуясь женскому кокетству, а может быть, чтобы испытать власть своих чар, вела интригу с одним ловким и бессердечным молодым человеком, уверявшим ее, будто он теряет рассудок от любви; с такой любовью, однако, отлично уживаются мелкие тщеславные побуждения светского фата. Долгий опыт научил г-жу д'Эглемон разбираться в жизни, правильно судить о людях, опасаться света; она следила за ходом этого романа и предчувствовала, что дочь погубит себя, что она попала в сети к человеку, у которого нет ничего святого. Да и как было ей не страшиться, зная, что человек, которому Моина так радостно внимает,— *распутник*. Итак, ее любимая дочка стояла на краю пропасти. Г-жа д'Эглемон была глубоко уверена в этом, но не решалась остановить дочь,— Моина внушала ей робость. Она зара-

нее знала, что дочь и слушать не станет ее мудрых предостережений; она не имела никакой власти над этой душою, железной по отношению к ней, мягкой ко всем другим. Она так обожала дочку, что, вероятно, с участием отнеслась бы ко всем треволнениям ее любви, если бы могла найти ей оправдание в благородном характере обольстителя, но Моине просто хотелось пококетничать, а маркиза презирала графа Альфреда де Ванденеса, угадывая, что он смотрит на свою интрижку с Моиной, как на партию в шахматы. Альфред де Ванденес вызывал отвращение у этой несчастной матери, но ей приходилось утаивать главные причины своей нелюбви к нему. С маркизом де Ванденесом, отцом Альфреда, у нее были близкие отношения; дружба эта, к которой свет относился с уважением, позволяла теперь молодому человеку запросто приходить к г-же де Сент-Эрен, и он уверял, что влюблен в нее с детства. Впрочем, г-же д'Эглемон не удалось бы возвести преграду между дочерью и Альфредом де Ванденесом, даже если бы она вымолвила то ужасное слово, которое должно было бы разлучить их; она знала, что ничего не добьется, невзирая на силу этого слова, которое обесчестило бы ее в глазах дочери. Альфред был чересчур испорчен, Моина — чересчур лукава, чтобы поверить этому откровенному признанию, и молодая графиня, пожалуй, не посчиталась бы с ним, думая, что мать хитрит. Г-жа д'Эглемон сама воздвигла себе темницу, замуровала себя в ней и должна была умереть, видя, как губит свою прекрасную молодую жизнь ее Моина, ее гордость, счастье и утешение, ибо жизнь Моины была для нее неизмеримо дороже, нежели ее собственная. Какие ужасные, невероятные, безмолвные муки! Какая бездонная пучина!

Она нетерпеливо ждала, когда же наконец дочь проснется, и страшилась этого, словно приговоренный к смерти, который хочет покончить счеты с жизнью, но содрогается при мысли о палаче. Маркиза решилась на последний шаг; но, быть может, она боялась не того, что попытку ее постигнет неудача, а что сердце ее будет уязвлено, и это лишало ее мужества; вот до чего дошла она в своей материнской любви: она обожала дочь и боялась ее, страшилась удара кинжала и подставляла ему свою грудь. Материнское чувство беспредельно, и сделать

равнодушным сердце матери может только смерть или сила какого-нибудь иного тиранического чувства: религии или любви. С самого утра беспощадная память рисовала маркизе немало событий прошлого, как будто незначительных, но играющих огромную роль в нашей внутренней жизни. В самом деле, порою довольно одного жеста, и разыграется целая трагедия; довольно одного слова, и жизнь будет разбита; довольно одного безразличного взгляда, и будет убита самая пылкая страсть. Маркиза д'Эглемон видела чересчур много таких жестов, слышала чересчур много таких речей, ловила чересчур много взглядов, терзающих душу, и не могла почерпнуть надежду в своих воспоминаниях. Все доказывало, что Альфред вытесняет ее из сердца дочери, что она, мать, не на радость дочери занимает место в ее сердце, а в тягость ей; множество наблюдений, множество мелочей говорило о том, как дурно относится к ней Моина, и неблагодарность эту мать принимала как возмездие. Она старалась найти оправдание для своей дочери, говоря себе, что в этом — воля провидения, и благословляла руку, ударявшую ее. В то утро ей вспомнилось многое, и на сердце у нее было так тягостно, что от малейшего огорчения чаша ее страданий могла переполниться. Холодный взгляд, пожалуй, убил бы маркизу. Описывать все эти семейные дела трудно, но, право, достаточно рассказать о двух — трех случаях, чтобы все стало понятно. Так, например, маркиза стала плохо слышать, но никак не могла добиться, чтобы Моина громче говорила с нею; однажды, когда г-жа д'Эглемон простодушно, как это бывает с глухими, попросила дочку повторить фразу, которую не расслышала, графиня повиновалась, но вид у нее был такой недовольный, что мать никогда больше не обращалась с этой скромной просьбой; теперь, когда Моина рассказывала о чем-нибудь или просто разговаривала, маркиза старалась держаться к ней поближе; но нередко дочь раздражал недуг матери, и она, в легкомыслии своем, осыпала ее упреками; эта обида, а подобных ей было множество, жестоко уязвила материнское сердце. Все эти наблюдения ускользнули бы от взора постороннего человека, ибо такие черточки улавливает лишь женский глаз. Так, однажды, когда г-жа д'Эглемон сказала дочери, что ее навестила княгиня де Кади-

ньян, Моина воскликнула: «Как, неужто она приехала именно к вам?» Графиня произнесла эти слова с таким видом, таким тоном, что в них чуть приметно, но явно прозвучало высокомерное удивление и презрение,— оно навело бы молодых и сердечных людей на мысль о том, как человечно поступают дикари, убивая стариков, если они не удержатся за ветку дерева, когда его раскачивают изо всех сил. Г-жа д'Эглемон встала, улыбнулась и ушла, чтобы втихомолку поплакать. Люди хорошо воспитанные, и особенно женщины, скрытны в проявлении своих чувств, и о волнении их сердца догадается лишь тот, кому довелось испытать в жизни все, что испытывала исстрадавшаяся мать. И вот, сидя в саду, г-жа д'Эглемон, подавленная воспоминаниями, плакала, припоминая все эти случаи, как будто незначительные, но причинявшие ей горькую обиду, больно ранившие ее сердце; и никогда прежде с такой силою они не свидетельствовали о том, что за милыми улыбками Моины скрывается бессердечие и пренебрежение к матери. Но лишь только она услышала, что в спальне дочери открываются ставни, слезы на глазах у нее высохли, и г-жа д'Эглемон быстро пошла к заветным окнам по дорожке, окаймлявшей решетку, возле которой только что сидела. Мимоходом она заметила, что садовник с необычайным рвением посыпает песком запущенную аллею. Когда г-жа д'Эглемон подошла к окну, ставни внезапно захлопнулись.

— Моина! — окликнула она.

Никто не ответил.

— Их сиятельство в маленькой гостиной,— сказала горничная, когда маркиза вошла в покои дочери и спросила, встала ли она.

У г-жи д'Эглемон было так тяжело на сердце, голова ее была так занята мыслями, что она не обратила внимания на все эти мелкие, но странные обстоятельства; она торопливо прошла в гостиную и действительно застала там графиню; Моина была в пеньюаре, в чепчике, небрежно накинутом на разметавшиеся волосы, в ночных туфлях; к поясу у нее был привязан ключ от спальни; лицо ее пылало гневным румянцем. Она сидела на диване и, казалось, о чем-то раздумывала.

— Кто вас звал? — сердито спросила она.— Ах, это вы, маменька,— заметила она, как будто смутившись.

— Да, дитя мое, это я.

Выражение, с которым г-жа д'Эглемон произнесла это, говорило о желании излить душу, о том внутреннем волнении, которое нельзя передать иными словами, как «святое волнение». В самом деле, священный долг матери властно руководил ею; дочь в изумлении обернулась, и на лице ее отразилось чувство уважения, стыд и тревога. Маркиза затворила дверь; чтобы попасть в гостиную, надо было пройти не одну комнату, и шаги были бы слышны. Уединенность предохраняла от нескромного любопытства.

— Дочь моя,— начала маркиза,— мой долг открыть тебе глаза... Тебе грозит опасность, пожалуй, самая большая опасность в жизни женщины. Вероятно, ты нечаянно попала в такое положение. Я хочу поговорить с тобою как друг, а не как мать. Выйдя замуж, ты стала госпожой своих поступков, ты отдаешь отчет в них только мужу... Но ты так редко чувствовала власть матери (и это, пожалуй, моя ошибка), что я считаю себя вправе потребовать, чтобы ты хоть раз прислушалась к моим словам, ибо сейчас тебе необходим мой совет. Послушай, Моина, я выдала тебя замуж за человека одаренного, которым ты можешь гордиться, ты...

— Маменька,— прервала ее Моина с упрямым видом,— я знаю, о чем вы намерены говорить со мной. Вы собираетесь увещевать меня и бранить Альфреда...

— Вы бы этого не угадали, Моина,— строго заметила маркиза, еле удерживая слезы,— если бы сами не чувствовали, что...

— О чем вы говорите? — надменно переспросила графиня.— В конце концов, маменька...

— Моина,— воскликнула г-жа д'Эглемон, делая усилие над собою,— вы должны внимательно выслушать то, что я обязана сказать...

— Слушаю,— проговорила графиня, скрестив руки, и в ее деланной покорности было что-то вызывающее.— Позвольте мне только, маменька,— добавила она с удивительным хладнокровием,— позвонить Полине и отослать ее.

Она позвонила.

— Дорогая, ведь Полина не может услышать наш разговор...

— Маменька,—прервала ее графиня таким многозначительным тоном, что мать изумилась,— я должна...

Она умолкла: вошла горничная.

— Полина, сходите *сами* к Бодрену и узнайте, отчего до сих пор мне не прислали шляпку...

Она снова уселась и пристально посмотрела на мать. Сердце маркизы сжалось, глаза ее были сухи, она испытывала то волнение, горечь которого поймет лишь мать; она заговорила об опасностях, ожидавших ее дочь. Но оттого ли, что графиня сочла себя оскорбленной подозрениями, которые мать ее питала к сыну маркиза де Ванденеса, или оттого, что не совладала с непостижимым сумасбродством юности, она воспользовалась тем, что мать замолчала, и заметила, принужденно рассмеявшись:

— А я-то воображала, маменька, что вы ревнуете только к его отцу.

При этих словах г-жа д'Эглемон закрыла глаза, опустила голову и, тихонько вздохнув, возвела взор кверху, как бы покоряясь непреодолимому чувству, заставляющему нас призывать небо в те минуты, когда в нашей жизни совершаются большие события; затем она перевела взгляд на дочь, взгляд, полный гневного величия и глубокой печали.

— Дочь моя,— промолвила она изменившимся, скорбным голосом,— вы безжалостны к своей матери, безжалостнее, нежели человек, оскорбленный ею, быть может, более безжалостны, чем предстоящий мне суд божий.

Госпожа д'Эглемон встала; у дверей она обернулась, но, заметив в глазах дочери одно лишь удивление, вышла и еле добрела до сада; здесь силы покинули ее. Она почувствовала острую боль в сердце и опустилась на скамейку. Ее взгляд блуждал по песку, и она заметила свежий след, явственный след от изящных мужских сапог. Сомнения не было, ее дочь погибла,— маркиза поняла, какое поручение было дано Полине. И за этой страшной догадкой всплыла другая, и была она мучительнее всех остальных. Она поняла, что сын маркиза де Ванденеса уничтожил в сердце Моины уважение, которое дочь должна питать к матери. Ей становилось все хуже, она незаметно для себя потеряла сознание и словно заснула. Молодая графиня нашла, что мать держалась с нею

слишком резко, но решила, что следует пойти на примирение, а для этого вполне достаточно быть поласковее и повнимательнее с нею сегодня вечером. Из сада донесся женский крик, и она лениво выглянула в окно как раз в ту минуту, когда Полина, которая еще не успела уйти, подхватила на руки г-жу д'Эглемон и звала на помощь.

— Не испугайте дочь,— вот последние слова, произнесенные маркизой д'Эглемон.

Моина видела, что несут ее мать, бледную, недвижимую, что она дышит с трудом, но шевелит руками, будто старается оттолкнуть что-то и пытается что-то сказать. Моина, потрясенная этой картиной, вышла навстречу, молча помогла уложить мать на свою постель, раздеть ее. Она чувствовала свою вину, и это угнетало ее. В смертный час матери она поняла ее, но непоправимое уже совершилось. Ей хотелось остаться наедине с матерью; когда все ушли из комнаты, она прикоснулась к холодеющей руке, всю жизнь ласкавшей ее, и залилась слезами. Ее слезы привели маркизу в сознание, она собрала последние силы и взглянула на свою дорогую Моину; и когда из нежной полуобнаженной груди Моины вырвались громкие рыдания, она улыбнулась своей дочке. Улыбка эта доказала молодой матереубийце, что материнское сердце — бесконечное всепрощение.

Лишь только в доме стало известно о состоянии маркизы, послали верховых за доктором, фельдшером и за внуками г-жи д'Эглемон. Молодая маркиза с детьми приехала в одно время с врачами; собралось довольно много народу — родственники, слуги; все были встревожены и молчали. Из спальни не доносилось ни звука; молодая маркиза тихонько постучала в дверь. Моина, очнувшись от тягостных дум, распахнула двери, обвела помутившимся взглядом собравшихся, и ее удрученный вид был выразительнее любых речей. Никто не вымолвил ни слова, когда появилось это воплощение раскаяния. Все увидели ноги маркизы, окоченевшие, вытянувшиеся на смертном одре. Моина прислонилась к косяку двери, посмотрела на родственников и глухо сказала:

— Я лишилась матери!..

Париж, 1828—1844 гг.

ОТЕЦ ГОРИО

Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру в знак восхищения его работами и его гением

де Бальзак.

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже, на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех: для юношей и стариков, для женщин и мужчин,— и все же нравы в этом почтенном заведении не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень скудно. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная юная девица. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно, и не потому, что наша повесть драматична в настоящем смысле; но, возможно, что кое-кто, закончив чтение, прольет над ней слезу intra и extra muros[1]. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всей этой драмы, полной и местных наблюдений и местных красок, найдут себе достойную оценку только между хол-

[1] В черте города и в его предместьях *(лат.)*.

мами Монмартра и пригорками Монружа, в долине, знаменитой своими постройками из щебня, готовыми в любое время рухнуть, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так жутко, что лишь необычайное событие может оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление; а все-таки порой и здесь встречаешь горе, которому сплетение пороков и добрых чувств придает торжественность и величавость: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от вкуса сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице идола Джагернаута: наехав колесом на человеческое сердце, но не такое хрупкое, как у других людей, она, едва запнувшись, уже крушит его и продолжает свой достославный путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «А может быть, все это развлечет меня?» Прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, а свою бесчувственность вы отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте: эта драма не выдумка и не роман. All is true [1] — она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в себе самом, возможно, в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой, обрывистый подъем и спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует обычной тишине на улицах, втиснутых в пространство между куполом на Валь-де-Грас и куполом на Пантеоне, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и омрачая все суровым колоритом куполов. Здесь мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа является событием, дома

---

[1] Все правда (цитата из Шекспира).

угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно попавший туда парижанин не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, скуки или нищеты, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, как некая бронзовая рама, достойна больше всех служить оправой этому рассказу, который требует возможно больше серьезных мыслей и темных красок, чтобы читатель уже с начала проникся настроением, подобным чувству путешественника при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается протяжный голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что более ужасно: взирать на черствые сердца иль на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенный щебнем неглубокий желоб шириной в туаз, а вдоль него песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого и синего фаянса. Для входа на дорожку с улицы сделана калитка; над ней прибита вывеска: «ДОМ ВОКЕ»,— а ниже: «Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая». Если заглянуть днем в решетчатую калитку со звонким колокольчиком, то против улицы, в конце канавы, видна стена, где местный живописец нарисовал арку под зеленый мрамор, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе эмблему той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, свидетельствуя о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1777 году:

Кто бы ни был ты, о человек,
Се твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывается, уже не решетчатой, а глухой калиткой. Садик, шириной во всю длину фасада,

заключенный между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, совершенно скрытого завесой из плюща, настолько живописен для Парижа, что привлекает взор прохожих. Все стены вокруг сада затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, причем из года в год их пыльные и чахлые плоды становятся предметом опасений г-жи Воке и бесед ее с жильцами. Вдоль стен проходит узкая дорожка и ведет под кущу лип, или *липп*, как г-жа Воке, хотя из рода де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально стриженные плодовые деревья Под сенью лип врыт в землю круглый стол, окрашенный зеленой краской, и вокруг него поставлены скамейки. В разгаре лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь, наслаждаясь тенью, распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе такую роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. Боковой фасад лишь в два окна, при этом оба нижних без всяких украшений и забраны решеткой из железных прутьев. Позади дома двор шириною футов в двадцать, где в полном единении живут свиньи, кролики и куры. В глубине двора стоит сарай для дров; между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет весь домашний мусор, щедро пользуясь водой, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж был словно нарочно приспособлен под семейный пансион. Первая комната с окнами на улицу и стеклянной входной дверью представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, которая отделена от кухни клеткой лестницы, где деревянные ступеньки

выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной: стулья и кресла обиты волосяной материей в полоску, блестящую и матовую попеременно; середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-крапчатого мрамора, а на столе, для украшения, кофейный сервиз белого фарфора с потертыми золотыми ободками, какой найдешь теперь повсюду. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями с изображениями главнейших сцен из «Телемака», где действующие лица античной древности изображены в красках. В боковом простенке, между решетчатыми окнами, глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они тем самым ставят себя выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топился лишь в самые торжественные дни, и ради украшения на нем стоят замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора, а по бокам их — два стеклянных колпака над ветхими букетами искусственных цветов в двух вазах.

В этой первой комнате стоит особый запах: он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *трактирным запахом*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду; отдает столовой, где только что кончили обедать; воняет кухмистерской, лакейской, богадельней. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части — эти особые, болезненные запахи, исходившие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на этот пошлый ужас, если сравните вы гостиную со смежною столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но он теперь уже неуловим и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам — лип-

кие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой — изделие Турнэ. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить в них залитые вином или просто грязные салфетки, для каждого нахлебника отдельно. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отбросы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр, откуда вылезает капуцин, когда дождь уже прошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит,— все в черных деревянных рамках с золочеными долами; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты Аргана, где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой, настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем за неимением стилоса; искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки — в вечном употреблении и без износа, затем дрянные грелки с развороченными продушинами, обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива,— понадобилось бы целое описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол — в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не грязь, но полна пятен, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вскакивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице выступает нос, прямо из середины, как клюв у попугая; пухленькие ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колы-

хающаяся грудь — все гармонирует с этой залой, где сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый, смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика — словом, ее личность предопределяет назначение пансиона, как пансион определяет назначение ее личности. Каторга не бывает без надсмотрщика — одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть следствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением Воке картина закончена. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, *видавших виды*. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять подороже, а впрочем, для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа, если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. При всем этом она, в *сущности, баба неплохая*, говорят о ней нахлебники и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей одни глаза, чтобы плакать, этот дом, чтобы существовать, и право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц.

Ко времени начала этой повести жильцов-пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших в этом доме. В одном — поменьше — жила сама Воке, другое занимала мадам Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала

совсем юная девица Викторина Тайфер, которой мадам Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет сорока в черном парике и с крашеными бакенбардами, который выдавал себя за бывшего купца и звался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну — старая дева мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папашей Горио. Две остальные комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его родных пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк — так его звали — принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и подготовляют себе блестящую судьбу, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособив свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его умения войти в парижские салоны колорит повести утратил бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, его прозорливому уму и его стремлению проникнуть в тайны одной трагической судьбы, как ни старались их скрывать и сами виновники ее и ее жертвы.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка. Помимо семерых нахлебников-жильцов, г-жа Воке кормила, глядя по году, однако же не меньше восьми студентов, юристов или медиков, да двух — трех завсегдатаев из своего квартала—все або-

нированные только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем их сборище за завтраком имело вид семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя по-дружески и откровенно. Эти семеро пансионеров являлись баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от цены за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили за все лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб, где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему зрелищу всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье — словом, одна видимость одежды. На женщинах вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, подштопанные кружева, залоснившиеся от времени перчатки, неизменно желтоватые воротнички и на плечах дырявые платки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, организм выдержал натиск житейских бурь, лица холодные, жесткие, полустертые, как изъятая из обращения монета. Увядшие рты вооружены хищными зубами. В этих нахлебниках угадывались драмы уже законченные или еще в действии: не те, которые играют при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни или же застывшие, немые, но горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет — так угловаты были формы, сокрытые под ней.

Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, не промышляла ли торговлей старым платьем или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, обращавшей прохожих в бегство? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, загрубевшее лицо стало зловещим. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, страдавшим от катара мочевого пузыря, а дети бросили его, решив, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще хранило признаки когда-то белой, тонкой кожи, наводившие на мысль, что в формах ее тела осталось кое-что от прежней красоты.

Г-н Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая, помятая фуражка, рука едва удерживает трость за пожелтевший набалдашник слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху смотрит грязная белая жилетка и вылезает заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой расе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело это шишковатое лицо, что и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником смотрителя, ведавшего народным здравием. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на на-

шей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов, был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна; короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж — это настоящий океан. Бросьте в него лот, и все же глубины его вам не узнать. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте, старайтесь, как угодно: сколько бы ни было исследователей, как ни велика их любознательность, но в этом океане всегда найдется не тронутая ими область, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами от литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, обычная в ней грусть, стесненная манера поведения, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению, как основному фону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтелый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватых тонах ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, чересчур тонкой талии проявлялась та грация, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Простое, недорогое платье облегало девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины — в ее благополучии, как в туалете — ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо, когда б отрада изящной жизни округлила и подрумянила слегка ввалившиеся щеки, когда б любовь вдохнула жизнь в эти грустные глаза,— Викторина могла бы поспорить с любой самой красивой девушкой. Ей не хватало того, что женщину перерождает: тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какие-то причины не признавать ее, отказывался жить с ней вместе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие можно было передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав к дальней своей родственнице, вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, эта вдова интендантского комиссара времен Республики не имела ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее одна, на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели — к исповеди, чтобы воспитать ее на всякий случай благочестивой девушкой. Г-жа Кутюр была права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этим отвергнутым ребенком, который любил отца и каждый год ходил к нему, стараясь передать прощение от своей матери, но ежегодно натыкался в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный посредник между ними, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила бога раскрыть глаза отцу, тронуть сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили подходящих выражений в лексиконе бранных слов. В то время как они ругали бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркование раненого голубя, где в тоне скорби все еще звучит любовь.

У Эжена Растиньяка было лицо типичного южанина: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, где ребенок с малых лет воспитывался только на старинных правилах хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в будние дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись, как подобало молодому франту. Но повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, уже сменившие свои подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет, с крашеными бакенбардами, г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» Широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас очень шел грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас разбирал его, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке и нескольких пансионеров; но должники его скорее бы умерли, чем не вернули ему долг,— столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна его манера сплевывать говорила о невозмутимом хладнокровии такого сорта, что Вотрен, наверно, не остановился бы перед преступлением ради выхода из критического состояния. Взор его, как строгий судья, казалось, доходил до самой глуби всех вопросов, всех чувств, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен удостоился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал за талию — непонятая ею лесть! Вдова совершенно искренне воображала, что обхватить ее — простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы прижать к себе такую грузную колоду. Характерная для него черта: он, не скупясь, приплачивал пятнадцать франков в месяц за «глорию» и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захва-

ченная вихрем парижской жизни, иль этих стариков, равнодушных ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно, не удовлетворило бы то двойственное впечатление, какое производил на них Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни рода его занятий, ни его мыслей. Поставив как преграду между другими и собою показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко разражался он сатирой, достойной Ювенала, где, видимо, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал его во внутренних противоречиях, а это позволяло думать, что в собственной его душе жила злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни тщательно сокрыта большая тайна.

Мадемуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом по тяготению, возможно безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня-завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто и не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все отличались взаимным равнодушием с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности, все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, поделившись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им было уже нечего сказать друг другу. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет по улице мимо слепого нищего, не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье и в смерти увидит разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ самой счастливой была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный и в мороз, и в сушь, и в слякоть, пустынный, словно степь, ей

одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый, мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки свежеприготовленную пищу в достаточном количестве по той цене, по какой она ее давала, и то пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то по крайней мере чистым и невредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость — жертва снесет ее без ропота.

В подобном соединении людей должны бы проявиться составные части человеческого общества, они и проявлялись в малом виде. Как то бывает в школах и в кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план из среды всех, с кем было суждено ему прожить еще два года. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик, папаша Горио, а между тем и живописец и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось и это полузлобное презрение, и смешанное с жалостью гонение, и это неуважение к чужой беде, постигшее старейшего жильца? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из настоящего смирения, по безразличию или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком-нибудь или на чем-нибудь? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит во все звонки входных дверей, когда стоят морозы, или, взобравшись на еще чистый памятник, пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда ушел от дел. Первоначально он снял квартиру, ныне занимаемую г-жой Кутюр, и платил тысячу двести франков за пол-

ный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке обновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, на основании того, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно г-н Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, г-жа Воке составила себе мнение о нем как о дураке, ничего не смыслящем в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из *полуголландского* полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в васильковый фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую, массивную, увешанную брелоками цепочку. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, хранивший чьи-то волосы, что придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его «шкафы» (это слово он выговаривал на простонародный лад) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака — словом, вещи, более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

— Вот,— сказал он г-же Воке, вынимая блюдце и суповую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок,— это первый подарок моей жены в годовщину на-

шей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря бога, я в остаток дней своих еще попью утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, даже по приблизительным расчетам, могли давать этому замечательному Горио тысяч восемь — десять дохода в год. С этого дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, хотя ей минуло все сорок восемь лет, но по ее счету только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то, что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно-простоватое лицо папаши Горио. Он представлялся ей животным крепкого сложения, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво обрамляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так щедро брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в свои возможности когда угодно наполнять ее макубой, что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желания проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем зажиточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи; ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, подаренных кое-кем из пансионеров в июле месяце,— все это Эльдорадо парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла нико-

«ОТЕЦ ГОРИО».

«ОТЕЦ ГОРИО».

му, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по одному су. Разумеется, что в смысле состояния она себя считала приличной партией.

— А в остальном я вполне стою старикана,— сказала она себе и повернулась на другой бок, точно удостоверясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня, в течение трех месяцев, вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что нужно же придать дому известный декорум в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похваляться, что г-н Горио, один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а все же оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». А дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала. Из окон пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобленовой мануфактуры, есть *миленький сад*, а в конце его *простирается* липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о назначении и утверждении пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на *полях* битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что *доложила еще своих*. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обещала переманить к ней из квартала Марэ баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе, более дорогом, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

— Но канцелярии все тянут без конца,— добавила она.

После обеда две вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносмородинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амберменил очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, да она и сама их разгадала с первого же дня и находила, что Горио — мужчина первый сорт.

— Ах, дорогая! — говорила ей вдова Воке.—Этот мужчина свеж, как яблоко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.

— Надо вас привести в боевую готовность,— сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жанета», где они выбрали шарф и платье. Когда все это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она имела сходство с вывеской «Беф а ля мод». Тем не менее она сама нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и упросила ее принять на память шляпку в двадцать франков, хотя не отличалась торопватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно — выспросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амберменил весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и наконец добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желанием соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать отпор папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла.

— Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! — сказала она своей подруге.— Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амберменил и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же

день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто рассказывала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного. Явление морального порядка крайне странное, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе; быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие лица втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать сердце или уважение людей, им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец, есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это делать их обязанность; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем они меньше его любят; чем дальше он от них, тем больше их старание услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по существу мелкие, лживые и гадкие.

— Будь я тогда здесь,— говаривал Вотрен,— с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее главным виновником такого злоключения оказался честный вермишельщик; с этой поры у ней, как говорила она, раскрылись на него глаза. Постигнув тщету своих заигрываний и своих за-

трат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел свои, по выражению ее, замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и что от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо, знаток в этих делах. В неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на вершины сердечных отношений, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдове пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова пустила в ход все женское лукавство, чтобы изобрести тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено для общего стола.

— Никаких корнишонов, никаких анчоусов: от них один убыток! — объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него в привычку. Суп, вареная говядина, блюдо овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, затронув его вкусы, оказалась нелегким делом для Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала подрывать уважение к нему, внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец при его доходе в семь—восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоразмерно с состоянием, так скромно тратил на свой стол? В течение большей части первого года Горио не-

редко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу он стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Эти развлечения почтенного г-на Горио на стороне удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда ее жилец начал все чаще обедать в пансионе, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только постепенному денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Мерзейшая привычка карликовых умов — приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, в конце второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимой. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Горио, но с той поры уже звала его «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, молчалив. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, все те, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимаются зловредными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» — в старого шута. Папаша Горио оказывался то человеком, который забегал на биржу и там, употребляя энергичное словцо финансового языка, *пощипывал на ренте*, предварительно на этом разорившись,— такова была версия Вотрена, поселившегося тогда в «Доме Воке»; то это был один из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы *достигнуть этого*. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужавшим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однако же, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеи-

вая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и стало общепринятым. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблоко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршание шелкового платья и легкие шаги молодой женщины, прошмыгнувшей к Горио в умышленно растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, *одетая, как божество*, в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, к ней с улицы на кухню и спросила, где квартирует г-н Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же папаша Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия, чтобы проследить за любовной парой, надела на руку корзинку, сделав вид, будто идет на рынок.

— Сударыня,— сказала она, вернувшись,— а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли содержит ее на эдакую ногу. Верите ли, на углу Эстрапады стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села *она*.

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы луч солнца, падавший в глаза, не беспокоил Горио.

— Господин Горио, вас любят красотки, вам светит солнышко. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая! — сказала вдова, намекая на его гостью.

— Это моя дочь,— ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли простым самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио последовал второй. Его дочь, которая явилась первый раз в утреннем туалете, теперь пришла после обеда в выезд-

ном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаши Горио.

— Да их две! — заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.

Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.

— Да их три! — воскликнула Сильвия.

Вторая дочь навестила отца утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.

— Целых четыре! — воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, в первый раз приходившей утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать их за дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как эти посещения оказывались причиной равнодушия пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «Старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходившую по лестнице, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама — его старшая дочь.

— Так у вас дочерей-то три дюжины, что ли? — съязвила госпожа Воке.

— Только две дочери,— ответил ей жилец смиренно, как человек, разорившийся и дошедший до полной покорности нужде.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос — грязно-серого и зе-

леноватого оттенка. Его физиономия, от тайных горестей становясь день ото дня печальнее, казалась самой грустной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио — это старый распутник, только благодаря искусству доктора сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос — следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и нравственное состояние бедняги, казалось, оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось тонкое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности — все ушло, одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна каштанового цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио худел все больше; икры его опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года своего житья на улице Нев-Сент-Женевьев он стал не похож на самого себя. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь казался семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! Теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим — жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа его отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он болен кретинизмом.

Как-то вечером по окончании обеда вдова Воке спросила Горио в виде насмешки: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?»,— ставя этим под сомнение его отцовство. Папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.

— Иногда они заходят,— ответил он взволнованным голосом.

— Ах, вот как! Иногда вы их еще видаете? — воскликнули студенты.— Браво, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость,— но те, кто наблюдал его поверхностно, принимали ее за старческую тупость, происходившую от скудоумия. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, сейчас же особая стремительность парижской жизни уносила воспоминание о бедном старике — предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за дочерей, каждый держался мнения Воке; она же со строгой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни строить свои предположения о чем угодно, говорила:

— Будь у папаши Горио дочери так богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?!

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда и разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в антропоморфного моллюска из отряда фуражконосных, как выразился «обеденный» нахлебник — чиновник Естественноисторического музея... А Пуаре?.. То был орел, был джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рас-

суждал, давал ответы; правда, и в разговоре, и в рассуждениях, и в ответах он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.

Эжен Растиньяк вернулся с каникул в состоянии духа, наверное, знакомом молодым людям, вообще очень одаренным или таким, в которых безвыходное положение вдруг пробуждает на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показными прелестями Парижа. Студенту не хватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы-выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент повязывает выше галстук и принимает красивые позы ради какой-нибудь женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, избавляется от родимых пятен, расширяет свои жизненные горизонты и постигает, наконец, градацию человеческих слоев в структуре общества. Начав заглядываться на вереницу колясок, кативших при ярком солнце по Елисейским полям, он скоро пожелает обзавестись и сам коляской.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу раньше, чем он уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, находясь в родовой усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключа-

лось в пенсии, жили в маленьком имении Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, а, несмотря на это, требовалось ежегодно выжать из него тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему такими красавицами в детстве, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какою мелочною бережливостью заботливо припрятывались самые дешевые продукты; пил вместе со своей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество всяких обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерили его желание преуспеть в жизни и возбудили жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как только он очутится в открытом море, не зная, ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса! Эжен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл соединялись в нем с изяществом осанки и какой-то нервической красой, на которую так падки женщины? Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, а теперь и сестры замечали в нем большую перемену. Его тетка, г-жа де Марсийяк, была когда-то при дворе и завела знакомство в верхах аристократического мира. В воспоминаниях тетки, которыми она так часто и так заманчиво делилась с ним, юный честолюбец вдруг нашел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в Школе правоведения. Он расспросил

ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветвями генеалогического древа, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников из всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наименее строптивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, отдавая письмо Эжену, сказала, что коль скоро он преуспеет у виконтессы, то эта дама пособит ему вновь обрести и других родственников. Спустя несколько дней по своем прибытии в Париж, Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босеан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день.

Таково было общее положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Несколькими днями позже Эжен, побывав на балу у г-жи де Босеан, пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянное время, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести ночь без сна в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случалось, когда он приходил с балов в Прадо или Одеоне, забрызгав шелковые чулки грязью и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, взглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента.

Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен несколько минут сидел задумавшись. В лице виконтессы де Босеан он только что увидел одну из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря тетке де Марсийяк бедный студент был

хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность: быть принятым в этих раззолоченных салонах равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом из обществ, он завоевал право на вход куда угодно. Ослепленный таким блестящим сборищем, Эжен едва успел обменяться с виконтессой лишь несколькими фразами и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши должны влюбляться тотчас. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана. Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь — женщину, которую маркиз де Ронкероль звал «чистокровной лошадью». Нервная утонченность не портила ничем ее красот: все формы отличались полнотой и закругленностью, не вызывая упрека в излишней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая женщина»—такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов», «оссиановские лица» — всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.

— Где можно встретить вас, мадам? — спросил он напрямик, с той страстной силой, которая так нравится женщинам.

— Где... Ну, в Булонском лесу, у Буфонов, у меня, всюду,— ответила она.

И предприимчивый южанин поторопился сблизиться с пленительной графиней, насколько это мыслимо для молодого человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою даму «знатной дамой», Эжен отрекомендовался ей кузеном г-жи де Босеан, после чего графиня разрешила ему явиться к ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощание он заключил, что надо сделать ей визит. На свое счастье, он встретил человека, который не посмеялся его наивности, считавшейся смертным грехом в среде таких прославленных повес этой эпохи, как Моленкуры, Ронкероли, Максим де Трай, де Марсе, Ажуда-Пинто, Ванденесы, блиставших безумным ще-

гольством, вращаясь в обществе самых роскошных женщин — леди Брандон, герцогини де Ланже, графини Кергарует, г-жи Серизи и де Ланти, герцогини де Карильяно, графини Ферро, маркизы д'Эглемон, г-жи Фирмиани, маркизы де Листомэр, маркизы д'Эспар, герцогинь де Мофриньез и де Гранлье. Итак, по счастью, неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любовника герцогини де Ланже, хотя и генерала, но человека детски простодушного, который сообщил ему, что графиня де Ресто живет на Гельдерской улице.

Быть молодым, мечтать о женщине, жаждать светской жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери двух домов; стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан и преклонить колено на Шоссе д'Антен перед графиней де Ресто, проникать взором анфиладу парижских салонов и считать себя достаточно красивым, чтобы найти там покровительство и поддержку в женском сердце; чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натянутый канат, идти по нему со смелостью никогда не падающего акробата и приобрести самый надежный балансир в лице обворожительной женщины! Кто бы во власти таких дум и такой женщины, величественно возникавший перед ним здесь, рядом с торфяной печкой, между нищетой и Сводом законов,— кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не предугадывал успех, как Эжен? Разгулявшаяся мысль так щедро давала векселя под будущие радости, что он уже воображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время стон, похожий на скорбный вздох св. Иосифа, нарушил молчание ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-то предсмертный хрип. Эжен тихонько открыл дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Горио. Опасаясь, не плохо ли его соседу, он приложил глаз к замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за работой, казалось, настолько подозрительной, что студент решил оказать услугу обществу, хорошенько выяснив ночные махинации так называемого вермишельщика. Папаша Горио, как видно, еще раньше перевернул стол вверх ногами и, привязав к его перекладине вещь, похожую на суповую чашку, и блюдце из позолоченного серебра, об-

вивал теперь эти богато расчеканенные вещи каким-то подобием каната, сжимая их с такой силой, что они скручивались трубкой, и, вероятно, собирался превратить их в слитки.

«Ого! Каков мужчина! — подумал Растиньяк, глядя на жилистые руки старика, пока он с помощью веревки мял, как тесто, позолоченное серебро.— Не вор ли он или сбытчик краденого, который прикидывается немощным, дурачком и живет, как нищий, чтобы спокойно заниматься своим промыслом?»—спрашивал себя Эжен, выпрямляясь.

Студент снова приник глазом к замочной скважине. Папаша Горио размотал канат, взял ком серебра, положил его на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать, придавая форму круглой чурки,— операция, с которой он справлялся изумительно легко.

«Да, силы в нем, пожалуй что не меньше, чем в польском короле Августе!» — сказал себе Эжен, когда серебряная чурка стала почти круглой.

Папаша Горио печально глянул на дело рук своих, из глаз его потекли слезы, он задул витую свечечку, при свете которой плющил серебро, и Растиньяк услышал, как он, вздохнув, улегся спать.

«Это сумасшедший»,— подумал студент.

— Бедное дитя! — громко произнес папаша Горио.

После таких слов Эжен решил, что лучше помолчать об этом происшествии и не осуждать столь опрометчиво соседа. Студент хотел было войти к себе, но вдруг он уловил почти непередаваемое шуршание, как если бы внизу по лестнице шли люди, обутые в мягкие покромчатые туфли. Эжен напряг свой слух и в самом деле стал различать в отдельности дыхание каких-то двух человек. Не услыхав ни скрипа двери, ни людских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже в комнате Вотрена.

«Вот сколько тайн в семейном пансионе!» — произнес он про себя.

Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя дверь опять не скрипнула, но снова послышалось дыхание двух человек. Затем, по мере того как они спускались с лестницы, звук, удаляясь, замирал.

— Кто там ходит? — крикнула Воке, раскрыв свое окно.

— Это я, мамаша Воке, иду к себе,— ответил тихим басом Вотрен.

«Странно! Ведь Кристоф запер на засов,— говорил себе Эжен, возвращаясь в свою комнату.— В Париже, чтобы хорошо знать все происходящее вокруг, нельзя спать по ночам».

Два этих небольших события отвлекли его от честолюбиво-любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако внимание студента рассеивалось подозрениями насчет папаши Горио, а еще больше — образом графини де Ресто, ежеминутно возникавшей перед ним, как вестница его блестящего предназначения; в конце концов он лег в постель и заснул сразу, как убитый. Когда юноши обещают посвятить ночь труду, они в семи случаях из десяти предаются сну. Чтобы не спать ночами, надо быть старше двадцати лет.

На следующее утро в Париже стоял такой густой туман, что все закуталось, заволоклось и люди, даже самые точные, запутались во времени. Деловые встречи не состоялись. Било полдень, а казалось, что только восемь часов утра. В половине десятого г-жа Воке еще не поднималась с постели. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже с опозданием, мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов, но подвергнутого Сильвией длительному кипячению, чтобы г-жа Воке не заприметила такого незаконного побора.

— Сильвия,— обратился к ней Кристоф, макая в кофе первый свой гренок,— что там ни говори, а господин Вотрен — человек хороший; нынче ночью он опять видался с двумя личностями, а ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить.

— А он дал что-нибудь тебе?

— Сто су за один месяц, оно, значит, вроде как «помалкивай».

— Он да госпожа Кутюр одни не жмутся, а прочие так норовят левой рукой взять обратно, что дают правой на Новый год,— сказала Сильвия.

— А и дают-то что?! — заметил Кристоф.— Каких-нибудь сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит себе башмаки. А этот *скаред* Пауре обходится без

ваксы; да он ее скорее вылижет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Что же до этого щуплого студента, так он дает мне сорок су. А мне дороже стоят одни щетки, да вдобавок он сам торгует своим старым платьем. Ну и лавочка!

— Это еще что! — возразила Сильвия, попивая маленькими глотками кофе.— Наше место как-никак лучшее в квартале; жить можно. А вот что, Кристоф, я опять насчет почтенного дядюшки Вотрена — с тобой ни о чем не говорили?

— Было дело. Тут на днях повстречался я на улице с одним господином, а он и говорит мне: «Не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки?» А я ему на это: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того». Я, значит, доложил об этом господину Вотрену, а он сказал: «Хорошо сказано, паренек! Так всегда и отвечай. Чего уж неприятнее, как ежели узнают о твоих слабостях. От этого, бывало, расстраивались свадьбы».

— Да и ко мне на рынке подъезжали, не видела ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку. Прямо смех! Слышишь,— сказала она, прерывая себя,— на Валь-де-Грас пробило уже без четверти десять, а никто и не шелохнется.

— Хватилась! Да никого и нет. Госпожа Кутюр со своей девицей еще с восьми часов пошли к причастию к святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только в десять, после лекций. Я убирал лестницу и видел, как они уходили, еще папаша Горио задел меня своим свертком, твердым, как железо. И чем он только промышляет, этот старикашка? Другие его гоняют, как кубарь, а все-таки он человек хороший, лучше их всех. Дает-то он пустяки, зато уж дамы, куда он посылает меня иной раз, отваливают на водку — знай наших, ну да и сами разодеты хоть куда.

— Уже не те ли, кого он зовет своими дочерьми? Их целая дюжина.

— Я ходил только к двум, тем самым, что приходили сюда.

— Никак хозяйка завозилась? Поднимет сейчас гам надо идти. Кристоф, постереги-ка молоко от кошки.

Сильвия поднялась к хозяйке.

— Что это значит, Сильвия? Без четверти десять, я сплю, как сурок, а вам и горя мало. Никогда не бывало ничего подобного.

— Это все туман, такой, что хоть ножом его режь.

— А завтрак?

— Куда там! В наших жильцов, видно, бес вселился: они улепетнули ни свет ни мара.

— Выражайся правильно, Сильвия,— заметила г-жа Воке,— говорят: ни свет ни заря.

— Ладно, буду говорить по-вашему. А завтракать можете в десять часов. Мишонетка да Пуаре еще не ворошились. Только их и в доме, да и те спят, как колоды: колоды и есть.

— Однако, Сильвия, ты их соединяешь вместе, словно...

— Словно что? — подхватила Сильвия, заливаясь глупым смехом.— Из двух выходит пара.

— Странно, Сильвия, как это господин Вотрен вошел сегодня ночью, когда Кристоф уже запер на засов?

— Даже совсем напротив, сударыня. Он услыхал господина Вотрена и сошел вниз отпереть ему. А вы уж надумали...

— Дай мне кофту и поживее займись завтраком. Приготовь остатки баранины с картофелем и подай вареных груш, что по два лиара штука.

Через несколько минут Воке сошла вниз, как раз в то время, когда кот ударом лапы сдвинул тарелку, накрывавшую чашку с молоком, и торопливо лакал его.

— Мистигри! — крикнула Воке.

Кот удрал, но затем вернулся и стал тереться об ее ноги.

— Да, да, подмазывайся, старый подлюга! — сказала ему хозяйка.— Сильвия! Сильвия!

— Ну! Чего еще, сударыня?

— Смотри-ка, сколько вылакал кот!

— Это скотина Кристоф виноват, я же ему сказала накрыть на стол. Куда это он запропастился? Не беспокойтесь, сударыня; это молоко пойдет для кофе папаши Горио. Подолью воды, он и не заметит. Он ничего не замечает, даже — что ест.

— Куда пошел этот шут гороховый?—спросила г-жа Воке, расставляя тарелки.

— Кто его ведает, где его черти носят?

— Переспала я,— заметила г-жа Воке.

— А свежи, как роза...

В эту минуту послышался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая басом:

Когда объехал я весь свет,
Ни для кого не стало тайной...

— Хо! Хо! Доброе утро, мамаша Воке,— сказал он, заметив хозяйку и игриво заключая ее в объятия.

— Ну же, бросьте...

— Скажите: «Нахал!» Говорите же! Вам ведь хочется сказать?.. Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Разве я не мил, а?

Что я блондинок и брюнеток цвет
Умел срывать...

Сейчас я видел нечто странное..

...случайно.

— А что? — спросила вдова.

— Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра, сплющенный очень здорово для человека без сноровки.

— Да ну, в самом деле?

— Да. Я шел домой, проводив одного своего приятеля, который уезжает совсем из Франции через посредство Компании почтовых сообщений; я дождался папашу Горио, чтобы понаблюдать за ним,— так, для смеху. Он вернулся в наш квартал, на улицу де-Грэ, где и вошел в дом к известному ростовщику по имени Гобсек,— плут, каких мало, способен сделать костяшки для домино из костей родного отца; это еврей, араб, грек, цыган, но обокрасть его — дело мудреное: денежки свои он держит в банке.

— А чем же занимается папаша Горио?

— А тем, что разоряется,— ответил Вотрен.— Этот болван настолько глуп, что тратится на девочек, а они...

— Вон он! — сказала Сильвия.

— Кристоф,— кликнул папаша Горио,— поднимись ко мне!

Кристоф последовал за Горио и вскоре сошел вниз.

— Ты куда? — спросила г-жа Воке слугу.

— По поручению господина Горио.

— А это что такое? — сказал Вотрен, вырывая из рук Кристофа письмо, на котором было написано: Графине Анастази де Ресто.— Куда идешь? — спросил Вотрен, отдавая письмо Кристофу.

— На Гельдерскую улицу. Мне велено отдать это письмо графине в собственные руки.

— А что это там, внутри?!—сказал Вотрен, рассматривая письмо на свет.— Банковый билет?.. Не то! — Он приоткрыл конверт.— Погашенный вексель! — воскликнул он.— Вот так штука! Любезен же старый дуралей. Иди, ловкач,— сказал он, накрывая своей лапой голову Кристофа и перевертывая его, как волчок,— тебе здорово дадут на водку.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Г-жа Воке разводила огонь в печке; хозяйке помогал Вотрен, все время напевая:

Когда объехал я весь свет,
Ни для кого не стало тайной...

Когда все было уже готово, вернулись г-жа Кутюр и мадемуазель Тайфер.

— Откуда вы так рано, дорогая? — спросила у г-жи Кутюр г-жа Воке.

— Мы с ней молились у святого Этьена дю-Мон; ведь сегодня нам предстоит идти к господину Тайферу. Бедная девочка дрожит, как лист,— отвечала г-жа Кутюр, усаживаясь против печки и протягивая к топке свои ноги, обутые в ботинки, от которых пошел пар.

— Погрейтесь, Викторина,— предложила Воке.

— Просить бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, дело хорошее,— сказал Вотрен, подавая стул сироте.— Но этого мало. Вам нужен друг, который выложил бы все начистоту этой акуле, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, а он не дает вам приданого. По теперешним временам и красивой девушке приданое необходимо.

— Бедный ребенок,— посочувствовала Воке.— Послушайте, моя голубка, ваш чудовище-отец накликает на себя всяких бед.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и вдова, заметив знак, сделанный ей г-жой Кутюр, остановилась.

— Хоть бы нам удалось повидать его, хоть бы я могла поговорить с ним и передать ему прощальное письмо его жены! — снова начала вдова интендантского комиссара.— Я не рискнула послать письмо по почте; он знает мой почерк.

— «О женщины, невинные, несчастные, гонимые,— воскликнул Вотрен, перебив ее,— до чего же вы дошли!» Через несколько дней я займусь вашими делами, и все пойдет на лад.

— О, господин Вотрен,— обратилась к нему Викторина, бросая на него влажный и горячий взор, не возмутивший, впрочем, спокойствие Вотрена,— если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы молиться за вас богу. Будьте уверены в признательности...

— «Когда объехал я весь свет»,— иронически пропел Вотрен.

В этот момент спустились вниз Пуаре, мадемуазель Мишоно и Горио, вероятно, привлеченные запахом подливки, которую готовила Сильвия к остаткам баранины. Когда нахлебники, приветствуя друг друга, сели за стол, пробило десять часов, и с улицы послышались шаги студента.

— Вот и хорошо, господин Эжен; сегодня вы позавтракаете со всеми вместе,— сказала Сильвия.

Студент поздоровался с присутствующими и сел рядом с папашей Горио.

— Со мной случилось удивительное приключение,— сказал он, наложив себе вдосталь баранины и отрезая кусок хлеба, причем г-жа Воке, как и всегда, прикинула на глаз вес этого куска.

— Приключение?! — воскликнул Пуаре.

— Так чему же вы дивитесь, старая шляпа? — сказал Вотрен, обращаясь к Пуаре.— Господин Эжен создан для приключений.

Мадемуазель Тайфер робко взглянула на юного студента.

— Расскажите же нам о вашем приключении,— попросила г-жа Воке.

— Вчера я был на балу у одной своей кузины, виконтессы де Босеан, в ее великолепном особняке, где комнаты обиты шелком. Короче говоря, она устроила нам роскошный праздник, на котором я веселился, как король...

— Лек,— добавил Вотрен, прерывая его речь.

— Что этим хотите вы сказать? — вспыхнул Эжен.

— Я говорю: королек, потому что королькам живется гораздо веселее королей.

— Это верно,— заметил «дáкальщик» Пуаре,— я бы предпочел быть этой беззаботной птичкой, чем королем, потому что...

— На этом балу,— продолжал студент, обрывая Пуаре,— я танцевал с одной из первых красавиц, восхитительной графиней, самым прелестным созданием, какое я когда-либо встречал. Цветы персика красовались у ней на голове, сбоку приколот изумительный букет живых, благоухающих цветов; да что там! Разве женщина, воодушевленная танцем, поддается описанию,— надо ее видеть. И вот сегодня около девяти часов утра я встретил эту божественную графиню; она шла пешком по улице де-Грэ. О, как забилось мое сердце, я вообразил себе...

— Что она шла сюда,— продолжал Вотрен, окинув студента глубоким взглядом.— А всего верней шла она к дядюшке Гобсеку, к ростовщику. Если вы когда-нибудь копнете в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там ростовщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут Анастази де Ресто, и живет она на Гельдерской улице.

При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена. Папаша Горио резко вскинул голову и устремил на обоих собеседников ясный, но тревожный взор, поразивший всех.

— Кристоф пришел слишком поздно: она туда уже ходила! — скорбно воскликнул Горио.

— Я угадал,— сказал Вотрен на ухо маменьке Воке.

Горио ел машинально, не разбирая, что он ест. Никогда не казался он таким безучастным, ушедшим в самого себя, как в этот раз.

— Господин Вотрен, какой бес сказал вам ее имя? — спросил Эжен.

— Ага! Вот оно что! Папаша-то Горио знает его отлично! Почему же не знать и мне?!

— Господин Горио! — окликнул его студент.

— А? Что? Так вчера она была очень красива? — спросил бедняга старик.

— Кто?

— Госпожа де Ресто.

— Взгляните на старого скрягу, как разгорелись у него глаза! — сказала Вотрену г-жа Воке.

— Уж не ее ли он содержит? — шепнула студенту мадемуазель Мишоно.

— О, да! Она была бесподобно хороша,— продолжал Эжен, на которого жадно смотрел папаша Горио.— Не будь самой госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы царицей бала, молодые люди только и смотрели что на нее, я оказался двенадцатым в ее списке кавалеров; она была занята во всех контрдансах. Все остальные женщины бесились. Если кто был вчера счастлив, так это она. Совершенно правильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми парусами, лошади на галопе и женщины, когда она танцует.

— Вчера — на верху счастья, у герцогини, а утром — на последней ступени бедствия, у ростовщика: вот вам парижанка,— сказал Вотрен.— Когда мужья не в состоянии поддерживать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А если не умеют продаваться, распотрошат родную мать, лишь бы найти, чем блеснуть. Словом, готовы на все, на что угодно. Старо, как мир!

Лицо папаши Горио, сиявшее, как солнце в ясный день, пока он слушал Растиньяка, сразу омрачилось при этом жестоком замечании Вотрена.

— Ну, а где же ваше приключение? — спросила г-жа Воке.— Вы разговаривали с ней? Спрашивали, не собирается ли она изучать право?

— Она не видела меня,— ответил Эжен.— Но встретить одну из самых красивых парижанок на улице де-Грэ в девять часов утра, когда она, наверно, вернулась с бала в два часа ночи, разве это не странно? Только в Париже и возможны такого рода приключения.

— Ну-у! Бывают позабавнее! — воскликнул Вотрен.

Мадемуазель Тайфер была так поглощена предстоящим свиданием с отцом, что еле слушала. Г-жа Кутюр

сделала ей знак, чтобы она встала из-за стола и шла одеваться. Когда обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.

— Ну что! Видали? — сказала Воке Вотрену и остальным пансионерам.— Ясно, что он разорился на подобных женщин.

— Меня не уверят никогда, что красавица графиня де Ресто принадлежит папаше Горио! — воскликнул студент.

— Да мы и не стремимся вас уверить,— перебил его Вотрен.— Вы еще слишком молоды, чтобы знать хорошо Париж; попозже вы узнаете, что в нем встречаются, как мы их называем, одержимые страстями.

При этих словах мадемуазель Мишоно насторожилась и многозначительно взглянула на Вотрена. Ни дать ни взять — полковая лошадь, услышавшая звук трубы.

— Так! Так! — перебил себя Вотрен, проницательно взглянув на Мишоно.— Уж не было ли и у нас кое-каких страстишек?

Старая дева потупила глаза, словно монашенка при виде голых статуй.

— И вот,— продолжал Вотрен,— эти люди прицепятся к какой-нибудь навязчивой идее так, что не отцепишь. Жаждут они воды определенной, из определенного колодца, нередко затхлого, и чтобы напиться из него, они продадут жен и детей, продадут душу черту. Для одних такой колодец — азартная игра, биржа, собирание картин иль насекомых, музыка; для других — женщина, которая умеет их полакомить. Предложите этим людям всех женщин мира, им наплевать: подай им только ту, которая удовлетворяет их страстям. Частенько эта женщина вовсе не любит их, помыкает ими и очень дорого продает им крохи удовлетворения. И что же? Моим проказникам это не претит: они снесут в ломбард последнее одеяло, чтобы отнести ей последнее свое экю. Папаша Горио из их числа. Графиня обрабатывает его, потому что он скрытен,— вот ваш высший свет! Жалкий чудак только о ней и думает. Вне своей страсти, вы сами видите, он — глупое животное. А наведите-ка его на эту тему, и лицо его заиграет, как алмаз. Разгадка его тайны — штука нехитрая. Сегодня утром он отнес серебряную вещь на перелив; я видел, как он входил к дяденьке Гобсеку на улице

де-Грэ. Следите хорошенько! Придя оттуда, он посылает к графине де Ресто этого дурака Кристофа, который показал нам адрес на письме, куда был вложен погашенный вексель. Ясно, что раз графиня ходила тоже к старому ростовщику, значит, дело было крайне спешное. Папаша Горио любезно уплатил вместо нее. Чтобы разобраться в этом деле, не надо быть семи пядей во лбу. Оно доказывает вам, юный мой студент, что пока графиня смеялась, танцевала, ломалась, потряхивала персиковыми цветами и подбирала пальчиками платье, у ней, как говорится, сердце было не на месте при мысли о просроченных векселях,— своих или любовника.

— Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать правду. Завтра же пойду к графине де Ресто! — воскликнул студент.

— Да,— подтвердил Пуаре,— завтра надо пойти к графине де Ресто.

— Может быть, вы встретите там и чудака Горио, который явится получить, что следует, за свою любезность.

— Значит, ваш Париж — грязное болото,— сказал Эжен с отвращением.

— И презабавное,— добавил Вотрен.— Те, кто пачкается в нем, разъезжая в экипажах,— это порядочные люди, а те, кто пачкается, разгуливая пешком,— мошенники. Стащите, на свою беду, какую-нибудь безделку, вас выставят на площади Дворца правосудия, как диковину. Украдите миллион, и вы во всех салонах будете ходячей добродетелью. Для поддержания такой морали вы платите тридцать миллионов в год жандармам и суду. Мило!

— Как? Папаша Горио продал на перелив свою серебряную золоченую чашку? — воскликнула Воке.

— Не было ли там на крышке двух горлинок? — спросил Эжен.

— Вот именно.

— Значит, он очень дорожил ими, если плакал, когда плющил блюдечко и чашку. Случайно я это видел,— сказал Эжен.

— Они ему были дороже жизни,— ответила Воке.

— Видите, какая страсть в нашем чудаке! — воскликнул Вотрен.— Эта женщина знает, как его раззадорить.

Студент поднялся к себе наверх. Вотрен ушел из до-

му. Через несколько минут г-жа Кутюр и Викторина сели в фиакр, за которым сбегала Сильвия. Пуаре предложил руку мадемуазель Мишоно, и оба отправились в Ботанический сад—провести там два часа лучшего времени дня.

— Ну вот, они вроде как и женаты,— сказала толстуха Сильвия.— Сегодня первый раз выходят вместе. Оба до того сухи, что стукнись они друг об дружку, так брызнут искры, как от огнива.

— Тогда прощай шаль мадемуазель Мишоно: загорится, словно трут,— смеясь, заметила Воке.

Вернувшись в четыре часа дня, папаша Горио увидел при свете коптивших ламп Викторину с красными от слез глазами. Г-жа Воке слушала рассказ о неудачной утренней поездке к г-ну Тайферу. Посещения дочери и этой старой женщины надоели Тайферу, и он велел принять их, чтобы объясниться.

— Представьте себе, дорогая моя,— жаловалась г-жа Кутюр вдове Воке,— он даже не предложил Виктории сесть, и она все время стояла. Мне же он сказал без раздражения, совершенно холодно, чтобы мы не трудились ходить к нему и что *мадемуазель*, он так и не назвал ее дочерью, уронила себя в его мнении, беспокоя его так назойливо (один-то раз в год, чудовище!); что, мол, Виктории не на что притязать, так как ее мать вышла замуж, не имея состояния; словом, наговорил самых жестоких вещей, отчего бедный ребенок залился горючими слезами. Девочка бросилась к ногам отца и мужественно заявила, что поступала так настойчиво лишь ради матери и безропотно подчинится его воле, но умоляет прочесть завещание покойницы, достала письмо и подала ему, говоря самые трогательные, чудесные слова; даже не знаю, откуда они у ней брались, видно, их подсказал сам бог,— такое вдохновение нашло на бедного ребенка; я слушала ее и плакала, как дурочка. А знаете, что делал этот ужасный человек? Он стриг ногти, письмо же, омоченное слезами бедной госпожи Тайфер, швырнул на камин, сказав: «Хорошо!» Он хотел поднять дочь с пола, но Викторина хватала и целовала его руки, а он их вырывал. Разве это не злодейство? Тут вошел его дуралей-сын и даже не поздоровался с сестрой.

— Ведь это же чудовище! — воскликнул папаша Горио.

— Затем,—продолжала г-жа Кутюр, не обращая внимания на восклицание старика,— отец и сын распрощались с нами, прося извинить их, так как у них спешные дела. Вот вам и все наше посещение. По крайней мере он видел свою дочь. Не понимаю, как он может отрекаться от нее,— она похожа на него, как две капли воды.

Нахлебники, живущие и со стороны, прибывали друг за другом, обмениваясь приветствиями и всяким вздором, который в определенных слоях парижского общества часто сходит за веселое остроумие,— его основой является какая-нибудь нелепость, а соль — в произношении и жесте. Этот вид арго меняется все время. Шутка, положившая ему начало, не живет и месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная песенка, выходки актеров — все служит пищей для такой игры ума, состоящей в том, что собеседники, подхватив на лету какую-нибудь мысль или словцо, перекидывают их друг другу, как волан. После недавнего изобретения диорамы, достигшей более высокой степени оптической иллюзии, чем панорама, в некоторых живописных мастерских привилась нелепая манера добавлять к словам окончание «рама», и ее, как некий плодоносный черешок, привил к «Дому Воке» один из завсегдатаев — юный художник.

— Ну, господин Пуаре,— сказал музейный чиновник,— как ваше здоровьерама? — И, не дожидаясь ответа, обратился к г-же Кутюр и Викторине: — Милые дамы, у вас горе.

— А мы будем обедать? Мой желудок ушел usque ad talones [1],—воскликнул студент-медик Орас Бьяншон, друг Растиньяка.

— Какая сегодня студерама! — заметил Вотрен.— Ну-ка, подвиньтесь, папаша Горио. Какого черта! Вы своей ногой заняли все устье печки.

— Достославный господин Вотрен,— сказал Бьяншон,— а почему вы говорите «студерама»? Это неправильно, надо — «стужерама».

— Нет,— возразил музейный чиновник,— надо «студерама»,— ведь говорится: «студень».

— Ха! Ха!

— А вот и его превосходительство маркиз де Рас-

---

[1] В пятки *(лат.)*.

тиньяк, доктор кривды! — воскликнул Бьяншон, хватая Эжена за шею и сжимая ее, как будто собирался задушить его.— Эй, вы, ко мне, на помощь!

Мадемуазель Мишоно вошла тихонько, молча поклонилась, молча села рядом с тремя женщинами.

— Меня всегда пробирает дрожь от этой старой летучей мыши,— шепнул Бьяншон Вотрену.— Я изучаю систему Галля и нахожу у ней шишки Иуды.

— А вы были с ним знакомы? — спросил Вотрен.

— Кто же с ним не встречался!—ответил Бьяншон.— Честное слово, эта белесая старая дева производит впечатление тех длинных червей, которые в конце концов съедают целую балку.

— Это значит вот что, молодой человек,— произнес Вотрен, разглаживая бакенбарды:

И розой прожила, как розы, только утро —
Их красоты предел.

— Ага, вот и замечательный суп из чеготорамы! — воскликнул Пуаре, завидев Кристофа, который входил, почтительно неся похлебку.

— Простите, это суп из капусты,— ответила Воке.

Все молодые люди покатились со смеху.

— Влип Пуаре!

— Пуарета влип.

— Отметьте два очка маменьке Воке,— сказал Вотрен.

— Кто-нибудь обратил внимание на туман сегодня утром? — спросил музейный чиновник.

— То был,— сказал Бьяншон,— туман неистовый и беспримерный, туман удушливый, меланхолический, унылый, беспросветный, как Горио.

— Гориорама, потому что в нем ни зги не видно,— пояснил художник.

— Эй, милорд Гоуриотт, это есть разговор о вас.

Сидя в конце стола, у двери, в которую входила подававшая прислуга, папаша Горио приподнял голову и нюкал взятый из-под салфетки кусок хлеба,—по старой коммерческой, временами еще проявлявшейся привычке.

— Ну, по-вашему, не хорош, что ли, хлеб? — крикнула Воке, покрывая своим голосом звон тарелок, ложек и голоса других.

— Наоборот, сударыня, он испечен из этампской муки первого сорта,— ответил Горио.

— Откуда вы это знаете? — спросил Эжен.

— По белизне, на вкус.

— На вкус носа? Ведь вы же нюхаете хлеб,— сказала г-жа Воке.— Вы становитесь так бережливы, что в конце концов найдете способ питаться запахом из кухни.

— Тогда возьмите патент на это изобретение — наживете большое состояние! — крикнул музейный чиновник.

— Полноте, он это делает, чтобы убедить нас, будто был вермишельщиком,— заметил художник.

— Так у вас не нос, а колба? — снова ввязался музейный чиновник.

— Кол?.. как? — спросил Бьяншон.

— Кол-о-бок.

— Кол-о-кол.

— Кол-о-брод.

— Кол-баса.

— Кол-чан.

— Кол-пик.

— Кол-рама.

Восемь ответов прокатились по зале с быстротою беглого огня и вызвали тем больше смеха, что папаша Горио бессмысленно глядел на сотрапезников, напоминая человека, который старается понять чужой язык.

— Кол?..— спросил он Вотрена, сидевшего с ним рядом.

— Кол-пак, старина! — ответил Вотрен и, хлопнув ладонью по голове папаши Горио, нахлобучил ему шляпу по самые глаза. Бедный старик, озадаченный этим внезапным нападением, продолжал сидеть некоторое время неподвижно. Кристоф унес его тарелку, думая, что старик кончил есть суп, и когда папаша Горио, приподнимая со лба шляпу, взялся за ложку, он стукнул ею по пустому месту. Раздался взрыв общего смеха.

— Сударь,— сказал старик,— вы шутник дурного тона, и, если вы позволите себе еще раз так нахлобучивать...

— То что будет, папенька? — прервал его Вотрен.

— То когда-нибудь вы дорого поплатитесь за это...

— В аду, не правда ли? — спросил художник.—

В том темном уголке, куда ставят в наказание озорных ребят!

— Мадемуазель, что же вы не кушаете,— обратился Вотрен к Викторине.— Видно, папенька оказался упористым?

— Один ужас,— ответила г-жа Кутюр.

— Надо наставить его на ум.

— Но поскольку мадемуазель не ест,— сказал Растиньяк, сидевший рядом с Бьяншоном,— она могла бы возбудить иск о возврате денег за питание. Э! Э! Глядите, как папаша Горио уставился на мадемуазель Тайфер.

Старик, забыв обиду, разглядывал бедную девушку, в чертах которой ярко отражалось неподдельное страдание, страдание ребенка, непризнанного, но любящего своего отца.

— Дорогой мой,— говорил шепотом Эжен Бьяншону,— мы ошибались относительно папаши Горио. Это не дурак и не человек без нервов. Приложи к нему твою систему Галля и поделись со мной своими мыслями на этот счет. Я видел этой ночью, как он скручивал серебряное золоченое блюдце, точно оно из воска, и сейчас его лицо говорит о незаурядных чувствах. Жизнь его кажется мне очень таинственной и стоит изучения. Напрасно смеешься, Бьяншон, я не шучу.

— Что этот человек — врачебный случай, я согласен,— ответил Бьяншон,— и если он захочет, я его вскрою.

— Нет, ты ощупай его голову.

— Ишь ты, а может быть, его глупость заразительна!

На следующий день, часа в три, Растиньяк, одетый очень элегантно, отправился к графине де Ресто, дорогой предаваясь тем безрассудно-ветреным надеждам, что вносят в жизнь молодых людей столько прекрасных волнующих переживаний; тогда для них не существует ни препятствий, ни опасностей, они во всем видят успех, поэтизируют свою жизнь одной игрой воображения, а когда рушатся их планы, основанные только на необузданных желаниях, то сразу огорчаются и чувствуют себя несчастными. Хорошо, что они неопытны и робки, иначе общественный порядок стал бы невозможен.

Эжен шел, принимая все предосторожности, чтобы не запылиться, но в то же время обдумывал свой разговор с графиней де Ресто, запасался остроумием, сочинял ответы в воображаемой беседе, готовил тонкие выражения и фразы в духе Талейрана, допуская возможность различных мелких обстоятельств, удобных для любовного признания, на котором он строил свое будущее. Студент, однако, запылился,— пришлось в Пале-Рояле чистить штаны и сапоги.

— Будь я богат,— говорил он себе, разменивая монету в сто су, взятую на крайний случай,— ехал бы я себе в карете и мог бы думать на свободе.

Наконец он добрался до Гельдерской улицы и спросил графиню де Ресто. Как человек, уверенный в своем конечном торжестве, Эжен с немою яростью, но все же выдержал презрительные взгляды челяди, заметившей, что он пешком шел через двор, и не слыхавшей шума экипажа даже у ворот. Эти взгляды ощущались тем острее, что Эжен пережил чувство унижения, еще входя во двор, где била копытами о землю красивая лошадь в богатой сбруе, запряженная в щегольской кабриолет такого пошиба, какой гласит о расточительно широкой жизни и вызывает мысль о привычке ко всем парижским благам. Чувство полной отчужденности, охватившее Эжена, привело его в уныние. Ящички, открывшиеся у него в мозгу и, по его расчетам, наполненные остроумием, захлопнулись: он поглупел. Пока лакей ходил докладывать графине о пришедшем госте, Эжен ждал ответа в передней у окна, опершись на одну ногу и облокотясь о шпингалет, и машинально смотрел во двор. Время тянулось бесконечно, он и ушел бы, не будь в нем южного упорства, способного делать чудеса, когда оно действует прямо, без оглядки.

— Сударь,— обратился к нему лакей,— графиня в будуаре и очень занята, она мне не ответила; если вам угодно, пройдите в гостиную, там уже есть гость.

Изумляясь страшной власти этой челяди, способной одним словом вынести приговор своим хозяевам, Растиньяк, наверно, думал показать наглецам-лакеям, что внутреннее расположение дома ему известно, и смело открыл дверь, откуда только что вышел лакей, но опрометчиво влетел в комнату, где находились буфеты, лам-

пы и прибор для нагревания купальных полотенец, там же был выход в темный коридор и на внутреннюю лестницу. Подавленный смех донесся из передней и довершил смущение Эжена.

— Сударь, в гостиную пожалуйте, сюда,— сказал ему лакей с деланной почтительностью, звучавшей, как новая насмешка.

Эжен бросился обратно так стремительно, что наскочил на ванну, но, к счастью, удержал на голове шляпу, которая чуть не упала в налитую воду. В эту минуту в конце длинного коридора, освещенного небольшой лампой, растворилась дверь, и Растиньяк услышал голос графини де Ресто и папаши Горио, а затем звук поцелуя. Эжен вошел в столовую, пересек ее в сопровождении лакея и, наконец, попал в первую гостиную, где и остановился у окна, заметив, что оттуда виден двор. Ему хотелось посмотреть на этого папашу Горио: был ли он настоящим папашей Горио? Он вспомнил страшные рассуждения Вотрена. Сердце Эжена билось непривычно. Лакей ждал Растиньяка у дверей второй гостиной, как вдруг оттуда вышел изящный молодой человек, досадливо сказав:

— Морис, я ухожу. Передайте графине, что я ждал ее больше получаса.

Этот нахал, несомненно, пользовавшийся здесь особыми правами, направился, тихонько напевая какую-то итальянскую руладу, к тому окну, где стоял Эжен, чтобы разглядеть лицо студента и посмотреть во двор.

— Но, господин граф, лучше, если бы вы подождали еще минутку, графиня закончила свои дела,— сказал Морис, возвращаясь к себе в переднюю.

Как раз в эту минуту папаша Горио вышел по черной лестнице к воротам. Старичок расправлял свой зонтик и собирался его раскрыть, не обратив внимания на то, что ворота открыты настежь и в них въезжает тильбюри, которым правит молодой человек с орденом в петлице. Папаша Горио едва успел отскочить назад, чтобы его не раздавили. Лошадь испугалась зонтика, кинулась в сторону и понеслась к подъезду. Молодой человек в тильбюри обернулся и, увидав папашу Горио, приветствовал его поклоном, каким скрепя сердце выражают уважение к нужным ростовщикам или навя-

«ОТЕЦ ГОРИО».

«ОТЕЦ ГОРИО».

занное обстоятельствами почтение к запятнанному человеку, за что приходится потом краснеть. Папаша Горио добродушно ответил дружеским кивком. Все это произошло молниеносно. Обратив все свое внимание на этот эпизод, Эжен не замечал, что он в гостиной не один, и вдруг услышал голос графини де Ресто.

— Как, Максим, вы уходите? — сказала она тоном упрека с примесью досады.

Прибытие тильбюри ускользнуло от внимания графини. Растиньяк круто повернулся и увидал графиню: она была кокетливо одета в пеньюар из белого кашемира с розовыми бантами, причесана небрежно, как это бывает у парижанок по утрам; от нее шел аромат духов; она, наверно, приняла ванну, и красота ее, можно сказать, смягченная, носила более чувственный характер; глаза подернулись влагой. Взор молодых людей умеет видеть все, их чувства собирают воедино все излучения женщины, как растение вбирает в себя из воздуха необходимые для жизни вещества. Эжену не было надобности касаться рук графини, чтобы почувствовать их молодую свежесть. Ее грудь розоватыми тонами просвечивала сквозь кашемир, временами немного обнажаясь, когда чуть-чуть распахивался пеньюар, и в эти мгновения глаза Эжена разбегались. Графиня не нуждалась в помощи корсета, и только пояс подчеркивал стройность ее талии; шея призывала к любви, а ножки в ночных туфельках пленяли красотой. Лишь в тот момент, когда Максим взял ее руку, чтобы поцеловать, Эжен его заметил, а графиня заметила Эжена.

— Это вы, господин де Растиньяк, очень рада вас видеть,— произнесла она с таким видом, что умные люди поняли бы сразу, как им быть.

Де Трай поглядывал то на Эжена, то на графиню достаточно многозначительно, чтобы заставить непрошеного гостя удалиться: «Это еще что! Надеюсь, дорогая, что ты выставишь этого молодчика за дверь!» Эта фраза ясно, точно передала бы то, что нагло выражал взглядом высокомерный молодой человек,— Максим, как называла его графиня Анастази, всматриваясь ему в лицо с такой готовностью повиноваться, которая разоблачает все тайны женщины, помимо ее сознания и воли.

Растиньяк проникся дикой ненавистью к этому молодому человеку. Прежде всего белокурые, красиво завитые волосы Максима дали понять ему, насколько его собственная прическа отвратительна. К тому же Максим был в тонких чистых сапогах, а сапоги Эжена, несмотря на все его заботы, подернулись тонким налетом пыли. В заключение сюртук на этом денди изящно облегал талию и придавал ему сходство с красивой женщиной, а на Эжене днем, в половине третьего, был черный фрак. Умный юноша с берегов Шаранты сообразил, какое превосходство давал костюм такому денди, высокому и тонкому, с ясным взглядом, бледной кожей — из числа тех, кто может обобрать и сироту.

Графиня де Ресто не стала дожидаться ответа Растиньяка и порхнула в другую гостиную, как на крыльях, распустив полы пеньюара: они свивались, развивались и придавали ей вид бабочки. Максим последовал за ней. Взбешенный Эжен устремился за Максимом и графиней... Все трое сошлись на середине большой гостиной, против камина. Студент отлично сознавал, что служит помехой ненавистному Максиму, и все-таки, рискуя возбудить против себя неудовольствие графини, решил помешать денди. Эжен вспомнил, что видел этого молодого человека на балу у г-жи де Босеан, и в один миг сообразил, какую роль играл Максим у графини де Ресто; он с юношеской дерзостью, которая приводит к большим глупостям или к большим успехам, сказал себе: вот мой соперник, хочу торжествовать над ним!

Безрассудный юноша! Он не знал, что граф Максим де Трай, позволив оскорбить себя, стрелял первым и убивал противника. Эжен был опытный охотник, но в тире он из двадцати двух фигур-мишеней не мог бы сбить двадцать.

Молодой граф сел на бержерку у камина и, взяв щипцы, начал с такой яростью, с такой досадой мешать уголь, что красивое лицо Анастази сразу затуманилось. Молодая женщина обернулась к Эжену и бросила на него холодно-вопросительный взгляд, говоривший настолько ясно: «Почему же вы не уходите?» — что благовоспитанные люди сейчас же придумали бы фразы, которые можно бы назвать *фразами на прощание*.

Эжен, сделав приятное лицо, ответил:

— Мадам, я поспешил увидеть вас, чтобы...—Он запнулся.

Дверь отворилась. Внезапно появился господин без шляпы, тот, что правил тильбюри, не поздоровался с графиней, взглянул угрюмо на студента и подал руку Максиму, сказав ему «добрый день» каким-то братским тоном, что чрезвычайно удивило Растиньяка. Провинциальным молодым людям неведома вся прелесть жизни треугольником.

— Господин де Ресто,— представила графиня Эжену своего мужа.

Эжен ответил глубоким поклоном.

— Господин де Растиньяк,— продолжала графиня, представляя Эжена графу де Ресто.— Через Марсийяков он родственник виконтессы де Босеан, и я имела удовольствие с ним встретиться у нее на последнем бале.

Графиня произнесла это почти напыщенно, с особой гордостью, свойственной хозяйкам дома, когда они могут доказать, что у них бывают только избранные; слова: *«родственник виконтессы де Босеан, через Марсийяков»* — произвели магическое действие: граф оставил свой холодно-церемонный тон и приветствовал Эжена, сказав:

— Счастлив с вами познакомиться.

Даже граф Максим де Трай тревожно взглянул на Растиньяка и сразу сбросил с себя наглый вид. Это прикосновение волшебной палочки, вызванное властным предстательством одного имени, раскрыло все тридцать ящичков в мозгу южанина, вернув Эжену заготовленное остроумие. Какой-то свет внезапно озарил ему всю атмосферу в парижском высшем обществе, еще неясном для него. «Дом Воке», папаша Горио ушли из его мыслей куда-то очень далеко.

— Род Марсийяков я считал угасшим,— сказал граф де Ресто.

— Да,— отвечал Эжен.— Мой двоюродный дед, шевалье де Растиньяк, женился на последней представительнице рода де Марсийяков. У него была только одна дочь, вышедшая замуж за маршала де Кларембо, де-

да с материнской стороны мадам де Босеан. Мы младшая линия, линия бедная, тем более, что мой двоюродный дед, вице-адмирал, потерял все на королевской службе. Революционное правительство, ликвидируя Ост-Индскую компанию, не захотело признать наших долговых претензий к ней.

— Не командовал ли ваш двоюродный дед «Мстителем» до 1789 года?

— Совершенно верно.

— В таком случае он знал моего деда, который командовал «Варвиком».

Максим взглянул на графиню де Ресто и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Если он примется говорить о флоте с этим господином, для нас пропало все». Анастази поняла его взгляд. С удивительным сознанием женской власти она сказала, улыбаясь:

— Идемте, Максим, у меня есть к вам одна просьба. Господа, мы предоставляем вам свободу совместно плавать на «Мстителе» и «Варвике».

Графиня встала, с лукавой усмешкой подала знак Максиму, и оба направились к будуару. Едва эта *морганатическая* чета — прекрасное немецкое выражение, не имеющее соответствия во французском языке,— дошла до двери, как граф прервал свой разговор с Эжеком, сказав недовольным тоном:

— Анастази! Останьтесь, дорогая, здесь, вы хорошо знаете, что...

— Сейчас! Сейчас! — ответила она, не дав ему договорить.— Я только на одну минуту: дать поручение Максиму.

Графиня быстро вернулась. Все женщины, вынужденные считаться с характером мужей, чтобы иметь возможность вести себя по прихоти своей фантазии, знают, до какого предела можно это делать, не теряя драгоценного доверия, и никогда не входят в столкновение с мужьями из-за мелочей жизни; так и графиня заметила по изменившемуся тону графа де Ресто, что пребывание в будуаре не лишено опасности. Этой помехой она была обязана Эжену. Выражая всем своим видом досаду, графиня взглядом указала Максиму на студента, тогда де Трай, обращаясь к графу, его жене и Растиньяку, насмешливо сказал:

— Вы заняты серьезными делами, я не хочу мешать вам, прощайте,— и быстро вышел.

— Останьтесь, Максим! — крикнул ему граф.

— Приходите обедать,— добавила графиня и, вторично оставив Эжена с графом, пошла вслед за Максимом в первую гостиную, где они пробыли довольно долго, рассчитывая, что за это время граф де Ресто выпроводит студента.

Растиньяк слышал, как они то заливались смехом, то говорили, то смолкали; но коварный студент щеголял остроумием перед графом де Ресто, льстил ему и вступал с ним в спор, надеясь вновь увидать графиню и определить характер ее отношений с папашей Горио. Женщина, явно влюбленная в Максима, жена, вертевшая своим мужем и связанная загадочными узами со старым вермишельщиком, казалась Растиньяку особенно таинственной. Он жаждал проникнуть в ее тайну, надеясь таким образом достигнуть полного господства над этой женщиной, парижанкой с ног до головы.

— Анастази! — снова позвал граф жену.

— Ну, бедный мой Максим,— сказала она молодому человеку,— надо покориться. До вечера...

— Нази,— сказал Максим ей на ухо,— когда приоткрывался ваш пеньюар, у этого молодчика глаза горели, точно уголья. Надеюсь, вы больше не пустите его к себе в дом. Он станет объясняться вам в любви, будет вас компрометировать, и ради вас я буду вынужден убить его.

— Да вы с ума сошли, Максим! — сказала она.— Наоборот, такие студентики могут служить замечательным громоотводом. Разумеется, я постараюсь, чтобы он пришелся не по вкусу графу де Ресто.

Максим расхохотался и вышел в сопровождении графини. Она остановилась у окна и наблюдала, как он садился в экипаж, горячил лошадь и помахивал бичом. Графиня де Ресто вернулась лишь тогда, когда за ним закрылись главные ворота.

— Представьте себе,— обратился к ней граф,— имение, где живет семья господина де Растиньяка, оказывается, недалеко от Вертэй, на Шаранте. Двоюродный дед господина де Растиньяка и мой родной дед были знакомы.

— Я рада, что у нас есть общие знакомые,— рассеянно ответила графиня.

— И больше, чем вы предполагаете,— заметил студент, понизив голос.

— Каким образом? — оживленно спросила она.

— Я только что видел,— продолжал студент,— как от вас вышел господин, с которым я живу дверь в дверь, в одном и том же пансионе, а именно — папаша Горио.

Услышав это имя, приправленное словом «папаша», граф, мешавший жар в камине, бросил щипцы в камин, словно они обожгли ему руки, и встал.

— Милостивый государь, вы могли бы сказать: «Господин Горио»! — воскликнул он.

Графиня, заметив раздражение мужа, сначала побледнела, затем покраснела и, очевидно, находилась в замешательстве; стараясь придать голосу естественность, она с деланной развязностью ответила:

— Нельзя любить другого человека больше, чем мы любили...

Не докончив, она остановилась и, как бы по наитию взглянув на фортепьяно, спросила Растиньяка:

— Вы любите музыку?

— Очень,— ответил ей Эжен, покраснев и растерявшись от смутной мысли, что сделал какой-то нелепый промах.

— Вы поете? — отрывисто спросила она, направляясь к фортепьяно, и, сильно ударяя по клавишам, пробежала их все от нижнего *до* до верхнего *фа* — ррра!

— Нет, мадам.

Граф де Ресто ходил взад и вперед по комнате.

— Жаль; вы лишены очень действенного средства для успеха. Caro, caro, non dubitare [1]...— спела графиня.

Произнеся имя папаши Горио, Эжен опять махнул волшебной палочкой, но произвел действие обратное тому, какое вызвали слова: «родственник виконтессы де Босеан». Он оказался в положении человека, который удостоился получить доступ к любителю редкостей и нечаянно задел за шкаф со статуэтками, отчего у трех или четырех из них отскочили плохо приклеенные головки. Эжен охотно провалился бы сквозь землю. Лицо

---

[1] Милый, милый, оставь сомненья! *(итал.)*

графини де Ресто стало холодным и сухим, глаза смотрели безразлично и избегали взгляда злосчастного студента.

— Мадам,— сказал он,— вам нужно поговорить с графом де Ресто, соблаговолите принять дань моего уважения и разрешите мне...

— Когда бы вы ни пришли,— поспешно заговорила графиня, жестом остановив Эжена,— вы можете быть уверены, что доставите огромное удовольствие и мне и графу де Ресто.

Эжен низко поклонился супружеской чете и вышел. Граф де Ресто последовал за ним и, несмотря на настояния Эжена не делать этого, проводил его до передней.

— Когда бы ни явился господин де Растиньяк, ни графини, ни меня нет дома,— сказал граф Морису.

Выйдя на крыльцо, Эжен увидел, что идет дождь.

«Ну-с, я допустил какую-то неловкость, но ни причины, ни значения ее не понимаю,— сказал себе Эжен,— а в довершение всего испорчу фрак и шляпу. Сидеть бы мне в своем углу да зубрить право и думать только о том, как бы стать прилежным судейским чиновником. Мне ли бывать в свете! Ведь для того, чтобы вращаться в нем прилично, необходима уйма всяческих вещей: кабриолетов, сверкающих сапог, золотых цепочек и прочей обязательной оснастки, вроде того, что утром — замшевые белые перчатки по шести франков пара и лайковые, непременно желтые, по вечерам. Старый плут папаша Горио, эх!»

Когда он очутился под воротами, кучер наемной кареты, только что доставивший новобрачных к ним на дом и, несомненно, не желавший ничего другого, как получить тайно от хозяина плату за несколько концов, предложил жестом свои услуги Растиньяку, увидав, что он во фраке, в белом жилете, желтых перчатках, чистых сапогах, но без зонтика. Эжена обуревала глухая ярость, а обычно она толкает молодого человека еще глубже в ту пропасть, куда он уже стал спускаться, точно надеясь там отыскать благополучный выход. Кивком головы Эжен выразил согласие на предложение кучера. Он сел в карету, где несколько цветочков флердоранжа и обрывков канители напоминали о поездке молодых.

— Куда прикажете? — спросил кучер, уже сняв белые перчатки.

«Черт побери,— сказал себе Эжен,— раз я увязаю, так пусть хоть с пользой!» К де Босеанам! — добавил он громко.

— К кому? — спросил кучер.

Высоковажный вопрос смутил Эжена. Этот еще не оперившийся щеголь не знал, что было два особняка де Босеанов, и не имел понятия, насколько он богат родней, которой не было до него дела.

— К виконту де Босеану, на улице...

— Гренель,— подхватил кучер, мотнув головой.— А то есть другой особняк — графа и маркиза де Босеанов, на улице Сен-Доминик,— добавил он, поднимая подножку.

— Знаю,— сухо ответил Эжен.

«Сегодня все издеваются надо мной! — сказал он про себя, бросая шляпу на переднее сиденье.— Вот это баловство мне обойдется дорого. Но я по крайней мере нанесу визит так называемой кузине вполне по-аристократически. Старый злодей папаша Горио мне уже стоит не меньше десяти франков. Честное слово, расскажу-ка я свое приключение госпоже де Босеан, быть может, это рассмешит ее! Она, конечно, знает тайну преступных связей этой бесхвостой старой крысы с красавицей-графиней. Лучше понравиться моей кузине, чем расшибить себе лоб об эту безнравственную женщину, да и стоит она, как видно, немало денег. Если одно имя красавицы-виконтессы имеет такую силу,— какое же значение должна иметь она сама? Прибегнем к высшим сферам. Когда атакуешь что-нибудь на небесах, то надо брать на прицел самого бога!»

Эти разговоры с самим собой передавали вкратце тысячу и одну мысль, среди которых метался Растиньяк. Глядя на дождь, он немного успокоился и почувствовал себя увереннее. Он говорил себе, что если он истратит две драгоценные последние монеты по сто су, то не без пользы, сохранив в целости свои ботинки, фрак и шляпу. Веселым чувством в нем отозвался возглас кучера: «Отворите ворота, будьте любезны!» Красный с золотом швейцар толкнул ворота, петли заскрипели, и Растиньяк со сладостным удовлетворением наблюдал, как его ка-

рета миновала въезд, объехала кругом двора и остановилась под навесом у крыльца. Кучер, в грубом синем балахоне с красной оторочкой, слез, чтобы спустить подножку. При выходе из кареты Эжен услыхал приглушенные смешки из-за колонн особняка. Три или четыре лакея уже подшучивали над свадебным мещанским экипажем. Студент только тогда уразумел их смех, когда сравнил этот рыдван с двухместной каретой, одной из самых щегольских в Париже: в запряжке пара горячих лошадей с розами на ушах грызла удила; кучер, в пудре, в отличном галстуке, натянул вожжи, как будто лошади вот-вот готовы были вырваться. На Шоссе д'Антен, во дворе графини де Ресто, стоял изящный кабриолет двадцатишестилетнего молодого человека; в Сен-Жерменском предместье ждала роскошная карета знатного вельможи, какой не купишь и за тридцать тысяч франков

«Кто же это? — мысленно спросил Эжен, с некоторым опозданием сообразив, что в Париже, конечно, мало женщин, никем не занятых, и завоевание одной из этих королев стоит не только крови.— Черт побери! Наверняка и у моей кузины есть свой Максим».

С замиранием сердца Эжен поднялся на крыльцо. При появлении его стеклянная дверь распахнулась; он увидал лакеев, степенных, как ослы, когда их чистят. Парадный бал, на котором присутствовал Эжен, давался в больших покоях для приемов, занимавших нижний этаж особняка де Босеанов. Не успев сделать визит своей кузине в промежуток времени между приглашением и балом, он еще не побывал в комнатах самой виконтессы де Босеан, где предстояло ему впервые увидеть чудеса ее личного изящества, говорящего о душе и жизни знатной женщины. Знакомство с ним представляло для Эжена тем больший интерес, что гостиная графини де Ресто давала ему меру для сравнения. С половины пятого виконтесса принимала. Явись ее кузен на пять минут раньше, она бы его не приняла. По белой широкой, уставленной цветами лестнице с золочеными перилами и красною дорожкой Эжена, ничего не понимавшего в различиях парижских этикетов, провели к г-же де Босеан; он не знал ее изустной биографии, одной из вечно меняющихся повестей, какие рас-

сказывают на ухо друг другу в парижских гостиных каждый вечер.

Виконтесса уже три года была в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто, принадлежавшим к самым известным и самым богатым вельможам Португалии. Эта связь, одна из самых безупречных, представляла столько прелести для обоих участников ее, что они не терпели третьих лиц. И виконт де Босеан сам дал пример всем окружающим, волей-неволей признав этот морганатический союз. В первый период их дружбы все приезжавшие повидаться с виконтессой днем около двух часов встречали там маркиза д'Ажуда-Пинто. Закрыть свой дом для них г-жа де Босеан, конечно, не могла — это было бы неприлично, но принимала своих гостей так холодно и так старательно разглядывала потолок, что всякий понимал, насколько он ее стесняет. Когда Париж узнал, что посещения от двух до четырех тяготят г-жу де Босеан, она осталась в полнейшем одиночестве. Вместе с г-ном де Босеаном и маркизом д'Ажуда-Пинто она бывала в Опере или у Буфонов, но г-н де Босеан умел вести себя и, усадив жену и португальца, оставлял их наедине. Теперь маркиз д'Ажуда-Пинто собирался вступить в брак с некоей мадемуазель де Рошфид. И во всем высшем свете единственным лицом, еще не знавшим о предстоящем браке, была сама г-жа де Босеан. Кое-кто из ее приятельниц делал ей намеки. Она только смеялась, видя в этом намерение из зависти нарушить ее счастье. Между тем вскоре должно было состояться оглашение. Португальский красавец приехал к виконтессе объявить ей об этом браке, но у него все не хватало смелости произнести слова измены. Почему? Да нет ничего труднее, как нанести женщине такой удар! Для некоторых мужчин легче стоять на месте поединка, перед другим мужчиной, готовым вонзить шпагу ему в сердце, чем перед женщиной, которая после двух часов слезливых жалоб делает вид, что умирает, и требует нюхательной соли. В момент прибытия Эжена маркиз д'Ажуда-Пинто сидел как на иголках и собирался уходить, сказав себе, что г-жа де Босеан и так узнает эту новость, а лучше всего он ей напишет: любезно нанести убийственный удар гораздо удобнее в письме, чем в личном разговоре. Когда лакей виконтессы доложил о

Растиньяке, маркиз д'Ажуда-Пинто затрепетал от радости. Надо сказать, что по части всяких подозрений любящая женщина еще изобретательнее, чем в искусстве разнообразить удовольствия. Когда же ей грозит разрыв, она угадывает смысл какого-нибудь жеста быстрее, чем конь, упоминаемый Вергилием, способен чуять где-то вдалеке запах, обещающий ему любовные утехи. И будьте уверены, что г-жа де Босеан почувствовала в маркизе этот невольный, едва заметный, но страшный своею непосредственностью трепет. Эжен не знал одной особенности Парижа: кому бы вы ни представлялись, вам совершенно необходимо перед этим получить от друзей дома все сведения о жизни мужа, жены, даже детей, а без этого можно попасть впросак или же придется, как говорят образно поляки, «запрягать в свою телегу пять волов», конечно, для того, чтобы вас вытащить из лужи, в которую вы сели. Если во Франции такие разговоры невпопад не имеют особого названия, то, несомненно, потому, что их считают невозможными в стране, где любая сплетня получает огромное распространение. Только Эжен, уже сев один раз в лужу у графини де Ресто, даже не давшей ему времени «запрячь в его телегу пять волов», способен был вновь очутиться в положении погонщика волов, явившись представиться г-же де Босеан. Но в первом случае он страшно тяготил г-на де Трай и графиню де Ресто, теперь он выводил из затруднения маркиза д'Ажуда-Пинто.

— Прощайте,— сказал португалец, устремляясь к двери, пока Эжен входил в небольшую нарядную, серую с розовым, гостиную, где роскошь обстановки являлась лишь простым изяществом.

— Но до вечера? — спросила г-жа де Босеан, оборачиваясь только головой и вглядываясь в лицо маркиза.— Разве вы не поедете к Буфонам вместе с нами?

— Не смогу,— ответил он, берясь за ручку двери.

Г-жа де Босеан встала и подозвала его к себе, не обращая никакого внимания на Растиньяка, который между тем стоял, ошеломленный сверканием чудесного богатства, готовый верить в реальность арабских сказок, и не знал, куда ему деваться перед женщиной, его не замечавшей.

Виконтесса подняла указательный пальчик и, кра-

сиво опустив его, указала маркизу место перед собой. В этом жесте заключалась такая деспотическая сила страсти, что маркиз выпустил дверную ручку и подошел. Эжен смотрел на него с завистью.

«Вот он, владелец маленькой кареты. Так неужели для того, чтобы добиться взгляда парижанки, надо иметь ретивых лошадей, ливреи и горы золота?»

Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка наживы завладела им, от жажды золота пересохло в горле. Эжен располагал ста тридцатью франками на три месяца. Его отец, мать, братья, сестры, тетка имели двести франков в месяц на всю семью. Это быстрое сопоставление своего теперешнего положения и цели, которой надобно достичь, усилило его растерянность.

— Почему же вы не сможете приехать к итальянцам? — смеясь, спросила виконтесса.

— Дела! Я обедаю у английского посланника.

— Бросьте дела!

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать одну ложь на другую. Маркиз д'Ажуда засмеялся и сказал:

— Вы этого требуете?

— Конечно, да!

— Вот это и хотелось мне услышать,— отвечал маркиз, бросив на нее такой проникновенный взгляд, что мог бы успокоить всякую другую женщину. Он поцеловал руку виконтессы и вышел.

Эжен, пригладив волосы рукой, изогнулся для поклона, думая, что г-жа де Босеан наконец вспомнит и о нем. Вдруг она вскакивает с места, бросается в галерею, подбегает к окну и смотрит, как д'Ажуда садится в экипаж, ловит ухом, куда велит он ехать, и слышит, как выездной лакей повторяет кучеру его слова:

— К господину де Рошфиду!

Эти слова, его стремительный прыжок в карету были для этой женщины и вспышкой молнии и ударом грома; смертельный страх вновь обуял ее. В высшем свете не бывает иного проявления самых ужасных катастроф. Виконтесса пошла в спальню, села к столу, взяла изящный листок бумаги и написала:

«Раз вы обедаете не в английском посольстве, а у Рошфидов, вы обязаны дать мне объяснение. Жду вас».

Она поправила несколько букв, пострадавших от конвульсивного дрожания руки, подписала «К», что означало «Клара Бургундская», и позвонила.

— Жак,— сказала она немедленно представшему перед ней лакею,— в половине восьмого вы пойдете к господину де Рошфиду и спросите, там ли маркиз д'Ажуда. Если он там, вы попросите только передать ему эту записку, не требуя ответа. Если же там нет маркиза, то вы вернетесь и принесете письмо обратно мне.

— Виконтессу ожидают в гостиной.

— Ах, верно! — сказала она, отворяя дверь.

Эжен начинал чувствовать себя крайне неловко; к счастью, виконтесса наконец явилась и произнесла с таким волнением в голосе, что у Эжена защемило сердце:

— Простите, мне надо было написать два слова, теперь я вся к вашим услугам.

Она не сознавала, что говорит, думая в это время: «Он хочет жениться на мадемуазель де Рошфид. Но разве он свободен? Сегодня же вечером этот брак расстроится, или я... Да! Завтра об этом не будет даже речи».

— Кузина...— начал Эжен.

— Что? — переспросила виконтесса, бросая на него надменный взгляд, от которого студент похолодел.

Эжен понял это «что». За последние три часа он научился многому и держался начеку.

— Мадам,— снова начал Эжен, краснея; он замялся, но справился и продолжал: — Простите меня; я так нуждаюсь в покровительстве, что малая толика родства с вами мне бы ничуть не повредила.

Г-жа де Босеан грустно усмехнулась: на ее горизонте уже слышались раскаты грозы.

— Если бы вы знали положение моей семьи,— продолжал Эжен,— вы бы не отказались от роли тех сказочных фей, которые так любезно устраняли препятствия с пути своих крестников.

— Ну, хорошо, кузен,— ответила она, смеясь,— чем же я могу быть вам полезной?

— Как знать! Быть для вас своим человеком благодаря родству, затерянному во мраке отдаления,— это уже счастье. Вы меня смутили, я позабыл, что собирался вам сказать. Вы единственный человек, с которым я

знаком в Париже. Как бы мне хотелось посоветоваться с вами, просить вас подобрать меня, жалкого ребенка, мечтающего приютиться под вашим крылышком и ради вас готового пойти на смерть.

— А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня?

— Хоть двух.

— Ребенок! Да, вы ребенок,— сказала она, удерживая навернувшиеся слезы.— Вот вы, пожалуй, могли бы любить искренне!

— О, да! — воскликнул он, кивая головой.

За этот ответ виконтесса прониклась участием к студенту-честолюбцу. Южанин впервые действовал с расчетом. За то время, пока он находился между голубым будуаром графини де Ресто и розовой гостиной г-жи де Босеан, Эжен успел пройти трехлетний курс парижского права, хотя негласного, но составляющего всю высшую общественную юриспруденцию, а при хорошем усвоении и умелом приложении ее на практике достижимо все.

— Да, вспомнил! — сказал Эжен.— У вас на балу мне понравилась графиня де Ресто, и я был у нее сегодня днем.

— И, наверно, сильно помешали ей,— с усмешкой заметила г-жа де Босеан.

— Я невежда и, если вы откажете мне в помощи, восстановлю против себя всех. Думаю, что в Париже трудно встретить женщину, молодую, красивую, изящную, богатую и в то же время никем не занятую, а мне она необходима, притом такая, которая могла бы научить меня тому, что вы, женщины, умеете преподавать так хорошо: науке жизни. Всюду я натолкнусь на какого-нибудь графа де Трай. Я и пришел к вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого рода глупость я там сделал. Я завел разговор о некоем папаше...

— Герцогиня де Ланже! — доложил Жак, прервав Эжена.

Студент выразил ужимкой крайнюю досаду.

— Если вы желаете иметь успех,— заметила, понизив голос, виконтесса,— прежде всего не будьте так непосредственны.

— А! Добрый день, дорогая! — сказала она, встав и идя навстречу герцогине; затем пожала ее руки с та-

кой сердечностью, точно встречала свою сестру. Герцогиня ответила ей самыми очаровательными изъявлениями нежности.

«Вот две искренних подруги,— подумал Растиньяк.— Теперь у меня будет две покровительницы; их вкусы должны быть одинаковы, и, разумеется, другая тоже примет участие во мне».

— Дорогая Антуанета, какой счастливой мысли я обязана, что вижу вас? — спросила г-жа де Босеан.

— Просто я видела, как маркиз д'Ажуда-Пинто входил к Рошфидам, и подумала, что застану вас одну.

Г-жа де Босеан не закусила губу, не покраснела, взгляд ее не изменился, лицо как будто даже просветлело, пока герцогиня говорила эти роковые слова.

— Если бы я знала, что вы заняты...— добавила герцогиня, оборачиваясь к Эжену.

— Это мой родственник, господин Эжен де Растиньяк,— сказала виконтесса.— Вы что-нибудь знаете о Монриво? — спросила она.— Серизи вчера мне говорила, что его нигде не видно, он не был у вас сегодня?

Герцогиня почувствовала, как жало этого вопроса вонзилось ей прямо в сердце: она была без памяти увлечена генералом Монриво, но ходили слухи, что он с ней разошелся.

— Вчера он был в Елисейском дворце,— ответила она, вся вспыхнув.

— На дежурстве,— предположила г-жа де Босеан.

— Клара, вы знаете, конечно,— в свою очередь, спросила герцогиня, зло сверкнув глазами,— что завтра состоится оглашение маркиза д'Ажуда-Пинто и мадемуазель де Рошфид?

Удар был слишком силен. Виконтесса побледнела, но ответила, смеясь:

— Это сплетни, которыми тешат себя глупцы. Зачем маркизу д'Ажуда давать Рошфидам свое имя, одно из лучших в Португалии? Рошфиды — вчерашние дворяне.

— Да, но у Берты, как говорят, будет двести тысяч ливров дохода.

— Маркиз д'Ажуда слишком богат, чтобы руководиться подобными расчетами.

— Но, дорогая, мадемуазель де Рошфид сама по себе очаровательна.

— Вот как!

— Словом, сегодня он обедает у них, брачный договор уже подписан. Меня крайне удивляет, что вы так мало знаете об этом.

— Какую же глупость вы совершили, милостивый государь? — спросила Эжена г-жа де Босеан.— Видите ли, дорогая Антуанета, этот младенец только что подкинут свету и ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Будьте снисходительны к нему: отложим наш разговор до завтра. Завтра, несомненно, обо всем будет сообщено открыто, тогда и вы можете извещать всех открыто и уверенно.

Герцогиня окинула Эжена тем высокомерным взглядом, каким человека меряют с головы до ног, сразу пригнетают и обращают в нуль. Подметив благодаря своему уму скрытые колкости под дружескими фразами обеих дам, Эжен ответил:

— Я, сам того не зная, вонзил кинжал в сердце графини де Ресто. Именно в том, что я не знал чего-то, и заключается мой грех. С теми, кто вам причиняет боль вполне сознательно, вы продолжаете встречаться и, может быть, побаиваетесь их, а если человек наносит рану, не ведая всей глубины ее, то на такого смотрят как на дурачка, на простофилю, не способного ни из чего извлекать пользу, и все относятся к нему с презрением.

Г-жа де Босеан наградила студента теплым взглядом, выразив им одновременно и признательность и чувство своего достоинства, как это умеют делать люди большой души. Ее взгляд излился целительным бальзамом на свежую рану в сердце Растиньяка, которую только что нанесла Эжену герцогиня, определяя ему цену глазом присяжного оценщика.

— Представьте себе,— сказал Эжен,— мне удалось завоевать расположение графа де Ресто; а надо вам сказать,— обратился он к герцогине смиренно, но в то же время и лукаво,— что я пока только жалкий студент, совершенно одинокий, очень бедный...

— Не говорите таких вещей, господин де Растиньяк. Мы, женщины, никогда не гонимся за тем, что никому не нужно.

— Что делать! — отвечал Эжен.— Мне всего-навсего

двадцать два года. Надо уметь сносить невзгоды такого возраста. Кроме того, сейчас я исповедуюсь, и, чтобы преклонить для этого колена, нельзя найти исповедальни красивее, чем эта: правда, в таких исповедальнях только и грешишь, а каешься в других.

Герцогиня холодно выслушала эту святотатственную болтовню и осудила ее за дурной тон, сказав виконтессе:

— Кузен ваш еще новичок...

Г-жа де Босеан от всего сердца посмеялась над герцогиней и своим кузеном.

— Да, моя дорогая, он новичок и ищет себе наставницу, которая преподала бы ему хороший тон.

— Герцогиня,— вновь обратился к ней Эжен,— мне кажется, желание быть посвященным в тайны того, что нас пленяет, вполне естественно, не правда ли? («Однако,— сказал он сам себе,— для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные любого парикмахера».)

— Но, думается мне, графиня де Ресто сама является ученицей господина де Трай,— возразила герцогиня.

— Мне это было совершенно неизвестно,— ответил студент.— Поэтому я легкомысленно стал между ними. В конце концов я довольно хорошо поладил с мужем и видел, что его супруга, хотя и временно, но терпит мое присутствие, как вдруг угораздило меня сказать им, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дому во двор.

— Кто же это такой? — спросили обе дамы.

— Один старик; живет он на два луидора в месяц, в глуши предместья Сен-Марсо, там же, где и я, студент-бедняга; это поистине несчастный человек, посмешище для всех, и мы его прозвали «папаша Горио».

— Да, вы действительно младенец! — воскликнула виконтесса.— Ведь графиня де Ресто в девицах — Горио.

— Дочь вермишельщика,— добавила герцогиня,— мещаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы не помните? Король еще рассмеялся и сказал по-латыни какую-то остроту насчет муки: люди... ну как это?.. Люди...

— Ejusdem farinae [1],— подсказал Эжен.

— Совершенно верно,— подтвердила герцогиня.

— И он ее отец! — произнес студент, выражая ужас на лице.

— Ну да; у этого чудака две дочери, и он с ума сходит по ним, хотя и та и другая почти отказались от него.

— Вторая — это не та ли, что замужем за банкиром с немецкой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном? — спросила виконтесса, обращаясь к герцогине де Ланже.— Ее зовут Дельфиной, не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ложа в опере; она бывает также у Буфонов и, чтобы привлечь к себе внимание, смеется очень громко?

— Дивлюсь вам, дорогая, как можете вы интересоваться подобными людьми? — заметила с усмешкой герцогиня.— Только совсем потеряв от любви голову, как Ресто, можно было вываляться в муке мадемуазель Анастази. О! На этом деле он понесет убыток! Она попалась в лапы графу де Трай, и он ее погубит.

— Так они отреклись от своего отца,— повторил Эжен.

— Ну да,— ответила герцогиня,— от своего отца, какого ни на есть, но все же — отца, к тому же, говорят, хорошего отца; каждой он дал в приданое по пяти или шести сот тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хорошо замуж, а себе оставил восемь — десять тысяч ливров дохода в год, рассчитывая, что его дочери останутся его детьми, что он устроит себе у них две жизни, два дома, где найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зятья изгнали его из своего общества, как последнего негодяя.

В глазах Эжена сверкнули слезы: ведь он совсем еще недавно освежил душу чистыми, святыми чувствами в родной семье, он жил еще под обаянием юношеских упований и только здесь впервые встретился с парижской цивилизацией на поле ее битвы. Искренние чувства настолько заразительны, что некоторое время все трое смотрели друг на друга, не проронив ни слова.

---

[1] Из одного теста *(лат.)*. Буквально: «Из той же муки».

— Ах, боже мой! — прервала молчание герцогиня.— Конечно, все это кажется ужасным, а между тем такие случаи мы наблюдаем каждый день. И разве нет этому причины? Скажите, дорогая, задумывались вы когда-нибудь над тем, что представляет собой зять? Зять— это мужчина, для которого мы, и вы и я, растим дорогое нам существо, тысячью уз связанное с нами в течение семнадцати лет,— отраду всей семьи, ее незапятнанную душу, сказал бы Ламартин, а в будущем — ее же моровую язву. Когда мужчина берет от нас это создание, прежде всего он пользуется ее любовью, как топором, и обрубает в сердце, в живой душе этого ангела все чувства, которые связывали его с семьей. Наша дочь еще вчера была всем для нас, а мы всем для нее; наутро она становится нашим врагом. Разве подобная трагедия не разыгрывается ежедневно перед нашими глазами? Тут сноха непозволительно дерзка со свекром, хотя он всем пожертвовал своему сыну. Там зять выгнал тещу из дому. Мне приходилось слышать такой вопрос: что драматично в нашем современном обществе? А зять? Ведь это драма, и драма страшная, не говоря уже о наших браках, ставших сплошной нелепостью. Я совершенно ясно представляю себе, что произошло с этим стариком-вермишельщиком. Мне помнится, что этот Форио...

— Горио, мадам...

— Хорошо, так этот Морио во время революции был председателем одной из секций; он знал подоплеку пресловутого голода и в это время положил начало своему богатству, продавая муку в десять раз дороже, чем покупал сам. А муки у него было сколько угодно. Управляющий моей бабушки поставлял ему муку на огромные суммы. Как это ведется у людей такого сорта, Норио, конечно, делился с Комитетом общественного спасения. Управляющий, мне помнится, убеждал мою бабушку, что она может совершенно спокойно жить в своем имении Гранвилье, так как ее зерно служит лучшим свидетельством ее благонадежности. И вот этот Лорио, продавая хлеб головорубам, был одержим только одной страстью: дочерей своих он, говорят, боготворит. Одну пристроил к графу де Ресто, другую подсунул барону Нусингену, богатому банкиру, который ра-

зыгрывает из себя роялиста. Вы сами понимаете, что во времена Империи зятьям было не так уже зазорно пускать к себе в дом тестя образца девяносто третьего года: при *Буонапарте* это еще куда ни шло. Но после возвращения Бурбонов старичок стал бременем и для Ресто, а еще больше для банкира. Дочери, быть может, еще любили своего отца, поэтому они хотели, чтобы и волки были сыты и овцы целы, то есть успокоить и мужа и отца. Они принимали Горио в такое время, когда не бывало никого. Делалось это под предлогом нежных чувств: «Папа, приходите, мы будем одни и проведем время гораздо лучше!» — или что-нибудь в этом роде. Я лично, дорогая, думаю, что у настоящих чувств есть свой разум, свои глаза, и, конечно, сердце бедняги истекало кровью. Он видел, что дочери стыдятся его, и раз они любят своих мужей, то он помеха для зятьев. Настало время принести жертву. Старик пожертвовал собой, на то он и отец: он сам себя изгнал из их домов, и дочери были довольны; заметив это, он понял, что поступил правильно. Так совершилось семейное преступление при соучастии отца и дочерей. Явления такого рода мы наблюдаем сплошь и рядом. Разве этот папаша Горио в гостиной дочерей не имел бы вида какого-то сального пятна? Да и самому ему было бы там тягостно и скучно. То, что постигло этого отца, может постигнуть самую красивую женщину, полюбившую мужчину всей душой: если она мужчине докучает своей любовью, он уходит и, чтобы от нее отделаться, идет на подлости. Такова судьба всех чувств. Наше сердце — это клад: растратьте его сразу, и вы нищий. Мы не щадим ни чувства, когда оно раскрылось до конца, ни человека, когда у него нет ни одного су. Этот отец роздал все. Свою душу, свою любовь он отдавал в течение двадцати лет, а свое состояние он отдал в один день. Дочери выжали лимон, а корку бросили на улицу.

— Как гнусен свет,— произнесла виконтесса, не поднимая глаз и нервно подергивая бахрому на своей шали: она была задета за живое, чувствуя, что последние фразы в рассказе герцогини предназначались для нее.

— Гнусен?.. Нет,— ответила герцогиня,— просто в свете все идет своим чередом. Говоря так, я только хо-

чу показать, что не обманываюсь в свете. А в общем, я с вами одного мнения,— сказала она, пожимая руку виконтессе.— Свет — это болото, постараемся держаться на высоком месте.

Она встала и, целуя в лоб г-жу де Босеан, сказала:

— Дорогая, сейчас вы настоящая красавица. Я еще никогда не видела такого замечательного цвета лица.

Взглянув на Растиньяка, она слегка кивнула головой и вышла.

— Папаша Горио великолепен! — сказал Эжен, вспомнив, как старик ночью скручивал серебряную чашку.

Г-жа де Босеан задумалась и не слыхала его слов. Несколько минут прошло в молчании; бедный студент как-то стыдливо замер, не зная, говорить ли, остаться ли, или же уйти.

— Свет зол и гнусен,— заговорила наконец виконтесса.— Едва обрушится на нас несчастье, всегда найдется друг, готовый сейчас же ехать к нам с известием об этом и вонзить в наше сердце кинжал, предоставляя нам любоваться его красивой рукоятью. Тотчас же начинаются сарказмы! Тотчас же слышатся насмешки! О, я не дам себя в обиду!

Она подняла голову движением знатной дамы, и в гордом ее взгляде сверкнули молнии.

— Ах, вы здесь! — воскликнула она, увидав Эжена.

— Да, все еще! — жалобно ответил он.

— Так вот, господин де Растиньяк, поступайте с этим светом, как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение, я помогу вам. Исследуйте всю глубину испорченности женщин, измерьте всю ширь жалкого тщеславия мужчин. Я лично внимательно читала книгу света, но оказалось, что некоторых страниц я не заметила. Теперь я знаю все: чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей, гоните, не жалея, пусть мрут на каждой станции, и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались красо-

та, молодость, богатство. Если в вас зародится подлинное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы никто не подозревал об его существовании, иначе вы погибли. Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву. Если вы полюбите, храните свято вашу тайну! Не поверяйте ее, пока вы не узнаете по-настоящему того, кому раскроете вы сердце. Такой любви в вас еще нет, но надобно заранее оберегать ее, поэтому учитесь не доверять свету. Послушайте, Мигель (не замечая, она чистосердечно ошиблась именем), есть нечто пострашнее того случая, когда две дочери забросили отца и, может быть, желают его смерти: это соперничество двух сестер. Ресто из родовитой знати, его жена принята в свете, была представлена ко двору; а из-за этого сестра ее, богатая красавица Дельфина де Нусинген, жена финансового дельца, умирает от огорчения; ее снедает зависть: графиня де Ресто поднялась выше ее на сто голов; и больше нет сестер; обе отрекаются друг от друга, как отреклись от своего отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Она рассчитывала на де Марсе, что он поможет ей достигнуть этой цели, стала его рабой и не дает ему покоя. А де Марсе нет дела до нее. Если Дельфину представите мне вы, то станете ее кумиром, она будет на вас молиться. Впоследствии вы можете и полюбить ее, а если нет, тогда воспользуйтесь Дельфиной в своих целях. Раз или два я приму ее в толпе гостей на большом вечере, но никогда не приму днем. Я буду с ней здороваться, и этого довольно. У графини вы сами закрыли себе двери тем, что упомянули папашу Горио. Да, дорогой мой, вы двадцать раз пойдете к графине де Ресто, и двадцать раз ее не будет дома. Вас приказано не принимать. Так пусть папаша Горио вас познакомит с Дельфиной де Нусинген. Красавица де Нусинген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избранником, тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким, захочется отбить вас у нее. Иные женщины предпочитают как раз чужих избранников, по примеру тех мещанок, которые, перенимая фасоны наших шляп, надеются, что вместе с ними приобретут наши манеры. Вы будете

иметь успех. В Париже успех — все, это залог власти. Как только женщины признают в вас талант и ум, мужчины этому поверят, если вы их не разочаруете. Тогда вы сможете всего желать, вам будет всюду ход. Тогда-то вы узнаете, что свет состоит из обманщиков и простаков. Не присоединяйтесь ни к тем и ни к другим. Для входа в этот лабиринт даю вам вместо нити Ариадны свое имя. Не запятнайте же его,— сказала она, вскинув голову и царственно взглянув на Растиньяка,— верните мне его чистым. Теперь ступайте, оставьте меня одну: у нас, у женщин, бывают тоже свои битвы.

— И если вам нужен человек, готовый ради вас взорвать подкоп...— прервал ее Эжен.

— Так что же? — спросила виконтесса.

Он ударил рукою себя в грудь, ответил улыбкой на улыбку своей кузины и вышел. Было пять часов. Эжен успел проголодаться и затревожился, как бы не опоздать к обеду. Благодаря этой тревоге он почувствовал, какое это наслаждение — мчаться по Парижу. Но это физическое удовольствие нисколько не мешало ему всецело отдаваться неотступным мыслям. Когда молодой человек его лет оскорблен презрением, он начинает горячиться, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, кричит о мести, но сомневается в себе. В настоящую минуту Эжена угнетала фраза: «Вы сами закрыли себе двери у графини». «А я пойду! — говорил он себе.— И если госпожа де Босеан права, если приказано меня не принимать... тогда... тогда графиня де Ресто встретится со мной во всех гостиных, где она бывает. Я выучусь владеть шпагой, стрелять из пистолета и убью ее Максима!..» «А деньги? — кричал ему рассудок.— Откуда их возьмешь?» И тотчас рассыпанное напоказ богатство графини де Ресто сверкнуло у него перед глазами. Он видел роскошь, несомненно, любимую бывшей девицей Горио, сверкающую всюду позолоту, крикливо дорогие предметы обстановки — словом, роскошь неумной выскочки, расточительность богатой содержанки. Это ослепительное видение сразу меркло перед величественным особняком де Босеан. Мечты Эжена, прикованные к высшим сферам парижского общества, внушили ему много дурных помыслов, сделав покладистее ум и совесть. Мир предстал ему теперь таким,

каков он есть: в бессилии своей морали и закона перед богатством; ultima ratio mundi [1] он видел в деньгах. «Прав Вотрен. Богатство — вот добродетель!» — сказал себе Эжен.

Добравшись до улицы Нев-Сент-Женевьев, он быстро взошел к себе наверх, сбежал обратно, чтобы отдать извозчику десять франков, вошел в тошнотворную столовую и увидал всех нахлебников, кормившихся, как скот у яслей. Зрелище этой нищеты, вид этой столовой вызывали в нем чувство омерзения. Слишком резкий переход, слишком разительный контраст должен был в необычайной мере усилить его честолюбивые стремления. По одну сторону — яркие, чарующие образы, созданные самой изящной общественной средой, живые молодые лица в обрамлении из дивных произведений искусства и предметов роскоши, страстные, поэтические личности; по другую сторону—зловещие картины, в окружении грязного убожества, и лица, где от игры страстей остались только когда-то двигавшие их веревочки и механизмы. Советы г-жи де Босеан, подсказанные этой обманутой женщине негодованием, и соблазнительные предложения его кузины воскресли в памяти Эжена, а его нужда истолковала их по-своему; чтобы достичь богатства, Эжен решил заложить две параллельные траншеи: опереться и на любовь и на науку, стать светским человеком и доктором юридических наук. Он оставался все еще большим ребенком. Две эти линии представляют собою *асимптоты* и никогда не могут пересечься.

— Вы что-то очень мрачны, господин маркиз,— сказал Вотрен, окинув Растиньяка своим особым взглядом, казалось, проникавшим в самые сокровенные тайны человеческой души.

— Я не расположен терпеть шутки от тех, кто называет меня «господином маркизом»,— ответил Растиньяк.— Чтобы в Париже быть по-настоящему маркизом, надо иметь сто тысяч ливров годового дохода, а когда живешь в «Доме Воке», то уж, наверно, не состоишь в избранниках фортуны.

Вотрен взглянул на Растиньяка отечески пренебре-

---

[1] Конечная основа мира *(лат.)*.

жительно, словно хотел сказать: «Щенок! Да я могу сделать из тебя котлету!» Потом ответил:

— Вы не в духе и, может быть, потому, что не имели успеха у прекрасной графини де Ресто.

— Она велела не принимать меня, так как я сказал, что отец ее сидит с нами за одним столом! — воскликнул Растиньяк.

Нахлебники переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы их вытереть.

— Вы попали мне табаком в глаз,— сказал он своему соседу.

— Кто станет обижать папашу Горио, тот будет иметь дело со мной,— заявил Эжен, глядя на соседа вермишельщика,— он лучше нас всех! Я не говорю о дамах,— добавил он, оборачиваясь к мадемуазель Тайфер.

Эта фраза осталась последним словом: Эжен с таким видом произнес ее, что нахлебники примолкли. Один Вотрен насмешливо заметил:

— Для того, чтобы брать под свою защиту папашу Горио и стать его ответственным редактором, надо хорошо владеть шпагой и хорошо стрелять из пистолета.

— Так я и сделаю,— ответил Эжен.

— Значит, с сегодняшнего дня вы начинаете войну?

— Возможно,— ответил Растиньяк.— Но я не обязан никому давать отчет в своих делах, поскольку сам я не стараюсь дознаваться, какими делами занимаются другие по ночам.

Вотрен косо посмотрел на Растиньяка.

— Милый мальчик, кто не хочет быть обманут игрою марионеток, тому надо войти внутрь балагана, а не довольствоваться подглядыванием сквозь дыры в парусинной стенке. Бросим этот разговор,— добавил он, видя, что Эжен готов вспылить.— Мы с вами потолкуем после, когда угодно.

Обед проходил натянуто и мрачно. Папаша Горио, совершенно убитый фразой Растиньяка, не понял, что общее отношение к нему переменилось и что у него есть молодой защитник, готовый заткнуть рот его преследователям.

— Выходит, что господин Горио — отец графини? — спросила шепотом Воке.

— А кроме нее,— и баронессы,— ответил Растиньяк.

— Он лишь на это и пригоден,— сказал Бьяншон Эжену.— Я потрогал его голову: на ней только один бугорок — как раз отцовства; это *отец неизлечимый.*

Эжен был в серьезном настроении, и шутка Бьяншона не вызвала у него смеха. Он собирался извлечь пользу из советов г-жи де Босеан и спрашивал себя, где и как достать денег. Глазам его открылись светские саванны, пустынные и плодоносные в одно и то же время, и это зрелище наполнило его тревожною заботой. После обеда все постепенно разошлись, оставив его в столовой одного.

— Так вы видели мою дочку? — спросил его Горио проникновенным голосом.

Старик вывел студента из раздумья; Эжен взял его за руку и, глядя на него с каким-то умилением, ответил:

— Вы хороший, достойный человек. Мы поговорим о ваших дочерях после.

Не желая больше слушать папашу Горио, он встал, ушел к себе в комнату и написал матери письмо:

«Дорогая мама, не найдется ли у тебя третьей груди, чтобы напитать меня? Обстоятельства складываются так, что я могу быстро разбогатеть. Мне необходимы тысяча двести франков, и я должен их иметь во что бы то ни стало. О моей просьбе не говори ничего папе: он, пожалуй, воспротивится, а если у меня не будет этих денег, то я впаду в полное отчаяние, способное довести меня до самоубийства. Своими замыслами я поделюсь с тобой при первом же свидании: писать понадобилось бы тома, чтобы растолковать тебе то положение, в каком я нахожусь. Милая мама, я не проигрался, долгов у меня нет; но если моя жизнь, которую дала мне ты, дорога тебе, найди для меня эту сумму. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, взявшей меня под свое покровительство. Мне нужно бывать в свете, а у меня нет ни одного су на чистые перчатки. Я могу питаться только хлебом, не пить ничего, кроме воды, если придется, буду голодать; но я не могу обойтись без тех орудий, которыми обрабатывают почву в парижском винограднике. Дело идет о том, пробью ли я себе дорогу или останусь барахтаться в грязи. Я знаю, сколько надежд вы возложили на меня, и я хочу осуществить их

быстрее. Милая мама, продай какие-нибудь твои наследственные драгоценности, я возмещу тебе их стоимость в скором времени. Мне хорошо известно положение нашей семьи, и я сумею оценить все ваши жертвы; поверь, что я прошу их не напрасно, иначе я оказался бы чудовищем. Прими мою мольбу, как вопль всевластной нужды. В этом пособии все наше будущее, на эти деньги я должен выступить в поход, ибо жизнь в Париже — непрерывная битва. Если ты сама не можешь собрать всей суммы и не останется ничего другого, как продать кружева тети, скажи ей, что я пришлю взамен другие, еще лучше...» и так далее.

Он написал обеим сестрам по письму с просьбой выслать ему их сбережения, а чтобы достигнуть своей цели и в то же время удержать сестер от семейных обсуждений этой жертвы, которую они, конечно, почтут за счастье принести, Эжен воздействовал на чуткость их души, затронув струны чести, всегда натянутые крепко и очень звучные в юных сердцах. И все же, окончив свои письма, он пришел в невольное смятение: он волновался, трепетал. Юный честолюбец хорошо знал безукоризненное благородство этих душ, затерянных в глуши, и отдавал себе отчет, какие тяготы он налагает на сестер и сколько в этом будет радости для них, какое удовольствие доставит им тайная беседа о любимом брате в укромном уголке усадьбы. Его сознание вдруг озарило, и он увидел сестер в ту самую минуту, когда они украдкой подсчитывают свое ничтожное богатство; он видел, как они пускают в ход девичье хитроумие, чтобы тайком выслать ему деньги, и делают попытку впервые сплутовать, чтобы проявить величие своей души. «Сердце сестры — это адамант чистоты, бездна нежности!» — сказал он сам себе. Он начинал стыдиться того, что написал. А сколько силы будет в их молитвах, сколько чистоты в душевном их порыве к небу! С каким воодушевлением они пожертвуют собой! Какое горе постигнет мать, если она не сможет выслать полностью всех денег! И эти замечательные чувства и эти жертвы будут служить ему только ступенькой, чтобы подняться к Дельфине Нусинген. Из его глаз скатилось несколько слезинок — последние крупицы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи. Он ша-

гал по комнате, обуреваемый отчаянием. Папаша Горио вошел к нему, заметив в полуотворенную дверь это хождение взад и вперед.

— Что с вами? — спросил его папаша Горио.

— Ах, дорогой сосед, я все еще и сын и брат, как вы — отец. Вы правы, что боитесь за графиню Анастази, она в руках некоего Максима де Трай, и он ее погубит.

Папаша Горио удалился, бормоча какие-то слова, но Эжен не уловил их смысла.

На следующий день Растиньяк пошел на почту отправить свои письма. Он колебался до последнего мгновения, но все же бросил их в почтовый ящик, сказав: «Мне посчастливится!» — выражение игрока, крупного полководца, но выражение роковое: чаще оно ведет к гибели, а не к спасению.

Через несколько дней Эжен отправился к графине де Ресто, но не был принят. Он трижды возобновлял свою попытку, но все три раза ее двери оказывались закрыты для него, хотя он выбирал часы, когда там не бывало графа Максима де Трай. Виконтесса была права. Студент перестал учиться. Он заходил на лекции лишь для того, чтобы отметиться при перекличке, а засвидетельствовав свою явку, сейчас же удирал; им руководило то же рассуждение, что и большинством студентов. Свои занятия он отложил до той поры, когда придется сдавать экзамен. Эжен решил записаться сразу на лекции второго и третьего курсов, но только к самому концу засесть серьезно и пройти весь курс юридического факультета в один присест. Благодаря этому в его распоряжении оказалось пятнадцать месяцев, когда он мог свободно плавать в парижском океане и там заняться ловлей женщин или ужением богатства.

За последнюю неделю Эжен два раза посетил г-жу де Босеан, но заходил только в такое время, когда карета д'Ажуда съезжала со двора. Эта прославленная женщина, самая поэтическая личность во всем Сен-Жерменском предместье, еще на считанные дни сумела удержать поле битвы за собой, добившись отсрочки брака маркиза д'Ажуда-Пинто с мадемуазель Рошфид. Но эти дни, когда боязнь утратить счастье наполнила их небывалым жгучим чувством, должны были ускорить катастрофу.

Маркиз д'Ажуда и Рошфиды считали разлад и примирение с виконтессой благоприятным обстоятельством, надеясь, что г-жа де Босеан привыкнет к мысли об этом браке и наконец пожертвует своими утренними встречами будущему событию, самой природой предусмотренному в жизни человека. Таким образом, д'Ажуда, повторяя ежедневно самые святые обещания, разыгрывал комедию, а виконтесса охотно поддавалась этому обману. И лучшая ее подруга, герцогиня де Ланже, сказала про нее: «Вместо того чтобы благородно выброситься из окна, она просто скатилась с лестницы». Как бы то ни было, последние лучи сияли еще столько времени, что виконтесса продолжала жить в Париже и оказала ценные услуги своему юному кузену, чувствуя к нему какую-то суеверную привязанность. Эжен ей выказал большую преданность и полное сочувствие при обстоятельствах такого рода, когда женщина ни в чьих глазах не видит ни жалости, ни истинного утешения. А если в это время и бывает, что мужчина говорит женщине нежные слова, он говорит их с задней мыслью.

Прежде чем взять на абордаж дом Нусингена, Растиньяк хотел тщательно изучить расположение фигур на своей шахматной доске; для этого он постарался выяснить себе предшествующую жизнь папаши Горио и собрал точные сведения, которые сводились к следующему.

До революции Жан-Жоашен Горио был простым рабочим-вермишельщиком, ловким, бережливым и настолько предприимчивым, что в 1789 году купил все дело своего хозяина, павшего случайной жертвой первого восстания. Он обосновался на улице Жюсьен, близ Хлебного рынка, и проявил большую сметку, взяв на себя председательство у себя в секции, чтобы обеспечить свою торговлю покровительством людей, наиболее влиятельных в ту опасную эпоху. Такая хитрая политика и положила основание его богатству: началось оно в период настоящего или умышленно созданного голода, когда в Париже установилась огромная цена на хлеб. У дверей булочных люди дрались до смертоубийства, а в это время некоторые лица без сутолоки покупали макароны в бакалейных лавках. За этот год гражданин Горио нажил капитал, позволивший ему впоследствии вести тор-

говлю, пользуясь всем преимуществом, какое дает торговцу крупный капитал. С ним произошло то, что бывает со всеми лишь относительно способными людьми. Его серость спасла ему жизнь. Кроме того, его богатство стало известно лишь тогда, когда оно уже не вызывало ничьей зависти и слыть богачом не было опасно. Все его умственные способности, видимо, ушли в торговлю хлебом. Он не имел равного себе, когда дело шло о зерне, муке, крупе, их качестве, происхождении, хранении, когда требовалось предвидеть цену, предсказать недород или урожай, дешево купить зерно, запастись им в Сицилии, на Украине. Глядя, как он ведет свои дела, толкует законы по ввозу и вывозу зерна, изучает их дух, подмечает их недостатки, иной, пожалуй, мог подумать, что Горио способен быть министром. Терпеливый, деятельный, энергичный, твердый, быстрый в средствах достижения, обладавший орлиным зрением в делах, он все опережал, предвидел все, все знал и все скрывал, дипломат — в замыслах, солдат — в походах. Но вне этой особой отрасли, выйдя из простой и мрачной своей лавки, где он сидел в часы досуга на пороге, прислонясь плечом к дверному косяку, Горио вновь становился тупым и неотесанным работником, не мог понять простого рассуждения, был чужд каких-либо духовных наслаждений, спал в театре и казался одним из парижских Долибанов, сильных только своею тупостью. Почти все люди такого склада похожи друг на друга. Но в душе почти у каждого из них вы можете найти возвышенное чувство. И душу вермишельщика заполнили два властных чувства, поглотившие всю теплоту его сердца, как хлебная торговля впитала его мозг. Его жена, единственная дочь богатого фермера из Бри, стала для мужа предметом беспредельной любви, какого-то набожного поклонения. Он восхищался этим хрупким, но духовно крепким, отзывчивым и милым существом, противоположным его собственной природе. Если в мужчине есть чувство, ему врожденное, так это — гордость той защитой, какую он всечасно оказывает слабым существам. Добавьте сюда любовь, эту горячую признательность всех честных душ к источнику их наслаждений, и вам понятно станет множество своеобразных явлений в духовной жизни. После семи лет нерушимого

блаженства вермишельщик потерял жену — на свое несчастье: она уже забирала над ним власть не только в сфере чувства. Быть может, ей удалось бы развить эту косную натуру, вложить в нее понимание действительности и жизни. Со смертью жены привязанность Горио к детям перешла разумные границы. Всю свою горячую любовь, обездоленную смертью, он перенес на дочерей, и первое время они отвечали во всем его отцовским чувствам. И купцы и фермеры наперебой старались выдать своих дочек за него, но, как бы ни были блестящи предложения, Горио решил остаться вдовым. Тесть вермишельщика, единственный мужчина, пользовавшийся его благоволением, утверждал за истину, что Горио поклялся не нарушать супружескую верность своей жене, хотя бы и умершей. Торговцы на Хлебном рынке, не понимая такого возвышенного безрассудства, только глумились и наградили Горио каким-то смехотворным прозвищем. Но когда один из них, подвыпив после сделки, вздумал произнести его во всеуслышание, вермишельщик так двинул кулаком насмешнику в плечо, что тот стремглав отлетел к тумбе на углу улицы Облен. Беззаветная преданность, пугливая и чуткая любовь Горио к своим дочерям приобрели всеобщую известность, и как-то раз один из конкурентов, желая удалить его с торгов, а самому остаться и влиять на цены, сказал Горио, будто бы Дельфину только что сшиб кабриолет. Вермишельщик, бледный, как смерть, в ту же минуту покинул рынок. Ложная тревога вызвала в нем такое столкновение противоположных чувств, что он в течение нескольких дней болел. Этого человека Горио не стукнул сокрушительным кулаком в плечо, но, выбрав критическую для своего обманщика минуту, довел его до банкротства и таким образом выгнал с рынка навсегда.

Воспитание обеих дочерей, само собой разумеется, велось нелепо. Имея более шестидесяти тысяч франков дохода в год, Горио не тратил лично на себя и тысячи двухсот, но почитал за счастье исполнять все дочерние прихоти: наилучшим учителям вменялось в обязанность привить его дочерям все таланты, какие требовались хорошим воспитанием; при них состояла компаньонка, и на их счастье — женщина с умом и вкусом; они катались верхом, имели выезд — короче, жили, как

прежде жили бы любовницы у старого богатого вельможи; чего бы им ни захотелось, хотя бы очень дорогого, отец спешил исполнить их желания и за свою щедрость просил в награду только ласки. Приравнивая своих дочек к ангелам, бедняга тем самым возносил их над собой; он любил даже то зло, которое терпел от них. Когда для дочерей пришла пора замужества, они имели возможность выбирать себе мужей по своим наклонностям: каждой было назначено приданое в размере половины состояния отца. Анастази, своею красотой прельстившую графа де Ресто, тянуло к аристократическим кругам, и это побудило ее покинуть отчий дом, чтобы устремиться в высшие общественные сферы. Дельфина любила деньги и вышла за банкира Нусингена, немца родом, ставшего бароном Священной Римской империи. Горио остался вермишельщиком. Но вскоре и зятья и дочки нашли зазорным для себя, что он по-прежнему ведет торговлю, а в ней и заключалась вся его жизнь. Горио пять лет противился их настояниям; в конце концов он уступил и бросил торговать, обеспечив себя капиталом от продажи своего дела и от доходов за несколько последних лет; по расчетам г-жи Воке, у которой он поселился, этот капитал должен был приносить от восьми до десяти тысяч ливров в год. Горио забился в пансион Воке с отчаяния, когда увидел, что дочери по требованию своих мужей отказываются не только взять его к себе, но даже принимать его открыто.

Вот все те сведения о папаше Горио, какие дал некий г-н Мюре, купивший его дело. Таким образом, догадки, высказанные герцогиней де Ланже при Растиньяке, подтвердились. На этом мы закончим введение к трагедии из парижской жизни, трагедии неведомой, но страшной.

В конце первой недели декабря Растиньяк получил два письма: одно от матери, другое от старшей сестры Лоры. Оба хорошо знакомых почерка вызвали в нем одновременно и трепет удовольствия и содрогание ужаса. В двух хрупких листиках бумаги заключался приговор его надеждам — жить им или умереть. Когда он вспоминал о бедности своих родных, его охватывал какой-то страх, но вместе с тем он постоянно убеждался в их исключительной любви и мог бы не бояться высосать

из них все до последней капли крови. Письмо матери гласило следующее:

«Дорогое дитя, посылаю тебе то, что ты просил. Употреби эти деньги с пользой, ибо еще раз, даже для спасения твоей жизни, я не могла бы добыть столь значительную сумму, не посвятив в это отца, что нарушило бы полное согласие нашей семейной жизни. Для получения новых денег пришлось бы выдать обязательства под нашу землю. Не зная твоих проектов, я лишена возможности судить о них; но какого же они свойства, если ты боишься сообщить их мне? Для этого не нужно писать тома, матерям довольно слова, и одно слово избавило бы меня от мучительного чувства неизвестности. Не могу утаить от тебя, что письмо твое произвело на меня тягостное впечатление. Милый сын, что побудило тебя заронить мне в душу такой страх? Наверно, ты много выстрадал, пока писал свое письмо, ибо и я перестрадала многое, пока его читала. Какое поприще задумал ты избрать? Не будет ли твоя жизнь, твое благополучие связаны с необходимостью изображать собою не то, что ты есть, и посещать тот круг людей, где ты бывать не можешь, не входя в непосильные тебе расходы и не теряя времени, драгоценного для твоего учения? Милый Эжен, поверь материнскому сердцу: кривой путь до добра не доводит. Терпение и отречение—вот добродетели молодых людей на твоем месте. Я не ворчу на тебя, к нашему дару я не хочу примешивать никакой горечи. Мои речи — речи матери, доверчивой и предусмотрительной. Если ты знаешь, в чем состоит твой долг, мне ли не знать, как чисто твое сердце, как прекрасны твои стремления. Стало быть, я без боязни могу сказать тебе: иди, любимый мой, и действуй! А трепещу я потому, что я мать, но наши молитвы и благословения будут нежно сопровождать твой каждый шаг. Будь осторожен, милый сын. Ты обязан быть мудрым, как мужчина, ведь судьбы пяти дорогих тебе людей зависят от твоего ума. Да, наша судьба в твоих руках, и твое счастье — наше счастье. Мы молим бога помочь тебе в твоих начинаниях. Тетушка Марсийяк проявила в этих обстоятельствах неслыханную доброту; она сама додумалась до того, что ты писал мне о перчатках. «Да, у меня слабость к старшему племяннику»,— говорила

она весело. Эжен, люби крепко свою тетю: о том, что она сделала ради тебя, я расскажу тебе только тогда, когда добьешься полного успеха, если же его не будет, то ее деньги будут жечь тебе руки. Вы, дети, не знаете, что значит лишать себя памятных вещей! Но ради вас чего не принесем мы в жертву? Тетушка поручила сказать тебе, что целует тебя в лоб и хотела бы этим поцелуем передать тебе способность иметь всегда успех. Добрая, чудесная женщина написала бы тебе сама, не будь у ней хирагры. Отец здоров. Урожай нынешнего 1819 года превзошел все наши ожидания. Прощай, дорогой сын. Не говорю ничего о сестрах: тебе пишет Лора. Предоставляю ей удовольствие поболтать о маленьких событиях в нашей семье. Пошли, боже, тебе успеха! О! Да, да, Эжен, добейся успеха: из-за тебя я испытала столько жгучей скорби, что вторично мне не снести ее. Я узнала, что значит быть бедной, тоскуя по богатству, которое могла бы отдать сыну. Ну, прощай. Не оставляй нас без вестей и в заключение прими горячий материнский поцелуй».

Когда Эжен закончил чтение письма, слезы катились по его щекам, он думал о том, как папаша Горио скручивал серебряную чашку, чтобы, продав ее, пойти и оплатить вексель своей дочки. «Твоя мать тоже «скрутила» собственные драгоценности! — говорил он себе.— И тетушка, наверно, плакала, распродавая свои фамильные реликвии! Так по какому праву ты стал бы ругать Анастази? Ради твоего эгоистического будущего ты сделал то же самое, что совершила для любовника она. Кто лучше: ты или она?» Студент почувствовал, как все внутри его испепеляется невыносимым жаром. Он собирался отказаться от светской жизни, он был готов отвергнуть эти деньги. Он испытал силу тайных угрызений совести, благородных и прекрасных, что редко получает достойную оценку у людей, когда они судят своих ближних, но побуждает ангелов небесных дать отпущение вины преступнику, хотя и осужденному юристами земными. Эжен раскрыл письмо сестры, написанное в таких невинно-прелестных выражениях, что у него сразу отлегло от сердца:

«Дорогой брат, твое письмо явилось очень кстати. Я и Агата собирались истратить наши деньги, но ра-

зошлись во взглядах и не могли решить, что покупать. Ты достиг того же, что и слуга испанского короля, когда он уронил на пол все карманные часы своего господина: ты водворил согласие. Мы, в самом деле, ссорились из-за того, какому нашему желанию отдать преимущество, и не догадывались, дорогой Эжен, найти нашим деньгам применение, которое объединило бы все наши пожелания. Агата даже запрыгала от радости. Словом, весь день мы были сами не свои и *так приметно* (выражаясь стилем тети), что мама строго спросила нас: «Да что такое с вами?» Если бы она хоть чуточку нас побранила, мы были бы, я думаю, довольны еще больше. Пострадать за любимого человека — большое удовольствие для женщины! Я одна задумалась и загрустила при всей своей радости. Наверно, я окажусь плохой женой — такая я мотовка. Я купила себе два пояса, хорошенький пунсон, чтобы протыкать дырочки в своих корсетах, то есть чепуху, а в результате у меня осталось меньше денег, чем у толстухи Агаты, потому что она бережлива и собирает монетки в одну кучку, как сорока,— у нее оказалось двести франков! А у меня, мой бедный друг, только полтораста. Я больно наказана и хотела швырнуть в колодец мой злополучный пояс, мне будет неприятно его носить. Я обокрала тебя. Агата просто прелесть — она сказала: «Пошлем триста пятьдесят франков от нас обеих!» Хотя я не стремилась рассказывать тебе весь ход событий, а знаешь, как мы поступили, чтобы исполнить твой наказ? Мы обе взяли наши пресловутые деньги и отправились гулять, но едва мы очутились на большой дороге, как бросились бежать в Рюфек, где попросту отдали деньги г-ну Гримберту, содержателю конторы Королевских почтовых сообщений! Обратно мы летели легко, как ласточки. «Может быть, такую легкость нам придает удача?» — сказала мне Агата. Мы наговорили друг другу множество вещей, но вам, господин парижанин, я их не повторю: слишком большую роль играли в этом вы. О дорогой брат, мы очень тебя любим, вот и все. Что касается тайны, то, по словам тети, такие скрытницы, как мы, на все способны, даже на молчание. Мама с тетей таинственно отправились в Ангулем, ни словом не обмолвясь о высших политических целях их поездки, чему предшество-

вали длительные совещания, но мы, а также г-н барон на совещания не допускались. Великие начинания владеют умами в государстве Растиньяк. Инфанты по-прежнему вышивают муслиновое платье с ажурными цветочками для ее величества, и работа подвигается в глубокой тайне; осталось вышить только два конца. Вынесено решение не возводить стены со стороны Вертэй, там будет только изгородь. От этого местное население лишится фруктов с деревьев и шпалер, зато для чужестранцев останется прекрасный вид. Если наследный принц нуждается в носовых платках, то да будет ему известно, что вдовствующая королева де Марсийяк порылась в своих сокровищницах и сундуках, известных под названием Помпеи и Геркуланума, и обрела там штуку отличного голландского полотна, про которую она забыла; принцессы Лора и Агата предоставляют в ее распоряжение иголки, нитки и свои руки, красные по-прежнему. Два юных принца, дон Анри и дон Габриэль, не бросили пагубной привычки объедаться виноградным вареньем, бесить своих сестер, ничему не учиться, разорять птичьи гнезда, шуметь и вопреки законам государства срезать побеги ив себе на тросточки. Папский нунций, а в просторечии — наш священник, грозит им отлучением от церкви, если они вместо правописания будут по-прежнему усваивать право шатания. До свидания, милый брат, никогда еще ни одно письмо не содержало столько молитв, возносимых за твое счастье, столько радостной любви. Когда приедешь сюда, тебе придется порассказать нам очень много! Я старшая, и ты мне скажешь все. Моя тетушка дала понять нам, что ты имеешь успех в свете.

Болтают все о даме, об остальном молчок.

При нас, конечно! Вот что, Эжен: если хочешь, мы можем обойтись без носовых платков, а вместо них сошьем тебе рубашки. По этому вопросу отвечай скорее. Если тебе нужны хорошо сшитые, красивые рубашки и в скором времени, то нам придется засесть за них сейчас же; если в Париже есть неведомые нам фасоны, тогда пришли нам образец, в особенности для манжет. Прощай, прощай! Целую тебя в лоб с левой стороны, в тот висок, который принадлежит только мне. Чистый ли-

сток бумаги предоставляю Агате, и она обещала не читать того, что я тебе пишу. Но для большей верности, я буду рядом с ней, пока она напишет. Любящая тебя сестра

Лора де Растиньяк».

«О, да, да, богатство, во что бы то ни стало! — говорил себе Эжен.— Никакими сокровищами не оплатить такую беззаветную любовь. О, как бы я хотел дать им все счастье сразу». «Полторы тысячи франков! — произнес он после некоторой паузы.— Надо, чтобы каждая монета шла в дело! Лора права. Честное слово! У меня рубашки только из простого полотна. Девушка ради чужого счастья становится хитра, как вор. Простушка для себя, она предусмотрительна ради меня; это ангел, который не постигает земные прегрешения, но прощает их».

Свет принадлежал ему! Портной был призван, опрошен, завоеван. Увидав Максима де Трай, Растиньяк тогда же понял, какую роль играет портной в жизни молодых людей. Увы, нет середины между двумя понятиями о портном: это или друг, или смертельный враг, глядя по работе. В своем портном Эжен нашел человека, который понимал отеческую роль своего промысла и на себя смотрел как на звено между настоящим и будущим молодых людей. Благодарный Растиньяк, впоследствии блиставший остроумием, создал ему богатство одним своим изречением.

— Я знаю,— говорил Растиньяк,— две пары брюк его работы, которые способствовали двум женитьбам, приносившим двадцать тысяч дохода в год.

Полторы тысячи франков и сколько хочешь фраков! В такой момент бедный южанин уже ни в чем не сомневался и, спускаясь к завтраку, имел особенный, неизъяснимый вид, присущий юношам, когда у них есть некоторая сумма денег. Едва в студенческий карман попали деньги, как настроение студента поднимается подобно какой-то фантастической колонне, и он возносится на этот пьедестал. Походка у студента сразу делается красивее, он чувствует в себе самом точку опоры для своих действий, смотрит прямо и открыто, его движения быстры; вчера он робок, смирен, готов сносить побои, назавтра сам побьет хоть первого министра. С ним творится что-то неслыханное: он хочет все и может все, в его желаниях

сумбур, он весел, щедр и общителен. Короче говоря, бескрылой птице дали размашистые крылья. Студент без денег хватает на лету щепотку наслаждения, как собака ворует кость, преодолев тысячу опасностей, потом грызет ее, высасывает мозг и бежит дальше; но если юноша потряхивает кошельком, где приютились золотые шалые монеты, то он смакует наслаждения, растягивает их, доволен сам собой, витает в небесах, забыв, что значит слово *нищета*. К его услугам весь Париж. Пора, когда все блещет, искрится и пламенеет; пора разгульной силы, зря пропадающей у женщин и мужчин! Пора долгов и острых опасений, что, впрочем, лишь во много крат усиливает наслаждения! Тот, кто не знает левый берег Сены, между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер, тот ничего не смыслит в жизни человека!

— О, когда бы парижанки только знали, они сюда пришли бы за любовью! — говорил себе Растиньяк, поглощая у вдовы Воке вареные груши ценой в один лиар за штуку.

В эту минуту посыльный Королевских почтовых сообщений, позвонив у решетчатой калитки, вошел в столовую. Спросив г-на Эжена де Растиньяка, он передал ему два мешка и квитанцию для подписи. Вотрен сверкнул на Растиньяка таким пронизывающим взглядом, словно хлестнул его кнутом.

— Вам есть чем оплатить уроки фехтования и стрельбу в тире,— сказал Эжену этот человек.

— Наконец-то прибыли галионы! — воскликнула Воке, посматривая на мешки.

Мадемуазель Мишоно боялась взглянуть на деньги, чтобы не выдать своей алчности.

— У вас добрая мать,— заметила г-жа Кутюр.

— У него добрая мать,— повторил Пуаре.

— Да, маменька пустила себе кровь,— сказал Вотрен.— Теперь вы можете откалывать все ваши штуки, бывать в свете, выуживать приданое и приглашать на танцы графинь с цветами персика на голове. Но верьте мне, молодой человек, почаще заходите в тир.

Вотрен показал, будто целится в противника. Растиньяк хотел дать посыльному на чай, но не нашел ничего у себя в кармане. Вотрен пошарил у себя и бросил двадцать су посыльному.

— Вам всегда открыт кредит,— проговорил он, глядя на студента.

Растиньяку пришлось поблагодарить его, хотя со времени их столкновения в тот день, когда Эжен вернулся от г-жи де Босеан, этот человек стал ему несносен. За последнюю неделю Вотрен и Растиньяк встречались молча и наблюдали друг за другом. Студент напрасно спрашивал себя, что было этому причиной. Несомненно, что мысли действуют на расстоянии прямо пропорционально силе, породившей их, и бьют в ту точку, куда их посылает мозг по какому-то закону математики, похожему на тот, что управляет бомбой, вылетевшей из мортиры. Результаты их действия могут быть различны. Бывают мягкие натуры, в которых чужие мысли, засев глубоко, производят разрушение; зато встречаются и хорошо вооруженные натуры — такие черепа, закованные в бронзу, что воля другого человека плющится о них и тут же падает, как пуля, ударившая в каменную стену; кроме них, есть дряблые и рыхлые натуры: чужие мысли в них зарываются бессильно, как ядра в мягкой насыпи траншей. Голова Растиньяка относилась к числу голов, начиненных порохом и готовых к взрыву от малейшей искры. В нем было слишком много пылкой юности, и он не мог не поддаваться этой силе мыслей, этой заразительности чувств, когда в них столько причудливых явлений, которые захватывают нас помимо нашей воли. Острота духовного зрения у Растиньяка не уступала зоркости рысьих его глаз. Каждое из его двояких восприятий действительности (умом и чувством) обладало той сокровенной широтой, той гибкостью, какими восхищают нас люди особых дарований, как, например, искусные бойцы на шпагах, способные мгновенно уловить все уязвимые места любого панциря. Впрочем, за последний месяц Растиньяк приобрел не меньше недостатков, чем достоинств. Недостатки вызывались требованиями света и настойчивостью все возрастающих желаний. К числу его достоинств принадлежала та южная горячность, которая повелевает выходцу из-за Луары идти прямо на препятствие, чтобы его преодолеть, и не дает стоять на месте в нерешительности; северяне считают это свойство недостатком; по их мнению, оно хотя и положило начало возвышению

Мюрата, но стало и причиной его гибели. Отсюда можно сделать такое заключение: когда южанин умеет сочетать в себе пронырство северян и дерзость уроженцев Залуарья, он в своем роде совершенство и никому не сдаст своих позиций.

Таким образом, Эжен не мог бы долго оставаться под обстрелом батарей Вотрена, не зная, кто ему Вотрен: друг или недруг? Временами ему казалось, что эта странная личность читает у него в душе и прозревает его страсти, а между тем у самого Вотрена все замкнуто так крепко, точно он обладал невозмутимой глубиной сфинкса, который знает, видит все, но ничего не говорит. Теперь, с полным карманом денег, Эжен взбунтовался.

— Будьте любезны подождать,— сказал он, видя, что Вотрен уже встал и допивает кофе, собираясь уходить.

— Зачем? — спросил этот сорокалетний мужчина, надевая широкополую шляпу и взяв железную палку, которой он часто делал фехтовальный прием — «мельницу», доказывая, что не побоится нападения хотя бы четырех воров.

— Я отдам вам долг,— ответил Растиньяк, спешно развязывая один мешок и отсчитывая сто сорок франков для хозяйки.— Жалеть мешка — не иметь дружка,— сказал он г-же Воке.— Мы в расчете до Сильвестрова дня. Разменяйте мне сто су.

— Жалеть дружка — не иметь мешка,— повторил Пуаре, глядя на Вотрена.

— Вот ваши двадцать су,— сказал Растиньяк, протягивая монету сфинксу в парике.

— Можно подумать, что вы боитесь быть мне обязанным хоть чем-нибудь! — воскликнул Вотрен, проникая своим всевидящим взглядом в душу молодого человека и награждая его иронической диогеновской усмешкой, уже не раз злившей Растиньяка.

— Пожалуй... да,— ответил студент, держа в руке свои мешки и собираясь идти к себе наверх.

Вотрен пошел к двери в гостиную, а студент намеревался пройти в дверь, ведущую на площадку перед лестницей.

— А знаете ли, маркиз де Растиньякорама, то, что

вы мне сказали, не совсем учтиво,— заметил Вотрен, плашмя ударив палкой по двери в гостиную, и подошел к студенту, смотревшему на него холодным взглядом.

Растиньяк затворил дверь в столовую и повел Вотрена на площадку лестничной клетки, отделявшую столовую от кухни, где была дверь в сад, а над ней низкое продолговатое окошко с решеткой из железных прутьев. В это время Сильвия выскочила из кухни, и студент при ней сказал Вотрену: «Господин Вотрен, во-первых, я не маркиз, а во-вторых, меня зовут не Растиньякорама».

— Они будут драться,— сказала равнодушно мадемуазель Мишоно.

— Будут драться,— повторил Пуаре.

— О, нет,— ответила Воке, поглаживая рукой стопку золотых монет.

— Но они уже идут под липы! — воскликнула мадемуазель Викторина, встав с места, чтобы посмотреть в сад.— Бедный молодой человек, ведь он прав!

— Пойдем, милочка, наверх, нас это не касается,— обратилась к ней г-жа Кутюр.

Г-жа Кутюр и Викторина встали, чтобы уйти, но на пороге двери им преградила путь толстуха Сильвия.

— Этого еще недоставало! — заявила она.— Господин Вотрен сказал господину Эжену: «Давайте объяснимся!» Потом он взял его под руку, и вот они идут по нашим артишокам.

В это мгновение появился Вотрен.

— Мамаша Воке,— сказал он, улыбаясь,— не пугайтесь, сейчас под липами я попробую свои пистолеты.

— О господин Вотрен, за что хотите вы убить Эжена? — сказала Викторина, всплеснув руками.

Вотрен отступил на два шага и некоторое время смотрел на Викторину.

— Вот так история! — воскликнул он шутливо, заставив покраснеть бедную девочку.— А правда, этот молодой человек очень мил? — добавил он.— Вы навели меня на мысль, прелестное дитя. Я осчастливлю вас обоих.

Г-жа Кутюр взяла свою воспитанницу под руку и увела, сказав ей на ухо:

— Слушайте, Викторина, сегодня я вас не узнаю.

— Я не хочу, чтобы у меня стреляли из пистолетов,— заявила г-жа Воке.— В такой час вы переполошите всех соседей и накликаете полицию.

— Ну, тихо, мамаша Воке,— ответил Вотрен.— Ляля, прекрасно, мы пойдем в тир.

Он присоединился к Растиньяку и дружески взял его под руку.

— Если я докажу вам,— сказал он,— что на тридцать пять шагов всаживаю пулю в туза пик пять раз подряд, то это не убавит вашей прыти? На мой взгляд, вы малость бесноватый и дадите мне убить вас, как дурак.

— Вы уже на попятный,— ответил Эжен.

— Не бередите мне печенку,—предостерег Вотрен.— Сегодня не холодно, пойдем сядем вон там,— предложил он, указывая на зеленые скамейки.— Тут никто нас не услышит. Мне нужно потолковать с вами. Вы юнец хороший, и я не хочу вам зла, я вас люблю, честное слово Обма... (тьфу, черт!), то бишь Вотрена. За что я люблю вас, я вам скажу потом. А пока что я знаю вас так, точно сам вас создал, и докажу вам это. Положите ваши мешки сюда,— добавил он, указав на круглый стол.

Растиньяк положил деньги на стол и сел, сгорая от любопытства, разожженного до предела внезапной переменой в обращении человека, который только что хотел его убить, а теперь выставлял себя каким-то покровителем.

— Вам очень хотелось бы узнать, кто я, чем занимался прежде, что делаю теперь,— начал Вотрен.— Мой мальчик, вы слишком любопытны. Только спокойно, вы сейчас услышите немало и другого! Мне не повезло. Сначала выслушайте, а говорить будете потом. Вот вам моя прежняя жизнь в трех словах. Кто я? Вотрен. Что делаю? Что нравится. И все. Хотите знать мой характер? Я хорош с теми, кто хорош со мной или кто мне по душе. Им все позволено, они могут наступать мне на ногу, и я не крикну: «Эй, берегись!» Но, черт возьми! Я зол, как дьявол, с теми, кто досаждает

мне или просто неприятен. Надо вам сказать, что для меня убить человека все равно что плюнуть. Но убиваю лишь в крайнем случае и стараюсь сделать дело чисто: я, что называется, артист. И вот каков я есть, я прочел «Воспоминания» Бенвенуто Челлини, да еще по-итальянски! Вот был сорвиголова, он-то и научил меня подражать провидению, которое нас убивает и так и сяк, но, кроме этого, он научил меня любить прекрасное во всем, где только оно есть. А разве не прекрасна роль, когда идешь один против всех и у тебя есть шансы на удачу? Я много размышлял о современном строе вашего общественного неустройства. Дуэль, мой мальчик,— детская забава, дурость. Когда один из двух живых людей должен сгинуть, только дурак отдаст себя на волю случая. А дуэль? Орел или решка! И только. Я всаживаю в туза пик пять пуль подряд, пуля в пулю, да еще на тридцать пять шагов! Имея такой талант, можно быть уверенным, что уложишь своего противника. И что же! Я стрелял в одного человека на двадцать шагов и промахнулся. А мой чудак не держал в руке пистолета ни разу в жизни. Пощупайте! — сказал этот необыкновенный человек, расстегивая жилет и обнажая грудь, мохнатую, как спина медведя, поросшую какой-то противной буро-рыжей шерстью; потом вложил палец Растиньяка в ямку на своей груди, добавив: — Это тот самый молокосос подпалил мне мех, но тогда я был младенцем ваших лет, двадцати одного года. Я еще верил кое во что, в женскую любовь, в кучу глупостей, во что и вам предстоит влипнуть. Могло случиться, что мы бы с вами подрались, не так ли?! Возможно, что вы убили бы меня. Допустим, я лежу в могиле, а куда деваться вам? Пришлось бы удирать в Швейцарию, проедать папенькины деньги, а их нет. Я освещу вам ваше положение и сделаю это с высоты своего превосходства, потому что я разобрался в земных делах и вижу в жизни только два пути: тупое повиновение или бунт. Я лично не подчиняюсь ничему, ясно? А знаете ли вы, что нужно вам при вашем теперешнем размахе? Миллион — и очень спешно, а без него мы с нашей головушкой можем совершить прогулку до сетей в Сен-Клу, чтобы убедиться, есть ли высшее существо. Этот миллион я

дам вам.— Вотрен сделал паузу, глядя на Эжена.— Ага! Вы смотрите уже приветливее на милого дядюшку Вотрена. Услыхав слово «миллион», вы стали похожи на молодую девушку, которой сказали: «сегодня вечером»,— и она прихорашивается, облизываясь, как кот на молоко. Очень хорошо. Значит, пошли? Рука об руку! Вот вам, юноша, ваше наличие. Там, в провинции, у нас есть папа, мама, старая тетя, две сестры (восемнадцати и семнадцати лет), двое братишек (пятнадцати и десяти лет) — таков список всей команды. Тетка воспитывает сестер. Кюре дает уроки латыни обоим братьям. Семья питается не столько белым хлебом, сколько похлебкой из каштанов, папаша бережет свои штаны, мамаша имеет от силы одно платье для зимы и одно для лета, а сестры ходят в чем придется. Я знаю все, я был на юге. Так обстоит дело и у вас; если вам высылают тысячу двести франков в год, значит, землишка ваша дает не более трех тысяч. У нас есть кухарка, есть слуга,— надо же соблюсти внешнюю пристойность: папаша, как-никак, барон. А что касается нас лично, то у нас есть честолюбие, есть родственники Босеаны, а ходим мы пешком, жаждем богатства, а нет ни одного су, едим стряпню маменьки Воке, а любим роскошные обеды в Сен-Жерменском предместье, спим на дрянной койке, а желаем приобрести особняк! Ваших стремлений я не порицаю. Иметь честолюбие, дружочек мой, дано не каждому. Спросите женщин, каких мужчин они предпочитают,— честолюбцев. У честолюбцев хребет крепче, кровь богаче железом, сердце горячее, чем у других мужчин. А женщина в расцвете своих сил чувствует себя счастливой, красивой и оттого предпочитает всем мужчину огромной силы, не страшась того, что он ее сломает. Я перечислил ваши пожелания, чтобы вам задать один вопрос. Вопрос такой: у нас аппетит волчий, зубки острые, что же делать, как нам добыть провизии в котел? Прежде всего нам нужно проглотить «Свод законов»; это невесело и ничему не учит, а надо. Пусть так; мы делаемся членом суда, а затем председателем уголовного суда, и тогда мы выжигаем С. К.[1] на плече несчастных, кото-

[1] Ссыльнокаторжный.

рые лучше нас, ссылаем их на каторгу, доказывая богачам, что они могут спать спокойно. Все это не забавно, да и канительно. Сперва маячить года два в Париже, только поглядывать на вкусненькие вещи, отнюдь не трогая, хотя мы их и очень любим. Всегда желать и никогда не исполнять своих желаний — дело утомительное. Будь вы малокровны, с темпераментом моллюска, вам было бы нечего бояться; а то кровь у вас львиная, бурливая и вожделение такое, что хватит на двадцать глупостей за один день. Вы погибнете от этой пытки, самой ужасной, какая только есть в аду у бога. Допустим, что вы благоразумны, пьете молоко и сочиняете элегии; тогда после многих неприятностей и таких лишений, что и собака взбесится, вам с вашим благородством придется начинать товарищем какого-нибудь негодяя-прокурора в захолустном городишке, где правительство плеснет вам тысячу франков жалованья в год, а это все равно что плеснуть супа догу мясника. Лай на воров, защищай богатого, посылай на гильотину смелых духом! Премного обязан! Если у вас нет покровителей, вы так и сгниете в вашем провинциальном трибунале. К тридцати годам вы будете судьей на жалованье в тысячу двести франков, если, конечно, еще раньше не выкинете судейскую мантию ко всем чертям. Лет сорока вы женитесь на дочери какого-нибудь мельника и обеспечите себя доходом в шесть тысяч ливров. Вот спасибо! Имея покровителей, вы тридцати лет станете провинциальным прокурором с окладом в тысячу экю и женитесь на дочке мэра. Если вы пойдете на небольшие подлости в политике, вроде того, что на избирательном листке будете читать Виллель вместо Манюэль (фамилии их рифмуются, стало быть, совесть может быть покойна), тогда вы в сорок лет будете генерал-прокурором и можете стать депутатом. Заметьте, милое дитя, что в нашей совести мы понаделали прорех, что пережили двадцать лет всяких огорчений, терпели тайную нужду, а наши сестры превратились в старых дев. Имею честь еще заметить, что на всю Францию только двадцать генерал-прокуроров, а жаждущих попасть на это место двадцать тысяч, и среди них встречаются мазурики, готовые продать свою семью, чтобы подняться на одну зарубку. Если такое ремесло вам не

по вкусу, посмотрим на другое. Не хочет ли барон де Растиньяк стать адвокатом? О! Замечательно! Надо томиться десять лет, тратить тысячу франков в месяц, иметь библиотеку, приемную, бывать в свете, трепать языком, прикладываться к мантии какого-нибудь стряпчего, чтобы иметь дела. Если такое ремесло подходит вам, то я не возражаю; но вы найдите мне во всем Париже пять адвокатов пятидесяти лет от роду с заработком больше пятидесяти тысяч в год. Брр! Я предпочел бы сделаться пиратом, чем так поганить свою душу. А помимо всего прочего, откуда взять на это денег? Все это не забавно. У нас есть одна возможность — приданое жены. Не хотите ли жениться? Для вас это все равно, что повесить себе на шею камень; кроме того, если вы женитесь на деньгах, где же наше чувство чести, наше благородное происхождение? Лучше сегодня же поднять вам бунт против условностей людской морали. Жениться по расчету — значит пресмыкаться перед женой, лизать пятки у ее мамаши, совершать такие мерзости, что и свинье противно, тьфу! Еще куда ни шло, если бы вы нашли счастье. Но в таком браке вы будете чувствовать себя трубой для стока нечистот. Лучше воевать с мужчинами, чем бороться с собственной женой. Вы, юноша, на перекрестке жизни, выбирайте! Вы уже выбрали: вы побывали у вашей кузины де Босеан — на вас пахнуло роскошью; вы побывали у дочки папаши Горио, графини де Ресто,— на вас пахнуло парижанкой. В тот день, когда вы от нее пришли домой, у вас на лбу было написано одно словцо, и я легко прочел его: *пробиться!* Пробиться во что бы то ни стало! Право, сказал я, такой молодчик как раз по мне. Вам нужны были деньги. Откуда их достать? Вы высосали кровь из своих сестер. Все братья, больше или меньше, обирают своих сестер. Бог весть, как удалось вам выцарапать тысячу пятьсот франков из такой провинции, где каштанов гораздо больше, чем золотых монет, но эти деньги разбредутся, как солдаты-мародеры. Тогда что делать? Может быть, вы собираетесь работать? Но работа, как вы понимаете ее сейчас, дает к старости комнату у маменьки Воке людям такого сорта, как Пуаре. Сейчас пятьдесят тысяч молодых людей в вашем положении

стремятся разрешить проблему быстрого обогащения, и среди них вы только единица. Судите сами, что вам предстоит: сколько усилий, какой жестокий бой! Пятидесяти тысяч доходных мест не существует, и вам придется пожирать друг друга, как паукам, посаженным в банку. Известно ли вам, как здесь прокладывают себе дорогу? Блеском гения или искусством подкупать. В эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникнуть как чума. Честностью нельзя достигнуть ничего. Перед силой гения склоняются и его же ненавидят, стараются оклеветать за то, что гений берет все без раздела, но, пока он стоит твердо, преклоняются, короче говоря, его боготворят, став на колена, когда не могут втоптать в грязь. Продажность — всюду, талант — редкость. Поэтому продажность стала оружием посредственности, заполонившей все, и острие ее оружия вы ощутите всюду. Вы увидите, что жены тратят больше десяти тысяч франков на наряды, в то время когда мужья их получают шесть тысяч на все про все. Вы увидите, как чиновники с окладом в тысячу двести франков покупают земли. Вы увидите, как женщины продают себя за прогулки в карете сына пэра Франции, потому что в ней можно разъезжать по среднему шоссе в Лоншане. Вы уже видели, как простофиля папаша Горио был вынужден платить по векселю, подписанному дочкой, хотя у ее мужа пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Бьюсь об заклад: стоит вам сделать два шага в Париже, и вы сейчас же натолкнетесь на дьявольские махинации. Ставлю свою голову против этой кочерыжки от салата, что у первой женщины, которая вам понравится, вы угодите в осиное гнездо, если она молода, красива и богата. Они все не в ладах с законом и по любому поводу в войне с мужьями. Мне никогда не кончить, если я вздумаю излагать вам, какие сделки заключают ради тряпок, любовников, детей, ради домашних нужд или из тщеславия, но будьте уверены: редко — по добрым побуждениям. Вот почему честный человек — всем враг. Но что такое, по-вашему, честный человек? В Париже честный человек — тот, кто действует молчком и не делится ни с кем. Я оставляю в стороне жалких илотов, которые повсюду тянут лямку, никогда не получая награды за свои тру-

ды; я называю их братством божьих дурачков. Там добродетель во всем расцвете своей глупости, но там же и нужда. Я отсюда вижу, какая рожа будет у этих праведных людей, если бог сыграет с ними злую шутку и не явится на Страшный суд. Итак, раз вы хотите быстро составить состояние, необходимо или уже быть богатым, или казаться им. Чтобы разбогатеть, надо вести игру большими кушами, а будешь прижимистым в игре — пиши пропало. Когда среди ста доступных вам профессий десять человек достигли быстрого успеха, публика сейчас же обзывает их ворами. Сделайте отсюда вывод. Вот жизнь как она есть. Все это не лучше кухни: вони столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай руки, только потом умей хорошо смыть грязь — в этом вся мораль нашей эпохи. Если я так смотрю на человеческое общество, то мне дано на это право, я знаю общество. Вы думаете, что я его браню? Нисколько. Оно всегда было таким. И моралистам никогда его не изменить. Человек далек от совершенства. Он лицемерен иной раз больше, иной раз меньше, а дураки болтают, что один нравствен, а другой нет. Я не осуждаю богачей, выхваляя простой народ: человек везде один и тот же — что наверху, что в середине, что внизу. На каждый миллион людского стада найдется десяток молодцов, которые ставят себя выше всего, даже законов; таков и я. Если вы человек высшего порядка, идите к цели прямо, смело. Но вам придется выдержать борьбу с посредственностью, завистью и клеветой, идти против всего общества. Наполеон столкнулся с военным министром по имени Обри, который чуть не сослал его в колонии. Проверьте самого себя! Ежедневно, встав утром, наблюдайте, стала ли ваша воля крепче, чем накануне. Принимая все это во внимание, я предложу вам такое дело, что от него едва ли кто откажется. Слушайте внимательно! Изволите ли видеть, у меня есть некий план. Я задумал пожить патриархальной жизнью в большом имении, так тысяч сто арпанов, на юге Соединенных Штатов. Я хочу сделаться плантатором, иметь рабов и нажить несколько миллиончиков от продажи табака, волов и леса; хочу стать владетельной особой, делать что вздумается и вести жизнь, непонятную здесь, где человек ютится в

оштукатуренной норе. Я большой поэт. Но стихов я не пишу: моя поэзия в действиях и чувствах. У меня есть пятьдесят тысяч франков, но их мне хватит от силы на сорок негров, а чтобы удовлетворить стремлениям к патриархальной жизни, мне нужно двести негров, для этого понадобятся двести тысяч франков. Почему негров? Дело в том, что негры — это взрослые ребята, с ними можно проделывать все что угодно, и ни один любознательный прокурор не потянет вас к ответу. Владея этим черным капиталом, я через десять лет буду иметь три — четыре миллиона. Когда же я разбогатею, меня не спросят: «Кто ты такой?» Я буду господин Четыре Миллиона, гражданин Соединенных Штатов. Мне будет пятьдесят лет, я еще не превращусь в труху и потешусь, как мне любо. Короче говоря, если я добуду вам миллион приданого, дадите вы мне двести тысяч? Двадцать процентов за комиссию, а? Разве это много? Вы влюбите в себя свою невесту; женившись, вы сделаете вид, будто у вас какие-то заботы, что вас терзает совесть, недели две вы будете печальны. И вот однажды ночью, немного поломавшись, вы между поцелуями объявите жене, что у вас двести тысяч долга, сказав при этом: «моя любимая». Этот водевиль разыгрывают ежедневно отборнейшие молодые люди. Молодая женщина отдаст без колебаний свой кошелек тому, кто уже похитил у нее сердце. Может быть, вам кажется, что вы потерпите убыток? Нет. Вы найдете способ покрыть все двести тысяч, обделав какое-нибудь дело. При ваших деньгах и уме вы создадите себе такое состояние, какое только захотите. Ergo [1], в полгода вы обеспечите собственное счастье, счастье вашей дорогой женушки и счастье вашего Вотрена, не говоря о счастье вашего семейства, которое зимою греет дыханием себе пальцы за неимением дров. Не удивляйтесь ни моему предложению, ни моим условиям! В Париже из шестидесяти богатых браков сорок семь основаны на сделках такого рода. Нотариальная палата заставила господина...

— Что я должен сделать? — жадно спросил Растиньяк, прервав Вотрена.

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

— Почти что ничего,— ответил этот человек, и на лице его мелькнуло выражение, похожее на затаенную радость рыбака, почуявшего, что рыба клюнула.— Выслушайте меня внимательно! Сердце жалкой, несчастной, бедной девушки — губка, готовая жадно впитать в себя любовь и до такой степени сухая, что разбухает, как только на нее упала капля чувства. Приволокнуться за девушкой, когда она бедна, в отчаянии, одинока и не подозревает, что ее ждет богатство! Черт подери! Это иметь на руках все козыри, знать в лотерее выигрышные номера, играть на курсе ренты, получая все сведения заранее. Вы сразу утвердите на крепких сваях нерушимый брак. Если такая девушка получит миллионы, она их высыплет к вашим ногам, словно это щебень. «Бери, любимый! Бери, Адольф, Альфред или Эжен!»— скажет она, если у Адольфа, Альфреда или Эжена хватит ума принести ей какую-нибудь жертву. Под жертвой я разумею продажу поношенного фрака, чтобы пойти совместно в «Синий циферблат», поесть крутонов с шампиньонами, а оттуда вечером в театр «Амбигю-Комик»; можно заложить часы и подарить ей шаль. Я уже не говорю о всякой любовной писанине и тому подобной чепухе, на что так падки женщины, как, например: находясь в разлуке с милой, спрыснуть водой почтовую бумагу, изображая слезы; впрочем, сдается мне, язык сердец знаком вам хорошо. Париж, изволите ли видеть, вроде девственного леса Северной Америки, где бродят двадцать племен различных дикарей, гуронов, иллинойцев, промышляя охотой в общественных угодьях. Вы, например, охотитесь за миллионами; чтобы добыть их, вы пользуетесь капканами, ловушками, манкàми. Охота имеет свои отрасли. Один охотится за приданым, другой за ликвидацией чужого предприятия; первый улавливает души, второй торгует своими доверителями, связав их по рукам и по ногам. Кто возвращается с набитым ягдташем, тому привет, почет, тот принят в лучшем обществе. Надо отдать справедливость этой гостеприимной местности: вы имеете дело с городом, самым терпимым во всем мире. В то время как гордые аристократы других столиц Европы не допускают в свою среду миллионера-подлеца, Париж

раскрывает ему свои объятия, бегает на его пиры, ест его обеды и чокается с его подлостью.

— Но где найти такую девушку?

— Она рядом с вами, она — ваша!

— Мадемуазель Викторина?

— Правильно.

— Каким образом?

— Будущая баронессочка де Растиньяк уже влюблена в вас.

— У ней ничего нет,— удивленно возразил Эжен.

— Ага! Вот мы и дошли до дела. Еще два слова — все станет ясно,— сказал Вотрен.— Тайфер-отец — старый негодяй: подозревают, что он убил одного своего друга во время революции. Это молодчик моего толка и независим в своих мнениях. Он банкир, главный пайщик банкирского дома «Фредерик Тайфер и компания». Все состояние он хочет оставить своему единственному сыну, обездолив Викторину. Подобная несправедливость мне не по душе. Я вроде Дон-Кихота: предпочитаю защищать слабого от сильного. Если бы господь соизволил отобрать сына у банкира, Тайфер взял бы обратно дочь к себе; ему хочется иметь наследника — эта глупость свойственна самой природе, а народить еще детей он уже не в состоянии, я это знаю. Викторина кротка, мила, быстро его окрутит, превратит в кубарь и будет им вертеть, подстегивая отцовским чувством! Она будет глубоко тронута вашей любовью, не забудет вас и выйдет за вас замуж. Я же беру себе роль провидения и выполню господню волю. У меня есть друг, обязанный мне очень многим, полковник Луарской армии, только что вступивший в королевскую гвардию. Полковник следует моим советам и стал ярым роялистом; он не дурак и поэтому не дорожит своими убеждениями. Могу подать, мой ангел, еще один совет: бросьте считаться с вашими убеждениями и вашими словами. Продавайте их, если на это будет спрос. Когда человек хвастается, что никогда не изменит своих убеждений, он обязуется идти все время по прямой линии,— это болван, уверенный в своей непогрешимости. Принципов нет, а есть события; законов нет — есть обстоятельства; человек высокого полета сам применяется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими.

Будь принципы и законы непреложны, народы не сменяли бы их, как мы — рубашку. Отдельная личность не обязана быть мудрее целой нации. Человек с ничтожными заслугами перед Францией почитается теперь, как некий фетиш, только потому, что за все хватался с большим жаром, а самое большее, на что он годен, это стоять среди машин в Промышленном музее с этикеткой *Лафайет*, и в то же время каждый швыряет камень в князя, который презирает человечество так глубоко, что плюет ему в лицо столько клятв, сколько оно требует, но князь во время Венского конгресса не допустил раздела Франции; его должны бы забросать венками, а вместо этого забрасывают грязью. О, я-то знаю положение вещей! Тайны многих людей в моих руках! Ну, будет! Я лишь тогда усвою какое-нибудь незыблемое убеждение, когда найду три головы, согласных в применении какого-нибудь принципа, а ждать этого придется мне долгонько! Во всех судах нельзя найти трех судей, которые держались бы одного мнения об одном и том же параграфе закона. Возвращаюсь к моему приятелю. Стоит мне только попросить его, он снова пригвоздит Христа к кресту. Достаточно одного слова дяденьки Вотрена, и он вызовет на ссору этого плута, который ни разу не послал бедняжке своей сестре хотя бы пяти франков, и...

Тут Вотрен поднялся, встал в позицию и сделал выпад.

— И в преисподнюю! — добавил он.

— Какой ужас! — сказал Эжен.— Вы шутите, господин Вотрен.

— Ля-ля-ля, спокойно! — ответил этот человек.— Не прикидывайтесь ребенком... Впрочем, если вам это нравится, возмущайтесь, негодуйте! Говорите, что я мерзавец, преступник, негодяй, бандит, только не называйте ни шпионом, ни мошенником! Ну же, говорите, стреляйте залпом! Прощаю вам: в ваши годы это так естественно. Я был и сам таким же! Только поразмыслите. Когда-нибудь вы поступите гораздо хуже. Вы приволокнетесь за хорошенькой женщиной и будете брать от нее деньги. Вы уже думали об этом,— сказал Вотрен,— да и как вам выдвинуться, если не спекулировать своей любовью? Добродетель, милый мой сту-

дент, не делится на части; или она есть, или ее нет. Нам предлагают церковное покаяние в своих грехах. Вот тоже система хоть куда! Благодаря ей можно очиститься от преступления, выразив свое сокрушение о нем! Обольстить женщину, чтобы взобраться на ту или другую ступеньку социальной лестницы, посеять раздор в семье между детьми, словом, пойти на все мерзости, какие совершают шито-крыто, но так или иначе в целях личной выгоды иль наслаждения. Что это, по-вашему? Деяния во имя веры, надежды и любви? Когда денди за одну ночь отнимет у детей половину их состояния, ему дают два месяца тюрьмы, а почему же бедняка за то, что он украл тысячефранковую бумажку при «отягчающих вину обстоятельствах», шлют на каторгу? Вот вам законы. Нет в них ни одного параграфа, который не упирался бы в нелепость. Человек в модных перчатках и с ложью в сердце совершил убийство, не проливая крови, а действуя обманом; убийца открыл дверь отмычкой — то и другое ночные преступления. Между тем, что предлагаю вам я, и тем, что сделаете вы, нет разницы, за исключением пролитой крови. А вы верите во что-то незыблемое в этом мире! Так презирайте же людей и находите в сетях Свода законов те ячейки, где можно проскользнуть. Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто потому, что чисто сделано.

— Замолчите, я не желаю больше слушать, вы доведете меня до того, что я перестану верить самому себе. Сейчас я знаю только то, что чувствую.

— Как вам угодно, прекрасное дитя. Я думал, вы покрепче. Больше не скажу вам ничего. Впрочем, последнее слово.— Он посмотрел на студента в упор и сказал:— Вам известна моя тайна.

— Молодой человек, отказываясь от ваших услуг, сумеет забыть ее.

— Хорошо сказано, мне нравится. Не всякий будет настолько щепетилен. О том, что я хочу сделать для вас, не забывайте. Даю вам две недели сроку. Да или нет — на ваше усмотрение.

«Что за железная логика у этого человека! — сказал себе Растиньяк, глядя, как спокойно удаляется Вотрен, держа под мышкой палку.— Он грубо, напрямик ска-

зал мне то же самое, что говорила в приличной форме госпожа де Босеан. Стальными когтями он раздирал мне сердце. Зачем стараюсь я попасть к Дельфине Нусинген? Он разгадал мои внутренние побуждения, едва они успели зародиться. Этот разбойник в двух словах поведал мне о добродетели гораздо больше, чем я узнал из книг и от людей. Если добродетель не терпит сделок с совестью, значит, я обокрал своих сестер?» — сказал он, швырнув мешок на стол.

Он сел и погрузился в головокружительные размышления.

«Быть верным добродетели — это возвышенное мученичество! Да! Все верят в добродетель, а кто же добродетелен? Народы сделали свободу своим кумиром, а где же на земле народ свободный? Моя юность еще чиста, как безоблачное небо, но ты хочешь стать большим человеком или богачом, а разве не значит это идти сознательно на то, чтобы лгать, сгибаться, ползать, снова выпрямляться, льстить и притворяться? Разве это не значит добровольно стать лакеем у тех, кто сам сгибался, ползал, лгал? Прежде чем сделаться их сообщником, надо подслуживаться к ним. О, нет! Я хочу трудиться благородно, свято. Я готов работать день и ночь, но быть обязанным богатством только своему труду. Это самый долгий путь к богатству, зато каждый вечер голова моя будет спокойно опускаться на подушку, не отягченная ни единым дурным помыслом. Что может быть прекраснее — смотреть на свою жизнь и видеть ее чистой, как лилия? Я и моя жизнь — это жених и невеста. Да, но Вотрен мне показал, что происходит после десяти лет семейной жизни. Черт возьми! Голова идет кругом. Не хочу думать ни о чем: верный вожатый — это сердце».

Его раздумье нарушил голос толстухи Сильвии, доложившей о прибытии портного. Растиньяк явился перед ним, держа в руках два мешка с деньгами, и не досадовал на это обстоятельство. Примерив свои фраки, предназначенные для вечеров, он облачился в новый дневной костюм, преобразивший его с головы до ног.

«Я не уступлю графу де Трай,— сказал он сам себе.— Наконец-то я приобрел дворянский вид!»

— Господин Эжен,— обратился к нему папаша Го-

рио, входя в комнату,— вы спрашивали меня, не знаю ли я, в каких домах бывает госпожа де Нусинген.

— Да!

— Так вот, в следующий понедельник она едет на бал к маршалу Карильяно. Если у вас есть возможность попасть туда, вы мне расскажете, как веселились мои дочки, как были одеты, ну, словом, все.

— Откуда вы знаете об этом, дорогой папаша Горио? — спросил Эжен, усаживая его у камина.

— А мне сказала ее горничная. От Констанцы и Терезы я знаю все, что дочки мои делают,— весело ответил Горио.

Старик напоминал еще очень юного любовника, счастливого уже тем, что он придумал ловкий способ войти в жизнь своей возлюбленной, не вызывая у нее даже подозрений.— Вы-то их увидите! — добавил он, наивно выражая горестную зависть.

— Не знаю,— отвечал ему Эжен.— Я сейчас пойду к госпоже де Босеан, чтобы спросить ее, не может ли она представить меня супруге маршала.

С какой-то внутренней отрадой Эжен мечтал явиться к виконтессе одетым так, как отныне будет одеваться он всегда. То, что у моралистов зовется «безднами человеческого сердца»,— на самом деле только обманчивые мысли, непроизвольные стремления личной выгоды. Все эти превратности души,— тема для стольких высокопарных рассуждений,— все эти неожиданные извороты имеют одну цель: достигнуть больше наслаждений. Увидав себя хорошо одетым, в модных перчатках и красивых сапогах, Эжен забыл о добродетельной решимости. Оборачиваясь спиною к истине, юность не решается взглянуть на себя в зеркало совести, тогда как зрелый возраст в него уже смотрелся; вот и вся разница между двумя этапами жизни человека.

Оба соседа, Эжен и папаша Горио, за несколько последних дней сделались друзьями. Их тайная приязнь имела те же психологические основания, какие привели студента к противоположным чувствам по отношению к Вотрену. Если смелый философ задумает установить воздействие наших чувств на мир физический, то он найдет, конечно, немало доказательств действию вещественной их силы в отношениях между животными и

нами. Какой физиономист способен разгадать характер человека так же быстро, как это делает собака, сразу чувствуя при виде незнакомца, друг он ей или не друг? Выражение *цепкие атомы*, ставшее ходячим, вроде поговорки, представляет собой одно из тех явлений языка, что продолжают жить в разговорной речи, опровергая этим философические бредни личностей, желающих отвеять, как мякину, все старые слова. Любовь передается. Чувство кладет на все свою печать, оно летит через пространства. Письмо — это сама душа, эхо того, кто говорит, настолько точное, что люди тонкой души относят письма к самым ценным сокровищам любви. Бессознательное чувство папаши Горио достигало высшей степени собачьей чуткости, и он почуял удивительную доброту, юношескую симпатию, сочувствие к нему, возникшие в душе студента. И все-таки их нарождавшаяся близость еще не приводила к откровенности. Хотя Эжен и выразил желание увидеть г-жу де Нусинген, он не рассчитывал попасть к ней в дом через посредство старика, а лишь надеялся на то, что Горио может ей проболтаться и этим оказать ему услугу. Папаша Горио беседовал с ним о дочерях, не выходя из рамок того, что высказал о них Эжен при всех, когда вернулся после двух своих визитов. На следующий день Горио сказал ему:

— Дорогой мой, как это вы могли подумать, будто госпожа де Ресто прогневалась на вас за то, что вы упомянули мое имя? Обе дочки очень меня любят. Как отец я счастлив. А вот два зятя повели себя со мною худо. Я не хотел, чтобы дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с мужьями, и предпочел навещать дочек потихоньку. Эта таинственность дает мне много радостей, их не понять другим отцам, тем, кто может видаться со своими дочерьми в любое время. Но мне этого нельзя, вы понимаете? Поэтому, когда бывает хорошая погода, я хожу в Елисейские поля, заранее спросив у горничных, собираются ли мои дочки выезжать. И вот я жду их на том месте, где они проедут, а когда их кареты поравняются со мной, у меня сильнее бьется сердце; я любуюсь туалетом своих дочек; проезжая мимо, они приветствуют меня улыбочкой, и тогда мне кажется, что вся природа золотится, точно

залитая лучами какого-то ясного-ясного солнца. Я остаюсь ждать — они должны вернуться. И я их вижу еще раз! Воздух им на пользу — они порозовели. Вокруг себя я слышу разговоры: «Какая красавица!» А у меня душа ликует. Разве они не моя кровь! Я люблю тех лошадей, которые их возят, мне бы хотелось быть той маленькой собачкой, которую дочки мои держат на коленях. Я живу их удовольствиями. Каждый любит по-своему. Кому вредит моя любовь? Почему люди пристают ко мне? Я счастлив по-своему. Что же тут преступного, ежели я вечером иду взглянуть на моих дочек, когда они выходят из дому, отправляясь куда-нибудь на бал. Как мне бывает грустно, если я опоздаю и мне скажут: «Барыня уехала». Однажды я не видал Нази целых два дня, так я прождал с вечера до трех часов утра, чтобы ее увидеть. От радости я чуть не умер! Прошу вас, если разговор у вас зайдет обо мне, говорите только, какие мои дочки добрые. Они готовы засыпать меня всякими подарками, но я не допускаю этого и говорю им: «Берегите ваши деньги для себя! Что мне в подарках? Мне ничего не нужно». Да и на самом деле, что я такое? Жалкий труп, а душа моя всегда и всюду там, где мои дочки. Если вам удастся повидать госпожу де Нусинген, скажите мне, которая из них понравится вам больше,— добавил после паузы старичок, заметив, что Эжен собрался уходить: студент шел погулять по Тюильри до того часа, когда он мог явиться к г-же де Босеан.

Эта прогулка решила участь Растиньяка. Несколько женщин обратили на него внимание. Он был так молод, так красив, в его нарядности так много вкуса! Заметив, что на него смотрят, чуть не любуясь, он позабыл обобранных сестер и тетку, забыл о добродетельной своей брезгливости. Он видел, как у него над головой пронесся демон, которого легко принять за ангела, тот сатана на пестрых крыльях, что сыплет рубинами, вонзает золотые стрелы во фронтоны на дворцах, наряжает женщин в багряницу и облекает глупым блеском троны, первоначально очень скромные; он уже внял богу трескучего тщеславия с его сверкающими побрякушками, которые мы принимаем за символы могущества. Речь Вотрена при всем своем цинизме запала

ему в душу, как в память девушки врезается гнусный профиль сводни, говорящей: «Любви и золота по горло!»

Беспечно побродив, Эжен явился около пяти часов к г-же де Босеан, и здесь он получил удар, один из самых страшных, против которых юные сердца оказываются беззащитны. До сих пор он находил у виконтессы учтивую приветливость, радушную любезность — то, что приобретается благодаря аристократическому воспитанию, но достигает совершенства лишь тогда, когда идет от сердца. При появлении Эжена г-жа де Босеан сухо кивнула головой и жестко заявила:

— Господин де Растиньяк, я не имею возможности принять вас, по крайней мере в данную минуту! Я очень занята...

Для человека наблюдательного, каким стал очень быстро Растиньяк, ее слова, кивок, взгляд, перемена тона — все было повестью о нравах и характере определенной касты. Он увидал под бархатной перчаткой стальную руку, под благородными манерами—культ своей личности и эгоизм, под лаком — дерево. Он наконец постиг, что значит понятие: «Мы, король»,— которое берет начало под плюмажем трона, а концом уходит под навершье шлема на самом захудалом дворянине. Эжен слишком легко уверовал в благородные чувства женщины, полагаясь на ее слова. Подобно всем обездоленным, он честно подписал желанный договор, который свяжет благодетеля с благотворимым и в первом пункте свято утверждает между людьми большой души их полное равенство. Когда благодеяние связует воедино два существа, оно является небесным чувством, таким же редким и неоцененным, как настоящая любовь. То и другое чувство — роскошные дары возвышенной души.

Чтобы попасть на бал у герцогини Карильяно, Растиньяк снес эту выходку и с дрожью в голосе ответил:

— Мадам, если бы не важное дело, я не пришел бы докучать вам. Будьте так добры и разрешите мне зайти к вам позже, я могу и подождать.

— Хорошо, приходите ко мне обедать,— ответила она, несколько смутившись сама той резкостью, которую позволила себе в своих словах; эта женщина была по-настоящему добра и благородна.

Эжен был тронут внезапной переменой, но все же, уходя, подумал: «Пресмыкайся, сноси все. Если лучшая из женщин способна вычеркнуть обеты дружбы в один миг и отшвырнуть тебя, как старые ботинки, чего же ждать от остальных? Так, значит, каждый за себя? Правда, она не виновата, что я нуждаюсь в ней, и дом ее не лавочка. Надо, как говорит Вотрен, стать пушечным ядром».

Но предвкушение удовольствия обедать у г-жи де Босеан быстро разогнало горькие думы Растиньяка. Так, в силу какого-то предопределения, малейшие события его жизни, точно сговорясь, толкали его на тот путь, где, по наблюдениям страшного сфинкса из пансиона Воке, ему придется, как на поле битвы, убивать, чтобы не быть убитым, обманывать, чтобы его не обманули; где придется оставить у заставы совесть, сердце, надеть маску, без жалости играть людьми и, как в Лакедемоне, незримо для сторонних глаз готовиться к успеху, чтобы заслужить венок.

Вернувшись к виконтессе, Эжен нашел ее такой же ласковой и доброй, какой она всегда бывала с ним. Они вдвоем направились в столовую, где виконт де Босеан ожидал свою жену. Вся сервировка блистала роскошью, как известно, достигшей в эпоху Реставрации своего предела. Для виконта, как и для многих пресыщенных людей, уже не существовало иного рода наслаждений, кроме хорошего стола. В области гурманства он принадлежал к школе Людовика XVIII и герцога Эскара. Стол у него являл двойную роскошь — для вкуса и для глаз. Такое зрелище еще ни разу не открывалось перед изумленным взором Растиньяка: впервые он обедал в доме, где блеск общественного положения передавался по наследству. Мода недавно отменила ужины по окончании балов, обычные во времена Империи, когда военным нужно было набираться сил для будущих боев — и на чужбине и на родине. До этого обеда Эжен бывал лишь на балах. Впоследствии он славился своей самоуверенностью, но приобретать ее он начинал уже теперь и благодаря ей не растерялся. Но когда человек пылкого воображения видит расчеканенное серебро и множество изысканных вещей на пышно убранном столе, впервые любуется бесшумными дви-

жениями прислуги, ему, конечно, весьма трудно такой красивой жизни предпочесть жизнь, полную лишений, хотя бы он и собирался избрать ее еще сегодня утром. Мысль Эжена на одно мгновение перенесла его обратно в семейный пансион,— им овладел такой глубокий ужас, что он дал клятву расстаться с пансионом в январе, устроиться в хорошем доме, а кстати избавиться и от присутствия Вотрена и от ощущения его тяжеловесной длани на своем плече. Если себе представить, сколько всяких форм скрытого или вопиющего разврата заключено в Париже, то человеку здравомыслящему придется задать себе вопрос: в силу какого заблуждения государство открывает в Париже школы и собирает в них молодежь, отчего в нем пользуются неприкосновенностью хорошенькие женщины, почему золото, выставленное в деревянных чашах у менял, не исчезает, как по волшебству, из этих чаш? Но когда подумаешь, насколько малочисленны примеры злодеяний, даже проступков молодежи, невольно проникаешься великим уважением к тем терпеливым Танталам, которые ведут борьбу с самим собой и почти всегда выходят победителями! Взять хотя бы этого бедного студента и описать по-настоящему его борьбу с Парижем,— получился бы один из самых драматичных эпизодов в нашей современной цивилизации.

Г-жа де Босеан тщетно посматривала на Эжена, побуждая его высказаться, но ему не хотелось говорить в присутствии виконта.

— Вы проводите меня сегодня к итальянцам? — спросила виконтесса мужа.

— У вас, конечно, не может быть сомнений в том, что мне доставило бы удовольствие вам повиноваться,— ответил он с иронической любезностью, обманувшей Растиньяка,— но я должен кое с кем встретиться в театре «Варьете».

«Со своей любовницей»,— подумала г-жа де Босеан.

— Разве д'Ажуда не будет у вас сегодня вечером?— спросил виконт.

— Нет,— ответила она с неудовольствием.

— В таком случае, если вам непременно нужен кавалер, возьмите с собой господина де Растиньяка.

Виконтесса, улыбаясь, взглянула на Эжена.

— Это вам очень повредит,— заметила она.

— «Француз любит опасность, ибо в ней он обретает славу», сказал Шатобриан,— ответил Растиньяк, склоняя голову.

Несколько минут спустя двухместная карета мчала его с г-жой де Босеан в модный театр. Когда он вошел в ложу против сцены и все лорнетки избрали своей целью не только виконтессу, одетую в прелестный туалет, но также и его,— все показалось Растиньяку какой-то феерией. Одно очарование следовало за другим.

— Вы хотели поговорить со мной,— напомнила ему г-жа де Босеан.— Смотрите, вон госпожа де Нусинген — от нас через три ложи. А по другую сторону от нас — ее сестра с господином де Трай.

С этими словами виконтесса посмотрела на ложу, занятую мадемуазель Рошфид, и лицо ее сразу просияло: д'Ажуда там не было.

— Она прелестна,— заметил Эжен, посмотрев на г-жу де Нусинген.

— У нее светлые ресницы.

— Зато какой красивый тонкий стан!

— Но большие руки.

— Замечательные глаза.

— Чересчур удлиненное лицо.

— Продолговатая форма — признак породы.

— Ее счастье, что есть хотя такой. Посмотрите только, как она берет и как опускает свой лорнет! Во всех движениях сказывается Горио,— ответила виконтесса к великому удивлению Эжена.

Действительно, г-жа де Босеан разглядывала сквозь лорнетку театральный зал, как будто не обращая внимания на г-жу де Нусинген, но не теряла из виду ни одного ее жеста. Публика собралась прекрасная, как на подбор. Дельфине Нусинген немало льстило исключительное внимание красивого, изящного кузена г-жи де Босеан, который смотрел только на нее...

— Если вы будете глядеть на нее, не сводя глаз, то это будет явным неприличием. Напрашиваясь к людям, вы не добьетесь ничего.

— Дорогая кузина,— обратился к ней Эжен,— вы уже оказали мне благое покровительство; если вы намерены довести ваше доброе дело до конца, я попросил

бы вас лишь об одной услуге: для вас она не представит затруднений, меня же осчастливит. Я влюблен.

— Уже?

— Да.

— И в эту женщину?

— Разве мои притязания могли бы найти отклик в другом месте? — спросил он, глядя пытливым взором на кузину, и, сделав паузу, продолжал:— Герцогиня де Карильяно близка с герцогиней Беррийской, и, наверно, вы с ней видитесь, так будьте добры, представьте меня ей и возьмите меня с собой на ее бал в ближайший понедельник. Там я встречусь с госпожой де Нусинген и поведу свою первую атаку.

— Охотно,— ответила она.— Если вы уже чувствуете к ней влечение, то ваши сердечные дела идут отлично. Вон де Марсе, в ложе княгини Галатион. Для госпожи де Нусинген это пытка, ее мучит ревность. Нельзя придумать лучшего момента, чтобы подойти к женщине, в особенности к жене банкира. Все эти дамы с Шоссе д'Антен любят мстить.

— А как бы поступили вы в подобном случае?

— Я? Страдала бы молча.

В это время в ложе г-жи де Босеан появился маркиз д'Ажуда.

— Я наспех разделался с делами, чтобы снова увидеть вас, и мой поступок не жертва, поэтому я и докладываю вам о нем.

Сияющая радость на лице у виконтессы показала Эжену разницу между выражением истинной любви и ужимками парижского кокетства. Любуясь своей кузиной, он умолк и со вздохом уступил место маркизу д'Ажуда. «Какое благородное, какое высокое создание представляет собой женщина, способная так любить! — говорил себе Эжен.— А этот человек изменит ей ради какой-то куклы! Как можно изменять ей?» Детская ярость поднялась в его душе. Ему хотелось припасть к ногам своей кузины, и он мечтал о демоническом могуществе, чтоб унести ее в своем сердце, как орел уносит из долины ввысь белую козочку-сосунка. Ему казалось унизительным присутствовать в этом огромном музее красоты, не выставив своей картины — собственной любовницы. «Любовница и общественное

положение вроде королевского — вот знамение могущества». И он взглянул на г-жу де Нусинген, как смотрит оскорбленный на своего обидчика. Виконтесса обернулась и одним движением век выразила ему глубокую благодарность за его скромность. Первый акт кончился.

— Вы достаточно хорошо знакомы с госпожой де Нусинген, чтобы представить ей де Растиньяка? — спросила она маркиза д'Ажуда.

— Видеть у себя в ложе господина де Растиньяка доставит ей большое удовольствие,— ответил маркиз.

Красивый португалец встал, взял под руку студента, и в один миг Эжен предстал перед г-жой де Нусинген.

— Баронесса,— обратился к ней д'Ажуда,— имею честь представить вам шевалье Эжена де Растиньяка, кузена виконтессы де Босеан. Вы так его обворожили, что я решил доставить ему всю полноту счастья, приблизив его к его кумиру.

Эти слова были сказаны в шутливом тоне, чтобы скрасить их грубоватый смысл, так как обычно он не вызывает неудовольствия у женщин, если прикрыт хорошей формой. Г-жа де Нусинген ответила улыбкой и предложила Растиньяку сесть в кресло ее мужа, только что покинувшего ложу.

— Я не решаюсь предложить вам остаться здесь со мной. Когда имеют счастье быть в обществе госпожи де Босеан, оттуда не уходят.

— Но если я хочу быть приятным моей кузине, то мне, пожалуй, будет лучше остаться с вами,— тихо ответил ей Эжен и уже громко добавил:— До прихода маркиза мы говорили с ней о вас, о вашем изяществе во всем.

Д'Ажуда откланялся и вышел.

— Вы действительно намерены остаться у меня? — спросила баронесса.— Тогда мы ближе познакомимся друг с другом. Госпожа де Ресто уже возбудила во мне большое желание вас видеть.

— В таком случае графиня очень неискренна,— она запретила принимать меня.

— Почему?

— Мне совестно рассказывать о том, что послужило этому причиной, но, поверяя вам такого рода тайну,

я рассчитываю на вашу снисходительность. Ваш батюшка и я — соседи по квартире. Но то, что графиня де Ресто — его дочь, мне было неизвестно. Я имел неосторожность, хотя и совершенно безобидно, заговорить о нем, чем прогневил вашу сестру и ее мужа. Вы не поверите, каким мещанством показалось их отступничество моей кузине и герцогине де Ланже. Я описал сцену со мной, и они безумно хохотали. Тогда же госпожа де Босеан, проводя параллель между вашей сестрой и вами, говорила мне о вас в самых теплых выражениях и подчеркнула ваше замечательное отношение к моему соседу, господину Горио. Да и как вам не любить его? Он обожает вас так страстно, что я уже начал ревновать. Сегодня утром мы с ним беседовали о вас целых два часа. А вечером, проникшись тем, что мне рассказывал ваш батюшка, я за обедом у кузины спрашивал ее: «Неужели вы и красивы в такой же мере, как способны любить?». Очевидно, госпожа де Босеан решила поощрить столь пламенное восхищение и привезла меня сюда, предупредив со свойственною ей любезностью, что я увижу вас.

— Как, я уже должна быть вам признательна? — спросила жена банкира.— Еще немного, и мы окажемся старинными друзьями.

— Конечно, дружба с вами должна быть чувством необычным, но другом вашим я не хочу быть никогда.

Этот шаблонный вздор, пригодный лишь для новичков, кажется жалким, когда его читаешь безучастно, но для женщин он всегда имеет свою прелесть: жест, тон и взгляд молодого человека придают такому вздору множество значений. Г-жа де Нусинген решила, что Растиньяк очарователен. Подобно всем женщинам, она, не зная, что ответить на вопрос, затронутый так смело, перевела разговор на другую тему:

— Да, сестра вызывает нарекания своим отношением к бедняге отцу, а он для нас поистине был богом. Только решительный приказ господина де Нусингена, чтобы я виделась с отцом лишь по утрам, заставил меня уступить в этом. Но потом я очень долго чувствовала себя несчастной. Я плакала. Такое насилие, да еще после грубых брачных столкновений, явилось одною из причин, больше всего замутивших мою се-

мейную жизнь. Глазам света я представляюсь, конечно, самой счастливой женщиной в Париже, а на самом деле я самая несчастная. Вам может показаться безрассудным, что я так разговариваю с вами. Но вы знаете моего отца и, как его знакомый, не можете быть для меня чужим.

— Вам никогда не встретить никого другого, кто бы горел таким желанием принадлежать вам, как я,— ответил ей Эжен.— Что ищете вы, женщины? Счастья,— добавил он задушевным тоном.— И вот если для счастья женщины необходимо быть любимой, обожаемой, иметь друга, поверенного всех ее желаний, всех ее фантазий, радостей и горя, чтобы раскрыть ему свою душу со всеми ее милыми недостатками и прекрасными достоинствами, не боясь предательства, то, верьте мне, такое неизменно пылкое и преданное сердце вы можете найти только у молодого человека, полного иллюзий, готового по одному вашему знаку идти на смерть, не ведающего света и не желающего знать его, потому что весь свет для него — вы. Касаясь себя лично, я должен вам признаться,— хотя вы посмеетесь моей наивности,— что я приехал из глухой провинции, человек совершенно свежий, всегда был окружен людьми с чистой душой и думал, что здесь я не найду любви. Случайно я встретился с моей кузиной, принявшей самое сердечное участие во мне; благодаря ей я понял, сколько сокровищ таит в себе горячая любовь; подобно Керубино, я влюблен во всех женщин, покамест не отдам себя всего какой-нибудь одной. Когда, войдя в театр, я увидел вас, точно какое-то течение вдруг подхватило меня и понесло к вам. Сколько передумал я о вас еще до этого! Но и в мечтах я вас не представлял себе такой красавицей. Госпожа де Босеан мне запретила глядеть на вас чересчур долго. Она не понимает, как увлекательно смотреть на ваши алые хорошенькие губки, на белоснежный цвет лица, на ваши добрые глаза. Я тоже говорю вам безрассудные слова, но прошу вас: не запрещайте мне их говорить.

Для женщин нет большего удовольствия, как вслушиваться в журчание нежных слов. Им внемлет самая строгая святоша, даже в том случае, когда она по своему долгу не может отвечать на них. Начав с этого, Растиньяк

кокетливо понизил голос и стал рассыпаться мелким бесом; г-жа де Нусинген поощряла его улыбками, время от времени посматривая на де Марсе, упорно сидевшего в ложе княгини Галатион. Растиньяк пробыл у г-жи де Нусинген до той минуты, когда вернулся сам барон, чтобы проводить ее домой.

— Мадам,—обратился к ней Эжен,—я надеюсь иметь удовольствие явиться к вам еще до бала у герцогини Карильяно.

— *Раз жена пригласил вас, вы можете быть уверен, што найдете допрый прием,*— ответил толстый эльзасец с круглым лицом, говорившим об уме хитром и опасном.

«Дела мои идут как по маслу, ведь она не очень испугалась моего вопроса: «Могли бы вы полюбить меня?». Моя лошадка взнуздана, вскочим в седло и подберем поводья»,— говорил себе Эжен, направляясь к ложе де Босеан, чтобы проститься со своей кузиной, которая уже встала с места и собиралась уходить вместе с д'Ажуда. Бедный студент не знал, что баронессу занимало совсем другое: она ждала от де Марсе решительного, терзающего душу, последнего письма В восторге от мнимого успеха Эжен проводил виконтессу до наружной колоннады, где каждый ждал свой экипаж.

Когда Эжен расстался с ними, португалец, посмеиваясь, сказал г-же де Босеан:

— Ваш кузен сам не свой. Он сорвет банк. Этот юноша изворотлив, как угорь, и думаю, что он пойдет далеко. Одна вы могли облюбовать для него женщину как раз, когда ей нужен утешитель.

— Но надо знать, не любит ли она по-прежнему того, кто расстается с ней.

Студент пешком прошел от Итальянского бульвара к себе на улицу Нев-Сент-Женевьев, лелея самые радужные замыслы. Он ясно видел, как пристально смотрела на него графиня де Ресто, пока он находился в ложе у виконтессы и у г-жи де Нусинген, а это позволяло думать, что двери графини не останутся закрыты для него. Эжен рассчитывал понравиться супруге маршала Карильяно и таким образом приобрести в парижском высшем обществе, на его вершине, четыре высокопоставленных знакомства. Он предугадывал, что в сложном механизме всеобщих материальных интересов необходимо уцепиться за

какую-то систему его колес, чтобы оказаться в верхнем отделении машины; как этого достичь, он сознавал не очень ясно, но чувствовал себя настолько крепким, чтобы стать спицей в ее ведущем колесе. «Если баронесса Нусинген заинтересуется мной, я научу ее, как управлять мужем. Он ворочает золотыми горами и может мне помочь разбогатеть сразу». Этого не говорилось напрямик,— Эжен еще не стал таким политиком, чтобы любое положение перевести на цифры, все расценить и подсчитать; эти мысли только плавали еще на горизонте в виде легких облачков и не были так резко выражены, как убеждения Вотрена, но если б их прожечь в горниле совести, остаток получился бы не чище... Путем подобных сделок с совестью люди впадают в моральную распущенность, открыто признанную нашим поколением, где реже, чем когда-либо, встречаем мы людей прямолинейных, людей чудесной воли, которые не уступают злу и самый маленький уклон от прямой линии считают преступлением,— великолепные образы честности, давшие нам два мастерских создания: Альцеста у Мольера, а недавно — Дженни Динс с ее отцом в романе Вальтера Скотта. Но, может быть, окажется таким же драматичным и прекрасным произведение совсем иного содержания: художественное изображение извилистых путей, которыми проводит свою совесть светский честолюбец, пытаясь обойти зло, чтобы соблюсти внешние приличия и вместе с тем достигнуть своей цели. Пока Эжен дошел до пансиона, он уже увлекся г-жой де Нусинген: она ему казалась, как ласточка, изящной, стройной. Упоительная ласка ее глаз, шелковистость кожи, настолько нежной, что ему как будто виделась текущая под нею кровь, чарующий звук голоса, белокурая головка—все возникало в его памяти, а может быть, и быстрая ходьба, ускорив кровообращение, содействовала такому чародейству. Студент резко стукнул в дверь к папаше Горио.

— Дорогой сосед, я виделся с госпожой Дельфиной,— сообщил Эжен.

— Где?

— У итальянцев.

— Хорошо ли провела она время? Входите же.

Старик встал в одной рубашке, отворил дверь и поспешно лег опять в постель.

— Ну, рассказывайте,— продолжал он.

Эжен впервые попал в комнату папаши Горио, да еще только что налюбовавшись нарядом дочери,— и на лице его невольно выразилось недоумение при виде логова, где жил ее отец. Окно — без занавесок, отсыревшие обои отстали в нескольких местах и покоробились, обнажив пожелтелую от дыма штукатурку. Старик валялся на дрянной кровати, прикрытый тощим одеялом и ватным покрывальцем на ногах, сшитым из лоскутков от старых платьев г-жи Воке. Пол сырой и весь в пыли. Против окна — старинный пузатенький комод розового дерева с медными выгнутыми ручками в форме виноградной лозы, украшенной веточками и листиками. Старый умывальник с деревянной доской, на нем кувшин в тазу и бритвенные принадлежности. В углу — брошенные башмаки, у изголовья — тумбочка без дверки, без мраморной доски, камин, где не было следов даже золы; рядом — ореховый прямоугольный стол с перекладиной внизу, на которой папаша Горио недавно плющил серебряную вызолоченную чашку. Скверная конторка и на ней шляпа Горио; кресло с соломенным сиденьем и два стула завершали нищенскую обстановку. Грядка для полога прикреплена какой-то тряпкой к потолку, но вместо полога с нее свисал лоскут дешевенькой материи в белую и красную шашку. Самый бедный рассыльный жил у себя на чердаке не так убого, как жил папаша Горио у г-жи Воке. От одного вида его комнаты становилось холодно, сжималось сердце; она имела сходство с тюремной камерой, да еще наиболее унылой. По счастью, Горио не видел выражения лица студента, когда тот ставил свечку на ночной столик. Старик, закутавшись до подбородка в одеяло, повернулся лицом к Эжену.

— Ну, кто же нравится вам больше, госпожа де Ресто или госпожа де Нусинген?

— Я отдаю предпочтение госпоже Дельфине за то, что она вас любит больше,— сказал студент.

В ответ на эти теплые слова Горио высвободил руку из-под одеяла и пожал руку Эжену.

— Спасибо, спасибо,— повторял растроганный старик.— А что она говорила обо мне?

Растиньяк передал в приукрашенном виде разговор

баронессы относительно него, и Горио внимал ему, как слову божию.

— Дорогое дитя! Да, да, она очень меня любит. Но не верьте ей в том, что она говорит об Анастази. Видите ли, сестры ревнуют меня друг к другу. Это лишнее доказательство их нежных чувств. Госпожа де Ресто тоже очень любит меня. Я это знаю. Отец знает своих детей, как знает всех нас бог, который видит самую глубину души и судит нас по нашим помыслам. Они обе одинаково нежны со мной. Ах, будь у меня хорошие зятья, я был бы совершенно счастлив! Полного счастья на земле, конечно, нет. Ах, если бы я жил с ними! Только бы слышать их голоса, знать, что они здесь, рядом, видеть их, когда они приходят и уходят, как то бывало, пока мы жили вместе,— и мое сердце запрыгало бы от радости. А красиво ли они были одеты?

— Да,— отвечал Эжен.— Но как же это так, господин Горио: ваши дочери окружены такою роскошью, а вы живете в этой конуре?

— По чести говоря, для чего мне лучшее жилище?— ответил Горио как будто беззаботно.— Мне трудно вам это объяснить, я не умею связать как следует двух слов. Все — здесь,— добавил он, ударив себя в грудь.— Моя жизнь в дочерях. Если им хорошо, если они счастливы, нарядно одеты, ходят по коврам, то не все ли равно, из какого сукна мое платье и где я сплю? Им тепло, тогда и мне не холодно, им весело, тогда и мне не скучно. У меня нет иного горя, кроме их горестей. Когда вы станете отцом, когда услышите вы лепет ваших деток и скажете себе: «Это часть меня!», когда почувствуете, что эти малютки — кровь от крови вашей, что они лучший ее цвет, а так оно и есть,— то вам почудится, будто вы приросли к их телу, почудится, будто вы сами движетесь, когда идут они. Мне отовсюду слышатся их голоса. Достаточно одного печального их взгляда, чтобы во мне застыла кровь. Когда-нибудь узнаете и вы, что их благополучием бываешь счастлив гораздо больше, чем своим. Я не могу вам объяснить всего: это внутренние движения души, которые повсюду сеют радость. Словом, я живу тройною жизнью. Хотите, расскажу вам одну занятную вещь?

Видите ли, став отцом, я понял бога. Все сущее произошло ведь от него, поэтому он вездесущ. Такое же отношение между мной и дочерьми. Только я люблю моих дочерей больше, чем господь бог любит мир, ибо мир не так прекрасен, как сам бог, а мои дочери прекраснее меня. Они настолько близки моей душе, что мне все думалось: сегодня вечером вы их увидите. Боже мой! Пусть только какой-нибудь мужчина даст моей Дельфине счастье, то счастье женщины, когда она горячо любима, и я буду ему чистить башмаки, стану бегать у него на побегушках. Я знаю от горничной, что этот сударик де Марсе — зловредный пес. У меня чесались руки свернуть ему шею. Не любить такую женщину, такое сокровище, ее соловьиный голосок, стройную, как статуя! Где у нее были глаза, когда она шла замуж за этого эльзасского чурбана? Обеим нужны были бы в мужья красивые, любезные молодые люди. А все сталось по-другому из-за их прихоти.

Папаша Горио был великолепен. Эжену никогда не приходилось его видеть в озарении пламенной отцовской страсти. Что замечательно, так это сила наития, свойственная нашим чувствам. Взять хотя бы самое невежественное существо: стоит ему проявить подлинную, сильную любовь, оно сейчас же начинает излучать особый ток, который преображает его внешность, оживляет жесты, скрашивает голос. Под влиянием страсти даже тупица доходит до вершины красноречия, если не складом речи, то по мысли, и как бы витает в некой лучезарной сфере. Так и теперь: и в голосе и в жестах старика чувствовалась захватывающая сила, какою отличаются великие актеры. Да и все наши лучшие чувства — разве они не поэтические выражения нашей воли?

— Ну, значит, вас не огорчит, если я скажу вам, что, наверно, она порвет с де Марсе? — спросил Эжен папашу Горио.— Этот хлыщ бросил ее и пристроился к княгине Галатион. Что касается меня, то я сегодня вечером влюбился по уши в мадам Дельфину.

— Вот как! — воскликнул папаша Горио.

— Да. И я как будто ей понравился. Мы целый час проговорили о любви, а в субботу, послезавтра, я непременно отправлюсь к ней.

— О, как же буду я любить вас, мой дорогой, если вы ей понравитесь. Вы человек добрый, вы не станете ее мучить. Если же вы ей измените, я прежде всего перережу вам горло. Женщина любит только раз, вы понимаете? Боже мой! Какие глупости я говорю, господин Эжен! Вам тут холодно. Боже мой! Так, значит, вы разговаривали с ней? Что же она просила передать мне?

«Ничего»,— мысленно сказал Эжен, но вслух ответил:

— Она просила передать, что шлет вам горячий дочерний поцелуй.

— Прощайте, сосед, спокойной ночи, сладких сновидений, а у меня-то они будут благодаря тому, что вы сейчас сказали. Да поможет вам бог во всех ваших начинаниях! Сегодня вечером вы были моим ангелом, от вас повеяло на меня дочерью.

«Бедняга! — сказал себе Эжен, укладываясь спать.— Все это способно тронуть каменное сердце. Дочь столько же думала о нем, сколько о турецком султане».

Со времени этого разговора папаша Горио стал видеть в своем соседе нежданного наперсника, своего друга. Между ними установились как раз те отношения, какие только и могли привязать старика к другому человеку. Страстные чувства никогда не делают обманчивых расчетов. Папаша Горио воображал, что сам он будет немного ближе к своей дочери, что станет более желанным ее гостем, если Эжен полюбится Дельфине. Кроме того, старик открыл Эжену одну из причин своих страданий. По сту раз на день он желал счастья г-же де Нусинген, а до сих пор она еще не испытала радостей любви. Эжен, конечно, представлялся папаше Горио, по его же выражению, самым милым молодым человеком, какого он когда-либо встречал, и старик как будто чувствовал, что Растиньяк доставит его дочери все наслаждения, которых ей недоставало. Таким образом папаша Горио проникся к своему соседу дружбой, становившейся все крепче, а без нее и самая развязка этой повести была бы непонятна.

На следующее утро, за завтраком, то напряженное внимание, с каким папаша Горио посматривал на Растиньяка, сев с ним рядом, и несколько слов, сказан-

ных им Эжену, и самое лицо старика, обычно похожее на гипсовую маску, а теперь преображенное,— все повергло в изумление других нахлебников. Вотрен, впервые после их беседы увидав студента, казалось, хотел что-то прочесть в его душе. Этой ночью, прежде чем заснуть, Эжен измерил всю ширь жизненного поля, представшего его глазам, и, встретившись теперь с Вотреном, он сразу вспомнил о его проекте, естественно подумал о приданом мадемуазель Тайфер, не удержался и взглянул на Викторину, как смотрит самый добродетельный юноша на богатую невесту. Случайно глаза их встретились. Бедная девушка должна была признать, что Растиньяк в новом наряде очарователен. Обменявшись с ней достаточно красноречивым взглядом, он мог не сомневаться в том, что стал для нее предметом смутных любовных чувств, волнующих всех молодых девушек, которые их обращают на первого пригожего мужчину. Внутренний голос кричал ему: «Восемьсот тысяч франков!» Но Эжен сразу вернул себя к событиям предшествующего дня и решил, что его надуманная страсть к г-же де Нусинген будет служить ему противоядием от невольных дурных мыслей.

— Вчера у итальянцев давали «Севильского цирюльника» Россини. Я никогда не слышал такой прелестной музыки,— сказал он окружающим.— Боже! Какое счастье иметь ложу у итальянцев!

Папаша Горио поймал смысл этой фразы на лету, как собака улавливает жест хозяина.

— Вы, мужчины, катаетесь, как сыр в масле, делаете, что вздумается,— заметила г-жа Воке.

— Каким способом вернулись вы домой? — спросил Вотрен.

— Пешком,— ответил Растиньяк.

— А вот мне такое половинчатое удовольствие не по душе, я бы ездил в собственной карете, сидел в собственной ложе и возвращался бы домой со всеми удобствами,— возразил искуситель.— Все или ничего — вот мой девиз!

— Девиз хороший,— подтвердила Воке.

— Вы, может быть, пойдете навестить госпожу де Нусинген,— шепотом сказал Эжен папаше Горио.— Она вас примет с распростертыми объятиями, ей захочется уз-

нать обо мне всякие подробности. Насколько мне известно, она во что бы то ни стало хочет попасть в дом к моей кузине, виконтессе де Босеан. Так не забудьте передать ей, что я очень люблю ее и все время думаю, как бы осуществить ее желание.

Растиньяк поспешил уйти в Школу правоведения. Ему хотелось быть как можно меньше времени в этом постылом доме. Почти весь день он прогулял по городу; голова его лихорадочно горела — состояние, хорошо знакомое всем молодым людям, обуреваемым чересчур смелыми надеждами. Под влиянием доводов Вотрена Эжен задумался над жизнью общества, как вдруг, при входе в Люксембургский сад, он встретил своего приятеля Бьяншона.

— С чего у тебя такой серьезный вид? — спросил медик.

— Меня изводят дурные мысли.

— В каком роде? От мыслей есть лекарство.

— Какое?

— Принять их... к исполнению.

— Ты шутишь, потому что не знаешь, в чем дело. Ты читал Руссо?

— Да.

— Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?

— Да.

— И что же?

— Пустяки! Я приканчиваю уже тридцать третьего мандарина.

— Не шути. Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь вполне возможна и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы?

— А твой мандарин очень стар? Хотя стар он или молод, здоров или в параличе, говоря честно... нет, черт возьми.

— Ты, Бьяншон, хороший малый! Ну, а если ты так влюбился в женщину, что готов выворотить наизнанку свою душу, и тебе нужны деньги, и даже много денег, на ее туалеты, выезд и всякие другие прихоти?

— Ну вот! Сначала ты отнимаешь у меня рассудок, а потом требуешь, чтобы я рассуждал.

— А я, Бьяншон, схожу с ума; вылечи меня. У меня две сестры — два ангела красоты и непорочности, и я хочу, чтобы они были счастливы. Откуда мне добыть им на приданое двести тысяч франков в течение ближайших пяти лет? В жизни бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести крупную игру, а не растрачивать свою удачу на выигрыши по мелочам.

— Но ты ставишь вопрос, который возникает перед каждым, кто вступает в жизнь, и этот гордиев узел хочешь рассечь мечом. Для этого, дорогой мой, надо быть Александром, в противном случае угодишь на каторгу. Я лично буду счастлив и той скромной жизнью, какую я создам себе в провинции, где попросту наследую место своего отца. Человеческие склонности находят в небольшом кругу такое же полное удовлетворение, как и в пределах окружности громадного масштаба. Наполеон не съедал двух обедов и не мог иметь любовниц больше, чем студент-медик, живущий при Больнице капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда будет заключено в границах между подошвой наших ног и нашим теменем, и стоит ли оно нам миллион или сто луидоров в год, наше внутреннее ощущение от него будет совершенно одинаково. Подаю голос за жизнь твоему китайцу.

— Спасибо, Бьяншон, ты облегчил мне душу! Мы навсегда останемся друзьями.

— Слушай,— продолжал студент-медик,— сейчас я был на лекции Кювье и, выйдя оттуда в Ботанический сад, заметил Пуаре и Мишоно. Они сидели на скамейке и беседовали с одним субъектом, которого я видел у Палаты депутатов во время прошлогодних беспорядков; у меня сложилось впечатление, что это полицейский, переодетый в степенного буржуа-рантье. Давай понаблюдаем за этой парочкой, а зачем, скажу тебе потом. Ну, прощай, бегу на поверку к четырем часам.

Когда Эжен вернулся в пансион, папаша Горио уже ждал его прихода.

— Вот вам письмо от нее. А каков почерк? Красота! — сказал старик.

Эжен распечатал письмо и прочел:

«Милостивый государь, мой отец сказал мне, что вы любите итальянскую музыку. Я была бы очень рада, если бы вы доставили мне удовольствие, заняв место в моей ложе. В субботу поют Фодор и Пеллегрини,— уверена, что вы не откажетесь. Господин Нусинген присоединяется к моей просьбе и просит вас приехать к нам пообедать запросто. Ваше согласие доставит ему большое удовольствие, избавив его от тяжкой семейной обязанности сопровождать меня. Ответа не надо, приходите; примите мои лучшие пожелания.

Д. де Н.».

— Дайте мне посмотреть на него,— сказал старик, когда Эжен прочел письмо.— Вы, конечно, пойдете?— спросил он, нюхая письмо.— Как хорошо пахнет! К нему прикасались ее пальчики.

«Так просто женщина не бросается на шею мужчине,— подумал Растиньяк.— Она хочет воспользоваться мной, чтобы вернуть де Марсе. Только с досады делают подобный шаг».

— Ну, чего же тут думать? — сказал папаша Горио.

Эжен не имел понятия о тщеславной мании, обуявшей в это время многих женщин, и не знал, что жена банкира готова на любые жертвы, лишь бы проложить себе дорожку в Сен-Жерменское предместье. Это была пора, когда входило в моду отмечать женщин, принятых в обществе Сен-Жерменского предместья, у так называемых статс-дам Малого дворца, среди которых г-жа де Босеан, ее друзья, герцогини Мофриньез и де Ланже, занимали первые места. Лишь Растиньяк не знал, что дам с Шоссе д'Антен обуревало безумное желание проникнуть в высший круг, блиставший такими созвездиями женщин.

Но недоверчивость Эжена оказала ему добрую услугу, вооружив его хладнокровием и скучным преимуществом только ставить условия, а не принимать их от других.

— Да, я пойду,— ответил он папаше Горио.

Итак, простое любопытство вело Эжена к г-же де Нусинген, но, выкажи она к нему пренебрежение, его, быть может, влекла бы туда страсть. А все-таки Эжен

с каким-то нетерпением ждал следующего дня и часа своего визита. Для молодого человека первая его интрига таит в себе не меньше прелести, чем первая любовь. Уверенность в своем успехе вызывает множество радостных переживаний, но мужчина в них не сознается, а между тем они-то и составляют все обаяние некоторых женщин. Страстное желание разгорается как от трудного, так и от легкого достижения победы. Все человеческие страсти, конечно, возникают или держатся на этих двух началах, делящих всю область, подвластную любви, на две различных сферы. Такое разделение, быть может, вытекает из сложного вопроса темпераментов, который, что там ни говори, играет в человеческом сообществе главенствующую роль. Если меланхоликам нужна возбуждающая доза разнообразного кокетства, то люди нервического склада или сангвиники могут сбежать с поля сражения, встретив чересчур стойкое сопротивление. Другими словами, элегия идет от лимфы, а дифирамб от желчи.

Пока Эжен переодевался, он испытал немало мелких, но блаженных ощущений, которые щекочут самолюбие молодых людей, хотя они не любят говорить об этом, боясь насмешек. Эжен оправил свои волосы, думая о том, что взор красивой женщины скользнет украдкой по его кудрям. Так же ребячливо, как юная девица, наряжаясь перед балом, он разрешил себе немного покривляться и, оправляя фрак, полюбовался тонкой своей талией. «Наверняка есть и такие, что сложены похуже!» — сказал он про себя. Затем он сошел вниз, как раз в то время, когда все уже сидели за столом, и весело выдержал град глупых шуток по поводу его изящной внешности. Характерной чертой для нравов в семейных пансионах является недоумение при виде человека, тщательно одетого. Стоит надеть там новое платье, и каждый не преминет сделать замечание.

Бьяншон пощелкал языком, словно подгоняя лошадь.

— Вылитый пэр и герцог! — объявила г-жа Воке.

— Вы идете покорять? — спросила мадемуазель Мишоно.

— Кукареку! — закричал художник.

— Привет вашей супруге,— сказал чиновник из музея.

— А разве у господина де Растиньяка есть супруга? — спросил Пуаре.

— Супруга наборная, разноштучная, в воде не тонет, ручательство за прочность краски, цена от двадцати пяти до сорока, рисунок в клетку по последней моде, хорошо моется, прекрасно носится, полушерсть, полубумага, полулен, помогает от зубной боли и других болезней, одобренных Королевской медицинской академией! Лучшее средство для детей, еще лучше от головной боли, запора и прочих болезней пищевода, ушей и глаз! — прокричал Вотрен комичной скороговоркой и тоном ярмарочного шарлатана.— Вы спросите: «Почем же это чудо? По два су?» Нет. Даром. Это остатки от поставок Великому Моголу; все европейские владыки, не исключая баденского герррррцога, соблаговолили посмотреть! Вход прямо! По дороге зайдите в кассу! Музыка, валяй! Брум-ля-ля, тринь-ля-ля, бум-бум!—И, переменив голос на хриплый:— Эй, кларнет, фальшивишь. Я тебе дам по пальцам!

— Ей-богу! Что за приятный человек, с ним не соскучишься вовеки! — воскликнула Воке.

Среди смеха и шуток, раздавшихся, как по сигналу, вслед за забавной выходкой Вотрена, Эжен перехватил брошенный украдкой взгляд мадемуазель Тайфер, когда она, наклонясь к г-же Кутюр, шептала ей что-то на ухо.

— А вот подъехал и кабриолет,— заявила Сильвия.

— Где же это он обедает? — спросил Бьяншон.

— У баронессы де Нусинген, дочери господина Горио,— пояснил Эжен.

При этом имени все взоры обратились на вермишельщика, глядевшего с какой-то завистью на Растиньяка.

На улице Сен-Лазар Эжен подъехал к дому в легком стиле, с тонкими колонками, с дешевыми портиками, со всем тем, что в Париже зовется «очень мило»,— типичному дому банкира, полному дорогих затей, с гипсовой лепкой и с мраморными мозаичными площадками на лестнице. Г-жу де Нусинген он застал в маленькой гостиной, расписанной в итальянском вкусе и напоминавшей своей отделкой стиль кафе. Баронесса бы-

ла грустна. Ее старания скрыть свою печаль затронули Эжена тем сильнее, что они не были игрой. Он рассчитывал обрадовать женщину своим приходом, а застал ее в отчаянии. Такая незадача кольнула его самолюбие.

Подшутив над ее озабоченным видом, Эжен спросил уже серьезно:

— У меня очень мало прав на ваше доверие, но я полагаюсь на вашу искренность: если я вас стесняю, скажите мне об этом откровенно.

— Побудьте со мной,— ответила она,— господин Нусинген обедает не дома, и, если вы уйдете, я останусь одна, а я не хочу быть в одиночестве, мне нужно рассеяться.

— Но что такое с вами?

— Вам я бы могла сказать об этом только последнему из всех.

— А я хочу знать. Выходит так, что в этой тайне какую-то роль играю я.

— Может быть! Впрочем, нет, это семейные дрязги, они должны остаться погребенными в моей душе. Разве я не говорила вам третьего дня,— я вовсе не счастливая женщина? Самые тяжкие цепи — цепи золотые.

Если женщина говорит молодому человеку, что она несчастна, а молодой человек умен, хорошо одет и у него в кармане лежат без дела полторы тысячи франков, он, наверное, подумает то же, что Эжен, и станет самодовольным фатом.

— Чего же больше вам желать? — спросил он.— Вы молоды, красивы, любимы и богаты.

— Оставим разговор обо мне,— сказала она мрачно, покачав головой.— Мы пообедаем вдвоем, потом отправимся слушать чудесную музыку. Я в вашем вкусе? — спросила она, вставая и показывая свое платье из белого кашемира с персидским рисунком редкого изящества.

— Я бы хотел, чтобы вы были вся моей,— ответил Эжен.— Вы просто прелесть.

— Для вас это было бы грустным приобретением,— возразила она с горькой усмешкой.— Здесь ничто не говорит вам о несчастье, а между тем, несмот-

ря на это внешнее благополучие, я в отчаянии. Мое горе не дает мне спать, я подурнею.

— О, это невозможно! — запротестовал Эжен.— Любопытно знать, что это за огорчения, которых не может рассеять даже беззаветная любовь?

— Если бы я доверила их вам, вы бы сбежали от меня. Ваша любовь ко мне — только обычное мужское волокитство. Когда бы вы любили меня по-настоящему, вы сами пришли бы в полное отчаяние. Вы видите, что я должна молчать. Умоляю, поговорим о чем-нибудь другом. Пойдемте, я покажу вам мои комнаты.

— Нет, посидим здесь,— ответил Растиньяк, усаживаясь рядом с г-жой де Нусинген на диванчик у камина и уверенно взяв ее руку.

Она не протестовала и даже сама пожала ему руку крепким, порывистым пожатием, выдававшим сильное волнение.

— Послушайте,— обратился к ней Эжен,— если у вас есть неприятности, вы должны поделиться ими со мной. Я хочу доказать вам, что я люблю вас ради вас самих; или вы продолжите ваш разговор и скажете, какое у вас горе, чтобы я мог его развеять, хотя бы для этого пришлось убить полдюжины мужчин, или я уйду и больше не вернусь.

— Хорошо! — воскликнула она, хлопнув себя по лбу, под влиянием какой-то отчаянной, внезапной мысли.— Я испытаю вас сейчас же. «Да,— подумала она,— другого выхода нет»,— и позвонила.

— Карета барона готова? — спросила она у своего лакея.

— Да, сударыня.

— В ней поеду я. За бароном пошлете мой экипаж. Обед к семи часам.— Ну, едемте,— приказала она Эжену.

Студенту казалось сном, что он сидит в карете самого де Нусингена и рядом с этой женщиной.

— В Пале-Рояль, к Французскому театру,— приказала она кучеру.

По дороге, видимо волнуясь, она отказывалась отвечать на все расспросы Растиньяка, не знавшего, что думать об этом молчаливом, упорном, сосредоточенном сопротивлении.

«Одно мгновение — и она ускользнула от меня»,— подумал Растиньяк.

Карета остановилась, баронесса одним взглядом прекратила его безрассудные излияния, когда он чересчур увлекся.

— Вы очень меня любите? — спросила она.

— Да,— ответил он, скрывая нараставшую тревогу.

— Чего бы я ни потребовала от вас, вы не станете плохо думать обо мне?

— Нет.

— Готовы ли вы мне повиноваться?

— Слепо.

— Вы бывали когда-нибудь в игорном доме? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Никогда.

— О, я могу вздохнуть свободно. Вам повезет. Вот мой кошелек,— сказал она.— Берите! В нем сто франков — все, чем располагает счастливая женщина. Зайдите в какой-нибудь игорный дом; где они помещаются, не знаю, но мне известно, что они есть в Пале-Рояле. Рискните этими ста франками в рулетку: или проиграйте все, или принесите мне шесть тысяч франков. Когда вернетесь, я расскажу вам, какое у меня горе.

— Черт меня побери, если я понимаю, что мне надо делать, но я повинуюсь,— ответил он радостно, подумав: «Она компрометирует себя при моем соучастии и не сможет мне отказать ни в чем».

Эжен берет красивый кошелек и, расспросив какого-то торговца готовым платьем, бежит к подъезду № 9, в ближайший игорный дом. Он поднимается по лестнице, сдает шляпу, входит и спрашивает, где рулетка. Завсегдатаи удивлены, а лакей при зале подводит его к длинному столу. Эжен, окруженный зрителями, спрашивает, нимало не стесняясь, куда поставить свою ставку.

— Если положить луидор на одну из тридцати шести вот этих цифр и номер выйдет, вы получите тридцать шесть луидоров,— сказал Эжену какой-то почтенный седой господин.

Растиньяк кидает все сто франков на цифру своих лет — двадцать один. Не успевает он опомниться, как раздается крик изумления. Он выиграл, сам не зная как.

— Снимите ваши деньги,— сказал ему седой мужчина,— два раза подряд выиграть таким способом нельзя.

Старик подал ему гребок, Эжен подгреб к себе три тысячи шестьсот франков, и по-прежнему не смысля ничего в игре, поставил их на красное. Видя, что он еще играет, все смотрят на него с завистью. Колесо крутится, он снова в выигрыше, и банкомет кидает ему еще три тысячи шестьсот франков.

— У вас семь тысяч двести франков,— сказал ему на ухо старик.— Мой совет вам — уходите, поверьте мне: красное уже выходило восемь раз. Если вы милосердны, то отблагодарите за добрый вам совет и дайте что-нибудь на бедность бывшему наполеоновскому префекту, который очень нуждается.

Эжен в растерянности позволяет седому человеку взять десять луидоров и сходит вниз с семью тысячами франков, так и не поняв, в чем суть игры, но ошеломленный своим счастьем.

— Возьмите! Теперь куда вы повезете меня? — сказал Эжен, отдавая г-же де Нусинген семь тысяч, когда захлопнулась дверка кареты.

Дельфина сжимает его безумным объятием и целует крепко, но не страстно.

— Вы спасли меня!

Слезы радости заструились по ее щекам.

— Друг мой, я расскажу вам все. Вы будете мне другом, не правда ли? На ваш взгляд, я богата, даже очень, у меня есть все или как будто бы есть все. Так знайте, что господин де Нусинген не позволяет мне распорядиться ни одним су: он оплачивает все расходы по дому, мой выезд, мои ложи, отпускает мне жалкую сумму на туалеты, сознательно доводя меня до тайной нищеты. Я слишком горда, чтобы выпрашивать. Я бы почитала себя последней тварью, если бы стала платить за его деньги той ценой, какую он хочет с меня взять! Отчего же я, имея семьсот тысяч франков, позволила себя ограбить? Из гордости, от негодования. Мы еще так юны, так простодушны, когда начинаем супружескую жизнь. Я поперхнулась бы тем словом, какое было нужно, чтобы выпросить денег у моего супруга, и не решалась никогда произнести его,

я тратила собственные сбережения и деньги, что мне давал бедный отец, потом я стала занимать. Брак — самое ужасное разочарование в моей жизни, я не могу говорить об этом с вами; достаточно вам знать, что я бы выбросилась из окна, если бы мне пришлось жить с Нусингеном не на разных половинах. Когда же оказалось необходимым сказать ему про мои долги, долги молодой женщины, о тратах на дорогие украшения, на всякие другие прихоти (отец нас приучил не знать ни в чем отказа), я стала мученицей; наконец набралась храбрости и заявила ему о своих долгах. Разве у меня не было своего собственного состояния? Нусинген вышел из себя, сказал, что я разорю его, наговорил мне всяких мерзостей. Я была готова провалиться сквозь землю. Так как он забрал мое приданое себе, он все же заплатил, но с той поры назначил мне на личные мои расходы определенную сумму в месяц; я покорилась, чтобы иметь покой. А потом мне захотелось польстить самолюбию одного известного вам человека. Хотя он обманул меня, но я бы поступила дурно, не отдав справедливости благородству его характера. И все же он со мной расстался недостойным образом. Если мужчина отсыпал кучу золота женщине в дни ее нужды, он не имеет права бросать такую женщину, он должен любить ее всегда! Вам двадцать один год, у вас еще хорошая душа, вы молоды и чисты, вы спросите, как может женщина брать от мужчины деньги? Боже мой, да разве не естественно делить все с человеком, который дал нам счастье? Отдав друг другу все, можно ли смущаться из-за какой-то частицы целого? Деньги начинают играть роль лишь с той минуты, когда исчезло чувство. Если соединяешь свою судьбу с другим, разве не на всю жизнь? Какая женщина, веря, что она любима по-настоящему, предвидит впереди разлуку? Ведь вы клянетесь нам в любви навек, так допустимы ли при этом какие-то свои особые, другие интересы? Вы не представляете себе, что выстрадала я сегодня, когда муж мой отказался наотрез дать мне шесть тысяч, а он дает их каждый месяц оперной плясунье, своей любовнице! Я хотела покончить с собой. Самые безрассудные мысли мелькали у меня. Временами я завидовала участи служанки, моей горничной. Пойти к

отцу? Бессмысленно! Мы с Анастази совсем ограбили его: он продал бы себя, если бы за него дали шесть тысяч франков! Я бы только напрасно привела его в отчаяние. Я не помнила себя от горя; вы спасли меня от смерти и позора. Объяснить все это вам стало моей обязанностью: я очень легкомысленно и опрометчиво вела себя с вами. Когда вы отошли от меня и скрылись из виду, мне так хотелось убежать... Куда? Не знаю. Вот какова жизнь у половины парижских женщин: снаружи — блеск, в душе — жестокие заботы. Я лично знаю страдалиц, еще несчастнее меня. Одни вынуждены просить своих поставщиков, чтобы они предъявляли ложные счета, другим приходится воровать у своих мужей; одни мужья думают, что шаль в пятьсот франков стоит две тысячи, другие — что шаль в две тысячи стоит лишь пятьсот. А можно встретить и таких женщин, что морят голодом своих детей, выгадывая себе на новое платье. Я же не запятнала себя такой гнусной ложью. Теперь конец моим терзаниям! Пусть другие продают себя своим мужьям, чтобы верховодить ими, зато я свободна! В моей власти сделать так, чтобы Нусинген осыпал меня золотом, но я предпочитаю плакать на груди мужчины, которого я могу уважать. О, сегодня вечером у де Марсе уже не будет права смотреть на меня как на женщину, которой он заплатил.

Она заплакала, закрыв лицо руками, но Эжен отвел их, чтобы полюбоваться ею: сейчас она была прекрасна.

— Связывать деньги с чувствами — это ужасно, не правда ли? Нет, вы не будете любить меня,— заключила она.

Это соединение хороших чувств, поднимающих женщину на высоту, и недостатков, привитых современным устройством общества, потрясло Эжена; он говорил Дельфине нежные слова утешения, восхищаясь этой женщиной, такой красивой, так простодушно опрометчивой в открытом проявлении своей скорби.

— Обещайте, что вы не воспользуетесь моей откровенностью как оружием против меня,— сказала она.

— О, что вы! Я на это не способен,— ответил он.

Она взяла его руку и положила себе на сердце в порыве признательности и душевной ласки.

— Благодаря вам я стала вновь свободной и веселой. На мою жизнь давила железная рука. Теперь я хочу жить просто, ничего не тратя на себя. Для вас, мой друг, я буду хороша такой, какая есть, не правда ли? Оставьте это у себя,— сказала она, взяв только шесть тысяч франков.— По совести, я вам должна три тысячи, считая, что я играла в половине с вами.

Эжен отказывался, как застенчивая девушка. Но баронесса настаивала:

— Если вы не мой сообщник, я буду смотреть на вас, как на врага.

И он взял деньги, сказав:

— Пускай останутся запасным капиталом на случай проигрыша.

— Вот чего я боялась! — воскликнула она, бледнея.— Если вы хотите, чтобы я что-то значила для вас, поклянитесь мне не играть больше никогда. Господи! Мне ли развращать вас?! Я умерла бы с горя.

Они приехали домой. Разительное противоречие между богатой обстановкой и нуждой Дельфины ошеломило Растиньяка, и снова зазвучали в его ушах зловещие слова Вотрена.

— Сядьте там,— сказала баронесса, входя к себе в комнату и показывая на диванчик у камина,— мне нужно написать очень щекотливое письмо! Дайте мне совет.

— Писать не надо,— возразил Эжен.— Вложите ассигнации в конверт, напишите адрес и пошлите с вашей горничной.

— Да вы прелесть, а не мужчина! — воскликнула баронесса.— Вот что значит получить хорошее воспитание! Это чисто по-босеановски,— сказала она с улыбкой.

«Очаровательная женщина»,— подумал Растиньяк, все больше увлекаясь ею.

Он оглядел комнату, где все дышало чувственным изяществом, как у богатой куртизанки.

— Вам нравится? — спросила она и позвонила горничной.— Тереза, отнесите это сами господину де Мар-

се и передайте ему лично. Если не застанете его дома, принесите письмо обратно.

Выходя, Тереза не упустила случая бросить на Эжена лукавый взгляд. Доложили, что обед подан. Растиньяк предложил руку г-же де Нусинген и пошел с ней в прелестную столовую, где увидел ту же роскошь сервировки, какой он любовался у своей кузины.

— В дни Итальянской оперы вы будете приходить ко мне обедать и провожать меня в театр,— сказала г-жа де Нусинген.

— Но если так будет продолжаться, я могу привыкнуть к этой приятной жизни, а я бедный студент, и мне еще только предстоит создать себе состояние.

— Оно придет само собой,— ответила она, смеясь.— Видите, как все устраивается хорошо: ведь я не ожидала, что буду чувствовать себя такой счастливой.

Женщинам свойственно доказывать невозможное на основании возможного и отрицать очевидное, ссылаясь на предчувствия. Когда г-жа де Нусинген и Растиньяк входили в ложу, баронесса светилась радостью удовлетворенного чувства, придававшей ей столько красоты, что каждый счел необходимым немного позлословить на ее счет, благо женщины бессильны оградить себя от мелкой клеветы, часто дающей повод верить досужим вымыслам о развращенности их нравов. Кто знает Париж, тот не верит ничему тому, что говорится в нем открыто; о том же, что происходит там в действительности, все молчат. Эжен сжал руку баронессы в своей руке, и вместо слов то слабыми, то более крепкими пожатиями рук они делились своими настроениями, навеянными музыкой. Весь этот вечер был для обоих полон упоения. Они вышли вместе, и г-же де Нусинген захотелось подвезти Эжена до Нового моста, но всю дорогу она отказывалась подарить ему хотя один такой же горячий поцелуй, как в Пале-Рояле. Эжен упрекнул ее за эту непоследовательность.

— То было порывом благодарности за неожиданную преданность,— ответила она.— Теперь это значило бы что-то обещать.

— Неблагодарная, вы не хотите обещать мне ничего!

Он рассердился. Капризным жестом, обычно пленяющим влюбленного, она протянула ему для поцелуя

свою руку, но Эжен взял ее с большой неохотой, что восхитило баронессу.

— До понедельника, на балу,— промолвила она.

Идя домой при ярком лунном свете, Эжен предался серьезным размышлениям. Он был и счастлив и в то же время недоволен. Счастлив любовным приключением, сулившим как возможную развязку отдать ему одну из самых изящных и красивых парижских дам — предмет его желаний; недоволен тем, что его планы создать себе богатство рушились; и вот теперь он ощутил действительное содержание тех смутных мыслей, которым предавался он позавчера. Неудача всегда дает нам чувствовать власть наших притязаний. Чем больше наслаждался Растиньяк парижской жизнью, тем менее ему хотелось оставаться в тени и бедности. Он комкал у себя в кармане тысячную ассигнацию, изобретая множество лукавых доводов, чтобы признать ее своей. Наконец он добрался до улицы Нев-Сент-Женевьев и, поднявшись на верхнюю площадку лестницы, заметил свет. Папаша Горио оставил свою дверь открытой и не гасил свечи, чтобы студент не позабыл, как выражался Горио, *потолковать про дочку*. Эжен ничего не утаил от старика.

— Как? Они думают, что я уже разорился? — воскликнул папаша Горио в порыве ревнивого отчаяния.— У меня же тысяча триста франков ренты! Боже мой! Что бы бедняжке прийти сюда! Я продал бы свои бумаги, мы бы оплатили все из вырученного капитала, а что осталось бы, я поместил бы в пожизненную ренту. Дорогой сосед, отчего вы не сказали мне про ее заботу? Как это у вас хватило духу играть и рисковать ее жалкими ста франками? Душа разрывается от этого. Вот они, зятья! О, попадись они мне в руки, я бы сдавил им глотку! Боже мой! Плакала! Она в самом деле плакала?

— Уткнувшись в мой жилет,— ответил Растиньяк.

— О, подарите мне его! — взмолился папаша Горио.— На нем слезы моей дорогой Дельфины; а в детстве она ведь никогда не плакала. Не носите его больше, отдайте мне, я вам куплю другой. По договору с мужем она имеет право располагать своим имуществом. Я завтра же пойду к поверенному Дервилю. Я

потребую, чтобы ее состояние положили в банк. Законы мне известны, я старый волк, я еще покажу им зубы.

— Вот, папа, тысяча франков из нашего выигрыша; она хотела отдать их мне; храните их для нее же, в моем жилете.

Горио взглянул на Растиньяка, взял его руку и уронил на нее слезу.

— Вы далеко пойдете в жизни,— сказал старик.— Бог справедлив! Я-то смыслю кое-что в честности и заверяю вас: таких людей, как вы, немного. Хотите быть тоже и моим ребенком? Ну, идите и ложитесь спать. Вам можно спать, пока вы не отец. Она плакала, а я-то?.. Узнаю об этом от других; я ел спокойно, как болван, когда она страдала. Ведь я бы продал отца и сына и святого духа, если б это могло избавить моих дочек от одной слезинки!

Ложась спать, Эжен сказал себе: «Право, мне думается, я на всю жизнь останусь честным человеком. Отрадно слушаться внушений своей совести».

Быть может, только те, кто верит в бога, способны делать добро не напоказ, а Растиньяк верил в бога.

На следующий день, в час, назначенный для бала, Эжен зашел к виконтессе де Босеан, чтобы она взяла его с собой и представила герцогине Карильяно. Супруга маршала приняла его самым любезным образом, и здесь он встретил г-жу де Нусинген. Дельфина нарядилась с явной целью понравиться всем, чтобы тем больше понравиться Эжену, и ожидала его взгляда, сгорая от нетерпения, но думая, что это незаметно. Для мужчины, способного угадывать волнения женщины, в таких минутах много прелести: кому не доставляло удовольствия томить другого ожиданием похвалы и прятать из кокетства свою радость под маской равнодушия, вызывать тревогу, чтобы найти в ней доказательства любви, и, насладившись чужими опасениями, затем рассеять их улыбкой? На этом празднестве студенту вдруг раскрылась вся ценность его теперешнего положения: став признанным кузеном виконтессы де Босеан, он занял свое место в свете. Приписываемая ему победа над баронессой Нусинген уже настолько выделяла Растиньяка, что молодые люди бросали на него завистливые

взгляды; подметив их, Эжен впервые ощутил приятное самодовольство. Разгуливая по гостиным, прохаживаясь мимо групп гостей, он слышал лестный разговор о своих успехах. Женщины предсказывали ему во всем удачу. Из опасения потерять его Дельфина обещала не отказать сегодня в поцелуе, позавчера еще запретном для нее. Во время бала Растиньяк получил приглашение бывать в нескольких домах. Кузина представила его всем дамам, притязавшим на изящный вкус и чьи дома считались приятными домами. Эжен увидел, что он допущен в высший свет, в самый избранный парижский круг. Этот вечер был полон для него очарований блестящего дебюта, и Растиньяк, наверно, даже в старости вспоминал о нем, как вспоминает юная девица бал, где одержала первые свои победы.

На следующий день за завтраком, когда Эжен в присутствии нахлебников расписывал папаше Горио свои успехи, Вотрен все время улыбался дьявольской улыбкой.

— И вы воображаете,— воскликнул этот неумолимый логик,— что светский молодой человек может обретаться на улице Нев-Сент-Женевьев, в «Доме Воке»? Конечно, это пансион, достопочтенный со всяких точек зрения, но он отнюдь не фешенебелен; в нем есть достаток, он красен своим обилием, он горд, что служит временной обителью одному из Растиньяков, но все же он на улице Нев-Сент-Женевьев, ему неведом блеск, ибо он чистой воды *патриархалорама*. Мой юный друг,— продолжал Вотрен отечески-шутливым тоном,— если вы собираетесь играть в Париже роль, вам нужно иметь трех лошадей, днем тильбюри, а вечером двухместную карету,— итого девять тысяч франков лишь на выезд. Вы недостойны вашего предназначения, если не истратите хотя бы трех тысяч франков у портного, шестисот у парфюмера, трехсот у шляпника и трехсот у сапожника. А прачка будет стоить и всю тысячу. Молодой человек на виду обязан быть особо безупречным в отношении белья: не правда ли, ведь это всего чаще подвергается внимательному рассмотрению? Любовь и церковь требуют красивых покровов себе на алтари. Итак, мы насчитали четырнадцать тысяч. Я уже не говорю о тратах на игру, подарки и пари. Не посчитать двух ты-

сяч на карманные расходы просто невозможно. Я вел такую жизнь и знаю, во что она обходится. К расходам на все эти предметы первой необходимости добавьте еще полторы тысячи на *тюрю* и тысячу на *конуру*. Вот видите, мой мальчик, у нас и набралось двадцать пять тысяч в год, а иначе мы попадем в грязь, станем посмешищем, и не видать нам ни будущего, ни успехов, ни любовниц! Я еще забыл грума и лакея! Не Кристофу же носить ваши любовные записки! И неужели вы будете писать на той бумаге, на какой пишете теперь? Это равносильно самоубийству. Поверьте старику, умудренному опытом! — произнес он низким басом.— Или идите в ссылку на добродетельный чердак и обручитесь с каторжным трудом, или же ступайте иной дорогой.

Вотрен, прищурив глаз, исподтишка взглянул на мадемуазель Тайфер, как бы напоминая и подытоживая этим взглядом все соблазны, которые он, совращая Растиньяка, сеял в его душе.

Растиньяк уж много дней вел самую рассеянную жизнь. Он чуть не каждый день обедал у баронессы Нусинген и выезжал с ней вместе в свет. Домой он возвращался только утром, часа в три или четыре, вставал в двенадцать, одевался, ехал с Дельфиной прогуляться в Булонский лес и расточал на это свое время, не сознавая его ценности; но все уроки, все соблазны роскошной жизни Эжен вбирал в себя с такой же жадностью, с какою чашечка женского цветка на финиковой пальме, сгорая нетерпением, ждет брачной оплодотворяющей пыльцы! Растиньяк вел крупную игру, проигрывал и выигрывал помногу и в конце концов привык к бесшабашной жизни парижских молодых людей. Из первых выигрышей он отослал матери и сестрам их полторы тысячи, сопроводив свой долг изящными подарками. Заявив всем о своем намерении покинуть «Дом Воке», он жил там еще в последних числах января, хотя не чаял, как оттуда выбраться. Все молодые люди подчинены закону, казалось бы, необъяснимому, а между тем в его основе лежат их юность и способность с какой-то яростью набрасываться на удовольствия. Бедны они или богаты, никогда ни у кого из них нет денег на нужды повседневной жизни, зато на прихоти они всегда находят деньги. Скупы там, где надо заплатить

сейчас же, и расточительны во всем, что можно получить в кредит, точно вознаграждают себя за то, чего им не дано, проматывая то, что им доступно. Для пояснения этого закона может служить такой пример: студент бережет шляпу гораздо больше, нежели свой фрак. Портной, при его огромной прибыли, должен, по существу дела, отпускать в кредит, а скромная цена за шляпу превращает торговца шляпами в самого непокладистого из всех людей, с которыми студенту приходится вступать в переговоры. Когда молодой человек, сидя в театре на балконе, привлекает к себе лорнеты юных дам своим ошеломительным жилетом, то можно сомневаться, надеты ли на нем носки: чулочник тоже относится к породе долгоносиков, которые подтачивают кошелек. Так жил и Растиньяк. В кошельке его, всегда пустом для г-жи Воке и полном для потребностей тщеславия, происходили чудесные приливы и отливы наперекор самым насущным платежам. Если он так хотел расстаться с этим вонючим, гнусным пансионом, где все его великосветские претензии терпели унижение, что ему стоило уплатить за месяц своей хозяйке и купить обстановку для собственной квартиры независимого денди? А как раз это всегда оказывалось невозможным. Чтобы обеспечить себе деньги для игры, у Растиньяка хватало сметки после выигрыша покупать у ювелира ценные золотые цепочки и карманные часы, а по нужде их относить в ломбард, к этому мрачному и скрытному другу юности, но когда шло дело о плате за квартиру, за еду иль о покупке орудий, необходимых при разработке светских недр, у него пропадали изобретательность и смелость. Будничные нужды, долги на удовлетворение насущных потребностей его не вдохновляли. Подобно большинству людей, познавших такую жизнь на авось, он до последнего момента оттягивал платеж по тем долгам, которые являются священными в глазах мещан; так поступал и Мирабо, оплачивая забранный им хлеб только тогда, когда этот хлеб грозно являлся в виде опротестованного векселя. Настало время, когда Растиньяк проигрался и залез в долги. Он начал понимать, что дольше вести такую жизнь без определенных источников дохода невозможно. Но как ни охал Растиньяк от болезненных ушибов, неизбежных в его зыбком положении, он чув-

ствовал себя не в силах отказаться от разгульной жизни и собирался продолжать ее во что бы то ни стало. Счастливые случайности, входившие в его расчеты на богатство, оказывались химерой, зато действительные препятствия росли. Вникнув в домашние тайны супругов Нусинген, Эжен увидел, что если превратить любовь в орудие для достижения богатства, придется пить до дна чашу позора, отбросив те благородные идеи, ради которых юности прощаются ее грехи. Он прилепился к этой жизни, внешне блестящей, но отравленной укорами нечистой совести, с ее мимолетными удовольствиями, купленными дорогой ценой вечных мучительных тревог, и валялся в ее тине, подобно «Рассеянному» Лабрюйера, устроившему себе ложе в уличной канаве, но, так же как «Рассеянный», он замарал пока лишь платье.

— Ну, как? Убили мандарина? — однажды спросил его Бьяншон, встав из-за стола.

— Еще нет, но он уже хрипит,— ответил Растиньяк.

Студент-медик принял этот ответ за шутку, а то была не шутка. Эжен, после долгого отсутствия обедавший впервые дома, ел молча и о чем-то думал. После сладкого, вместо того чтобы уйти, он продолжал сидеть в столовой рядом с мадемуазель Тайфер, по временам бросая на нее выразительные взгляды. Кое-кто из нахлебников еще оставался за столом и грыз орехи, другие ходили взад и вперед по комнате, продолжая начатые споры. Вечерами почти всегда бывало так, что каждый уходил, когда вздумается, в зависимости от того, насколько интересен для него был разговор, или от большей или меньшей трудности пищеварения. Зимой случалось редко, чтобы столовая пустела раньше восьми часов, и тогда четыре женщины, оставшись в одиночестве, вознаграждали себя за молчание, какое налагало на их пол такое сборище мужчин. В тот вечер поначалу Вотрен как будто бы спешил уйти, но настроение студента озадачило его, и он остался, стараясь все же не попадаться на глаза, чтобы Эжен думал, будто он ушел. Вотрен не ушел и позже, вместе с последними нахлебниками, а затаился в гостиной, по соседству. Он все прочел в душе студента и ждал решительного перелома.

Положение Растиньяка и вправду становилось очень

трудным, но, вероятно, оно знакомо многим молодым людям. Из любви иль из кокетства, а только г-жа де Нусинген заставила Эжена пройти через все томления настоящей страсти, употребив для этого все средства парижской женской дипломатии. Скомпрометировав себя в глазах общества, чтобы удержать кузена виконтессы де Босеан, Дельфина, однако, не решалась на самом деле предоставить Эжену те права, какие, по мнению всех, он уже осуществлял. Целый месяц она так сильно разжигала в Растиньяке чувственность, что наконец затронула и сердце. Хотя в начале их сближения Эжен и мнил себя главою, вскоре г-жа де Нусинген одержала верх благодаря особому умению возбуждать в Растиньяке все добрые и все дурные чувства тех двух или трех мужчин, которые одновременно живут в одном парижском молодом человеке. Был ли здесь особый умысел? Нет, женщины всегда правдивы, следуя, даже в самых беззастенчивых своих обманах, какому-нибудь естественному чувству. Возможно, что с самого начала Дельфина позволила Эжену взять над собой верх и выказала к нему слишком большое чувство, а теперь, руководясь сознанием своего женского достоинства, хотела или отказаться от своих уступок, или отложить их на некоторое время. Для парижанки так естественно, даже в пылу страсти, оттягивать минуту своего падения, испытывая сердце того мужчины, которому она вручает свое будущее! Один раз надежды г-жи де Нусинген были уже обмануты: ее чувство к молодому эгоисту не нашло себе достойного ответа. Она имела основание быть недоверчивой. Быстрый успех превратил Эжена в фата, и, может быть, Дельфина заметила в его манере обращаться с ней какую-то неуважительность, вызванную своеобразием их положения. После долгих унижений перед тем, кто ее бросил, теперь она, конечно, стремилась возвыситься в глазах такого юного поклонника и внушить ему почтительность к себе. Ей не хотелось, чтобы Эжен считал победу над ней легкой именно потому, что он знал о близких отношениях меж ней и де Марсе. Словом, избавившись от молодого развратника, настоящего чудовища, от его унизительного сластолюбия, Дельфина нашла неизъяснимую отраду в прогулках по цветущим владениям любви, где с восхищением любовалась пей-

зажами, подолгу вслушивалась в трепетные звуки и отдавалась ласке целомудренного ветерка. Истинная любовь расплачивалась за ложную. К сожалению, эта нелепость будет встречаться еще часто, пока мужчины не поймут, сколько цветов могут смять в женской молодой душе первые шаги обмана. Но каковы бы ни были тому причины, Дельфина играла Растиньяком и делала это с наслаждением, не сомневаясь, что она любима и обладает верным средством прекратить все огорчения возлюбленного, когда ее женское величество почтет это за благо. А Растиньяку из уважения к себе не хотелось, чтобы первый его бой закончился ее победой, и он упорно преследовал свою добычу, как охотник стремится непременно застрелить куропатку в день открытия охоты. Оскорбленное самолюбие, тревоги, приступы отчаяния, искреннего или напускного, все более и более привязывали его к этой женщине. Светское общество Парижа отдавало ему г-жу де Нусинген, а между тем его успехи у нее не шли дальше того, что он завоевал в их первый день знакомства. Еще не понимая, что иногда в кокетстве женщины заключено гораздо больше радостей, чем удовольствий от ее любви, Растиньяк глупо бесился. Та пора, когда женщина борется с любовью, приносила Растиньяку первые свои плоды: они были зелены, с кислинкой, но восхитительны на вкус, зато и обходились дорого. Временами, оставшись без гроша, не видя перед собой будущего, Эжен вопреки совести подумывал о той возможности обогатиться, которую подсказывал ему Вотрен,— о женитьбе на мадемуазель Тайфер. Теперь настал момент, когда безденежье заговорило настолько громко, что он почти невольно стал поддаваться ухищрениям страшного сфинкса, нередко уступая внушениям его взгляда.

Когда наконец Пуаре и мадемуазель Мишоно ушли к себе наверх, покинув г-жу Воке и г-жу Кутюр, которая вязала шерстяные нарукавники, подремывая у печки, Растиньяк, полагая себя единственным мужчиной среди них, взглянул на мадемуазель Тайфер так нежно, что она потупила глаза.

— Вы чем-то огорчены, господин Эжен? — спросила Викторина, немного помолчав.

— У кого нет огорчений! — ответил Растиньяк.—

Если бы мы, молодые люди, могли быть уверены, что нас любят сильно, преданно, вознаграждая за те жертвы, которые мы всегда готовы принести, весьма возможно, у нас и не бывало б огорчений.

Мадемуазель Тайфер ответила на это взглядом, не оставлявшим никаких сомнений в ее чувствах.

— Да, сегодня вам кажется,— продолжал Растиньяк,— что вы уверены в вашем сердце, но можете ли вы отвечать за то, что никогда не изменитесь?

Улыбка скользнула по губам бедной девушки, как будто яркий луч брызнул из ее души и озарил лицо ее таким сиянием, что Растиньяк сам испугался, вызвав столь сильный порыв чувства.

— А если бы вы завтра стали богатой и счастливой, если бы вам свалилось с неба огромное богатство, вы бы по-прежнему любили молодого человека, который вам понравился в дни вашей бедности?

Она мило кивнула головой.

— Молодого человека очень бедного?

Новый кивок.

— Какие пустяки вы там болтаете? — воскликнула г-жа Воке.

— Оставьте нас в покое, у нас свои дела,— ответил ей Эжен.

— В таком случае не воспоследуют ли брачные обеты между кавалером Эженом де Растиньяком и мадемуазель Тайфер? — спросил Вотрен, показываясь в дверях столовой.

— Ах, как вы меня напугали! — воскликнули в один голос г-жа Кутюр и г-жа Воке.

— Пожалуй, лучше мне не выбрать,— ответил Растиньяк, смеясь, хотя голос Вотрена вызвал в нем жестокое волнение, какого не испытывал он никогда.

— Без неуместных шуток! — сказала им г-жа Кутюр.— Викторина, идем к себе наверх.

Воке пошла за жилицами, чтобы провести вечер у них и не жечь у себя свечей и дров. Эжен остался лицом к лицу с Вотреном.

— Я знал, что вы придете к этому,— сказал Вотрен с невозмутимым хладнокровием.— Но слушайте: я тоже щепетилен, не меньше всякого другого. Сейчас не решайте ничего, вы не в своей тарелке, у вас долги.

Я хочу, чтобы не страсть и не отчаяние вас привели ко мне, а разум. Может быть, вам нужно несколько тысчонок? Пожалуйста. Хотите?

Демон-искуситель вынул из кармана бумажник, достал оттуда три кредитных билета по тысяче франков и повертел ими перед Растиньяком. Эжен находился в ужасном положении. Он проиграл на слово маркизу д'Ажуда и графу де Трай пятьсот франков; их у него не было, и он не смел пойти на вечер к графине де Ресто, где его ждали. У нее был вечер запросто, то есть такой, когда кушают печенье, пьют чай, но можно проиграть шесть тысяч в вист.

— Господин Вотрен,— обратился к нему Растиньяк, с трудом скрывая судорожную дрожь,— после того, что вы мне предлагали, вы должны понять, что никаких одолжений принять от вас я не могу.

— Хорошо! Вы очень огорчили бы меня, ответив иначе,— сказал искуситель.— Вы молодой человек, красивый, щепетильный, гордый, как лев, и нежный, как юная девица. Для черта прекрасная добыча! Люблю в молодом человеке такие свойства. Кстати, еще две—три мысли из области высшей политики, и вы увидите мир таким, каков он есть. В нем надо разыгрывать добродетельные сценки, и тогда человек высокого полета может удовлетворять все свои капризы под громкие аплодисменты дураков в партере. Пройдет немного дней — и вы наш. Ах, если бы вы согласились стать моим учеником, то вы достигли бы всего! Вы не успели бы выразить свое желание, как в ту же минуту оно осуществилось бы с лихвой, чего бы вы ни захотели: почета, денег, женщин. Изо всех плодов цивилизации мы приготовили бы вам райский напиток. Вы стали бы нашим баловнем, нашим Вениамином, ради вас мы с наслаждением лезли бы из кожи. Было бы сметено все, что стало бы вам поперек дороги. Если вам совестно брать у меня, значит, вы считаете меня злодеем? Вот, видите ли, человек такой же честности, какую вы склонны еще приписывать себе, господин дю Тюренн входил в небольшие сделочки с разбойниками, но не считал, что это может замарать его. Вы не хотите быть мне обязанным, да? За этим дело не станет,— с усмешкой продолжал Вотрен.— Возьмите этот клочок бумаги,— сказал он, вы-

таскивая гербовый бланк,— и надпишите наискось: «Принят в сумме трех тысяч пятисот франков, подлежащих уплате через год». Проставьте число! Процент настолько высок, что освобождает вас от всяких угрызений совести, вы имеете право называть меня ростовщиком и считать себя свободным от какой-либо признательности. Я разрешаю вам презирать меня уже с нынешнего дня, будучи уверен, что потом вы станете меня любить. Вы можете найти во мне глубокие бездны, сильные, сосредоточенные чувства — то, что глупцы зовут порожками, но никогда не встретите неблагодарности и подлости. Словом, мой мальчик, я не слон, не пешка, а ладья.

— Что вы за человек? — воскликнул Эжен.— Вы созданы для того, чтобы терзать меня!

— Нисколько, я просто добрый человек, готовый замарать себя вместо вас, чтобы вы до конца дней своих избавились от грязи. Вы задаете себе вопрос, что за причина такой преданности? Хорошо, когда-нибудь я вам отвечу, но тихо, на ушко. Сначала я вас напугал, показав вам механизм общественного строя и двигатель этой машины; но первый ваш испуг пройдет, подобно страху новобранца на поле битвы, и вы привыкнете к той точке зрения, что люди не что иное, как солдаты, обреченные умирать для блага тех, кто себя сам коронует в короли. Времена сильно изменились. Бывало, говорили какому-нибудь смельчаку: «Вот сто золотых, убей такого-то» — и преспокойно ужинали, ни за что ни про что спровадив человека на тот свет. Теперь я предлагаю вам большое состояние за кивок головой, что не роняет вас нисколько, а вы еще колеблетесь. Дряблый век!

Эжен подписал вексель и получил в обмен кредитные билеты.

— Отлично! Теперь поговорим серьезно,— продолжал Вотрен.— Я собираюсь через несколько месяцев отправиться в Америку, разводить табак. По дружбе буду вам присылать сигары. Коли разбогатею, помогу вам. В случае отсутствия у меня детей (случай вероятный: мне неинтересно насаждать свои отводки) я завещаю вам свое богатство. Это ли не дружба? Но я люблю вас. У меня страсть жертвовать собой другому человеку.

Так я и поступал. Дело в том, мой мальчик, что я живу в более высокой сфере, чем остальные люди. Действие я считаю средством и смотрю только на цель. Что мне человек? Вот что! — сказал он, щелкнув ногтем большого пальца себе о зуб.— Человек — или все, или ничто. Если его зовут Пуаре, так это меньше, чем ничто,— он плоский, вонючий, его можно прихлопнуть, как клопа. Но если человек похож на вас, он бог: это уже не механизм, покрытый кожей, но театр, где действуют лучшие чувства, а я живу только чувствами. Чувство, разве это не целый мир в едином помысле? Взгляните на того же папашу Горио, для него две его дочери — вселенная, путеводная нить в мире бытия. Я глубоко заглянул в жизнь и признаю только одно подлинное чувство: взаимную дружбу двух мужчин. Моя страсть — Пьер и Джафьер. Я знаю наизусть «Спасенную Венецию». Много ли найдете вы людей такой закалки, чтобы они, когда товарищ скажет: «Идем, зароем труп!» — пошли, не проронив ни звука, без надоедливой морали? Я делал это. Такие разговоры я веду не с каждым, но вы человек высшего разряда, вам можно сказать все, вы все сумеете понять. Вы недолго будете барахтаться в болоте, где живут окружающие нас головастики. Мы, кажется, договорились? Вы женитесь. Шпаги наголо — и напролом! Моя стальная и не погнется никогда, так-то!

Вотрен сейчас же вышел, чтобы не получить отрицательного ответа и дать Эжену прийти в себя. Видимо, для него была не тайна, что все эти слабые противодействия, все эти споры — только рисовка человека перед самим собой для оправдания своих предосудительных поступков.

«Пусть делает, что хочет, но я, конечно, не женюсь на мадемуазель Тайфер!» — сказал себе Эжен.

Выдержав приступ душевной лихорадки от одной мысли о сделке с тем, кто вызывал в нем ужас, но рос в его глазах как раз благодаря цинизму своих понятий и смелости проникновения в сущность общества, Растиньяк оделся, велел привести карету и поехал к графине де Ресто. За последние дни она удвоила свое внимание к молодому человеку, который с каждым шагом все дальше продвигался в высшем обществе и должен был

со временем приобрести опасное для нее влияние. Он расплатился с д'Ажуда и графом де Трай, всю ночь провел за вистом и отыграл свой проигрыш. Значительная часть людей, одиноко пробивающих себе дорогу, бывает фаталистами, в большей или меньшей степени, поэтому и Растиньяк был суеверен: в этом выигрыше он увидал небесную награду за свое твердое решение остаться на добродетельном пути. На следующее утро он первым делом спросил Вотрена, куда тот девал его вексель. Услыхав в ответ, что вексель при Вотрене, Эжен вернул ему три тысячи франков, не скрывая своего вполне естественного удовольствия.

— Все обстоит, как надо,— сказал ему Вотрен.

— Но я вам не сообщник,— ответил Растиньяк.

— Знаю, знаю,— прервал его Вотрен.— Вы все еще ребячитесь и останавливаетесь на пороге из-за всякой ерунды.

Спустя два дня в уединенной аллее Ботанического сада Пуаре и мадемуазель Мишоно сидели на скамейке, освещенной солнцем, и вели беседу с каким-то господином, который недаром казался подозрительным Бьяншону.

— Мадемуазель, я не вижу, что может беспокоить вашу совесть,— говорил Гондюро.— Его превосходительство министр государственной полиции...

— А! Его превосходительство министр государственной полиции...— повторил Пуаре.

— Да, его превосходительство заинтересовался этим делом,— ответил Гондюро.

Но кто поверит, что Пуаре, сам отставной чиновник, правда, неспособный мыслить, но, несомненно, исполненный мещанских добродетелей, продолжал слушать мнимого рантье с улицы Бюффона, даже после того, как этот человек сослался на «полицию», тем самым обнаружив под маской порядочного человека лицо агента с Иерусалимской улицы. А между тем нет ничего естественнее. Особый *вид*, который представлял собой Пуаре в обширном *семействе* простаков, станет понятнее благодаря известному, пока еще не опубликованному, наблюдению некоторых исследователей: существует *переносная* порода, загнанная в государственном бюджете между первым градусом широты (своего рода

административная Гренландия), где действуют оклады в тысячу двести франков, и третьим градусом (областью умеренного климата), где начинаются местечки потеплее, от трех тысяч до шести, где наградные прививаются с успехом, даже дают цветы, несмотря на трудности их взращивания. Одной из черт, характерных для беспросветной узости этого подначального народца, является какое-то механическое, инстинктивное, непроизвольное почтение к далай-ламе любого министерства, который знаком чиновникам лишь по неразборчивой подписи и под названием «его превосходительство министр»,— три слова, равносильные Il Bondo Cant из «Багдадского калифа» и знаменующие для этого придавленного люда священную, непререкаемую власть: как папа у католиков, так и министр в качестве администратора непогрешим в глазах чиновника. Блеск его особы передается его действиям, его словам, даже тому, что говорится от его имени: своим мундиром с золотым шитьем он покрывает и узаконивает все, что делается по его приказу; его превосходительное звание, свидетельствуя о чистоте его намерений и святости его предуказаний, служит проводником для самых неприемлемых идей. Эти жалкие людишки даже ради собственной выгоды не сделают того, что они усердно выполнят при одном слове «его превосходительство». Как в армии существует дисциплина, так и в канцеляриях господствует свое пассивное повиновение; эта система заглушает совесть, опустошает человека и постепенно делает его какой-то гайкой или шурупчиком в машине государственного управления. Гондюро, видимо, знавший людей, сейчас же усмотрел в Пуаре бюрократического дурачка и выпустил своего Deus ex machina — магическое выражение «его превосходительство»,— когда настал момент обнаружить батареи и ошеломить Пуаре, занимавшего, по мнению агента, положение любовника Мишоно, как Мишоно занимала положение любовницы Пуаре.

— Раз уже его превосходительство, да еще самолично, его превосходительство господин ми... О, это совсем другое дело! — сказал Пуаре.

— Вы слышите, что говорит этот господин, а его мнению вы как будто доверяете,— продолжал мнимый

рантье, обращаясь к Мишоно.— Так вот, теперь его превосходительство вполне уверен, что проживающий в «Доме Воке» так называемый Вотрен не кто иной, как беглый каторжник с тулонской каторги, где он известен под прозвищем «Обмани-смерть».

— А! Обмани-смерть! — повторил Пуаре.— Значит, ему здорово везет, если он заслужил такую кличку.

— Разумеется,— ответил агент.— Этой кличкой он обязан своему счастью: он оставался цел и невредим во всех своих крайне дерзких предприятиях. Как видите, он человек опасный! По некоторым своим способностям это личность необыкновенная. Осуждение его на каторгу стало целым событием и создало ему огромный почет в его среде...

— Значит, он человек почтенный? — спросил Пуаре.

— В своем роде. Он добровольно принял на себя чужое преступление — подлог, совершенный одним очень красивым юношей, его любимцем; это был молодой итальянец, заядлый игрок; позже он поступил на военную службу, где, впрочем, вел себя отлично.

— Но если его превосходительство министр полиции убежден, что Вотрен — это Обмани-смерть, зачем ему нужна я? — спросила мадемуазель Мишоно.

— Ах да, в самом деле,— сказал Пуаре,— если министр, как вы изволили нам сообщить, имеет некоторую уверенность...

— Уверенность — это не совсем точно: есть только подозрение. Вы сейчас поймете, в чем тут дело: Жак Коллен, по прозвищу Обмани-смерть, пользуется непререкаемым доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Он много зарабатывает на делах такого рода — для них ведь требуется человек особой пробы.

— Ха-ха! Поняли, мадемуазель, этот каламбур? — спросил Пуаре.— Господин Гондюро назвал его человеком особой пробы, потому что на нем стоит клеймо.

— Мнимый Вотрен,— продолжал агент,— принимает от каторжников их капиталы, помещает в дела и хранит для передачи или самим каторжникам, бежавшим с каторги, или их семьям, если каторжник оставил на этот случай завещание, или же их любовницам, по передаточному векселю на имя мнимого Вотрена.

— Их любовницам? Вы хотите сказать — женам?— заметил Пуаре.

— Нет, каторжники обычно имеют незаконных жен, у нас их называют сожительницами.

— Значит, они все находятся в сожительстве?

— Значит, так.

— Господину министру не подобало бы терпеть такие мерзости. Поскольку вы имеете честь бывать у его превосходительства и, как мне кажется, обладаете человеколюбивыми понятиями, вам следовало бы разъяснить ему, до чего безнравственны эти люди, ведь это очень дурной пример для общества.

— Но правительство сажает их в тюрьму не для того, чтобы показывать как образец всех добродетелей.

— Это справедливо. Однако разрешите...

— Дайте же, дружочек, высказаться господину Гондюро,— вмешалась мадемуазель Мишоно.

— Понимаете, мадемуазель,— продолжал Гондюро,— правительство может выиграть очень много, наложив руку на беззаконную кассу, а, по слухам, она содержит очень крупную сумму. Обмани-смерть сосредоточил у себя значительные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих товарищей, но и «Сообщества десяти тысяч».

— Десять тысяч воров! — испуганно воскликнул Пуаре.

— Нет, «Сообщество десяти тысяч» — это организация воров высокой марки, людей широкого размаха, они не путаются в дела, где добыча дает меньше десяти тысяч франков. В это «Сообщество» входит народ самый отборный — из тех молодчиков, которых мы отправляем прямо в Высший уголовный суд. Они изучили Свод законов и, даже если пойманы с поличным, никогда не дадут подвести себя под статью о смертной казни. Коллен — их доверенное лицо, их советчик. Благодаря огромным средствам этот человек создал свою полицию, обширные связи, скрыв их под покровом непроницаемой тайны. Вот уже год, как мы окружили его шпионами, и все еще не можем разгадать его игру. Таким образом, и эта касса и его таланты помогают оплачивать порок, способствуют злодейству и держат под ружьем

армию мошенников, которые все время воюют с обществом. Арестовать Обмани-смерть и захватить всю его шайку — значит подрубить зло под самый корень. Вот почему это неотложное мероприятие стало делом государственным, делом политики, которое сделает честь тем, кто будет способствовать его успеху. Вы сами могли бы снова поступить на службу по административной части, сделаться секретарем полицейского комиссара, что нисколько не помешает вам получать и вашу пенсию.

— А почему Обмани-смерть не сбежал с кассой? — спросила мадемуазель Мишоно.

— О, куда бы он ни поехал, за ним следом отправят человека с наказом убить его, если он обокрадет каторгу! Кроме того, выкрасть кассу не так легко, как барышню из хорошей семьи. Впрочем, Коллен — молодчина, он не способен на такую штуку, он сам себя считал бы опозоренным.

— Вы правы,— подтвердил Пуаре,— он был бы совершенно опозорен.

— Все это не объясняет нам, отчего вы просто-напросто не арестуете его,— спросила мадемуазель Мишоно.

— Хорошо, я вам отвечу... (Только одно,— шепнул он ей на ухо,— не давайте вашему кавалеру прерывать меня, а то мы никогда не кончим. Этому старику надо стать очень богатым, чтобы его слушали.) Когда Обмани-смерть прибыл сюда, он надел на себя личину порядочного человека, превратился в почтенного парижского горожанина и устроился в незаметном пансионе. Это тонкая бестия, его никогда не застать врасплох. Словом, Вотрен — человек крупный и дела ведет крупные.

— Очень просто,— сказал Пуаре самому себе.

— Ну, а вдруг выйдет ошибка, и арестуют настоящего Вотрена? Министру не хочется, чтобы на него обрушились коммерческий мир Парижа и общественное мнение. У префекта полиции есть враги, и он сидит, как на тычке. В случае провала все, кто метит на его место, воспользуются тявканьем и рычанием либералов, чтобы спихнуть его. Тут надо действовать, как в деле Куаньяра, самозванного графа де Сент-Элен. А окажись он

тогда настоящим графом де Сент-Элен, нам бы не поздоровилось. Вот почему нужна проверка!

— Так, значит, вам нужна хорошенькая женщина? — подхватила мадемуазель Мишоно.

— Нет, он женщину к себе и не подпустит. Скажу вам по секрету: Обмани-смерть не любит женщин.

— Тогда я себе не представляю, что пользы от меня для такой проверки, если, предположим, я соглашусь на это за две тысячи.

— Проще простого,— ответил незнакомец.— Я вас снабжу флакончиком с жидкостью — она имеет свойство вызывать прилив крови к голове, похожий на удар, но совершенно безопасный. Это снадобье можно примешать к кофе или к вину. После его действия вы сейчас же перенесете больного на кровать, разденете, будто бы для того, чтобы узнать, не грозит ли ему смерть. А как только вы останетесь с ним наедине, шлепните его ладонью по плечу — раз! — и вы увидите, проступит на нем клеймо иль нет.

— Сущий пустяк,— откликнулся Пуаре.

— Ну как, согласны? — обратился Гондюро к старой деве.

— А если букв не окажется, я все же получу две тысячи?

— Нет.

— Какое же тогда вознаграждение?

— Пятьсот.

— Стоит идти на этакое дело ради такой малости! Укор для совести не меньше, а мне ее не так легко успокоить.

— Заверяю вас,— вмешался Пуаре,— что у мадемуазель чуткая совесть, не говоря уже о том, что женщина она любезная и весьма сообразительная.

— Ладно,— решила Мишоно,— если это Обмани-смерть, вы даете мне три тысячи, а если это обыкновенный человек, то ничего.

— Идет,— ответил Гондюро,— но при условии, что дело будет сделано завтра же.

— Не так скоро, дорогой мой, мне еще надо посоветоваться с моим духовником!

— Хитра! — сказал агент, вставая с места.— Так до завтра. Если понадобится спешно переговорить со

мной, приходите в переулочек Сент-Анн, в конец церковного двора за Сент-Шапель. Там только одна дверь, под аркой. Спросите Гондюро.

В эту минуту проходил мимо Бьяншон, после лекции Кювье, и своеобразное прозвище «Обмани-смерть» привлекло внимание студента, благодаря чему он также услыхал ответное «идет» знаменитого начальника тайной полиции.

— Отчего вы не закончили с ним дело сразу, ведь это триста франков пожизненной пенсии? — спросил Пуаре, обращаясь к мадемуазель Мишоно.

— Отчего? Это дело надо еще обдумать. Если Вотрен в самом деле Обмани-смерть, то, может быть, выгоднее сговориться с ним. Впрочем, требовать от него денег — это значит предупредить его, и, чего доброго, он улизнет, не заплатив. Получится только мерзкий *пшик*.

— Если бы он и был предупрежден,— возразил Пуаре,— разве за ним не станут наблюдать, как сказал нам этот господин? Правда, что вы-то потеряли бы все.

«А к тому же я не люблю этого человека,— подумала мадемуазель Мишоно.— Мне он говорит только неприятности».

— Но вы можете поступить лучше,— продолжал Пуаре.—Ведь тот господин, по-моему, человек вполне порядочный, да и одет очень прилично, и вот он сказал, что повиновение законам обязывает избавить общество от преступника, какими бы достоинствами он ни отличался. Пьяница не перестанет пить. А вдруг ему взбредет в голову убить нас всех?! Ведь, черт возьми, мы можем оказаться виновниками этих убийств, не говоря о том, что первыми их жертвами будем мы сами!

Размышления мадемуазель Мишоно мешали ей прислушиваться к словам Пуаре, падавшим из его уст, как водяные капли из плохо привернутого крана. Если этот старичок начинал цедить фразы и его не останавливала Мишоно, он говорил без умолку, как заведенный автомат. Заговорив об одном предмете и не сделав никакого заключения, он переходил путем различных вводных предложений к совершенно противоположной теме. Приближаясь к «Дому Воке», Пуаре совсем запутался в

цепи словесных околичностеи и переходов и наконец добрался до рассказа о своих показаниях в деле г-на Рагуло и г-жи Морен, где он выступал свидетелем защиты. Входя в дом, его подруга успела разглядеть Эжена и мадемуазель Тайфер, столь увлеченных задушевным разговором на такую животрепещущую тему, что ни тот, ни другая не обратили ни малейшего внимания на появление двух пожилых жильцов, проследовавших через столовую.

— Так оно и должно было кончиться,— заметила мадемуазель Мишоно, обращаясь к Пуаре.— Всю последнюю неделю они посматривали друг на друга томным взглядом.

— Да, да,— ответил Пуаре.— Потому-то ее и осудили.

— Кого?

— Госпожу Морен.

— Я говорю вам про мадемуазель Тайфер,— сказала мадемуазель Мишоно, войдя по рассеянности в комнату Пуаре,— а вы толкуете мне про госпожу Морен. Что это за женщина?

— А в чем же виновата мадемуазель Викторина?— спросил Пуаре.

— В том, что любит Эжена де Растиньяка и лезет, наивная бедняжка, сама не знает куда.

Утром г-жа де Нусинген довела Эжена до отчаяния. В глубине души он уже отдался полностью на волю Вотрена, сознательно не вдумываясь ни в причины дружелюбия к нему этого необыкновенного человека, ни в будущее их союза. Необходимо было чудо, чтобы отвлечь его от пропасти, куда он чуть не оступился час тому назад, обменявшись с мадемуазель Тайфер самыми нежными обетами. Викторине чудился голос ангела, ей открывались небеса, а «Дом Воке» весь расцветился фантастическими красками, как театральные дворцы под кистью декоратора: она любила, была любима, по крайней мере в это верила она! Да и какая женщина на ее месте не поверила бы в это, глядя на Растиньяка и слушая его целый час тайком от пансионских аргусов?

Отлично сознавая, что поступает гадко да еще умышленно, Эжен старался убедить себя, что, осчаст-

ливив женщину, он тем искупит простительный свой грех, и в этих борениях с совестью даже похорошел от своего отчаяния, светясь всеми огнями ада, пылавшего в его душе. К счастью для него, чудо свершилось: весело вошел Вотрен, прочел все, что таилось в сердцах обоих молодых людей, соединенных изобретательностью его чертовского ума, и сразу оборвал их радостное настроение, насмешливо запев высоким басом:

Мне мила моя Фаншета
Душевной простотой...

Викторина скрылась, унося с собой столько счастья, сколько натерпелась горя в жизни до сих пор. Бедняжка! Пожатие рук, прикосновение волос Эжена к ее щеке, словечко, сказанное на ухо так близко, что чувствовалась теплота губ милого, трепет руки, сжимавшей ее талию, поцелуй в шею — все претворялось в священные обеты их любви, а грозное соседство толстухи Сильвии, готовой каждую минуту ворваться в эту лучезарную столовую, делало их пламеннее, острее и заманчивее самых разительных примеров беззаветного чувства в самых знаменитых повествованиях о любви.

Эти робкие *залоги любви*, по образному выражению наших предков, казались преступлением юной, благочестивой девушке, ходившей к исповеди каждые две недели. Расточая сокровища своей души, она сейчас их подарила больше, чем впоследствии, став женщиной богатой и счастливой, могла подарить, отдавая себя всю.

— Дело сделано,— заявил Вотрен Эжену.— Наши денди повздорили. Все имело приличный вид. Ссора на почве убеждений. Наш голубок оскорбил моего сокола. Встреча завтра в Клиньякурском редуте. В половине девятого, когда мадемуазель Тайфер будет спокойно макать греночки в кофе, она станет наследницей своего отца, его любви и состояния. Шутка сказать! Молодой Тайфер отлично владеет шпагой и самонадеян, как козырной туз, но ему пустят кровь ударом моего изобретения: только приподнять шпагу и колоть в лоб. Я покажу вам этот прием — чертовски полезная штука!

Растиньяк тупо слушал и ничего не мог ответить. В эту минуту вошли папаша Горио, Бьяншон и еще несколько нахлебников.

— Таким я и хотел вас видеть,— сказал Вотрен.— Вы знаете, что делаете. Отлично, мой орленок! Вам суждено управлять людьми, вы сильный, крепкий, боевой — я уважаю вас.

Вотрен хотел пожать ему руку, но Растиньяк резко ее отдернул и, побледнев, упал на стул: на полу у своих ног он видел лужу крови.

— Ах, на нас еще остались кое-какие пеленочки, испачканные добродетелью! — тихо заметил ему Вотрен.— У папаши Долибана три миллиона, его состояние мне известно. Благодаря приданому вы станете белее подвенечного платья даже в ваших собственных глазах.

Растиньяк больше не колебался. Он решил вечером пойти и предупредить Тайферов — отца и сына. Вотрен отошел от него, и тогда папаша Горио шепнул ему на ухо:

— Сынок, вам грустно! Сейчас я вас развеселю. Идемте!

Старый вермишельщик зажег свою витую свечечку о лампу. Эжен, сгорая от любопытства, последовал за ним.

— Зайдемте к вам,— предложил старичок, заранее взяв у Сильвии ключ от комнаты студента.— Сегодня утром вы вообразили, что она не любит вас? Она вас выпроводила от себя поневоле, а вы уж рассердились и ушли в отчаянии. Чудачок! Она ждала меня. Понятно? Нам нужно было пойти одним, чтобы устроить чудесную квартирку, и через три дня в ней будете жить вы. Не выдавайте меня. Она хочет сделать вам сюрприз, но я не считаю больше нужным скрывать от вас наш секрет, это на улице д'Артуа, в двух шагах от улицы Сен-Лазар. Вы будете там жить по-княжески. Мы достали обстановку, как для новобрачной. За последний месяц мы понаделали немало дел, только не говорили вам. Мой поверенный начал военные действия, у моей дочери будет тридцать шесть тысяч франков годового дохода — проценты с ее приданого; я потребую, чтобы ее восемьсот тысяч франков были помещены в доходное недвижимое имущество.

Эжен молчал и, скрестив руки на груди, шагал взад и вперед по своей жалкой неприбранной комнате. Улу-

чив мгновение, когда Эжен повернулся к нему спиной, папаша Горио положил на камин футляр из красного сафьяна с тисненым золотым гербом рода Растиньяков.

— Я, милый мой сынок, ушел с головой в эти дела. Но, надо сказать, тут с моей стороны немало эгоизма. Я очень заинтересован в том, чтобы вы переехали в другое место. Если я попрошу вас об одной вещи, вы не откажете мне, а?

— Что вы хотите?

— Над вашей новой квартирой, на шестом этаже, есть комната с ходом от вас; так в ней поселюсь я, хорошо? Я старею и живу слишком далеко от моих дочек. Я не стесню вас. Я просто буду жить там. Каждый вечер вы будете рассказывать мне про дочку. Вам это не будет помехой, а я услышу, когда вы будете приходить домой, и скажу себе: «Он только что виделся с Фифиной. Он ездил с ней на бал, она счастлива благодаря ему». Если я заболею, лучшим лекарством для моего сердца будет слышать, как вы вернулись, передвигаете мебель, ходите. Ведь у вас в душе останется так много от моей дочки! Оттуда мне два шага до Елисейских полей, где они проезжают каждый день: я буду видеть их постоянно, а то иной раз я прихожу слишком поздно. А может быть, она и сама зайдет к вам! Я буду слушать ее голос, увижу, как она в утреннем капоте бегает туда-сюда или грациозно ходит, словно кошечка. За последний месяц она опять стала такой, какой бывала в девушках,— веселой и франтихой. Душа ее выздоравливает, и этим счастьем она обязана вам. О, для вас я готов сделать невозможное! На обратном пути она мне только что сказала: «Папа, я очень счастлива!» Когда они говорят мне чинно: «Отец»,— я холодею, но когда они зовут меня папой, они мне представляются маленькими девочками и будят во мне лучшие воспоминания. Тогда я больше чувствую себя их отцом. Мне кажется, что они еще не принадлежат никому другому.

Старик вытер глаза, он плакал.

— Давненько не слыхал я таких слов, давненько не брала она меня под руку. Да, да, вот уже десять лет, как я не гулял рядом ни с одной из дочерей! А как приятно касаться ее платья, подлаживаться к ее шагу, чувствовать теплоту ее тела! Сегодня утром я водил

Дельфину всюду. Ходил с ней по лавкам. Проводил ее до дому. О, дайте мне пожить близ вас! Иной раз вам понадобится какая-нибудь услуга, я буду под рукой. Ах, если бы этот толстый эльзасский чурбан умер, если бы его подагра догадалась броситься ему в живот, как счастлива была бы моя дочка! Вы сделались бы моим зятем, вы стали бы открыто ее мужем. Она еще не испытала земных наслаждений и так несчастна, что я прощаю ей все. Бог должен быть на стороне любящих отцов.— Он умолк, а затем, покачав головой, добавил:— Она вас любит очень, очень! По дороге она болтала все про вас: «Не правда ли, папа, он хороший, у него доброе сердце? Говорит ли он обо мне?» От улицы д'Артуа до пассажа Панорамы она мне насказала о вас всякой всячины. Наконец-то Фифина говорила со мною по душам! В это счастливое утро я позабыл о старости, я чувствовал себя легким, как перышко. Я ей сказал, что вы отдали мне тысячу франков. Ах, милочка моя! Она была тронута до слез. А что у вас на камине? — не вытерпел наконец папаша Горио, видя, что Растиньяк не двигается с места.

Эжен, совершенно удрученный, тупо смотрел на своего соседа. Эта дуэль, назначенная, по словам Вотрена, на завтра, утром, так резко расходилась с осуществлением самых дорогих его надежд, что он переживал все, как в кошмаре. Он обернулся в сторону камина, заметил квадратный футляр, открыл его и увидел внутри листок бумаги, а под ним часы Брегета. На листке были написаны следующие слова:

«Хочу, чтобы каждый час вы думали обо мне, потому что...

Дельфина».

Последние слова, очевидно, намекали на какой-то эпизод в их отношениях. Эжен умилился. Внутри золотого корпуса часов был изображен эмалью его герб. Это дорогая и давно желанная вещица, цепочка, ключик, форма и орнамент — все отвечало его вкусам. Папаша Горио сиял. Конечно, он обещал дочери подробно описать радостное изумление Эжена от ее подарка, тем более что в этих юных волнениях души он принимал участие, хотя и в роли третьего лица, но, видимо, был

счастлив не менее других. Он успел полюбить Эжена и как человека и за счастье дочери.

— Пойдите к ней сегодня вечером, она вас ждет. Эльзасский чурбан ужинает у своей танцовщицы. Каким дураком смотрел он, когда мой поверенный выложил ему все начистоту! А кто, как не он, уверяет, что любит мою дочь до обожания? Пусть только прикоснется к ней, я убью его. Одна мысль, что моя Дельфина в его... (он глубоко вздохнул), вынудит меня на преступление, но это не будет человекоубийством, ведь он телячья голова на свиной туше. Так вы возьмете меня жить к себе, а?

— Конечно, дорогой папа Горио, вы хорошо знаете, что я люблю вас.

— Я это вижу, вы-то мной не гнушаетесь! Позвольте вас поцеловать.— И он сжал студента в своих объятиях.— Обещайте мне дать ей счастье! Так вы пойдете к ней сегодня вечером, а?

— О да! Мне только надо сходить по одному неотложному делу.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?

— А правда! Пока я буду у госпожи де Нусинген, сходите к господину Тайферу-отцу и попросите его назначить мне время сегодня вечером, чтобы переговорить с ним об одном крайне важном деле.

— Молодой человек, значит, это верно? — сказал папаша Горио, изменившись в лице.— Вы, чего доброго, и впрямь волочитесь за его дочкой, как утверждают наши дураки внизу? Гром небесный! Вы еще не знаете, какого тумака вам может дать Горио. А ежели вы нас обманывали, то познакомитесь с моим кулаком. О, это же немыслимо!

— Клянусь вам, на всем свете я люблю только одну женщину, но до сегодняшнего дня я этого не сознавал,— ответил Растиньяк.

— Какое счастье! — воскликнул папаша Горио.

— Но дело в том,— продолжал студент,— что сын Тайфера завтра дерется на дуэли и, как я слышал, его убьют.

— А вам какое дело? — спросил Горио.

— Нужно сказать отцу, чтобы он не пускал сына,— ответил Эжен.

На этом слове его прервал голос Вотрена, пропевшего за дверью:

О Ричард, мой король,
Тебя все покидают.
Брум! брум! брум! брум!
Когда объехал я весь свет,
Ни для кого не стало тайной...
Траля, ля, ля, ля...

— Господа,— крикнул Кристоф,— суп подан, все уже за столом!

— Слушай,— сказал ему Вотрен,— поди возьми у меня бутылку бордо.

— Вам нравятся часы? — спросил папаша Горио.— У нее хороший вкус.

Вотрен, папаша Горио и Растиньяк сошли вниз вместе и, опоздав к началу обеда, очутились за столом рядом. Эжен выказывал чрезвычайную холодность к Вотрену, несмотря на то, что этот человек — и вообще-то приятный с точки зрения г-жи Воке — разошелся сегодня, как никогда. Он искрился остроумием и сумел расшевелить всех нахлебников. Такая самоуверенность, такое хладнокровие страшили Растиньяка.

— Какая муха вас сегодня укусила? — спросила г-жа Воке.— Уж очень вы развеселились.

— Я всегда весел после хорошей сделки.

— Сделки? — спросил Эжен.

— Ну да! Я поставил партию товара и потому имею все права на получение комиссионных.— Заметив, что мадемуазель Мишоно приглядывается к нему, Вотрен сказал ей:— Мадемуазель Мишоно, вы все посматриваете на меня сверлящим взглядом. Возможно, вам что-нибудь не нравится в моем лице? Скажите прямо! Чтобы сделать вам приятное, я переменю... Как, Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого? — спросил он, подмигнув старому чиновнику.

— Черт возьми, вам следовало бы позировать для ярмарочного Геркулеса! — воскликнул молодой художник.

— Идет! Если мадемуазель Мишоно будет позировать для надгробной Венеры,— отвечал Вотрен.

— А Пуаре? — спросил Бьяншон.

— О, Пуаре пускай позирует как Пуаре! — крикнул

Вотрен.— И получится бог садов и огородов. Ведь у него и имя-то, если верить произношению Сильвии, происходит от порея.

— От гнилой луковицы! — подхватил Бьяншон.— Вот какой это фрукт!

— Все это глупости,— прервала его г-жа Воке.— Лучше бы вы угостили нас вашим бордо из той бутылочки, что кажет свое горлышко. Это поддержит наше веселое расположение духа. Да и полезно для *жилутка*.

— Милостивые государи,— обратился ко всем Вотрен,— председательница призывает нас к порядку. Госпожа Кутюр и мадемуазель Викторина не станут обижаться на ваши легкомысленные разговоры, но пощадите невинность папаши Горио. Я предлагаю вам распить бутылорамочку бордо, вдвойне славного именем Лафита; просьба не принимать за политический намек. Ну же, чудачина! — крикнул он, глядя на Кристофа, стоявшего на месте.— Сюда, Кристоф! Что это значит? Ты не знаешь своего имени? Давай, чудачина, выпивку!

— Пожалуйте,— ответил Кристоф, подавая ему бутылку.

Налив в стаканы Эжену и папаше Горио, Вотрен медленно налил себе несколько капель и, пока его соседи пили, пробовал вино на язык; вдруг он сделал гримасу:

— Черт! Дьявол! Отдает пробкой! Бери его себе, Кристоф, и достань нам другого, знаешь, там, справа? Нас шестнадцать, тащи восемь бутылок.

— Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов, — заявил художник.

— Хо! Хо!

— Эге!

— Брр!

Выкрики нахлебников раздались со всех сторон, вылетая, как ракеты из бурака.

— Ну-ка, мамаша Воке, ставьте две бутылочки шампанского! — крикнул Вотрен.

— Еще что! Отчего же не весь мой дом? Две шампанского! Двенадцать-то франков! Не по моим делам! Нет! Но ежели господин Эжен за них заплатит, я выставлю черносмородинной.

— От ее черносмородинной слабит, как от крушины,— заметил Бьяншон тихо.

— Молчи, Бьяншон,— ответил Растиньяк,— я не могу слышать слово «крушина», сейчас же прихватывает живот... Хорошо, согласен, плачу за шампанское! — крикнул студент.

— Сильвия, подайте бисквиты и вафли.

— Ваши вафли перестарки и превратились в кафли. А бисквиты тащите на стол! — заявил Вотрен.

Вино пошло вкруговую, сотрапезники оживились, и веселья стало еще больше. Слышался неистовый хохот, раздавались крики, подражавшие голосам различных животных. Музейному чиновнику пришло в голову воспроизвести обычный в Париже крик, сходный с мяуканьем влюбленного кота, и сейчас же восемь голосов поочередно прогорланили:

— Точить ножи, ножницы!

— Канареечное семя певчим птичкам!

— Вот сладкие трубочки, трубочки!

— Чиню фаянс!

— Устрицы, свежие устрицы!

— Старого платья, старых шляп, старых галунов продавать нет ли?

— Вишенья, садова вишенья!

— Зонтики, кому зонтики!

Пальма первенства осталась за Бьяншоном, когда гнусавым голосом он крикнул:

— Колотилки — выколачивать жен и платья!

Несколько минут стоял такой шум, что того гляди голова треснет, какая-то словесная неразбериха, настоящая опера, где дирижировал Вотрен, не спуская глаз с Эжена и папаши Горио, видимо, успевших опьянеть. Оба, откинувшись на спинки стульев, строго смотрели на это необычное бесчинство и пили мало: их заботило то, что надо было сделать в этот вечер, но не хватало сил подняться с места. Вотрен искоса поглядывал на них, следя за тем, как изменялось выражение их лиц, и, улучив момент, когда глаза их замигали, вот-вот закроются совсем, наклонился к Эжену и сказал ему на ухо:

— Так-то, молодчик, мы еще недостаточно хитры, чтобы бороться с дяденькой Вотреном, а он вас слиш-

ком любит и не позволит вам наделать глупостей. Если я что решил, один бог в силах преградить мне путь. Да! Да! Мы собирались предупредить папеньку Тайфера и сделать промах, достойный школьника! Печь накалилась, тесто замешано, и хлеб на лопате; завтра мы будем уплетать его за обе щеки. Так неужели мы не дадим посадить его в печь? Нет, нет, он будет испечен! Если у нас и явятся какие-нибудь угрызения совести, они исчезнут в процессе пищеварения. Теперь мы чуточку поспим, покамест полковник граф Франкессини острием шпаги освободит для нас наследство от Мишеля Тайфера. Наследуя своему брату, Викторина будет иметь тысяч пятнадцать в год. Я уже навел справки и знаю, что наследство со стороны матери больше трехсот тысяч.

Эжен слышал его слова, но не мог ответить: язык его прилип к гортани, им овладело непреодолимое желание уснуть, и стол и лица сотрапезников ему виднелись в каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, нахлебники начали расходиться один за другим. Когда остались только вдова Воке, г-жа Кутюр, мадемуазель Викторина, Вотрен и папаша Горио, Эжен сквозь сон увидел, как Воке берет бутылки со стола и сливает остатки вина в одну бутылку.

— Ах, какие ж они глупые, какие юные! — говорила она.

Это была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.

— Никто, как господин Вотрен, мастер на эдакие проделки,— заметила Сильвия.— Слышите, Кристоф-то урчит, что твой волчок.

— Прощайте, мамаша,— сказал Вотрен.— Иду на бульвар полюбоваться на Марти в «Дикой горе», большой пьесе, переделке из «Отшельника». Если желаете, я сведу туда вас и наших дам.

— Благодарю вас, мы не пойдем,— ответила г-жа Кутюр.

— Как, соседка?! — воскликнула Воке.— Неужели вы отказываетесь посмотреть переделку из «Отшельника», произведения на манер «Атала» Шатобриана? А прошлым летом как мы любили его читать под *липами* и плакали, точно Магдалина Элодийская,— такая это пре-

лесть! Произведение нравственное и может быть поучительно для вашей барышни.

— Нам не до театров,— ответила Викторина.

— Вот они и готовы,— заметил Вотрен, комично поворачивая головы Эжена и папаши Горио.

Прислонив голову студента к спинке стула, чтобы ему было удобнее спать, он с чувством поцеловал его в лоб и пропел:

Забудься сном, любимец мой!
Хранить я буду твой покой.

— Боюсь, как бы он не заболел,— сказала Викторина.

— Тогда останьтесь ухаживать за ним,— ответил ей Вотрен.— Это ваша обязанность, как преданной жены,— шепнул он ей на ухо.— Он обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказываю вам. *Итак*,— произнес он громко,— *они заслужили всеобщее уважение, жили счастливо и народили много деток.* Так кончаются все любовные романы.

Ну, мамаша,— добавил он, обернувшись и обнимая вдову Воке,— надевайте шляпку, парадное платье с цветочками и шарф графини. Я самолично иду за извозчиком для вас.— И он вышел, напевая:

О солнце, солнце, божество!
Твоим раченьем спеют тыквы...

— Ей-богу, госпожа Кутюр, с таким человеком я была бы счастлива хоть на голубятне! Папаша Горио, и тот напился,— продолжала она, оборачиваясь в сторону вермишельщика.— Этот старый скряга ни разу и не подумал свести меня куда-нибудь. Господи! Да он сейчас упадет на пол! Пожилому человеку непристойно так напиваться и терять рассудок. Да и то сказать, чего нет, того не потеряешь. Сильвия, отведите папашу к нему в комнату!

Сильвия, поддерживая старика под мышки, повела его и бросила, как куль, прямо в одежде поперек кровати.

— Милый юноша,— говорила г-жа Кутюр, поправляя Эжену волосы, падавшие ему на глаза,— совсем как девушка: не знает, к чему ведут излишества.

— О, я тридцать один год держу пансион, и немало молодых людей прошло, как говорится, через мои руки! — сказала вдова Воке.— Но никогда не попадался мне такой милый, такой воспитанный, как господин Эжен. Как он красив во сне! Госпожа Кутюр, положите его голову себе на плечо. Э, да она клонится на плечо к мадемуазель Викторине! Детей хранит сам бог: еще немножко, и он разбил бы себе голову о шишку на стуле. Какая бы из них вышла парочка!

— Замолчите, соседка,— воскликнула г-жа Кутюр,— вы говорите такие вещи...

— Да он не слышит,— ответила вдова Воке.— Сильвия, идем одеваться. Я надену корсет.

— Вот тебе раз! Высокий корсет, это пообедавшито? — возразила Сильвия.— Нет, поищите кого другого вас затягивать: мне не пристало быть вашей убийцей. От этакого неразумия и помереть недолго.

— Все равно, надо уважить господина Вотрена.

— Стало быть, вы очень любите своих наследников?

— Ну, Сильвия, довольно рассуждать,— ответила вдова, уходя к себе.

— В ее-то годы! — сказала Сильвия, указывая Викторине на свою хозяйку.

В столовой остались только г-жа Кутюр и ее воспитанница с Эженом, спавшим на ее плече. Храп Кристофа разносился в затихшем доме, оттеняя безмятежный, очаровательный, как у ребенка, сон Эжена. Викторина была счастлива: она могла отдаться делу милосердия, в котором изливаются все лучшие чувства женщины, могла, не совершая тяжкого греха, ощущать у своего сердца биение сердца юноши, и что-то матерински покровительственное запечатлелось на ее лице, какая-то гордость этим чувством. Сквозь сонм всяких мыслей, роившихся в ее душе, пробивалось бурное волнение страсти, разбуженной взаимным жаром их чистых, юных чувств.

— Бедная моя девочка! — сказала г-жа Кутюр, пожимая ей руку.

Старая женщина, любуясь, смотрела на ее страдальческое, непорочное лицо, озаренное в эту минуту сиянием счастья. Викторина походила на старинную икону, где художник, не заботясь об аксессуарах, все волшеб-

ство спокойной, величавой кисти приберег для лика, желтоватого по тону, но в желтизне его как будто отражая золотистые оттенки неба.

— Маменька, а ведь он выпил не больше двух стаканов,— говорила Викторина, проводя рукой по волосам Эжена.

— Если бы он был кутила, дочка, он переносил бы вино так же легко, как и другие,— ответила г-жа Кутюр.— Его опьянение служит ему к чести.

На улице раздался стук экипажа.

— Маменька, это господин Вотрен. Поддержите господина Эжена. Мне не хочется, чтобы этот человек застал меня в таком виде: он употребляет выражения, которые грязнят душу, да и в его взгляде есть что-то тягостное для женщины, точно он раздевает ее глазами.

— Нет, ты ошибаешься,— возразила г-жа Кутюр.— Господин Вотрен хороший человек, отчасти в том же духе, что и мой покойный муж: грубоватый, но добрый, благодушный медведь.

В этот момент очень тихо вошел Вотрен и посмотрел на эту картину — на двух детей, точно ласкаемых светом лампы.

— Вот такие сцены,— сказал он, скрестив руки на груди,—вдохновили бы милого Бернардена де Сен-Пьера, автора «Павла и Виргинии», написать великолепные страницы. Как прекрасна юность, госпожа Кутюр! Спи, милый мальчик,— произнес он, глядя на Эжена,— хорошее приходит иногда во время сна. Сударыня,—обратился он к вдове,— в этом молодом человеке меня влечет и трогает гармония его душевной красоты и красоты его лица. Взгляните: разве это не херувим, уснувший на плече ангела? Он достоин любви! Будь я женщина, я бы с наслаждением умер (нет, я не так глуп!), жил бы для него. Любуясь ими,— шепотом продолжал он, наклонившись к уху вдовы,— я не могу отрешиться от мысли, что бог создал их друг для друга. У провидения свои тайные пути, оно испытует сердца и чресла,— сказал он уже громко.— Глядя на вас, детей, единых равной чистотой и всеми человеческими чувствами, я говорю себе: для них и в будущем разлука невозможна. Бог справедлив. Да-а! — обратился он к девуш-

ке.— Мне помнится, как-то я заметил у вас линии счастливой жизни. Мадемуазель Викторина, дайте-ка мне вашу руку. Я смыслю в хиромантии, мне приходилось гадать не один раз. Ну же, не бойтесь! О, что я вижу? Честное слово, вы очень скоро будете одной из самых богатых наследниц во всем Париже. Вы осчастливите своего милого превыше головы... Отец возвращает вас к себе. Вы выходите замуж за молодого человека, титулованного, красивого, который обожает вас.

Тяжелые шаги кокетливой вдовы, спускавшейся вниз, прервали пророчества Вотрена.

— А вот и маменька Вокке, прекррасна, как звеззда, и стянута в рюмочку. Мы чуточку себя не душим? — спросил он ее, пощупав планшетку корсета.— Под ложечкой-то, маменька, здорово перетянуто. Не дай бог, расплачемся, произойдет взрыв: конечно, я подберу осколки со всем тщанием любителя древностей.

— Вот он знает французский любезный разговор! — сказала вдова на ухо г-же Кутюр.

— Прощайте, дети,— обратился Вотрен к Викторине и Эжену.— Благословляю вас,— сказал он, возлагая руки на их головы.—Поверьте мне, мадемуазель, добрые пожелания честного человека что-нибудь да значат, они принесут счастье. Бог внемлет им.

— Прощайте, милый друг,— сказала г-жа Воке своей жилице.— Не думаете ли вы,— спросила она шепотом,— что у господина Вотрена серьезные намерения в отношении меня?

— Гм! Гм!

Когда обе женщины остались одни, Викторина, взглянув на свои руки, произнесла со вздохом:

— Ах, маменька, если бы этот добрый господин Вотрен оказался прав!

— Для этого нужно только одно: чтобы этот изверг, твой брат, свалился с лошади,— ответила старая дама.

— О маменька!

— Господи, может быть, это и грех желать зла своему врагу,— сказала вдова.— Что делать, покаюсь в этом на духу! А я, по правде говоря, от чистого сердца снесу цветы на его могилу. Гадкая душа! У него нет мужества замолвить слово за свою мать, а ведь он присвоил ее наследство всякими каверзами в ущерб тебе.

У моей кузины было хорошее состояние. На твое горе, никто даже не заикнулся о том, чтобы оговорить его в брачном договоре.

— Если бы мое благополучие досталось мне ценою чьей-нибудь жизни, мне было бы тяжело им пользоваться,— возразила Викторина.— Раз для моего счастья необходимо, чтобы брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь.

— Боже мой! Ты сама видишь, этот милый господин Вотрен — человек религиозный,— отвечала г-жа Кутюр,— и мне было очень приятно убедиться, что он не безбожник, как другие, которые рассуждают о боге с меньшим уважением, чем о дьяволе. И вот господин Вотрен говорит: кто может знать, какими путями ведет нас провидение?

С помощью Сильвии двум женщинам удалось перенести Эжена в его комнату и уложить на постель; кухарка расстегнула на нем одежду, чтобы ему было удобнее. Перед уходом, когда г-жа Кутюр отвернулась, Викторина запечатлела на лбу Эжена поцелуй, вкусив всю сладость счастья от этого преступного лобзания. Она окинула взглядом его комнату, можно сказать, объединила в одной мысли блаженные переживания за этот день, нарисовала себе эту картину, долго ею любовалась и уснула самым счастливым существом в Париже.

Вотрен устроил пиршество, чтобы подпоить Эжена и папашу Горио вином с примесью снотворного, но эта выпивка решила также гибель самого Вотрена. Полупьяный Бьяншон забыл расспросить мадемуазель Мишоно про Обмани-смерть. Упомяни Бьяншон такое прозвище, оно, несомненно, заставило бы насторожиться Вотрена, или, назовем его настоящим именем, Жака Коллена, одну из каторжных знаменитостей. В довершение всего, когда мадемуазель Мишоно, надеясь на щедрость Коллена, подумывала, не выгоднее ли будет предупредить его, чтобы он скрылся ночью, в эту минуту Вотрен прозвал ее надгробною Венерой, и старая дева решила предать его в руки полиции. Она сейчас же вышла в сопровождении Пуаре и направилась в переулок Сент-Анн, к знаменитому начальнику сыскной полиции, воображая, что ей опять придется иметь дело с чиновником по имени Гондюро, а ее очень любез-

но принял сам начальник сыскной полиции. В беседе с ним, оговорив все точно, мадемуазель Мишоно попросила дать ей обещанное питье, чтобы с помощью его проверить, есть ли следы клейма или их нет. В то время, как этот человек, великий в маленьком переулке Сент-Анн, искал пузырек в одном из ящиков письменного стола, мадемуазель Мишоно догадалась по выражению удовольствия на его лице, что захват Вотрена представлял собой нечто более важное, чем арест простого каторжника. Пошевелив мозгами, она стала подозревать, что полиция на основе некоторых показаний каторжников-предателей рассчитывала прибрать к рукам большие деньги. Когда она высказала начальнику свои предположения, он заулыбался и постарался рассеять подозрения старой девы.

— Вы ошибаетесь,— ответил он.— Коллен самая опасная *сорбонна*, когда-либо существовавшая в воровском мире. Вот и все. Всем негодяям это хорошо известно: он их знамя, их опора—словом, их Бонапарт; он общий их любимец. Такой ловкач никогда не оставит нам своего *чурбана* на Гревской площади.

Мадемуазель Мишоно не поняла, тогда Гондюро объяснил ей два слова, взятых им из воровского языка. «Сорбонна» и «чурбан» — два сильных выражения блатного языка: воры первые почувствовали необходимость рассматривать человеческую голову с двух точек зрения. «Сорбонна» — голова живого человека, его советчик, его мысль. «Чурбан» — презрительное обозначение ничтожества, в какое превращается та же голова, когда ее отрубят.

— Коллен разыгрывает нас,— продолжал он.— Сталкиваясь с человеком, твердым, как брус английской стали, мы имеем возможность убить его, если ему вздумается при аресте оказать малейшее сопротивление. Мы и рассчитываем на противодействие силой со стороны Коллена, чтобы завтра утром его убить. В таком случае нет ни процесса, ни расходов на содержание, на стражу и общество избавлено от всех хлопот. Судебная процедура, вызов свидетелей, возмещение их расходов, казнь — словом, все необходимое, чтоб нам разделаться законным образом с любым из этих негодяев, обойдется дороже тысячи экю, которые вы получите от нас,

не говоря уже об экономии во времени. Всадив штык в брюхо Обмани-смерть, мы предупредим сотню преступлений и не дадим совратиться полусотне негодяев, которые будут держать себя благоразумно в соседстве с исправительной полицией. Вот это и называется «хорошо организованная полиция». По мнению настоящих филантропов, действовать таким образом — значит предупреждать преступления.

— Ведь это же и есть служение своей стране! — заметил Пуаре.

— Сегодня вы говорите вполне здраво,— ответил начальник полиции.— Да, разумеется, мы служим своей стране. А люди весьма несправедливы к нам. Мы оказываем обществу очень большие, но скрытые услуги. Поэтому человеку широких взглядов надлежит стать выше предрассудков, а христианину примириться с несчастными последствиями, возможными и в благом деле, когда оно осуществляется не общепринятым порядком. Поймите, Париж есть Париж! Этим объясняется и моя жизнь. Имею честь кланяться, мадемуазель. Пошлите Кристофа на улицу Бюффона к господину Гондюро, в тот дом, где вы меня видели. Ваш покорный слуга, сударь. Если когда-нибудь вас обворуют, прибегните ко мне, и вам вернут украденное: я к вашим услугам.

— И вот находятся болваны, которые выходят из себя от одного слова «полиция»,— говорил Пуаре мадемуазель Мишоно.— Этот господин очень любезен, а то, чего он требует от вас, проще простого.

Следующему дню предстояло войти в список чрезвычайных дат истории «Дома Воке». До этого наиболее выдающимся событием в тихой жизни пансиона было появление мелькнувшей, как метеор, графини де л'Амбермениль. Но все должно было померкнуть перед событиями этого великого дня, к которому впоследствии сводились все разговоры г-жи Воке. Прежде всего Эжен и Горио проспали до одиннадцати часов. Сама вдова вернулась из театра Гетэ в полночь и пролежала в постели до половины одиннадцатого. Продолжительный сон Кристофа, который допил бутылку, полученную от Вотрена, повел к тому, что весь обычный распорядок

дня в пансионе был нарушен. Пуаре и мадемуазель Мишоно не имели ничего против того, что завтрак задержался. Викторина и г-жа Кутюр спали до позднего утра. Вотрен ушел из дому раньше восьми часов и вернулся только к завтраку. Поэтому никто не возмущался, хотя было уже четверть двенадцатого, когда Сильвия с Кристофом отправились стучать во все двери, объявляя, что завтрак подан. В отсутствие слуги и Сильвии мадемуазель Мишоно сошла вниз первой и подлила снадобье в принадлежавший Вотрену серебряный стаканчик со сливками для его кофе, которые подогревались в горячей воде вместе со сливками для остальных жильцов. Старая дева рассчитывала на эту своеобычность пансиона, чтобы сделать свое дело. Семь пансионеров собрались не сразу. Когда Эжен, потягиваясь, спускался с лестницы последним, посыльный передал ему письмо от г-жи де Нусинген. В письме было написано:

«По отношению к вам, дорогой друг, во мне нет ни ложного самолюбия, ни гнева. Я ждала вас до двух часов ночи. Ждать любимого человека! Кто изведал эту пытку, тот не подвергнет ей никого. Видно, что любите вы в первый раз. Что случилось? Я в тревоге. Если бы я не боялась выдать тайну своего сердца, я бы отправилась узнать, что приключилось с вами: хорошее или дурное? Но если бы я ушла или уехала из дому в такой час, разве я не погубила бы себя? Я почувствовала, какое несчастье быть женщиной. Успокойте меня, объясните, почему вы не пришли после того, что рассказал вам мой отец. Я посержусь, но прощу. Может быть, вы заболели? Зачем вы живете так далеко? Ради бога, одно только слово. До скорого свидания, не правда ли? Если вы заняты, мне довольно одного слова. Напишите: «еду» или «болен». Но если бы вам нездоровилось, мой отец пришел бы сказать мне. Что же случилось?..»

— Да, что же случилось? — воскликнул Эжен и, комкая недочитанное письмо, кинулся в столовую.— Который час?

— Половина двенадцатого,— ответил Вотрен, накладывая сахар себе в кофе.

Беглый каторжник взглянул на Эжена холодным завораживающим взглядом: такой взгляд бывает только у людей исключительной магнетической силы и, как говорят, способен усмирять буйных в сумасшедшем доме. Эжен содрогнулся всем существом. С улицы послышался стук кареты, и в комнату стремительно вошел испуганный лакей, в котором г-жа Кутюр сейчас же признала по ливрее слугу г-на Тайфера.

— Мадемуазель! — воскликнул он.— Ваш батюшка просит вас к себе. У нас большое несчастье. Господин Фредерик дрался на дуэли, он получил удар шпагой в лоб, и врачи отчаялись его спасти; вы едва успеете проститься с ним, он уже без памяти.

— Бедный молодой человек! — громко произнес Вотрен.— Как это можно заводить ссоры, имея тридцать тысяч годового дохода? Положительно, молодежь не умеет вести себя.

— Милостивый государь! — окликнул его Эжен.

— В чем дело, взрослый ребенок? Разве дуэли происходят в Париже не каждый день? — спросил Вотрен, невозмутимо допивая кофе, в то время как Мишоно, не отрывая глаз, глядела на него с таким вниманием, что ошеломившее всех событие прошло мимо нее.

— Викторина, я поеду с вами,— сказала г-жа Кутюр.

Перед уходом Викторина со слезами на глазах посмотрела на Эжена таким взглядом, который говорил: «Не думала я, что наше счастье я оплачу слезами!»

— Уж не пророк ли вы, господин Вотрен?— спросила вдова Воке.

— Я кто угодно,— ответил Жак Коллен.

— Как это странно! — продолжала г-жа Воке, нанизывая одну на другую ничего не значащие фразы по поводу этого события.— Смерть хватает нас, не спрашивая. Часто молодежь умирает раньше стариков. Наше счастье, что мы, женщины, не деремся на дуэли; зато у нас есть свои болезни, от которых избавлены мужчины. Мы родим детей, и материнские муки бывают продолжительны! И повезло же Викторине! Отец вынужден будет ее признать.

— Да-а! —произнес Вотрен, глядя на Эжена.—Вчера у нее не было ни одного су, а сегодня — несколько миллионов.

— Послушайте, господин Эжен! — воскликнула г-жа Воке.— А вы не прогадали!

При этих словах папаша Горио взглянул на студента и увидал в его руке смятое письмо.

— Вы не дочли его! Что это значит? Неужели вы такой же, как другие? — спросил он Растиньяка.

— Госпожа Воке, я никогда не женюсь на мадемуазель Викторине,— сказал Эжен с чувством такой гадливости и ужаса, что привел всех в недоумение.

Папаша Горио схватил руку студента и пожал ее. Ему хотелось ее поцеловать.

— Ого! У итальянцев есть хорошее выражение: col tempo [1],— сказал Вотрен.

— Я жду ответа,— напомнил посыльный от г-жи де Нусинген.

— Скажите, что я буду.

Посыльный ушел. Эжен пришел в сильное возбуждение и забыл об осторожности.

— Как быть? — спрашивал он, громко разговаривая с самим собой.— Никаких доказательств!

Вотрен усмехнулся. В этот момент питье, рассасываясь в желудке, стало действовать. Но каторжник оказался настолько крепок, что встал и, глядя на Растиньяка, глухим голосом проговорил:

— Молодой человек, хорошее приходит, пока мы спим.

И упал замертво.

— Значит, есть суд божий! — воскликнул Эжен.

— Что такое с нашим бедненьким милым господином Вотреном?

— Удар! — воскликнула мадемуазель Мишоно.

— Сильвия, милочка, сходите за врачом,— распорядилась вдова.— А вы, господин Растиньяк, бегите к Бьяншону: Сильвия может не застать нашего врача, господина Гренпреля.

Растиньяк обрадовался предлогу уйти из этого ужасного вертепа и бросился бегом.

— Эй, Кристоф, рысью к аптекарю, попроси чего-нибудь от удара!

Кристоф вышел.

---

[1] Покажет будущее *(итал.)*.

— Папаша Горио, да помогите же нам перенести его к нему наверх.

Вотрена подхватили, кое-как пронесли по лестнице и положили на кровать.

— Вам от меня толку никакого, я пойду повидать дочек,— сказал Горио.

— Старый эгоист! — воскликнула Воке.— Ступай! Чтоб ты сдох, как собака!

— Пойдите посмотрите, нет ли у вас эфира,— попросила г-жу Воке мадемуазель Мишоно, сняв с Вотрена верхнее платье при помощи Пуаре.

Вдова Воке сошла к себе вниз, оставив Мишоно распоряжаться на поле битвы.

— Ну, живо, снимайте с него рубашку и поверните его спиной. Будьте хоть чем-нибудь полезны: избавьте меня от зрелища некоторых частей тела,— приказала она Пуаре.— Что вы стоите, как истукан?

Вотрена повернули, мадемуазель Мишоно с силой хлопнула больного по плечу, и две роковые буквы забелели на покрасневшем месте.

— Ну, и легко же вы заработали три тысячи наградных! — воскликнул Пуаре, поддерживая Вотрена, пока мадемуазель Мишоно надевала на него рубашку.— Уф, и тяжел же он,— заметил Пуаре, укладывая Вотрена.

— Тише! Не тут ли касса? — отрывисто сказала старая дева, с такой алчностью разглядывая каждую вещицу в комнате, точно хотела пронзить глазами стены.— Кабы открыть этот секретер под каким-нибудь предлогом! — продолжала она

— Пожалуй, это будет нехорошо,— отвечал Пуаре.

— Нет! Деньги краденые, принадлежали всем, теперь ничьи. Не успеть,— добавила она,— уже идет Воке.

— Вот вам эфир,— сказала ей Воке.— Можно сказать, сегодня день происшествий. Господи! Не может того быть, что этот человек болен, он белехонек, как цыпленок.

— Как цыпленок? — повторил Пуаре.

— Сердце бьется ровно,— продолжала вдова, положив руку на грудь Вотрена.

— Ровно? — удивился Пуаре.

— Он совсем здоров.

— Вы думаете? — спросил Пуаре.

— Право, он точно спит. Сильвия пошла за врачом. Гляньте-ка, мадемуазель Мишоно, он вдыхает эфир. Так это у него просто *обморок*. Пульс хороший. Мужчина крепкий. Видите, какая шерсть у него на груди: такой человек проживет сто лет. А парик держится, несмотря ни на что. Да он у него приклеен: волосы-то накладные по случаю того, что сам он рыжий. Говорят, рыжие бывают или очень хорошие, или очень плохие люди. А он, пожалуй, что хороший?

— Хорош, если повесить,— отозвался Пуаре.

— На шею хорошенькой женщине, хотите вы сказать,— резко оборвала его мадемуазель Мишоно.— Уходите-ка отсюда. Это наше, женское дело ухаживать за вами, мужчинами, когда вы больны. Лучше пойдите прогуляйтесь, на это вы годитесь,— добавила она.— А мы с госпожой Воке отлично выходим нашего дорогого господина Вотрена.

Пуаре вышел тихо и послушно, как собака, получившая пинок от своего хозяина.

Растиньяк ушел из дома, чтобы походить и подышать свежим воздухом; он задыхался. Ведь накануне он хотел помешать этому убийству, а оно свершилось точно в назначенное время. Что же произошло? Как ему быть? Сознание, что он сообщник преступления, бросало его в дрожь. Хладнокровие Вотрена продолжало страшить его.

«А если бы Вотрен умер, ничего не сказав?» — спрашивал себя Растиньяк.

Он бегал по аллеям Люксембургского сада, словно его гнала стая гончих и ему чудился их лай.

— Ну, что,— крикнул ему Бьяншон,— читал «Кормчего»?

«Кормчий» была радикальная газета под редакцией Тиссо; после выхода утренних газет она давала сводку всех новостей дня, приходившую в провинцию на сутки раньше остальных газет.

— Там есть замечательное происшествие,— говорил практикант при больнице имени Кошена.— Сын Тайфера дрался на дуэли с графом Франкессини, офицером старой гвардии, и граф всадил ему шпагу на два дюйма в лоб. Теперь Викторина — одна из самых богатых

невест в Париже. Эх, кабы знать! Смерть — та же азартная игра! Правда, что Викторина поглядывала на тебя благосклонно?

— Молчи, Бьяншон, я не женюсь на ней никогда. Я люблю прелестную женщину, любим ею, я...

— Ты все это говоришь так, точно изо всех сил стараешься не изменить ей. Покажи-ка мне такую женщину, ради которой стоило бы отказаться от состояния досточтимого Тайфера.

— Неужели меня преследуют все демоны?— воскликнул Растиньяк.

— Где ты их видишь? Что ты, с ума сошел? Дай руку, я пощупаю пульс,— сказал Бьяншон.— У тебя лихорадка.

— Ступай к мамаше Воке,— ответил Растиньяк,— там этот старый разбойник Вотрен упал замертво.

— А-а! Ты подтверждаешь мои подозрения; пойду проверю,— сказал Бьяншон, оставляя Растиньяка в одиночестве.

Долгая прогулка студента-юриста носила торжественный характер. Можно сказать, что он обследовал свою совесть вдоль и поперек. Хотя и бродил он по ней ощупью, с оглядкой и плутая, но все же его честность вышла из этого жестокого и страшного испытания прочной, как железная балка, способная выдержать любую пробу. Он вспомнил вчерашние признания папаши Горио, вызвал в своей памяти квартиру на улице д'Артуа, подысканную для него Дельфиной, вынул ее письмо, перечел и поцеловал.

«Такая любовь — якорь моего спасения,— подумал он.— Бедный старик много выстрадал душой. Он ничего не говорит о своих горестях, но кто не догадается о них! Хорошо, я буду заботится о нем, как об отце, буду стараться доставить ему побольше радостей. Раз Дельфина меня любит, она будет часто приходить ко мне и проводить день около него. А важная графиня де Ресто — дрянь, она способна сделать отца своим швейцаром. Милая Дельфина! Она гораздо лучше относится к старику и достойна любви. Сегодня вечером я буду наконец счастлив».

Он вынул часы и залюбовался ими.

«Все так удачно сложилось для меня! Когда полю-

бишь сильно, навсегда, то допустимо и помогать друг другу, следовательно, я могу принять этот подарок. Кроме того, я добьюсь успеха и верну ей все сторицей. В нашей связи нет ничего преступного, ничего такого, от чего может насупиться даже самая строгая добродетель. Сколько порядочных людей заключают подобные союзы! Мы никого не обманываем, а как раз ложь унижает человека. Лгать — значит отрекаться от себя! Она уже давно живет раздельно с мужем. Да я и сам потребую от эльзасца уступить мне эту женщину, раз он не может дать ей счастье».

В душе Эжена шла долгая борьба. Победа осталась за лучшими влечениями юности, но все же, подстрекаемый непреодолимым любопытством, он в половине пятого, когда уже смеркалось, явился в «Дом Воке», дав, впрочем, себе клятву уехать оттуда навсегда. Эжен хотел узнать, умер Вотрен или нет. Бьяншону пришла в голову мысль дать Вотрену рвотного, после чего он велел отнести рвоту к себе в больницу, чтобы сделать химический анализ. Подозрения его окрепли, когда он увидел, с какой настойчивостью мадемуазель Мишоно стремилась выбросить рвоту на помойку. Ко всему прочему Вотрен оправился уж очень быстро, и Бьяншон заподозрил какой-то заговор против веселого затейщика их пансиона. К приходу Растиньяка Вотрен был уже в столовой и стоял у печки. Известие о дуэли сына Тайфера, желание узнать подробности этого события и его последствия для Виктории привлекли нахлебников раньше обычного времени: собрались все, кроме папаши Горио, и теперь обсуждали происшествие. Когда Эжен вошел, глаза его встретились со взглядом невозмутимого Вотрена, и этот взгляд проник Эжену в душу так глубоко, с такой силой рванул в ней струны низких чувств, что Растиньяк вздрогнул.

— Итак, мой милый мальчик,— обратился к нему беглый каторжник,— курносой еще долго не справиться со мной. Как уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар, что прикончил бы даже вола.

— О! Вы можете вполне сказать — быка! — воскликнула вдова Воке.

— Может быть, вас огорчает, что я остался жив? —

сказал Вотрен на ухо Эжену, точно проникнув в его мысли.— Это было бы достойно чертовски сильного человека.

— Ах, да! — вмешался Бьяншон.— Третьего дня мадемуазель Мишоно говорила о некоем господине по прозвищу Обмани-смерть; такая кличка очень подошла бы к вам.

Это сообщение подействовало на Вотрена, как удар молнии. Он побледнел и зашатался, его магнетический взгляд, подобно солнечному лучу упав на Мишоно, своим потоком излученной воли подкосил ей ноги. Старая дева рухнула на стул. Пуаре поторопился стать между нею и Вотреном, сообразив, что ей грозит опасность: такой свирепостью дышало лицо каторжника, когда он сбросил маску добродушия, скрывавшую его подлинную сущность. Нахлебники остолбенели, еще не понимая, в чем заключалась драма. В это мгновение на улице послышались шаги нескольких людей, а затем и звяканье солдатских ружей, опущенных к ноге на уличную мостовую. Пока Коллен непроизвольно искал выхода, посматривая на окна и на стены, четыре человека появились в дверях гостиной. Первым стоял начальник сыскной полиции, за ним — три полицейских.

— Именем закона и короля!..— произнес один из полицейских, но продолжение его речи заглушил рокот изумления.

Потом сразу наступила тишина, и нахлебники расступились, давая дорогу трем полицейским; все трое, опустив руку в боковой карман, держали в ней пистолет со взведенным курком. Два жандарма, войдя следом за представителями полиции, стали у порога, два других показались у двери со стороны лестницы. Шаги солдат и звяканье их ружей послышались на мощеной дорожке, шедшей вдоль фасада. Никаких надежд на бегство,— и взоры всех невольно приковались к Обмани-смерть. Начальник полиции, подойдя к Вотрену, ударил его по голове так сильно, что парик слетел, и голова Коллена представилась во всем своем отталкивающем виде. Его лицо и голова в оправе из кирпично-красных, коротко подстриженных волос являли жуткий образ союза силы и коварства, прекрасно сочетаясь с его могучей

грудью, и были так освещены, как будто озарялись адским пламенем. Каждый понял Вотрена, его прошлое, настоящее и будущее, его жестокие воззрения, культ свободы своей воли, его господство над другими, созданное цинизмом его мыслей, действий и силой организма, приспособленного ко всему. Кровь бросилась в лицо Коллену, глаза его горели, как у дикой кошки. Он подпрыгнул на месте в порыве такой свирепой мощи, так зарычал, что нахлебники вскрикнули от ужаса. При этом львином движении полицейские воспользовались общим смятением и выхватили из карманов пистолеты. Заметив блеск взведенных курков, Коллен понял опасность и в один миг показал высший образец волевой силы человека. Страшное и величественное зрелище! Лицо его отобразило чудесное явление, сравнимое только с тем, что происходит в паровом котле, где сжатый пар способен поднять горы, но от одной капли холодной воды мгновенно оседает. Каплей холодной воды, охладившей ярость каторжника, послужила мысль, быстрая, как молния. Он усмехнулся и поглядел на свой парик.

— Прошли те времена, когда ты бывал вежлив,— сказал он начальнику сыскной полиции. И, кивком головы подозвав жандармов, протянул им руки.— Милостивые государи, господа жандармы, наденьте мне наручники. Беру в свидетели присутствующих, что я не оказал сопротивления.

Быстрота, с какой огонь и лава в этом человеческом вулкане вырвались и снова ушли внутрь, изумила всех, и шепот восхищения пронесся по столовой.

— Карта бита, господин громила,— продолжал Коллен, глядя на знаменитого директора сыскной полиции.

— Ну, раздеться! — сказал крайне презрительно человек из переулка Сент-Анн.

— Зачем? — возразил Коллен.— Здесь дамы. Я не запираюсь и сдаюсь.

Он сделал паузу и оглядел собравшихся, как делают ораторы, намереваясь сообщить поразительные вещи.

— Пишите, папаша Ляшапель,— обратился он к седому старичку, который уселся на конце стола и вытащил из портфеля протокол ареста.— Признаю: я Жак Коллен, присужденный к двадцати годам заключения в оковах, по прозвищу Обмани-смерть, и только что дока-

зал, что это прозвище ношу недаром.— Затем, обращаясь к нахлебникам, сказал: — Пошевели я только пальцем, и вот эти три шпика выпустили бы из меня *клюквенный сок на домушный проспект* маменьки Воке. Чудаки, а ведь берутся подстраивать ловушки.

Услыхав такие страсти, г-жа Воке почувствовала себя дурно.

— Господи! От этого можно заболеть! Я же с ним была вчера в театре Гетэ,— пожаловалась она Сильвии.

— Немножко философии, мамаша,— продолжал Коллен.— Что за беда, если вчера в Гетэ вы были в моей ложе? — воскликнул он.— Разве вы лучше нас? То, что заклеймило нам плечо, не так позорно, как то, что заклеймило душу вам, дряблым членам пораженного гангреной общества; лучший из вас не устоял против меня.

Коллен перевел глаза на Растиньяка, ласково улыбнувшись ему, что странно противоречило суровому выражению его лица.

— Наш уговор, мой ангел, остается в силе, разумеется, в случае согласия! Чьего? Понятно.— И он пропел:

Мне мила моя Фаншета
Сердечной простотой...

— Не беспокойтесь,— продолжал он,— что мне причитается, я сумею получить. Меня слишком боятся и не обчистят!

Каторга с ее нравами и языком, с ее резкими переходами от шутовского к ужасному, ее страшное величие, ее бесцеремонность, ее низость — все проявилось в этих словах и в этом человеке, представлявшем теперь уже не личность, а тип целой выродившейся породы, какого-то дикого и умного, хищного и ловкого племени. В одно мгновение Коллен стал воплощением адской поэмы, где живописно выразились все человеческие чувства, кроме одного: раскаяния. Взор его был взором падшего ангела, намеренного вечно продолжать войну. Растиньяк опустил глаза, принимая его позорящую дружбу как искупление своих дурных помыслов.

— Кто меня предал? — спросил Коллен, обводя присутствующих грозным взглядом, и, остановив его на ма-

демуазель Мишоно, сказал: — Это ты, старая вобла? Ты мне устроила искусственный удар, шпионка? Стоит мне сказать два слова, и через неделю тебе перепилят глотку. Прощаю тебе, я христианин. Да и не ты предала меня. Но кто?.. Эй! Эй! Вы шарите там наверху! — крикнул он, услыхав, что полицейские взламывают у него в комнате шкафы и забирают его вещи.— Птенчики вылетели из гнезда еще вчера. И ничего вам не узнать. Мои торговые книги здесь,— сказал он, хлопнув себя по лбу.— Теперь я знаю, кто меня предал. Не иначе, как этот мерзавец Шелковинка. Верно, папаша взломщик?— спросил Коллен начальника полиции.— Все это уж очень совпадает с тем, что наши кредитки прятались там, наверху. Теперь, голубчики шпики, там нет ничего. Что до Шелковинки, то приставьте к нему хоть всех жандармов для охраны, а не пройдет и двух недель, как его *пришьют*. Сколько вы дали Мишонетке? — спросил Коллен у полицейских.— Несколько тысяч? Я стою большего. Эх ты, гнилая Нинон, надгробная Венера, Помпадур в отрепьях! Кабы ты меня предупредила, у тебя было бы шесть тысяч. А-а! Старая торговка живым мясом, ты не подумала об этом, а то сторговалась бы со мной. Да, я бы дал их, чтобы избежать путешествия, которое мне совсем некстати и причинит большой убыток,— говорил он, пока ему надевали наручники.— Теперь эти молодчики себя потешат и будут без конца таскать меня, чтобы помаять. Отправь они меня на каторгу сейчас же, я скоро бы вернулся к своим занятиям, несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной. На каторге все вылезут из кожи, только б устроить побег своему генералу, своему милому Обманисмерть! У кого из вас найдется, как у меня, больше десяти тысяч собратьев, готовых для вас на все? — спросил он гордо.— Тут есть кое-что хорошее,— добавил он, ударив себя в грудь,— я не предавал никого и никогда! Эй, ты, вобла,— обратился он к старой деве,— посмотри на них! На меня они глядят со страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит от омерзения. Получай свою долю!

Он замолчал, посматривая на нахлебников.

— Какой у вас дурацкий вид! Никогда не видели каторжника? Каторжник такой закалки, как Коллен,

тот самый, что пред вами,— это человек менее трусливый, чем остальные люди, он протестует против коренных нарушений общественного договора, о котором говорил Жан-Жак, а я горжусь честью быть его учеником. Я один против правительства со всеми его жандармами, бюджетами, судами и вожу их за нос.

— Черт побери! Он так и просится на картину,— заметил художник.

— Ты, дядька его высочества палача, гофмейстер Вдовы (такое прозвище, овеянное поэзией ужаса, дали каторжники гильотине),— сказал Коллен, оборачиваясь к начальнику сыскной полиции,— будь добр, подтверди, если меня предал Шелковинка! Я не хочу, чтобы он расплачивался за другого, это было бы несправедливо.

В это время полицейские, все перерыв у него в комнате и составив опись, вернулись и стали шепотом докладывать начальнику. Допрос закончился.

— Господа,— обратился Коллен к нахлебникам,— сейчас меня уведут. Пока я жил здесь, вы были все со мной любезны, я сохраню признательность за это. Примите мой прощальный привет. Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод.

Он сделал несколько шагов, но обернулся взглянуть на Растиньяка.

— Прощай, Эжен,— сказал он нежным, грустным тоном, совершенно непохожим на грубый тон его речей.— На случай, если тебе придется трудно, я оставляю тебе преданного друга.

Несмотря на наручники, он все же встал в позицию, притопнул ногой, как учитель фехтования, и, крикнув: «Раз, два!»,— сделал выпад.

— Попадешь в беду, обращайся *туда*. И он сам и деньги в полном твоем распоряжении.

Этот необычайный человек вложил в последние слова столько шутовства, что смысл их был ясен только ему и Растиньяку. Когда жандармы, солдаты и полицейские вышли из дому, Сильвия, натирая уксусом виски своей хозяйке, взглянула на опешивших нахлебников.

— Что там ни говори,— заметила она,— а человек он был хороший.

Ее слова заставили очнуться всех присутствующих,

завороженных наплывом разнообразных впечатлений от этого события; все поглядели друг на друга, и сразу все заметили сухую, тощую, закоченелую, как мумия, мадемуазель Мишоно: она прижалась к печке и стояла, потупив взор, словно боялась, что тень от козырька слишком прозрачна и не укроет выражения ее глаз.

Эта личность, и раньше не возбуждавшая ничьей приязни, вдруг раскрылась. Раздался глухой ропот, дружно выразивший общее чувство омерзения.

Мадемуазель Мишоно все это слышала, но осталась в комнате. Бьяншон первый наклонился к своему соседу и вполголоса сказал:

— Если эта тварь будет по-прежнему обедать с нами, я переселюсь в другое место.

Тотчас же все, кроме Пуаре, присоединились к решению студента, и Бьяншон, опираясь на общее сочувствие, направился к старику-жильцу.

— У вас особенная близость с мадемуазель Мишоно,— сказал он,— поговорите с ней и внушите, что она должна уйти сейчас же.

— Сейчас же? — удивленно повторил Пуаре.

Затем он подошел к старой деве и сказал ей несколько слов на ухо.

— Но я заплатила вперед за месяц, я живу здесь за свои деньги, как и все,— ответила она, бросая на нахлебников гадючий взгляд.

— Это ничего не значит. Мы сложимся и вернем вам деньги,— возразил Растиньяк.

— Господин де Растиньяк, конечно, на стороне Коллена,— ответила она, испытующе и ядовито глядя на студента,— нетрудно догадаться, почему.

Эжен рванулся как бы с намерением броситься на старую деву и задушить ее. Он понял все коварство этого взгляда, осветившего жутким светом его душу.

— Не связывайтесь с ней! — крикнули нахлебники.

Растиньяк скрестил руки на груди и не ответил.

— Давайте покончим с мадемуазель Иудой,— обратился художник к вдове Воке.— Если вы не выгоните Мишоно, мы все уйдем из вашей лавочки и будем всюду говорить, что в ней живут лишь каторжники да шпионы. В случае же вашего согласия мы будем молчать об этом происшествии, ведь в конце концов оно возможно и в

самом лучшем обществе; пока не будут ставить каторжникам клеймо на лоб, не запретят им рядиться парижскими горожанами и так морочить людей, как они это делают.

Услыхав такое требование, г-жа Воке чудесным образом выздоровела: она выпрямилась, скрестила руки на груди, широко раскрыла свои стеклянные глаза, где не было ничего похожего на слезы.

— Вы что же, дорогой мой, собираетесь разорить мой дом? Вот уж и господин Вотрен... Ах, господи! — прервала она себя.— Не могу удержаться, чтоб не называть его именем порядочного человека. Вот уже одна комната свободна, а вы хотите, чтобы у меня в доме сдавались еще две, да еще в такое время, когда все устроились.

— Господа, берите ваши шляпы, идем обедать на площадь Сорбонны, к Фликото,— предложил Бьяншон.

Вдова Воке сразу прикинула, что выгоднее, и подкатилась к мадемуазель Мишоно.

— Послушайте, моя красотка, вы ж не дадите погибнуть моему заведению, не правда ли? Видите, к чему вынуждают меня эти господа; уйдите к себе в комнату на этот вечер.

— Вовсе не то, не то!—закричали нахлебники.—Мы хотим, чтобы она совсем уехала отсюда, и немедленно!

— Но бедная мадемуазель еще не обедала,— жалобно взмолился Пуаре.

— Пусть обедает, где хочет! — крикнули нахлебники.

— За дверь сыщицу!

— За дверь сыщиков!

— Господа,— воскликнул Пуаре, вдруг возвышаясь до той храбрости, которую внушает любовь даже баранам,— имейте уважение к ее полу!

— У сыщиков нет пола,— возразил художник.

— Вот так полорама!

— За двераму!

— Господа! Это непристойно. Если уж отказывать людям от дому, то надо это делать, соблюдая приличия. Мы заплатили деньги, мы остаемся,— заявил Пуаре, надевая фуражку и садясь на стул рядом с мадемуазель Мишоно, в то время как Воке все продолжала уговаривать ее.

— Ах, шалун,— шутливо сказал ему художник,— ах, шалунишка!

— Ладно, раз не уходите вы, тогда уходим мы,— заявил Бьяншон.

И все нахлебники двинулись толпой к гостиной.

— Мадемуазель, что вы делаете? — воскликнула Воке.— Я разорена. Вам нельзя оставаться: в конце концов они прибегнут к силе.

Мадемуазель Мишоно встала со стула.

— Уйдет!

— Не уйдет!

— Уйдет!

— Не уйдет!

Эти выкрики, следовавшие один вслед за другим, и замечания враждебного характера вынудили мадемуазель Мишоно уехать после некоторых переговоров шепотом с хозяйкой.

— Я переезжаю к госпоже Бюно,— угрожающе заявила она.

— Поезжайте куда угодно, мадемуазель,— ответила вдова Воке, жестоко оскорбленная этим выбором, так как пансион Бюно соперничал с «Домом Воке», а следовательно, был ей ненавистен.— Переезжайте к Бюно, там вас будут поить таким вином, что все лицо сведет на сторону, и кормить всякой дрянью.

Нахлебники в гробовом молчании выстроились двумя рядами. Пуаре так нежно взглянул на мадемуазель Мишоно, так простодушно проявил нерешительность, не зная, должен ли он следовать за ней или остаться, что нахлебники, обрадованные отъездом старой девы, начали переглядываться и смеяться.

— Кис, кис, кис, Пуаре! — крикнул ему художник.— Ну, раз, два, три — гоп-ля, гоп!

Чиновник из музея комически пропел начало известного романса:

Как в Сирию собрался
Красавец Дюнуа...

— Ну же, ведь вам до смерти хочется,— trahit sua quemque voluptas [1],— сказал Бьяншон.

---

[1] Каждого выдает его страсть (*лат.*).

— Каждый бежит за своей подружкой—таков вольный перевод этих слов Вергилия,— добавил репетитор.

Мадемуазель Мишоно посмотрела на Пуаре и показала жестом, будто берет его под руку; Пуаре не устоял против ее призыва, подошел к ней и предложил свою руку.

Раздался взрыв хохота и гром аплодисментов.

— Браво, Пуаре!

— Ай да старик Пуаре!

— Аполлон Пуаре!

— Марс Пуаре!

— Молодчина Пуаре!

В эту минуту вошел посыльный и передал г-же Воке письмо; прочтя его, она бессильно опустилась на стул.

— Остается только сжечь мой дом, на него рушатся все громы небесные. В три часа умер сын Тайфера. Я наказана за то, что желала добра госпоже Кутюр и Викторине ценой несчастья бедного молодого человека. Теперь эти дамы просят отдать их вещи и остаются жить у Тайфера-отца. Он разрешил дочери поселить у себя вдову Кутюр в качестве компаньонки. Четыре комнаты свободны, пяти жильцов как не бывало! Пришла беда — отворяй ворота! — чуть не плача, воскликнула Воке.

Шум экипажа, послышавшийся на улице, вдруг смолк у дома.

— Еще стряслась какая-нибудь беда,— сказала Сильвия.

Неожиданно появился Горио; его лицо светилось счастьем, стало цветущим, старик точно переродился.

— Горио в фиакре! Значит, конец света! — воскликнули нахлебники.

Старик прямо направился в тот угол, где задумчиво стоял Эжен, взял его за руку и весело сказал:

— Идемте.

— Так вы не знаете, что здесь произошло? — ответил Растиньяк.— Вотрен оказался каторжником, его сейчас арестовали, а сын Тайфера умер.

— А нам-то что до этого? — возразил папаша Горио.— Я с дочерью обедаю у вас, вы это понимаете? Она вас ждет, идемте!

Он с такой силой тащил Эжена за руку, понуждая его идти, как будто похищал любовницу.

— Давайте обедать! — крикнул художник.

Все взяли стулья и уселись за стол.

— Вот так штука,— сказала толстуха Сильвия,— сегодня во всем одно несчастье, и у меня баранина со свеклой подгорела. Ну, будете кушать и горелое, ничего не сделаешь!

Вдова Воке была не в силах выговорить ни слова, видя за столом вместо восемнадцати нахлебников лишь десять, но все старались ее утешить и развеселить. Сначала они заговорили о Вотрене и событиях дня, но вскоре, следуя извилистому ходу их беседы, перешли на тему о дуэлях, каторге, судах, о несовершенстве законов и о тюрьмах. В конце концов собеседники на тысячу лье отдалились от Жака Коллена, Викторины, ее брата, и, хотя их было только десять, они кричали громче двадцати: казалось, что собралось народа больше, чем обыкновенно; в этом и заключалась вся разница между сегодняшним обедом и вчерашним. У этого эгоистического люда, который завтра же найдет себе новую поживу среди парижских каждодневных происшествий, его обычная беспечность взяла верх; даже сама Воке поддалась надежде, звучавшей в голосе толстухи Сильвии, и успокоилась.

Весь этот день, с утра до вечера, представлялся Растиньяку какой-то фантасмагорией; несмотря на силу своего характера и крепкую голову, он, даже сидя в фиакре рядом с папашей Горио, все еще не был в состоянии привести в порядок свои мысли, и, после стольких треволнений, все рассуждения старика, проникнутые необычайной радостью, долетали до ушей Эжена, как разговоры, которые нам слышатся сквозь сон.

— Все закончено еще утром. Мы будем обедать втроем, вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с Дельфиной, моей Фифиной. Теперь она будет со мной весь вечер. Мы с самого утра у вас. Сняв сюртук, я работал, как поденщик. Я помогал носить мебель. О, вы не знаете, какой милой Фифина бывает за столом, как она будет внимательна ко мне: «Папа, покушайте вот этого, это вкусно!» А когда она такая, я не

в силах есть. Да, давно мне не было с ней так хорошо, спокойно, как теперь!

— Значит, сегодня весь мир перевернулся? — сказал ему Эжен.

— Перевернулся? — удивился папаша Горио.— Да, никогда не было так хорошо на свете. На улицах я вижу лишь радостные лица, только людей, которые жмут друг другу руки и целуются, таких счастливых, точно все они идут к своим дочкам лакомиться обедом, таким же вкусным, как и тот, что заказала при мне Фифина главному повару Английского кафе. Да, при ней и редька покажется слаще меда.

— Я, кажется, прихожу в себя,— сказал Эжен.

— Извозчик, ну же, двигайтесь! — крикнул папаша Горио, подняв переднее стекло.— Прибавьте ходу, я дам вам сто су на водку, если доставите меня через десять минут, куда вам сказано.

Услыхав такое обещание, извозчик помчался во всю прыть.

— Он же не двигается с места,— говорил папаша Горио.

— А куда вы меня везете? — спросил Растиньяк.

— К вам,— ответил папаша Горио.

Карета остановилась на улице д'Артуа. Старик сошел первым и бросил кучеру десять франков с расточительностью какого-нибудь вдовца, которому в угаре наслаждения все нипочем.

— Ну, идемте,— сказал он Растиньяку и, обогнув через двор новый красивый дом с заднего фасада, привел Эжена к дверям квартиры на четвертом этаже. Папаше Горио не пришлось звонить. Горничная г-жи де Нусинген, Тереза, открыла дверь. Эжен очутился в прелестной квартирке, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета с видом на какой-то сад. Маленькая гостиная по своему уюту и по изяществу всей обстановки не потеряла бы нисколько от любых сравнений, и там при свете восковых свечей Эжен увидал Дельфину, сидевшую перед камином на козетке; она встала, положила ручной экран на полочку камина и тоном глубокой нежности сказала Растиньяку:

— Оказывается, за вами надо посылать, непонятливый мужчина!

Тереза вышла. Студент обнял Дельфину, прижал к себе и от радости заплакал. После стольких тягостных волнений за один день, истомивших ум и сердце, резкий переход от зрелища в «Доме Воке» к этой картине вызвал у Растиньяка приступ нервической чувствительности.

— Я отлично знал, что он тебя любит,— шепотом говорил дочери папаша Горио, пока Эжен, совершенно разбитый, лежа на козетке, был еще не в силах ни говорить, ни дать себе отчета, откуда появилось это волшебство.

— Да идите же, посмотрите,— сказала ему г-жа де Нусинген и, взяв его за руку, привела в комнату, где и ковры, и мебель, и даже мелочи убранства напоминали комнату Дельфины, но все было меньшего размера.

— Недостает только кровати,— заметил Растиньяк.

— Да,— ответила она, краснея и пожимая ему руку.

Эжен взглянул на нее: он был еще юн и понял, сколько истинной стыдливости заключено в душе любящей женщины.

— Вы принадлежите к женщинам, достойным поклонения,— сказал Эжен ей на ухо.— Мы так хорошо понимаем друг друга, что я решаюсь вам сказать: чем сильнее, чем искреннее любовь, тем больше необходимы ей таинственность и скрытность. Не выдадим нашей тайны никому.

— Я-то не никто,— проворчал папаша Горио.

— Вы отлично знаете, что вы — это мы...

— Вот чего мне и хотелось: ведь вы не станете обращать на меня внимания? Я буду ходить и приходить, как добрый дух,— его не видят, но знают, что он здесь. Видишь, Фифиночка, Нини, Диди! Разве не прав был я, когда говорил тебе: «На улице д'Артуа сдается хорошенькая квартирка, давай обставим ее для него». А ты все не хотела. Я тебя породил, я тебя и порадовал. Отцы всегда должны давать, чтобы наслаждаться отцовским счастьем. Всегда давай! Вот твое дело, раз ты отец.

— Как так? — сказал Эжен.

— Да, да, она не хотела: боялась глупых сплетен, как будто мнение света стоит счастья! А все женщины мечтают о том, что сделала она...

Папаша Горио говорил в одиночестве: г-жа де Нусинген увела Эжена в кабинет, где тотчас же раздался хотя и очень осторожный, но все же слышный поцелуй. И эта комната своим изяществом не уступала остальной квартире, где было все безукоризненно.

— Удалось ли предугадать ваши желания? — спросила г-жа де Нусинген, возвращаясь в гостиную, чтобы сесть за стол обедать.

— Чересчур хорошо,— ответил он.— Увы! Все это совершенство роскоши, этот прекрасный сон, осуществленный наяву, всю эту поэзию молодой красивой жизни я чувствую так тонко, что был бы их достоин, но принять этого от вас я не могу, а сам я пока слишком беден, чтобы...

— Ах, так! Вы мне уже перечите? — сказала она с очаровательной гримаской, шутливо-властным тоном, как говорят женщины, когда им нужно высмеять чужие угрызения совести, чтобы вернее их рассеять.

Но Растиньяк подверг себя в тот день слишком серьезному допросу, да и арест Вотрена, раскрыв перед ним бездну, куда он был готов скатиться, настолько укрепил в Эжене благородные чувства и нравственную щекотливость, что он не мог здесь уступить Дельфине, ласково опровергавшей его возвышенные убеждения. Им овладела глубокая печаль.

— Как, неужели вы откажетесь? — спрашивала г-жа де Нусинген.— Вы сознаете смысл подобного отказа? Вы не верите в будущее, вы не решаетесь связать себя со мной. Значит, вы боитесь, что обманете мое чувство к вам? Если вы любите меня, если я... люблю вас, что запрещает вам принять такую пустячную услугу? Если бы вы знали, какое удовольствие доставило мне все устройство этого холостяцкого хозяйства, вы бы не колебались и попросили у меня прощения. У меня были ваши деньги, я их истратила на дело — вот и все. Вы воображаете, что вы великодушны, а вы мелочны. Вам хочется гораздо большего — ах!..— вздохнула она, уловив страстный взгляд Эжена,— а вы ломаетесь из-за пустяков! Если вы не любите меня, о, тогда, конечно, откажитесь. Моя судьба зависит от одного вашего слова. Говорите!.. Ну же, папа, убедите его как-нибудь,— сказала она, обращаясь к своему отцу после минутного молча-

ния.— Неужели он думает, что в вопросах чести я менее чутка, чем он?

Папаша Горио с застывшей улыбкой наркомана смотрел на них, наблюдая эту милую размолвку.

— Ребенок, вы только вступаете в жизнь,— продолжала она, взяв за руку Эжена,— перед вами преграда, непреодолимая для многих, и вот рука женщины устраняет ее с вашего пути, а вы пятитесь назад! Но у вас все впереди, вы составите себе блестящее состояние, успех начертан на вашем красивом челе. Разве вы не сможете тогда вернуть мне то, что я сегодня даю вам заимообразно? Разве дамы в былые времена не дарили своим рыцарям мечей, кольчуг, доспехов, шлемов и коней, чтобы рыцари могли во имя своих дам сражаться на турнирах? Послушайте, Эжен, то, что я предлагаю вам, это и есть оружие нашей эпохи, необходимое каждому, кто хочет стать величиной. Хорош же ваш чердак, где вы живете, если он похож на комнату отца! Значит, обедать мы не будем. Вы хотите огорчить меня? Отвечайте же! — воскликнула она, дергая его за руку.— Боже мой! Папа, уговори его, или я уйду и не увижусь с ним больше никогда.

— Сейчас я вас уговорю,— сказал папаша Горио, выходя из своего восторженного состояния.— Дорогой мой, господин Эжен, вы ведь занимаете деньги у евреев, так?

— Приходится,— ответил Растиньяк.

— Отлично, вот вы и попались,— продолжал старик, вынимая кожаный дрянной, потрепанный бумажник.— Я сам сделался евреем: все счета оплатил я, вот они. За все, что здесь находится, вы не должны ни одного сантима. Сумма небольшая, самое большее пять тысяч франков, и я даю их вам взаймы, а я не женщина, и от меня вы не откажетесь принять. На клочке бумаги вы мне напишете расписку, а деньги отдадите после.

Эжен и Дельфина с удивлением взглянули друг на друга, и на глаза их навернулись слезы. Растиньяк горячо пожал руку старику.

— Ну, что тут такого! Разве вы не мои дети? — ответил папаша Горио.

— Милый папа, но как же вы это сделали? — спросила г-жа де Нусинген.

— А-а, в этом-то вся штука! Когда я уж убедил тебя поселить его поближе, стал я замечать, что ты покупаешь вещи точно для невесты, и сказал себе: «Так она запутается!» Ведь наш поверенный утверждает, что судебное дело против твоего мужа о возврате твоего состояния продлится больше полугода. Ладно! Я взял да продал мою вечную ренту в тысячу триста пятьдесят франков годового дохода; пятнадцать тысяч внес за пожизненный доход в тысячу двести франков, вполне обеспеченный недвижимостью, а из остальных денег заплатил, дети мои, вашим поставщикам. Здесь наверху я снял комнатку за сто пятьдесят франков в год; на сорок су в день я буду жить по-княжески, да еще кое-что будет оставаться. Платья мне почти не нужно, мне и старого не износить. Целых две недели я все посмеиваюсь втихомолку, говоря себе: «Уж и будут они счастливы!» Ну, а разве вы не счастливы?

— О, папа, папа! — воскликнула г-жа де Нусинген, прыгнув на колени к своему отцу.

Дельфина осыпала его поцелуями, ласково прижималась белокурой головой к его щекам и орошала слезами старческое сияющее, ожившее лицо.

— Милый папочка, да вы настоящий отец! Другого такого нет на свете. Эжен любил вас и раньше, как же он будет вас любить теперь!

Папаша Горио уже десять лет не ощущал у своего сердца биения сердца дочери.

— Полно, дети мои, полно, Дельфина,— говорил он,— ты доведешь меня до того, что я умру от радости! Сердце мое готово разорваться. Слушайте, господин Эжен, мы с вами уже в расчете!

И старик сжал дочь в своих объятиях так неистово, так резко, что она вскрикнула:

— Ой, ты делаешь мне больно!

— Я сделал больно тебе! — сказал он, побледнев.

Отец смотрел на нее с нечеловеческим страданием. Чтоб описать лицо этого Христа-отца, пришлось бы поискать сравнений среди образов, созданных великими мастерами кисти для изображения муки, которую претерпел спаситель человечества за благо всего мира. Папаша Горио бережно поцеловал дочь в то место, где его пальцы нажали слишком сильно ее талию.

— Нет, нет, не я сделал тебе больно,— говорил он с вопрошающей улыбкой,— а ты своим криком мне причинила боль.— Осторожно поцеловав дочь, он шепнул ей на ухо: — Все стоит дороже, но надо же отвести ему глаза, а то, чего доброго, он еще рассердится.

Эжен был потрясен неисчерпаемой самоотверженностью старика и любовался ею с чистосердечным восхищением, у молодых людей близким к поклонению.

— Я буду достоин всего этого! — воскликнул он.

— Милый Эжен, как прекрасно то, что вы сейчас сказали! — И г-жа де Нусинген поцеловала его в лоб.

— Ради тебя он отказался от мадемуазель Тайфер и ее миллионов,— добавил папаша Горио.— Да, девочка любила вас; брат ее умер, и теперь она богата, как Крез.

— Зачем было говорить об этом? — упрекнул его Растиньяк.

— Эжен,— шепнула ему на ухо Дельфина,— теперь мне будет грустно весь вечер. О, я буду вас любить всегда!

— Вот мой лучший день со времени вашего замужества! — воскликнул папаша Горио.— Пусть господь бог посылает мне любые страдания, только бы не из-за вас, а я все буду твердить себе: «В феврале этого года я на одну минуту был так счастлив, как другим людям не доводится за всю их жизнь». Взгляни на меня, Фифина!— обратился он к дочери.— Разве она не красавица? Скажите мне на милость, встречали вы когда-нибудь женщину с таким цветом лица и с такой ямочкой на подбородке? Нет, правда, нет? Это я создал такую прелесть! Теперь же благодаря вам она будет счастлива и похорошеет в тысячу раз больше. Если вам, дорогой сосед, нужно в раю мое место, уступаю его вам, а я могу пойти и в ад. Давайте есть, давайте есть, здесь все наше,— вдруг заявил он, уже не зная, что сказать.

— Милый папа!

Он встал, подошел к дочери, взял в руки ее голову и, целуя в пробор, сказал:

— Дитя мое, если бы ты знала, сколько счастья ты можешь дать мне без труда! Я буду жить там наверху; что тебе стоит сделать каких-нибудь два шага и зайти ко мне? Ты обещаешь, да?

— Да, милый папа.

— Повтори.

— Да, милый папа.

— Молчи, а то я дам себе волю и заставлю тебя повторить это сотню раз. Давайте обедать.

Весь вечер прошел в ребячествах, причем папаша Горио дурачился не меньше, чем другие. Он ложился у ног дочери и целовал их, смотрел подолгу ей в глаза, терся головой об ее платье — словом, творил такие безрассудства, на какие способен только любовник, самый нежный, самый юный.

— Вы видите? — шепнула Дельфина Растиньяку.— Когда отец мой с нами, надо всецело принадлежать ему. А это будет иногда очень стеснять.

Эжен, в котором не один раз вспыхивала ревность, не мог осудить ее за эту мысль, содержавшую в себе зачатки всяческой неблагодарности.

— А когда же квартира будет окончательно готова? — спросил Эжен, оглядывая комнату.— Значит, сегодня нам приходится расстаться!

— Да, но завтра вы обедаете у меня,— ответила она с лукавым видом.— Завтра Итальянская опера.

— Я пойду в партер,— заявил папаша Горио.

Настала полночь. За Дельфиной приехала карета. Студент и папаша Горио направились в «Дом Воке» и, разговаривая о Дельфине, все больше и больше восхищались ею, что превратило их беседу в своеобразный словесный поединок между двумя всесильными страстями. Эжен не мог скрыть от себя, что отцовская любовь, чуждая всякого эгоистического интереса, затмевала его любовь своей неколебимостью и глубиной. Кумир отцовских чувств оставался неизменно чистым и прекрасным, а мысль о прошлом и будущем только усиливала это обожание.

Придя домой, они застали вдову Воке, одиноко сидевшую у печки, в обществе Сильвии и Кристофа. Старуха-хозяйка напоминала Мàрия среди развалин Карфагена. Она ждала двух оставшихся у ней жильцов, изливая Сильвии свое горе. Лорд Байрон вложил в уста своего Тассо красноречивые жалобы на жизнь, но им далеко до жизненной правдивости, звучавшей в сетованиях вдовы Воке.

— Сильвия, значит, завтра утром придется готовить только три чашки кофе. Каково! Дом опустел, прямо сердце разрывается на части. Что за жизнь без пансионеров? Ничто. Вот дом мой и обезлюдел. Только в жилом доме жизнь. Чем я грешна перед богом, что накликала на себя все эти беды! Запас-то фасоли и картофеля сделан на двадцать человек. Полиция у меня в доме! Ведь нам придется есть одну картошку! Надо будет рассчитать Кристофа!

Спавший савояр [1] пробудился и спросил:

— Что прикажете?

— Бедный парень! Он вроде как сторожевой пес,— заметила Сильвия.

— Время глухое, все пристроились. Откуда же возьмутся у меня жильцы? Я сойду с ума. А тут еще эта ведьма Мишоно уволокла от меня Пуаре. Чем она ему так угодила, чем так привязала его к себе, что он бегает за ней, точно собачонка?

— Ну, еще бы! Эти старые девки знают, чем взять,— ответила Сильвия, неодобрительно покачивая головой.

— Бедного господина Вотрена обратили в каторжника, а знаешь, Сильвия, вот что хочешь со мной делай, до сих пор не могу этому поверить. Такой весельчак, пил «глорию» на пятнадцать франков в месяц и за все платил наличными!

— Человек тороватый! — добавил Кристоф.

— Не иначе, как тут ошибка,— заключила Сильвия.

— Да нет, он сам признался,— продолжала вдова Воке.— Скажите на милость, и все это случилось в моем доме, в квартале, где и коты-то не шныряют. Честное слово, я прямо как во сне. Видали мы с тобой, и что приключилось с Людовиком XVI, и как пал император, и как он вернулся, и как снова пал — все это мыслимое дело. А ведь против семейных пансионов не пойдешь; без короля можно обойтись, а есть-то нужно постоянно, и если честная вдова, да еще из рода де Конфлан, кормит разнообразными хорошими обедами, так разве что настанет конец света... Да, так оно и есть, это конец света.

— Подумать только, что всю эту кутерьму наделала

---

[1] Уроженец Савойи.

вам мадемуазель Мишоно и, говорят, получит за это ренту в тысячу экю! — воскликнула Сильвия.

— Не говори мне про нее, это просто мерзавка! — сказала г-жа Воке.— А ко всему прочему она собирается переезжать к Бюно. Да она на все способна, в свое время она наверняка проделывала ужасные вещи, и крала, и убивала. Вот бы кому идти на каторгу вместо этого бедняги!

В эту минуту позвонили Эжен и папаша Горио.

— А! Это два моих верных,— со вздохом сказала г-жа Воке.

Оба «верных», сохранившие лишь очень смутное воспоминание о бедствиях, постигших семейный пансион, заявили без стеснений своей хозяйке, что переезжают жить на Шоссе д'Антен.

— Сильвия, бит мой последний козырь! — воскликнула г-жа Воке.— Господа, вы нанесли мне смертельный удар! В самое нутро! Точно кол туда вогнали. Ну и денек! От него постареешь на десять лет. Честное слово, я сойду с ума! Как быть с фасолью? Хорошо же! Раз я остаюсь одна, ты, Кристоф, завтра же получишь расчет. Прощайте, господа, покойной ночи.

— Что с ней такое? — спросил Эжен у Сильвии.

— Ну как же! По случаю этих дел жильцы-то все разъехались. В голове-то у ней и помутилось. Слушайте, никак плачет. Всплакнет, ей и полегчает. Это впервой, как здесь служу, она слезу пускает.

На следующее утро г-жа Воке, по ее выражению, *обдумалась*. Разумеется, как всякая хозяйка, потерявшая всех своих жильцов и пережившая целый переворот в жизни, она была огорчена, но сохранила здравый смысл и показала, какой бывает истинная скорбь, скорбь глубокая, вызванная нарушением материальных выгод и привычного уклада. Несомненно, когда влюбленный покидает те места, где живет его любимая, когда он смотрит на них в последний раз, взор его не так печален, как взор вдовы Воке, когда она глядела на опустевший стол. Эжен стал утешать ее, говоря, что через несколько дней вместо него поселится Бьяншон, у которого кончается срок практики в больнице, да и чиновник из музея неоднократно выражал желание занять комнату г-жи Кутюр, так что она быстро пополнит состав своих жильцов.

— Дай-то бог, дорогой господин Эжен! Но здесь поселилось несчастье. Увидите, не пройдет и десяти дней, как смерть войдет сюда,— сказала Воке, окидывая столовую зловещим взглядом.— Кого-то унесет она?

— Надо переезжать,— тихонько сказал Эжен папаше Горио.

— Сударыня, уже три дня, как я не вижу Мистигри,— заявила, вбегая, испуганная Сильвия.

— Ах, уж если кот мой умер, если уж он ушел от нас, то я...

Бедная вдова, не кончив фразы, всплеснула руками и откинулась на спинку кресла, совершенно убитая этим ужасным предвещанием.

Около полудня, когда почтальоны разносят письма в районе Пантеона, Эжен получил письмо в изящном конверте, запечатанном печатью с гербом де Босеанов. В конверте лежало приглашение на имя г-жи и г-на Нусинген на большой бал у виконтессы, о котором было известно всем еще за месяц. Приглашение сопровождалось запиской для самого Эжена:

«Я подумала, что вы с удовольствием возьметесь быть выразителем моих чувств по отношению к г-же де Нусинген. Посылаю вам приглашение, о котором вы просили, и буду счастлива познакомиться с сестрой г-жи де Ресто. Итак, привозите ко мне вашу красавицу, но постарайтесь, чтобы она не завладела всей вашей приязнью, ибо значительную долю этого чувства вы должны уделить мне в ответ на то, какое я питаю к вам.

Виконтесса де Босеан».

«Да, но г-жа де Босеан довольно ясно намекает, что присутствие барона Нусингена ей нежелательно»,— сказал себе Эжен.

Он сейчас же отправился к Дельфине, очень довольный тем, что может порадовать ее, и твердо надеясь получить за это достойную награду. Г-жа де Нусинген принимала ванну. Эжен остался ждать в будуаре, терзаясь нетерпением, вполне естественным у пылкого молодого человека, уже два года мечтавшего иметь свою возлюбленную. В жизни молодых людей такие переживания неповторимы. Первая женщина, действительно достойная любви, которой увлекается мужчина, то есть

та, которую он видит всегда в блистательной оправе, предписанной парижским высшим обществом, такая женщина не будет иметь соперниц никогда. Любовь в Париже совершенно не похожа на провинциальную любовь. Здесь ни мужчин, ни женщин не обманешь той показной витриной, где каждый для приличия вывешивает стяг, расписанный пустыми фразами о мнимом бескорыстии своих любовных чувств. Здесь женщина должна не только отвечать всем требованиям чувственности и души,— она отлично сознает, что главная ее обязанность — соблюдать множество вздорных мелочей, из которых и состоит жизнь. В парижской любви так много хвастовства, напыщенности, расточительности, наглости и пустозвонства. Если все дамы при дворе Людовика XIV завидовали мадемуазель де Лавальер, когда этот великий государь в порыве чувства к ней забыл, что каждая его манжета стоит тысячу экю, и разорвал их обе, помогая появлению на свет герцога де Вермандуа, то чего же требовать от остальных людей? Совместите в себе богатство, юность, знатность, будьте еще удачливее, если можете; чем больше различных благовоний вы сожжете у подножия вашего кумира, тем благосклоннее он будет к вам,— конечно, если у вас есть кумир. Любовь — это религия, и культ ее, наверно, обходится дороже, чем культы всех других религий: любовь проходит быстро, но, как уличный мальчишка, старается обозначить путь свой разрушением. Богатство чувств — это поэзия живущих на чердаках: без такой роскоши во что там превратилась бы любовь? Правда, бывают души, изъятые из действия парижских драконовских законов, но мы находим их вдали от суетного мира, в тех людях, что не поддались власти общепринятых воззрений, живут где-то там, у чистого источника, быстротекущего, но неиссякаемого, верны своим зеленым кущам и, радостно внимая голосу вселенной, для них звучащему во всем и в них самих, ждут терпеливо своего взлета, скорбя о тех, кто приковал себя к земле. Эжен, подобно большинству молодых людей, почувствовавших вкус ко всяким почестям, стремился выступить во всеоружии на светскую арену; он заразился горячкой света, быть может, ощутил в себе достаточную силу, чтобы господствовать над ним, но еще не видел ни средств,

ни цели такого честолюбия. Когда нет чистой и святой любви, способной заполнить жизнь, жажда власти может оказаться источником прекрасных дел,— стоит лишь отрешиться от всякой личной выгоды, поставив себе целью величие своей страны. Но Растиньяк еще не поднялся до той вершины, откуда человеку можно обозреть и правильно определить течение жизни. Он до сих пор не мог стряхнуть с себя очарование свежих, сладостных понятий, облекающих как бы листвою отрочество людей, выросших в провинции. Эжен все не решался перейти парижский Рубикон. Несмотря на жажду новых ощущений, он все еще не расставался с затаенной мыслью о той счастливой жизни, какую истый дворянин ведет в своей усадьбе. Но все его последние сомнения исчезли накануне, когда он очутился в собственной квартире. Пользуясь материальными преимуществами богатства, как пользовался издавна преимуществами своего происхождения, он сбросил оболочку провинциала и потихоньку занял положение, откуда открывался ему путь к прекрасной будущности. И вот теперь, в ожидании Дельфины, сидя в кресле в ее красивом будуаре, почти готовом и к его услугам, он увидал себя таким далеким от былого Растиньяка, приехавшего год назад в Париж, что, разглядев его каким-то внутренним духовным взором, задал себе вопрос: «Похож ли я теперь на самого себя?»

— Баронесса у себя,— доложила Тереза, появившись так внезапно, что он вздрогнул.

Дельфина лежала на козетке у камина, бодрая и свежая. При виде этой женщины в волнах муслина нельзя было не сравнить ее с теми красивыми индийскими растениями, где плод бывает окружен цветком.

— Отлично! Вот и вы,— сказала она с чувством.

— Отгадайте, что я принес вам,— сказал Эжен, усаживаясь рядом с ней и целуя ей руку.

Прочитав приглашение, г-жа де Нусинген радостно встрепенулась. Она подняла на Эжена влажные глаза и, обвив руками ему шею, прижала его к себе в порыве удовлетворенного тщеславия.

— Ведь это вам (*тебе*,— сказала она на ухо,— но в туалетной комнате Тереза; будем осторожны!) обязана я своим счастьем. Да, я смело называю это

счастьем. Раз это достигнуто благодаря вам, то оно больше, чем торжество самолюбия. Никто не хотел ввести меня в светский круг. В эту минуту вы, может быть, сочтете меня мелочной, пустой и легкомысленной парижанкой, но вы помните, мой друг, что я готова пожертвовать вам всем, и если жажду страстно, как никогда, попасть в Сен-Жерменское предместье, то только потому, что там бываете и вы.

— Госпожа де Босеан как будто намекает, что не рассчитывает видеть у себя на балу барона де Нусингена. Вам этого не кажется? — спросил Эжен.

— Да, конечно,— ответила баронесса, возвращая письмо Эжену.— Такие женщины талантливо умеют быть невежливыми. Но я все равно поеду. Наверно, там будет и моя сестра: я знаю, она шьет себе очаровательное платье. Эжен,— продолжала она тихо,— сестра едет на этот бал, чтобы рассеять ужасные подозрения. Вы не знаете, какие слухи носятся о ней? Нусинген зашел ко мне сегодня утром рассказать, что говорили о ней в клубе, не стесняясь. Боже мой! От чего зависит честь женщины и семьи! Я чувствовала себя обиженной, оскорбленной в лице моей бедной сестры. По словам некоторых лиц, господин де Трай выдал векселей на сумму до ста тысяч франков, почти все векселя просрочил и подлежит преследованию по суду. Видя его безвыходное положение, моя сестра продала какому-то еврею свои чудесные бриллианты; вы, вероятно, видали их на ней, они перешли к ней по наследству от матери графа де Ресто. Словом, вот уже два дня только и разговора, что об этом. Мне теперь понятно, для чего Анастази заказала себе платье, шитое блестками: она хочет привлечь к себе внимание на бале у госпожи де Босеан, явившись во всем блеске и в этих бриллиантах. Но я не хочу уступать ей. Она всегда старается меня затмить и никогда не относилась хорошо ко мне, хотя я делала для нее многое и безотказно давала деньги, когда она нуждалась в них. Однако бросим разговор о свете, я хочу сегодня насладиться полным счастьем.

Еще в час ночи Растиньяк находился у г-жи де Нусинген. Любовно осыпая его прощальными поцелуями, сулившими немало радостей и в будущем, она промолвила с печальным видом:

— Я трусиха, я суеверна, называйте как угодно мои предчувствия, но я трепещу от страха: как бы мне не поплатиться за свое счастье ужасной катастрофой.

— Ребенок! — сказал Эжен.

— Да, сегодня ребенок не вы, а я,— ответила она, смеясь.

Эжен вернулся в «Дом Воке» с твердым намерением покинуть его завтра; по дороге он отдавался тем восхитительным мечтам, какими услаждают себя молодые люди, еще храня на своих устах аромат счастья.

— Ну, как? — спросил его папаша Горио, когда Эжен проходил мимо его комнаты.

— Завтра я расскажу вам все,— ответил Растиньяк.

— Все? Правда? — воскликнул старик.— Ложитесь спать. Завтра начнется наша счастливая жизнь.

На следующее утро Растиньяк и Горио собрались покинуть семейный пансион и ждали только, когда соблаговолит прийти носильщик, как вдруг около двенадцати часов на улице Нев-Сент-Женевьев послышался стук экипажа и замолк у ворот «Дома Воке». Из собственной кареты вышла г-жа де Нусинген и спросила, здесь ли еще ее отец. Получив от Сильвии утвердительный ответ, она проворно взбежала по лестнице. Эжен был у себя, о чем не знал его сосед. За завтраком он попросил Горио захватить и его вещи, сказав, что в четыре часа они встретятся на улице д'Артуа. Но пока старик разыскивал носильщиков, Эжен, быстро сбегав в Школу правоведения на поверку, вернулся, не замеченный никем, домой, чтоб расплатиться с г-жой Воке, не возлагая этой операции на Горио, который в порыве фанатической любви, наверно, заплатил бы за него. Хозяйка вышла из дому. Эжен заглянул к себе наверх, не забыл ли он чего-нибудь, и похвалил себя за эту мысль, увидав в ящике стола свой бессрочный вексель, выданный Вотрену и небрежно брошенный в тот день, когда долг был уплачен. Печка не топилась, и он уже хотел разорвать вексель на мелкие клочки, но, узнав голос Дельфины, решил не делать никакого шума, остановился и прислушался, полагая, что у Дельфины не может быть тайн от него. С первых же слов разговор между отцом и дочерью оказался настолько интересен, что Растиньяк стал слушать.

— Ах, папа,— обратилась она к отцу,— слава богу,

что вам пришло в голову потребовать отчета о моем состоянии как раз вовремя, пока меня еще не разорили! Здесь можно говорить?

— Да, никого нет дома,— ответил папаша Горио изменившимся голосом.

— Что с вами, папа? — забеспокоилась г-жа де Нусинген.

— Ты как обухом ударила меня по голове,— ответил старик.— Да простит тебе бог, дитя мое! Ты не знаешь, как я люблю тебя; кабы ты знала, ты бы не говорила мне таких вещей неожиданно, в особенности если положение не безнадежно. Откуда такая спешка, зачем ты приехала за мной, когда через несколько минут мы отправляемся на улицу д'Артуа?

— Ах, папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с первым порывом? Я сама не своя. Ваш поверенный предупредил нас, что дело кончится, наверно, разорением. Сейчас ваша долголетняя коммерческая опытность будет нам необходима, и, как утопающий хватается за соломинку, я приехала за вами. Когда господин Дервиль увидел, что Нусинген всякими каверзами ставит ему препятствия, он пригрозил судом и заявил, что постановление председателя суда получить недолго. Сегодня утром Нусинген зашел ко мне и спросил: хочу ли я, чтобы и он и я были разорены? Я ответила, что ничего не понимаю в этом, что у меня было состояние, что я должна вступить в пользование им и что разбираться во всей путанице — дело моего поверенного, а я лично в этих вопросах полная невежда и совершенно неспособна что-либо понять. Ведь вы так и советовали мне говорить?

— Правильно,— ответил папаша Горио.

— Тогда он посвятил меня в свои дела. Оказывается, все капиталы, свои и мои, он вложил в только что основанные предприятия, и ради них понадобилось разместить крупные суммы за границей. Если я заставлю его отдать обратно мое приданое, ему придется объявить себя несостоятельным, если же я соглашусь подождать год, он ручается своей честью, что вернет мне состояние в двойном или тройном размере, вложив мои деньги в земельные операции, после чего я буду полной хозяйкой своего имущества. Дорогой папа, он говорил чистосердечно, он напугал меня! Нусинген просил прощения за

свое поведение, дал мне свободу, разрешил вести себя, как мне угодно, при условии, что я предоставлю ему неограниченное право вести дела от моего имени. В доказательство своей чистосердечности он обещал мне вызывать Дервиля всякий раз, когда я захочу, чтобы проверить, насколько правильно составил Нусинген те документы, на основании которых он будет передавать мне мою собственность. Короче говоря, он сдался мне, связав себя по рукам и по ногам. Он просит, чтобы я еще два года вела дом, и умолял меня не тратить на себя больше того, что он определил. Он доказал мне, что ему не остается ничего другого, как сохранять вид внешнего благополучия, что он расстался со своей танцовщицей и будет вынужден соблюдать самую строгую, но и самую тайную экономию в расходах, чтобы дождаться окончания всех начатых им операций, не подрывая своего кредита. Я его и бранила и не хотела ничему верить, стараясь прижать его к стене и узнать побольше. Он показал мне свои книги, а в заключение расплакался. Я никогда еще не видела мужчину в таком состоянии. Он потерял голову, говорил о самоубийстве, просто бредил. Мне стало его жалко.

— И ты поверила всем этим россказням! — воскликнул папаша Горио.— Это же фигляр! Мне приходилось по делам встречаться с немцами. Почти все они были люди добросовестные, открытые, но уж если они, прикрываясь откровенностью и добродушием, начнут хитрить и шарлатанить, то превзойдут всех. Твой муж тебя морочит. Его прижали, вот он и прикидывается мертвым; он собирается хозяйничать от твоего имени еще свободнее, чем от своего. Нусинген воспользуется этим положением, чтобы отвертеться на случай неудачи в своих делах. Он и хитер и вероломен; это мерзавец. Нет, нет, я не собираюсь отправиться на кладбище Пер-Лашез, оставив дочерей нищими! В делах я смыслю кое-что! Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятия! Отлично! Тогда его участие в них выражено в ценностях, расписках, договорах. Пусть их покажет и рассчитается с тобой. Мы выберем дела, которые повыгоднее, и попытаем на них счастья. У нас будет утвержденная законом фирма на наше имя: *Дельфина Горио, состоящая в имущественном разделе со своим супругом ба-*

роном де Нусингеном. Что ж, он принимает нас за дураков? Неужели он думает, будто я могу прожить хотя бы два дня, зная, что ты останешься без состояния, без куска хлеба? Да я не проживу и одного дня, одной ночи, двух часов! Если бы эта мысль оправдалась, я бы умер! Вот еще! Я сорок лет работал, таскал на себе мешки, обливался по́том, всю жизнь терпел лишения ради вас, и только вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ношу, любой труд. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом! Да я умру от ярости! Клянусь всем святым на небесах и на земле, мы выведем все на чистую воду, проверим книги, кассу, дела! Я не прилягу, не буду спать, не буду есть, пока мне не докажут, что состояние целехонько! Слава богу, у вас раздельное владение имуществом; поверенным у тебя будет человек, по счастью, честный,— сам Дервиль. Господь милостив! Ты сохранишь твой миллиончик, твои пятьдесят тысяч дохода в год до конца дней своих, или я наделаю в Париже такого шума, что все ахнут! Коли нас зарежут в трибуналах, я обращусь в Палату. Только бы знать, что у тебя все спокойно и благополучно по части денег: одно это сознание облегчало все мои горести, утоляло мои печали. Деньги — это жизнь. Деньги — все. А что расписывает нам этот эльзасский чурбан? Дельфина, не уступай ни четверти лиара этой жирной скотине, что посадила тебя на цепь и сделала несчастной. Если ты ему нужна, то скрутим его крепко, мы его проучим. Господи! Голова моя горит, что-то жжет меня там, внутри черепа. Моя Дельфина на соломе! Ты? Моя Фифина! Черт побери! Где мои перчатки? Ну, едем, я хочу сейчас же посмотреть все: книги, наличность, корреспонденцию, дела. Я не успокоюсь, пока мне не докажут, что твое состояние не подвергается опасности; мне надо видеть это собственными глазами.

— Дорогой папа, действуйте осторожно! Если в это дело вы внесете малейший оттенок мести, если вы обнаружите слишком враждебные намерения, то я погибла. Он знает вас и находит вполне естественным, что, по вашему внушению, я беспокоюсь за судьбу моего приданого, но клянусь вам, оно в его руках, и он решил не выпускать его. Это такой человек, что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем! Он прекрас-

но знает, что я не стану преследовать его и позорить имя, которое сама ношу. Он слаб и силен в одно и то же время. Я все обдумала. Если мы доведем его до крайности, он разорит меня.

— Так, значит, он мазурик?

— Да, папа, это так,— подтвердила она, с плачем бросаясь в кресло.— Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не огорчались, выдав меня замуж за такого человека! Его закулисная жизнь, его совесть, душа и тело — все как на подбор. Это просто ужасно! Я презираю его, ненавижу! Да, после того, что он мне говорил, я не могу уважать такого подлеца. Человек, способный заняться теми финансовыми махинациями, о которых он рассказал мне, лишен последней крупицы совести, и все мои опасения основаны на том, что я отчетливо прочла в его душе. Он, мой муж, без обиняков предложил мне полную свободу,— а вы знаете, что это значит? — но с условием, что в случае провала предприятий я соглашусь сделаться орудием в его руках, короче говоря, если я соглашусь быть подставным лицом.

— Но на это есть законы! Есть Гревская площадь для таких зятьев! — воскликнул папаша Горио.— Если не будет палача, я сам отрублю ему голову на гильотине.

— Нет, папа, против него законов нет. Выслушайте этот же разговор Нусингена, но в двух словах, очищенный от всяких околичностей, которыми он затуманивал его: «Или все погибло, у вас нет ни лиара и вы разорены, так как подобрать другого сообщника, кроме вас, я не могу; или вы предоставите мне довести мои предприятия до благополучного конца». Ясно? Пока он еще дорожит мной. Моя женская честность служит ему порукой: он знает, что я не присвою его состояния и удовольствуюсь своим. Я вынуждена дать согласие на это жульническое, бесчестное товарищество, иначе мне угрожает разорение. Он покупает мою совесть и платит за нее, разрешая мне быть сколько угодно женой Эжена: «Я позволяю тебе совершать грехи, предоставь и мне совершать злодеяния, разоряя бедняков!» Разве не ясно и это рассуждение? А знаете ли вы, что называет он деловыми операциями? Он покупает на свое имя порожние участки, затем поручает подставным лицам строить там дома. Эти люди отдают подряды на постройку любым

подрядчикам и платят им долгосрочным векселем, а потом за небольшую сумму выдают моему мужу расписку в получении от него денег за постройки; тогда владельцем этих домов оказывается Нусинген, а подставные лица оставляют подрядчиков в дураках, объявив себя банкротами. Фирма торгового дома Нусинген служит для того, чтобы пустить пыль в глаза несчастным строителям. Все это я поняла. Поняла и другое: Нусинген на тот случай, если надо будет доказать, что у него были огромные платежи, перевел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену крупные суммы. Разве могли бы мы наложить на них арест?

Эжен услыхал, как отец Горио, глухо стукнув коленями о половицы, упал у себя в комнате.

— Господи, что я тебе сделал? Дочь моя в руках мерзавца, и он потребует от нее всего, чего захочет. Дочка, прости меня! — воскликнул старик.

— Да, если я попала в пропасть, то в этом повинны, может быть, и вы,— сказала Дельфина.— Когда мы выходим замуж, мы еще так неразумны. Разве мы понимаем, что такое свет, дела, мужчины, нравы? За нас должны думать отцы. Дорогой папа, простите мне эти слова, я вас ни в чем не упрекаю. В этом случае вся вина лежит на мне. Папа, не надо плакать,— сказала она, целуя его в лоб.

— Не плачь и ты, милая Дельфина. Дай я поцелую твои глазки и осушу твои слезы. Вот что! Я сейчас приведу свою башку в порядок и распутаю клубок, который накрутил твой муж в делах.

— Нет, предоставьте действовать мне: я сумею повернуть мужа по-своему. Он меня любит,— прекрасно! Я воспользуюсь своей властью над ним и быстро добьюсь того, что часть капиталов он вложит для меня в земельную собственность. Возможно, что я заставлю его выкупить на мое имя бывшее эльзасское имение Нусингенов. Он очень дорожит им. Но завтра вы зайдите разобраться в его делах и книгах. Дервиль мало смыслит в торговых оборотах... Нет, завтра не приходите. Не буду портить себе крови. Послезавтра бал у госпожи де Босеан, я хочу поберечь себя, чтобы явиться туда красивой, свежей,— быть гордостью милого Эжена! Пойдем посмотрим его комнату.

В эту минуту на улице Нев-Сент-Женевьев остановилась карета, и на лестнице послышался голос графини де Ресто, спросившей у Сильвии:

— Отец мой дома?

Это обстоятельство спасло Эжена, а он уже подумывал лечь на кровать и притвориться спящим.

— Ах, папа, вам ничего не говорили про Анастази? — спросила Дельфина, узнав голос сестры.— Кажется, в ее семейной жизни тоже произошло что-то неладное.

— Как так? — воскликнул папаша Горио.— Тогда мне конец: бедная моя голова не выдержит двух бед.

— Здравствуйте, папа,— сказала, входя, графиня.— А, ты здесь, Дельфина?

Встреча с сестрой, видимо, смутила графиню де Ресто.

— Здравствуй, Нази,— ответила ей баронесса.— Мое присутствие здесь кажется тебе необычным? Я вижусь с папой каждый день.

— С каких пор?

— Если бы ты бывала здесь, то знала бы.

— Не придирайся ко мне, Дельфина,— плачущим голосом сказала графиня,— я так несчастна! Мой бедный папа, я погибла!.. И на этот раз погибла окончательно.

— Что с тобой, Нази? — воскликнул папаша Горио.— Расскажи нам все, мое дитя. Она побледнела. Дельфина, ну же! Помоги ей, будь с ней подобрее, я стану любить тебя еще больше, если это возможно!

— Бедная Нази,— пожалела сестру г-жа де Нусинген, усаживая ее на стул.

— Смотри на нас обоих как на единственных людей, которые всегда будут так любить тебя, что все простят. Семейные чувства самые надежные.

Она дала сестре понюхать нюхательной соли, и графиня пришла в себя.

— Я умру от всего этого,— произнес папаша Горио.— Подойдите ко мне ближе,— сказал он дочерям, мешая в печке горящий торф.— Мне что-то холодно. Что с тобой, Нази? Говори скорее, ты убиваешь меня...

— Дело в том, что моему мужу стало известно все,— сказала несчастная женщина.— Помните, папа,

недавний вексель Максима? Так это был уже не первый. Я оплатила их немало. В начале января мне показалось, что у графа де Трай какое-то большое горе. Мне он ничего не говорил, но читать в душе людей, которых любишь, так нетрудно: достаточно ничтожного намека, а кроме этого, бывают и предчувствия. В то же время он стал ко мне таким ласковым и нежным, каким я никогда не видела его, и я чувствовала себя все более счастливой. Бедный Максим! Как он потом сказал, это он мысленно прощался со мной, решив застрелиться. Я так выпытывала, так его молила, я два часа стояла перед ним на коленях, и в конце концов он мне признался, что должен сто тысяч франков. Папа! Сто тысяч! Я с ума сходила. У вас их не было, я высосала все...

— Нет, я не мог бы достать их,— ответил папаша Горио,— разве что пошел бы и украл. Да я пошел бы и на это. И пойду.

Эта фраза, жалостная, как предсмертный хрип, выразила такую агонию отцовского чувства, доведенного до состояния бессилия, что обе сестры умолкли. Да и какой эгоизм мог оставаться безучастным к этому крику души, показавшему всю глубину отчаяния, как брошенный в бездну камень дает понятие о глубине ее.

— Папа, я достала деньги, распорядившись тем, что не было моим,— сказала графиня, заливаясь слезами.

Дельфина растрогалась и заплакала, прильнув головой к плечу сестры.

— Так это правда! — сказала она.

Анастази потупила голову; г-жа де Нусинген обняла ее и, прижав к своей груди, поцеловала.

— Здесь ты всегда найдешь не осуждение, а любовь,— добавила она.

— Ангелы мои,— слабым голосом сказал им Горио,— нужна была беда, чтобы соединить вас, почему это так?

— Ради спасения жизни Максима, а с ней и моего счастья,— продолжала графиня, ободренная этим проявлением участливой, горячей нежности,— я отправилась к одному ростовщику — да вы знаете это создание ада, этого не знающего жалости Гобсека. И я продала

ему фамильные бриллианты, которыми так дорожит граф де Ресто, и его и свои — все! Продала! Вы понимаете? Максим спасен! Но я погибла. Ресто узнал все.

— Как? От кого? Я убью его! — крикнул папаша Горио.

— Вчера он вызвал меня к себе. Я пошла... «Анастази,— сказал он таким тоном... (О, достаточно было этого тона, я поняла все!),— где ваши бриллианты?» «У меня». «Нет,— ответил он, глядя на меня,— они здесь на комоде». И он указал мне на футляр, прикрытый носовым платком. «Вы знаете, откуда они здесь?» — спросил он. Я упала к его ногам... Я плакала, я спрашивала, какой смертью мне надо умереть.

— Ты так сказала! — воскликнул папаша Горио.— Клянусь святым господним именем, тот, кто причинит вам зло, тебе иль ей, пока я жив, тот может быть уверен, что я сожгу его на медленном огне! Я разорву его на части, как...

Слова замерли в его гортани.

— Кончилось тем, моя дорогая, что он потребовал от меня худшего, чем смерть... Не приведи бог ни одной женщине услышать то, что услыхала я!

— Этого человека я убью,— спокойно произнес папаша Горио.— Но у него одна жизнь, а мне отдать он должен две. Ну, что же дальше? — спросил он, глядя на Анастази.

— И вот,— продолжала графиня, помолчав,— он посмотрел на меня и сказал: «Анастази, я скрою все, как в могиле, и мы останемся жить вместе: у нас есть дети. Я не стану убивать господина де Трай на поединке: я могу и промахнуться; а если отделаться от него другим путем, могу столкнуться с правосудием Убить его в ваших объятиях — это опозорить *детей*. А я не хочу ни гибели ваших детей, ни гибели их отца, ни своей собственной; поэтому я ставлю вам два условия. Отвечайте: есть ли у вас ребенок от меня?» «Да»,— ответила я. «Который?» — спросил он. «Старший, Эрнест». «Хорошо,— сказал он.— Теперь клянитесь подчиниться моему требованию». Я поклялась. «Вы подпишете мне запродажную на ваше имущество, когда я этого потребую».

— Не подписывай! — крикнул папаша Горио.—

Ни в коем случае! Так, так, господин де Ресто, вы не в состоянии дать счастье вашей жене, и она ищет его там, где оно возможно, а вы наказываете ее за вашу дурацкую немощь?.. Стой! Я здесь! Не волнуйся, Нази, я стану ему поперек дороги. Ага! Ему люб наследник! Хорошо же, хорошо. Я заберу его сына к себе, ведь он мне внук, черт побери! Имею же я право видеть этого мальчишку! Будь спокойна, я увезу его к себе в деревню, стану заботиться о нем. Я заставлю сдаться это чудовище, я скажу ему: «Посмотрим, чья возьмет! Хочешь вернуть сына — верни моей дочери ее имущество и предоставь ей жить, как ей угодно».

— Отец!

— Да, я твой отец! О, я настоящий отец! Пусть этот негодяй вельможа не притесняет мою дочь. Проклятие! Я не знаю, что течет у меня в жилах. В них кровь тигра, мне хочется растерзать ваших мужей. Дети мои! Какая ваша жизнь? Мне она смерть... Что с вами станется, когда меня не будет? Отцы должны жить, пока живы у них дети. Боже, как плохо ты устроил мир! А еще говорят, что у тебя есть сын. Тебе бы следовало избавить нас от мук за наших детей. Милые мои ангелочки, чего уж тут! Ведь тем, что вы пришли ко мне, я обязан только вашим горестям. От вас я ничего не вижу, кроме ваших слез. Ну что ж! Да, да, я знаю, вы любите меня. Приходите, приходите поплакаться ко мне. Сердце мое обширно — все вместит. Вы можете рвать его на части, а клочья снова превратятся в отцовские сердца. Я бы хотел взять на себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А ведь вы были счастливы, когда были маленькими...

— Только в ту пору нам и было хорошо,— заметила Дельфина.— Где те времена, когда мы играли в большом амбаре и скатывались вниз с груды мешков?!

— Папа, это еще не все,— сказала графиня на ухо отцу. Горио даже подскочил.— За бриллианты не дали ста тысяч. Максима все еще преследуют судом. Нам еще нужно уплатить двенадцать тысяч франков. Он обещал мне образумиться, бросить игру. Мне не осталось больше ничего, кроме его любви, я слишком дорого заплатила за нее, если уйдет она, я умру. Я пожертвовала ему всем: честью, состоянием, покоем и

детьми. О, верните хотя бы одному ему свободу, честное имя, чтобы он мог остаться в обществе, где он сумеет создать себе положение. Теперь у него есть долг перед мной не только за собственное счастье, но у нас с ним дети, и они окажутся без состояния. Все погибнет, если его посадят в Сент-Пелажи.

— Нет денег у меня, Нази. Больше ничего, ничего! Это конец мира. Да, мир скоро рухнет, и наверняка. Идите же, спасайтесь, пока есть время! Да-а! Ведь у меня еще остались серебряные пряжки, шесть столовых приборов, те самые, что я купил впервые в жизни! А что еще?.. Только пожизненная рента в тысячу двести франков.

— Что же вы сделали с вашей вечной рентой?

— Я продал ее, а себе оставил на свои нужды только этот маленький доход. Мне были необходимы двенадцать тысяч, чтобы устроить квартиру для Фифины.

— Как, Дельфина? У тебя в доме? — спросила г-жа де Ресто свою сестру.

— Не все ли равно где? Двенадцать тысяч франков уже истрачены! — возразил папаша Горио.

— Догадываюсь,— заметила графиня.— Для господина Растиньяка! Несчастная Дельфина, остановись! Ты видишь, до чего дошла я.

— Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей, что разоряют своих любовниц.

— Спасибо, Дельфина, в моем тяжком положении я ожидала от тебя лучшего. Но ты не любила меня никогда.

— Нет, Нази, она тебя любит,— воскликнул папаша Горио,— и только что сказала мне об этом! Мы говорили о тебе, и она уверяла, что ты красавица, а она только хорошенькая.

— У ней бездушная красота,— заметила графиня.

— Хотя бы и так,— возразила Дельфина, покраснев.— А как относилась ко мне ты? Ты отреклась от меня, ты постаралась закрыть мне доступ во все дома, куда хотелось мне попасть, вообще ты не упускала ни одного случая сделать мне неприятность. Разве я приходила сюда, как ты, затем, чтобы вытягивать от отца тысячу за тысячей все его деньги? Разве я довела его до такого положения? Это дело твоих рук, сестрица.

Я виделась с отцом, когда только могла, не выгоняла его из своего дома, не приходила лизать ему руки, когда он оказывался нужен. Я даже не знала, что эти двенадцать тысяч франков он истратил для меня: как тебе известно, в денежных делах я люблю порядок. А если папа и делал мне подарки, то я никогда их не выпрашивала.

— Тебе больше посчастливилось, чем мне: господин де Марсе богат, и кое-что об этом тебе известно. Ты всегда была презренной, как золото. Прощайте, у меня нет ни сестры, ни...

— Замолчи, Нази! — крикнул папаша Горио.

— Только такая сестра, как ты, может повторять то, чему никто не верит; ты нравственный урод,— ответила Дельфина.

— Дети, дети мои, замолчите, или я здесь, при вас, покончу с собой!

— Слушай, Нази, прощаю тебе, ты несчастна! — говорила Дельфина.— Но я лучше тебя. Сказать мне то, что ты сказала, да еще в ту минуту, когда я была готова на все, чтобы помочь тебе, даже пойти в спальню к моему мужу, чего бы я не сделала ни ради себя самой, ни ради... это достойно тех неприятностей, каких ты мне наделала за последние девять лет!

— Дети мои, дети, обнимитесь! — упрашивал отец.— Вы обе ангелы.

— Нет, оставьте меня! — крикнула графиня, когда Горио взял ее за руку, и увернулась от отцовского объятия.— У ней меньше жалости ко мне, чем у моего мужа. Можно подумать, что она олицетворение добродетели!

— Пусть сплетничают, будто я должна господину де Марсе: по-моему, это лучше, чем признаваться, что господин де Трай стоит тебе более ста тысяч! — ответила г-жа де Нусинген.

— Дельфина! — вскрикнула графиня, подступая к сестре.

— Я говорю тебе правду, а ты клевещешь на меня! — холодно возразила баронесса.

— Дельфина, ты...

Папаша Горио бросился к графине и не дал ей договорить, закрыв ей рот рукой.

— Боже мой, за что вы сегодня хватались руками? — спросила его Анастази.

— Ах, да! Виноват,— извинился несчастный отец, вытирая руки о панталоны.— Ведь я сейчас переезжаю, кто же знал, что вы придете.

Он был доволен, что, вызвав этот упрек, отвлек на себя гнев дочери.

— Ох! Вы истерзали мое сердце,— продолжал он, садясь.— Дети мои, я умираю! В голове у меня жжет, как огнем. Будьте милыми, хорошими, любите друг друга. Вы вгоните меня в могилу. Нази, Дельфина, ну же, вы обе правы и обе неправы. Слушай, Дедель,— говорил он, подняв на баронессу глаза, полные слез,— ей нужны двенадцать тысяч, давай поищем их. Не надо так коситься друг на друга.

Он стал на колени перед Дельфиной.

— Ради меня попроси у нее прощения,— шепнул он ей на ухо,— ведь она более несчастна, правда ведь?

— Бедная моя Нази,— пожалела ее Дельфина, испуганная выражением отцовского лица, диким, безумным от душевной боли,— я была неправа, поцелуй меня...

— О, вы льете мне целительный бальзам на сердце! — воскликнул папаша Горио.— Но откуда взять двенадцать тысяч франков? Разве пойти за кого-нибудь в рекруты?

— Что вы, папа? Нет, нет! — воскликнули обе дочери, подходя к отцу.

— Бог вознаградит вас за одно намерение, всей нашей жизни не хватит, чтобы отблагодарить за это! Правда, Нази? — сказала Дельфина.

— А кроме того, милый папа, это была бы капля в море,— заметила графиня.

— Так, значит, и своей кровью ничего не сделать? — с отчаянием воскликнул старик.— Я буду рабом у того, кто спасет тебя, Нази! Ради него я убью другого человека. Пойду на каторгу, как Вотрен! Я...— Он вдруг остановился, как пораженный громом.— Нет больше ничего! — сказал он, рванув себя за волосы.— Кабы знать, где можно украсть... Только нелегко найти такое место. Чтобы ограбить банк, нужны и люди и время. Видно, пора мне умирать: не остается ничего дру-

гого. Я больше ни на что не годен, я больше не отец! Нет! Она просит, она нуждается! А у меня, бездельника, нет ничего. Ах ты, старый лиходей, у тебя две дочери, а ты устроил себе пожизненную ренту! Ты, значит, их не любишь? Подыхай же, подыхай, как собака! Да я хуже собаки, собака вела бы себя лучше! Ох, голова моя! В ней все кипит!

— Папа, будьте же благоразумны! — закричали обе женщины, обступая его, чтобы он не вздумал биться головой об стену.

Горио рыдал. Эжен, в ужасе от этого, взял свой вексель, выданный Вотрену, со штемпелем на большую сумму, переправил цифру, оформил как вексель на двенадцать тысяч *приказу Горио* и вошел в комнату соседа.

— Мадам, вот нужные вам деньги,— сказал он графине, подавая ей вексель.— Я спал, ваш разговор разбудил меня, благодаря этому я узнал, сколько я должен господину Горио. Вот обязательство, которое вы можете учесть, я оплачу его точно в срок.

Графиня стояла неподвижно, держа в руках гербовую бумагу.

— Дельфина,— проговорила она, бледнея, дрожа от гнева, ярости и бешенства,— я все тебе прощала, свидетель бог, но это!.. Господин де Растиньяк был рядом, ты это знала! У тебя хватило низости отомстить мне, заставив меня невольно доверить ему мои тайны, мою жизнь, жизнь моих детей, мой позор, мою честь! Так знай, ты для меня ничто, я ненавижу тебя, я стану мстить тебе, как только можно, я...

Злоба не давала ей говорить, в горле пересохло.

— Да это же мой сын, он наш, твой брат, твой спаситель! — восклицал папаша Горио.— Обними его, Нази! Видишь, я его обнимаю,— продолжал старик, в каком-то исступлении прижимая к себе Эжена.— О дитя мое! Я буду тебе больше, чем отцом, я постараюсь заменить тебе семью. Я бы хотел быть богом и бросить к твоим ногам весь мир. Ну, поцелуй же его, Нази! Ведь это не человек, а просто ангел, настоящий ангел!

— Оставь ее, папа, сейчас она не в своем уме,— сказала Дельфина.

— Я не в своем уме! Не в своем уме! А ты-то какова? — спросила графиня де Ресто.

— Дети мои, я умру, если вы не перестанете! — крикнул папаша Горио и упал на кровать, точно сраженный пулей.

— Они убили меня! — пролепетал старик.

Графиня взглянула на Эжена, который застыл на месте, ошеломленный этой дикой сценой.

— Сударь...— вымолвила она, спрашивая его всем выражением лица, взглядом, интонацией и не обращая внимания на своего отца, которому Дельфина успела быстро расстегнуть жилет.

— Я заплачу́ и буду молчать,— ответил Растиньяк, не дожидаясь вопроса.

— Нази, ты убила нашего отца! — упрекнула сестру Дельфина, указывая на старика, лежавшего без чувств; но графиня уже исчезла.

— Прощаю ей,— сказал старик, открывая глаза,— положение ее ужасно, и не такая голова пошла бы кругом. Утешь Нази, будь доброй к ней, обещай это твоему умирающему отцу,—просил старик, сжимая Дельфине руку.

— Но что такое с вами? — спросила она, совсем перепугавшись.

— Ничего, ничего, пройдет,— отвечал отец.— Что-то мне давит на лоб, это мигрень. Бедняжка Нази, какое у нее будущее!

В эту минуту графиня вернулась и бросилась к ногам отца.

— Простите! — воскликнула она.

— Этим ты еще больше мучаешь меня,— промолвил отец.

— Сударь,— со слезами на глазах обратилась графиня к Растиньяку,— от горя я была несправедлива. Хотите быть мне братом? — спросила она, протягивая ему руку.

— Нази, милая Нази, забудем все! — воскликнула Дельфина, прижимая к себе сестру.

— Нет, это я буду помнить!

— Ангелы мои, какая-то завеса закрывала мне глаза, сейчас вы раздвинули ее, ваш голос возвращает меня к жизни! — восклицал отец Горио.— По-

целуйтесь еще раз! Ну что, Нази, спасет ли тебя этот вексель?

— Надеюсь. Послушайте, папа, не поставите ли вы на нем и вашу подпись?

— Какой же я дурак, забыл об этом! Но мне было плохо, не сердись на меня, Нази. Пришли сказать, когда твое мучение кончится. Нет, я приду сам. Нет, не приду, не могу видеть твоего мужа, я убью его на месте! А что до продажи твоего имущества, в это дело вступлюсь я сам. Иди скорей, дитя мое, и заставь Максима образумиться.

Эжен был потрясен.

— Бедняжка Анастази всегда была вспыльчивой, но сердцем она добрая,— сказала г-жа де Нусинген.

— Она вернулась за передаточной надписью,— шепнул ей на ухо Эжен.

— Вы думаете?

— Хотелось бы не думать. Будьте с ней поосторожнее,— ответил он и поднял глаза к небу, поверяя богу мысли, которые не решался сказать вслух.

— Да, в ней всегда было немного актерства, а бедный папа поддается на ее кривляния.

— Как вы себя чувствуете, милый папа Горио? — спросил старика Эжен.

— Мне хочется спать,— ответил Горио.

Растиньяк помог Горио лечь в постель. Когда старик, держа дочь за руку, уснул, Дельфина высвободила свою руку.

— Вечером у Итальянцев,— напомнила она Эжену,— и ты мне скажешь, как его здоровье. А завтра, сударь, вы переедете. Покажите вашу комнату. Какой ужас! — сказала она, войдя туда.— У вас хуже, чем у отца. Эжен, ты вел себя прекрасно. Я стала бы любить тебя еще сильнее, будь это возможно. Но, милый ребенок, если вы хотите составить состояние, нельзя бросать в окошко двенадцать тысяч франков, как сейчас. Граф де Трай — игрок. Сестра ничего не хочет замечать. Он нашел бы эти двенадцать тысяч франков там же, где проигрывает и выигрывает золотые горы.

Послышался стон, и они вернулись к Горио; казалось, он спал, но когда оба влюбленных подошли к нему, они расслышали его слова:

— Как они несчастны!

Спал ли он или нет, но тон этой фразы тронул Дельфину за живое,— она подошла к жалкой кровати, где лежал отец, и поцеловала его в лоб. Он открыл глаза.

— Это ты, Дельфина?

— Ну, как ты чувствуешь себя? — спросила дочь.

— Хорошо, не беспокойся, я скоро выйду из дома. Ступайте, ступайте, дети мои, будьте счастливы.

Эжен проводил Дельфину до дому, но, озабоченный состоянием, в котором оставил папашу Горио, отказался обедать у нее и вернулся в «Дом Воке». Он пришел в ту минуту, когда Горио встал с постели и собирался сесть за стол. Бьяншон расположился так, чтобы лучше наблюдать лицо вермишельщика. Когда Горио, взяв себе хлеба, его понюхал, чтобы узнать, из какой муки он испечен, студент-медик подметил в этом жесте полное отсутствие того, что можно назвать сознанием своих действий, и нахмурился.

— Подсядь ко мне, кошеновский пансионер,—сказал ему Эжен.

Бьяншон охотно пересел, чтобы быть поближе к старику.

— Что с ним? — спросил Растиньяк.

— Если не ошибаюсь, ему крышка! В нем происходит что-то необычное, ему грозит апоплексия. Нижняя часть его лица довольно спокойна, а черты верхней помимо его воли дергаются кверху, видишь? Затем взгляни на его глаза: они точно посыпаны какой-то мельчайшей пылью, не правда ли? Эта особенность указывает на кровоизлияние в мозг. Завтра утром состояние его здоровья будет для меня яснее.

— Есть ли какое-нибудь лекарство от такой болезни?

— Никакого. Может быть, удастся отсрочить смерть, если найдутся средства, чтобы вызвать отлив к ногам, но если завтра к вечеру нынешние симптомы не исчезнут, бедный старик погиб. Ты не знаешь, чем вызвана его болезнь? Он, вероятно, перенес жестокое потрясение, и душевные силы не выдержали.

— Да,— ответил Растиньяк, вспоминая, как обе дочери, не давая передышки, наносили удары в родительское сердце.

«Дельфина по крайней мере любит своего отца»,— сказал себе Эжен.

Вечером, у Итальянцев, Эжен заговорил о нем довольно осторожно, чтобы не очень растревожить г-жу де Нусинген. Но в ответ на первые же фразы Растиньяка она сказала:

— Не беспокойтесь, отец мой—человек крепкий. Но сегодня утром мы немного помучили его. Дело идет о потере нами наших капиталов, вы представляете себе все следствия подобного несчастья? Я бы не стала жить, если бы ваша любовь не сделала меня равнодушной ко всему, что еще так недавно мне казалось бы смертельной мукой. Сейчас у меня нет иного страха, нет иной беды, как потерять любовь, благодаря которой я ощущаю радость жизни. Вне этого чувства мне безразлично все, ничто не мило. Вы для меня — все. Если мне доставляет удовольствие богатство, то только потому, что оно дает возможность нравиться вам еще больше. К моему стыду, я больше любовница, чем дочь. Отчего? Не знаю. Вся моя жизнь в вас. Сердце мне дал отец, но вы заставили его забиться. Пусть осуждает меня весь свет, мне все равно, если вы, не имея, впрочем, оснований быть недовольны мной, прощаете мне преступления, на которые меня толкает непреодолимое чувство! Неужели вы думаете, что я бессердечная дочь? О нет, нельзя не любить такого хорошего отца, как наш! Но разве могла я помешать тому, что он в конце концов и сам увидел неизбежные последствия наших прискорбных браков? Почему он не воспротивился нашему замужеству? Не он ли должен был обдумать все за нас? Я знаю, он теперь страдает не меньше, чем Нази и я, но что нам делать? Утешать? Мы не утешили б его ни в чем. Наша покорность своей судьбе удручала его больше, чем огорчения от наших жалоб и попреков. Бывают в жизни положения, когда все вызывает горечь.

Эжен молчал, умиляясь этим простым сердечным выражением подлинного чувства. Парижанки нередко бывают фальшивы, упоены тщеславием, эгоистичны, кокетливы и холодны, но можно уверенно сказать, что когда они любят по-настоящему, то отдаются чувству с большей силой, чем другие женщины; они перерастают свои

мелочные свойства и возвышаются душой. Кроме того, Эжена поразил в Дельфине глубокий здравый ум, свойственный женщине, когда она спокойно обсуждает простые, естественные чувства, будучи сама отделена от них какой-нибудь заветной страстью и наблюдая их как бы со стороны.

Г-жа де Нусинген была обижена молчанием Эжена.

— О чем вы задумались? — спросила она.

— Я еще прислушиваюсь к тому, что вы сказали. До сих пор я думал, что я люблю вас больше, чем вы меня!

Она улыбнулась, но поборола свою радость, чтобы удержать разговор в границах, требуемых обстановкой. Раньше ей никогда не приходилось слышать такие трепетные излияния юной, искренней любви. Еще немного, и она бы не сдержалась.

— Эжен, разве вы не знаете, что делается в свете? — переменила она тему разговора.— Завтра весь Париж будет у виконтессы де Босеан. Маркиз д'Ажуда и Рошфиды условились ничего не разглашать; но завтра король утвердит брачный договор, а ваша бедная кузина еще не знает ничего. Она не может отменить прием, но маркиза не будет на балу. Все только и говорят об этом событии.

— А свет рад этой подлости и в ней участвует! Неужели вы не понимаете, что госпожа де Босеан умрет от этого?

— Нет,— усмехаясь, ответила Дельфина,— вы не знаете женщин такого склада. Да, завтра к ней приедет весь Париж, и там буду я. А этим счастьем обязана я вам.

— А может быть, это одна из тех нелепых сплетен, какие во множестве гуляют по Парижу? — заметил Растиньяк.

— Завтра мы узнаем правду.

Эжен не вернулся в «Дом Воке». У него не хватило духа расстаться с новой собственной квартирой. Накануне ему пришлось уйти от Дельфины в час ночи, теперь Дельфина в два уехала домой. На следующее утро он встал поздно и до полудня ждал Дельфину, приехавшую завтракать к нему. Молодые люди так жадны

до этих милых ощущений счастья, что Растиньяк почти забыл о папаше Горио. Свыкаться с каждой вещью изящной обстановки, собственной, своей, казалось Растиньяку каким-то непрерывным празднеством. В присутствии Дельфины все здесь приобретало особенную ценность. Тем не менее около четырех часов дня влюбленные подумали и о папаше Горио, вспомнив, как был он счастлив надеждой переехать в этот дом. Эжен указал на то, что раз старику грозит болезнь, то нужно скорее перевезти его сюда, и, расставшись с Дельфиной, побежал в «Дом Воке». За столом не было ни Бьяншона, ни папаши Горио.

— Ну, наш папаша Горио скапутился,— заявил художник.— Бьяншон наверху у него. Старикан виделся с одной из дочерей, графиней де *Ресторама*. После этого он вздумал выйти из дому, и ему стало хуже. Скоро наше общество лишится одного из своих лучших украшений.

Растиньяк бросился наверх.

— Эй! Господин Эжен! Господин Эжен, вас зовет хозяйка! — крикнула ему Сильвия.

— Господин Эжен,— обратилась к нему вдова,— вы и господин Горио обязались выехать пятнадцатого февраля. А после пятнадцатого прошло уже три дня, сегодня восемнадцатое; теперь ему и вам придется заплатить мне за весь месяц, но ежели вам угодно поручиться за папашу Горио, то с меня довольно вашего слова.

— Зачем? Неужели вы ему не доверяете?

— Доверять? Ему! Да ежели старик так и умрет, не придя в сознание, его дочери не дадут мне ни ливра, а все его тряпье не стоит и десяти франков. Не знаю, зачем, но сегодня утром он унес свои последние столовые приборы. Принарядился, что твой молодой человек. Прости господи, а сдается мне, он нарумянился и словно бы помолодел.

— Я отвечаю за все,— сказал Эжен, вздрогнув от ужаса и предчувствуя катастрофу.

Он поднялся к папаше Горио. Старик бессильно лежал в постели, рядом с ним сидел Бьяншон.

— Добрый день, папа,— поздоровался Эжен.

Старик ласково улыбнулся ему и, обратив на него стеклянные глаза, спросил:

— Как она поживает?

— Хорошо. А вы?

— Ничего.

— Не утомляй его,— сказал Бьяншон, отводя Эжена в угол.

— Ну как? — спросил Эжен.

— Спасти его может только чудо. Произошло кровоизлияние; поставлены горчичники; к счастью, он их чувствует, они действуют.

— Можно ли его перевезти?

— Немыслимо. Придется оставить его здесь; никакого движения, никаких волнений.

— Милый Бьяншон,— сказал Эжен,— мы будем вдвоем ухаживать за ним.

— Я уже приглашал из нашей больницы главного врача.

— И что?

— Завтра вечером он скажет свое мнение. Он обещал зайти после дневного обхода. К сожалению, этот старикашка выкинул сегодня утром какую-то легкомысленную штуку, а какую — не хочет говорить: он упрям, как осел. Когда я заговариваю с ним, он, чтобы не отвечать, притворяется, будто спит и не слышит, а если глаза у него открыты, то начинает охать. Сегодня поутру он ушел из дому и пешком шатался по Парижу неизвестно где. Утащил с собой все, что у него было ценного, обделал какое-то дельце — будь оно проклято! — и надорвал этим свои силы. У него была одна из дочерей.

— Графиня? — спросил Эжен.— Высокая, стройная брюнетка, глаза живые, красивого разреза, хорошенькие ножки?

— Да.

— Оставь нас на минуту,— сказал Растиньяк,— я его поисповедую, мне-то он все расскажет.

— Я пока пойду обедать. Только постарайся не очень волновать его; некоторая надежда еще есть.

— Будь покоен.

— Завтра они повеселятся,— сказал папаша Горио Эжену, оставшись с ним наедине.— Они едут на большой бал.

— Папа, как вы довели себя до такого состояния, что к вечеру слегли в постель, чем это вы занимались сегодня утром?

— Ничем.

— Анастази приезжала? — спросил Растиньяк.

— Да,— ответил Горио.

— Тогда не скрывайте ничего. Что еще она у вас просила?

— Ох! — простонал он, собираясь с силами, чтобы ответить.— Знаете, дитя мое, как она несчастна! После этой истории с бриллиантами у Нази нет ни одного су. А чтобы ехать на этот бал, она заказала себе платье, шитое блестками, оно, наверное, идет к ней просто прелесть как. А мерзавка портниха не захотела шить в долг, тогда горничная Нази заплатила ей тысячу франков в счет стоимости платья. Бедная Нази! Дойти до этого! У меня сердце надрывалось. Но горничная заметила, что Ресто лишил Нази всякого доверия, испугалась за свои деньги и сговорилась с портнихой не отдавать платья, пока ей не вернут тысячу франков. Завтра бал, платье готово, а Нази в отчаянии! Она решила взять у меня взаймы мои столовые приборы и заложить их. Муж требует, чтобы она ехала на бал и показала всему Парижу бриллианты, якобы проданные ею. Могла ли она сказать этому чудовищу: «Я должна тысячу франков, заплатите»? Нет. Я это, конечно, понял. Дельфина поедет в роскошном платье. Анастази не пристало уступать в этом младшей сестре. Бедненькая дочка, она прямо заливалась слезами! Вчера было мне так стыдно, когда у меня не нашлось двенадцати тысяч франков! Я отдал бы остаток моей жалкой жизни, чтобы искупить эту вину. Видите ли, какое дело: у меня хватало сил переносить все, но в последний раз это безденежье перевернуло мне всю душу. Хо-хо! Недолго думая, раз—два, я прифрантился, подбодрился, продал за шестьсот франков пряжки и приборы, а потом заложил на год дяденьке Гобсеку свою пожизненную ренту за четыреста франков наличными. Ну, что ж, буду есть только хлеб! Жил же я так, когда был молод, сойдет и теперь. Зато моя Нази проведет вечер превосходно. Она будет всех наряднее. Бумажка в тысячу франков у меня под изголовьем. Это меня как-то согревает, когда у

меня под головой лежит такое, что доставит удовольствие бедняжке Нази. Теперь она может прогнать эту дрянь Викторину. Где это видано, чтобы прислуга не верила своим хозяевам! Завтра я поправлюсь. В десять часов придет Нази. Я не хочу, чтобы они думали, будто я болен, а то, чего доброго, не поедут на бал и станут ухаживать за мной. Завтра Нази поцелует меня, как целует своего ребенка, и ее ласки вылечат меня. Все равно: разве я не истратил бы тысячу франков у аптекаря? Лучше дать их моей целительнице Нази. Утешу хоть Нази в ее несчастье. Я этим сквитаюсь за свою вину, за то, что устроил себе пожизненный доход. Она на дне пропасти, а я уже не в силах вытащить ее оттуда. О, я опять займусь торговлей. Поеду в Одессу за зерном. Там пшеница в три раза дешевле, чем у нас. Правда, ввоз зерновых в натуре запрещен, но милые люди, которые пишут законы, позабыли наложить запрет на те изделия, где все дело в пшенице. Хе-хе! Я додумался до этого сегодня утром. На крахмале можно будет делать великолепные дела.

«Он помешался»,— подумал Эжен, глядя на старика.— Ну, успокойтесь, вам вредно говорить.

Когда Бьяншон вернулся, Эжен сошел вниз пообедать. Всю ночь они, сменяясь, провели у больного,— один читал медицинские книги, другой писал письма к матери и сестрам.

Утром следующего дня симптомы болезни, по мнению Бьяншона, давали надежду на благоприятное ее течение, но требовали такого постоянного ухода, что только эти два студента могли его осуществить во всех деталях, от описания которых лучше воздержаться, чтобы не посягать на целомудренность литературной речи той эпохи. К изможденному телу старика ставили пиявки, за ними следовали припарки, ножные ванны и другие способы лечения, возможные лишь благодаря самоотвержению и физической силе обоих молодых людей. Графиня де Ресто не приехала сама, а прислала за деньгами посыльного.

— Я думал, что она сама приедет. Но это ничего, а то бы она расстроилась,— говорил старик, как будто бы довольный этим обстоятельством.

В семь часов вечера Тереза принесла записку от Дельфины:

«Чем вы заняты, мой друг? Неужели, едва полюбив, уже пренебрегают мной? Во время наших задушевных разговоров передо мной раскрылась ваша прекрасная душа, и, несомненно, вы принадлежите к тем, кто, убедившись, какое множество оттенков имеет чувство, будет ему верен до конца. Как вы сказали, слушая молитву Моисея, «для одних это все одна и та же нота, для других — в ней беспредельность музыки!» Не забудьте, сегодня вечером мы едем на бал к виконтессе де Босеан, и я вас жду. Известно точно, что брачный договор маркиза д'Ажуда подписан королем сегодня утром во дворце, а бедная виконтесса узнала об этом только в два часа. Весь Париж кинется к ней, как ломится народ на Гревскую площадь, когда на ней происходит казнь. Разве это не мерзость — идти смотреть, скроет ли женщина свое горе, сумеет ли красиво умереть? Я бы, конечно, не поехала, если бы раньше бывала у нее; но, разумеется, больше приемов у нее не будет, и все усилия, затраченные мной, чтобы попасть к ней, пропали бы даром. Мое положение совсем иное, чем у других. Кроме того, я еду и ради вас. Жду. Если через два часа вы не будете у меня, то не знаю, прощу ли вам такое вероломство».

Растиньяк взял перо и написал в ответ:

«Я жду врача, чтобы узнать, будет ли жить ваш батюшка. Он при смерти. Я привезу вам приговор врача, боюсь, что это будет приговор смертный. Вы рассудите, можно ли вам ехать на бал. Нежно целую».

В половине девятого явился врач: он не дал благоприятного заключения, но и не полагал, что смерть наступит скоро. Предупредил, что состояние больного будет то улучшаться, то ухудшаться; от этого будут зависеть и жизнь и рассудок старика.

— Лучше бы он умер поскорее,— было последнее мнение врача.

Эжен поручил старика Горио заботам Бьяншона и поехал к г-же де Нусинген с вестями, настолько грустными, что всякое радостное чувство должно было бы исчезнуть, как это мыслилось его уму, еще проникнутому понятиями о семейном долге. В момент его отъезда

Горио, казалось, спал, но когда Растиньяк выходил из комнаты, старик вдруг приподнялся и, сидя на постели, крикнул ему вслед:

— Скажите ей, пусть все же веселится!

Молодой человек пришел к Дельфине, удрученный горем, а ее застал уже в прическе и в бальных туфельках,— оставалось надеть бальное платье. Но у последних сборов есть сходство с последними мазками живописца при окончании картины: на них уходит больше времени, чем на основное.

— Как, вы еще не одеты? — спросила она.

— Но ваш батюшка...

— Опять «мой батюшка»! — воскликнула она, не дав ему договорить.— Не учите меня моему долгу по отношению к отцу. Я знаю своего отца давно. Эжен, ни слова! Не стану слушать, пока вы не оденетесь. Тереза приготовила вам все у вас на квартире; моя карета подана, поезжайте и скорее возвращайтесь. Об отце поговорим дорогой; надо выехать пораньше, иначе мы очутимся в хвосте всех экипажей, а тогда нам не попасть на бал раньше одиннадцати, да и то еще будет удачно.

— Сударыня! Но...

— Нет, нет, ни слова больше,— сказала она, убегая в будуар, чтобы взять колье.

— Господин Эжен, идите же, вы рассердите баронессу,— сказала Тереза, выпроваживая молодого человека, потрясенного этой изящной отцеубийцей.

И он поехал одеваться, предаваясь самым грустным, самым безотрадным размышлениям. Свет представлялся ему океаном грязи, куда человек сразу уходит по шею, едва опустит в него кончик ноги.

«Все преступления его мелки,— говорил себе Эжен,— Вотрен гораздо выше».

Растиньяк уже видел три главных лика общества: Повиновение, Борьбу и Бунт,— семью, свет и Вотрена. Эжен не знал, к чему пристать. Повиновение — скучно; бунт — невозможен; борьба — сомнительна. Он перенесся мыслью в свою семью; вспомнились чистые переживания этой тихой жизни, вставали в памяти те дни, когда он жил среди родных, которые не чаяли в нем души. Дорогие ему люди следовали естественным зако-

нам домашнего очага и в нем же находили счастье, полное, постоянное и без душевных мук. При всех своих хороших мыслях Эжен не имел решимости пойти и исповедать веру чистых душ перед Дельфиной, требуя добродетели именем любви. Его перевоспитание началось и принесло уже плоды. Даже любовь его стала себялюбивой. Он предугадывал в Дельфине сущность ее души и чувствовал, что она способна отправиться на бал, переступив через отцовский труп; но у него не было ни силы стать моралистом, ни мужества пойти на ссору, ни добродетельной готовности расстаться с ней. «Она никогда мне не простит, если в этом случае не она, а я поставлю на своем»,— говорил он себе. И вслед за тем он стал перебирать мнения врачей; ему хотелось думать, что болезнь папаши Горио не так уж опасна, как он воображал; короче говоря, он начал подбирать предательские доводы для оправдания Дельфины: она же ведь не знает, в каком состоянии находится ее отец; да если бы сейчас она поехала к нему, то сам старик отправил бы ее на бал. Общественный закон, безжалостный в своих формальных приговорах, нередко признает виновность там, где преступление, хотя и очевидно, но может быть оправдано бесчисленными смягчающими обстоятельствами, какие создаются в семейной обстановке на почве несходства характеров, различия положений и розни интересов. Эжену хотелось обмануть самого себя, он был готов пожертвовать любовнице своею совестью. За последние два дня все изменилось в его жизни. Женщина уже внесла в нее разруху, заставила померкнуть в его глазах семью, всем завладела только для себя. Растиньяк и Дельфина встретились при условиях, созданных как бы нарочно для того, чтобы они могли друг другу дать как можно больше чувственного наслаждения. Их хорошо вызревшая страсть не только не потухла от того, что убивает страсти,— от их удовлетворения,— но разгорелась еще больше. Уже обладая своей любовницей, Эжен заметил, что раньше только желал ее, а полюбил, лишь испытав блаженство, и, может быть, любовь не что иное, как чувство благодарности за наслаждение. Все равно, какой бы ни была Дельфина, бесчестной или безупречной, он обожал ее и за те чувственные наслаждения,

которые, как брачный дар, он сам принес ей, и за те, которые дала ему она; Дельфина тоже любила Растиньяка, как полюбил бы Тантал ангела, который прилетал бы, чтоб утолить его голод и успокоить чувство жажды в пересохшем горле.

— Вот теперь говорите, как здоровье папы? — спросила г-жа де Нусинген, когда Эжен вернулся в бальном костюме.

— Очень плохо,— ответил он.— Если вы хотите дать мне доказательство вашей любви, заедемте к нему.

— Хорошо, но после бала. Добрый мой Эжен, будь милым и не читай мне нравоучений, едем!

Они поехали. Половину дороги Эжен молчал.

— Что с вами? — спросила его Дельфина.

— Мне слышится предсмертный хрип вашего отца,— раздраженно ответил он.

И с пылким юношеским красноречием стал ей описывать и безжалостный поступок графини де Ресто, подсказанный тщеславием, и смертельный перелом болезни, вызванный последним проявлением отцовской преданности, и то, какой ценой достанется расшитый блестками наряд Анастази. Дельфина плакала.

«Я подурнею»,— мелькнула у нее мысль.

И слезы высохли.

— Я буду ходить за отцом — ни шагу от его постели,— ответила она.

— Вот такой мне и хотелось тебя видеть! — воскликнул Растиньяк.

Пятьсот карет своими фонарями освещали улицу перед особняком де Босеан. По ту и по другую сторону иллюминованных ворот красовался жандарм на коне. Высший свет вливался в дом таким потоком, так торопился посмотреть на виконтессу в момент ее падения, что к приезду г-жи де Нусинген и Растиньяка все комнаты в нижнем этаже заполнились гостями. С той поры, когда Людовик XIV лишил герцогиню де Монпансье, свою кузину, ее любовника и весь двор кинулся к ней во дворец, ни одно любовное крушение не сопровождалось таким шумом, как крушение счастья г-жи де Босеан. В этой драме последняя представительница дома почти самодержавных герцогов Бургундии доказала, что она сильнее своей муки, и до последнего мгновения царила

над светским обществом, снисходя к его тщеславным интересам, чтобы они служили торжеству ее любви. Самые красивые женщины Парижа оживляли ее гостиные своими улыбками и туалетом. Высшие придворные, посланники, министры, все люди, чем-либо известные, увешанные орденами, звездами и лентами разных цветов, толпились вокруг г-жи де Босеан. Мелодии оркестра носились под золочеными стропилами дворца, ставшего пустыней для его царицы. Г-жа де Босеан, стоя в дверях первой гостиной, принимала своих так называемых друзей. Вся в белом, без всяких украшений, в просто заплетенных волосах, совершенно спокойная на вид, она не проявляла ни гордости, ни скорби, ни ложного веселья. Никто не мог читать в ее душе. Можно сказать: то была мраморная Ниобея. В ее улыбке, которую она дарила самым близким из друзей, сквозила иногда усмешка; но всем другим она являлась неизменной, предстала им все той же, какой была, когда она светилась лучами счастья; и даже бесчувственные люди восхищались этой силой воли, как молодые римлянки рукоплескали гладиатору, если он умирал с улыбкой на устах. Казалось, высший свет явился во всем блеске проститься с одной из своих владычиц.

— Я так боялась, что вы не будете,— сказала она Растиньяку.

— Я прибыл с тем, чтобы уйти последним,— ответил Растиньяк с волнением в голосе, приняв за упрек ее слова.

— Прекрасно,— сказала она, подавая ему руку.— Здесь вы, может быть, единственный, кому бы я могла довериться. Друг мой, любите только одну женщину, такую, какую будете любить всегда. Не бросайте никогда и ни одной.

Она взяла Эжена под руку, отвела в гостиную, где играли в карты, и усадила там на канапе.

— Съездите к маркизу,— попросила она.— Мой лакей Жак проводит вас туда и передаст вам для него письмо. Я прошу его вернуть мне мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам все. Как только получите, возьмите их с собой и поднимитесь ко мне в комнату. Мне скажут.

Она встала, чтобы встретить свою лучшую прия-

тельницу, герцогиню де Ланже. Растиньяк поехал в дом Рошфидов, предполагая, что маркиз д'Ажуда у них проводит вечер, и, действительно, застав маркиза там, попросил вызвать его. Маркиз отвез его к себе и, отдавая шкатулку Растиньяку, сказал:

— Здесь все...

Видимо, ему хотелось поговорить с Эженом: возможно, он собирался расспросить его о бале и о виконтессе, а может быть, хотел признаться, что он уже теперь в отчаянии от будущего брака,— который оказался для него действительно несчастным,— но гордый блеск сверкнул в глазах маркиза, и с мужеством, достойным порицания, он затаил в себе самые благородные из чувств.

— Дорогой Эжен, не говорите ей ни слова обо мне.

Д'Ажуда с нежной грустью пожал руку Растиньяку и, кивнув головой, отпустил его. Эжен вернулся в особняк де Босеанов; его провели в комнату виконтессы, где он заметил приготовления к отъезду. Растиньяк сел у камина, взглянул на кедровую шкатулку и впал в глубокую печаль. По своему величию г-жа де Босеан ему казалась богинею из «Илиады».

— Это вы, мой друг! — входя, сказала виконтесса и положила руку на плечо Эжена.

Он посмотрел на кузину: она плакала, устремив взор к небу, рука на его плече дрожала, другая бессильно опустилась. Вдруг она схватила кедровую шкатулку, положила ее в камин и стала наблюдать, как она горит.

— Танцуют! Все пришли точно в назначенное время, а смерть придет поздно. Тсс! Друг мой,— произнесла она, приложив палец к его губам, когда Эжен хотел заговорить.— Я больше не увижу ни света, ни Парижа — никогда. В пять часов утра я еду хоронить себя в глуши Нормандии. С трех часов дня мне пришлось готовиться к отъезду, подписывать бумаги, устраивать свои дела; мне было некого послать к...

Она остановилась.

— Его, наверно, нашли бы у...

И она вновь остановилась, подавленная горем. В такие минуты все вызывает боль души и некоторых слов нельзя произнести.

— Короче говоря, я только и надеялась, что вы окажете мне эту последнюю услугу. Мне бы хотелось подарить вам что-нибудь в знак дружбы. О вас я буду думать часто, вы мне казались благородным и добрым, юным и чистым, а в высшем свете эти свойства очень редки. Я хочу, чтобы и вы иногда вспоминали обо мне. Постойте,— сказала она, оглядывая комнату,— вот ларчик, где лежали мои перчатки; каждый раз, когда я доставала их перед выездом на бал или в театр, я чувствовала себя красивой оттого, что была счастлива, и, закрывая ларчик, я неизменно оставляла в нем какую-нибудь свою пленительную мысль — в нем много моего, в нем та де Босеан, какой уже больше нет. Возьмите его себе. Я распоряжусь, чтобы его доставили к вам, на улицу д'Артуа. Сегодня госпожа де Нусинген прекрасна, любите ее по-настоящему. Если, друг мой, мы больше не увидимся, будьте уверены, что я за вас молюсь, вы были так добры ко мне. Пойдемте вниз, я не хочу давать им повод думать, что я плачу. Передо мной целая вечность, я буду одинока, и никогда никто меня не спросит, откуда мои слезы. Взгляну еще раз на эту комнату.

Она умолкла. На одну минуту она прикрыла свои глаза ладонью, потом отерла их, освежила холодной водой и взяла под руку Эжена.

— Идемте! — сказала она.

Эжен ни разу не испытывал такого душевного подъема, как теперь, соприкоснувшись с этой гордо затаенной скорбью. Вернувшись в бальный зал, Эжен обошел весь зал под руку с г-жой де Босеан — последний утонченный знак внимания к нему этой чудесной женщины. Вскоре он заметил обеих сестер — баронессу де Нусинген и графиню де Ресто. Графиня выставила напоказ все бриллианты и была великолепна, но, вероятно, они жгли ее: она надела их в последний раз. Как сильны ни были в ней гордость и любовь, ей было трудно глядеть в глаза своему мужу. Такое зрелище, конечно, не могло настроить мысли Растиньяка на менее печальный лад. За бриллиантами сестер он видел дрянную койку, на которой умирал папаша Горио. Грустный вид Эжена ввел в заблуждение виконтессу, она высвободила свою руку, сказав:

— Я не хочу лишать вас удовольствия.

Его сейчас же подозвала к себе Дельфина, радуясь своему успеху и горя желанием сложить к ногам Эжена дань поклонения, собранную ею в высшем свете, где она так надеялась быть принятой.

— Как вы находите Нази? — спросила она.

— Она пустила в оборот все, даже смерть своего отца,— ответил Растиньяк.

К четырем часам утра толпа в гостиных начала редеть. Вскоре умолкли звуки музыки. В большой гостиной сидели только герцогиня де Ланже и Растиньяк. Виконтесса, в надежде встретить Эжена одного, пришла туда, простившись с виконтом де Босеаном, который, уходя спать, сказал ей еще раз:

— Напрасно, дорогая, вы в вашем возрасте хотите стать затворницей, оставайтесь с нами.

Увидев герцогиню, г-жа де Босеан не удержалась и возгласом выразила удивление.

— Клара, я догадалась,— сказала герцогиня де Ланже.— Вы уезжаете и больше не вернетесь... Но вы не уедете, пока не выслушаете меня и пока мы не поймем друг друга.

Она взяла свою приятельницу под руку, увела в соседнюю гостиную и там, со слезами на глазах, крепко обняв ее, поцеловала в обе щеки.

— С вами, дорогая, я не могу расстаться холодно, это было бы чересчур тяжким укором моей совести. Вы можете положиться на меня, как на самое себя. Сегодня вечером вы показали ваше величие, я почувствовала, что вы мне близки по душе, и мне хотелось бы вам это доказать. Я виновата перед вами, я не всегда хорошо относилась к вам; простите меня, дорогая: я осуждаю в себе все, что вам могло причинить боль, я бы хотела взять обратно все прежние свои слова. Одинаковое горе породнило наши души, и я не знаю, кто из нас будет несчастнее. Генерал де Монриво не приехал сюда сегодня вечером. Вы понимаете, что это значит? Клара, кто видел вас на этом бале, тот не забудет вас никогда. А я? Я делаю последнюю попытку. Если меня постигнет неудача, уйду в монастырь! Но куда вы едете?

— В Нормандию, в Курсель, любить, молиться до того дня, когда господь возьмет меня из этого мира.

— Господин де Растиньяк, идите сюда,— растроганным голосом сказала виконтесса, вспомнив, что Эжен ждет.

Растиньяк стал на одно колено, взял руку виконтессы и поцеловал.

— Прощайте, Антуанета,— сказала г-жа де Босеан,— будьте счастливы. Что касается до вас, Эжен, то вы счастливы и так: вы молоды, вы еще можете во что-то верить. Как некоторые счастливцы в их смертный час, я в час ухода своего от суетного мира нашла здесь около себя святые, чистые волнения близких мне людей.

Растиньяк ушел в пять часов утра, когда г-жа де Босеан уже села в дорожную карету и простилась с ним в слезах, доказывавших, что и самые высокопоставленные люди подчинены законам чувства и знают в жизни горе, хотя есть личности, которые, чтобы угодить толпе, стараются ей доказать обратное. В холодную ненастную погоду Эжен пешком вернулся в «Дом Воке»: его образование завершалось.

— Нам не спасти беднягу Горио,— сказал Бьяншон, когда Эжен вошел к своему соседу.

— Друг мой, слушай,— обратился к нему Эжен, взглянув на спавшего старика,— иди к той скромной цели, которой ты ограничил свои желания. Я попал в ад и в нем останусь. Всему плохому, что будут говорить тебе о высшем свете, верь! Нет Ювенала, который был бы в силах изобразить всю его мерзость, прикрытую золотом и драгоценными камнями.

На следующий день, часов около двух, Растиньяка разбудил Бьяншон; ему было необходимо выйти из дому, и он просил Эжена побыть с папашей Горио, так как состояние больного сильно ухудшилось за утро.

— Старичку осталось жить дня два, а может быть, только часов шесть,— сказал медик,— и все-таки мы не должны прекращать борьбу с болезнью. Надо будет применять лечение, которое стоит недешево. Конечно, мы останемся сиделками при старике, но денег лично у меня нет ни одного су. Я вывернул все его карманы, перерыл все шкафы, а в итоге — ноль. Я спрашивал его са-

мого, когда он был в сознании, и получил ответ, что у него нет ни лиара. Сколько у тебя?

— У меня осталось двадцать франков,— ответил Растиньяк,— но я пойду, сыграю на них и выиграю.

— А если проиграешь?

— Потребую денег от его зятьев и дочерей.

— А если не дадут?—спросил Бьяншон.— Впрочем, сейчас самое спешное не добывать деньги, а обложить ему ноги горячими горчичниками, от ступней до половины ляжек. Если он начнет кричать, тогда есть надежда. Как ставить горчичники, ты знаешь. Да и Кристоф тебе поможет. А я пойду к аптекарю и поручусь, что будет уплачено за все лекарства, которые мы будем забирать. Жаль, что беднягу нельзя перенести в нашу больницу, там ему было бы лучше. Ну, идем, я все объясню тебе на месте, а ты не отлучайся, пока я не вернусь.

Молодые люди вошли в комнату, где лежал старик. Взглянув на его искаженное болью, бледное, сильно осунувшееся лицо, Растиньяк ужаснулся перемене.

— Ну, как, папа? — спросил он, наклоняясь над постелью.

Горио поднял тусклые глаза и очень внимательно посмотрел на Эжена, но не узнал его. Студент не выдержал, и слезы выступили на его глазах.

— Бьяншон, не надо ли завесить окна?

— Нет, внешняя среда на него уже не действует. Было бы очень хорошо, если бы он чувствовал тепло и холод; но все равно придется топить печь, чтобы приготовлять отвары, да и для других надобностей. Я пришлю тебе несколько вязанок дров, будем жечь их, пока не раздобудем еще. Вчера и сегодня ночью я сжег твои дрова и весь торф, какой нашел у этого бедняги. Сырость была такая, что капало со стен. Насилу я просушил комнату. Кристоф подмел ее, а то была настоящая конюшня. Я покурил можжевельником, уж чересчур воняло.

— Боже мой! А его дочери?! — воскликнул Растиньяк.

— Слушай, если он попросит пить, дай ему вот этого,— сказал медик, указывая на большой белый кувшин.— Если услышишь, что он жалуется на боль, а жи-

вот будет твердый и горячий, тогда пускай Кристоф поможет поставить ему... ты знаешь, что. Если он ненароком придет в возбужденное состояние, начнет много говорить, даже будет чуточку не в своем уме и нести чушь, не останавливай. Это неплохой признак. Но все-таки пошли Кристофа в больницу Кошена Наш врач, мой товарищ, или я придем сделать ему прижигания. Сегодня утром, пока ты спал, мы собрали большой консилиум с участием одного ученика Галля, а также главного врача из нашей больницы и главного врача из Отель-Дье. Им кажется, что они установили очень интересные симптомы, и мы будем следить за развитием болезни для уяснения ряда вопросов, весьма важных с научной стороны. Один из этих врачей уверяет, что если давление серозной жидкости действует на один орган сильнее, чем на другой, то это может вызвать совершенно особые явления. В случае, если он заговорит, прислушайся внимательно, чтобы определить, в каком кругу понятий станут вращаться его разговоры: чем они будут вызываться — воспоминанием, мыслями о будущем или суждением о настоящем, занимают ли его вопросы чувства или материального порядка, не делает ли он подсчетов, не возвращается ли к прошлому; короче говоря, ты должен дать нам точный отчет. Возможно, что кровоизлияние произошло сразу в мозг, тогда он умрет в состоянии того же слабоумия, какое у него сейчас. В болезнях подобного рода все необычно. Когда удар случается вот в этом месте,— сказал Бьяншон, указывая на затылок больного,— то бывают примеры странных явлений: работа мозга частично восстанавливается, и тогда смерть наступает позже. Кровоизлияние может и не дойти до мозга, а избрать другие пути, но направление можно установить только при вскрытии. В больнице для неизлечимых есть слабоумный старик, у него излияние пошло вдоль позвоночника; страдает он ужасно, но живет.

— Хорошо они повеселились? — спросил папаша Горио, узнав Эжена.

— Он только и думает о дочерях,— сказал Бьяншон.— За эту ночь он повторил раз сто: «Они танцуют! На ней новое платье!» Звал их по именам. Черт подери! Своими причитаниями он и меня заставил просле-

зиться: «Дельфина, моя Дельфина! Нази!» Честное слово, было от чего расплакаться!

— Дельфина тут, правда? Я так и знал,— вымолвил старик.

И глаза его с какой-то неестественной живостью оглядывали дверь и стены.

— Я сойду вниз и велю Сильвии приготовить горчичники, момент благоприятный! — крикнул Бьяншон.

Растиньяк остался вдвоем со стариком и, сидя у него в ногах, уставился глазами на старческую голову: ему и жутко и горько было ее видеть.

«Виконтесса де Босеан бежала, этот умирает,— подумал Растиньяк.— Люди с тонкой душой не могут долго оставаться в этом мире. Да и как благородным, большим чувствам ужиться с мелким, ограниченным, ничтожным обществом?»

Картины великосветского бала, где он был гостем, возникли в его памяти разительным контрастом со зрелищем этого смертного одра. Неожиданно вошел Бьяншон.

— Слушай, Эжен, я сейчас виделся с нашим главным врачом и без передышки понесся сюда. Если у больного появятся признаки рассудка, если он заговорит, поставь ему продольный горчичник так, чтобы охватить спину от шеи до крестца, и пошли за нами.

— Какой ты милый, Бьяншон! — сказал Эжен.

— О, тут дело касается науки! — ответил медик со всем пылом неофита.

— Значит, только я ухаживаю за бедным стариком из любви? — спросил Растиньяк.

— Ты бы этого не говорил, если бы видел меня сегодня утром,— возразил Бьяншон, не обижаясь на это замечание.— Врачи, уже привычные, видят только болезнь, а я, братец мой, пока еще вижу и больного.

Он оставил со стариком Эжена и ушел, предчувствуя близкий кризис, не замедливший наступить.

— А-а! Это вы, дитя мое! — сказал папаша Горио, узнав Эжена.

— Вам лучше? — спросил студент, беря его руку.

— Да, мне сдавило голову, точно тисками, но теперь

стало отпускать. Видели вы моих дочек? Скоро они придут сюда, прибегут сейчас же, как только узнают, что я болен. Как они ухаживали за мной на улице Жюсьен! Боже мой! Мне бы хотелось, чтобы к их приходу в комнате было чисто. Тут ходит один молодой человек, он сжег у меня весь торф.

— Я слышу, Кристоф тащит сюда по лестнице дрова, их вам прислал этот молодой человек.

— Это хорошо! Только чем заплатить за дрова? У меня, сынок, ни одного су. Я все отдал, все. Я нищий. Платье-то с блестками по крайности было ли красиво? (Ах, как болит!) Спасибо, Кристоф, бог вам воздаст, а у меня нет ничего.

— Я заплачу за все и тебе и Сильвии,— шепнул Эжен на ухо Кристофу.

— Кристоф, говорили вам дочки, что приедут, да? Сходи к ним еще раз, я дам тебе сто су. Скажи, что чувствую себя я плохо, хочу перед смертью обнять их и повидать еще разок. Скажи им это, только не очень их пугай.

Растиньяк сделал знак Кристофу, и тот вышел.

— Они приедут,— снова заговорил старик.— Я-то их знаю. Добрая моя Фифина, какое горе я причиню ей, ежели умру! Нази тоже. Я не хочу смерти, чтобы они не стали плакать. Милый мой Эжен, умереть — ведь это больше не видеть их. Там, куда уходят все, я буду тосковать. Разлука с детьми — вот ад для отца, и я уже готовился к нему с той поры, как они вышли замуж. Улица Жюсьен — там был мой рай. Кстати, если я попаду в рай, смогу ли я, как дух, вернуться на землю и быть с ними? Я слышал разговоры о таких вещах. Правда ли это? Вот сейчас я будто наяву их вижу, какими они были на улице Жюсьен. По утрам дочки сходили вниз. «Доброе утро, папа»,— говорили они. Я сажал их к себе на колени, всячески их подзадоривал, шутил. Они были так ласковы со мной! Всякий день мы завтракали вместе, вместе обедали — словом, я был отцом, я наслаждался близостью ко мне детей. Когда мы жили на улице Жюсьен, они не умничали, ничего не понимали в жизни и очень меня любили. Боже мой! Зачем не остались они маленькими? (О, какая боль! Вся голова трещит!) Ай, ай, простите меня, детки, мне ужасно боль-

но, значит, это уже по-настоящему мучительно, а то вы научили меня терпеть боль. Боже мой! Только бы держать в своих руках их руки, и я бы не чувствовал никакой боли. Как вы думаете, они придут? Кристоф такой дурак! Следовало бы пойти мне самому. Вот он увидит их. Да-а! Вчера вы были на балу. Расскажите же мне про них, как и что? Они, конечно, ничего не знали о моей болезни? Бедные девочки не стали бы, пожалуй, танцевать! Я не хочу больше болеть. Я им еще очень нужен. Их состояние под угрозой. Каким мужьям они достались! Вылечите меня! Вылечите! (Ох, как больно! Ай, ай, ай!) Вы сами видите, нельзя меня не вылечить: им нужны деньги, а я знаю, куда поехать, где их заработать. Я поеду в Одессу делать чистый крахмал. Я дока, я наживу миллионы. (Ох, уж очень больно!)

С минуту Горио молчал, видимо, изо всех сил стараясь преодолеть боль.

— Будь они здесь, я бы не жаловался,—сказал он.— С чего бы я стал жаловаться?

Он задремал и начал засыпать. Кристоф вернулся. Растиньяк думал, что Горио уснул, и не остановил Кристофа, начавшего громко рассказывать о том, как выполнил он поручение.

— Сударь, сперва пошел я к графине, только поговорить с ней нельзя было никак: у ней вышли большие нелады с мужем. Я все настаивал, тогда пришел сам граф и сказал мне этак: «Господин Горио умирает, ну так что же! И хорошо делает. Мне нужно закончить с графиней важные дела, она поедет, как все кончится». Видать, что он был в сердцах. Я было собрался домой, а тут графиня выходит в переднюю — а из какой двери, я и не приметил — и говорит: «Кристоф, скажи отцу, что у меня с мужем спор, я не могу отлучиться: дело идет о жизни или смерти моих детей. Как все закончится, я приду». А что до баронессы, тут история другая! Ее я вовсе не видел, так что и говорить с ней не пришлось, а горничная мне сказала: «Ах, баронесса вернулась с бала четверть шестого и сейчас спит; коли разбужу ее раньше двенадцати, она забранится. Вот позвонит мне, тогда я ей и передам, что отцу хуже. Плохую-то весть сказать всегда успеешь». Как я ни

бился, все зря. Просил поговорить с бароном, а его не оказалось дома.

— Так не приедет ни одна из дочерей?! — воскликнул Растиньяк.— Сейчас напишу обеим.

— Ни одна! — отозвался старик, приподнимаясь на постели.— У них дела, они спят, они не приедут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах, друг мой, не женитесь, не заводите детей! Вы им дарите жизнь, они вам — смерть! Вы их производите на свет, они вас сживают со свету! Они не придут! Мне это известно уже десять лет. Я это говорил себе не один раз, но не смел этому верить.

На воспаленные края его век скатились две слезы и так застыли.

— Ах, будь я богат, кабы я не отдал им свое богатство, а сохранил бы у себя, они были бы здесь, у меня бы щеки лоснились от их поцелуев. Я бы жил в особняке, в прекрасных комнатах, была бы у меня прислуга; было бы тепло; дочери пришли бы все в слезах, с мужьями и детьми. Так бы оно и было! А теперь ничего. За деньги купишь все, даже дочерей. О мои деньги, где они?! Если бы я оставлял в наследство сокровища, дочери ходили бы за мной, лечили; я бы и слышал и видел их. Ах, милый мой сынок, единственное мое дитя, я предпочитаю быть бесприютным, нищим. По крайности, когда любят бедняка, он может быть уверен, что любим сам по себе. Нет, я бы хотел быть богатым, тогда бы я их видел... Хотя, правда, как знать? У них обеих сердца каменные. Я чересчур любил их, чтобы они меня любили. Отец непременно должен быть богат, он должен держать детей на поводу, как норовистых лошадей. А я стоял перед ними на коленях. Негодницы! Они достойно завершают свое отношение ко мне за последние десять лет. Если бы вы знали, до чего они были внимательны ко мне в первые годы их замужества! (Ох, как болит, какая мука!) Я дал за каждой восемьсот тысяч франков; тогда еще им самим, да и мужьям их было неловко обращаться со мной бесцеремонно. Меня принимали: «Милый папа, сядьте здесь, дорогой папа, сядьте там». Для меня всегда стоял на столе прибор. Мужья относились ко мне почтительно, и я обедал с ними. Им казалось, что у меня

есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я никогда не говорил им про свои дела. Но когда человек дает в приданое восемьсот тысяч, за ним стоит поухаживать. И за мной ухаживали на все лады, конечно, ради моих денег. Люди очень неприглядны. Я-то на них насмотрелся! Меня возили в карете по театрам, я и на вечерах сидел у них сколько угодно. Словом, они называли себя моими дочерьми и признавали меня своим отцом. Я еще не потерял сметливости, и от меня не скроешь ничего. Все доходило до меня и пронзало сердце. Я хорошо видел, что это все одно притворство, а помочь горю было нечем. У них я чувствовал себя не так свободно, как за столом здесь, внизу. Я не знал, что и как сказать. Бывало, кто-нибудь из великосветских их гостей спросит на ухо моих зятьев:

— Это кто такой?

— Это отец — золотой мешок, богач.

— Ах! Черт возьми! — слышалось в ответ, и на меня смотрели с уважением... к моим деньгам. Конечно, иной раз, я бывал им немножко в тягость, но ведь я искупал свои недостатки. А кто без недостатков? (Голова моя — сплошная рана!) Сейчас я мучаюсь так, что можно умереть от одной этой муки, и вот, дорогой мой господин Эжен, она — ничто в сравнении с той болью, какую причинила мне Анастази одним взглядом, когда она впервые дала понять мне, что я сказал глупость и осрамил ее. От ее взгляда у меня вся кровь отхлынула от сердца. Мне захотелось узнать, в чем дело, но я узнал только одно, что на земле я лишний. Для утешения я на другой день пошел к Дельфине, но там тоже сделал промах и прогневил дочку. От этого я стал как не в своем уме. Целую неделю я не знал, как мне быть; пойти к ним не решался, боясь упреков, и вышло, что двери их домов закрылись для меня! Господи, боже мой! Ты же знаешь, сколько я вытерпел страданий, горя; ты вел счет тяжким моим ранам за все это время, которое меня так изменило, состарило, покрыло сединой, совсем убило; почему же ты заставляешь меня мучиться теперь? Я вполне искупил свой грех — свою чрезмерную любовь. Они жестоко отплатили мне за мое чувство: как палачи, они клещами рвали мое тело. Что делать! Отцы такие дураки! Я так любил их, что меня

всегда тянуло к ним, как игрока в игорный дом. Дочери были моим пороком, моей любовной страстью, всем! Обеим чего-нибудь хотелось — каких-нибудь там драгоценных безделушек; горничные говорили мне об этом, и я дарил, чтобы они получше приняли меня. Все-таки дочери дали мне несколько уроков, как держаться в светском обществе. Но не стали ждать результатов, а начали краснеть за меня. Да, да, вот и давай хорошее воспитание своим детям! Не мог же я в моем возрасте поступить в школу! (Боже, какая ужасная боль! Врачей! Врачей! Если мне вскроют голову, мне станет легче!) Дочки, дочки, Анастази, Дельфина! Я хочу их видеть! Пошлите за ними жандармов, приведите силой! За меня правосудие, за меня все — природа, гражданские законы! Я протестую! Если отцов будут топтать ногами, отечество погибнет. Это ясно. Общество, весь мир держится отцовством, все рухнет, если дети перестанут любить своих отцов. О, только бы их видеть, слышать; все равно, что́ они будут говорить, только бы я слышал их голоса, особенно Дельфины, это облегчило бы мне боль. Но когда они будут здесь, попросите их не смотреть на меня так холодно, как они привыкли. Ах, добрый друг мой, господин Эжен, вы не знаете, каково это видеть, когда золото, блестевшее во взгляде, вдруг превращается в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали греть меня своими лучами, здесь для меня всегда была зима, мне ничего не оставалось, как глотать горечь обиды. И я глотал! Я жил для унижений и оскорблений. Я так любил обеих, что терпел все поношения, ценой которых я покупал у них постыдную маленькую радость. Отец украдкой видит дочерей! Я отдал им всю свою жизнь — они сегодня не хотят отдать мне даже час! Томит жажда, голод, внутри жжет, а они не придут облегчить мою агонию,— я ведь умираю, я это чувствую. Видно, они не знают, что такое пройти по трупу своего отца! Есть бог на небе, и он мстит за нас, отцов, без нашего ведома. Нет, они придут! Придите, мои миленькие, придите еще раз поцеловать меня, дайте вместо предсмертного причастия последнее лобзание вашему отцу, он будет молить бога за вас, скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, будет вашим заступником перед ним! В конце концов

вина не ваша. Друг мой, они не виноваты. Скажите это всему свету, чтоб не осуждали их из-за меня. Мой грех! Я сам их приучил топтать меня ногами. Мне это нравилось. Но до этого нет дела никому, ни человеческому, ни божьему правосудию. Бог будет несправедлив, если накажет их за меня. Я не умел себя поставить, я сделал такую глупость, что отказался от своих прав. Ради них я обесценил самого себя. Чего же вы хотите! Самая лучшая натура, лучшая душа не устояла бы и соблазнилась бы такой отцовской слабостью. Я жалкий человек и наказан поделом. Один я был причиной распущенности дочерей: я их избаловал. Теперь они требуют наслаждений, как раньше требовали конфет. Я потакал всем их девичьим прихотям. В пятнадцать лет у них был собственный выезд! Ни в чем не было отказа. Виноват один я, но вся вина в моей любви. Их голоса хватали меня за сердце. Я слышу их, они идут. О да, они придут! Закон повелевает посетить умирающего отца, закон за меня. Да это и не требует расходов, кроме проезда на извозчике. Я оплачу его. Напишите им, что я могу оставить миллионы! Честное слово! Я поеду в Одессу делать вермишель. Я знаю способ. С моим проектом можно нажить миллионы. Об этом еще никто не думал. При перевозке она не портится, как зерно или мука. Да! Да! А крахмал! В нем миллионы! Вы не солжете, так и говорите: миллионы. Если даже они придут из жадности, лучше я обманусь, но их увижу. Я требую дочерей! Я создал их! Они мои! — сказал он, поднимаясь на постели и поворачивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами и с грозным выражением в каждой черте лица, способной выразить угрозу.

— Ну же, лягте, милый папа Горио, сейчас я напишу им,— уговаривал его Эжен.— Как только вернется Бьяншон, я сам пойду к ним, если они не приедут.

— Если не приедут? — повторил старик, рыдая.—Но я умру, умру в припадке бешенства, да, бешенства! Я уже в бешенстве. Сейчас я вижу всю свою жизнь. Я обманут! Они меня не любят и не любили никогда. Это ясно. Раз уж они не пришли, то и не придут. Чем больше они будут мешкать, тем труднее будет им ре-

шиться порадовать меня. Я это знаю. Они никогда не чувствовали ни моих горестей, ни моих мук, ни моих нужд,— не почувствуют и того, что я умираю; им непонятна даже тайна моей нежности. Да, я это вижу, они привыкли потрошить меня, и потому все, что я делал для них, теряло цену. Пожелай они выколоть мне глаза, я бы ответил им: «Нате, колите!» Я слишком глуп. Они воображают, что у всех отцы такие же, как их отец. Надо всегда держать себя в цене. Их дети отплатят за меня. Ради самих себя они должны прийти. Предупредите их, что они готовят себе такой же смертный час. В одном этом преступлении они свершают все мыслимые преступления. Идите же, скажите им, что их отказ прийти — отцеубийство! За ними и так довольно злодеяний. Крикните им вот так: «Эй, Нази! Эй, Дельфина! Придите к вашему отцу,— он был так добр к вам, а теперь мучится». Ничего и никого. Неужели я подохну, как собака? Заброшен — вот моя награда. Преступницы! Срамницы! Они противны мне, я проклинаю их, я буду по ночам вставать из гроба и повторять свои проклятия, а разве я в конце концов не прав, друзья мои? Ведь они плохо поступают, а? Что это я говорю? Вы же сказали, что Дельфина здесь! Она лучше. Да, да, Эжен, вы мой сын! Любите ее, будьте ей отцом. Другая очень несчастна. А их состояния! Боже мой! Пришел конец, уж очень больно! Отрежьте мне голову, оставьте только сердце.

— Кристоф, сходите за Бьяншоном и приведите мне извозчика! — крикнул Эжен, испуганный криками и жалобами старика.— Милый папа Горио, я сейчас еду за вашими дочерьми и привезу их!

— Насильно, насильно! Требуйте гвардию, армию, все, все! — крикнул старик, бросив на Эжена последний взгляд, где еще светился здравый ум.— Скажите правительству, прокурору, чтобы их привели ко мне, я требую этого!

— Вы же их прокляли?

— Кто вам сказал?—спросил старик в недоумении.— Вы-то прекрасно знаете, что я люблю их, обожаю! Я выздоровлю, если их увижу. Ступайте, милый мой сосед, дорогое дитя мое, ступайте, вы хороший. Хотелось бы мне вас отблагодарить, да нечего мне дать, кроме

благословения умирающего. Ах, хотя бы повидать Дельфину, попросить ее, чтобы она вознаградила вас! Если старшей нельзя, то привезите мне Дельфину. Скажите ей, что если она откажется приехать, то вы разлюбите ее. Она так любит вас, что приедет. Пить! Все нутро горит! Положите мне что-нибудь на голову — руку бы дочери, я чувствую, это бы спасло меня. Боже мой! Если меня не будет, кто же вернет им состояние? Хочу ехать в Одессу ради них... в Одессу, делать вермишель...

— Пейте,— сказал Эжен, левой рукой приподнимая умирающего, а в правой держа чашку с отваром.

— Вот вы, наверно, любите вашего отца и вашу мать! — говорил старик, слабыми руками сжимая Эжену руку.— Вы понимаете, что я умру, не повидав своих дочерей? Вечно жаждать и никогда не пить — так жил я десять лет. Зятья убили моих дочерей. Отцы, требуйте от палат, чтобы установили закон о браке! Не выдавайте замуж дочерей, если их любите. Зять — это негодяй, который развращает всю душу дочери, оскверняет все. Не надо браков! Брак отнимает наших дочерей, и, когда мы умираем, их нет при нас. Оградите законом смерть отцов. То, что происходит,— ужас! Мщения! Ведь это мои зятья не позволяют им прийти. Убейте их! Смерть этому Ресто, смерть эльзасцу, они мои убийцы. Смерть вам — или отпустите дочерей! Конец! Я умираю, не повидав их! Их! Придите же, Нази, Фифина! Ваш папа уходит...

— Милый папа Горио, успокойтесь, лежите тихо, не волнуйтесь, не думайте.

— Не видеть их — вот агония!

— Вы скоро их увидите.

— Правда? — воскликнул старик в забытьи.—О, видеть их! Я их увижу, услышу их голоса. Я умру счастливым. Да я и не хочу жить дольше, я жизнью уж не дорожил, мои мучения все умножались. Но видеть их, притронуться к их платью, только к платью, ведь это же такая малость: почувствовать их в чем-нибудь! Дайте мне в руки их волосы... воло...

Он упал головой на подушку, точно его ударили дубиной. Руки его задвигались по одеялу, как будто он искал волосы своих дочерей.

— Я их благословляю, благословляю,— с усилием выговорил он и сразу потерял сознание.

В эту минуту вошел Бьяншон.

— Я встретился с Кристофом, сейчас он приведет тебе карету,— сказал Бьяншон.

Затем он осмотрел больного, поднял ему веко, и оба студента увидели тусклый, лишенный жизни глаз.

— Мне думается, он больше не придет в себя,— заметил студент-медик.

Бьяншон пощупал пульс у старика, затем положил руку ему на сердце.

— Машина работает, но в его состоянии это — несчастье. Лучше бы он умер!

— Да, правда,— ответил Растиньяк.

— Что с тобой? Ты бледен, как смерть.

— Сейчас я слышал такие стоны, такие вопли души. Но есть же бог! О да, бог есть и сделает мир наш лучше, или же наша земля — нелепость. Если бы все это было не так трагично, я бы залился слезами, но ужас сковал мне грудь и сердце.

— Слушай, понадобится всего еще немало, откуда нам взять денег?

Растиньяк вынул свои часы.

— Возьми и заложи их поскорее. Я не хочу задерживаться по дороге, чтобы не терять ни одной минуты, жду только Кристофа. У меня нет ни лиара, извозчику придется заплатить по возвращении.

Растиньяк сбежал вниз по лестнице и уехал на Гельдерскую улицу к графине де Ресто. Дорогой, под действием воображения, пораженного ужасным зрелищем, свидетелем которого он был, в нем разгорелось негодующее чувство. Войдя в переднюю, Эжен спросил графиню де Ресто, но услыхал в ответ, что она не принимает.

— Я приехал по поручению ее отца, он при смерти!— заявил Эжен лакею.

— Сударь, граф отдал нам строжайшее приказание...

— Если граф де Ресто дома, передайте ему, в каком состоянии находится его тесть, и скажите, что мне необходимо переговорить с ним сию минуту.

Эжену пришлось ждать долго. «Может быть, в эту минуту старик уже умирает»,— подумал он.

Наконец лакей проводил его в первую гостиную, где де Ресто, стоя у нетопленного камина, ждал Эжена, но не предложил сесть.

— Граф,— обратился к нему Растиньяк,— ваш тесть умирает в мерзкой дыре, и у него нет ни лиара, чтобы купить дров; он в самом деле при смерти и просит повидаться с дочерью...

— Господин де Растиньяк, как вы могли заметить, я не питаю особой нежности к господину Горио,— холодно ответил граф де Ресто.— Он злоупотребил положением отца графини де Ресто, он стал несчастьем моей жизни, я смотрю на него, как на нарушителя моего покоя. Умрет ли он, останется ли жив,— мне все равно. Вот лично мои чувства по отношению к нему. Пусть порицают меня люди, я пренебрегаю их мнением Сейчас я должен закончить очень важные дела, а не заниматься тем, что будут думать обо мне глупцы или безразличные мне люди. Что до графини Ресто, она не в состоянии поехать. Кроме того, мне нежелательно, чтобы она отлучалась из дому. Передайте ее отцу, что как только она выполнит свои обязательства в отношении меня и моего ребенка, она поедет навестить его. Если она любит своего отца, то может быть свободна через несколько секунд.

— Граф, не мне судить о вашем поведении, вы являетесь главой вашей семьи, но я могу рассчитывать на ваше слово? В таком случае обещайте мне только сказать графине, что ее отец не проживет дня и уже проклял ее за то, что ее нет у его постели!

— Скажите ей это сами,— ответил де Ресто, затронутый чувством возмущения, звучавшим в голосе Эжена.

В сопровождении графа Растиньяк вошел в гостиную, где графиня обычно проводила время; она сидела, откинувшись на спинку кресла, вся в слезах, как приговоренная к смерти. Эжену стало ее жаль. Прежде чем посмотреть на Растиньяка, она бросила на мужа робкий взгляд, говоривший о полном упадке сил, сломленных физической и моральной тиранией. Граф кивнул головой, и она поняла, что это было разрешение говорить.

— Сударь, я слышала все. Скажите папе, что он меня простил бы, если бы знал, в каком я положении. Я не могла себе представить этой пытки, она выше моих сил, но я буду сопротивляться до конца,— сказала она му-

жу.— Я мать!.. Передайте папе, что относительно его я вне упреков, хотя со стороны это покажется не так! — с отчаянием крикнула она Эжену.

Растиньяк, догадываясь, какой ужасный перелом происходил в ее душе, откланялся супругам и удалился, потрясенный. Тон графа де Ресто ясно говорил о бесполезности его попытки, и он понял, что Анастази утратила свободу.

Он бросился к г-же де Нусинген и застал ее в постели.

— Я, милый друг, больна,— сказала она.— Я простудилась, возвращаясь с бала, боюсь воспаления легких и жду врача...

— Даже если бы вы стояли одной ногой в могиле, хоть ползком, но вы должны навестить отца,— прервал ее Эжен.— Он вас зовет! Если бы вы слышали даже самый слабый его крик, у вас прошла бы вся болезнь.

— Эжен, быть может, отец не так уж болен, как говорите вы, но я была бы в отчаянии, если бы хотя немного потеряла в вашем мнении, и поступлю так, как вы желаете. Но знаю, он умрет от горя, если моя болезнь станет смертельной после выезда. Хорошо! Я поеду, как только придет врач... О-о! Почему на вас нет часов? — спросила она, заметив отсутствие цепочки.

Растиньяк покраснел.

— Эжен! Эжен, если вы их потеряли, продали... о, как это было бы нехорошо!

Эжен наклонился над постелью и сказал на ухо Дельфине:

— Вам угодно знать? Хорошо! Знайте! Вашему отцу не на что купить саван, в который завернут его сегодня вечером. Часы в закладе, у меня не оставалось больше ничего.

Дельфина одним движением выпрыгнула из постели, подбежала к секретеру, достала кошелек и протянула Растиньяку. Затем позвонила и крикнула:

— Эжен, я еду, еду! Дайте мне время одеться. Да, я была бы чудовищем! Идите, я приеду раньше вас! Тереза,— позвала она горничную,— попросите господина де Нусингена подняться ко мне сию минуту, мне надо с ним поговорить.

Эжен был счастлив объявить умирающему о скором

приезде одной из дочерей и вернулся на улицу Нев-Сент-Женевьев почти веселым. Он начал рыться в кошельке, чтобы сейчас же заплатить извозчику: в кошельке у молодой, такой богатой, такой изящной женщины оказалось только семьдесят франков. Поднявшись наверх, Эжен увидел, что Бьяншон поддерживает папашу Горио, а больничный фельдшер что-то делает над стариком под наблюдением врача. Старику прижигали спину раскаленным железом — последнее средство медицинской науки, средство бесполезное.

— Вы что-нибудь чувствуете? — спросил врач у Горио.

Но вместо ответа папаша Горио, завидев Растиньяка, спросил его:

— Они едут, это правда?

— Он может выкрутиться, раз он в состоянии говорить,— заметил фельдшер.

— Да, за мной едет Дельфина,— ответил старику Эжен.

— Слушай! Он все время говорил о дочерях, требовал их к себе и так кричал, как, по рассказам, кричат посаженные на кол, требуя воды.

— Довольно,— сказал врач фельдшеру,— тут ничего больше не поделаешь, спасти его нельзя.

Бьяншон с фельдшером вновь положили умирающего на вонючую постель.

— Все-таки следовало бы переменить белье,— заметил врач.— Правда, надежды нет, но человеческое достоинство надо уважать. Я еще зайду, Бьяншон,— сказал он студенту.— Если больной станет опять жаловаться, приложите ему к диафрагме опий.

Фельдшер и врач ушли.

— Слушай, Эжен, не падай, дружище, духом! — сказал Бьяншон Растиньяку, оставшись с ним вдвоем.— Сейчас надо только надеть ему чистую рубашку и сменить постельное белье. Пойди скажи Сильвии, чтобы она принесла простыни и помогла нам.

Эжен спустился в столовую, где г-жа Воке и Сильвия накрывали на стол. Едва он обратился к Сильвии, сейчас же подошла к нему вдова с кисло-сладким видом осмотрительной торговки, которой не хочется ни потерпеть убытка, ни раздосадовать покупщика.

— Дорогой мой господин Эжен,— начала она,— вы-то не хуже меня знаете, что у папаши Горио нет больше ни одного су. Когда человек того гляди закатит глаза, давать ему простыни — значит загубить их, а и без того придется пожертвовать одну на саван. Вы мне и так должны сто сорок четыре франка, прикиньте сорок за простыни да еще немного за разные другие мелочи, за то, что Сильвия даст вам еще свечку,— все вместе составит не меньше двухсот франков, а такой бедной вдове, как я, терять их не годится. Будьте справедливы, господин Эжен, довольно я потеряла за эти пять дней, как посыпались на меня все несчастья. Я бы сама дала десять экю, только бы наш старичок уехал в тот срок, как вы мне обещали. А такая неприятность бьет по моим жильцам. Коль это даром, так лучше я отправлю его в больницу. Станьте на мое место. Мое заведение важнее всего, я им живу.

Растиньяк быстро поднялся к Горио.

— Бьяншон, где деньги за часы?

— Там, на столе; осталось триста шестьдесят с чем-то. Я расплатился начисто за все, что брал сам. Квитанция ссудной кассы под деньгами.

— Теперь, госпожа Воке, давайте рассчитаемся,— сказал Растиньяк с чувством омерзения, сбежав с лестницы.— Господин Горио останется у вас недолго, и я...

— Да, беднягу вынесут ногами вперед,— полугрустно-полурадостно говорила она, пересчитывая двести франков.

— Бросим этот разговор,— сказал Растиньяк.

— Сильвия, дайте простыни и ступайте наверх помочь.

— Вы не забудете Сильвию,— шепнула Эжену на ухо вдова Воке,— она не спит уже две ночи.

Как только Растиньяк отошел, старуха подбежала к кухарке.

— Возьми перелицованные простыни, номер семь. Ей-богу, для мертвеца сойдут и эти,— шепнула она ей на ухо.

Эжен успел подняться на несколько ступенек и не слыхал распоряжения хозяйки.

— Слушай,— сказал ему Бьяншон,— давай сменим ему рубашку. Держи его прямо.

Эжен стал у изголовья, поддерживая умирающего, а Бьяншон снял с него рубашку; старик хватался за грудь, точно стараясь что-то удержать на ней, и застонал, жалобно, тягуче, как стонут животные от сильной боли.

— Да! Да! — вспомнил Бьяншон.— Он требует цепочку из волос и медальон, которые мы сняли, когда делали прижигания. Бедняга! Надо их ему надеть. Они там, на камине.

Эжен взял с камина цепочку, сплетенную из пепельных волос, наверно, из волос г-жи Горио. На одной стороне медальона он прочел: «Анастази»,— на другой: «Дельфина». Эмблема его сердца, всегда покоившаяся на его груди. Внутри лежали локоны, судя по тонине волос, срезанные в самом раннем детстве у обеих дочерей. Как только медальон коснулся его груди, старик ответил протяжным вздохом, выражавшим удовлетворение, жуткое для тех, кто был при этом. В нем слышался последний отзвук его нежности, казалось, уходившей куда-то внутрь, в неведомый нам центр — источник и прибежище человеческих симпатий. Болезненная радость мелькнула на лице, сведенном судорогой. Оба студента были потрясены этой ужасной вспышкой большого чувства, пережившего мысль, и не сдержались: их теплые слезы упали на умирающего старика, ответившего громким криком радости.

— Нази! Фифина! — произнес он.

— В нем еще теплится жизнь,— сказал Бьяншон.

— А на что ему она? — заметила Сильвия.

— Чтобы страдать,— ответил Растиньяк.

Подав знак товарищу делать то же, что и он, Бьяншон встал на колени и подсунул руки под ноги старика, а в это время Растиньяк, став на колени по другую сторону кровати, подсунул руки под спину больного. Сильвия стояла наготове, дожидаясь, когда его поднимут, чтобы сдернуть простыни и заменить их чистыми. Горио, вероятно, обманутый слезами молодых людей, из последних сил протянул руки и, нащупав с той и с другой стороны кровати головы студентов, порывисто схватил их за волосы; чуть слышно донеслось: «Ах, ангелы мои!» Душа его пролепетала два эти слова и с ними отлетела.

— Бедняжка ты мой,— сказала Сильвия, умиленная этим возгласом, где прозвучало самое высокое из чувств, зажженное в последний раз самым ужасным, совершенно неумышленным обманом.

Последний вздох старика был, несомненно, вздохом радости: в нем выразилась вся жизнь Горио-отца — он снова обманулся.

Горио благоговейно уложили на койке. С этой минуты на его лице болезненно запечатлелась борьба между жизнью и смертью, происходившая в машине, где мозг уже утратил сознательные восприятия, от которых у человеческого существа зависят чувства радости и скорби. Полное разрушение являлось вопросом только времени.

— В таком состоянии он пробудет еще несколько часов,— сказал Бьяншон,— и смерть наступит незаметно,— он даже не захрипит. Мозг, вероятно, поражен весь целиком.

В эту минуту на лестнице послышались шаги и прерывистое дыхание молодой женщины.

— Она приехала, но слишком поздно,— сказал Растиньяк.

Оказалось, что это не Дельфина, а ее горничная, Тереза.

— Господин Эжен, между баронессой и бароном вышла ужасная ссора из-за денег, которые просила бедняжка баронесса ради своего отца. Она упала в обморок, вызвали врача, пришлось пустить ей кровь; а потом все кричала: «Папа умирает, хочу проститься с папой!» Прямо душу раздирала своим криком.

— Довольно, Тереза! Приходить ей уже не имеет смысла: господин Горио без сознания.

— Бедный наш господин Горио, неужто ему плохо?— промолвила Тереза.

— Я вам больше не нужна, так я пойду готовить обед, уж половина пятого,— сказала Сильвия и чуть не столкнулась с графиней де Ресто на верхней площадке лестницы.

Появление графини де Ресто было внушительным и жутким. Она взглянула на ложе смерти, слабо освещенное единственной свечой, и залилась слезами, увидав лицо своего отца, похожее теперь на маску, где

еще мерцали последние проблески жизни. Бьяншон из скромности ушел.

— Я не могла вырваться раньше,— сказала графиня Растиньяку.

Эжен грустно кивнул головой. Графиня де Ресто взяла руку отца и поцеловала.

— Папа, простите меня! Вы говорили, что голос мой вызвал бы вас из могилы: тогда вернитесь хоть на мгновение к жизни и благословите вашу раскаявшуюся дочь! Услышьте меня. Какой ужас: кроме вас одного, мне не от кого ждать благословения здесь, на земле! Все ненавидят меня, один вы любите. Меня возненавидят даже мои дети. Возьмите меня с собой, я буду вас любить, заботиться о вас. Он уже не слышит, я схожу с ума!

Упав к его ногам, она с безумным выражением лица смотрела на эти бренные останки.

— Все беды соединились в моем несчастье,— говорила она, обращаясь к Растиньяку.— Граф де Трай уехал, оставив после себя огромные долги; я узнала, что он мне изменял. Муж не простит мне никогда, а мое состояние я отдала ему в полное распоряжение. Погибли все мои мечты! Увы! Ради кого я изменила единственному сердцу (она указала на отца), которое молилось на меня! Его я не признала, оттолкнула, причинила ему тысячу страданий — я, низкая женщина!

— Он все знал,— ответил Растиньяк.

Вдруг папаша Горио раскрыл глаза, но то была лишь судорога век. Графиня рванулась к своему отцу, и это зрелище обманутой надежды было таким же страшным, как и взор умирающего старика.

— Он, может быть, меня услышит! — воскликнула графиня.— Нет,— ответила она сама себе, садясь подле кровати.

Графиня де Ресто выразила желание побыть около отца; тогда Эжен спустился вниз, чтобы чего-нибудь поесть. Нахлебники были уже в сборе.

— Как видно, у нас там наверху готовится маленькая *смерторама*? — спросил художник.

— Шарль, мне кажется, вам следовало бы избрать для ваших шуток предмет менее печальный,— ответил Растиньяк.

— Оказывается, нам здесь нельзя и посмеяться? Что тут такого, раз Бьяншон говорит, что старикан без сознания? — возразил художник.

— Значит, он и умрет таким же, каким был в жизни,— вмешался чиновник из музея.

— Папа умер! — вскрикнула графиня.

Услышав этот страшный вопль, Растиньяк, Сильвия, Бьяншон бросились наверх и нашли графиню уже без чувств. Они привели ее в сознание и отнесли в ждавший у ворот фиакр. Эжен поручил ее заботам Терезы, приказав отвезти к г-же де Нусинген.

— Умер,— объявил Бьяншон, сойдя вниз.

— Ну, господа, за стол, а то остынет суп,— пригласила г-жа Воке.

Оба студента сели рядом.

— Что теперь нужно делать? — спросил Эжен Бьяншона.

— Я закрыл ему глаза и уложил, как полагается. Когда врач из мэрии по нашему заявлению установит смерть, старика зашьют в саван и похоронят. А что же, по-твоему, с ним делать?

— Больше уж он не будет нюхать хлеб — вот так,— сказал один нахлебник, подражая гримасе старика.

— Черт возьми, господа, бросьте наконец папашу Горио и перестаньте нас им пичкать! — заявил репетитор.— Целый час преподносят его под всеми соусами. Одним из преимуществ славного города Парижа является возможность в нем родиться, жить и умереть так, что никто не обратит на вас внимания. Будем пользоваться удобствами цивилизации. Сегодня в Париже шестьдесят смертей, не собираетесь ли вы хныкать по поводу парижских гекатомб? Папаша Горио протянул ноги, тем лучше для него! Если он вам так дорог, ступайте и сидите около него, а нам предоставьте есть спокойно.

— О, конечно, для него лучше, что он помер! — сказала вдова.— Видать, у бедняги было в жизни много неприятностей!

То было единственной надгробной речью человеку, в котором для Эжена воплощалось само отцовство. Пятнадцать нахлебников принялись болтать так же, как обычно. Когда Бьяншон и Растиньяк насытились, то звяканье ножей и вилок, взрывы хохота среди шумной

болтовни, выражение прожорливости и равнодушия на лицах, их бесчувственность — все разом наполнило обоих леденящим чувством омерзения. Два друга вышли из дому, чтобы позвать священника к усопшему для ночного бдения и чтения молитв. Отдавая последний долг умершему, им приходилось соразмерять свои расходы с той ничтожной суммой денег, какой они располагали. Около девяти часов вечера тело уложили на сбитые вместе доски, между двумя свечами, все в той же жалкой комнате, и возле покойника сел священник. Прежде чем лечь спать, Растиньяк, спросив священника о стоимости похорон и заупокойной службы, написал барону де Нусингену и графу де Ресто записки с просьбой прислать своих доверенных, чтоб оплатить расход на погребение. Отправив к ним Кристофа, он лег в постель, изнемогая от усталости, и заснул.

На следующее утро Растиньяку и Бьяншону пришлось самим заявить в мэрию о смерти Горио, и около двенадцати часов дня она была официально установлена. Два часа спустя Растиньяк был вынужден лично уплатить священнику, так как никто не явился от зятьев и ни один из них не прислал денег. Сильвия потребовала десять франков за то, чтобы приготовить тело к погребению и зашить в саван. Эжен с Бьяншоном подсчитали, что у них едва хватит денег на расходы, если родственники покойника не захотят принять участие ни в чем. Студент-медик решил сам уложить тело в гроб для бедняков, доставленный из Кошеновской больницы, где он купил его со скидкой.

— Сыграй-ка штуку с этими прохвостами,— сказал он Растиньяку.— Купи лет на пять землю на Пер-Лашез, закажи в церкви службу и в похоронной конторе— похороны по третьему разряду. Если зятья и дочери тебе откажут возместить расходы, вели высечь на могильном камне: «Здесь покоится господин Горио, отец графини де Ресто и баронессы де Нусинген, погребенный на средства двух студентов».

Эжен последовал совету своего друга, безуспешно побывав у супругов де Нусинген и супругов де Ресто. Дальше порога его не пропустили. И там и здесь швейцары получили строгие распоряжения.

— Господа не принимают никого,— говорили они,—

их батюшка скончался, и они находятся в большом горе.

Эжен имел достаточный опыт в парижском свете и знал, что настаивать не следует. Особенно сжалось его сердце, когда он убедился, что ему нельзя пройти к Дельфине, и у швейцара в его каморке он написал ей:

«Продайте какую-нибудь вашу драгоценность, чтобы достойно проводить вашего отца к месту его последнего упокоения!»

Он запечатал записку и попросил швейцара отдать ее Терезе для передачи баронессе, но швейцар передал записку самому барону, а барон бросил ее в камин. Выполнив все, что мог, Эжен около трех часов вернулся в пансион и невольно прослезился, увидев у калитки гроб, кое-как обитый черной материей и лежавший на двух стульях среди безлюдной улицы. В медном посеребренном тазу со святой водой мокло жалкое кропило, но к нему еще никто не прикасался. Даже калитку не затянули трауром. То была смерть нищего: смерть без торжественности, без родных, без провожатых, без друзей. Бьяншон, занятый в больнице, написал Растиньяку записку, где сообщал, на чем он сговорился с причтом. Студент-медик извещал его, что обедня им будет не по средствам, придется ограничиться вечерней, как более дешевой службой, и что он послал Кристофа с запиской в похоронную контору. Заканчивая чтение бьяншоновских каракуль, Эжен увидел в руках вдовы Воке медальон с золотым ободком, где лежали волосы обеих дочерей.

— Как вы смели это взять? — спросил он.

— Вот тебе раз! Неужто с ним похоронить? Ведь это — золото,— возразила Сильвия.

— Конечно! — ответил Растиньяк с негодованием.— Пусть он возьмет с собой единственную памятку о дочерях.

Когда приехали траурные дроги, Эжен велел внести гроб опять наверх, отбил крышку и благоговейно положил старику на грудь это вещественное отображение тех времен, когда Дельфина и Анастази были юны, чисты, непорочны и «не умничали», как жаловался их отец во время агонии.

Растиньяк, Кристоф, два факельщика — одни про-

вожали дроги, которые везли несчастного отца в церковь Сент-Этьен-дю-Мон, неподалеку от улицы Нев-Сент-Женевьев. По прибытии тело выставили в темном низеньком приделе, но Растиньяк напрасно искал по церкви дочерей папаши Горио или их мужей. При гробе остались только он с Кристофом, считавшим своей обязанностью отдать последний долг человеку, благодаря которому нередко получал большие чаевые. Дожидаясь двух священников, мальчика-певчего и причетника, Растиньяк не в силах произнести ни слова молча пожал Кристофу руку.

— Да, господин Эжен, он был хороший, честный человек, никогда ни с кем не ссорился, никому не был помехой и никогда не делал ничего худого.

Явились два священника, мальчик-певчий, причетник и дали все, что могли дать за семьдесят франков в такие времена, когда церковь не так богата, чтобы молиться даром. Клир пропел один псалом, Libera и De profundis. Вся служба продолжалась минут двадцать. Была только одна траурная карета для священника и певчего, но они согласились взять с собой Эжена и Кристофа.

— Провожатых нет,— сказал священник,— можно ехать побыстрее, чтобы не задержаться, а то уж половина шестого.

Однако в ту минуту, когда гроб ставили на дроги, подъехали две кареты с гербами, но пустые — карета графа де Ресто и карета барона де Нусингена — и следовали за процессией до кладбища Пер-Лашез. В шесть часов тело папаши Горио опустили в свежую могилу; вокруг стояли выездные лакеи обеих дочерей, но и они ушли сейчас же вместе с причтом после короткой литии, пропетой старику за скудную студенческую плату.

Два могильщика, бросив несколько лопат земли, чтобы прикрыть гроб, остановились, и один из них, обращаясь к Растиньяку, попросил на водку. Эжен порылся у себя в кармане, но, не найдя в нем ничего, был вынужден занять франк у Кристофа. Этот сам по себе ничтожный случай подействовал на Растиньяка: им овладела смертельная тоска. День угасал, сырые сумерки раздражали нервы. Эжен заглянул в могилу и в ней похоронил свою последнюю юношескую слезу, исторг-

нутую святыми волнениями чистого сердца — одну из тех, что, пав на землю, с нее восходят к небесам. Он скрестил руки на груди и стал смотреть на облака. Кристоф поглядел на него и отправился домой.

Оставшись в одиночестве, студент прошел несколько шагов к высокой части кладбища, откуда увидал Париж, извилисто раскинутый вдоль Сены и кое-где уже светившийся огнями. Глаза его впились в пространство между Вандомскою колонной и куполом на Доме инвалидов, туда, где жил парижский высший свет, предмет его стремлений. Эжен окинул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его мед, и высокомерно произнес:

— А теперь кто победит: я или ты?

И, бросив обществу свой вызов, он для начала отправился обедать к Дельфине Нусинген.

Саше, сентябрь 1834 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

ГОСПОЖА ФИРМИАНИ

Рассказ «Госпожа Фирмиани» впервые был опубликован в феврале 1832 года в журнале «Ревю де Пари». Отдельным изданием рассказ вышел в октябре того же года в сборнике Бальзака «Новые философские рассказы». В 1835 и 1839 годах Бальзак печатает этот рассказ в «Сценах парижской жизни». Лишь в 1842 году в своем первом прижизненном издании «Человеческой комедии» Бальзак окончательно переносит рассказ «Госпожа Фирмиани» из раздела «Сцены парижской жизни» в раздел «Сцены частной жизни».

Стр. 6. *Флориан*, Жан Пьер (1755—1794) — французский писатель, автор басен и пасторальных повестей.

Стр. 8. *Сен-Жерменское предместье* — во времена Бальзака — аристократический район Парижа.

Квартал Марэ — квартал Парижа, населенный по преимуществу ремесленниками и торговцами.

Стр. 10. *Заговор Малле.— Малле*, Клод-Франсуа (1754—1812) — французский генерал-республиканец; в 1812 году в Париже возглавил неудачно окончившийся антибонапартистский заговор. Был предан военному суду и расстрелян вместе с сообщниками.

Стр. 12. *Аббат де Кан*, Франсуа (1634—1723) — ученый и нумизмат.

Черная шайка — так назывались в период Реставрации скуп-

щики родовых аристократических имений, предназначенных на снос.

Карл Моор—персонаж драмы Шиллера «Разбойники» (1781), однако Бальзак допустил описку: из контекста рассказа следует, что речь должна идти не о Карле Мооре, а о его коварном брате Франце Мооре, который, прибегнув к обману, выставил Карла перед отцом развратным, беспутным гулякой

Стр. 13. *«Котидьен»* — орган крайних роялистов.

«Моисей» — «Моисей в Египте» (1818) — опера игальянского композитора Россини.

Стр. 16. *...одновременно видеть в ней Жанну д'Арк или Агнессу Сорель.* — *Жанна д'Арк* (1412—1431) — национальная героиня французского народа, простая крестьянка, возглавившая в ходе Столетней войны (1337—1453) борьбу французского народа против английских захватчиков. *Агнесса Сорель* (1409—1450) — фаворитка французского короля Карла XII.

Стр. 18. *...с апломбом Селимены, высмеивающей Мизантропа.*— *Селимена*—светская кокетка, в которую влюблен Альцест, главный герой комедии Мольера «Мизантроп».

Стр. 20. *Мы повенчались в Гретна-Грин* — то есть повенчались гражданским браком. Гретна-Грин — деревня в Шотландии на границе с Англией, известна тем, что в ней совершались браки в обход английских брачных законов.

Стр. 23—24. *Шатобриан,* Франсуа-Огюст (1768—1848) — французский реакционный романтик и политический деятель.

ПОЛКОВНИК ШАБЕР

Первоначально повесть была озаглавлена Бальзаком «Мировая сделка» и разделена на четыре главы: «Контора», «Воскресение», «Два посещения», «Богадельня». Опубликованная Бальзаком в журнале «Артист» в феврале — марте 1832 года, она в том же году вышла в свет уже под другим названием — «Граф Шабер» — в сборнике разных авторов «Всякая всячина» («Salmigondis»), т. I. Под названием «Графиня-двумужница» она была включена в четвертый том «Сцен парижской жизни», изданный в 1835 году. Затем в 1844 году «Полковник Шабер» был напечатан во втором томе «Сцен парижской жизни». Составляя план нового издания «Человеческой комедии», которому суждено было стать уже посмертным, Бальзак перенес повесть из «Сцен парижской жизни» в «Сцены частной жизни».

Стр. 34. *Мадам Саки* — известная во времена Бальзака женщина-канатоходец.

Стр. 35. *Тальмà в роли Нерона.*— Знаменитый французский актер Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826) неоднократно исполнял роль Нерона в трагедии Расина «Британник».

Стр. 49. *Шарантон* — расположенный в окрестностях Парижа небольшой городок, где находится больница для умалишенных.

Стр. 61. *Я припаду... к подножию Вандомской колонны... Бронза, и та меня признает.*— Вандомская колонна с бронзовой статуей Наполеона I наверху была построена по его приказу на одной из площадей Парижа в 1806 году в честь одержанных им побед; в 1871 году по постановлению Парижской коммуны была низвергнута как символ милитаризма; в 1875 году восстановлена.

Стр. 77. *Пале-Рояль* — дворец в Париже, построенный в 1629—1636 годах; во времена, о которых речь идет у Бальзака, там помещались игорные дома и увеселительные заведения.

Стр. 93. *Росбах* — деревня в Саксонии, где французские войска потерпели в 1757 году поражение от войск прусского короля Фридриха II.

Иена — немецкий город, в окрестностях которого Наполеон I в 1806 году наголову разбил прусские войска.

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА

Повесть «Тридцатилетняя женщина» в ее окончательной редакции была впервые опубликована в 1842 году в третьем томе первого издания «Человеческой комедии». Выпуская в 1844 году новое издание этой повести, Бальзак внес в нее лишь незначительные изменения: он удлинил действие произведения на два года (до 1844 года) и в соответствии с этим изменил дату его создания (вместо «1828—1842 гг.» — «1828—1844 гг.»).

Эта дата свидетельствует о длительной работе писателя над повестью, представляющей собой соединение нескольких самостоятельных рассказов, написанных и опубликованных Бальзаком в 1831—1834 годах («Свидание», «Тридцатилетняя женщина», «Перст божий», «Искупление» и другие). Некоторые из них были напечатаны в различных парижских журналах, другие — во втором и третьем изданиях «Сцен частной жизни».

Все эти рассказы были впервые собраны вместе в четвертом томе третьего издания «Сцен частной жизни» (1834—1835 годы), где они были помещены Бальзаком под общим заглавием «Та же история». Перерабатывая впоследствии (для первого издания «Человеческой комедии») этот цикл рассказов в повесть «Тридцатилетняя женщина», Бальзак унифицировал имена действующих лиц,

изменил в необходимых случаях время действия в составных частях произведения, разбил его на шесть глав и дал им их нынешние названия.

Стр. 111. *Амьенский договор* — мирный договор 1802 года между Францией и ее союзниками — Испанией и Голландией, с одной стороны, и Англией — с другой. Амьенский договор явился, по существу, лишь перемирием; в 1803 году Англия снова объявила Франции войну.

Континентальная политика, или континентальная блокада. — Речь идет об экономической войне, которую Наполеон вел против Англии в целях вытеснения английских товаров с французских рынков и с рынков зависимых от Франции европейских государств.

Стр 114. *...с самой испанской войны.*— В 1808 году, когда Наполеон I ввел в Испанию войска и возвел на испанский престол своего брата Жозефа, в стране вспыхнуло народное восстание против французских захватчиков Лишь к началу 1810 года Наполеону удалось подчинить своей власти большую часть Испании, но волнения в стране продолжались и в последующие годы.

Стр. 115. *Дюкло* — Шарль Пино-Дюкло (1704—1772) — второстепенный французский историк и писатель.

Маршал Ришелье (1696—1788) — внучатый племянник министра Людовика XIII кардинала Ришелье, придворный Людовика XV.

Стр. 128. *Он бежал вместе с Бурбонами в Гент.*— В марте 1815 года, когда Наполеон вернулся во Францию с острова Эльба, Людовик XVIII бежал с приближенными во Фландрию, в город Гент, где прожил до вторичного отречения Наполеона от престола.

Стр. 138. *«У подножия ивы»* — слова из арии Дездемоны из оперы Россини «Отелло» (на сюжет одноименной трагедии Шекспира).

Стр. 141. *«Я царица, я воительница...»* — ария из оперы Россини «Семирамида» (1823).

Стр. 154. *Матюрен*, Чарльз-Роберт (1782—1824)—английский писатель-романтик, автор романа «Мельмот-Скиталец».

Стр. 160. *Гражданский кодекс*, или кодекс Наполеона,— свод гражданских законов, юридически оформивший и закрепивший во Франции победу буржуазных отношений над феодальным строем; был введен Наполеоном в 1804 году.

Стр. 161. *...сопровождает герцога Ангулемского в Испанию...*— В 1823 году французская армия под командованием герцога Ангулемского была послана Людовиком XVIII в Испанию для подавления антимонархического восстания в стране.

Стр 168. «*Сто дней*» — так в истории Франции называется период вторичного правления Наполеона, бежавшего с острова Эльба и вступившего в Париж 20 марта 1815 года. Этот период продолжался с 20 марта по 22 июня 1815 года.

Стр. 179. *Конгресс в Лайбахе* — конгресс Священного Союза (1821), обсуждавший меры подавления национально-освободительного движения в Испании и Италии

Стр. 182. *...так Сганарель слыл латинистом...* — Сганарель (действующее лицо комедии Мольера «Лекарь поневоле») вынужден выдавать себя за врача; он употребляет латинские фразы, представляющие собой набор отдельных слов и выражений.

Стр. 193. *Мнемозина* — в древнегреческой мифологии богиня памяти, мать девяти муз.

Стр. 200. *Сен-Марсо* — квартал в Париже, населенный во времена Бальзака главным образом беднотой: рабочими мануфактур, ремесленниками, мелкими чиновниками.

Пантеон — здание в Париже, превращенное в усыпальницу выдающихся деятелей Франции.

Валь де Грас — здание военного госпиталя в Париже.

Стр. 204. *Шарле*, Никола Туссен (1792—1845)—французский художник.

Стр. 206. *Стерн*, Лоренс (1713—1768) — английский писатель-сентименталист.

Стр. 237. *Кордуанская башня* — маяк на юго-западном побережье Франции.

Стр. 252. *Боливар*, Симон (1783—1830) — один из руководителей войны за освобождение испанских колоний в Южной Америке. Деятельность Боливара при прогрессивности его борьбы против испанского господства определялась, однако, интересами имущих классов.

ОТЕЦ ГОРИО

Первоначально роман «Отец Горио» был опубликован Бальзаком в журнале «Парижское обозрение» в декабре 1834 — феврале 1835 года; в 1835 году он вышел отдельным изданием; в 1843 году был включен в первый том «Сцен парижской жизни». Однако оставшиеся после Бальзака заметки свидетельствуют, что для следующих изданий он решил перенести этот роман в «Сцены частной жизни».

Роман «Отец Горио» является важной частью задуманной писателем художественной истории буржуазного общества прошлого века. Среди творческих записей Бальзака, носящих название «Мыс-

ли, сюжеты, фрагменты», имеется краткий набросок: «Старичок — семейный пансион — 600 франков ренты — лишает себя всего ради дочерей, причем у обеих имеется по 50 000 франков дохода; умирает, как собака». В этом наброске можно без труда узнать историю беспредельной отцовской любви Горио, поруганной дочерьми. Уже в первоначальном замысле Бальзак резко обнажает типично буржуазный характер трагедии папаши Горио, подчеркивает обусловленность «частной жизни» его героев безграничной властью денег.

Одним из признаков тесной связи этого произведения с общим замыслом «Человеческой комедии» служит то обстоятельство, что около тридцати действующих лиц романа выступают и в других романах или повестях эпопеи Бальзака; среди них Эжен Растиньяк, Жак Коллен (Вотрен), виконтесса де Босеан, Дельфина Нусинген, Бьяншон и другие.

В большинстве случаев обращение к персонажам «Отца Горио» в книгах Бальзака — это, по существу, и обращение к темам, намеченным в общих чертах или частично раскрытым в «Отце Горио» либо тесно примыкающим к его основной проблематике. «Отец Горио» — произведение, так сказать, «узловое», от которого протягиваются тематические нити ко многим романам и повестям Бальзака.

Стр. 272. *Жоффруа де Сент-Илер*, Этьен (1772—1844) — известный французский ученый-зоолог; выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира. Посвящение романа «Отец Горио» Жоффруа де Сент-Илеру впервые появилось в издании 1843 года, однако теорией Жоффруа де Сент-Илера Бальзак живо интересовался еще с начала 30-х годов.

Стр. 273. *Монмартр* — во времена Бальзака северная окраина Парижа.

Монруж — южная окраина.

Джагернаут (правильнее Джаганнатха, «владыка мира») — одно из изображений индийского бога Вишну. Во время главного праздника в честь Джагернаута его статуя вывозилась на огромной колеснице, в которую впрягались богомольцы. Фанатики бросались под колесницу и погибали; жрецы обещали им, что в награду за подобную смерть бедняк при новом воплощении его души обратится в человека высшей касты.

Валь де Грас — см. примечание к стр. 200.

Пантеон — см. примечание к стр. 200.

Стр. 277. *Турнэ* — промышленный город в Бельгии.

Кенкет Аргана — усовершенствованная масляная лампа.

Стр. 278. *Пишегрю и Жорж.*— Шарль Пишегрю и Жорж Кадудаль — организаторы роялистского заговора (1804), подготовившие покушение на Наполеона I, в то время первого консула; были выданы одним из соучастников заговора; Кадудаль был казнен, а Пишегрю умер в тюрьме.

Стр. 280. *Сальпетриер* — парижская богадельня для старух, при которой имеется также лечебница для душевнобольных и нервнобольных.

Бурб — бытовое название одного из родильных домов Парижа (от слова «la bourbe» — грязь, тина).

Стр. 282. *Ратон* и *Бертран* — персонажи басни Лафонтена «Обезьяна и Кот»; в ней рассказывается, как хитрая обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для нее жареные каштаны из огня. В 1833 году под заглавием «Бертран и Ратон» выпустил свою сатирическую комедию Э. Скриб.

Стр. 284. *«Глория»* — сладкий кофе (или чай) с коньяком.

Стр. 285. *Ювенал*, Децим Юний (I—II века н. э.) — римский поэт-сатирик, бичевавший в своих произведениях пороки господствующих классов современного ему императорского Рима.

Стр. 288. *Макуба* — высокосортный табак, вывозимый из Макубы (остров Мартиника)

Эльдорадо — легендарная страна с огромными запасами золота, якобы находящаяся в Южной Америке и открытая испанскими авантюристами в XVI веке. Название «Эльдорадо» стало символом баснословного богатства.

Стр. 290. *«Беф а ля мод»* — буквально: «говядина, приготовленная по моде», мясное блюдо; на вывеске одного из парижских ресторанов, носившего это название, был нарисован бык в модной дамской шляпке и в шали.

Стр. 300. *Прадо* — парижское здание, предназначенное для увеселительных целей.

Одеон — парижский драматический театр.

Стр. 301. *«Оссиановские лица»* — то есть лица в духе образов «Песен Оссиана», произведения шотландского поэта Джемса Макферсона (1736—1796). Макферсон представил читателям свое произведение, написанное по мотивам шотландского народного творчества, как английский перевод песен легендарного шотландского певца Оссиана, жившего в III веке н. э.

...*Буфоны* — обиходное обозначение парижского театра Комической оперы, слившегося с 1807 года с театром Итальянской комедии.

Стр. 302. *Шоссе д'Антен* — район Парижа, где во времена Бальзака жила финансовая буржуазия.

Стр. 316. *Галль*, Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом. Выдвинул антинаучную теорию — «френологию» — о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями, а также характером человека.

«И розой прожила...» — стихи французского поэта Франсуа де Малерба (1555—1628).

Стр. 322. *Шаранта* — река на юго-западе Франции. На Шаранте стоит город Ангулем, неподалеку от которого, согласно роману, расположено было поместье Растиньяков.

Стр. 324. *Ост-Индская компания* — основанная в XVIII веке компания для торговли с Индией и Зондским архипелагом; она получила от правительства Франции чрезвычайные привилегии и служила орудием колониального порабощения.

Стр. 339. *...был председателем одной из секций.*— Во время Французской буржуазной революции XVIII века Париж был разделен на сорок восемь секций, пользовавшихся правом самоуправления, а также избрания своих представителей на муниципальные и государственные должности. Секции Парижа играли важную роль в революционных событиях.

Комитет общественного спасения — орган государственной власти во Франции, учрежденный декретом Конвента в 1793 году.

Стр. 344. *Асимптота* — буквально: «несовпадающая» *(греч.)*— прямая, которая, будучи безгранично продолжена, постоянно приближается к соответствующей кривой, но не пересекается с нею.

Стр. 350. *Долибан* — отец, весь ушедший в заботы о своей горячо любимой дочери; действующее лицо комедии «Глухой, или Переполненная гостиница» французского актера и драматурга Жана-Батиста Шудара, выступавшего под псевдонимом Дефорж (1746—1806).

Стр. 352. *...ставшего бароном Священной Римской империи.*— «Священная Римская империя» — название, присвоенное германскому государству в X веке и сохранившееся до завоевания Германии войсками Наполеона I. Путем различных сделок с немецкой знатью и с правительствами германских княжеств немецкие и иноземные буржуа становились «титулованными особами».

Стр. 354. *Хирагра* — подагрическое поражение рук.

Стр. 358. *...между улицей Сен-Жак и улицей Сен-Пер* — то есть в Латинском квартале, где издавна находились учебные заведения, музеи и библнотеки.

Галион — испанское парусное судно. На галионах испанцы вывозили в XVI—XVII веках из Южной Америки огромные количества серебра и золота, награбленного ими или добытого при помощи рабского труда индейцев.

Стр. 360. *Мюрат*, Иоахим (1767—1815) — маршал Наполеона I; с 1808 по 1815 год — король Неаполитанский; после падения Наполеона был низложен, сделал попытку вернуть себе престол, но был схвачен и казнен.

Мы в расчете до Сильвестрова дня — то есть до 31 декабря.

Стр. 363. *...совершить прогулку до сетей в Сен-Клу* — то есть утопиться. Около городка Сен-Клу, недалеко от Парижа, вниз по течению Сена была перегорожена сетями, чтобы вылавливать тела утопленников.

Стр. 365. *...на избирательном листке будете читать Виллель вместо Манюэль.— Граф де Виллель, Жозеф* (1773—1854) — французский реакционный политический деятель, один из лидеров крайних роялистов; в 1821—1827 годах возглавлял кабинет министров. *Манюэль, Жак* (1775—1827) — член палаты депутатов, бывший в оппозиции к правлению Бурбонов; в марте 1823 года Манюэль за свое антимонархическое выступление был незаконно исключен из палаты ее реакционным большинством. Избирательная система во Франции времен Реставрации, так же как и в настоящее время, открывала широкий простор для угодной правительству фальсификации выборов.

Стр. 371. *Луарская армия*—уцелевшая после поражения Наполеона при Ватерлоо часть его армии, которая по соглашению с союзниками отошла к югу от Луары и была там расформирована.

Стр. 372. *Лафайет*, Мари-Жан-Поль, маркиз (1757—1834) — французский политический деятель, участник буржуазных революций в 1789 и 1830 годах. В период Реставрации — один из лидеров либеральной буржуазии. После Июльской революции 1830 года содействовал возведению на престол «короля банкира» — Луи-Филиппа.

...каждый швыряет камень в князя.— Речь идет о Талейране. *Талейран* (1754—1838) — известный французский дипломат, отличавшийся беспринципностью и циничной неразборчивостью в средствах.

Стр. 379. *...как в Лакедемоне... готовиться к успеху.*—Лакедемон — древний греческий город, иначе Спарта; Растиньяк, мечтая о карьере, сравнивает себя с участниками происходивших в Спарте «Олимпийских игр» — спортивных состязаний, где победитель получал лавровый венок.

Принадлежал к школе Людовика XVIII и герцога Эскара.—

Король Людовик XVIII и его придворный герцог д'Эскар отличались необычайным чревоугодием.

Стр. 387. *Дженни Динс* — героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

Стр. 394. *Кювье, Жорж* (1769—1832) — известный французский натуралист, палеонтолог. Основой исследования Кювье является примененный им принцип соотношения или «корреляции частей организма», согласно которому каждая форма животного организма представляет собою замкнутую систему, части которой взаимно соответствуют как в отношении их строения, так и в отношении их функций. Изменение одной части неизменно влечет за собой соответствующее изменение другой части организма, что дает возможность на основе одной части судить о целом организме. Кювье, однако, придерживался метафизического положения о неизменности биологических видов, он отвергал теорию единства организации животных. Принцип корреляции позволил Кювье реконструировать ценные ископаемые организмы по немногим частям, найденным при раскопках. Стремясь объяснить изменения земной фауны, Кювье выдвинул теорию геологических катастроф, при которых, по его мнению, уничтожился весь органический мир, после чего появились новые формы. Эта теория, по определению Энгельса, «была революционна на словах и реакционна на деле».

Стр. 397. *Великий Могол* — титул мусульманских правителей Индии из династии Бабура, находившейся у власти с 1526 по 1707 год.

Стр 411. *Лабрюйер, Жан де* (1645—1696) — французский писатель, автор сатирической книги «Характеры, или Нравы этого века» (1688).

Стр. 415. *Вениамин* — в библии младший сын патриарха Иакова, в переносном смысле любимец, баловень.

Тюренн Андри де ла Тур д'Овернь (1611—1675) — известный французский полководец.

Стр. 417. *Пьер* и *Джафьер* — два друга, изображенные в трагедии английского драматурга Томаса Отвея (1651—1685) «Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор».

Стр. 418. *...агента с Иерусалимской улицы* — то есть агента парижской сыскной полиции

Стр. 419. *«Багдадский халиф»* — одноактная комическая опера французского композитора Франсуа Буальдье (1775—1834), пользовавшаяся шумным успехом.

Deus ex machina — буквально: «бог из машины» — латинская поговорка, означающая неожиданно возникший выход из сложных,

запутанных обстоятельств; в античной трагедии такой выход возникал благодаря появлению какого-либо божества, причем актер, изображавший его, спускался на сцену при помощи особого механизма.

Стр. 432. *...бордо, вдвойне славного именем Лафита.*— Игра слов: лафит—сорт красного вина; Жак Лафит (1767—1844)— французский банкир и политический деятель, способствовал во время Июльской революции возведению на престол Луи-Филиппа Орлеанского, при котором во Франции началось владычество крупной финансовой буржуазии.

Стр. 434. *Марти* — актер театра «Гетэ».

«Дикая гора, или Герцог Бургундский» — пьеса французского драматурга Гильбера де Пиксерекура (1773—1844) на сюжет романа «Отшельник» писателя-роялиста Шарля д'Арленкура (1789—1856).

«Атала» — повесть французского реакционного романтика Шатобриана (1768—1848), в которой в напыщенно чувствительном тоне рассказывается история любви девушки-индианки Атала и индейца Шактаса.

Стр. 437. *«Павел и Виргиния»* — сентиментально-идиллический роман Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), французского писателя, друга Жан-Жака Руссо.

Стр. 440. *Гревская площадь* — площадь в Париже, на которой происходили публичные казни.

Стр. 452. *Нинон* де Ланкло (1620—1705) — французская куртизанка.

Помпадур маркиза де (1721—1764) — фаворитка Людовика XV.

...несмотря на соглядатаев с Ювелирной набережной.— Имеются в виду сыщики: к Ювелирной набережной примыкает префектура полиции.

Стр. 453. *Разрешите прислать вам из Прованса винных ягод.*— Вотрен иронизирует по поводу предстоящей ему отправки на каторгу, на юг Франции.

Стр. 482. *Сент-Пелажи* — парижская тюрьма (разрушена в 1899 году).

Стр. 488. *Кошеновский пансионер* — то есть студент-медик, живший при старинной парижской больнице имени Кошена, где стажеры проходили практику.

Стр. 495. *Молитва Моисея* — ария из оперы итальянского композитора Россини «Моисей в Египте» (1818).

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Госпожа Фирмиани. *Перевод Н. Подземской и Р. Титовой* . 5
Полковник Шабер. *Перевод Н. Жарковой* 26
Тридцатилетняя женщина. *Перевод А. Худадовой* 95
Отец Горио. *Перевод Е. Корша* 272
Примечания 528

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах Том II.

Редактор
М. Н. Черневич.

Иллюстрации художника
А. Парамонова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 5/I 1960 г.
Тираж 350 000 экз. Изд. № 116.
Зак. 2704.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 8,25.
Печ. л. 27,15+4 вкл. (0,41 п. л.) Уч.-изд. л. 29,84.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, улица «Правды», 24.